This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

1909

Slav 410.66(2)

VE RI TAS

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

85738

४५ : ७६

9008.
т 11

104
С 81

Сборн.

СТО

РУССКИХЪ

ЛИТЕРАТОРОВЪ.

09
С810
9008.
21. АВГ. 1903
№ 85738

СТО
РУССКИХЪ
ЛИТЕРАТОРОВЪ.

ИЗДАНІЕ
КНИГОПРОДАВЦА А. СМИРДИНА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

БУЛГАРИНЪ.
ВЕЛЬТМАНЪ.
ВЕРЕВКИНЪ.
ЗАГОСКИНЪ.
КАМЕНСКІЙ.
КРЫЛОВЪ.
МАСАЛЬСКІЙ.
НАДЕЖДИНЪ.
ПАНАЕВЪ.
ШИШКОВЪ.

Санктпетербургъ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ БОРОДИНА И К°.
1841.

73785

Списано 1936 г.
ИЮЛ 1939
Slav 4180.66 (2)
HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JAN 18 1965

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктпетербургъ, 30 Апрѣля 1841 года.

Цензоръ А. Никитенко.

1948

9018.
т II

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

БУЛГАРИНА *Ѳаддея Венедиктовича*:

Побѣда отъ обѣда. Очерки нравовъ XVIII вѣка . . . . . 133.

ВЕЛЬТМАНА *Александра Ѳомича*:

Урсулъ. Повѣсть . . . . . 351.

ВЕРЕВКИНА *Николая Николаевича*:

(*Рахманнаго*):

Любовь Петербургской барышни. Предсмертный разсказъ. . . . . 651.

ЗАГОСКИНА *Михаила Николаевича*:

Офиціальный обѣдъ. Быль. . . . . 17.

КАМЕНСКАГО *Павла Павловича*:

Іаковъ Моле. Повѣсть . . . . . 559.

КРЫЛОВА *Ивана Андреевича*:

Кукушка и пѣтухъ. Басня. . . . . 13.

МАСАЛЬСКАГО *Константина Петровича*:

Осада Углича. Повѣсть. . . . . 24.

Дерево смерти. Стихотвореніе . . . . . 73.

НАДЕЖДИНА *Николая Ивановича*:

Сила воли. Воспоминаніе путешественника. 397.

ПАНАЕВА *Владиміра Ивановича:*

Происшествіе 1812 года . . . . . 629.

ШИШКОВА *Александра Семеновича:*

Воспоминанія о моемъ пріятелѣ . . . . . 1.

9008
т II.

КАРТИНЫ.

К стран.

I. Къ статьѣ Воспоминанія о моемъ пріятелѣ. . 5.
Рисунокъ К. П. Брюллова.

II. — Кукушка и пѣтухъ . . . . . 15.
Рисунокъ Дезарно.

III. — Официальный обѣдъ . . . . . 63.
Рисунокъ Тима.

IV. — Побѣда отъ обѣда . . . . . 235.
Рисунокъ Тима.

V. — Осада Углича . . . . . 326.
Рисунокъ Дезарно.

VI. — Урсулъ . . . . . 392.
Рисунокъ К. А. Зеленцова.

VII. — Сила воли . . . . . 422.
Рисунокъ Т. Г. Шевченко.

VIII. — Іаковъ Моле . . . . . 575.
Рисунокъ Графа Ѳ. П. Толстаго.

IX. — Происшествіе 1812 года . . . . . 645.
Рисунокъ К. А. Зеленцова.

X. — Любовь Петербургской барышни . 689.
Рисунокъ А. П. Брюллова.

ВОСПОМИНАНІЯ

о

МОЕМЪ ПРІЯТЕЛѢ.

ВОСПОМИНАНІЯ

о

МОЕМЪ ПРІЯТЕЛѢ.

—

Припоминая нѣкоторыя, довольно странныя приключенія съ однимъ изъ пріятелей моихъ, а именно, съ флигель-адъютантомъ Императрицы Екатерины Второй, Сергѣемъ Лаврентьевичемъ Львовымъ, хочу разсказать о размолвкѣ его съ Графомъ А. И. Марковымъ, служившимъ по иностраннымъ дѣламъ, и о воздушномъ его путешествіи при Императорѣ Александрѣ Первомъ. Марковъ и Львовъ были извѣстны достоинствами, одинъ по гражданской, другой по военной и придворной службѣ, и заслуживали уваженіе по уму и нравственнымъ качествамъ; но въ общежитіи съ людьми, оба они, хотя и безъ всякаго намѣренія злословить и вредить, чувствуя остроуміе свое, любили подшучивать надъ другими, съ тою разностію, что шутки Маркова были оскорбительнѣе простыхъ шутокъ Львова. Екатерина Великая не по внушеніямъ другихъ, часто ложнымъ или пристрастнымъ, но по собственнымъ Своимъ наблюденіямъ, зна-

ла всѣхъ Своихъ вельможъ и приближенныхъ, какъ способности ихъ къ дѣлу, такъ и нравственныя качества ихъ. Она терпѣла слабости, соединенныя съ достоинствами, зная, что совершеннаго человѣка нѣтъ на свѣтѣ; но не поручала никакихъ важныхъ должностей людямъ, которые хотя и пріятны въ общежитіи, но не могутъ приносить большой пользы отечеству. Въ состязаніи сильныхъ съ слабыми, не уменьшая благорасположенія Своего къ сильному, Она скорѣе заступалась за слабаго, хотя и не столь близкаго къ сердцу Ея, какъ его соперникъ. Однажды, въ нѣкоторомъ домѣ, былъ званый обѣдъ, на который приглашены были многіе знаменитые люди, между прочими Марковъ и Львовъ. Оба, въ это время, были въ различныхъ положеніяхъ; Марковъ и Князь П. А. Зубовъ, по случаю прибытія Шведскаго Короля въ С.-Петербургъ, были въ частыхъ сношеніяхъ съ Императрицею. Марковъ, будучи и безъ того высокомѣренъ, сдѣлался еще надменнѣе прежняго. Напротивъ того, Львовъ, бывши незадолго предъ симъ любимцемъ умершаго Князя Григорія Александровича Потемкина, и лишась въ немъ сильной подпоры, упалъ духомъ и, чувствуя себя какъ бы осиротѣлымъ, а Маркова возникшимъ въ великую силу при Дворѣ, молчалъ, снѣдаемый чрезмѣрною досадой. Львовъ имѣлъ привычку, въ подобномъ расположеніи чувствъ, кусать у правой руки своей ногти. Марковъ, примѣтя это, сталъ пуще надъ нимъ шутить. Львовъ крѣпился, терпѣлъ, но вдругъ наконецъ такъ вспыхнулъ, что, потерявъ весь разсудокъ, схватилъ тарелку свою, и въ него бросилъ. Не-

ожиданный поступокъ сей привелъ всѣхъ присутствующихъ въ удивленіе. Марковъ вскочилъ тотчасъ изъ за стола, и поѣхалъ прямо къ Князю Зубову съ жалобою. Князь призываетъ къ себѣ Львова, и грознымъ голосомъ спрашиваетъ: какимъ образомъ осмѣлился покуситься онъ на такое дерзновеніе? Львовъ хотѣлъ оправдываться, но въ подобной тревогѣ чувствъ, языкъ и голосъ ему измѣняли. Князю слова его показались грубыми, и онъ съ великимъ неудовольствіемъ сказалъ ему: «Я вижу, что вы и со мной хотите браниться; извольте ѣхать: я не имѣю больше до васъ никакой надобности.» Львовъ поѣхалъ отъ него въ отчаяніи, ожидая весьма непріятныхъ для себя послѣдствій. (Я буду теперь говорить отъ лица Львова, разсказывавшаго мнѣ о семъ приключеніи). «На другой день,» говорилъ онъ, «былъ праздникъ. Я долго колебался: ѣхать ли мнѣ во дворецъ, или нѣтъ? Наконецъ рѣшился ѣхать, чтобы скорѣе узнать мою участь. Во дворцѣ многіе уже слышали о семъ происшествіи. Нѣкоторые сожалѣли обо мнѣ; другіе, не любя Маркова, за насмѣшливый нравъ его, были тѣмъ довольны. Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ выхода Императрицы. Она, обыкновенно въ спальномъ платьѣ, выходила въ одну изъ внутреннихъ Своихъ комнатъ, и при всѣхъ чесалась; всѣ знатнѣйшіе придворные чины имѣли входъ въ сію комнату, стояли вокругъ Ней, и Она со многими изъ нихъ разговаривала. Я вмѣстѣ съ прочими вошелъ туда, и сталъ на такомъ мѣстѣ, чтобъ Она въ зеркало могла видѣть, написанную на полумертвомъ лицѣ моемъ, снѣдающую меня горесть. Въ это время, недалеко отъ меня, стоялъ Ва-

силій Степановичъ Поповъ. Онъ сдѣлалъ мнѣ знакъ, что хочетъ поговорить со мной. Я подошелъ къ нему, и лишь только успѣли мы сказать другъ другу нѣсколько словъ, какъ вдругъ услышалъ я у ногъ моихъ нѣкій крикъ: это была сидѣвшая подлѣ него на сошкѣ переклитка (маленькій попугай), которая, не знаю почему, не любила меня, и лишь только увидѣла, что я приблизился къ ней, то потихоньку слѣзла съ сошки, и бросилась съ крикомъ кусать мои ноги. Всѣ, и Сама Государыня, оглянулись; должны были увѣдомить Ее, что эта птичка меня не любитъ. Императрица, безъ всякой усмѣшки, съ нѣкоторою важностію сказала на это: «Животныя такъ же, какъ и люди, не любятъ тѣхъ, кто ихъ дразнитъ.» Я не зналъ, какое изъ словъ сихъ сдѣлать заключеніе, но по сухому, и почти гнѣвному произношенію ихъ, предполагая несомнѣнно, что Государыня о поступкѣ моемъ съ Марковымъ была уже извѣстна, не могъ ласкаться никакою утѣшительною для меня надеждой. Вскорѣ потомъ Она встала и ушла въ Свой кабинетъ. Князь Зубовъ, появясь, прошелъ прямо къ Ней, и чрезъ нѣсколько минутъ, вышедъ оттуда, сказалъ мнѣ, чтобъ я черезъ часъ къ нему пріѣхалъ. Во весь этотъ часъ промучился я мыслями, ожидая рѣшенія своей судьбы. Одинъ гнѣвъ Екатерининъ и удаленіе отъ Ея лица ужасали меня больше всякаго другаго наказанія. Пріѣзжаю; меня пускаютъ въ кабинетъ къ Князю, гдѣ нахожу я его и Маркова. По нѣкоторомъ краткомъ молчаніи, Князь, обращаясь къ обоимъ намъ, сказалъ: «Государыня желаетъ, чтобъ вы помирились, и если вы это сдѣ-

лаете, то Она сегодня приглашаетъ васъ обоихъ къ Себѣ на вечеръ.» Мы попросили другъ у друга прощенія, обѣщали забыть прошедшее, помирились, и были ввечеру у Императрицы, Которая, какъ бы не зная ничего о нашей ссорѣ, разговаривала съ нами весьма милостиво. «Можно себѣ представить,» сказалъ мнѣ Львовъ, оканчивая свой разсказъ: «какою благодарностію сердце мое наполнено было къ сему, по истинѣ, материнскому со мною поступку милосердой Монархини!»

При Александрѣ Первомъ былъ также со Львовымъ достопамятный случай. Однажды воздухоплаватель Гарненъ назначилъ день, въ который на приготовленномъ шарѣ поднимется къ облакамъ. Народъ собрался смотрѣть на сіе отважное путешествіе. Самъ Государь пріѣхалъ. Когда шаръ совсѣмъ былъ готовъ, тогда Львовъ, къ удивленію всѣхъ (ибо никто о намѣреніи его не зналъ), подошелъ къ Государю и, выпросивъ у Него позволеніе, сѣлъ вмѣстѣ съ Гарнереномъ на прицѣпленную къ шару лодочку. Львовъ держалъ въ рукѣ небольшой флагъ, которымъ, поднявшись на воздухъ, махалъ, какъ бы для показанія, что онъ поднимается не съ робостью, и это дѣлалъ онъ потому, что Государь, хотя и былъ къ нему милостивъ и часто шучивалъ съ нимъ, однако жъ изъ самыхъ шутокъ сихъ замѣтно было, что Онъ почиталъ Львова больше пріятнымъ въ бесѣдѣ, нежели отважнымъ въ воинскихъ дѣлахъ и опасностяхъ. Львовъ хотѣлъ при семъ случаѣ поправить о себѣ мнѣніе въ Его мысляхъ, и, можетъ быть, успѣлъ бы, если бъ нѣкоторые недоброжелатели Львова насмѣшками своими не разувѣрили многихъ, что это отнюдь не

храбрость, какая требуется въ сраженіи съ непріятелями, и что въ этомъ нѣтъ ничего отважнаго, кромѣ неприличія генералу въ военномъ мундирѣ летать по воздуху съ искусникомъ Гарнереномъ. Появились многія эпиграммы, и между прочимъ одна, въ которой намекалось, что Львовъ жилъ роскошнѣе своихъ доходовъ, и входилъ въ долги.

Генералъ Львовъ
Леталъ до облаковъ —
Просить боговъ
О заплатѣ за него долговъ.

Такимъ образомъ Львовъ, по возвращеніи своемъ на землю, слыша, вмѣсто похвалъ, такіе худые о себѣ толки, впалъ въ глубокое уныніе, и со слезами говорилъ мнѣ, какъ много онъ въ надеждѣ своей обманулся. Видя его въ семъ состояніи, вздумалось мнѣ принесть ему хотя нѣкоторое утѣшеніе, осмѣявъ насмѣхающихся надъ нимъ, и показавъ сей поступокъ его съ хорошей стороны. Въ семъ намѣреніи написалъ я къ нему слѣдующее письмо:

Милостивый Государь
Сергѣй Лаврентьевичъ!

Позвольте одному изъ почитающихъ васъ пріятелей вашихъ изъявить предъ вами свои чувства; позвольте поздравить васъ съ благополучнымъ окончаніемъ, сколько достойнаго любопытства, столько же и страшнаго путешествія, на которое не всякій пустится:

Хотя умъ сердце и толкаетъ,
Твердя тихонько: «полетимъ»;
Но сердце, сжавшись, отвѣчаетъ:
«Постой, посмотримъ, поглядимъ».

Мнѣ кажется, можно съ этимъ васъ поздравить; ибо путешествіе ваше на воздушномъ шарѣ по многимъ причинамъ долженствуетъ вамъ быть пріятно: во-первыхъ, хотя въ рѣшимости и твердости духа вашего никто не сомнѣвался, однако жъ это было новымъ и неоспоримымъ тому доказательствомъ. Во-вторыхъ, вы удовлетворили любопытству своему и видѣли то, чѣмъ не многіе похвалиться могутъ. Въ-третьихъ, вы опытомъ узнали (выключая немногихъ, недоброжелательствующихъ вамъ), сколько вы любимы, потому, что многіе въ здравіи вашемъ принимали искреннее участіе. Всѣ сіи причины совокупно оправдываютъ мое приносимое вамъ поздравленіе, и дѣлаютъ оное чистосердечнымъ. Поговоримъ теперь о путешествіи вашемъ. Мнѣ случалось, въ ясную погоду и при чистомъ воздухѣ, бывать на вершинахъ высокихъ горъ: величественность зрѣлища, представлявшагося тогда очамъ моимъ, наполняла душу мою такимъ сладкимъ восторгомъ, котораго человѣкъ, ползающій по земному долу, никогда чувствовать не можетъ. Мнѣ казалось, что я былъ пресмыкающійся червь, когда стоялъ подъ горою, и что сдѣлался летающею бабочкою, когда взошелъ на гору. Посему, могу я нѣсколько вообразить, какими пріятными чувствами объята была душа ваша, когда вы вознеслись до такой высоты, отколѣ пышность нашихъ храмовъ и жилищъ въ глазахъ вашихъ исчезла; ужасающія насъ великостью своею громады превратились въ песчинки; широкія озера и моря, поглощающія огромные съ людьми корабли, сдѣлались маленькими лужицами, въ которыхъ, казалось вамъ, не можете вы омочить подошву своей ноги. Однимъ словомъ, все великое и пространное на землѣ, по мѣрѣ возвышенія вашего, сближалось, стѣснялось и уничтожалось, и что за минуту предъ симъ представлялось вамъ ужасающею взоры ваши огромностью, то стало вдругъ подъ ногами вашими низко, мало, ничтожно. Таковая мгновенная перемѣна, конечно, долженствуетъ поразить чувства наши. Человѣкъ на высотѣ, какъ бы возросши вдругъ,

дѣлается самъ исполиномъ предъ тѣмъ, что̀ исполинскимъ видомъ своимъ страхъ ему наводило. Не должна ли душа его преисполниться нѣкоторою гордостью, нѣкоторою величавостью, несродною ему тогда, когда онъ на землѣ, окруженный тысячами надменно возносящихся надъ главою его вершинъ, уничиженъ ходитъ? Но сія ли одна перемѣна чувствъ увеселяетъ восхищенную его душу? Нѣтъ! Къ гордости, къ величавости сей присоединяется еще нѣкая расширяющая сердце его радость — радость, какую долженъ ощущать тотъ, кто изъ густоты стѣснившихся паровъ возлетаетъ въ легкій, чистый воздухъ, и попирая ногами облака, съ одной стороны видитъ великолѣпіе и красоту заходящаго солнца, а съ другой величавую важность луны, изъ коихъ одно златыми, а другая серебряными лучами, преломляющимися, проходя сквозь густую разливающуюся окрестъ земли пучину воздуха, творитъ оный многообразнымъ хрусталемъ, въ которомъ тысячи разныхъ цвѣтовъ прелестно играютъ. Всѣ сіи многообразныя великолѣпія движутся, перемѣняются, и всякую минуту представляютъ взорамъ новыя явленія, новыя чудеса. Но можетъ ли умъ нашъ вообразить себѣ всѣ красоты и всѣ богатства природы? Достойно любопытства нашего созерцаніе земли и небесъ, поколику человѣкъ отъ одной возвыситься, а къ другимъ бреннымъ окомъ своимъ сколько нибудь приблизиться можетъ, и кто бы что ни говорилъ, но всякій бы желалъ увидѣть то, что̀ видѣли вы, если бъ страхъ воздушнаго путешествія не обуздывалъ силы нашего любопытства. Тѣмъ же, которые ко всему любятъ привязывать толки и хулы, отвѣчалъ бы я:

Какъ хочешь, такъ суди,
И хоть сто разъ тверди
И важно и спѣсиво,
Что это де не диво,
И что, дескать, за стать
По воздуху летать?

Разсказы не доводы,
Сидѣнка не походы,
Трубить легко въ кулакъ;
А я скажу вотъ такъ:
Тому, въ комъ духу мало,
Конечно не пристало;
И ты, кто намъ кричишь,
Что чуда въ томъ не зришь,
Коль хочешь непремѣнно,
Твоимъ чтобъ несомнѣнно
Мы вѣрили словамъ,
Попробуй съѣздить самъ.

Съ истиннымъ почитаніемъ навсегда пребываю, и проч.

Я присовокуплю здѣсь еще нѣчто, чтобъ показать хотя одинъ образчикъ шутливыхъ его выдумокъ, которыми Львовъ одинъ могъ столько забавлять слушателей, перемѣняя и лицо, и голосъ, и тѣлодвиженія, соотвѣтственно тому, что̀ разсказывалъ, такъ, что никто другой не могъ произвесть тѣмъ же разсказомъ такого дѣйствія надъ слушателемъ. Нѣкогда, въ бытность его въ Австріи съ Суворовымъ, по нѣкоторымъ оказаннымъ ему тамъ непріятностямъ, сердитъ онъ былъ на Австрійцевъ, и часто разсказывалъ объ нихъ смѣшныя повѣсти. Однажды, во время случившагося объ нихъ разговора, нѣкто изъ собесѣдующихъ спросилъ у него: каковы Австрійцы? Храбро ли дерутся они съ Турками? «О, прехрабро!» отвѣчалъ онъ. «Знаете ли, какъ они ловятъ Турокъ? Во время войны ихъ съ нами, случилось сраженіе въ лѣсу; одинъ изъ нихъ закричалъ своимъ товарищамъ: «Эй, братцы! я поймалъ Турка!» — Хорошо, отвѣчаютъ они, веди его къ намъ. «Да

онъ нейдетъ.» — Такъ инъ ты поди сюда. «Да онъ не пускаетъ!»

Такими вымыслами часто увеселялъ онъ разговаривающихъ съ нимъ. Въ 1812-мъ году, отправляясь въ походъ съ Государемъ Императоромъ, зашелъ я къ Львову; онъ тогда былъ уже очень слабъ и лежалъ больной въ постелѣ, но и въ это время сохранилъ еще спокойствіе духа, и веселость своего нрава. «Каковъ ты, Сергѣй Лаврентьевичъ?» спросилъ я у него.—Да что сказать, отвѣчалъ онъ, большею частію чувствъ моихъ — зрѣнія, вкуса, памяти, нагрузилъ я обозъ, и отправилъ на тотъ свѣтъ, а здѣсь остаюсь налегкѣ.»

Львовъ недолго пережилъ эту шутку. Можно сказать о немъ, что онъ шутя прожилъ свой вѣкъ.

КУКУШКА И ПѢТУХЪ.

ВАСНЯ.

КУКУШКА

и

ПѢТУХЪ.

—

«Какъ, милый Пѣтушокъ, поешь ты громко, важно!
— А ты, Кукушечка, мой свѣтъ,
Какъ тянешь плавно и протяжно:
Во всемъ лѣсу у насъ такой пѣвицы нѣтъ!
«Тебя, мой куманекъ, вѣкъ слушать я готова.
— А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтобъ начала ты снова...
Отколь такой берется голосокъ?
И чистъ, и нѣженъ, и высокъ!...
Да вы ужъ родомъ такъ — собою не велички,

А пѣсни, что твой соловей!
« Спасибо, кумъ; за то, по совѣсти моей,
Поешь ты лучше райской птички. »

« На всѣхъ ссылаюсь въ этомъ я, »
Тутъ воробей, случась, промолвилъ имъ: « друзья!
Хоть вы охрипните, хваля другъ дружку,
Все ваша музыка плоха! »...

—

За что же, не боясь грѣха,
Кукушка хвалитъ пѣтуха?
За то, что хвалитъ онъ кукушку.

85438

ОФИЦІАЛЬНЫЙ ОБѢДЪ.

73785
ЛЕНИНГРАДСКАЯ

S 6462

ОФИЦІАЛЬНЫЙ ОБѢДЪ.

—

БЫЛЬ.

—

ГЛАВА I.

ГОРОДЪ БАБКОВЪ.

Вотъ ужъ почти цѣлый часъ, какъ я сижу съ перомъ въ рукѣ, гляжу на тетрадь бѣлой бумаги, которая лежитъ передо мною—и не пишу ничего. Не знаю, какъ вамъ, любезные читатели, а мнѣ ужасно надоѣло начинать мои разсказы всегда однимъ образомъ: «*Нѣсколько лѣтъ* тому назадъ, въ *одной* изъ нашихъ южныхъ или сѣверныхъ провинцій—въ *одномъ* губернскомъ или уѣздномъ городѣ....» Эта неопредѣленность такъ несносна! Она совершенно охлаждаетъ воображеніе читателя, потому, что отнимаетъ всю достовѣрность у разсказа. Прошу кого нибудь увѣрить, что онъ слушаетъ не сказку, когда не знаетъ даже, гдѣ и когда случилось то, о чемъ ему разсказываютъ? Вотъ теперь, напримѣръ, я хочу говорить съ вами о происшествіи

*

истинномъ, не подлежащемъ никакому сомнѣнію; а межъ тѣмъ долженъ начать, какъ начинаются всѣ сказки: «Въ *нѣкоторомъ* царствѣ, въ *нѣкоторомъ* государствѣ....» и все это потому, чтобъ меня не упрекнули въ личности, чтобъ не сказали, что я пальцемъ указываю на дѣйствующія лица моей строго-исторической повѣсти. Впрочемъ.... Почему же нѣтъ?... Если у насъ писатели-пседонимы не вышли еще изъ моды, такъ попытаюсь вывести на сцену городъ-пседонимъ. Во всякомъ случаѣ, я буду тогда гораздо свободнѣе въ остальномъ, и по крайней мѣрѣ скажу положительно, что ровно двадцать три года тому назадъ, случилось то, о чемъ вы сейчасъ узнаете, если возьмете на себя трудъ прочесть мою повѣсть.

Въ С.....ой губерніи есть уѣздный городокъ *Бабковъ*, (не хлопочите напрасно: вы не найдете его въ календарѣ). Когда и кѣмъ онъ былъ основанъ, я не знаю; но только этотъ городъ не дюженный; я назвалъ его городкомъ, потому только, что имѣю престранную привычку сравнивать всѣ города съ Москвою, и въ слѣдствіе *сего*, или *этого* сравненія, почти всегда употребляю уменьшительную степень даже и тогда, когда говорю о губернскихъ городахъ. Однажды, какой-то сердитый баринъ совсѣмъ было вызвалъ меня на дуель, за то, что я назвалъ его родину, знаменитую Казань, хорошенькимъ городкомъ; въ другой разъ — одинъ постоянный житель Одессы, который говорилъ, вовсе не шутя, что *рѣдко бываетъ въ Россіи*, ужасно на меня разгнѣвался за то же самое..... Что дѣлать? Не могу никакъ отстать отъ этой дурной привычки. И такъ, да

будетъ вамъ извѣстно, любезные читатели, что уѣздный городъ Бабковъ, по своему многолюдству, по множеству церквей своихъ, а въ особенности по красотѣ своихъ кирпичныхъ присутственныхъ мѣстъ, могъ бы быть за урядъ и губернскимъ городомъ. Въ немъ есть даже бульваръ, обсаженный липками, и публичный садъ, разбитый на трехъ съ половиною десятинахъ земли; есть гостиный дворъ съ тридцатью лавками, съѣзжій домъ съ высокою каланчей, погребъ съ заморскими винами, три мелочныя лавки, одинъ гербергъ, четыре харчевни, десять постоялыхъ дворовъ, и двѣ гостиницы, не много запачканныя, но снабженныя всѣмъ нужнымъ для нашихъ Русскихъ путешественниковъ, которые обыкновенно возятъ съ собою свои подушки, перины, постельное бѣлье, погребцы съ столовою посудой, а иногда и собственныхъ поваровъ; при этихъ небольшихъ пособіяхъ можно было смѣло останавливаться въ любой изъ двухъ гостиницъ города Бабкова. Однако жъ, не смотря на всѣ эти роскоши, бо́льшая часть проѣзжающихъ увозила съ собою весьма поверхностное и даже ложное понятіе объ этомъ городѣ. Чтобъ увидѣть разницу между имъ и другими уѣздными городами, которые по наружности кажутся ничѣмъ его не хуже, надобно было пожить въ немъ недѣли двѣ или три, и сблизиться съ его высшимъ обществомъ: что́ впрочемъ было не такъ-то легко. Кромѣ должностныхъ людей, въ Бабковѣ жило безвыѣздно до десяти дворянскихъ фамилій—да и какихъ еще!... Черно-былины, Мутовкины, Опёнковы, Князь Чухаловъ, Княгиня Хайбазова, Статскій Совѣтникъ Осипъ Ан-

дреевичъ Кочька, и отставной бригадиръ Пахомъ Пахомычъ Мурашкинъ. Вы можете себѣ представить, что общество, составленное изъ такихъ лицъ, имѣло полное право держать себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей неизвѣстныхъ, и не кидаться на шею каждому проѣзжающему, какого бы званія и ранга онъ ни былъ.

Мѣсто градоначальника, или попросту Бабковскаго городничаго, занималъ съ честію нѣкогда бывшій гусарскій Полковникъ Касьянъ Гурьевичъ Костоломовъ, человѣкъ вовсе не ученый, однако же не глупый, добрый, прямой, веселаго нрава и, что̀ всего лучше, совершенный безсребренникъ. Говорятъ, будто бы онъ, начальникъ богатаго и торговаго города, покупалъ на чистыя деньги все—все безъ исключенія, даже чай и сахаръ, даже пѣнное вино, которое пилъ передъ обѣдомъ, вмѣсто сладкой водки! Я слышалъ также, будто бы онъ вовсе не горевалъ, что называется Касьяномъ; и слѣдовательно бываетъ именинникомъ только одинъ разъ въ три года *. Диковинное дѣло! И признаюсь, я бы посомнился въ справедливости этихъ слуховъ, если бъ не зналъ, что въ тысяча восемьсотъ двѣнадцатомъ году онъ былъ уже гдѣ-то городничимъ, но не утерпѣлъ—пошелъ опять въ гусары, дрался какъ левъ, и съ боя взялъ георгіевскій крестъ, вскакавъ первый на непріятельскую батарею. Воля ваша, взяточникъ на пушку не полѣзетъ; чтобъ итти на явную смерть, надобно быть въ ладу съ своей совѣстью,

* Православная Греческая Церковь чтитъ память сего святаго каждый высокосный годъ, 29-го Февраля.

или ничему не вѣрить, и ничего не ждать въ будущемъ; а Костоломовъ былъ человѣкъ набожный, и боялся суда Божія.

Касьянъ Гурьевичъ былъ женатъ; супруга его, Марья Никитишна, была бы женщина отличная, если бы поменѣе говорила о чужихъ грѣхахъ, и поболѣе думала о своихъ собственныхъ, и нравъ ея былъ бы не дуренъ, когда бъ она была не такъ упряма, порѣже гнѣвалась и почаще уступала своему мужу. Впрочемъ, нельзя было сказать, что она не покоряется своему законному супругу; напротивъ, Марья Никитишна почти никогда съ нимъ не спорила; мужъ скажетъ: «не хочу!» она ни слова; но черезъ нѣсколько минутъ у нея начнетъ кружиться голова, потомъ сдѣлается біенье сердца, а тамъ расходятся нервы, и тогда хоть изъ дому вонъ бѣги. Эта странная болѣзнь появилась у нея черезъ три дни послѣ свадьбы, и все усиливалась постепенно. Сначала, когда она была молода и хороша, съ ней дѣлалось только дурно; потомъ стали показываться судороги: на тридцатомъ году въ однѣхъ рукахъ, на тридцать пятомъ—ей стало сводить и ноги, а какъ стукнуло сорокъ, такъ ее начало такъ коверкать, что бѣдный мужъ не зналъ подчасъ куда и дѣваться. «Что это за болѣзнь такая?» говаривалъ онъ часто, вздыхая отъ глубины сердца: «что годъ, то хуже! Вотъ, если бы по прежнему съ ней дѣлались однѣ дурноты, такъ это бы еще ничего; а то, начнетъ ее коробить, сердечную..... Ахъ, Ты, Господи! Страшно и подумать! По неволѣ закричишь: Матушка! Марья Никитишна! уймись только — все будетъ по

твоему!..... Эко горе наслалъ Господь — эко горе! Что будешь дѣлать?.... А вѣдь жена-то какая!.... Смиренница, золото — словечка никогда вопреки не скажетъ!»

У Касьяна Гурьевича и Марьи Никитишны сыновей не было, а была только одна дочь: лицомъ прелесть, душей ангелъ, умница, музыкантша, ну, словомъ, украшенье и честь всего города Бабкова. Отецъ любилъ ее безъ памяти, мать также любила, но только по своему, то есть, Марья Никитишна хотѣла непремѣнно, чтобъ Варинька думала ея головою, видѣла ея глазами и находила хорошимъ только то, что̀ казалось хорошимъ ея матери. Почему бы и не такъ? Мать не злодѣйка дочери. Да у Марьи Никитишны былъ такой странный вкусъ, такія чудныя понятія о мужской красотѣ и супружескомъ счастіи, что бѣдная Варинька, не смотря на свою покорность и почтеніе къ матери, не могла никакъ быть одного съ нею мнѣнія. Напримѣръ: Марьѣ Никитишнѣ очень не нравился отставной Поручикъ Иванъ Алексѣевичъ Холминъ, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати пяти, который вышелъ въ отставку для того только, чтобъ успокоить свою старую мать и управлять небольшимъ ея имѣніемъ. Марья Никитишна не любила его, во-первыхъ, потому, что у него было только сто душъ; во-вторыхъ, потому, что онъ былъ человѣкъ нечиновный; въ-третьихъ, потому, что у него были большіе черные глаза, смуглое, мужественное лицо, милая, добродушная улыбка, прекрасный ростъ, любезность, умъ — и что все это, по ея замѣчанію, очень нравилось ея Варинькѣ.

Въ то же время Марьѣ Никитишнѣ очень былъ по сердцу Статскій Совѣтникъ Осипъ Андреевичъ Кочька, который показывалъ явное предпочтеніе Варинькѣ передо всѣми невѣстами города Бабкова, не смотря на то, что она обращалась съ нимъ очень холодно и почти всякій разъ уходила къ себѣ въ комнату, когда онъ пріѣзжалъ къ нимъ въ гости.

Хотите ли узнать, что̀ такое этотъ Статскій Совѣтникъ Осипъ Андреевичъ Кочька? Ему безъ малаго сорокъ пять лѣтъ, у него семьсотъ душъ, въ городѣ каменный двухъ-этажный домъ, въ деревнѣ огромныя хоромы, регулярный садъ, оранжереи, музыка, пѣвчіе..... Собой онъ не очень красивъ: у него блѣдное, круглое лицо, бѣлое какъ снѣгъ; волосы и брови также почти бѣлые, глаза свѣтлосѣрые, носъ плоскій, въ лицѣ никакого выраженія: оно какъ будто бы вылито изъ бѣлаго воска въ какую-то засоренную форму, и потомъ оставлено такъ, безъ всякой отдѣлки. Онъ худъ, высокъ, прямъ, неподвиженъ, повертывается всемъ корпусомъ, накрахмаленъ съ ногъ до головы, и весь въ черномъ, выключая галстуха, который онъ всегда носитъ бѣлый. Съ перваго взгляду Осипъ Андреевичъ чрезвычайно походитъ на длинную трость изъ чернаго дерева, съ бѣлымъ костянымъ набалдашникомъ. Вмѣсто ремешка, у него всегда мотается на шеѣ лорнетъ, прицѣпленный къ толстому снурку изъ чернаго бисера.

Теперь, когда ужъ вы познакомились съ главными дѣйствующими лицами моего драматическаго разсказа, я на нѣсколько времени спрячусь за кулисы и выпущу

на сцену ихъ самихъ. Я не хочу описывать по одиначкѣ всѣ второстепенные персонажи — это очень растянуло бы экспозицію моей были; а я, какъ искусившійся драматическій писатель, до смерти этого боюсь. Да и зачѣмъ? Если вы станете слушать ихъ разговоры, то вѣроятно и безъ меня тотчасъ съ ними познакомитесь.

—

ГЛАВА II.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОРЪ.

Кабинетъ Касьяна Гурьевича — небольшая комната о двухъ окнахъ; стѣны оклѣены зелеными гладкими обоями; обитое ситцомъ канапе; надъ нимъ висятъ гравированные портреты: Петра I-го, Екатерины II-й, Суворова, Потемкина, и большой эстампъ, представляющій Полтавскую битву. Между окнами, на полкахъ, изъ простаго дерева, нѣсколько толстыхъ томовъ, переплетенныхъ въ корешокъ, Московскихъ Вѣдомостей, второй и третій томъ Русскихъ сказокъ, Зубоскалъ, шесть томовъ журнала: «Ипокрена, или утѣхи Любословія» — книга: «Воинскія Правила, како непріятельскія крѣпости силою брати», Брюсовъ Календарь, Путешествіе ко Святымъ мѣстамъ пѣшеходца Василья Григорьевича Барскаго; Россъ въ Италіи; Дѣянія Петра Великаго, и полное собраніе сочиненій Сумарокова. По стѣнамъ висятъ ружья и пистолеты, арапникъ, охотничій ножъ, Черкесская шашка, ятаганъ и нѣсколько кинжаловъ. Касьянъ Гурьевичъ, въ мундирномъ сюртукѣ, сидитъ за письменнымъ столомъ; передъ нимъ стоитъ Частный Приставъ, въ полной формѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, читая бумагу.

...«Вышерѣченный купеческій сынъ Иванъ Подшибаевъ, не смотря на увѣщанія товарища своего, лобазника Никиты Горечихина, вошелъ въ такой азардъ, что къ явному нарушенію всякаго благочинія, и оскорбле-

нію моей личности, началъ ударять меня нещадно кіемъ, оборотя оный толстымъ концемъ; потомъ, въ присутствіи самого трактиро-содержателя, ухвативъ меня за бороду и извергая всякія хульныя слова, таскалъ меня столько, сколько душѣ его было угодно: въ доказательство чего, прилагаю у сего, завернутый въ особой бумажкѣ цѣлый клокъ волосъ, выдернутый имъ изъ собственной моей бороды... Къ сему прошенію...» Ба, ба, ба! мѣщанинъ Андрей Пироговъ — человѣкъ смирный, не пьющій!... Что жъ въ самомъ дѣлѣ!—Да, долго ли этому купчишкѣ буянить? не пройдетъ недѣли, чтобъ онъ съ кѣмъ нибудь не подрался... Въ сибирку его! Пусть посидитъ тамъ недѣльки двѣ, такъ, авось, будетъ умнѣй!.... Слышишь, Артемій Михайлычъ!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВЪ.

Слушаю-съ, Касьянъ Гурьичъ! Только осмѣлюсь доложить: отецъ Подшибаева, какъ вамъ самимъ извѣстно, первый купецъ здѣшняго города.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Такъ что жъ?

ПРИСТАВЪ.

Онъ пользуется уваженіемъ всего купеческаго общества.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да худо смотритъ за сыномъ.

ПРИСТАВЪ.

Не прикажете ли ужъ просто на съѣзжій дворъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ!... Этого озарника отецъ мало учитъ, такъ я проучу его порядкомъ. Онъ богатъ, такъ думаетъ, что

ему все съ рукъ сойдетъ. Нѣтъ, голубчикъ! Вѣдь я денегъ-то у отца твоего не занимаю, да и занимать не стану — въ сибирку его! (Беретъ другую бумагу.) А это что такое? — (Читаетъ.) «Вчерашняго числа, въ часъ по полуночи, крѣпостной слуга его сіятельства Князя Чухалова, Антонъ Прокофьевъ, будучи въ нетрезвомъ видѣ, на окликъ будошника Второй Части, Перваго Квартала: «кто идетъ?» отвѣтствовалъ: «чортъ!» А когда будошникъ хотѣлъ остановить его, онъ, Прокофьевъ, обругавъ его костыльникомъ, міроѣдомъ, и разными другими поносными словами, учинилъ ему удареніе въ лѣвую щеку, съ поврежденіемъ одного кореннаго зуба, и разбитіемъ губъ...» Ба, ба, ба! Ударить часоваго!... Ахъ, онъ разбойникъ!... Отодрать его!

ПРИСТАВЪ.

Вы, можетъ быть, не изволите знать, Касьянъ Гурьичъ, вѣдь Прокофій любимый слуга его сіятельства Князя Чухалова: такъ не лучше ли отослать его къ барину?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Чтобъ онъ далъ ему потачку? Нѣтъ, братецъ! Мы съ Княземъ въ ладахъ. Да это само по себѣ — дружба дружбой, а служба службой... Ну, что у тебя еще?

ПРИСТАВЪ.

Такъ-съ, ничего-съ! Понужденіе Градскому Главѣ о скорѣйшемъ вымощеніи площади на Нижнемъ Базарѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Давай! (Подписываетъ.)

ПРИСТАВЪ.

А это ежедневный рапортъ о состояніи острога и о числѣ колодниковъ. Да, еще просьба мѣщанки, вдовы

Пентюхиной, на ея брата, харчевника Власа Котомкина.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эка ябѣдница! Вотъ ужъ на третьяго брата просьбу подаетъ!...

ПРИСТАВЪ.

Что жъ дѣлать, Касьянъ Гурьичъ? Ея дѣло вдовье — заступиться некому.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Некому? Полно, такъ ли? Да, вотъ, и ты за нее всегда заступаешься — только рѣчей: «беззащитная вдова! въ разоръ разорили братья!» А сама ходитъ въ атласныхъ шляпкахъ! — Эхъ, Артемій Михайлычъ! не хорошо! Воля твоя — не хорошо! Ты человѣкъ должностной, семейный...

ПРИСТАВЪ.

Кто? Я-съ? Помилуйте-съ!... Я ничего-съ, точно ничего-съ!... Это все злые люди говорятъ, Касьянъ Гурьичъ... Ей, ей, такъ-съ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

То-то, братецъ!

ПРИСТАВЪ.

Да, я что хотите, Касьянъ Гурьичъ... Да, чтобъ мнѣ дѣтей моихъ не видать... чтобъ мнѣ...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Полно, полно! Не божись, а скажи ей, чтобъ она унялась на братьевъ-то просьбы подавать; да порѣже ѣздила на лихихъ извощикахъ... Ну, теперь все?

ПРИСТАВЪ, въ полголоса.

Я слышалъ еще, Касьянъ Гурьичъ, что этотъ генералъ, котораго присылали ревизовать нашу губернію, дня черезъ три выѣзжаетъ обратно въ Петербургъ, и заѣдетъ сюда.....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, что жъ? Милости просимъ.

ПРИСТАВЪ.

Его превосходительство изволитъ остановиться въ домѣ Князя Чухалова, съ которымъ онъ въ родствѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Право?

ПРИСТАВЪ.

Говорятъ, что такъ-съ. Ужъ позвольте, Касьянъ Гурьичъ, отослать къ его сіятельству этого пьяницу Прокофья?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, братецъ, нельзя! Ну, пусть бы что нибудь другое, а то ударить часоваго! Да, этакъ такую дашь повадку, что изъ города вонъ бѣги!

ПРИСТАВЪ.

Да вы извольте только отпустить теперь; а ужъ послѣ-то мы какъ нибудь придеремся.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Полно, Артемій Михайлычъ! Мужикъ ты умный, а какую дичь порешь! Ужъ если наказывать человѣка, такъ надобно, чтобъ и онъ зналъ, и всѣ знали, за что его наказываютъ. Конечно, полиція, не что другое, какъ разъ можетъ придраться — да, что жъ въ этомъ

хорошаго?..... Нѣтъ, любезный! Дѣлай все на чистоту, такъ — глядишь: одинъ посердится, а десятеро скажутъ спасибо. Ну, теперь ступай, Артемій Михайлычъ! Да, смотри, чтобъ все было исправно. Пожарную команду я самъ сегодня осмотрю, а можетъ статься, и въ острогъ заѣду..... Прощай, любезный!

Частный приставъ кланяется, и уходя встрѣчается въ дверяхъ съ Марьею Никитишной.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А, здравствуйте, Артемій Михайлычъ! Здорова ли ваша Ольга Ѳедоровна?

ПРИСТАВЪ, кланяясь.

Слава Богу-съ!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Поклонитесь ей отъ меня!

ПРИСТАВЪ.

Буду кланяться! (Уходитъ.)

МАРЬЯ НИКИТИШНА, цѣлуя мужа.

Ну, что, мой другъ, Касьянушка, какъ ты почивалъ эту ночь?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что, матушка, мухи замучили!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Проклятыя!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И откуда ихъ набралось? Видимо-невидимо!..... Да, вѣдь какъ кусаются!....

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Негодныя!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ужъ я вертѣлся, вертѣлся! И такъ, и этакъ! Нѣтъ! лѣзутъ въ глаза — да и только!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ахъ, онѣ мерзкія! Вотъ, подумаешь, на что эта тварь создана!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Э, матушка, не наше дѣло! А ты, мой другъ, что?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да такъ, что-то не по себѣ; мнѣ также всю ночь не спалось, только отъ другаго—все думала о Варинькѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А что такое?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Какъ что? — Да, вѣдь черезъ три недѣли ея рожденье.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, да! Я знаю.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ей минетъ двадцать лѣтъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Такъ, что жъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ахъ, Касьянъ Гурьичъ! Да вѣдь еще годокъ, другой, такъ начнутъ говорить, что она въ дѣвкахъ засидѣлась.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Начнутъ говорить — кто? Дураки, да старыя сплетницы? Двадцать лѣтъ!... Да что это за года?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Года не года.... Однако жъ, дѣвушка въ двадцать лѣтъ.....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что? Чай, перестарокъ?.. Да ты сама, Марья Никитишна, на которомъ году вышла за меня замужъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Я, батюшка, дѣло другое: у меня была не мать, а мачиха — кому было обо мнѣ подумать? А мы, вѣдь, у ней родныя. Ну, что хорошаго, если станутъ говорить: что мы заѣли вѣкъ у нашей дочери, не хотѣли ее пристроить, засадили ее вѣчно въ дѣвкахъ.....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, пусть себѣ говорятъ! Отъ злыхъ людей не уйдешь, и всѣхъ рѣчей не переслушаешь. По мнѣ, что хочешь болтай — «собака лаитъ, вѣтеръ носитъ!»

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ахъ, другъ мой, что у тебя за пословицы такія!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

«На всякое чиханье не наздравствуешься.»

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну!!! — Пошолъ!....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, «если слушать всѣ людскія рѣчи...»

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Знаю, батюшка, знаю! «Придется намъ осла ввалить на плечи.» Ты мнѣ сто разъ читалъ эту глупую басню.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, Марья Никитишна, эта басня не глупа, и Сумароковъ не дуракъ. А впрочемъ, зачѣмъ дѣло стало? У Варинькп женихи есть; да только вотъ бѣда: за одного она сама нейдетъ, а за другаго ты не хочешь ее выдать.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

За другаго? А кто этотъ другой?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Иванъ Алексѣичъ Холмынъ, малый славный!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да! Ужъ нечего сказать!... Ну, помилуй, Касьянъ Гурьичъ: что хорошаго въ этомъ цыганѣ? И что онъ такое? Офицерикъ, бѣднякъ! Физіономія самая обыкновенная — улыбается точно какъ простой мужикъ: нѣтъ никакого благородства въ чертахъ. Сейчасъ видно мелкаго дворянчика. Мать настоящая клюшница; отецъ былъ какой-то армейщина — вѣрно, изъ даточныхъ... Ну, право, не понимаю, какъ онъ могъ попасть въ нашъ кругъ? А все эта Княгиня Хайбазова! Понравилось, что у него смуглое лицо и носъ съ горбомъ. Вотъ, изволите видѣть: «походитъ на Малекъ-Аделя». Ну, пусть онъ Малекъ-Адель, да только Варинька-то мол не Матильда! Прошу не прогнѣваться!— То ли дѣло Осипъ Андреичъ Кочька? Вотъ, отличный молодой человѣкъ!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, что за молодой — помилуй! Ему за сорокъ лѣтъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Что ты? что ты? Ни одного сѣдаго волоска!... А какая наружность! Что за благородное лицо — ужъ тутъ не ошибешься — баринъ! А какое образованіе! Говоритъ, какъ книга!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, матушка! Да вѣдь книги-то есть преглупыя.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Классный чинъ, состояніе прекрасное... Вотъ женихъ! А эта дура не хочетъ на него и смотрѣть!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что жъ дѣлать, мой другъ? Видно, не пришолъ ей по-сердцу.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

По-сердцу? Да, ее ли дѣло выбирать себѣ мужа? Да, мы-то что такое? Что ты ей вотчимъ что ль — а я мачиха?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Послушай, Марья Никитишна, я тебѣ ужъ говорилъ, и теперь еще скажу: не позволю я дочери выйти замужъ ни за кого безъ твоего согласія, да не хочу также Варинькy и неволить. Конечно, я ничего не могу сказать дурнаго о твоемъ Осипѣ Андреичѣ Кочькѣ — человѣкъ онъ смирный, поведенія хорошаго, и если бъ только понравился Варинькѣ, такъ и съ Богомъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, почему жъ онъ ей не нравится?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Почему? Ну, видно, потому, что собой-то онъ не очень красивъ, да и забавы отъ него большой нѣтъ.

Вотъ, я, напримѣръ, лишь только съ нимъ сойдусь — да онъ примется говорить,... что ты будешь дѣлать — тоска! Кажется, рѣчь ведетъ разумную, все отборными словами, свысока, а скука смертная!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Это отъ того, мой другъ, что онъ человѣкъ ученый.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Можетъ быть! Да, зачѣмъ же онъ держитъ себя такимъ рожномъ? Когда стоитъ на одномъ мѣстѣ, точно какъ будто бы желѣзный аршинъ проглотилъ; а какъ начнетъ ходить, такъ, словно, весь на винтахъ, и не самъ вертится, а поворачиваютъ его рычагомъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А ты хотѣлъ бы, чтобъ человѣкъ ученый и степенный вертѣлся на одной ножкѣ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, можно и ученому человѣку сказать иногда словечко въ простотѣ и держать себя посвободнѣе. Ну, повѣришь ли, каждый разъ, когда я съ нимъ вмѣстѣ, мнѣ все хочется скомандовать: «съ плеча! — вольно!» Впрочемъ, я опять тебѣ говорю, человѣкъ онъ смирный, ведетъ себя благородно, и когда бъ Варинька была согласна...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, ты поговори съ нею объ этомъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что тутъ говорить? Ужъ если онъ ей не любъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, ты скажи ей: «Варинька! Я хочу, чтобъ ты вышла замужъ за Осипа Андреича.»

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, матушка, да вѣдь отцовское-то: «хочу» почти все то же, что командирское: «приказываю».

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ что жъ? Кому и приказывать дѣтямъ, какъ не отцу.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, только не въ такомъ дѣлѣ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, *лаская своего мужа.*

Душинька!... Касьянушка!... жизнёночекъ мой! Поговори ей, пожалуста! Я не требую, чтобъ ты ей приказывалъ; да, пускай же она знаетъ, что ты желалъ бы выдать ее замужъ за Осипа Андренча; что она этимъ успокоитъ твою старость...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, жена! Ни за что не скажу. Вотъ, если бъ она сама хотѣла выйти за него замужъ, ну, такъ и быть, согрѣшилъ бы, окаянный — сказалъ бы: что мнѣ это пріятно; а то изъ чего?... Давай-ка правду говорить: что онъ ей пара, что ль? Не бѣда, если мужъ лѣтъ десять постарше жены, — ну, куда не шло и пятнадцать! а какъ всѣ двадцать пять наберутся, такъ — ой, ой, ой! Нѣтъ, Марья Никитишна, тутъ не только приказывать, да и совѣтывать-то страшно!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ ты, мой другъ, не хочешь съ нею поговорить?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ

Не хочу.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну, воля твоя! Ты знаешь, Касьянъ Гурьичъ, я никогда не смѣю съ тобою спорить — и какъ мнѣ не прискорбно... Охъ!... (Берется руками за голову).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что ты?...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ничего, мой другъ, ничего! — Голова что-то кружится..

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Вѣрно, не выспалась?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Я думаю. Конечно, я очень бы желала устроить счастіе нашей дочери; но если тебѣ не угодно... Охъ!... (Прикладываетъ руку къ сердцу).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что ты? Что ты?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ, ничего! Обыкновенная моя болѣзнь — біенье сердца.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Не послать ли за докторомъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Пройдетъ, мой другъ, пройдетъ!.... Какъ жаль, что Осипъ Андреичъ тебѣ не нравится!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, не обо мнѣ рѣчь, Марья Никитишна.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А, какъ онъ тебя уважаетъ! Какъ любитъ все наше семейство!... Охъ!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что, матушка, біенье-то сердца не перестаетъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Нѣтъ, все сильнѣе... Я не смѣю тебѣ противорѣчить; ты знаешь, твоя воля для меня законъ... Но отказать такому жениху... Ой, ой, ой!!! (У ней начинаетъ подергивать лѣвое плечо).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, съ большимъ испугомъ.

Матушка! матушка!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ничего, пройдетъ!... Охъ!... Разстроилъ ты меня, мой другъ!... Охъ, батюшки!... Сводитъ ногу... Ой, ой, ой!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Марья Никитишна! Марья Никитишна!... Да успокойся!... Я, право, не думалъ тебя огорчить.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, валяется на канапе, и мечется во всѣ стороны.

Охъ, душно! Смерть моя, душно!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, подаетъ ей стаканъ воды.

Вотъ вода—выкушай, мой ангелъ, выкушай!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Нѣтъ, мой другъ, это не поможетъ... Охъ!... Что дѣлать, ты не хочешь поговорить съ Варинькой... Охъ!... Такъ и я ужъ говорить ничего не буду... Охъ, батюшки!... охъ!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Другъ мой сердечный, матушка Марья Никитишна! Вѣдь я это такъ сказалъ—право, такъ!... Если хочешь, я сейчасъ же съ ней поговорю...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, голубчикъ мой Касьянушка, поговори!... Охъ!... Дай-ка водицы! (Пьетъ).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, что?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ухъ!... Постой, постой, дай отдохнуть! Кажется, крошечку полегче.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Слава Богу!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Охъ, ужъ мнѣ это біенье сердца — замучило!... Такъ ты, мой другъ, скажешь Варинькѣ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Скажу, мой ангелъ, скажу!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Она сейчасъ придетъ сюда... Что это за тяжкая у меня болѣзнь!... Ты не можешь себѣ представить, что я чувствую!... Охъ!... Ужъ какъ бы я хотѣла скрыть отъ тебя — да не могу, никакъ не могу!... Охъ, батюшки! Охъ!... Дайка еще воды! (Пьетъ).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что, легче тебѣ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Теперь гораздо легче; сегоднишній припадокъ не очень былъ силенъ... Смотри жъ, душенька, поговори хорошенько съ Варинькою; вразуми эту глупую дѣвочку. Вѣдь ты, если захочешь, такъ говоришь очень краснорѣчиво.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, Марья Никитишна, кабы ты знала, какъ мнѣ это тяжело!

МАРЬЯ НИКИТИШНА, хватаясь за голову.

Охъ!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, хорошо, хорошо, матушка!... Поговорю, поговорю!... Да, вотъ, кажется, и Варинька!

(Входитъ Варинька).

ВАРИНЬКА, цѣлуя руку у Касьяна Гурьевича.

Здравствуйте папенька!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Здравствуй, мой другъ! Здравствуй! Ну, что Варинька, тебѣ весело было вчера на балѣ у Чернобыльевыхъ?

ВАРИНЬКА.

Нѣтъ-съ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Какъ нѣтъ? Помилуй, душенька? Чего жъ лучше этого бала? Угощеніе прекрасное, музыка Осипа Андреича Кочьки — отличная музыка! Все наше лучшее общество...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Конечно, общество было прекрасное—первый здѣшній кругъ; смѣси никакой не было — не такъ, какъ у этой Княгини Хайбазовой, которая назоветъ всякой дряни, какихъ-то гостей съ того свѣта—отставныхъ офицериковъ, однодворцевъ... Пойдешь Польскій съ человѣкомъ порядочнымъ, вдругъ отхлопнетъ тебя Богъ знаетъ кто!—Ну, ужъ нечего сказать, не мастерица давать балы.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Однако жъ ты, Варинька, вчера много танцовала?

ВАРИНЬКА.

Мнѣ приказала маменька.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И все, кажется, съ Осипомъ Андреичемъ Кочькою?

ВАРИНЬКА, печальнымъ голосомъ.

Да-съ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А что, мой другъ, вѣдь онъ очень любезный человѣкъ?

ВАРИНЬКА.

Кто? Осипъ Андреевичъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, да!

ВАРИНЬКА.

Да-съ, онъ очень вѣжливъ и, кажется, добрый человѣкъ; только мнѣ съ нимъ скучно.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Отъ того, что ты глупа.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Марья Никитишна!... Да, отъ чего же, Варинька, тебѣ съ нимъ скучно?

ВАРИНЬКА.

Я и сама не знаю, папенька; онъ такой странный — говоритъ такъ протяжно...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

За то умно, сударыня.

ВАРИНЬКА.

А ужъ какъ танцовать съ нимъ неловко! Какой онъ неповоротливый!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, это правда; онъ вовсе не походитъ на какого нибудь армейскаго Поручика, который привыкъ маршировать подъ барабанъ...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Марья Никитишна!!.. Я замѣтилъ, что онъ много говорилъ съ тобою, Варинька.

ВАРИНЬКА.

Да-съ, онъ все говорилъ со мною о музыкѣ, да такъ странно, что я ничего понять не могла. Онъ увѣрялъ меня, что я смотрю на музыку не съ той точьки зрѣнія, что музыка не то что музыка, а звуки не то что звуки; что пѣть или играть на какомъ нибудь инструментѣ не значитъ ни пѣть, не играть, а только различнымъ образомъ потрясать воздухъ, и что я потрясаю воздухъ очень хорошо, а особливо когда пою Италіянскія аріи...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А по мнѣ, такъ вѣкъ бы ихъ не слышать. То ли дѣло, когда ты поешь Русскія пѣсни!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ахъ, Касьянъ Гурьичъ! Что у тебя за вкусъ такой!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, воля твоя, матушка! Когда Варинька запоетъ: «Душа ль ты моя, душинька, милъ сердечный другъ!» такъ у меня сердце такъ выскочить и хочетъ!

МАРЬЯ НИКИТИШНА, тихо мужу.

Да, что же ты, Касьянъ Гурьичъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Сейчасъ, сейчасъ! Ну, что, мой другъ Варинька, Осипъ Андреичъ ничего другаго съ тобой не говорилъ?... (Варинька молчитъ). Что же ты молчишь?... Эге!... Да ты покраснѣла! Видно, онъ съ тобой не объ одной музыкѣ разговаривалъ? Ну, о чемъ же онъ еще говорилъ?

ВАРИНЬКА.

Я, право, забыла, папенька.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ я за тебя вспомню. Онъ говорилъ тебѣ о любви своей, и просилъ позволенія искать твоей руки; я знаю также, что ты ему на это отвѣчала.

ВАРИНЬКА.

Да, почему жъ вы это знаете, маменька?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Потому, сударыня, что Осипъ Андреичъ человѣкъ благородный; что намѣренія его честны, и что онъ не станетъ скрывать отъ матери то, что говоритъ съ дочерью: вѣдь это дѣлаютъ одни только негодяи, сорванцы и развратники, которые, зная напередъ, что имъ будетъ отказано, стараются, въ тихомолку, кружить головы неопытнымъ дѣвочкамъ и пріучать ихъ понемногу къ мысли, что можно выходить замужъ противъ воли отца и матери, что для этого не нужно родительскаго благословенія, что любовь извиняетъ все, и прочее, и прочее... Нѣтъ, мой другъ! Осипъ Андреичъ не таковъ: онъ человѣкъ нравственный; онъ не станетъ изъясняться въ любви ни одной дѣвушкѣ, не испроси

прежде позволенія у ея родителей — и тогда, если понравится...

ВАРИНЬКА.

А если не понравится, маменька?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Какъ не понравится?... Да, развѣ такой отличный человѣкъ можетъ не нравиться какой бы то ни было дѣвушкѣ, если только въ ней есть хоть на волосъ здраваго смысла? Одна только пошлая дура откажетъ такому жениху.

ВАРИНЬКА.

Такъ я очень глупа, маменька.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Вздоръ, вздоръ, сударыня, ты не глупа! Нѣтъ, матушка, тутъ есть что нибудь другое!..... Да, растолкуй ей, Касьянъ Гурьичъ, что она должна съ благодарностью принять предложеніе Осипа Андреича.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Въ самомъ дѣлѣ, Варинька. Да что жъ тебѣ не нравится въ Осипѣ Андреичѣ? Человѣкъ онъ смирный, добрый; говорятъ, ученъ такъ, что и сказать нельзя! Конечно, онъ могъ бы быть помоложе, да вѣдь молодость, мой другъ, проходитъ; и ты будешь стара.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Разумѣется! Что такое молодость? Вздоръ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Онъ не красавецъ, однако жъ и уродомъ его назвать нельзя; а вѣдь мужъ не что другое—къ нему какъ разъ приглядишься; хорошъ ли онъ собою, дуренъ ли — все мужъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Конечно, конечно! Красота послѣднее дѣло. Да если правду сказать, такъ сохрани Господи имѣть мужемъ красавца, да это наказаніе небесное! На красавца-то всѣ засматриваться станутъ, а эти мужчины..... Избави Господи!..... Повѣрь, мой другъ, чѣмъ мужъ дурнѣй собою, тѣмъ жена счастливѣй.....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ, Марья Никитишна— иль я съ молоду-то.....

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну, полно, полно! Тебя только одни усы и красили! Ужъ, конечно, ты никогда не былъ лучше Осипа Андреича. Одѣнь-ка его въ гусарскій мундиръ.....

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да! хорошъ будетъ!...

ВАРИНЬКА.

Ахъ, маменька, да я объ этомъ совсѣмъ не думаю. Я ни за кого не пойду замужъ — я хочу жить вмѣстѣ съ вами.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, вотъ слышишь, Марья Никитишна? Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, если она такъ насъ любитъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Пустое, батюшка! Ты мужчина, ты этого не знаешь. Мы всѣ этакъ говоримъ, а дай-ка намъ волю выбирать мужей, такъ завтра же ни въ одной семьѣ взрослой дѣвицы не останется.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Выбирать мужей! Да это отъ части и резонно, Марья Никитишна! Тутъ нельзя безъ выбора — вѣдь женитьба не танцы: кто первый пòзвалъ, съ тѣмъ и ступай. Нѣтъ, матушка! «Замужъ выходи, а въ оба гляди!»

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Откуда берутся у тебя эти пословицы?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А по твоему что? «Была подъ вѣнцомъ, такъ дѣло и съ концомъ»..... Нѣтъ, Марья Никитишна, поживи-ка цѣлый вѣкъ съ мужемъ; а «вѣкъ прожить, не поле перейдти»... Что ты, мой другъ, что ты?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ничего! — Варинька! Тамъ въ спальной, на столикѣ, мой флакончикъ съ спиртомъ.

ВАРИНЬКА.

Сейчасъ, маменька. (Уходитъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Помилуй, Касьянъ Гурьичъ, что ты дѣлаешь?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Какъ что?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну, то ли ты мнѣ обѣщалъ? Да ты не уговаривалъ, а отговаривалъ ее итти замужъ! Чѣмъ бы тебѣ сказать, что ты этого желаешь, что отъ этого зависитъ твое спокойствіе...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, матушка! Да развѣ насильно ее тащить подъ вѣнецъ! Вѣдь ты слышала, что она ни за кого итти замужъ не хочетъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

И ты этому вѣришь? Охъ, вы, мужчины, мужчины! Ну, какъ послѣ этого васъ не обманывать? Да, дура та женщина, которая васъ за носъ не водитъ. Видно, ужъ вы на это и Богомъ созданы.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, почему жъ мнѣ этому не вѣрить?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Почему?.. А вотъ погоди немного!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Воля твоя, матушка, а я думаю...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Тише, тише!.. Она идетъ.

ВАРИНЬКА, входитъ и подаетъ флакончикъ Марьѣ Никитишнѣ.

Вотъ вашъ спиртъ, маменька!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Спасибо, мой другъ. (Нюхаетъ). Охъ!.. Какъ мнѣ сегодня тяжело!.. До смерти боюсь... Какъ расходятся нервы— бѣда!.. Мы сейчасъ, Варинька, о тебѣ съ мужемъ говорили. Пріятно намъ видѣть, что ты такъ искренно къ намъ привязана. Касьянъ Гурьичъ убѣдилъ меня, что ты точно изъ любви къ намъ не хочешь ни за кого выйти замужъ — и признаюсь, это меня до души тронуло! Но неужели ты думаешь, что мы согласимся на такое пожертвованіе? Да развѣ мы должны любить дѣтей своихъ для себя? Нѣтъ, Варинька, не такіе мы родители — лишь только бы устроить твое счастіе, а объ насъ, мой другъ, не думай!

ВАРИНЬКА.

Но я увѣряю васъ, маменька...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Полно, полно! и слышать не хочу! Да если бъ мы были такъ безсовѣстны, что ради своего собственнаго удовольствія засадили бы тебя въ дѣвкахъ, такъ что будутъ говорить всѣ добрые люди? Не станетъ ли весь городъ осуждать насъ? Пожалуй скажутъ, что мы не выдаемъ тебя замужъ, потому что намъ жаль приданаго.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И, матушка! кому въ голову придетъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Кому? Всѣмъ, батюшка! Да, оно весьма и натурально... Что, въ самомъ дѣлѣ? Всѣ выходятъ замужъ, а лучшая невѣста въ городѣ...

ВАРИНЬКА.

Да, если, маменька, я сама этого хочу...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Сама! сама!... Ахъ, матушка, вѣдь не публиковать же намъ въ газетахъ, что ты сама хочешь оставаться въ дѣвкахъ! А если бъ мы и публиковали, такъ намъ никто не повѣритъ. Что у насъ жениховъ, что ль, нѣтъ? Вотъ, напримѣръ: дочери Княгини Хайбазовой — ужъ что и говорить! Наказалъ Господь эту гордую женщину: одна дочь кривая, другая кривобокая, третья совсѣмъ уродецъ — а всѣ три выпли замужъ. Да, вотъ хоть Машинька, дочь нашего казначея Ивана Ѳедоровича Мушкина. Ну что она такое? дѣвочка глупенькая, необразованная, корсета не умѣетъ надѣть порядкомъ, и до сихъ поръ еще не выходила изъ ситцевыхъ платьевъ — и та вчера поймлена!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Право!... За кого, матушка?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

За сына, вотъ, этой старушки Холминой.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Неужели?

Варинька блѣднѣетъ; Марья Никитишна продолжаетъ, какъ будто бы не примѣчая ничего.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Конечно, не блестящая партія, да и она-то что такое? — Мнѣ сказывала объ этомъ вчера Матрена Карповна Мутовкина, и ужъ какъ мы хохотали! Представь себѣ, мой другъ: люди, кажется, неважные, а вѣдь что затѣяли?... И сватовство, и помолвка, все дѣлалось секретно: видно, боялись, что такое необычайное происшествіе взволнуетъ городъ, что во всѣхъ церквахъ начнутъ въ колокола звонить. Шутка ли, подумаешь: Марья Ивановна Мушкина выходитъ замужъ!.. Да, вѣдь какую важность-то изъ этого дѣлаютъ—государственный секретъ, да и только! — Маргарита Савишна Апёнкова ѣздила нарочно спрашивать объ этомъ Ивана Ѳедоровича: такъ онъ и руками, и ногами! Да Матрена Карповна, кажется, будетъ у нихъ посаженою матерью, такъ знаетъ навѣрно. Не правда ли, мой другъ, что это очень походитъ, помнишь прошлаго года, проѣзжій-то?...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, да! Этотъ Петербургскій фертикъ, какой-то помощникъ столоначальника, который, чтобъ не потревожить своимъ присутствіемъ мѣстнаго начальства, хо-

тѣлъ непремѣнно проѣхать инкогнито нашъ городъ?... Какъ не помнить!... Да, что ты Варинька? Отъ чего ты такъ блѣдна?

ВАРИНЬКА.

Ничего, папенька.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А теперь въ краску бросило!

МАРЬЯ НИКИТИШНА, подавая ей флакончикъ.

Понюхай, мой другъ, понюхай!... Это такъ! Вчера, видно, туго была зашнурована, много танцовала. Вотъ, выйдешь замужъ, такъ станешь больше себя беречь: не для кого будетъ затягиваться, да и танцовать-то не всегда можно будетъ. Послушай, Варинька, другъ мой! Согласись выдти замужъ за Осипа Андреича: ты будешь счастлива, вы станете жить по-барски. — Эта гордяшка Княгиня Хайбазова, которая теперь трактуетъ тебя какъ дѣвочку, за счастье почтетъ называться твоею пріятельницей; ты будешь первая дама въ нашемъ городѣ, да не только въ нашемъ, ты и въ губерніи-то станешь играть почти первую роль... Статская Совѣтница!... Мужъ съ плюмажемъ!... Карета цугомъ!... (Тихо мужу) Да что жъ ты молчишь?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, мой другъ!... Что, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же вѣчно въ дѣвкахъ оставаться... Конечно, если онъ тебѣ противенъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

И, что ты, Касьянъ Гурьичъ! Да можетъ ли это быть? Варинька, подумай хорошенько! Ты этимъ успокоишь нашу старость. Посуди сама: каково намъ ви-

дѣть, что даже Машинька Мушкина—и та будетъ пристроена, а ты станешь сидѣть все въ дѣвкахъ, и, можетъ статься, досидишь до того, что тебѣ на балахъ будутъ карточки подавать... Если ты выйдешь за Осипа Андреича, то никогда не разстанешься съ нами; вѣдь онъ здѣшній житель; а какъ выйдешь за другаго, такъ еще Богъ вѣсть! Умчитъ тебя за тридевять земель, и мы, на старости, останемся одни одинёхоньки... Варинька! ангелъ мой! утѣшенье наше! согласись! Успокой насъ! — (Варинька плачетъ). Да, полно, не плачь, мой другъ! Вѣдь мы не требуемъ, чтобъ ты сейчасъ рѣшилась.

ВАРИНЬКА.

Да, маменька!... Позвольте мнѣ подумать.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Подумай, мой другъ, подумай! Ступай теперь къ себѣ; пора одѣваться. Мы поѣдемъ сегодня съ визитомъ къ Мурашкинымъ, а оттуда надобно будетъ проѣхать къ Пѣшехонцовой...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, заверните хоть на минуту къ Марьѣ Филипповнѣ Ериковой. Вѣдь она ужъ разъ десять у насъ была.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ что жъ?... Ахъ, батюшки! Да неужели ей считаться съ нами визитами?... Вотъ забавно!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Жена! Гордымъ Богъ противится...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Знаю, батюшка, знаю!... Только, воля твоя, ужъ если всякая Губернская Секретарша будетъ требовать...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, закинь ей хоть карточку!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну, хорошо! Если успѣю. Пойдемъ, Варинька!

—

ГЛАВА III.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВІЕ.

Касьянъ Гурьевичъ остался одинъ; онъ велѣлъ закладывать дрожки, чтобъ отправиться осмотрѣть пожарную команду, и закурилъ свою пѣнковую трубку. Кто коротко зналъ всѣ привычки этого добраго старика, тотъ могъ легко отгадать, смотря на его пріемы при куреніи табаку, въ хорошемъ ли онъ, или дурномъ расположеніи духа. Когда Касьянъ Гурьевичъ бывалъ всемъ доволенъ, и душа его была спокойна, то обыкновенно курилъ свой кнастеръ съ прохладой и разстановкою, затягивался, глоталъ съ наслажденіемъ табачный дымъ, и выпускалъ его ртомъ и носомъ, тихо, ровно и безъ всякихъ порывовъ; когда же Касьяна Гурьевича тревожила какая нибудь непріятная мысль, то онъ вовсе не упивался ароматическимъ дымомъ порто-рико, а просто дулъ изо всей силы въ чубукъ, и поминутно... Какъ бы мнѣ описать вамъ это дѣйствіе?... Это особеннаго рода прищелкованье губа-

ми, которому нѣтъ названья на нашемъ языкѣ? Впрочемъ, я думаю, можно по звукоподражанію назвать это дѣйствіе: *пуханьемъ*. И такъ, всякій разъ, когда Касьянъ Гурьевичъ былъ чѣмъ нибудь недоволенъ и курилъ, то жегъ безъ милосердія свой кнастеръ, и пухалъ безпрестанно. На атотъ разъ пѣнковая трубка Касьяна Гурьевича походила на огнедышащую гору; изъ нея летѣли искры, сыпался пепелъ, и въ полминуты горница наполнилась такимъ густымъ дымомъ, что съ трудомъ можно было различать предметы.

«Что жъ это, въ самомъ дѣлѣ?» шепталъ онъ себѣ подъ носъ: «да, мы почти насильно выдаемъ ее замужъ... пухъ!!... Пристали съ ножемъ къ горлу!... пухъ, пухъ!... Конечно, онъ малый добрый... пухъ!... смирный, съ хорошимъ состояніемъ... а все онъ ей неровня!... Сорокъ пять лѣтъ!... пухъ, пухъ!... Она дѣвочка веселая, живая, а онъ тяжелъ, мямля... пухъ, пухъ, пухъ, пухъ!... Охъ, жена, жена! Ка бы не ты, ни за что бы на свѣтѣ... пухъ, пухъ!... Ну, что, если мы погубимъ Вариньку?... Ну, какъ она не станетъ любить своего мужа?... Зачахнетъ съ горя... умретъ прежде насъ... пухъ, пухъ, пухъ, пухъ, пухъ!...

«Алексѣй Андреичъ Чернобылинъ,» сказалъ слуга, растворивъ двери кабинета.

«Проси!»

Вотъ, черезъ минуту подъѣхала къ крыльцу четырехъ-мѣстная карета, брякнули подножкою, зашумѣли въ передней; вотъ, раздалось ужасное пыхтѣнье въ столовой, затрещали половыя доски и какое-то существо, среднее между человѣкомъ и годовалымъ бы-

комъ, ввалилось въ кабинетъ Касьяна Гурьевича. Представьте себѣ мужчину лѣтъ сорока, почти круглаго, не смотря на то, что онъ по росту годился бы въ гренадерскую роту любаго гвардейскаго полка. Конечно, въ нашей сытной и хлѣбной Россіи каждый помѣщикъ, живущій въ отставкѣ, имѣетъ полное право быть толще и дороднѣе того, кто ѣстъ въ день только по два раза и чѣмъ нибудь занимается, нельзя также сказать, чтобъ наше почтенное дворянство не пользовалось этимъ правомъ; но Алексѣй Андреевичъ Чернобылинъ перешелъ всѣ возможныя границы. Говорятъ, будто бы въ его застегнутый жилетъ свободно помѣщалось человѣкъ до трехъ. Это необъятное туловище оканчивалось небольшою круглою головой съ раздутыми щеками, маленькими глазами, вздернутымъ къ верху носомъ, и огромнымъ ртомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ задыхался, и никогда не могъ смѣяться безъ того, чтобъ не поперхнуться и не захрипѣть, какъ будто бы у него въ горлѣ остановилась кость. Онъ очень любилъ говорить о политикѣ; выписывалъ всѣ Русскіе журналы и Гамбургскія газеты; игралъ недурно въ шахматы и отлично хорошо въ бостонъ. Это были его любимыя занятія. Иногда, для разнообразія, господинъ Чернобылинъ присоединялъ къ этимъ занятіямъ еще одно, весьма пріятное времяпрепровожденіе: онъ билъ хлопушкою мухъ и кормилъ изъ своихъ рукъ грецкими орѣхами индѣйскихъ пѣтуховъ. Говоря объ особенностяхъ, которыми отличался Чернобылинъ отъ другихъ дворянъ города Бабкова, нельзя не упомянуть о его щегольствѣ: онъ одѣвался съ большою роскошью,

выписывалъ свои фраки изъ Москвы, ходилъ всегда въ башмакахъ и шелковыхъ чулкахъ; на его толстыхъ пальцахъ блистали драгоцѣнные перстни, часы висѣли на жемчужномъ снуркѣ съ бриліантовою застежкой; въ манишку онъ втыкалъ всегда булавку, украшенную прекраснымъ изумрудомъ, который нѣкогда, въ видѣ фермуара, составлялъ часть приданаго жены его, урожденной Княжны Чухаловой; онъ славился особенно своими дорогими жилетами изъ турецкихъ шалей, разнообразіемъ своихъ золотыхъ табакерокъ, великимъ множествомъ янтарныхъ мушгуковъ и огромностію своихъ пѣнковыхъ трубокъ. Вообще, всѣ жители города Бабкова, за исключеніемъ двухъ или трехъ вольнодумцевъ, имѣли высокое понятіе объ умственныхъ способностяхъ Алексѣя Андреевича, и весьма уважали его мнѣніе.

Когда Чернобылинъ, войдя въ кабинетъ Костоломова, пропыхтѣлъ: «здравствуйте, батюшка, Касьянъ Гурьевичъ!» и хозяинъ усадилъ его на канапе, то между ними начался слѣдующій разговоръ:

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, задыхаясь.

Уфъ, батюшки!... Смерть моя!... Уфъ!... Ну, что, Касьянъ Гурьичъ, какъ ваше здоровье?... Уфъ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Слава Богу! а ваше, Алексѣй Андреичъ?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, такъ! ни то, ни сё... Уфъ, батюшки! совсѣмъ задохся!... Ну, высоконька у васъ лѣстница... уфъ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Помилуйте! всего пять ступеней.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Такъ, видно, крута очень... на силу, на силу одолѣлъ... Уфъ, батюшки!... уфъ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что это, Алексѣй Андреичъ, ужъ не одышка ли у васъ?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Я ужъ и самъ не знаю; точно, иногда вотъ такъ духъ и захватитъ! .. уфъ!... Что за диковинка такая!... Чувствую самъ, батюшка, каждый день становлюсь тяжеле, а кажется отъ чего бы?... человѣкъ я не старый, болѣзни никакой нѣтъ, желудокъ дѣйствуетъ исправно; вотъ хоть сегодня, напримѣръ, подали мнѣ на завтракъ пирогъ съ курицей... ну, ужъ пирогъ!.. Изъ слоенаго теста, съ начинкою изъ сарацинскаго пшена!... Я отрѣзалъ ломтикъ—съѣлъ... другой, третій—думаю себѣ: «да, отстань ты, проклятый!» — Нѣтъ! такъ въ ротъ самъ и лѣзитъ!... Вотъ пришелъ прикащикъ; я съ нимъ о томъ, о семъ, а самъ межъ тѣмъ ломтикъ за ломтикомъ, глядь, поглядь — анъ одна исподняя корочка осталась! Вотъ подали мнѣ заливной осетрины, да еще кой-чего другаго: что жъ вы думаете, сударь?... все до тла съѣлъ! — И теперь хоть опять за то же!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Въ самомъ дѣлѣ?... Такъ не прикажете ли? У меня есть свиная головка...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Съ фаршемъ?... Прошу покорно!... Съ моимъ удовольствіемъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ей, малый!.... (Входитъ человѣкъ) Завтракать!...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, сударь, да! Благодарю моего Создателя—желудокъ у меня хорошо дѣйствуетъ, очень хорошо! И если бъ не тягость и не эта окаянная одышка, то я былъ бы еще молодецъ-молодцомъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ну, что, Алексѣй Андреичъ, сегодня, кажется, газетный день: что новинькаго?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Охъ, Касьянъ Гурьичъ, не говорите! —Плохо, очень плохо!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что такое?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, такъ! Не хорошо, сударь—больно не хорошо!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ахъ, батюшки! да, что такое?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, поглядѣвъ вокругъ себя и въ полголоса.

Во Франціи не спокойно!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Во Франціи?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, сударь, да!—Такая идетъ свалка, что упаси Господи!... Партія противъ партіи! Волтеріанцы противъ Якобинцовъ, военные противъ статскихъ—одинъ кричитъ: «Давай намъ то»— другой кричитъ: «Давай намъ это!»—Кто за Бонапарта, кто за Короля—а ужъ пуще-то всѣхъ кричатъ какіе-то Ультры...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Ультры? Что это за люди такіе?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Должно быть, какіе нибудь республиканцы — кто ихъ знаетъ! Только больно шумятъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Прошу покорно!... Да, что, иль имъ война-то не надоѣла?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Видно, что нѣтъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Экой безпокойный народъ, подумаешь! — Съ ними никто не дерется — такъ они другъ друга въ ножи!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, сударь, да! Ну, что ты будешь дѣлать? Повѣрите ль, батюшка, Касьянъ Гурьичъ, ужъ я ломаю, ломаю себѣ голову—Господи Боже мой! — да, чего они, проклятые, хотятъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И, Алексѣй Андреичъ! видно ужъ натура такая!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, почему жъ у нихъ такая натура?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Почему? Народъ народу не указъ, Алексѣй Андреичъ! Вотъ, напримѣръ: медокъ — вино и шампанское — вино, да медокъ-то вино смирное, а шампанское бурлитъ: чудь посогрѣлось — и пробка вонъ: ужъ такая у него натура!...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Понимаю, батюшка, понимаю!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Вотъ, такъ-то и Французы: пока были на морозѣ, такъ ни гугу; а лишь только поотогрѣлись, такъ и ну бурлить! — Да провались они ставши! Какое намъ до нихъ дѣло?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Какъ, батюшка, какое? Конечно, вы политикой не занимаетесь, а меня, такъ, признаюсь, это чрезвычайно безпокоитъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Охота вамъ, Алексѣй Андреичъ! Да пусть себѣ на чужомъ дворѣ собаки грызутся — свои бы только не дрались! Скажите-ка лучше, что у насъ новинькаго? Нѣтъ ли производства или перемѣны какой?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Какъ же! Очень много! Нашему Губернскому Полицеймейстеру — Владиміра въ петлицу.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Право?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Губернатору — Анну черезъ плечо.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Слава Богу!... Добрый человѣкъ нашъ Губернаторъ — добрый!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Новый Гражданскій Предсѣдатель.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что вы говорите?... Такъ стараго-то такъ же, какъ и Предсѣдателя Уголовной Палаты....

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да! милости просимъ — въ чистую.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Вотъ что! — И то сказать, покутили порядкомъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Говорятъ, такой былъ переборъ въ губерніи, что и старики не запомнятъ. Его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ, этотъ генералъ, что прислали изъ Петербурга, шутить не любить; началъ во все входить, узналъ все въ тонкость — да и пошелъ коверкать: того подъ судъ, другаго въ отставку...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Такъ онъ человѣкъ строгій?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

У!! Избави, Господи! А, говорятъ, справедливъ. Чуть кто этакъ не чистенекъ на руку—хоть будь Статскій Совѣтникъ, на ногахъ уморитъ! а какой нибудь оберъ-офицеръ — только честный человѣкъ: такъ не знаетъ, куда посадить!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Дай Богъ ему здоровья!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Вамъ ужъ, вѣрно, извѣстно, Касьянъ Гурьичъ, что его превосходительство завернетъ проѣздомъ въ нашъ городъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Какъ же, знаю.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Вы слышали также, что онъ остановится у моего тестя, Князя Чухалова.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Слышалъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Они свои межъ собою — и я заранѣе могу васъ увѣрить, что все, что будетъ зависѣть отъ моего тестя...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Покорнѣйше васъ благодарю; впрочемъ, я надѣюсь, его превосходительству не за что будетъ гнѣваться.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Такъ, конечно! Но вы знаете: у кого нѣтъ злодѣевъ? Онъ же человѣкъ новый... захочетъ узнать: довольны ли всѣ Градоначальникомъ? Въ какомъ онъ отношеніи съ здѣшнимъ дворянствомъ?... Это же будетъ, такъ сказать, въ семейномъ кругу... за чашкой чаю... Эхъ, Касьянъ Гурьичъ! вѣдь первое-то впечатлѣніе очень важно!... А, кстати, какъ вы располагаете?... Его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ пробудетъ здѣсь, вѣроятно, не болѣе двухъ дней: первый день онъ кушаетъ у тестя моего, а на другой не мѣшало бы дать обѣдъ отъ всего дворянства.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Почему же нѣтъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Съ музыкой, съ пѣвчими. Столъ можетъ быть у васъ въ домѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Очень радъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Я думаю, не лишнее будетъ, если мы сегодня вечеромъ соберемся къ вамъ для совѣщанія.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Прошу покорно.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, въ шалѣ и шляпкѣ съ перьями входитъ поспѣшно въ кабинетъ.

Не стыдно ли тебѣ, мой другъ!... Ахъ, Алексѣй Андреичъ!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, приподымаясь съ канапе.

Честь имѣю кланяться!... уфъ!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Здоровы ли вы?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Слава Богу!... Жена моя просила вамъ сказать... (Двое слугъ вносятъ завтракъ; одинъ изъ нихъ несетъ на блюдѣ огромную свиную голову: глаза у Чернобылина начинаютъ блистать). Батюшки! какой зубъ *! Да, это кабанъ — точно кабанъ!... И съ фаршемъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А вотъ попробуйте!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Позвольте, позвольте! (Садится къ завтраку, и впивается въ свиную голову.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, Касьяну Гурьевичу.

Ну, боишься ли ты Бога, мой другъ!... Я ужъ узнала отъ постороннихъ, что, можетъ быть, завтра пріѣдетъ къ намъ этотъ генералъ, котораго прислали изъ Петербурга.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, я самъ только сейчасъ узналъ объ этомъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

И тебѣ не стыдно?... Начальникъ города!... Ахъ, Касьянъ Гурьичъ! какъ ты безпеченъ!... Что если бъ я за тебя обо всемъ не думала!... Да знаешь ли ты, по крайней мѣрѣ, что онъ остановится у Князя Петра Ильича?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Знаю, матушка.

---

* *Охотничье* названіе приготовленной извѣстнымъ образомъ свиной головы.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Что жъ ты сидишь дома? Ступай скорѣй къ Князю!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Зачѣмъ, мой другъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Зачѣмъ?... Ахъ, Боже мой, Боже мой! Ну, Касьянъ Гурьичъ, какъ это могъ ты дослужиться до Полковниковъ?...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Такъ же, какъ и всѣ добрые люди, матушка: служилъ вѣрою и правдою Царю земному, молился Царю небесному, да по милости Божіей никогда не кривилъ душею.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, почти съ презрѣніемъ.

И ты называешь это службою?... Бѣдненькой!... Ну нечего дѣлать, сиди дома; я поѣду одна къ Князю Петру Ильичу. Видно, ужъ такая моя участь—все я, да я!

СЛУГА, растворивъ обѣ половинки дверей.

Его сіятельство Князь Петръ Ильичъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Проси скорѣй, проси! (Мужу) Да, извинись хоть передъ нимъ!

—

Я перерву на нѣсколько минутъ общій разговоръ, чтобъ познакомить васъ съ Княземъ Чухаловымъ. Этотъ представитель Бабковской аристократіи былъ худощавый, небольшаго роста старикъ, лѣтъ шестидесяти. Самою рѣзкою чертою его физіономіи былъ огромный грузинскій носъ, который онъ набивалъ безпрестанно французскимъ табакомъ. Подъ тѣнью этого носа улыбались уста, исполненные спѣси и какого-то душевнаго самодовольствія. Князь Петръ Ильичъ чувство-

валъ, что онъ первый человѣкъ въ городѣ, и что въ этомъ отношеніи онъ рѣшительно не имѣетъ соперника; даже Осипъ Андреевичъ Кочька, не смотря на свой чинъ и богатство, садился ниже его за столомъ, и первый снималъ шляпу, когда встрѣчался съ нимъ на улицѣ. Князь Чухаловъ увѣрялъ всѣхъ: что нѣкогда онъ былъ совершеннымъ красавцемъ; что его южные глаза, его жемчужные зубы и волнистые черные волосы были предметомъ удивленія и зависти всѣхъ мужчинъ— гибелью и бѣдствіемъ всѣхъ женщинъ. И подлинно, глаза его были еще исполнены жизни; но о зубахъ и волосахъ нельзя было сказать ничего достовѣрнаго, потому что у него не было вовсе переднихъ зубовъ, а на затылкѣ мотался, въ видѣ пучка, одинъ только клочекъ сѣдыхъ волосъ, остальная же часть головы была гладка и чиста какъ биліардный шаръ. Въ одеждѣ своей, Князь Петръ Ильичъ придерживался нѣсколько старины: онъ не надѣвалъ уже французскихъ шитыхъ кафтановъ, но никакъ не хотѣлъ промѣнять своего камзола на модный жилетъ; носилъ кружевныя манжеты, и пудрилъ свою косичку.

—

Князь Чухаловъ входитъ скорыми шагами въ комнату: огромный носъ его пылаетъ какъ раскаленная головня, изъ-подъ сѣдыхъ бровей сверкаютъ гнѣвные глаза, а напудренная косичка стоитъ дыбомъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, идя къ нему на встрѣчу.

Ахъ, ваше сіятельство! Милости просимъ!

ЧУХАЛОВЪ, отрывисто.

Слуга покорный, слуга покорный!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А мы сейчасъ сбирались къ вамъ ѣхать.

ЧУХАЛОВЪ, не обращая вниманія на слова Марьи Никитишны.

Позвольте узнать, Касьянъ Гурьичъ: по вашему ли приказанію взятъ на съѣзжую мой человѣкъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, Князь! Его взяли потому, что онъ прибилъ часоваго.

ЧУХАЛОВЪ.

Часоваго? То есть, будошника?... Но дѣло не въ томъ: до меня дошелъ слухъ, что вы хотите наказать его.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, Князь.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, тихо мужу.

Что ты! что ты, мой другъ!

ЧУХАЛОВЪ.

Такъ, это правда!... Такъ вамъ не угодно было уважить даже и того, что этотъ человѣкъ мой каммердинеръ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Я очень жалѣю объ этомъ; но обязанность моя по службѣ...

ЧУХАЛОВЪ, вспыльчиво.

Ваша обязанность, сударь, успокоивать здѣшнее дворянство.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, начиная терять терпѣніе.

Позвольте ужъ, ваше сіятельство, знать мнѣ самому, въ чемъ состоятъ моя обязанности.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, мужу.

Касьянъ Гурьичъ!... Послушайте, Князь!...

ЧУХАЛОВЪ, съ возрастающимъ гнѣвомъ.

Помилуйте! Что это? Такое самоуправство!... Безъ всякаго уваженія къ лицамъ... къ званію!... Да этакъ лучше жить въ Муромскомъ лѣсу...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что вы это, Князь, что вы?

ЧУХАЛОВЪ.

Въ послѣдній разъ, Касьянъ Гурьичъ, я прошу васъ — сію же минуту отпустить моего человѣка.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Не отпущу, Князь!

ЧУХАЛОВЪ.

Такъ я требую этого!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, разсердясь.

Да что жъ вы, въ самомъ дѣлѣ, ваше сіятельство!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Полно, мой другъ, полно! Не безпокойтесь, Князь! Вашего человѣка сейчасъ отпустятъ... Это ошибка, недоразумѣніе!... Всѣ эти глупости надѣлалъ Частный Приставъ... Эй! кто нибудь! (Входитъ слуга) Бѣги скорѣе на съѣзжій дворъ; скажи, чтобъ сію минуту выпустили человѣка Князя Петра Ильича!

(Слуга уходитъ).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Помилуй, матушка! Этого нельзя сдѣлать.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, мужу.

Перестань, Бога ради!... Прошу покорно садиться, Князь! Да, полно-те! Не гнѣвайтесь на моего мужа!... Если бъ вы знали, какъ онъ васъ уважаетъ....

ЧУХАЛОВЪ, смягчась.

Я самъ также очень уважаю Касьяна Гурьича... и признаюсь, для меня было такъ странно...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Помилуйте, да что тутъ страннаго? Вашъ человѣкъ буянилъ: его взяли въ полицію, накажутъ...

ЧУХАЛОВЪ.

Какъ, сударь? Такъ вы еще думаете?...

МАРЬЯ НИКИТИШНА, тихо мужу.

Да что жъ ты? Уморить, что ль, меня хочешь?...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, матушка!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА, хватаясь за голову.

Боже мой!... Опять голова!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, испугавшись.

Ну, ну, хорошо! Только сдѣлайте милость, Князь, унимайте этого разбойника!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Полно, мой другъ! Что объ этомъ говорить! — Скажите, Князь: вашъ родственникъ, генералъ Зоринъ, непремѣнно будетъ завтра?

ЧУХАЛОВЪ.

Безъ всякаго сомнѣнія. Я каждую минуту жду передовыхъ. (Нюхаетъ табакъ) Не прикажете ли? Отличный!... Настоящій Раппе!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Скажите: вы ужъ, кажется, видѣлись съ вашимъ родственникомъ въ губернскомъ городѣ?

ЧУХАЛОВЪ.

Какъ же! Мы съ нимъ свои по женѣ...

(Нюхаетъ табакъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Вѣдь она, кажется, ему двоюродная сестрица?

ЧУХАЛОВЪ.

Да!... почти!... (Опускаетъ два пальца въ табакерку, и перемивая ими табакъ, говоритъ протяжно) Надобно вамъ доложить: когда я былъ въ губерніи, и его превосходительство изволилъ объявить мнѣ, что осчастливитъ своимъ пріѣздомъ нашъ городъ, то я сказалъ ему: «Батюшка-братецъ! Надѣюсь, что вы нигдѣ не остановитесь, кромѣ моего дома.» Онъ улыбнулся и отвѣчалъ: «Да, да! Я знаю, у кого остановиться!» Я сталъ благодарить: тутъ онъ опять изволилъ улыбнуться, и заговорилъ съ Губернаторомъ о разныхъ государственныхъ дѣлахъ... Ахъ, Марья Никитишна!... Что за умный человѣкъ Максимъ Петровичъ!... Ну, ужъ голова!... диковинная!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, утираясь салфеткою.

Подлинно, диковинная; я этакихъ свиныхъ головъ въ жизнь мою не видывалъ!

ЧУХАЛОВЪ.

Здравствуй, Алексѣй Андреичъ!

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

А, батюшка! Вы здѣсь? Пожалуйте-ка сюда! —Отвѣдайте этой свиной головки! Ну, Касьянъ Гурьичъ: вамъ честь и слава!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Очень радъ! Кушайте на здоровье!

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

Потрудился бы еще, батюшка, да нѣтъ! — душа не принимаетъ—не могу!... Вотъ, развѣ кусочекъ паюсной икорки: она смотритъ что-то больно хорошо.

—

Въ эту самую минуту появился новый гость. Осипъ Андреевичъ Кочька вошелъ поспѣшно въ комнату; по всему было замѣтно, что онъ прискакалъ съ важными вѣстями. Вмѣсто того, чтобъ поклониться каждому по одиначкѣ и сказать какое нибудь привѣтствіе, онъ не кивнулъ даже никому головою. Бантикъ его бѣлаго галстуха былъ на сторонѣ; фракъ, который онъ застегивалъ обыкновенно на четыре пуговицы, былъ застегнутъ только на двѣ, и, что всего страннѣе, половина головы его была напомажена, а другая нѣтъ. Однимъ словомъ: все доказывало, что онъ торопился сообщить Касьяну Гурьевичу о какомъ-то необычайномъ происшествіи, и отправился изъ дому, не кончивъ порядкомъ своего туалета. Осипъ Андреевичъ Кочька остановился посреди комнаты, и, молча, поглядѣлъ вокругъ себя. Это неслыханное нарушеніе неизмѣнныхъ

его правилъ — это таинственное молчаніе, поразило всѣхъ присутствующихъ. Чернобылинъ чуть-чуть не подавился кускомъ паюсной икры; Князь Чухаловъ не донесъ до своего носа полновѣсную щепоть табаку, Марья Никитишна побѣднѣла, а Касьянъ Гурьевичъ вскричалъ съ ужасомъ: «Боже мой! Что такое случилось?»

—

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ, значительнымъ голосомъ.

Касьянъ Гурьичъ!... Касьянъ Гурьичъ!... Странныя вещи бываютъ на свѣтѣ!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, что такое сдѣлалось?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Что такое? А вотъ что, Марья Никитишна! Я думаю, что такого рода встрѣча, случай или обстоятельство, заставитъ, то есть, приневолитъ, или, лучше сказать, вынудить всякаго...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ахъ, Боже мой! Да, говорите скорѣе!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Приготовьтесь! Это извѣстіе поразитъ васъ удивленіемъ, срѣжетъ съ ногъ, перемѣшаетъ всѣ ваши понятія — и, такъ сказать...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Тфу пропасть!... Да, что вы душу-то тянете?—Говорите проворнѣй!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Вы, вѣрно, ожидаете завтра Максима Петровича Зорина?...

ЧУХАЛОВЪ.

Ахъ, батюшки! Неужели онъ пріѣхалъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Нѣтъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Такъ отмѣнилъ свое намѣреніе побывать въ нашемъ городѣ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Нѣтъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ, что жъ такое?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Это такъ странно, такъ чуждо всѣхъ приличій; я вижу въ этомъ такое отсутствіе, или, лучше сказать, нарушеніе всѣхъ общественныхъ условій...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Да, это несносно!... Осипъ Андреичъ!...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Повѣрите ли, Марья Никитишна, я совершенно теряюсь въ моихъ соображеніяхъ, не понимаю, постичь не могу...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, съ укоризною.

Ну, что жена?... Да будетъ ли, сударь, конецъ? Скажете ли вы?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Позвольте, позвольте! Сейчасъ скажу! — Передовые Максима Петровича Зорина пріѣхали.

ЧУХАЛОВЪ.

Что̀ вы говорите?... А меня нѣтъ дома!

(Хватаетъ свою шляпу).

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ, останавливая его.

Не безпокойтесь! Его превосходительство остановится не у васъ.

ЧУХАЛОВЪ, съ ужасомъ.

Не у меня!...

ЧЕРНОБЫЛИНЪ, вставая.

Вотъ тебѣ разъ!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да гдѣ же онъ остановится?...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Отгадайте!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, полно-те! — Говорите скорѣе!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Попробуйте, отгадайте!

МАРЬЯ НИКИТИШНА, съ досадою.

Это ужасно!... Да, вы мучитель, Осипъ Андреичъ, да скажете ли вы?...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Его превосходительство остановится... у Холмина!!!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Что̀ вы говорите?

ЧУХАЛОВЪ.

Возможно ли? У этого отставнаго поручика?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Да.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Почти за заставою?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Да.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Въ этой избушкѣ на курьихъ ножкахъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Да.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, вскрикиваетъ.

Не можетъ быть!...

ЧУХАЛОВЪ.

Да, да! Не можетъ быть! Это ошибка, недоразумѣніе!...

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВЪ, входитъ торопливо въ комнату.

Касьянъ Гурьичъ! Честь имѣю донести: передовые его превосходительства, генерала Зорина, прибыли въ городъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Гдѣ они остановились?...

ПРИСТАВЪ.

У Ивана Алексѣича Холмина.

(Торжественное молчаніе).

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, утирая платкомъ лобъ.

Уфъ, батюшки!... Ну!!!

ЧУХАЛОВЪ.

Да почему жъ онъ остановился у этого офицерика?

ПРИСТАВЪ.

Я узналъ стороною, что Иванъ Алексѣичъ былъ при немъ адъютантомъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Вотъ что?... Такъ, это вещь очень натуральная... Куда вы, Князь?..

ЧУХАЛОВЪ.

Извините! Это до такой степени странно, что я хочу самъ увѣриться.

(Кланяется и поспѣшно уходитъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Очнуться не могу! Такая честь! и кому?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И, матушка! Да, чѣмъ же Холминъ хуже людей? Малый добрый, служилъ прекрасно....

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

И образованъ порядочно—поотсталъ немного отъ вѣка, не имѣетъ глубокой учености; однако же читалъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Эхъ, полно-те, Осипъ Андреичъ!.. Конечно, старушка мать его, женщина добрая... Я давно уже хотѣла ее провѣдать; кажется, она нездорова?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Вѣрно, поѣла грибковъ? Вѣдь она большая постница.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, мужу.

Какъ ты думаешь, мой другъ: она женщина бѣдная, недужная, а навѣстить бѣднаго, все то же, что милостыню подать. Заверну я къ ней на минуточку?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Съ Варинькой?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Нѣтъ, нѣтъ! Одна.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

Позвольте мнѣ быть вашимъ провожатымъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Сдѣлайте милость!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Заѣхать и мнѣ къ этой старушкѣ: я ужъ давно сбираюсь попросить у нея записки, какъ солить огурцы: говорятъ, будто бы она этого дѣла мастерица... Прощайте, батюшка, Касьянъ Гурьичъ! Не забудьте, вечеромъ мы все-таки къ вамъ сберемся потолковать о дворянскомъ обѣдѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Прошу покорно!

Чернобылинъ, Марья Никитишна и Осипъ Андреевичъ уходятъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, Частному Приставу.

А я съ тобой отправлюсь осмотрѣть пожарную команду.

ПРИСТАВЪ.

Слушаю-съ! Да, позвольте доложить: я не выпускалъ еще человѣка Князя Петра Ильича, и если вы прикажете, такъ теперь можно...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, братецъ! На этотъ разъ такъ и быть; только ужъ если попадется въ другой разъ...

ПРИСТАВЪ, кланяясь.

Слушаю-съ!

Отворяетъ двери и уходитъ вслѣдъ за Касьяномъ Гурьевичемъ.

—

ГЛАВА IV.

СОВѢЩАНІЕ.

Если бъ вамъ случилось, въ 1816 году, Мая 23 числа, проѣзжать черезъ городъ Бабковъ, то вы могли бы подумать, что въ немъ жители — природные Голландцы, которые, какъ всѣмъ извѣстно, сдуваютъ съ улицъ и домовъ каждую пылинку, и съ утра до вечера моютъ все, исключая своихъ рукъ. Нельзя было пройти двухъ шаговъ, не задохнувшись отъ пыли: она валила столбомъ изъ-подъ сотни мётелъ и вѣниковъ, которыми не подметали, а почти полировали мостовую главной улицы города Бабкова. Въ одномъ мѣстѣ вырывали тощую траву, которая пробивалась кой-гдѣ между голышей; въ другомъ, подкрашивали подъ дубъ дубовыя ворота; на одномъ домѣ бѣлили мѣломъ закопченыя трубы, на другомъ подновляли почернѣвшую кровлю; вездѣ вставлялись разбитыя стекла, и на всемъ протяженіи

Дворянской улицы не осталось ни одного окна съ бумажною заплатой. Всѣ эти приготовительныя работы производились подъ надзоромъ втораго Частнаго Пристава, Кондратья Ѳомича Дергунова, человѣка весьма аккуратнаго и неутомимаго блюстителя уличной чистоты и наружнаго благообразія обывательскихъ домовъ. Сверхъ того, по домашнему распоряженію городоваго Брантмейстера, въ нѣсколькихъ мѣщанскихъ домахъ, въ которыхъ печи оказались неблагонадежными, запрещено было, впредь до приказанія, готовить кушанье. Это необычайное движеніе, эта жизнь на Бабковскихъ улицахъ усиливалась безпрестанными разъѣздами каретъ, дрожекъ и колясокъ, которыя сновали отъ одного конца города до другаго; большая часть изъ нихъ останавливалась подлѣ свѣтлаго и чистаго домика, съ зелеными ставнями. У воротъ его стоялъ полицейскій чиновникъ, и трое пожарныхъ солдатъ поливали изъ трубы песчаную площадку, которая тянулась отъ дома до самой заставы. Я думаю, читатели сейчасъ отгадаютъ, что въ этомъ домѣ жилъ Холминъ съ своею старушкой матерью. Квартальный офицеръ, приставленный *ради почета* и порядка, не дозволялъ ни одному крестьянину съ возомъ останавливаться вблизи отъ будущей квартиры его превосходительства, и безпрестанно разгонялъ зѣвакъ, которые, съ непокрытыми головами и открытыми ртами, тояпились кругомъ дома и заглядывали въ открытыя окна.

Касьянъ Гурьевичъ былъ человѣкъ прямодушный, любилъ все дѣлать на чистоту, и не за что бы не сталъ пускать пыль въ глаза и продавать свой товаръ лицомъ,

для того только, чтобъ выслужиться передъ высшимъ начальствомъ; но онъ любилъ какъ душу свой городъ Бабковъ, и не ради чего другаго, а просто изъ любви къ нему, хотѣлъ имъ же похвастаться передъ Максимомъ Петровичемъ Зоринымъ. Онъ рядилъ и одѣвалъ его точь въ точь, какъ добрый отецъ рядитъ и охорашиваетъ свою дочь, готовясь показать ее въ первый разъ жениху. Касьянъ Гурьевичъ вовсе не хлопоталъ о томъ, чтобъ ему сказали спасибо; лишь только бъ городъ-то похвалили, лишь только бъ генералъ Зоринъ ахнулъ и проговорилъ съ удивленіемъ: «Въ жизнь мою я не видывалъ такого уѣзднаго города!» Впрочемъ, надобно сказать правду, ему и въ голову не приходило выщипывать траву на улицахъ и красить подъ дубъ дубовыя ворота. Это было сдѣлано такъ же, какъ и многое другое, по распоряженію Марьи Никитишны, которая въ теченіе дня нѣсколько разъ отдавала изустныя приказанія обоимъ Частнымъ Приставамъ.

Вся эта уличная хлопотня и движеніе не значили ничего передъ суматохою, которая началась въ Присутственныхъ мѣстахъ; вотъ тамъ-то ужъ подлинно было свѣту преставленіе! Чиновники Земскаго Суда, Уѣзднаго Суда и Казначейства города Бабкова были люди довольно порядочные; взяточниками ихъ назвать было не можно, потому, что если они брали, такъ брали очень умно и осторожно; никто на нихъ не жаловался, всѣ ихъ любили, и только иногда люди злорѣчивые, которые терпѣть не могутъ заведеннаго порядка, поговаривали межъ собой: «Экое, дескать, имъ счастье валитъ! Уѣздный Судья завелъ себѣ деревеньку, Лѣсничій выстро-

илъ три домика, Казначей купилъ тысячу десятинокъ земли съ разными угодьями, а Капитанъ Исправникъ— вотъ экономъ-то, подумаешь! скопилъ отъ жалованья тысячъ пятьдесятъ, да за дочерью далъ въ приданое тридцать.» Охъ, эти злые языки! Ну, чему тутъ дивиться? Извѣстное дѣло: людямъ должностнымъ все въ прокъ идетъ. Конечно, есть исключенія, но они довольно рѣдки. «Кто Богу не грѣшенъ!» говаривалъ покойный нашъ Земскій Засѣдатель, Ѳома Ѳедорычъ Курацаповъ: «да и то сказать,» прибавлялъ онъ всегда: «мірская-то шея толста; вали на нее что̀ хочешь! Съ брата по копейкѣ, анъ глядишь сотня набѣжитъ, и себя не забудешь, и ихъ не раззоришь.» Кажется, послѣ этого, чего было бояться чиновникамъ города Бабкова; а вѣдь ни на одномъ изъ нихъ лица не было. Во всѣхъ Присутственныхъ мѣстахъ замѣтна была необычайная дѣятельность. Одни подскабливали нумерацію въ настольныхъ реестрахъ, другіе вписывали въ протоколъ заднимъ числомъ судейскія опредѣленія; нескрѣпленныя книги скрѣплялись; присутственные столы покрывались новымъ сукномъ; вмѣсто помадныхъ банокъ, явились на всѣхъ столахъ стеклянныя чернилицы; бутылки съ сальными свѣчами замѣнились мѣдными, чистыми подсвѣчниками; отъ подъячихъ перестало пахнуть виномъ; повытчики выбрили свои бороды, а у секретарей лица сдѣлались совершенно человѣческими.

Больше всего хлопоталъ Бабковскій Казначей Иванъ Ѳедоровичъ Мушкинъ; ему должно было пополнить наличную сумму казначейства, изъ котораго онъ по-

заимствовался недѣльки на двѣ тремя тысячами рублей. Иванъ Ѳедоровичъ рѣдко дозволялъ себѣ подобные займы, но на этотъ разъ былъ вынужденъ крайнею необходимостью: онъ выдавалъ замужъ старшую дочь Машиньку. «Такъ по этому Марья Никитишна сказала правду? Холминъ точно былъ помолвленъ на казначейской дочери?»—Нѣтъ!—«Такъ Марья Никитишна солгала?»—Нѣтъ! — «Да какъ же это можетъ быть?»—А вотъ увидите! Конечно, другому бы это и въ голову не вошло, но вѣдь Марья Никитишна была женщина необыкновенная, и такая тонкая дипломатка, что — упаси Господи! Напримѣръ, она терпѣть не могла Княгиню Хайбазову, а посмотрѣли бы вы ее вмѣстѣ съ Княгипею — ну, просто, другъ задушевный! Такъ въ душу и вѣтся!.. Да что и говорить! Умна была — покойница!

Наконецъ прошелъ этотъ суматошный день. Передовые объявили, что его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ прибудетъ въ городъ не прежде, какъ на другой день, часу въ шестомъ утра. Разумѣется, Исправникъ поскакалъ на границу уѣзда, чтобъ встрѣтить его превосходительство; а Касьянъ Гурьевичъ на всякій случай надѣлъ мундиръ и выслалъ верхомъ одного пожарнаго урядника на большую дорогу, верстъ за пять отъ городской заставы. Часу въ седьмомъ вечера стало сбираться въ домѣ Градоначальника все лучшее дворянство города Бабкова. Одинъ Князь Чухаловъ не захотѣлъ присутствовать на этомъ чрезвычайномъ собраніи: онъ такъ разгнѣвался на своего *батюшку братца*, что рѣшился сказаться больнымъ, и

уговаривалъ своего зятя сдѣлать то же; но тотъ, какъ человѣкъ должностной, не могъ его послушаться. Я забылъ вамъ сказать, что Алексѣй Андреевичъ Чернобылинъ исправлялъ должность Бабковскаго Уѣзднаго Предводителя.

Теперь я прошу моихъ читателей перенестись вмѣстѣ со мною въ столовую комнату Касьяна Гурьевича Костоломова; въ неё собрались уже для совѣщанія всѣ первые дворяне города Бабкова. Хозяина вы знаете, Чернобылина и Осипа Андреевича Кочьку также; но мнѣ должно васъ познакомить съ тремя остальными почетными Бабковскими дворянами, а именно: съ Пахомомъ Пахомовичемъ Мурашкинымъ, Яковомъ Ѳедоровичемъ Апёнковымъ и Сергѣемъ Степановичемъ Мутовкинымъ. Я люблю во всемъ наблюдать чинопочитаніе, и потому начну съ перваго.

Отставной бригадиръ Пахомъ Пахомовичъ Мурашкинъ, пожилой человѣкъ, лѣтъ шестидесяти, болѣе плотный, чѣмъ дородный; въ военномъ мундирѣ и красномъ камзолѣ съ золотымъ шитьемъ, въ петлицѣ золотой крестикъ на Георгіевской лентѣ. Лицо довольно добродушное, отвислый подбородокъ, прищуренные глаза, круглый, толстый носъ и длинная коса. Пахомъ Пахомовичъ очень любилъ старину, ненавидѣлъ все новое, и твердо стоялъ въ томъ, что лучшее произведеніе иностранныхъ писателей—«Маркизъ Глаголь», а Русской Словесности: «Арфаксадъ, Халдейская повѣсть».

Коллежскій Совѣтникъ Яковъ Ѳедоровичъ Апёнковъ, мужчина среднихъ лѣтъ, небольшаго росту, кругло-

лицый, рябой, въ широкомъ фракѣ и плисовыхъ сапогахъ. Онъ слылъ весьма добрымъ человѣкомъ, и, подлинно, Яковъ Ѳедоровичъ не дѣлалъ никому зла, ни съ кѣмъ не ссорился, на дворянскихъ выборахъ клалъ всѣмъ безъ исключенія бѣлые шары, и всегда соглашался съ мнѣніемъ всѣхъ вообще и каждаго по одиначкѣ. Яковъ Ѳедоровичъ говорилъ очень протяжно, особенно потому, что у него была болѣзнь, что ль, какая, или привычка—право не знаю, только онъ не могъ никогда говорить безъ того, чтобъ поминутно не перерывать самого себя; сказавъ словъ пять сряду, онъ всегда или кашлялъ, или чихалъ, или плевалъ, или захлебывался.

Надворный Совѣтникъ Сергѣй Степановичъ Мутовкинъ — человѣкъ не старый, но необычайно худой и щедушный. На тонкой и длинной его шеѣ, какъ на шпилѣ, вертится маленькая, всегда улыбающаяся головка, съ красноватыми глазами, надъ которыми вовсе нѣтъ бровей. Говорятъ, будто бы онъ обладаетъ въ высокой степени даромъ слова, и что его краснорѣчіе было бы увлекательно, если бъ онъ могъ сдерживать порывы своей необычайной чувствительности; но къ несчастію, онъ до того трогается собственными своими словами, что никогда не можетъ кончить начатой рѣчи. Сергѣй Степановичъ написалъ, когда-то, похвальное слово Русскому Дворянству, съ тѣмъ, чтобъ произнести его публично. Нельзя не упомянуть о странной судьбѣ этого сочиненія, которое, вопреки желанію автора, осталось навсегда неизвѣстнымъ для его современниковъ. Каждое трехъ-лѣтіе, по окончаніи выбо-

ровъ, Сергѣй Степановичъ вставалъ съ своего мѣста, кланялся на всѣ четыре стороны и начиналъ:

«Да позволено будетъ мнѣ предъ лицемъ почтеннѣйшаго собранія всей нашей губерніи излить мою душу!..»

Тутъ обыкновенно голосъ его начиналъ перерываться; глаза наполнялись слезами, и онъ продолжалъ:

«О, благородное Русское Дворянство! О, почтеннѣйшее сословіе мужей знаменитыхъ!...»

Больше этого онъ никогда не говорилъ, потому, что начиналъ рыдать, и объявлялъ всхлипывая всему благородному Дворянству, что онъ отъ избытка чувствъ продолжать не можетъ.

Познакомивъ васъ съ дѣйствующими лицами, я снова уступаю имъ сцену. Ахъ, извините! чуть было не забылъ сказать, что всѣ они сидятъ вокругъ большаго стола, на которомъ стоитъ чернилица и лежитъ нѣсколько листовъ бумаги, и что въ двухъ шагахъ отъ нихъ сидитъ, за рабочимъ столикомъ, какъ Прокуроръ, за отдѣльнымъ столомъ своимъ, Марья Никитишна Костоломова.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Милостивые государи! Всѣмъ извѣстно, что завтрашняго числа прибудетъ въ нашъ городъ его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ.

МУРАШКИНЪ.

Ну, да! Мы всѣ это знаемъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Намъ извѣстно также, что онъ проживетъ здѣсь три дня...

МУРАШКИНЪ.

Четыре.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Извините! Я могу, то есть, имѣю право сказать съ нѣкоторою достовѣрностію, что онъ пробудетъ здѣсь пять дней.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

А я вамъ говорю: три!

АПЕНКОВЪ.

И я то же слышалъ, что онъ пробудетъ у насъ дня три или четыре, а можетъ быть... (Чихаетъ).

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Отъ кого вы это слышали?

АПЕНКОВЪ.

Отъ кого-съ?... Право, не могу вамъ доложить, а кажется... (Захлебывается и кашляетъ).

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Вы это слышали отъ меня.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Это неправда.

МУТОВКИНЪ, привставая.

Да позволено мнѣ будетъ...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Э, полно-те, господа! Рѣчь не о томъ, долго ли у насъ проживетъ его превосходительство...

МУРАШКИНЪ.

Конечно! Дѣло идетъ о томъ, чтобъ угостить его порядкомъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, милостивые государи! не прилично будетъ, если здѣшнее дворянство не дастъ ему обѣда.

МУТОВКИНЪ.

Конечно, конечно! Пріѣздъ такой важной особы долженъ быть ознаменованъ какимъ нибудь торжествомъ— и потому (привставая) да позволено мнѣ будетъ...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Позвольте, позвольте! И такъ рѣщено: мы даемъ обѣдъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Я беру смѣлость замѣтить вамъ слѣдующее: такъ какъ этотъ обѣдъ будетъ официальный, то есть, торжественный, и даже нѣкоторымъ образомъ дипломатическій, то намъ слѣдовало бы пригласить на совѣщаніе всѣхъ здѣшнихъ дворянъ, имѣющихъ голоса.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, мнѣ кажется, что выключая моего тестя, который нездоровъ, да Ивана Алексѣевича Холмина, которому теперь не до насъ...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Помилуйте! А Ѳома Прохоровичъ Телушкинъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

И, что вы, Осипъ Андреичъ! Телушкинъ!... Телушкинъ дворянинъ малодушный; всего тридцать душъ по послѣдней ревизіи.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

А Филиппъ Кондратьевичъ Ериковъ?

МУРАШКИНЪ.

Вотъ еще! Да Ериковъ-то дворянинъ вовсе бездушный: три дворовыя души, да и тѣ женины.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Такъ, знаете ли что?... Для приглашенія къ обѣденному столу намъ должно будетъ нарядить депутацію къ его превосходительству...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Такъ неужели послать этихъ однодворцевъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

О, нѣтъ! Они могутъ быть ассистентами.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Мы это увидимъ. И такъ послѣ завтра обѣдъ — разумѣется, парадный, въ мундирахъ, и если господамъ дворянамъ угодно будетъ довѣрить мнѣ...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Вамъ, батюшка! Вамъ и книги въ руки— накормить ваше дѣло— не правда ли, господа?

ВСѢ.

Совершенная правда!

МУТОВКИНЪ, вставая.

Да позволено мнѣ будетъ отъ лица всего нашего собранія (всѣ встаютъ) просить васъ, Алексѣй Андреичъ, принять на себя эту обязанность. (Прерывающимся голосомъ) Смѣю васъ увѣрить, что чувства благодарности... душевно-искренней благодарности... (всхлипываетъ) призна...тельныхъ сер...децъ, всего благороднаго... Баб... ковскаго... дво...рянства... (Плачетъ).

АПЕНКОВЪ, утирая платкомъ глаза.

Чувствительно!... очень чувствительно!

(Сморкаетъ носъ).

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, кланяясь.

Милостивые государи! Я чувствую всю честь... Такая лестная довѣренность!.. Прошу покорно садиться! (Всѣ садятся) Господа дворяне! я вамъ ручаюсь за всѣ блюды; но объ одномъ мы должны потолковать. Извѣстно всѣмъ и каждому, что хорошій столъ, то есть, столъ на славу, долженъ заключать, въ числѣ своихъ блюдъ, хотя одно рыбное блюдо. Прошу обратить ваше вниманіе на это важное обстоятельство — что будетъ приличнѣе: разварныя стерляди, или осетрина подъ галантиромъ?

МУРАШКИНЪ.

Позвольте, позвольте! Мы, конечно, желаемъ употчивать пріѣзжаго гостя, но всему есть мѣра — вѣдь мы живемъ не на Волгѣ! — Свѣжая осетрина, стерляди!... Да, вы этакъ вкатаете въ такую сумму, что придется по всему уѣзду раскладку дѣлать!

АПЕНКОВЪ.

Да-съ, это затруднительно... (Плюетъ) очень затруднительно.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, съ досадою.

Но я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что это блюдо необходимо.

АПЕНКОВЪ.

Конечно, если необходимо, такъ мнѣ кажется...

(Чихаетъ).

МУРАШКИНЪ.

Нѣтъ, батюшка! осетринка у насъ кусается — да и къ стерлядямъ приступу нѣтъ.

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

Такъ изъ чего же прикажете сдѣлать рыбное блюдо?

МУРАШКИНЪ.

Какъ изъ чего? Вотъ, напримѣръ: судакъ, свѣжая сазанина...

ЧЕРНОБЫЛИНЪ, съ ужасомъ.

Сазанина?... Боже мой! Сазанина!!!... Пахомъ Пахомычъ!... Что вы?... Отподчивать его превосходительство сазаниной!...

АПЕНКОВЪ, испугавшись.

Да-съ, неловко! Осмѣлюсь доложить... сазанина — рыба ординарная... (Кашляетъ) точно, неловко!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Эхъ, господа! есть о чемъ спорить! Извольте! — я жертвую вамъ двухъ стерлядей!

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

Живыхъ?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Животрепящихъ! Изъ моего садка.

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

Трехъ-четвертныхъ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Аршинныхъ!

ЧЕРНОБЫЛИНЪ, вскакивая со стула.

Господа! принесемте нашу благодарность почтеннѣйшему Касьяну Гурьичу!

(Всѣ встаютъ и кланяются).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ, откланиваясь.

Помилуйте, господа!.... очень радъ!...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

И такъ, теперь все улажено; остается поговорить о музыкѣ и пѣвчихъ, которые будутъ играть и пѣть во время обѣденнаго стола. Осипъ Андреичъ, конечно, не откажетъ намъ въ своемъ пособіи?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Вся моя капель, то есть, инструментальная и вокальная музыка, къ вашимъ услугамъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Какъ вы думаете, Осипъ Андреичъ, не мѣшало бъ спѣть что нибудь такое?... Знаете, вотъ этакъ приличное обстоятельствамъ и собственно особѣ его превосходительства.....

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Понимаю, понимаю!—Вотъ напримѣръ: Польскій: «Хвала, хвала тебѣ, герой, что градъ Петровъ спасенъ тобой!» — Тутъ можно сдѣлать нѣкоторыя измѣненія, то есть, поправки,—пропѣть напримѣръ: «Хвала, хвала тебѣ, герой, что градъ Бабковъ спасенъ тобой!»

МУТОВКИНЪ.

Прекрасно, прекрасно!... (Чихаетъ).

АПЕНКОВЪ.

Да позволено мнѣ будетъ сказать: я нахожу это весьма приличнымъ.

МУРАШКИНЪ.

Извините, батюшка, а по мнѣ такъ вовсе неприлично.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Почему жъ неприлично?

МУРАШКИНЪ.

Да, такъ, сударь! Вѣдь я старый служивый, и эту азбуку-то знаю! — Не ловко, батюшка, право, не ловко!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Да, почему?

МУРАШКИНЪ.

А, вотъ, изволите видѣть: во-первыхъ — герои обыкновенно бываютъ фельдмаршалы, или, по крайней мѣрѣ, полные генералы, а Максимъ Петровичъ...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Помилуйте, Пахомъ Пахомычъ! Да герой все герой, какого бы онъ класса ни былъ.

МУРАШКИНЪ.

Вотъ, извольте нынче поговорить! Вотъ они молодые-то люди! Ну, что вы это забили себѣ въ голову — а? — Эхъ, Осипъ Андреичъ! Нехорошо, право нехорошо!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Да, позвольте! Героизмъ достоинство, или, лучше сказать, чувство индивидуальное, которое въ отношеніи своемъ къ общимъ понятіямъ о храбрости не зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, коихъ соприкосновеніе развиваетъ внезапно всю энергію человѣческой воли; слѣдовательно, и не подходитъ подъ условныя выраженія, силы, власти и могущества — и есть, такъ сказать, чувство чисто объектівное, доступное для всякаго.

АШЕНКОВЪ, тихо Мутовкину.

Уменъ, очень уменъ!

МУТОВКИНЪ, также тихо.

Да, и сладко говоритъ!

МУРАШКИНЪ.

Да, что жъ вы, въ самомъ дѣлѣ? Такъ по вашему, и будошникъ можетъ быть героемъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Я не отвергаю этого.

МУРАШКИНЪ.

Извольте прислушать! Вотъ какова нынѣшняя молодежь!.... Имъ все трынъ трава!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Это бы ничего, а вотъ что не годится: «Хвала тебѣ, герой, что градъ Бабковъ спасенъ тобой». Да отъ чего же онъ спасалъ нашъ городъ?

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Это ужъ такъ говорится.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Что говорится — помилуйте! Французы у насъ не были, Бабковъ городъ благополучный, повальныхъ болѣзней никакихъ нѣтъ...

АШЕНКОВЪ.

Да-съ!... (Кашляетъ) Не выходитъ!

МУРАШКИНЪ.

Да и музыка-то пополамъ съ грѣхомъ, ну что хорошаго: «Хвала да хвала», и больше ничего! — Нѣтъ, господа! Не лучше ли придержаться старины, вотъ

например: «Громъ побѣды раздавайся» — съ припѣвомъ: «Славься симъ Екатерина! Славься нѣжная къ намъ мать!»

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

А что вы думаете?

МУРАШКИНЪ.

Да, ужъ повѣрьте мнѣ, что нынѣшняя-то музыка дрянь!.... А бывало, какъ хватятъ этотъ польскій съ трубами да литаврами... о, Господи!... свѣту Божьяго не взвидишь!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Да стихи-то какъ вы передѣлаете?

МУРАШКИНЪ.

Эка важность! — Вѣдь можно же было градъ Петровъ назвать градомъ Бабковымъ? А тутъ вмѣсто: «Славься симъ Екатерина! Славься нѣжная къ намъ мать» — можно пропѣть: «Славься симъ, Максимъ Петровичъ».

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Такъ!... Да второй-то стихъ?

МУРАШКИНЪ.

Ну, что жъ? Развѣ нельзя какъ нибудь перевернуть? — Вотъ напримѣръ: «Славься благодѣтельный начальникъ... Славься знаменитый мужъ»—и да мало ли чего нельзя придумать! Была бы только охота!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Конечно, и если мнѣ этимъ заняться...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Такъ займитесь, Осипъ Андреичъ! Музыка ваша, пѣвчіе ваши, возьмите ужъ и это на себя!

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Извольте! Я это все сдѣлаю съ моимъ капельмейстеромъ.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Ну, господа дворяне! Теперь, кажется, почти все кончено. Завтра я самъ депутатомъ отъ всего дворянскаго сословія; Телушкинъ и Ериковъ ассистентами; обѣдъ послѣ завтра въ три часа, въ мундирахъ; музыка, пѣвчіе — «Громъ побѣды раздавайся» и разварныя стерляди. Теперь надобно рѣшить: гдѣ долженъ быть обѣденный столъ?

(Марья Никитишна встаетъ съ своего мѣста и подходитъ).

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, объ этомъ, кажется, ужъ говорено.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Разумѣется, у насъ.

МУРАШКИНЪ.

Позвольте, я нахожу это не вовсе приличнымъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Неприличнымъ? Почему неприличнымъ?

МУРАШКИНЪ.

Во-первыхъ, потому, что этотъ обѣдъ даетъ генералу Зорину не мѣстное начальство, а здѣшнее дворянское сословіе; слѣдовательно, и обѣдъ долженъ быть данъ въ частномъ дворянскомъ домѣ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Что вы, Пахомъ Пахомычъ! Да, развѣ мой мужъ не дворянинъ?

МУРАШКИНЪ.

Я не говорю этого, помилуйте!.... Но онъ человѣкъ должностной, служитъ отъ короны и живетъ въ казенномъ домѣ. Вотъ, Осипъ Андреичъ того же мнѣнія.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, Кочькѣ.

Какъ, сударь? — Такъ и вы?...

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Да, Марья Никитишна — я думаю... полагаю... мнѣ кажется... что тутъ больше будетъ аналогіи... то есть, приличія; къ тому же мой домъ просторнѣе вашего — зала несравненно болѣе — въ два свѣта, съ хорами....

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Вашъ домъ! Такъ это въ вашемъ домѣ...

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, Марья Никитишна! Осипъ Андреичъ самъ вызвался, и если вамъ сказать правду — такъ и мнѣ кажется, что это будетъ лучше.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, Кочькѣ.

Прекрасно! Ну, Осипъ Андреичъ — не ожидала я...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

По мнѣ, господа, все равно, какъ хотите.

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Да, вотъ всего лучше, пойдемте на голоса. Я и Пахомъ Пахомычъ избираемъ для обѣда домъ Осипа Андреича. (Мутовкину) Теперь не угодно ли вамъ?

МУТОВКИНЪ.

Я также нахожу домъ Осипа Андреича удобнѣе; но... (Встаетъ) Да позволено мнѣ будетъ при семъ слу-

чаѣ объявить торжественно почтеннѣйшему Касьяну Гурьичу, что если бъ не польза общественная... для которой я готовъ пожертвовать не только внутреннимъ моимъ желаніемъ, но даже... но даже... да, господа... жизни моей не пощажу! (Всхлипывая) Все принесу въ даръ ей — все...

(Плачетъ).

ЧЕРНОБЫЛИНЪ, Апенкову.

Ну, что скажете вы, Яковъ Ѳедорычъ?

АПЕНКОВЪ.

Кто? Я-съ?... (Кашляетъ) Осмѣлюсь доложить... мнѣ кажется... конечно, въ разсужденіи обширности... и по уваженію двухъ свѣтовъ... и относительно хоръ... впрочемъ, и здѣсь отличный домъ-съ.... Конечно... зала безъ кумпала, — за то и полы крашеные-съ, и блафонъ росписной... и все-съ!...

МУРАШКИНЪ.

Да, полно-те мямлить, батюшка! Говорите на чистоту: гдѣ быть обѣду? здѣсь или у Осипа Андреича?

АПЕНКОВЪ.

Гдѣ-съ?... По...озво...льте!

(Сбирается чихнуть).

МУРАШКИНЪ.

Да говорите!

Апенковъ махаетъ рукой, и начинаетъ чихать, плевать, каплять и сморкать носъ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да изъ чего вы хлопочите, господа? Конечно, у Осипа Андреича просторнѣе, и я очень радъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА, тихо мужу.

Что ты, мой другъ, что ты?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

И такъ единогласно — обѣденный столъ назначается въ домѣ Осипа Андреича Кочьки. (Встаетъ) Господа! засѣданіе кончено! Теперь за дѣло.... (Кочькѣ) Не угодно ли вамъ со мною, Осипъ Андреичъ? Мы заѣдемъ къ вамъ, взглянемъ на кухню, а тамъ ко мнѣ потолковать кой о чемъ.

ОСИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ КОЧЬКА.

Очень хорошо.

МУРАШКИНЪ, Апенкову и Мутовкину.

Вы, кажется, хотѣли сегодня, господа, ко мнѣ на бостончикъ?

АПЕНКОВЪ И МУТОВКИНЪ.

Съ большимъ удовольствіемъ.

МУРАШКИНЪ.

Такъ что жъ терять золотое времячко? Не угодно ли со мной — я въ четверомѣстной.

Всѣ гости цѣлуютъ одинъ за другимъ руку у Марьи Никитишны, откланиваются и уходятъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну!!! Хорошъ будущій зятекъ!... Сынтриговалъ противъ насъ!... Эхъ, если бъ не семьсотъ душъ!... Ну, дѣлать нечего!... А ты, мой другъ, безотвѣтный, тебѣ все равно!...

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

И, матушка! «Кума съ воза, возу легче!» Ну, что за бѣда!...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Какъ что за бѣда? Да я ужъ всему городу сказала, что генералъ Зоринъ будетъ обѣдать у насъ въ домѣ.

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

А теперь скажи, что онъ будетъ обѣдать у Осипа Андреича.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Мнѣ ничего, совершенно ничего! Но мнѣ обидно за тебя, мой другъ. И этотъ дуракъ Кочька! Да, чего онъ хочетъ? Къ чему онъ подличаетъ? Что онъ въ службѣ, что ль?

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Полно, матушка, Марья Никитишна! Ты знаешь, я за него не заступа, а тутъ онъ вовсе невиноватъ: это общее желаніе всѣхъ дворянъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, размышляя.

Впрочемъ... да, да!... Мы еще увидимъ!... Такъ и быть! Унижу себя!... Но только во что бы ни стало, а ужъ эти господа дворяне будутъ съ носомъ!... Ей! человѣкъ! (Входитъ слуга) Готова ли карета?

СЛУГА.

Готова, сударыня.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Прощай, мой другъ!

КАСЬЯНЪ ГУРЬЕВИЧЪ.

Да, куда ты ѣдешь, Машинька?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Къ Холминой.

(Уходитъ.)

ГЛАВА V.

МАКСИМЪ ПЕТРОВИЧЪ ЗОРИНЪ.

Двадцать четвертаго мая, 1816 года, часу въ осьмомъ утра, надъ городомъ Бабковымъ блистало весеннее солнце во всей красотѣ своей. Окружныя рощи и поля оглашались пѣньемъ беззаботныхъ птичекъ; онѣ купались и ныряли въ тепловато-влажномъ воздухѣ, напитанномъ жизнію, вились надъ вершинами зеленѣющихъ деревьевъ, или гонялись за пестрыми бабочками, которыя перепархивали съ травки на травку и прятались между цвѣтовъ. Казалось, все въ природѣ наслаждалось самымъ очаровательнымъ майскимъ утромъ. Одни жители города Бабкова не замѣчали, какъ ясны голубыя небеса, какъ чистъ и животворенъ воздухъ, которымъ они дышатъ. Не видѣли, какой радостью и веселіемъ преисполнено все созданіе Божіе; какъ все, отъ полеваго цвѣтка до столѣтняго дуба, отъ незамѣтной букашки до ширококрылаго орла, празднуетъ на прощальномъ пиру красавицы весны, и готовится встрѣчать даровитое лѣто, съ его знойными небесами и громовыми тучами. Бабковскимъ жителямъ было не до того: его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ изволилъ прибыть въ городъ и принималъ всѣхъ чиновниковъ, дворянъ и первостатейное купечество, въ небольшой столовой комнатѣ, въ которой нельзя было пошевелиться отъ ужасной тѣсноты.

Максимъ Петровичъ Зоринъ, съ которымъ вы еще не знакомы, былъ человѣкъ истинно достойный уваженія,

честный, справедливый, готовый на всякое доброе дѣло и въ то же время понимающій, что доброе дѣло тогда только бываетъ добрымъ, когда оно основано на справедливости; что помиловать закоренѣлаго взяточника потому только, что онъ посѣдѣлъ не на службѣ, а на разбоѣ, который онъ называетъ службою, то же самое, что оставить волка на овчарнѣ, или позволить ему выдти вонъ съ честію, потому только, что этотъ волкъ давно уже душитъ овецъ. Максимъ Петровичъ всегда жалѣлъ, что нѣтъ закона, которымъ бы предписывалось, для поясненія послужныхъ списковъ, отдавать каждому ясный и подробный отчетъ, на какія деньги куплено имъ благопріобрѣтенное имѣніе, выстроенъ домъ, или изъ чего составился капиталъ, который у него въ оборотѣ. «Во-первыхъ,» говаривалъ Максимъ Петровичъ: «любопытно и полезно было бы знать, какіе способы употреблялъ такой-то Предсѣдатель, Совѣтникъ, Городничій или Секретарь, чтобъ удесетярить въ нѣсколько лѣтъ свое имѣніе; а во-вторыхъ, и наука бы отъ этого много выиграла: собраніе послужныхъ списковъ составило бы самый полный курсъ политической и частной экономіи. Максимъ Петровичъ, не смотря на свою ненависть ко всѣмъ злоупотребленіямъ, былъ иногда очень снисходителенъ къ *маленькимъ* воришкамъ, но за то ужъ *большимъ* не было отъ него никакой пощады: въ этомъ случаѣ онъ придерживался Русской пословицы: «не гонись за простымъ воромъ, а лови атамана». Максимъ Петровичъ былъ очень простъ въ обращеніи, и терпѣть не могъ торжественныхъ встрѣчъ,

торжественныхъ обѣдовъ, а пуще всего торжественныхъ рѣчей.

Я описалъ вамъ всѣ хорошія качества Зорина; теперь надобно сказать нѣсколько словъ объ его недостаткахъ: онъ былъ вспыльчивъ и чрезвычайно недовѣрчиваго характера. Иногда самое обыкновенное слово казалось ему двусмысленнымъ, и, можетъ быть, отъ излишней неувѣренности въ самомъ себѣ, онъ готовъ былъ видѣть насмѣшку тамъ, гдѣ ея вовсе не было. Эта раздражительность характера и совершенная неспособность отшучиваться, надѣлали ему много хлопотъ и непріятностей, когда онъ служилъ еще гусарскимъ корнетомъ, и стоялъ въ Виленской губерніи. Надобно вамъ сказать, что Максимъ Петровичъ, какъ и всѣ добродушные люди, чрезвычайно любилъ дѣтей; случилось ему однажды взять на руки трехъ-лѣтняго сына своей хозяйки; онъ такъ долго нянчился съ нимъ по комнатѣ, что одинъ изъ офицеровъ назвалъ его шутя: «нѣжною матерью». Эта нѣжная мать, съ огромными черными усами, показалась очень забавною другимъ офицерамъ: они стали смѣяться; Максимъ Петровичъ началъ сердиться; они, какъ водится, принялись смѣяться еще болѣе; Максимъ Петровичъ взбѣлѣнился — и дѣло кончилось тѣмъ, что весь полкъ сталъ называть его «нѣжною матерью». Бывало, только и слышно: «кому итти завтра въ караулъ?» — Нѣжной матери! — «Кого распёкъ сегодня полковой командиръ?» — Нѣжную мать!... Максимъ Петровичъ выходилъ изъ себя, ссорился и даже стрѣлялся — все было напрасно. Нигдѣ эти прозванія не прививаются такъ легко къ собственнымъ именамъ, какъ

у насъ въ Россіи; въ старину это бывало сплошь — загляните только въ родословную книгу и вы сейчасъ увидите сотни прозваній, одно другаго глупѣе: вотъ напримѣръ, хоть въ родѣ Засѣкиныхъ: «Князь Юрій Сорока-Хромой, Князь Михайло Чорный Совка» — или въ родѣ Шаховскихъ: «Князь Василій Хапала, Князь Семенъ Харя, Князь Матвѣй Бабушка». Зоринъ рѣшился наконецъ отправиться на Кавказъ, служилъ отлично и возвратился назадъ въ Россію генераломъ. Разумѣется, когда онъ сталъ занимать важныя мѣста, его ужъ никто не смѣлъ называть въ глаза «нѣжною матерью», но заочно ему давали еще это прозваніе, болѣе для того, чтобъ отличить его отъ другихъ Зориныхъ, которые также служили генералами.

Теперь я снова попрошу васъ, любезные читатели, послѣдовать за мною въ домъ Касьяна Гурьевича Костоломова. Хозяина не было дома, онъ показывалъ генералу Зорину всѣ городскія заведенія и дѣлалъ вмѣстѣ съ нимъ визиты дворянамъ, которыхъ Максимъ Петровичъ принималъ у себя рано по утру. Въ числѣ ихъ былъ также и Князь Чухаловъ; бѣдняжка выѣхалъ черезъ силу, но когда Максимъ Петровичъ назвалъ его при всѣхъ «mon cher cousin», то онъ въ ту же минуту выздоровѣлъ. Марья Никитишна одѣвалась у себя въ уборной, а Варинька сидѣла за пяльцами въ гостиной, и вышивала по кисеѣ охотника съ ружьемъ и лягавою собакой. Вдругъ двери отворились, и молодой человѣкъ высокаго роста, съ прекраснымъ смуглымъ лицомъ, вошелъ въ комнату. Варинька вспыхнула. «Извините!» сказалъ молодой человѣкъ, у котораго также

заигралъ въ щекахъ румянецъ: «мнѣ нужно поговорить съ Марьей Никитишною.»

«Она сейчасъ выйдетъ,» прошептала Варинька, опустивъ голову почти до самыхъ пялецъ.

Холминъ — это былъ онъ — остановился какъ вкопанный на одномъ мѣстѣ; взялъ свою шляпу изъ лѣвой руки въ правую, потомъ изъ правой въ лѣвую, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, вынулъ платокъ, положилъ его опять въ карманъ, и наконецъ подошелъ къ пяльцамъ.

Между тѣмъ Варинька продолжала работать чрезвычайно прилежно, но, кажется, безъ большаго вниманія, потому что вышивала незабудку на самомъ носу у лягавой собаки.

«Что вы это изволите дѣлать?» спросилъ Холминъ.

«Кисетъ для папеньки.

«Какъ давно я не имѣлъ удовольствія васъ видѣть!

«Да-съ!

«Вы были на балѣ у Алексѣя Андреича Чернобылина?

«Да-съ!

«А мнѣ никакъ нельзя было пріѣхать; я долженъ былъ провести этотъ вечеръ у Ивана Ѳедоровича...

«Мушкина? И, вѣрно, вамъ было очень весело?

«О, нѣтъ!... Мнѣ такъ хотѣлось быть на этомъ балѣ!»

Варинька взглянула съ удивленіемъ на Холмина, и сказала въ полголоса:

«На этомъ балѣ? Но вѣдь ее тамъ не было.

«Ее?.... О комъ вы говорите?

«О вашей невѣстѣ.

«О моей невѣстѣ?

«Вы напрасно скрываете, Иванъ Алексѣичъ: вѣдь это всѣ знаютъ. Вы помолвлены съ Марьей Ивановною Мушкиной.

«Кто?... Я?... Помилуйте!... Да она выходитъ замужъ за крестнаго сына моей матушки.»

Розовыя щеки Вариньки сдѣлались бѣлѣе кисеи, по которой она вышивала.

Вы видите теперь, любезные читатели, что Марья Никитишна не совсѣмъ солгала. Говоря о помолвкѣ казначейской дочери, она не назвала жениха ея по имени, а только къ словамъ: «сынъ старушки Холминой» забыла прибавить: «крестный».

«И вы могли подумать!» продолжалъ Холминъ: «вы повѣрили!... Мнѣ жениться—мнѣ?.... Никогда! О, если бъ могло сбыться то, о чемъ я и мечтать безъ трепета не смѣю... если бъ когда нибудь...

«Вотъ и маменька!» вскричала Варинька, отталкивая пяльцы. Она побѣжала на встрѣчу къ матери.

«Что это значитъ, сударыня?» шепнула Марья Никитишна: «давно ли вы начали принимать гостей? Ступайте въ свою горницу! Здравствуйте, Иванъ Алексѣичъ!» — продолжала она, обращаясь съ вѣжливой улыбкою къ Холмину. «Прошу покорно садиться!»

Холминъ сѣлъ на канапе подлѣ хозяйки, и между ими начался слѣдующій разговоръ:

ХОЛМИНЪ.

Я пріѣхалъ вамъ сказать только два слова, Марья Никитишна. Вы вчера изволили говорить матушкѣ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Объ этомъ обѣдѣ? Признайтесь сами, вѣдь очень будетъ странно, если его превосходительство...

ХОЛМИНЪ.

Разумѣется!... Я изъяснилъ это Максиму Петровичу — и онъ ужъ сказалъ Дворянскому Предводителю, что гораздо приличнѣе дать этотъ обѣдъ въ домѣ Начальника города, чѣмъ у частнаго человѣка, съ которымъ онъ не имѣетъ даже удовольствія быть знакомымъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Покорнѣйше васъ благодарю, Иванъ Алексѣичъ! Вы очень насъ одолжили.

ХОЛМИНЪ.

Помилуйте! да это было бы ни на что непохоже.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Не правда ли?

ХОЛМИНЪ.

Касьянъ Гурьичъ первое лицо въ нашемъ городѣ; Осипъ Андреичъ чиновнѣе его — это правда, но онъ человѣкъ отставной, и я удивляюсь, какъ пришло въ голову дворянамъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Ну, вотъ скажите!...

ХОЛМИНЪ.

Кто представитель высшей гражданской власти въ нашемъ городѣ? Надѣюсь — Касьянъ Гурьичъ?...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Разумѣется!

ХОЛМИНЪ.

Слѣдовательно, въ его лицѣ было бы унижено все мѣстное начальство.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Натурально!

ХОЛМИНЪ.

Повѣрьте, Марья Никитишна, я почти столько же изъ преданности моей къ Максиму Петровичу, сколько изъ уваженія къ вамъ, старался предупредить эту неловкость.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Какъ вы добры!

ХОЛМИНЪ.

Я только исполнилъ долгъ мой. (Встаетъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Я не смѣю васъ удерживать! Мое почтеніе вашей матушкѣ.

ХОЛМИНЪ.

Покорнѣйше васъ благодарю!

Цѣлуетъ руку у Марьи Никитишны, раскланивается и уходитъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА, глядя въ слѣдъ за Холминымъ.

Да онъ препорядочный молодой человѣкъ! Скажите, пожалуйста, почти однодворецъ, а разсуждаетъ такъ солидно и хорошо, какъ будто бы у него тысяча душъ!... Вотъ, кажется, и бѣдный человѣкъ, а вѣдь умѣлъ же себя образовать!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ, входитъ запыхавшись въ комнату.

Здравствуйте, Марья Никитишна! (подходитъ къ рукѣ) Здравствуйте! (Бросается въ кресла) Уфъ, батюшки!... За-

дохся!... Ну, вотъ, матушка Марья Никитишна! Вышло же по нашему: обѣдъ у васъ въ домѣ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Какъ по нашему? Да мнѣ кажется, вы были противъ этого?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Помилуйте! Это все напутали дворянс. Очень радъ, очень радъ!... Такъ вы ужъ позволите мнѣ у васъ хозяйничать?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Сдѣлайте милость!

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Мои повара готовы, а за поваромъ Княгини Хайбазовой я послалъ: чудно дѣлаетъ телятину подъ бешамелемъ!... Ну, Марья Никитишна, что за человѣкъ этотъ Максимъ Петровичъ! Онъ сейчасъ изволилъ быть у меня съ визитомъ, — да, сударыня, да—вельможа! Истинный вельможа!... Представьте, какой вышелъ случай: его превосходительство попросилъ чего нибудь напиться; вы знаете, Марья Никитишна, у меня водицы отличныя—вотъ я и велѣлъ подать брусничной, малиновой, вишневой и смородинной; несутъ на большомъ подносѣ, а жена толкъ меня подъ бокъ, да и шепчетъ: «что ты надѣлалъ? Вѣдь всѣ водицы дрянь, одна вишневая хороша.» Такъ меня какъ громомъ и ошибло! — Батюшки! Ну!!! Осрамлюсь совсѣмъ! — Вотъ его превосходительство глядь прямо на брусничную — у меня въ глазахъ потемнѣло!... Максимъ Петровичъ протянулъ руку — я не живъ, ни мертвъ!.... А онъ хвать за

бутылку... вишневая!!!—Ухъ, такъ и отлегло отъ сердца! Экое счастье, подумаешь — ухватись онъ за другую — ну, матушка, бѣда! Безъ ножа зарѣзалъ!

МАРЬЯ НИКИТИШНА, улыбаясь.

Скажите, пожалуйста! Подлинно счастливо! Ну, что, похвалилъ?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Какъ же? — «Что это,» говоритъ «у васъ за водица такая? Удивительная!..» Потомъ началъ говорить о томъ, о другомъ... Ну, голова!... Фу!!!

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Такъ онъ въ самомъ дѣлѣ очень уменъ?

ЧЕРНОВЫЛИНЪ.

Уменъ? Помилуйте! Государственный человѣкъ!

(Входятъ Мурашкинъ и Мутовкинъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А, господа!

Мурашкинъ и Мутовкинъ раскланиваются, и, разумѣется, подходятъ къ рукѣ.

МУТОВКИНЪ.

Осипъ Андреичъ просилъ меня извинить его, что не можетъ у васъ быть сегодня по утру: онъ очень занятъ съ своимъ капельмейстеромъ.

МУРАШКИНЪ.

Да! Улаживаютъ музыку и передѣлываютъ слова. Ну, Марья Никитишна! обѣдъ у васъ въ домѣ, а воля ваша, гнѣвайтесь или нѣтъ, только въ домѣ Осипа Андреича было бы гораздо лучше.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Это говорите вы, Пахомъ Пахомычъ, а другіе думаютъ иначе.

МУРАШКИНЪ.

Да, чего тутъ иначе? Куда вы поставите музыку и пѣвчихъ?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Все будетъ сдѣлано, не безпокойтесь! Во время обѣда, музыка и пѣвчіе будутъ въ гостиной.

МУРАШКИНЪ.

А гостей-то гдѣ вы будете принимать: въ буфетѣ, что ль?

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Позвольте ужъ мнѣ, Пахомъ Пахомычъ, знать, что я дѣлаю... Да, что объ этомъ говорить, когда Максимъ Петровичъ рѣшилъ самъ!...

МУРАШКИНЪ.

Самъ! Да, что, Марья Никитишна, вѣдь я на правду чортъ! Кабы вы вчера не изволили ѣздить къ Матренѣ Савишнѣ Холминой, да не хлопотали объ этомъ...

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Кто это вамъ сказалъ

МУРАШКИНЪ.

Яковъ Ѳедоровичъ Апенковъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Онъ лжетъ!... Мы съ нимъ встрѣтились у Матрены Савишны, но я пріѣзжала только для того, чтобъ узнать о здоровьѣ этой почтенной старушки. Конечно, есть люди, которые не могутъ жить безъ происковъ и сплетней; а я не такова, Пахомъ Пахомычъ; я не люблю интриговать, Пахомъ Пахомычъ!... Я вѣжлива,

Пахомъ Пахомычъ, не говорю никому дерзостей; но вѣдь это ничего не значитъ: можно быть и мужикомъ, и грубіяномъ, и въ то же время...

МУРАШКИНЪ.

Ну, вотъ и прогнѣвались! Я, право, не съ тѣмъ сказалъ — ей ей не съ тѣмъ!... А все-таки — воля ваша! Здѣсь нѣтъ никакого простора! Эй, вспомните меня — будетъ катавасія!

МУТОВКИНЪ, взглянувъ въ окно.

А вотъ и Касьянъ Гурьичъ пріѣхалъ.

ЧЕРНОБЫЛИНЪ.

Такъ пойдемте же къ нему въ кабинетъ, да потолкуемъ о дѣлѣ. Прощайте, Марья Никитишна!

(Мутовкинъ, Чернобылинъ и Мурашкинъ уходятъ).

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

А, господа! Вамъ досадно — не по вашему сдѣлалось!... Когда подумаю: что если бъ не я?... Да они моего Касьяна Гурьича въ грязь бы затоптали!... Ну, вотъ, честный человѣкъ, добрая душа; а что толку?... Эхъ, кабы я была на его мѣстѣ, не то бъ было! У меня бы эти дворяне по струнке ходили! (Входитъ слуга) Что ты?

СЛУГА.

Касьянъ Гурьичъ приказалъ доложить, что генералъ Зоринъ сейчасъ будетъ.

МАРЬЯ НИКИТИШНА.

Генералъ Зоринъ?... Ахъ, Боже мой! а я еще по домашнему?... Ей, дѣвка! Дашка, Дашка!...

(Убѣгаетъ).

—

ГЛАВА VI.

ОБѢДЪ.

Половина третьяго. На крыльцѣ двухъ-этажнаго дома Бабковскаго Градоначальника стоятъ второй Частный Приставъ Дергуновъ и двое Квартальныхъ Надзирателей. Въ сѣняхъ депутаты отъ дворянства, Телушкинъ и Ериковъ; на верху лѣстницы, у самыхъ дверей передней комнаты, Чернобылинъ и Касьянъ Гурьевичъ, прочіе дворяне въ гостиной и столовой; всѣ въ мундирахъ. На площади, передъ домомъ, толпа народа. Цѣпь изъ десяти будошниковъ протянута во всю ширину площади; два городовые сержанта ходятъ взадъ и впередъ вдоль цѣпи, и осаживаютъ народъ.

ФАБРИЧНОЙ, въ синемъ полукафтаньѣ.

Эхъ, народу-то какъ прибываетъ? (Другому парню, въ сѣромъ армякѣ) Ванюха?

СѢРЫЙ АРМЯКЪ.

Что?

СИНІЙ КАФТАНЪ.

Глядь-ко! Вонъ и Палага здѣсь!

СѢРЫЙ АРМЯКЪ.

Ой ли?

СИНІЙ КАФТАНЪ.

Право такъ! И дядя Филиппъ?... Вонъ и тетка Аксинья!... Да что это, братъ Ванюха?... Что будетъ?

СѢРЫЙ АРМЯКЪ.

А Богъ вѣсть что!

СИНІЙ КАФТАНЪ.

Да что жъ народъ-то валитъ?

СѢРЫЙ АРМЯКЪ.

А кто его знаетъ... Чу!... Вонъ тамъ что-то зашумѣли!

1-й городовой сержантъ, толкая переднихъ.

Назадъ!

посадская баба.

Ахъ, батюшки!... Что жъ ты толкаешься?

1-й городовой сержантъ.

Ну, ну! Еще заговорила!... Назадъ!

2-й городовой сержантъ, подходитъ.

Не тронь ея, Архипычъ: кума!... Стой, небось, Кондратьевна — стой здѣсь! (Мѣщанинъ въ фризовой оборванной шинелишкѣ выдается впередъ) А ты куда лѣзешь?... Назадъ!

мѣщанинъ, указывая на посадскую бабу.

Да коли ей можно, такъ почему жъ и намъ?...

2-й городовой сержантъ.

Вотъ еще сталъ разсказывать! Говорятъ тебѣ — назадъ!... А ты куда, лапотникъ?... Я тебя, я тебя!... (Подымаетъ палку).

мужикъ, пятясь назадъ.

Батюшка!... Батюшка!...

1-й городовой сержантъ.

То-то батюшка!... Пошелъ, пошелъ!

посадская баба, 2-му городовому сержанту.

Сидоръ Иванычъ? Зачѣмъ это народъ-то все назадъ гонютъ?

2-й городовой сержантъ.

Экая ты какая! енералъ поѣдетъ.

мѣщанинъ.

Эва! енералъ! — Да развѣ проѣзду-то мало?

1-й городовой сержантъ.

Не твое дѣло!

МѢЩАНИНЪ.

Ногдась и губернаторъ проѣзжалъ, да еще въ базарный день, а народъ-то не пятили.

ЛОВАЗНИКЪ, пробираясь сквозь толпу.

Пустите-ка, ребята!

2-Й ГОРОДОВОЙ СЕРЖАНТЪ.

Куда ты?—Рожа не мытая, а туда же нарохтится впередъ!... Ну, ну! проваливай! — (Мѣщанинъ высовывается). Ты опять полѣзъ! – Говорятъ тебѣ, назадъ!

МѢЩАНИНЪ, указывая на посадскую бабу.

Да что жъ ты ее-то не гонишь?... А?

2-Й ГОРОДОВОЙ СЕРЖАНТЪ.

Ну, поговори еще, поговори!.. Экой неугомонный.

1-Й ГОРОДОВОЙ СЕРЖАНТЪ.

А, вотъ, постой! Вотъ, я ему дамъ угомона два, три, такъ онъ у меня...

(Мѣщанинъ прячется за народъ).

СТАРИКЪ, въ долгополомъ сюртукѣ, оборачиваясь назадъ.

Тише, тише! Что вы прёте?... Фу, ты, батюшки, куда народъ-то глупъ!... Ну, чего пришли глазѣть?... Дурачье!

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ, обращаясь къ старику.

Осмѣлюсь спросить, батюшка: что это за оказія такая?

СТАРИКЪ.

Бабковское дворянство даетъ обѣдъ проѣзжему генералу.

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ.

Вотъ что-съ!... То есть, этому генералу Зоринову?... Слышали-съ! — А что онъ этакой, съ позволенія сказать, отличительный генералъ... въ кавалеріяхъ?

СТАРИКЪ.

Да! Есть и кавалеріи.

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ.

Такъ-съ!... А что, батюшка-съ, по какимъ случаямъ этотъ генералъ пожаловалъ въ нашъ городъ — по командѣ, что ль, или такъ-съ?

СТАРИКЪ, въ полголоса.

Ревизоръ.

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ.

Вотъ что-съ!... Ревизоръ!... Что жъ это, батюшка-съ, относительно коронныхъ мѣстъ?

СТАРИКЪ.

Да, онъ былъ у насъ сегодня въ Уѣздномъ Судѣ.

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ.

Въ Уѣздномъ Судѣ-съ!... Ну, я думаю, судья-то и секретарь, таво-съ...

СТАРИКЪ.

Видали мы!

МОЛОДОЙ КУПЧИКЪ.

Однако жъ все-таки, батюшка-съ, я думаю, у нихъ на умѣ-то и пять и шесть...

СТАРИКЪ.

И! Страшенъ гнѣвъ, да милостивъ Богъ! Вѣдь намъ не въ первые!...

(Позади раздается крикъ: «пади, пади!»...)

1-й и 2-й городовые сержанты.

Посторонись!... Разступись!... Посторонись!

Народъ разступается; 1-й Частный Приставъ подскакиваетъ на парныхъ дрожкахъ къ крыльцу дома Городничаго.

1-й частный приставъ, спрыгивая съ дрожекъ.

Его превосходительство изволитъ ѣхать!

—

Все закипѣло въ домѣ; отъ сѣней до гостиной пробѣжалъ какой-то невнятный ропотъ; онъ проникъ даже до диванной, гдѣ Марья Никитишна суетилась вокругъ стола, уставленнаго вареньемъ и бутылками съ виномъ. Дворяне ухватились за шляпы, начали поправлять галстухи и одергивать мундиры. Въ торопяхъ много надѣлано было бѣдъ: Чернобылинъ сталъ затягиваться на всѣ пуговицы — двѣ отлетѣли прочь и одна петля лопнула; Князь Чухаловъ позабылъ выправить свою косичку, которая исчезла за стоячимъ воротникомъ мундира; у Апёнкова распустился галстухъ и поднялся выше ушей, а бѣдный Мутовкинъ совсѣмъ растерялся: ему замѣтилъ Исправникъ, что его шпага прицѣплена къ правому боку. Вотъ подъѣхала коляска; въ ней сидѣли Максимъ Петровичъ и Холминъ, оба во фракахъ. Частный Приставъ Дергуновъ бросился, смялъ лакея, отворилъ дверцы и хотѣлъ принять Максима Петровича; но его превосходительство выпрыгнулъ изъ коляски, и оборотясь, сказалъ съ

примѣтнымъ неудовольствіемъ: «Вы, батюшка, не лакей!» — Въ сѣняхъ Телушкинъ и Ериковъ расположились было ввести подъ руки Зорина на лѣстницу, но онъ сказалъ имъ очень сухо: «Позвольте, господа, позвольте! У меня еще ноги ходятъ.» — И когда у дверей его встрѣтили Касьянъ Гурьевичъ съ Чернобылинымъ, то онъ, поклонясь имъ, проговорилъ почти съ досадою: «Эхъ, господа! къ чему такой парадъ? Помилуйте!» При входѣ Максима Петровича въ гостиную, эта коллекція губернскихъ мундировъ и оффиціально-важныхъ рожъ совсѣмъ его смутила. «Что это, господа,» сказалъ онъ: «что вамъ за охота была надѣвать мундиры? Я надѣялся пообѣдать за-просто, по-дружески, съ здѣшними дворянами, а вы нарядились, какъ будто бы сегодня табельный день.» Тутъ забормотали съ разныхъ сторонъ: — «Помилуйте, ваше превосходительство!... Нашъ долгъ, ваше превосходительство!... обязанность по службѣ... честь, которую вы намъ дѣлаете!...» Одинъ Апёнковъ не говорилъ ничего, но за то расчихался такъ, что его вывели вонъ изъ гостиной.

«Здравствуйте, mon cousin!» сказалъ Максимъ Петровичъ, протягивая руку Князю Чухалову. «И вы также одѣлись въ мундиръ?

«Батюшка, братецъ!» отвѣчалъ Чухаловъ, наклонивъ такъ низко свою голову, что его косичка выскочила изъ-подъ воротника и стала дыбомъ. «Батюшка, братецъ! Я не менѣе другихъ дворянъ счелъ моей обязанностію...

«Я доложу вашему превосходительству,» подхватилъ Чернобылинъ, закрывая шляпою свою прорванную петлицу: «что здѣшнее дворянство — если смѣю такъ выразиться — дворянство образованное, и понимаетъ всю важность этого дня...

«Да позволено мнѣ будетъ,» воскликнулъ Мутовкинъ: «сказать вашему превосходительству, что бы мы такое были, если бъ не умѣли оцѣнить...

«Не угодно ли вашему превосходительству,» перервалъ Чернобылинъ, «закусить чего нибудь?»

Его превосходительство наложилъ руку на завтракъ, и въ нѣсколько минутъ не стало ни сельдей, ни икры, ни балыка, ни вяленыхъ лещей, ни копченаго гуся. Надобно отдать справедливость нашимъ помѣщикамъ: хорошо они ѣдятъ — весьма хорошо! то есть, не то, чтобъ чрезвычайно вкусно, но очень плотно и съ большимъ постоянствомъ. Въ деревнѣ частехонько весь день проходитъ въ ѣдѣ, съ маленькими промежутками, которые едва замѣтны — чай, завтракъ, обѣдъ, послѣ обѣда десертъ, то есть, разныя варенья, моченыя и свѣжія яблоки, дыни, арбузы, заливныя вишни и разныя другія потѣшки, которыя мѣшаютъ желудку дремать и поддерживаютъ его дѣятельность; потомъ опять чай со сливками и домашнимъ *папушникомъ*, а тамъ ужинъ, который отличается отъ обѣда только тѣмъ, что послѣ него перестаютъ ѣсть нѣсколько часовъ сряду. Вообще Русскій человѣкъ поѣсть любитъ — въ этомъ онъ никакъ не уступитъ Англичанину, а Французъ съ нимъ и не схватывайся.

Эту несомнѣнную истину доказали господа дворяне,

когда сѣли за столъ. Они починились немного за супомъ, поманерились за телятиной; но какъ дошло дѣло до аршинныхъ стерлядей, то все вниманіе къ знаменитому гостю исчезло: это лакомое блюдо овладѣло умами всѣхъ пирующихъ; разговоры прекратились, многіе изъ дворянъ совершенно онѣмѣли, а Чернобылинъ погрузился до того въ созерцаніе самой большой стерляди, что отвѣчалъ на вопросы Максима Петровича однѣми вѣжливыми улыбками и почтительнымъ наклоненіемъ головы. Межъ тѣмъ музыка грянула въ гостиной, пѣвчіе завыли какой-то гимнъ, и Осипъ Андреевичъ Кочька расцвѣлъ. Максимъ Петровичъ любилъ музыку, и самъ игралъ недурно на скрыпкѣ; но этотъ оркестръ былъ такъ близко, и — вѣроятно желая отличиться — ревѣлъ съ такимъ ожесточеніемъ, что его превосходительство началъ пожиматься. Пѣвчіе также не жалѣли себя, а особливо дишканты, составленные изъ дворовыхъ дѣвокъ Осипа Андреевича. Эти домашнія прима-донны визжали и выводили *верхнія нотки* какими-то отчаянными и голодными голосами, отъ которыхъ волосы дыбомъ становились на головѣ Максима Петровича. Надобно вамъ сказать, что по распоряженію Осипа Андреевича Кочьки, всѣмъ дишкантамъ два дня сряду не давали ѣсть ничего, кромѣ яицъ въ смятку, полагая на каждаго дишканта по два яйца въ сутки. Разумѣется, это дѣлалось для того, чтобъ ихъ голоса были чище; но вы можете себѣ представить, какъ имъ весело было пѣть на тощій желудокъ, въ то время, какъ у нихъ подъ носомъ господа трудились около жирной телятины и пожирали аршинныхъ стерлядей.

Когда эта музыкальная буря затихла, Максимъ Петровичъ спросилъ Касьяна Гурьевича, чей оркестръ и пѣвчіе?

«Мои, ваше превосходительство!» сказалъ Кочька, привставая со стула.

«Мнѣ кажется, ваши мѣдные инструменты...

«Слабеньки, ваше превосходительство — это правда! Сильныхъ амбушуровъ нѣтъ.

«Напротивъ, если бъ они играли не такъ громко...

«Это изъ усердія, ваше превосходительство,» перервалъ Чернобылинъ: «изъ усердія! Такой дорогой и знаменитый гость...

«Покорнѣйше благодарю! Но, право, лучше бы, если бъ они играли потише!»

Осипъ Андреевичъ послалъ сказать капельмейстеру, чтобъ оркестръ игралъ *пьяниссимо*; но видно слуга переврал, потому, что музыканты принялись отрабатывать увертюру изъ *рѣдкой вещи*, форто-фортиссимо. Максимъ Петровичъ началъ хмуриться. Вотъ обѣдъ сталъ приближаться къ концу; розлили шампанское по бокаламъ; всѣ встали — и Мутовкинъ, проговоря: «Да позволено мнѣ будетъ,» началъ привѣтственную рѣчь знаменитому гостю. Вся эта торжественность чрезвычайно не правилась Максиму Петровичу; но когда Мутовкинъ разнѣжился, сталъ хныкать, зарыдалъ, и наконецъ горько заплакалъ, то Зоринъ почти вышелъ изъ себя. «Что это за комедія?» думалъ онъ. «Ужъ не хотятъ ли меня дурачить?... Отъ чего этотъ господинъ

расплакался? Мы другъ друга не знавали?.... Что за чувствительность такая?... Это ни на что не походитъ!..» Вотъ, Максимъ Петровичъ надулся не на шутку. Бокалы опорожнили, раздался троекратный тушъ и загремѣлъ польскій: «Громъ побѣды раздавайся!»

Какія бываютъ странныя стеченія обстоятельствъ! Пустая, незначущая ошибка, которая бы во всякое другое время насмѣшила и болѣе ничего, получаетъ иногда какую-то необычайную важность отъ посторонннихъ обстоятельствъ и сближеній, не имѣющихъ съ нею ничего общаго. Думалъ ли, на примѣръ, Осипъ Андреевичъ Кочька, что поспѣшность, съ которою онъ приноровлялъ къ обстоятельствамъ стихи польскаго: «Громъ побѣды раздавайся,» будетъ имѣть такія гибельныя послѣдствія; что одинъ неисправленный стихъ оживитъ въ памяти Максима Петровича самый непріятный случай въ его жизни—и, что всего хуже, покажется ему явною насмѣшкой Бабковскихъ дворянъ, которые и безъ того ужъ начинали казаться ему подозрительными. Осипъ Андреевичъ Кочька или самъ не досмотрѣлъ, или переписчики ошиблись, только въ припѣвѣ польскаго второй стихъ остался безъ всякой поправки — и пѣвчіе, по писанному, какъ по сказанному, проревѣли во весь голосъ:

«Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!»

Зоринъ поблѣднѣлъ: онъ не вѣрилъ ушамъ своимъ; и вотъ опять тотъ же припѣвъ, и опять Максима Петровича называютъ *нѣжной матерью*. Изъ блѣднаго онъ

сдѣлался пунцовымъ. Никто изъ пирующихъ не замѣтилъ этого несчастнаго стиха, но всѣ видѣли, что съ Зоринымъ дѣлается что-то странное.

«Выкушайте воды, ваше превосходительство!» шепнулъ Касьянъ Гурьевичъ.

«Что вы, батюшка, братецъ?» сказалъ Чухаловъ съ испуганнымъ видомъ: «что съ вами?»

Зоринъ не могъ выговорить ни слова; губы его дрожали, глаза налились кровью. Въ третій разъ принимались пѣть:

«Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!»

«Боже мой!» вскричалъ Чернобылинъ: «онъ подавился костью! Доктора! доктора!»

Максимъ Петровичъ вскочилъ, оттолкнулъ стулъ и проговорилъ прерывающимся голосомъ: «Господа! Если это шутка, то она очень глупа.»

У всѣхъ дворянъ кровь застыла въ жилахъ.

Максимъ Петровичъ схватилъ шляпу, какъ полоумный бросился изъ столовой и сбѣжалъ съ лѣстницы; все это произошло съ такою быстротой, что никто изъ дворянъ не успѣлъ очнуться. Одинъ Касьянъ Гурьевичъ побѣжалъ въ слѣдъ за Максимомъ Петровичемъ, повторяя безпрестано: «Ваше превосходительство, ваше превосходительство!... Да что такое? Помилуйте!»

Зоринъ не отвѣчалъ ни слова, прыгнулъ въ свою коляску и ускакалъ.

Когда Касьянъ Гурьевичъ воротился въ столовую, то нашелъ всѣхъ дворянъ въ ужасномъ смятеніи: они по-

выскакали изъ стола и шумѣли межъ собой, точь въ точь какъ шумятъ они на губернскихъ съѣздахъ, когда дѣло идетъ о какой нибудь новой земской повинности, или о дворянской суммѣ, требующей пополненія. Каждый *обсуживалъ* по своему странный поступокъ Максима Петровича; Чернобылинъ стоялъ въ томъ, что онъ подавился костью.

«Помилуйте,» возражалъ Мутовкинъ: «да что жъ онъ это называлъ шуткою? Какая чортъ шутка — подавиться костью!

«Эхъ, господа!» кричалъ Пахомъ Пахомычъ: «да, развѣ вы не замѣтили, что на него находитъ? Видно, у его превосходительства въ головѣ-то подъ часъ и такъ и этакъ!

«Видно, что такъ!» шепталъ покашливая Апёнковъ.

Вдругъ двери изъ гостиной съ шумомъ растворились, и Марья Никитишна, съ отчаяннымъ лицомъ и растрепанными волосами, вошла въ столовую.

«Покорнѣйше васъ благодарю, Осипъ Андрепчъ,» проговорила она, задыхаясь отъ гнѣва: «покорнѣйше благодарю! Да, и всѣ дворяне должны благодарить васъ!... Что вы съ нами сдѣлали?...»

Всѣ взоры устремились на Кочьку, который стоялъ какъ вкопаный на одномъ мѣстѣ.

«Вы злой, ехидный человѣкъ!

«Я?» пробормоталъ Кочька, глядя съ удивленіемъ на Марью Никитишну.

«Да, вы! Вамъ не удалось поставить на своемъ, такъ вы хотѣли отмстить намъ — и какимъ низкимъ образомъ!...

«Помилуйте! Я васъ не понимаю —то есть, не могу постигнуть...

«Да не вы ли взялись передѣлать стихи въ польскомъ?

«И пошлюсь на всѣхъ: они передѣланы прекрасно.

«Прекрасно! А что пѣли сейчасъ?

«Да, да!» закричалъ Чернобылинъ: «что пѣли?

«Помилуйте! Я была въ диванной, а все слышала: со мной сдѣлалось дурно — я чуть не умерла отъ стыда!

«Да, что жъ такое пѣли?» спросилъ Касьянъ Гурьевичъ.

«Такъ, ничего!

«Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!»

«Что̀ вы говорите?» перервалъ Чернобылинъ, всплеснувъ руками.

«Ай-да, Осипъ Андреичъ!» заревѣлъ Пахомъ Пахомычъ. «Ну, батюшка, послужили дворянамъ! Вотъ, Марья Никитишна, не говорилъ ли я вамъ, что будетъ катавасія!

«Ахъ, Боже мой! да могла ли я подумать!... Такое подлое мщеніе!

«Да, это подло! низко!... скверный поступокъ!...» заговорили всѣ дворяне.

«Клянусь вамъ честью, господа!...» воскликнулъ Кочька.

«Что это за честь!» зашумѣли со всѣхъ сторонъ. «Неблагородный поступокъ!... Оканфузить все общество!.. осрамить свою братью, дворянъ!...

«Что мы будетъ теперь дѣлать?» сказала сквозь слезы Костоломова.

«Не безпокойтесь, Марья Никитишна!» перервалъ Холминъ. «Я поѣду къ Максиму Петровичу, и изъясню ему, отъ чего произошла эта ошибка. Онъ вспыльчивъ, но добръ, и сейчасъ пойметъ, что съ вашей стороны не было тутъ никакого намѣренія.

«О, ужъ конечно нѣтъ! Но Осипъ Андреичъ, котораго я прошу оставить нашъ домъ...

«Марья Никитишна!» перервалъ Кочька, «повѣрьте мнѣ...

«Увольте отъ объясненій! Я знаю: если бъ обѣдъ былъ въ вашемъ домѣ, то этого бы не случилось.

«И я той же вѣры!» подхватилъ Пахомъ Пахомычъ. «Да, что нынѣшніе молодые люди! Отъ нихъ всего жди!

«Сдѣлайте милость, Иванъ Алексѣичъ,» сказалъ Чернобылинъ: «оправдайте насъ передъ его превосходительствомъ.

«Будьте спокойны! Я васъ увѣряю, что все кончится смѣхомъ.

Холминъ уѣхалъ; всѣ дворяне стали разъѣзжаться; Осипъ Андреевичъ также долженъ былъ уѣхать. Марья Никитишна не хотѣла слышать никакихъ оправданій, и велѣла прогнать его артистовъ. Дишканты очень этому обрадовались; они надѣялись, что имъ, вмѣсто яицъ, дадутъ наконецъ покушать щей и гречневой каши; но бѣдные ошиблись: разгнѣванный баринъ велѣлъ ихъ выдержать еще цѣлые сутки на строгой діетѣ, за то, что они пѣли такъ, какъ было у нихъ написано подъ но-

тами. Вотъ этакъ-то частенько бываетъ на бѣломъ свѣтѣ: большой баринъ сдѣлаетъ глупость, а маленькому человѣчку за нее достается. Послушаешься — бѣда, не послушаешься — другая. Правду говорятъ Малороссіяне: «И перевернишься бьютъ, и не доверишься — бьютъ.» Ну, да что объ этомъ толковать—не нами свѣтъ начался, не нами и кончится.

—

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

—

Вечеромъ Холминъ пріѣхалъ успокоить Костоломовыхъ; онъ сказалъ имъ, что Максимъ Петровичъ будетъ у нихъ самъ, на другой день по утру, поблагодарить за угощеніе и увѣрить, что онъ ни мало на нихъ не досадуетъ. Иванъ Алексѣевичъ изъяснилъ имъ также, почему Зоринъ такъ обидился названіемъ «нѣжной матери» и принялъ за насмѣшку совершенно неумышленную ошибку пѣвчихъ. На этотъ разъ Холминъ понравился еще болѣе Марьѣ Никитишнѣ; говоря съ нимъ, она почти забыла, что онъ отставной поручикъ и человѣкъ небогатый. Осипъ Андреевичъ Кочька пріѣзжалъ также къ Костоломовымъ, но Марья Никитишна велѣла ему отказать. «Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ,» сказалъ Касьянъ Гурьевичъ, «не хочешь выслушать его оправданія. Вѣдь безъ суда никого не наказываютъ.»

«Я видѣть его не могу,» отвѣчала Марья Никитишна. «Интриганъ!... Рѣшиться на такой скверный поступокъ!

«Эхъ, матушка! Да развѣ онъ не могъ просмотрѣть и ошибиться безъ всякаго намѣренія...

«Онъ? Да я готова голову прозакладывать — все это было обдумано; онъ хотѣлъ непремѣнно осрамить насъ!... И этотъ человѣкъ чуть было не попалъ въ наше семейство!...

«Такъ ты ужъ не хочешь выдать за него Вариньку?

«Помилуй, Касьянушка!... Да пара ли онъ нашей дочери!... Я не знаю, что у меня было за ослѣпленіе такое!... а все ты, мой другъ!

«Какъ, я!...

«Ну, конечно! Только, бывало, и твердишь: «Смирный человѣкъ! хорошій человѣкъ!..

«Да развѣ я не говорилъ тебѣ...

«Полно, полно, Касьянушка! Ты совсѣмъ было меня сбилъ.

« Марья Никитишна, побойся Бога !

«Ну, что не правда, что ль! Ты мнѣ уши прожужжалъ о его добродѣтеляхъ; и человѣкъ-то онъ аккуратный и поведенія прекраснаго...Прекраснаго!... Поди-ка, спроси у Маргариты Савишны, да у Матрены Карповны: такъ онѣ тебѣ пораскажутъ.

«Да когда же я хотѣлъ, чтобъ онъ...

«Ужъ нечего, нечего! Признайся, мой другъ: ты въ этомъ много виноватъ.

«Ну, матушка, пожалуй, быть по твоему: безъ вины виноватъ!

«Да, да, безъ вины! Охъ, ужъ эти мужья — вѣчно правы!»

На другой день, часу въ одинадцатомъ утра, Максимъ Петровичъ пріѣхалъ къ Костоломовымъ.

«Мнѣ очень передъ вами совѣстно,» сказалъ онъ, садясь на канапе подлѣ хозяйки, «и очень досадно на самого себя; но что прикажете дѣлать? У меня ужъ такой несчастный характеръ: Богъ знаетъ, что иногда придетъ мнѣ въ голову. Впрочемъ, согласитесь, Марья Никитишна, что если мнѣ не за что было сердиться, то по крайней мѣрѣ хохотать я имѣлъ полное право. Скажите, пожалуйста, кому пришла въ голову эта несчастная мысль?...

«Ужъ, конечно, не намъ,» перервала Марья Никитишна. «Это все надѣлалъ Осипъ Андреичъ Кочька — это такой скверный человѣкъ, такой интриганъ...

«А я такъ думаю, ваше превосходительство,» сказалъ Касьянъ Гурьевичъ: «что это просто ошибка, и если вы не изволите на насъ гнѣваться...

«И, полно-те,» подхватилъ Максимъ Петровичъ: «я не могу простить себѣ и вчерашней глупости, а сверхъ того, мнѣ вовсе теперь не къ лицу сердиться: вѣдь я пріѣхалъ къ вамъ просителемъ.

«Просителемъ!» повторила съ удивленіемъ Марья Никитишна.

«Да!» продолжалъ Максимъ Петровичъ: «я пріѣхалъ просить васъ за одного молодаго человѣка, котораго люблю какъ роднаго сына, и котораго отецъ былъ нѣкогда моимъ начальникомъ, другомъ и благодѣтелемъ. Драгунскимъ полкомъ, въ которомъ я служилъ на Кавказѣ, командовалъ Алексѣй Дмитріевичъ Холминъ; его сынъ влюбленъ въ вашу дочь — и если вы согласитесь принять его въ ваше семейство, то я ручаюсь, что дочь ваша будетъ счастлива.»

Это неожиданное предложеніе до того изумило Марью Никитишну и Касьяна Гурьевича, что они оба не отвѣчали ни слова.

«Я сдѣлался сватомъ моего бывшаго адъютанта,» продолжалъ Максимъ Петровичъ, «а теперь позвольте узнать: могу ли я надѣяться, что буду на его помолвкѣ посаженымъ отцомъ?

«Что касается до меня,» сказалъ Касьянъ Гурьевичъ: «такъ я не прочь; онъ малой хорошій.

«И такъ, Марья Никитишна, все зависитъ отъ васъ.

«И отъ Вариньки, Максимъ Петровичъ.

«Ее-то мы какъ нибудь умилостивимъ: было бы только ваше согласіе.

«Я, конечно, ничего не могу сказать противъ Ивана Алексѣича,» проговорила Марья Никитишна, «онъ очень умный и любезный молодой человѣкъ, прекрасный сынъ, и, вѣроятно, будетъ хорошимъ мужемъ; но мы не въ состояніи дать много за Варинькой, онъ также человѣкъ небогатый...

«Небогатый,» повторилъ Максимъ Петровичъ: «полно, такъ ли?

«Помилуйте! Да какъ же намъ не знать!

«Такъ, вы никогда не слыхали, что у него есть въ Петербургѣ родной дядя.

«Никогда.

«Слѣдовательно, не знаете, что у этого дяди восемь сотъ душъ.

«Въ самомъ дѣлѣ!... И наслѣдникомъ его...

«Иванъ Алексѣичъ Холминъ.

«Такъ, по этому онъ богаче Осипа Андреича Кочьки?» вскричалъ невольно Касьянъ Гурьевичъ.

«Да, конечно,» перервала Марья Никитишна; «дядюшка его богаче Осипа Андреича; но вѣдь иногда дяди бываютъ почти не старѣе своихъ племянниковъ.

«Этотъ, однако жъ, гораздо старѣе: ему восемьдесятъ четыре года.»

Марья Никитишна улыбнулась очень весело.

«Ну, что,» продолжалъ Максимъ Петровичъ: «не ударить ли по рукамъ?

«Я, право, не знаю, что вамъ отвѣчать,» шепнула Костоломова. «Если бъ вы дали намъ время подумать...

«Охотно бы; но, право, не могу; я долженъ послѣ завтра ѣхать.

«А безъ вашего превосходительства,» сказалъ Костоломовъ: «и помолвка будетъ не въ помолвку.

«Разумѣется! По крайней мѣрѣ, мнѣ очень будетъ грустно, если не я благословлю образомъ моего добраго Холмина.

«Но такая поспѣшность!.. и въ такомъ важномъ дѣлѣ..

«Да полно, жена, маневриться!» закричалъ Костоломовъ: «что, въ самомъ дѣлѣ! Какого еще намъ жениха! Да, если пошло на то, такъ я все выскажу: вѣдь Варинька-то его любитъ.

«Что ты, что ты мой, другъ!

«Ну, да!... Вотъ, вѣдь отъ чего мнѣ и не хотѣлось...

«Касьянъ Гурьичъ, что вы!

«Марья Никитишна!» шепнулъ Зоринъ, «неужели и послѣ этого...

«Дѣлать нечего,» сказала съ улыбкою Костоломова: «когда мужъ приказываетъ, жена должна повиноватся.»

—

На другой день былъ опять обѣдъ у Касьяна Гурьевича, но только безъ музыки и пѣвчихъ. Холминъ и Варинька сидѣли рядомъ; всѣ дворяне съ своими супругами пили здоровье помолвленныхъ. Зоринъ былъ чрезвычайно веселъ; Князь Чухаловъ также, потому что *батюшка братецъ* расхвалилъ его французскій табакъ. Чернобылинъ ѣлъ за троихъ, а Мутовкинъ собирался сказать за десертомъ поздравительную рѣчь жениху и невѣстѣ. Къ концу обѣда всѣ порядкомъ развеселились, начали пить здоровье присутствующихъ и отсутствующихъ, и пробки летали поминутно въ потолокъ.

«А что?» сказалъ Чернобылинъ Якову Ѳедоровичу Апёнкову: «вѣдь, точно, парочка! Женихъ молодецъ,

невѣста красавица... То-то будутъ жить да поживать припѣваючи!»

Апёнковъ вмѣсто отвѣта чихнулъ.

«Вотъ, спасибо, Яковъ Ѳедорычъ!» заревѣлъ Пахомъ Пахомычъ, подымая къ верху свой бокалъ: «въ первый разъ чихнулъ кстати! Славная примѣта!... За здоровье жениха и невѣсты — ура!»

ПОБѢДА

ОТЪ

ОВИДА.

—

ОЧЕРКИ НРАВОВЪ XVIII ВѢКА.

—

ПОБѢДА

отъ

ОБѢДА.

—

«Временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма!»
Грибоѣдовъ (*въ Горѣ отъ ума*).

—

I.

Человѣчество 14-го класса,

или

мелкіе чиновники между собою.

Что такое счастье? Право, не знаю, хотя ежедневно смотрю на него, вчужѣ, и не могу ему надивиться! Почему глупецъ и фанфаронъ нравится умному человѣку? Почему честный человѣкъ покровительствуетъ плута? Отчего умные и честные люди допускаютъ плутовъ къ почестямъ и богатству? Отчего глупцы, невѣжды, лѣнивцы выскакиваютъ въ люди? Почему люди умные и геніяльные работаютъ для дураковъ?.. Счастье, счастье, счастье!!...

Люди счастливые не любятъ смотрѣть на дно человѣческаго общества, гдѣ лежатъ дрожжи, на которыхъ поднимается и вырастаетъ ихъ блаженная участь. Въ лужѣ бѣдности тускнетъ алмазъ, и ржавѣетъ даже золото. Бѣдность, нищета — ужасныя слова! Это то же въ нашей образованности, что̀ проказа и моровая язва, если только не хуже, потому что бѣдность производитъ послѣдствія ужаснѣе смерти. Бѣдность заглушаетъ, иногда, въ сердцѣ нѣжность чувствованій, мертвитъ умъ, и даже зараждаетъ въ душѣ пороки. Чтобъ устоять непоползновенно противу искушеній бѣдности и выдержать всѣ ея удары, надобно ровнехонько столько ума, сколько отпускается природою для составленія мудреца, и столько мужества, сколько нужно для героя. Ничего въ мірѣ нѣтъ почтеннѣе, какъ честная бѣдность, которая молчитъ о своей бѣдности, и даже не догадывается о своей честности!

Кто не видалъ Петербурга за сорокъ лѣтъ предъ симъ, тотъ не можетъ составить себѣ понятія о томъ, до какой степени все измѣнилось въ этомъ городѣ. Не говорю уже о Невскомъ Проспектѣ!... Но что̀ была, напримѣръ, Коломна? Козье Болото, за пятьдесятъ лѣтъ предъ симъ, было въ полномъ смыслѣ козье болото. Тутъ были и козы и болото, и оно было такое вязкое, что хижины, построенныя здѣсь при Петрѣ Великомъ, для помѣщенія матросовъ и пригоняемыхъ изъ губерній ремесленниковъ, осядали въ землю постепенно, и наконецъ погрузились въ болото, по самыя окна. Лѣтомъ, въ дождливое время, едва можно было пройти по улицамъ Коломны, и многіе изъ почтенныхъ ея жи-

телей пробирались домой босикомъ, опасаясь лишиться обуви. Весною и осенью на Козьемъ Болотѣ и самыя козы вязли по рога. Тогда клали мостки, которые, однако жъ, не отвращали опасности потопленія въ болотѣ, при переходѣ черезъ улицу. На улицахъ Козьяго Болота, отъ осени до морозовъ, лежала тина, а надъ нею, три четверти дня, носились испаренія, затемнявшія солнце, если оно случайно взглядывало на Петербургъ. Если бъ хижины Козьяго Болота были устроены прочнѣе, и если бъ бѣдные ихъ жители могли безъ нужды запасаться дровами, то зима была бы блаженнымъ временемъ для Козьяго Болота. Но въ этихъ хижинахъ лѣтомъ было нестерпимо душно, а зимою невыносимо холодно, и оттого квартиры на Козьемъ Болотѣ были весьма дешевы.

Въ одной изъ этихъ хижинъ нанималъ квартиру коллежскій секретарь Никита Ѳедоровичъ Глазовъ. Онъ былъ сынъ бѣднаго сельскаго священника. За отличные успѣхи въ наукахъ, въ губернской семинаріи, онъ былъ переведенъ въ Московскую Духовную Академію, гдѣ также обратилъ на себя вниманіе наставниковъ. По требованію Графа Александра Андреевича Безбородка, о высылкѣ изъ академіи студента, знающаго основательно Русскій, Латинскій и Греческій языки, Глазовъ былъ отправленъ въ Петербургъ, и опредѣленъ на службу. Служилъ онъ усердно, исправлялъ дѣла искусно и былъ, такъ сказать, основнымъ камнемъ канцеляріи, но... здѣсь я долженъ сдѣлать маленькое отступленіе, для поясненія дѣла.

Бо́льшая часть изъ насъ любитъ жаловаться на настоящее время, и хвалить старину. Ой, эта старина!..

Теперь въ Россіи для наукъ и образованности открыто обширное поприще. Съ университетскимъ патентомъ за пазухой, съ умомъ въ головѣ, съ честностью въ душѣ, съ прилежаніемъ и хорошимъ поведеніемъ, бѣдный и безродный человѣкъ идетъ рядомъ съ богачемъ и знатнымъ, и часто опережаетъ его на пути службы. Лѣта выслуги въ чины опредѣлены, награды тоже. На этомъ пути васъ никто не остановитъ, а если кто нибудь и перелетитъ черезъ ступень, на крылышкахъ счастья — бѣда еще не велика! Кончится всегда тѣмъ, что истинная способность выплыветъ наверхъ, если не для удовольствія другихъ, то по нуждѣ, потому что любимцы и счастливцы не вывезутъ тяжести. За полвѣка, и далѣе, было совсѣмъ иначе. Тогда въ золотой колыбели дарили дитя, на зубокъ, чиномъ сержанта гвардіи или актуаріуса Иностранной Коллегіи; изъ сержантовъ гвардіи, на пятнадцатомъ году отъ рожденія, выходили въ армію ротмистромъ, или, въ чинѣ актуаріуса, поступали въ званіе каммеръ-юнкера, которое давало чинъ статскаго совѣтника. Камергеръ получалъ съ званіемъ своимъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Изъ этихъ счастливцевъ избирались начальники, а для работы и тяжкаго труда, то есть, для дѣйствительной службы, были дѣльцы, изъ бѣдныхъ дворянъ, безъ всякаго покровительства, изъ семинаристовъ, то есть, изъ дѣтей священниковъ или дѣтей учителей. Для полученія наградъ и отличій, при каждомъ начальникѣ была свита при-

писныхъ къ штабу или къ канцеляріи, матушкиныхъ сынковъ! Кромѣ того, при начальникахъ были любимцы, занимавшіеся ихъ частными дѣлами и порученіями, которые имѣли также свою свиту. Сквозь эту фалангу почти невозможно было пробиться человѣку безъ другихъ средствъ, кромѣ своего таланта. Напротивъ, людей дѣловыхъ держали тогда, умышленно, въ черномъ тѣлѣ, чтобъ долѣе пользоваться ихъ способностями. Вотъ почему Никита Ѳедоровичъ Глазовъ, исправляя важнѣйшія дѣла, въ теченіе девяти лѣтъ, испыталъ только однажды радость, доставляемую повышеніемъ въ чинъ, и трижды получалъ денежное награжденіе: два раза по двадцати пяти, и разъ пятьдесятъ рублей, изъ экстраординарныхъ канцелярскихъ суммъ. Если бъ Никита Ѳедоровичъ Глазовъ жилъ въ наше время, то онъ непремѣнно имѣлъ бы Владиміра въ петлицѣ и Анну на шеѣ, былъ бы вѣрно начальникомъ отдѣленія, жилъ бы въ свѣтлой и сухой казенной квартирѣ, въ великолѣпныхъ палатахъ, получалъ бы до пяти тысячъ рублей въ годъ жалованья и столько же годоваго награжденія, игралъ бы въ вистъ, обѣдывалъ въ гостяхъ, за роскошнымъ столомъ, и научившись танцовать въ одномъ изъ многочисленныхъ нынѣшнихъ танцклассовъ, могъ бы даже выступить во французскомъ кадрилѣ, съ женою или дочерью своего начальника. А что былъ въ тогдашнее время основный камень канцеляріи — это мы тотчасъ увидимъ.

Никита Ѳедоровичъ Глазовъ нанималъ одну свѣтличку, съ двумя кривыми и вросшими въ землю окнами, обращенными на дворъ. Самъ Никита Ѳедоровичъ былъ

вышиною около шести футъ надъ поверхностью моря, когда онъ, на морскомъ берегу, въ устьѣ Фонтанки удилъ рыбу для своего обѣда, въ праздничные дни, а свѣтлица его имѣла въ вышину только шесть футовъ и одинъ вершокъ. Такимъ образомъ, когда Никита Ѳедоровичъ прохаживался по ней, то на пятнадцати шагахъ разстоянія изъ угла въ уголъ, непремѣнно три раза задѣвалъ за потолокъ, кистью шерстянаго своего колпака, когда поднималъ голову, чтобъ устремить взоры къ небу. Въ свѣтлицѣ Никиты Ѳедоровича было двѣ двери: чрезъ одну входилъ къ нему угаръ изъ хозяйской кухни, а другая была заперта наглухо, но за ней работалъ, то есть, стучалъ немилосердо, хозяинъ дома, слесарь, въ тѣ дни, когда ему не на что было напиваться допьяна. Въ углу комнаты стояла кровать, покрытая сѣрою попоной, подъ окномъ некрашеный столъ, вокругъ комнаты шесть соломенныхъ стульевъ. На стѣнѣ, близъ печи, укрѣплена была полка, на которой лежали кипы бумагъ и подлинныя творенія Гомера, Геродота, Ѳеофраста, Виргилія, Горація, Титъ-Ливія и Тацита. Это былъ даръ почтеннаго ректора академіи, при высылкѣ Никиты Ѳедоровича въ Петербургъ, — даръ драгоцѣнный, съ которымъ онъ никогда не разставался, и въ которомъ находилъ единственное наслажденіе. На столѣ стоялъ кувшинъ съ квасомъ, и смиренная тавлинка съ табакомъ. Трехкопѣечная свѣча, о которой память осталась только въ Московской пословицѣ, бросала вокругъ блѣдный свѣтъ. Никита Ѳедоровичъ, въ тулупѣ, сидѣлъ на кровати пригорюнившись; сложа на груди руки и повѣсивъ голову, ду-

малъ думу. Наконецъ онъ поднялъ голову, и важно продекламировалъ стихъ изъ Виргиліевой Энеиды:

«Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est.....

То есть: «каковы бы ни были бѣдствія, — мужество и терпѣніе помогутъ преодолѣть ихъ.»

Въ это время дверь отворилась, и въ комнату вошли два его товарища по службѣ: коллежскій регистраторъ и заступающій мѣсто протоколиста, Петръ Ивановичъ Перепеченко, и коллежскій секретарь Александръ Андреевичъ Искринъ. Первый изъ нихъ былъ сынъ плодоносной Малороссіи, которая славится, отъ глубокой древности, тучностью воловъ своихъ, крѣпостью, высокимъ ростомъ и простодушіемъ паробковъ и чумаковъ, буйствомъ казаковъ, пріятными голосами юношей и отроковъ, тонкостью и проницательностью шляхетской породы, хозяйскими добродѣтелями женщинъ и чуднымъ аппетитомъ мужескаго и женскаго пола всѣхъ сословій. Но Малороссійская природа была весьма скупа къ Петру Ивановичу Перепеченку, и часть опредѣленнаго ему судьбою роста, вѣрно, отдала быку или чумаку, а ему пожаловала только огромную голову на маломъ и пузатомъ туловищѣ, и огромный ротъ, подобный пасти плотоядnаго звѣря. Отецъ Перепеченка былъ дьячкомъ въ селѣ, принадлежавшемъ Графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, и имѣлъ прекрасный басъ. Графъ замѣтилъ это, и перевелъ его дьячкомъ въ свою домашнюю церковь, а сына помѣстилъ на службу, сперва въ гетманской канцеляріи, а по уничтоженіи гетманщины, перевелъ его на службу

въ Петербургъ. Перепеченко сохранилъ связи съ челядью Графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, питался весьма часто съ его кухни и утолялъ жажду изъ его буфета. Безъ этого пособія, онъ, съ Малороссійскимъ своимъ аппетитомъ, не могъ бы прожить въ Петербургѣ, при маломъ жалованьѣ и незначительныхъ доходахъ канцелярскихъ. Перепеченко былъ парень веселый, смышленый и осторожный. Онъ притворялся простодушнымъ и откровеннымъ, но былъ чрезвычайно хитеръ и дальновиденъ. Отъ всѣхъ напастей и привязокъ отдѣлывался онъ шуточками, закрываясь мнимою своею простотой. Онъ хорошо учился въ семинаріи, зналъ основательно Латинскій языкъ, Богословіе и Духовныя Права, а въ послѣдствіи пріобрѣлъ свѣдѣнія въ Русскихъ и Малороссійскихъ законахъ. Къ Никитѣ Ѳедоровичу Глазову таскался онъ для того, что тотъ поправлялъ его бумаги, потому что Перепеченко былъ не весьма силенъ въ Русскомъ языкѣ, и сбивался всегда на Малороссійскія формы. Другой товарищъ Глазова, Александръ Андреевичъ Искринъ, былъ дворянинъ, стариннаго, но обѣднѣвшаго рода. У дѣда его было всего восемь душъ крестьянъ мужескаго пола и четырнадцать десятинъ чрезполосной земли, въ Курской Губерніи. Отецъ его былъ поручикомъ Таврическаго Гренадерскаго Полка, и убитъ въ первую Турецкую войну. Отецъ желалъ опредѣлить сына въ военную службу, и уже записалъ его въ полкъ, но дѣдъ, бабушка и мать, опасаясь, чтобъ онъ не подвергся участи отца, и не лишилъ ихъ послѣдней подпоры и надежды, упросили генерала, начальствовавшаго отрядомъ, въ

которомъ находился покойный поручикъ Искринъ, доставить сыну его мѣсто въ статской службѣ. Генералъ рекомендовалъ сироту Василію Степановичу Попову, правителю канцеляріи Князя Григорія Александровича Потемкина, а Поповъ, не имѣя вакантнаго мѣста въ своей канцеляріи, поручилъ Искрина одному изъ любимцевъ Свѣтлѣйшаго, который и помѣстилъ его въ то мѣсто, гдѣ служилъ Глазовъ. Мать Искрина, родомъ Швейцарка, была прекрасна собою и чрезвычайно образована. Она была гувернанткою въ домѣ богатаго помѣщика. Искринъ стоялъ на квартирахъ въ деревнѣ, влюбился въ гувернантку, и снискавъ взаимную любовь, женился на ней. У нихъ былъ одинъ только сынъ, и мать сама воспитала его. Женское воспитаніе отражалось на Искринѣ. Онъ былъ прекрасенъ лицомъ и станомъ, нѣженъ въ обхожденіи, скроменъ, застѣнчивъ какъ дѣвица, добръ и благороденъ. Мать обучала его всему, чему учатъ дѣвицъ. Искринъ говорилъ по-Французски и болталъ по-Нѣмецки, имѣлъ нѣкоторыя понятія о Всеобщей Исторіи и Географіи, прекрасно танцовалъ, рисовалъ, игралъ изрядно на фортепіанѣ, пѣлъ весьма пріятно, умѣлъ даже вышивать въ тамбурѣ, любилъ страстно поэзію и романы. Отъ природы онъ былъ уменъ и понятливъ, но плохо зналъ Русскую грамоту и законы. Никита Ѳедоровичъ Глазовъ любилъ его чрезвычайно, называлъ, въ шутку, своею сестрицей, и помогалъ ему въ работахъ или, правильнѣе, работалъ за него. Мать его умерла съ тоски, вскорѣ послѣ смерти своего мужа, но у нее была старшая сестра, въ Швейцаріи, устарѣлая дѣва, которая

была также гувернанткою въ Россіи, скопила небольшой капиталъ, и удѣляла своему племяннику по сту пятидесяти рублей въ годъ. Это было тогда много для мелкаго чиновника, и Искринъ, при жалованьѣ, могъ жить порядочно, по своему состоянію. Онъ одѣвался чисто и даже съ нѣкоторою изысканностію, и оттого въ канцеляріи называли его дворянчикомъ и бѣлоручкой. Главный начальникъ помѣстилъ Искрина при своемъ любимцѣ, экзекуторѣ, и хотя тогда еще не было чиновниковъ для особыхъ порученій, но Искринъ исполнялъ эту должность, хотя и имѣлъ званіе письмоводителя.

Вошедъ въ свѣтлицу Глазова, Искринъ снялъ плащъ и положилъ его у дверей, на стулѣ, а Перепеченко, выступя впередъ въ плащѣ, возгласилъ громогласно: «А отъ сежъ поздровляемъ Микиту Хведоровича съ днемъ ангела!» Искринъ подошелъ къ имянинннику и пожалъ ему руку, а Перепеченко досталъ изъ-подъ плаща узелъ и, положивъ его на столъ, примолвилъ: «А вотъ се и трапеза!» — и развязавъ узелъ, выложилъ на столъ кусокъ жареной телятины, обломокъ холоднаго паштета, половину жареной индѣйки, и поставилъ бутылку мадеры. Потомъ, посмотрѣвъ съ самодовольствомъ на имянинника, сказалъ: «Ну, а що, чи добре!» — «Нельзя лучше,» отвѣчалъ Глазовъ: «потому что у меня нѣтъ ни гроша за душой, и было бы не на что васъ поподчивать, въ мои имянины.» — «Есть и гроши!» примолвилъ Перепеченко, и вынувъ изъ кармана три серебряные рубля, поднялъ руку надъ головою и сказалъ; «Дéржи карманъ, вотъ тебѣ на праздникъ! Той бисовъ сынъ

подрядчикъ, которому ты написалъ просьбу, видно хотилъ провести тебя — да я придержалъ его за чуприну. Какъ онъ пришовъ ко мни справляться по дилу, такъ я ему сказалъ, что занесу просьбу его послѣднею въ протоколъ, коли онъ не заплатитъ тебѣ за работу. Ужъ онъ почесывалъ себѣ и лобъ и затылокъ, скребался якъ медвидь за ухомъ, а три рублевика долженъ былъ выложить!» — «Спасибо, братъ, спасибо! Самъ отслужу!» сказалъ Глазовъ. — «Дѣло камратское!» отвѣчалъ Перепеченко, и снявъ плащъ, придвинулъ стулъ, сѣлъ напротивъ Глазова, понюхалъ табаку и сказалъ: «А знаете ли важную новость!» — «Что такое?» спросилъ Глазовъ. — «Сегодня былъ великій пиръ и ликованье у нашего пана и милостивца Графа Кирилла Григорьевича; были вси великіе паны и вельможи: Графъ Александръ Андреевичъ Безбородко, Графъ Петръ Васильевичъ Завадовскій, Графъ Яковъ Александровичъ Брюсъ, Князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій, Николай Ивановичъ Салтыковъ, Графъ Иванъ Андреевичъ Остерманъ, Графъ Валентинъ Платоновичъ Мусинъ-Пушкинъ, Графъ Андрей Петровичъ Шуваловъ, Графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ и много другихъ пановъ. Я видѣлъ всѣхъ ихъ изъ буфета, и слыхалъ вси ихъ рѣчи. Толковали о томъ, что Свѣтлѣйшій Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ, панъ надъ панами, вельможа надъ вельможами, возвращается изъ арміи въ Петербургъ, и что Государыня хочетъ принять его, какъ еще никого и никогда не принимали, какъ побѣдителя, какъ тріумфатора! Будутъ пиры и праздники, и для пановъ, и для войска, и для народа, и всякія вели-

кія царскія милости! Будутъ награды и дары....» — «Все это, братецъ, не для насъ съ тобою!» возразилъ Глазовъ, съ горькою улыбкою: «намъ развѣ прибавится работы.» — «Кому что, а ужъ мнѣ, вѣрно, будетъ бездна хлопотъ съ моимъ неугомоннымъ Карломъ Ѳедоровичемъ!» примолвилъ Искринъ, покачавъ головою. — «Будутъ хлопоты, будетъ и утѣшеніе,» возразилъ Перепеченко, лукаво взглянувъ на Искрина: «Батько побранитъ, а дочка погладитъ, — такъ и забудется!» Искринъ покраснѣлъ и потупилъ глаза. — «А что, братецъ!» сказалъ Глазовъ, развеселясь: «вѣдь Наталья Карловна въ самомъ дѣлѣ чудо-дѣвка — кровь съ молокомъ! а ужъ глазки — такъ и горятъ, словно алмазы. Да это сущее благословеніе для тебя, что наглядѣвшись на постную фигуру Карла Ѳедоровича, можно утѣшиться взглядомъ на его дочку! Не одинъ изъ насъ завидуетъ тебѣ, что ты такъ близокъ къ Карлу Ѳедоровичу!» — «Помилуйте, господа, да чѣмъ же я къ нему близокъ?» воскликнулъ съ досадою Искринъ: «развѣ тѣмъ, что каждый день имѣю удовольствіе получать отъ него по нѣскольку выговоровъ, ни за что, ни про что! Нашъ Князь, Княгиня, Княжны, мадамы, мамзели, ключница, горничная, камердинеръ, словомъ, весь домъ, поручаютъ свои коммиссіи Карлу Ѳедоровичу, а онъ всю тяжесть дѣла сваливаетъ на меня, и всю заслугу присвоиваетъ себѣ. Я долженъ бѣгать, искать, торговаться, покупать, принимать, отдавать, расписываться за всѣхъ и каждаго, а сверхъ того вести экзекуторскія книги и счеты, повѣрять домашніе счеты Князя, писать частныя письма для всѣхъ и каждаго — и если дѣло въ угоду, бла-

годарность Карлу Ѳедоровичу; не понравилось — мнѣ гонка отъ него! Жизнь моя, право, хуже жизни почтовой лошади, и я ни за что не оставался бы на мѣстѣ, если бъ...» Искринъ спохватился и замолчалъ.—«То есть, если бъ у Карла Ѳедоровича не было такой прекрасной дочки,» примолвилъ Перепеченко. — «Я уважаю Наталью Карловну и почтенную тетушку ея, Марью Прохоровну,» сказалъ Искринъ, понизивъ голосъ: «но мое положеніе таково, что мнѣ непростительно было бы даже помышлять о дочери богатаго, притомъ гордаго начальника, не имѣя ни состоянія, ни покровительства, ни даже надежды на улучшеніе моей участи!» — «Omnia vincit amor!» сказалъ Глазовъ. «Я, братецъ, не знаю по-Латыни.»—«Любовь все побѣждаетъ!» примолвилъ Перепеченко.—«Все, кромѣ бѣдности!» сказалъ уныло Искринъ. Глазовъ испустилъ тяжкій вздохъ, и вдругъ вскочилъ съ мѣста, взъерошилъ волосы на головѣ, и ударивъ кулакомъ по столу, вскрикнулъ: «Наливай, Перепеченко!» Перепеченко немедленно откупорилъ бутылку, налилъ вина въ стаканъ, стоявшій на печкѣ, и хотѣлъ провозгласить здоровье именинника, но Глазовъ вырвалъ у него стаканъ изъ рукъ, выпилъ душкомъ, велѣлъ налить другой, опять выпилъ въ два глотка, и воскликнувъ, какъ изступленный: «Бѣдность! бѣдность!» сѣлъ на прежнее мѣсто, и опустилъ голову на грудь. Товарищи выпили по стакану за его здоровье, но Глазовъ, казалось, ничего не видалъ и не слыхалъ. Онъ погруженъ былъ въ глубокую думу. Наконецъ, какъ будто бы проснувшись, онъ устремилъ быстрый взглядъ на пустую бутылку, и потомъ, вынувъ изъ-подъ

подушки серебряный рубль, полученный отъ Перепеченка, подалъ ему и сказалъ: «Пошли, братецъ, хозяйскую кухарку за водкою!»—«Микита Хведоровичъ, да помилосердуй!» завопилъ Перепеченко жалкимъ голосомъ. «Ну вотъ ты опять попадешь въ свою черную колею, и опять наживешь себѣ бѣду! На що тебѣ это питье? Не лучше ли перекусить!...»—«Хочу пить!» вскричалъ Глазовъ, поднявъ голову.—«Любезный Никита Ѳедоровичъ!» сказалъ ласково Искринъ: «вспомни, что ты званъ завтра къ правителю канцеляріи, что тебѣ должно сочинять важныя бумаги...» Глазовъ вскочилъ снова съ мѣста и громко завопилъ: «Пусть пишетъ тотъ, кто подписываетъ! Кто грѣется, пусть тотъ и дрова рубитъ! Хочу пить!...»—«Микита Хведоровичъ!» возразилъ Перепеченко: «вѣдь ты запьешь—такъ и конца не будетъ! а начальство у насъ отеческое, и если рѣдко милуетъ, такъ уже взысканія не пропуститъ. Вспомни, что намъ нельзя жить своею волей: мы люди малые, бѣдные!...»

Перепеченко этими словами растравилъ рану Глазова. «Бѣдные, мелкіе люди!» воскликнулъ онъ отчаянно. «Скажи лучше, не люди, а лошади! Я ли имъ не работалъ! Кто безъ меня писалъ бы имъ, въ послѣднюю войну, Греческія бумаги? А мнѣ не дали и грецкаго орѣха! Я сушилъ мозгъ по днямъ и ночамъ, а они побрали себѣ награды, и тогда только вспомнили обо мнѣ, когда я напился съ горя, и вспомнили для того, чтобъ запереть въ холодный чуланъ, какъ собаку! Не пойду завтра въ канцелярію... не хочу работать... хочу пить! Не хотите пить со мною, такъ прощайте... пойду въ трактиръ!...»

Глазовъ накинулъ плащъ на плеча, поверхъ тулупа, надѣлъ свою поношенную шляпу, взялъ три серебряные рубля, которые принесъ ему Перепеченко, положилъ ихъ въ свою тавлинку, и пошелъ къ дверямъ. Перепеченко и Искринъ хотѣли остановить его, но Глазовъ, одаренный гигантскою силой, отряхнулся — и товарищи его едва устояли на ногахъ. Когда онъ вышелъ изъ комнаты, они также надѣли свои плащи и вышли. «Что тутъ дѣлать?» сказалъ печально Искринъ... «Какъ мнѣ жаль этого человѣка!» — «Да, правда... Но вѣдь это талантъ, а талаиты, въ наше время, боятся засохнуть безъ поливки,» приговорилъ насмѣшливо Перепеченко. «А что ты думаешь, Александръ Андреевичъ, не выпить ли и намъ, съ горя, по маленькой? Вѣдь и мы люди не бездарные, а одного Микиту Хведоровича опасно пускать въ трактиръ; онъ можетъ набушевать и попасться въ полицію? Пойдемъ спасать его!...» — «Нѣтъ, любезнѣйшій, ужъ на это я не рѣшусь!» отвѣчалъ Искринъ. «Ступай съ нимъ, если угодно — я ворочусь домой. У меня есть дѣло!»

Они вышли на улицу. Перепеченко пошелъ въ трактиръ за Глазовымъ, а Искринъ воротился домой, съ горестью въ душѣ. Ему жаль было Глазова, человѣка добраго и ученаго, который, слѣдуя духу своего времени, началъ пить съ горя, а потомъ, втянувшись, пилъ всегда, когда ему попадались въ руки деньги, припоминая вѣчное свое горе. По несчастью, онъ находилъ себѣ товарищей и помощниковъ, увлекая ихъ своимъ краснорѣчіемъ. Живя безъ надежды, безъ всякихъ видовъ и почитая себя осужденнымъ судьбою въ вѣчные работ-

ники и на всегдашнюю бѣдность, Глазовъ хмѣлемъ заглушалъ свои піитическія мечты и высокіе помыслы, раждавшіеся отъ чтенія великихъ писателей древности. Чувствуя, чѣмъ бы онъ могъ быть, и зная, что никогда ничѣмъ быть не можетъ, Глазовъ почиталъ себя счастливымъ тогда только, когда могъ забыть свое положеніе, и впасть въ состояніе безсмысленнаго животнаго. Не было благодѣтельной руки, которая поддержала бы его въ нищетѣ, и указала стезю, которою изъ нея выбираются на свѣжій воздухъ. Глазовъ погибъ оттого, что лишился надежды и не имѣлъ опоры. Добрые люди! если вы встрѣчаете въ нищетѣ человѣка съ умомъ и дарованіемъ, спасайте его, ради Бога! Отъ отчаянія недалеко до порока и до гибели... Какъ много Глазовыхъ погибло подъ начальствомъ слѣпыхъ любимцевъ счастья, почитавшихъ людей только ступенями къ своему возвышенію!...

—

II.

НУЛЬ СЪ ДУШЕЮ, И БЕЗДУШНАЯ ЦЫФРА.

Князь Петръ Андреевичъ Камышенскій только что всталъ съ постели, и развалясь въ вольтеровскихъ креслахъ, пилъ кофе, поглядывая съ умиленіемъ на двѣ звѣзды, нашитыя на его шелковомъ халатѣ.

Звѣзды были тогда рѣдки на фирмаментѣ почестей. Было множество тайныхъ совѣтниковъ, сенаторовъ и генераловъ, которые имѣли только Владиміра въ пет-

лицѣ или Георгія 4-го класса. Андреевскія, владимірскія, александровскія и аннинскія ленты были чрезвычайною рѣдкостью; о георгіевской лентѣ и говорить нечего. Страстнымъ охотникамъ до звѣздъ и лентъ оставалось одно средство къ удовлетворенію желанія, а именно, пріобрѣтеніе Польскихъ орденовъ Бѣлаго Орла и Святаго Станислава, которые Государыня позволяла носить, если Польскій Король жаловалъ ими съ Ея согласія. Князь Петръ Андреевичъ бывалъ знакомъ съ Понятовскимъ въ то время, когда онъ еще былъ посланникомъ въ Петербургѣ, и такъ ему легко было получить ордена, на которые Польскій Король не скупился. Звѣзды носили тогда не только на кафтанахъ и на сюртукахъ, но и на плащахъ, на шубахъ, а весьма многіе носили даже на халатахъ. Это вовсе не почиталось странностію; напротивъ, считали неприличіемъ и дерзостью не носить орденовъ. Въ наше время высшіе государственные сановники принимаютъ подчиненныхъ и просителей не иначе, какъ уже по окончаніи своего туалета, рѣдко заставляютъ себя дожидаться, и даже отказываютъ въ просьбѣ или дѣлаютъ выговоры вѣжливѣе, чѣмъ встарину миловали и хвалили. Въ блаженное Екатерининское время, вельможа, или вообще начальникъ, принималъ просителей или подчиненныхъ въ халатѣ, въ туфляхъ, иногда сидя передъ зеркаломъ, брѣясь или пудрясь, или лежа на софѣ, говорилъ *ты* каждому, кто ниже чиномъ и не принадлежитъ къ знатной роднѣ, и позволялъ себѣ всевозможныя вольности въ рѣчахъ. Не весьма *жеманились* даже передъ дамами-просительницами,

хотя бы онѣ принадлежали къ дворянскому сословію, основываясь на томъ, что порядочная женщина должна непремѣнно найти покровителя, который хлопоталъ бы за нее. Вѣжливость, утонченность нравовъ, любезность, остроуміе имѣли убѣжище только при Дворѣ и въ гостиныхъ древнихъ родовыхъ Русскихъ бояръ, такъ называемыхъ столповыхъ дворянъ, превращенныхъ Европейскою образованностію въ вельможъ, по образу и по подобію придворныхъ Лудовика XV. Но въ пріемныхъ, въ канцеляріяхъ и въ домашнемъ быту еще крѣпко припахивало дичью и татарщиною. Даже Державинъ гордился еще предкомъ своимъ, Татарскимъ Мурзою, и искалъ безсмертныхъ красокъ для портрета Фелицы въ степяхъ Киргизскихъ! Въ то время между Русскими еще можно было найти подлинники мурзъ и баскаковъ!... Теперь это перешло въ преданіе!...

Било одиннадцать часовъ. Князь провелъ всю ночь на балѣ, и въ это утро не хотѣлъ заниматься бумагами. Онъ велѣлъ призвать къ себѣ экзекутора, котораго обязанность состояла въ исполненіи всѣхъ его порученій и всѣхъ потребностей дома, какъ мы уже знаемъ изъ словъ Искрина.

Вошелъ человѣкъ небольшаго роста, блѣдный, сухощавый, съ безжизненнымъ, потухшимъ взглядомъ, съ прѣсною физіономіей. Лицо его было покрыто морщинами, не по лѣтамъ, а оттого, что веселая улыбка никогда не растягивала мускуловъ; глаза казались стекляными. Длинный носъ похожъ былъ на удивительный знакъ, и придавалъ выраженію лица какую-

то безсмысленность. По счастью, пудра скрывала безцвѣтность его волосъ! Говорю *безцвѣтность*, потому что для опредѣленія цвѣта Прибалтійскихъ волосъ — нѣтъ имени. Это ни бѣлокурые, ни рыжіе волосы, ни сѣрый, ни пепельный цвѣтъ, а что-то неопредѣленное, безъименное, созданное природою для означенія безхарактерности и слабоумія.

Экзекуторъ, Карлъ Ѳедоровичъ Циттербейнъ, поклонился въ поясъ, по тогдашнему обычаю, потомъ выпрямился, хлопнулъ трижды рѣсницами, и устремилъ стекляные глаза свои на Князя.

«Какова, братецъ, погода?» спросилъ Князь, зѣвая.

Карлъ Ѳедоровичъ хотѣлъ отвѣчать и заикнулся. —«Погода-съ... погода, ваше сіятельство... какъ бы это сказать... погода-съ... такъ-съ!»

«Помилуй, братецъ, да ты ужъ боишься говорить и о погодѣ! Вѣдь она тебя не обидитъ!»

— «Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! Но я не смѣю сказать опредѣлительно, не зная, какъ вашему сіятельству угодно выѣхать... Можно простудиться, можно вспотѣть отъ жару... На востокѣ видны облака, вѣтеръ не то чтобъ сѣверный, однако жъ и не южный... Солнце пригрѣваетъ, но можетъ зайти за тучу...»

«Да тьфу ты пропасть! Скажи: тепло или холодно?...»

— «По правой сторонѣ улицы тепло, а по-лѣвой, въ тѣни, довольно холодно. На срединѣ улицы вѣтерокъ чувствителенъ...»

«Ахъ, несносный! Да въ чемъ мнѣ выѣхать: въ каретѣ или въ коляскѣ?...»

—«Я не смѣю взять на себя отвѣтственности за драгоцѣнное здоровье вашего сіятельства... По мнѣ такъ лучше всегда выѣзжать въ каретѣ, или вовсе не выѣзжать. Весеннія погоды перемѣнчивы, и воздухъ вреденъ.»

Князь позвонилъ, и вошелъ каммердинеръ.

«Вели закладывать карету!» сказалъ Князь. На лицѣ Карла Ѳедоровича мелькнуло самодовольство; онъ снова, въ запасъ, хлопнулъ три раза рѣсницами, и снова устремилъ стекляные глаза на Князя, радуясь душевно, что онъ высказалъ наконецъ *рѣшительно* мнѣніе свое о погодѣ, и что мнѣніе его принято.

«Свѣтлѣйшій Князь Григорій Александровичъ ѣдетъ въ Петербургъ изъ арміи», сказалъ Князь.

— «Слушаю-съ, ваше сіятельство!» отвѣчалъ экзекуторъ.

«Государыня намѣрена принять его со всевозможными почестями. Будутъ балы и пиры при Дворѣ и въ городѣ. Свѣтлѣйшій былъ всегда милостивъ къ моей Княгинѣ, и даже, въ шутку, называетъ Княжну Парашу своею образиной, находя, будто бы, въ ней сходство съ собою. Свѣтлѣйшій, быть можетъ, посѣтитъ насъ. Надобно приготовиться. Въ гостиныхъ комнатахъ мебель надобно покрыть новымъ штофомъ, а штофъ съ этихъ мебелей отослать въ Московскій домъ мой. Тамъ уже поустарѣло — пусть подновятъ! Перекрасить экипажи, купить новую сбрую на парадный цугъ — или лучше вымѣнять на старую сбрую... да позапастись деньжонками! Расходовъ будетъ бездна! Три дочери невѣсты — изволь-ка одѣть!... Покажи-ка прыть свою,

Карлъ Ѳедоровичъ! А будутъ награды по случаю торжества—и я тебя не забуду!»

—«Радъ стараться, ваше сіятельство... нооброку, какъ вамъ извѣстно, нельзя получить до осени. Экстраординарная канцелярская сумма уже издержана на этотъ счетъ въ ожиданіи пополненія, и канцелярскія потребности забираются въ кредитъ. Одно средство... это откупщикъ... Съ нимъ можно было бы сладить, да нельзя управиться съ чиновникомъ, которому поручено его дѣло, и трудно удовлетворить его желаніе... Откупщикъ хочетъ, чтобъ двухъ его племянниковъ помѣстили на штатныя мѣста — а у насъ нѣтъ вакансій.»

«Всему можно пособить, братецъ! А въ чемъ дѣло откупщика? Я что-то не помню.»

— «По корчемству, ваше сіятельство! Люди его тайно провозили вино изъ Польши, и когда ихъ остановили объѣздчики и понятые, такъ они стали обороняться вооруженною рукой, и при этомъ случаѣ убито нѣсколько объѣздчиковъ и понятыхъ... Дѣло уголовное!...»

«Да вѣдь какъ ни суди, а мертвыхъ не воскресишь. Притомъ же откупщикъ не былъ при этомъ...»

— «Но его люди сидятъ въ острогѣ... Съ него требуются штрафы и взысканія...»

«Вѣдь если его и освободить отъ взысканія, такъ отъ этого никто не постраждетъ, а многіе будутъ довольны... Дѣло это можно рѣшить въ его пользу...»

— «Но какъ справиться съ чиновникомъ, ваше сіятельство? Дѣло поручено ему самимъ генералъ-прокуроромъ!...»

«А кто этотъ чиновникъ?»

— «Титулярный совѣтникъ Пѣтушковъ. Упрямая голова, сочинитель, патріотъ Русскій, помѣшанъ на правосудіи, честности и всѣхъ модныхъ идеяхъ...»

«Экая важная фигура! Я думалъ кто нибудь изъ *нашихъ*... Вели правителю канцеляріи отдать дѣло кому нибудь другому. Кому бы отдать? Какъ ты думаешь?..»

— «Мнѣ кажется, Швернодеру... Онъ мнѣ землякъ, и я ручаюсь, что онъ сдѣлаетъ все, что угодно вашему сіятельству. У него мое правило: служить лицамъ, а не мѣсту...»

«Ну, хорошо...»

— «А на счетъ помѣщенія племянниковъ откупщика на штатныя мѣста, что прикажете, ваше сіятельство?...»

«Надобно очистить вакансіи... Ну, вотъ перваго долой Пѣтушкова... а другаго... кого бишь?... Ахъ, да, того, что̀ былъ арестованъ за сочиненіе эпиграммы или сатиры, на кого бишь, не вспомню?...»

— «На меня... ваше сіятельство... на меня, за преданность мою къ вамъ!..»

Князь захохоталъ. «Помню, помню! Презабавно! Ну, братъ, воля твоя, а онъ славно тебя описалъ! Съ чѣмъ бишь онъ сравнивалъ тебя?»

— «Съ бѣшенымъ осломъ, ваше сіятельство!»

«Зло, нечего сказать, зло! Уменъ бестія, да опасенъ! Пожалуй онъ махнетъ и на кого другаго... пусть его!... Я не хочу говорить объ этомъ съ правителемъ канцеляріи. Это Русакъ стараго покроя: его не скоро уломаешь, а ты мнѣ найди что нибудь такое, къ чему можно было бы привязаться.., Ну, ступай же! Смотри, чтобъ деньги были непремѣнно.»

— «Постараюсь, ваше сіятельство!»

«Да! постой еще! Ну, а что жъ, нашелъ ли ты жениха для Маши? Вѣдь болѣе двухъ недѣль ждать нельзя.»

— «Есть, ваше сіятельство, на примѣтѣ... Сего-дня рѣшится дѣло...»

«Помни, что онъ долженъ быть непремѣнно какой нибудь порядочный человѣкъ... Я хочу, чтобъ дитя Маши имѣло имя.»

— «Слушаю-съ, ваше сіятельство!»

«Ну, теперь ступай за дѣлами!...»

Экзекуторъ вышелъ, и Князь велѣлъ подавать одѣваться.

Иной, судя по этой сценѣ, подумаетъ, что Князь Петръ Андреевичъ Камышенскій былъ человѣкъ злой, корыстолюбивый, взяточникъ... Ни чуть не бывало! Онъ былъ просто человѣкъ, какимъ изобиловало высшее общество XVIII вѣка, то есть, ученикъ и послѣдователь школы энциклопедистовъ, почитавшей патріархомъ своимъ Вольтера. Князь нарочно ѣздилъ въ Ферней, поклониться этому великому разрушителю нравственной природы человѣческой, жилъ цѣлую зиму въ Парижѣ, въ обществѣ Дидерота, Даламберта, Гельвеція, и былъ въ тѣсной дружбѣ съ знаменитымъ Барономъ Гольбахомъ, державшимъ притонъ всѣмъ, такъ называемымъ философамъ, которые усердно трудились для ниспроверженія общественнаго порядка, въ увѣренности, что они преобразовываютъ міръ къ лучшему. Князь испилъ до опьяненія изъ чаши Энциклопедической Философіи, и слѣдуя внушенію одной чувствен-

ности вообразилъ себѣ, что онъ Эпикуреецъ. Не станемъ разбирать ни правилъ его, ни вѣрованія. Довольно, однако жъ, сказать, что онъ ничему не вѣрилъ, кромѣ своего желудка; всѣ надежды ограничивалъ настоящимъ, и не помышлялъ о будущемъ; «après moi le déluge!» говаривалъ онъ часто, то есть, «послѣ меня, хоть трава не расти!» — Въ сердцѣ его, изсушенномъ безнадежностью и софизмами, не было ни зла, ни добра; была пустота, которую онъ думалъ наполнить чувственными наслажденіями и свѣтскимъ разсѣяніемъ. Когда желудокъ его варилъ исправно, когда въ шкатулкѣ лежали запасныя деньги, когда онъ былъ счастливъ въ любви и въ карточной игрѣ, и когда самолюбіе его не было оскорблено, — Князь былъ человѣкъ прелюбезный и предобрый, угождалъ всѣмъ, былъ вѣжливъ даже съ лакеями своими, и охотно дѣлалъ добро. Въ противномъ случаѣ, ничто не удерживало его, и онъ переступалъ исполинскими шагами черезъ всѣ правила, не смѣя только нарушить приличій большаго свѣта. Это была единственная узда на него! — Особенно былъ Князь сговорчивъ на все, когда у него недоставало денегъ. Онъ не бралъ взятокъ, а только *занималъ* деньги. Но какъ всѣмъ и каждому извѣстно было, что Князь не платитъ долговъ, и что послѣ его смерти будетъ конкурсъ, то ему давали деньги взаймы тѣ только, которымъ нужно было пріобрѣсть его покровительство. Онъ пользовался въ свѣтѣ значеніемъ, по родству, по связямъ и особенно по покровительству Князя Григорія Александровича Потемкина, который былъ весьма милостивъ къ супругѣ Князя, почитавшейся од-

ною изъ первыхъ красавицъ въ столицѣ, лѣтъ за двадцать предъ симъ. Князь Камышенскій не имѣлъ ни уваженія, ни довѣренности къ людямъ, любилъ одного себя, занимался всѣмъ поверхностно, какъ говорится, только чтобъ *сбыть дѣло съ рукъ*. Онъ ненавидѣлъ и боялся людей страстныхъ, пламенныхъ, энтузіастовъ, и предпочиталъ имъ эгоистовъ, потому что изъ нихъ можно сдѣлать что угодно, приманкою выгодъ. Вотъ почему онъ употреблялъ *для* всѣхъ своихъ порученій Карла Ѳедоровича Циттербейна, и въ этомъ отношеніи не могъ сдѣлать лучшаго выбора.

Карлъ Ѳедоровичъ, вышедъ отъ Князя, важно прошелъ чрезъ канцелярію, гордясь порученіями начальника, и увидѣвъ помощника своего, Искрина, кивнулъ ему, чтобъ онъ за нимъ слѣдовалъ. Карлъ Ѳедоровичъ жилъ въ казенной квартирѣ, подъ канцеляріей, и такъ путь его былъ недалекъ. Важность, напечатлѣнная на лицѣ его, не разсѣялась, когда онъ вошелъ въ переднюю, и, къ удивленію, засталъ дочь свою возлѣ самыхъ дверей. Дѣвица смутилась, ахнула и отступила въ страхѣ отъ отца, успѣвъ однако жъ бросить взглядъ на Искрина, который шелъ за Карломъ Ѳедоровичемъ.

«Кого или чего вы здѣсь ждали, сударыня?» сказалъ экзекуторъ грозно.

«Такъ-съ... Никого... ни чего-съ»... Бѣдная дѣвушка краснѣла и не знала что отвѣчать, и вдругъ дверь отворилась и изъ галереи выглянулъ русскій мужичокъ, съ ящикомъ за плечами: «гребни, гребешки, самые лучшіе, дешево отдамъ!...» сказалъ разносчикъ.

Дѣвушка опомнилась. «Я увидѣла въ окно разносчика... и хотѣла поторговать гребень...» сказала она, не смѣя поднять глазъ.

«Извольте итти въ свою комнату» проворчалъ отецъ, «а ты убирайся отсюда,» примолвилъ онъ, обращаясь къ разносчику. Дѣвушка поспѣшно ушла, успѣвъ однако жъ бросить значительный взглядъ на Искрина, который былъ ни живъ, ни мертвъ отъ этой сцены.

«Ступай за мною въ кабинетъ,» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ Искрину, и пошелъ мѣрными шагами впередъ, поднявъ голову. Пришедъ въ кабинетъ, онъ сѣлъ за письменный столъ, на которомъ все лежало и стояло въ величайшемъ порядкѣ: счетныя книги, одна на другой, счетная доска на книгахъ; чернилица и шандалъ блестѣли, пукъ очиненыхъ перьевъ красовался въ стаканѣ. Нигдѣ не видно было чернильнаго пятнышка. Искринъ остановился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ стола.

«Ты долженъ знать, что въ Петербургѣ ждутъ Свѣтлѣйшаго Князя Григорія Александровича Потемкина...»

«Слыхалъ-съ,» отвѣчалъ Искринъ.

Карлъ Ѳедоровичъ вскочилъ со стула. «Какъ! Ты слыхалъ уже объ этомъ? Когда, гдѣ, отъ кого? какъ ты могъ слышать объ этомъ, когда я самъ только сей часъ узналъ это отъ его сіятельства!»

«Я слышалъ это вчера, отъ пріятеля.»

«Какъ! у тебя есть пріятели, которые знаютъ государственныя тайны!» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ, трепещущимъ голосомъ, устремивъ неподвижный взоръ на Искрина.

«Помилуйте, Карлъ Ѳедоровичъ, что это за государ-

ственная тайна, когда весь городъ приготовляется встрѣчѣ Свѣтлѣйшаго, и сегодня вывезли на Московскую дорогу смоленыя бочки, для освѣщенія ея, если Свѣтлѣйшій проѣдетъ ночью.»

«Ты знаешь полицейскія распоряженія! Удивительно!»

«Ничего нѣтъ удивительнаго. Я видѣлъ, какъ везли бочки, и узналъ причину отъ полицейскаго сержанта.»

«Ты въ связи съ полиціею,» примолвилъ Карлъ Ѳедоровичъ, поблѣднѣвъ.

«Ни чуть: я спросилъ вовсе незнакомаго мнѣ человѣка, и онъ отвѣчалъ безъ обиняковъ.»

Карлъ Ѳедоровичъ снова присѣлъ, и не зналъ, какъ начать, поглядывая недовѣрчиво на Искрина. Наконецъ, перевернувъ нѣсколько бумагъ и собравшись съ духомъ, экзекуторъ сказалъ:

« И такъ, ты уже знаешь, что пріѣдетъ Свѣтлѣйшій! Нашъ Князь хочетъ угостить его у себя, и для этого надобно подновить мебель, обои и прочее. Намъ будетъ много дѣла. Надобно также исправить все въ канцеляріи, то есть, по наружности, выкрасить ворота, стѣны на лѣстницахъ, въ корридорахъ, подъ воротами, вычистить дворы.... За это мы примемся съ тобою съ завтрашняго дня; а теперь я поручу тебѣ дѣло поважнѣе и предложу... Слушай! Ты, знаешь Пѣтушкова?

«Прекрасный человѣкъ, умный, честный, образованный!» примолвилъ Искринъ.

«То есть, упрямый, дерзкій, вольнодумецъ, который осмѣливается имѣть собственное мнѣніе, который противится волѣ начальства,» сказалъ экзекуторъ.

«Онъ никогда не противился волѣ начальства, но когда ему поручатъ дѣло, излагаетъ свое мнѣніе по совѣсти»... отвѣчалъ Искринъ.

«Онъ долженъ спрашивать, какое ему имѣть мнѣніе, а не соваться съ своею совѣстью... Да что тутъ толковать! Князь не хочетъ имѣть въ канцеляріи ни Пѣтушкова, ни Пѣвцова... Пѣвцова!» примолвилъ экзекуторъ, стиснувъ зубы... «Пѣвцова... этого злодѣя.»

«Онъ поступилъ дурно, что написалъ на васъ эпиграмму; но, впрочемъ, онъ человѣкъ умный, честный и благородный»... сказалъ Искринъ.

«Честный и благородный! И ты смѣешь это сказать мнѣ въ глаза?» возопилъ экзекуторъ въ бѣшенствѣ, трепеща отъ злобы.

«Вы напрасно изволите гнѣваться, Карлъ Ѳедоровичъ: я уже докладывалъ вамъ, что я не одобряю его поступка противъ васъ... но этотъ одинъ проступокъ»...

«Это, сударь, не поступокъ и не проступокъ, а просто злодѣяніе»... заревѣлъ Карлъ Ѳедоровичъ, выпучивъ глаза на Искрина: «злодѣяніе, убійство, воровство, измѣна, богоотступничество!... Но ужъ Пѣвцова я беру на себя... а тебѣ предстоитъ теперь прекрасный случай къ отличію. Сочини доносецъ на Пѣтушкова!»...

Искринъ отступилъ до дверей, и перекрестился. «За кого вы меня принимаете, Карлъ Ѳедоровичъ?»... сказалъ онъ, нахмуривъ брови.

«За человѣка умнаго, который не упускаетъ случая къ своему возвышенію... Теперь будетъ представленіе къ наградамъ, и твое усердіе и преданность къ начальству не останутся въ забвеніи»...

«Мнѣ писать доносы, и на кого?—На человѣка, котораго я уважаю. Вы ошиблись во мнѣ, Карлъ Ѳедоровичъ, и если бъ... если бъ не уваженіе мое къ... къ вашему семейству... но, лучше всего, кончимъ это. Прошу васъ никогда не говорить мнѣ о подобныхъ дѣлахъ.»

«Не горячись, братецъ, здѣсь коротко и ясно: не хочешь повиноваться—такъ попадешь въ одну категорію съ Пѣтушковымъ и Пѣвцовымъ. Но я не хочу сдѣлать тебя несчастнымъ, и предлагаю теперь единственное средство къ твоему спасенію: женись на Машѣ!... то есть на Марьѣ Егоровнѣ»...

«Это что значитъ?» сказалъ Искринъ, покраснѣвъ отъ досады.

«Дѣвушка, которая пользуется особенною милостію Князя... дѣвушка прекрасная, умная и весьма добрая... она живетъ на вольной квартирѣ съ своею тетушкою; ты помнишь, куда мы ставили дрова... Марья Егоровна имѣетъ изрядное приданое и, кромѣ того, принесетъ тебѣ свадебный подарокъ, а именно, покровительство Князя, повышеніе, награды и двойное жалованье—словомъ, полное счастье»...

Кроткій и скромный отъ природы Искринъ почти вышелъ изъ себя отъ гнѣва: онъ приступилъ на шагъ ближе къ столу, заложилъ руки на груди, склонилъ

голову, и, устремя грозный взглядъ на экзекутора, презрительно улыбнулся, молчалъ, и наконецъ покачалъ головою.

Карлъ Ѳедоровичъ струсилъ; онъ привсталъ, оперся одною рукою на столъ, а другою схватилъ колокольчикъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, смотрѣлъ безпокойно на Искрина, котораго онъ никогда не видалъ въ такомъ положеніи.

Наконецъ, Искринъ пришелъ въ себя. Глаза его наполнились слезами, и онъ сказалъ: «Богъ вамъ проститъ, Карлъ Ѳедоровичъ! Вы меня жестоко оскорбили; я не заслужилъ этого!»... Сказавъ это, онъ обернулся, чтобы выйти изъ кабинета.

Карлъ Ѳедоровичъ ободрился. «Помилуй, братецъ, да ты право сумасшедшій! Чѣмъ же я тебя обидѣлъ? Развѣ тѣмъ, что желалъ тебѣ добра, далъ случай составить счастье?... Ей Богу, ты не въ своемъ умѣ! Помни, что ты бѣденъ, безъ всякой протекціи... ну, настоящій *нуль* на бѣломъ свѣтѣ»..

«*Нуль... съ душею,*» сказалъ Искринъ: «и лучше хочу остаться ничѣмъ, нежели значить что либо, опираясь на *бездушную цыфру!*»... Онъ вышелъ скорыми шагами изъ комнаты, выбѣжалъ на улицу и, съ отчаяньемъ въ душѣ, пошелъ бродить по городу.

—

III.

РОДОСЛОВНАЯ ПЕРВАГО ДВОРЯНИНА, И СЕМЕЙНАЯ КАРТИНА.

Что такое дворянинъ? — Сынъ чиновника 8-го класса, или штабъ-офицерскаго чина, или кавалера такого-то ордена, — скажутъ мнѣ въ отвѣтъ, — или сынъ 1-й гильдіи купца, перешедшаго въ дворянство. Прекрасно! Но я говорю теперь не объ этомъ...

Каждый народъ переходилъ, постепенно, изъ дикаго состоянія къ благоустроенному обществу; но едва дикари успѣютъ составить орду, уже между ими есть начальники и старшины. Въ начальники и старшины избираютъ людей мужественныхъ, умныхъ, отличныхъ отъ прочихъ своими природными дарованіями. Оказавъ услуги своимъ одноплеменникамъ, начальники и старшины пользуются общимъ уваженіемъ, и по свойству неиспорченной человѣческой природы, уваженіе и любовь общая достаются въ удѣлъ дѣтямъ заслуженнаго мужа, и нисходятъ на все его потомство. Каждый честный и добрый человѣкъ сохраняетъ въ сердцѣ любовь къ сыну и внуку своего благодѣтеля. Наконецъ, когда племя или народъ дѣлается осѣдлымъ, и уже управляется обычаями или законами,—эти самые законы или обычаи, будучи выраженіемъ общаго мнѣнія, награждая доблесть и заслугу, и поощряя другихъ къ самоотверженію для общаго блага, распространяютъ права и преимущества заслуженныхъ мужей на ихъ потомство. Это самый естественный ходъ дѣлъ человѣческихъ и самое вѣрное истолкованіе происхожденія ро-

доваго дворянства. Отецъ семейства охотно жертвуетъ всѣмъ — умомъ, трудомъ, временемъ и жизнью, если увѣренъ, что его жертва составитъ благосостояніе дѣтей. По закону природы, мы живемъ только для дѣтей и въ дѣтяхъ, и эгоисты-отцы, которые для удовлетворенія своихъ страстей и для личныхъ наслажденій жертвуютъ благомъ семейства, суть выродки вычурной образованности и заблужденій, отступленіе отъ законовъ природы, исключеніе изъ правила.

Такимъ порядкомъ шли, идутъ и будутъ итти дѣла повсюду въ монархіяхъ и республикахъ, въ кочевыхъ ордахъ и между полудикими горцами и островитянами. Вездѣ есть дворянство, то есть, старшіе роды, ведущіе родословную отъ мужей, заслуженныхъ на родинѣ. Демократія и равенство—пустой звонъ, фарсъ, которымъ честолюбцы и интриганты соблазняютъ только школьниковъ или невѣждъ.

Человѣкъ всегда разсматривается двояко: какъ существо, одаренное душею безсмертною, и какъ животное, прикованное къ землѣ жизненными потребностями. Природа, какъ извѣстно, раздѣляется на органическую и мертвую: первую составляетъ все, что̀ живетъ и растетъ. Къ этому разряду принадлежатъ растенія и животныя, имѣющія аналогическія свойства жизни. На хорошей почвѣ, въ свойственномъ климатѣ растеніе произбаетъ превосходно, и приноситъ вкусные и обильные плоды. Хорошая пища и рачительное содержаніе облагороживаетъ породы животныхъ, какъ говорятъ агрономы, а отъ смѣшенія ихъ съ лучшими породами даже перерождается племя: это доказано опытомъ.

То же бываетъ и съ людьми. Человѣкъ, котораго предки въ теченіе 500 или 300 лѣтъ помѣщались въ удобныхъ жилищахъ, питались лучшею пищею, одѣвались мягкими тканями — уже человѣкъ другой породы! Теперь обратитесь къ нравственному бытію. Человѣкъ, котораго предки должны были мыслить, то есть, изощрять благороднѣйшія свои способности,—человѣкъ, котораго предки руководствовались честью, славою и любовью къ отечеству и всѣми великими и благородными чувствованіями и помышленіями,—этотъ человѣкъ получаетъ при рожденіи органы чувства нѣжнѣе, болѣе способные къ принятію всѣхъ высокихъ впечатлѣній. Прибавьте къ этому благородную гордость отъ воспоминанія заслугъ предковъ и ихъ значенія на родинѣ, примѣры великихъ подвиговъ, и вы согласитесь, что только дурное воспитаніе или уродливость въ организаціи могутъ довести стараго дворянина до того, чтобъ онъ измѣнилъ своей природѣ. Ложныя идеи, распространяемыя мнимыми философами, и ложное направленіе политическихъ обществъ, измѣнили во многомъ первыя начала этого дѣла; но все сказанное мною великая истина! Выродки составляютъ исключеніе, ибо безъ исключеній нѣтъ ничего ни въ нравственномъ, ни въ физическомъ мірѣ. Въ средніе вѣки, во время всеобщаго разврата нравовъ и забвенія всѣхъ основныхъ правилъ общества, рыцари, то есть, старые дворяне, разбивали купеческіе караваны на большихъ дорогахъ, но не крали и не мошенничали, потому что, при явномъ нападеніи, они жертвовали собственною жизнью и почитали разбой войною. Рыцари считали маловажностью

убить явно мѣщанина и поселянина за ослушаніе и грубость, а убить жида значило то же, что убить барана; но солгать или измѣнить данному слову вмѣнялось въ безчестіе. Въ самомъ злѣ и развратѣ, все гнусное и малодушное отвергаемо было дворянствомъ; но довольно объ этомъ... Обратимся къ моему главному предмету, замѣтивъ однако жъ, что все сказанное мною о породахъ людей въ нашемъ XIX вѣкѣ относится уже ко всему образованному сословію...

Въ одномъ изъ Остзейскихъ городишковъ, жилъ былъ вольноотпущенникъ, по имени Іоганъ, родомъ изъ Эстовъ, или какъ у насъ говорятъ, изъ Чухонъ, и питался поденною работою. Жена его торговала на рынкѣ хлѣбомъ и зеленью. Однажды, высокопочтенный бургомистръ города шелъ важно по берегу рѣки, и размышлялъ о своемъ величіи, утѣшаясь тѣмъ, что работники снимаютъ передъ нимъ шляпу, какъ вдругъ дерзкій вѣтеръ, не признавая власти бургомистра, сорвалъ съ него самого шляпу, которую онъ ломалъ только предъ богатыми дворянами—и бросилъ эту шляпу въ рѣку. Іоганъ складывалъ на берегу городскія дрова, и увидѣвъ это, бросился по поясъ въ воду, досталъ шляпу, стряхнулъ ее, обтеръ своимъ рукавомъ, и почтительно подалъ бургомистру, съ тремя низкими поклонами. Бургомистръ былъ смѣшонъ до крайности своимъ чванствомъ, но онъ имѣлъ доброе сердце. Онъ велѣлъ Іогану прійти къ себѣ на домъ, и распросивъ его обо всемъ, далъ ему мѣсто сторожа при городскихъ дровахъ, а сыну его, Фрицу,

позволилъ посѣщать, безденежно, городскую школу. Іоганъ служилъ вѣрно и усердно, и бургомистръ покровительствовалъ его. Когда сыну Іогана исполнилось двѣнадцать лѣтъ, и онъ обучился читать и писать по-Нѣмецки и по-Эстонски и первымъ четыремъ правиламъ ариѳметики, бургомистръ отдалъ его въ ученье къ портному. Въ три года Фрицъ сдѣлалъ удивительные успѣхи въ портняжествѣ, но на четвертый годъ на него нашла цѣлая полоса бѣдствій. Въ одинъ годъ умерли его родители отъ эпидемической болѣзни, свирѣпствовавшей тогда на берегахъ Балтійскаго Моря; въ томъ же году скончался покровитель его, бургомистръ, отъ желтухи, приключившейся отъ того, что одинъ важный ландратъ позвалъ нарочно къ себѣ обѣдать двухъ ратсгеровъ магистрата, и не пригласилъ бургомистра, для униженія его! А важнѣйшее несчастіе было то, что хозяинъ Фрица, портной, спился съ кругу, и во время опьяненія впадалъ въ родъ бѣшенства и билъ немилосердо всѣхъ — жену, дѣтей и работниковъ. Однажды, проѣздомъ чрезъ городъ, остановился въ трактирѣ офицеръ, родомъ изъ Нѣмцевъ. Денщикъ его заболѣлъ до такой степени, что его надлежало оставить въ госпиталѣ. Вечеромъ офицеръ велѣлъ позвать къ себѣ мальчика отъ портнаго, для какой-то маловажной работы. Явился бѣдный Фрицъ, съ подбитыми глазами; и когда офицеръ спросилъ его о причинѣ этихъ знаковъ, Фрицъ разсказалъ ему, со слезами, о своей горькой участи. Офицеръ предложилъ ему ѣхать въ Петербургъ, и Фрицъ съ радостью согласился. Чрезъ трое сутокъ они уже были въ Петербургѣ.

Когда денщикъ офицера возвратился изъ госпиталя, Фрицъ сталъ ненуженъ офицеру, и онъ отрекомендовалъ его знакомому портному. Хорошимъ поведеніемъ, прилежаніемъ и искусствомъ Фрицъ пріобрѣлъ уваженіе и довѣренность хозяина, который сдѣлалъ его подмастерьемъ и первымъ закройщикомъ. По смерти хозяина, вдова его упросила Фрица принять въ полное распоряженіе все заведеніе и жениться на ней, для сохраненія порядка въ дѣлахъ, что̀ Фрицъ и исполнилъ, потому что хотя вдова была старѣе его десятью годами, но прекрасно пекла пироги съ черникой, и содержала домъ опрятно. Фрицъ прижилъ съ нею двухъ сыновей, Карла и Петра, и составилъ трудами и бережливостью порядочное состояніе. Онъ работалъ на всѣхъ чиновниковъ одной изъ тогдашнихъ коллегій, заступавшихъ нынѣшнія министерства, и исполняя вѣрно и честно всѣ порученія, и притомъ кредитуя чиновникамъ, большимъ и малымъ, пріобрѣлъ общую любовь. Дитя богатства, честолюбіе, наконецъ овладѣло добрымъ портнымъ, и онъ рѣшился вывести дѣтей своихъ въ люди, по примѣру другихъ богатыхъ ремесленниковъ. Онъ сперва назначалъ одного сына въ доктора̀, а другаго въ пасторы; но чиновники уговорили его записать дѣтей на службу въ канцелярію. Такъ и сдѣлано. Старшій изъ братьевъ, Карлъ, пользовался милостью начальника, который любилъ его отца, и потому Карлъ служилъ весьма счастливо. Вся обязанность его, въ теченіе двадцати лѣтъ, состояла въ томъ, чтобъ чинить перья для начальниковъ, и исполнять ихъ домашнія порученія. Начальники, смѣняясь, передавали его другъ

другу, какъ вещь, какъ печать канцеляріи. Между тѣмъ Карлъ лишился своихъ родителей; по волѣ одного изъ своихъ начальниковъ, женился на его домоправительницѣ, изъ бѣдныхъ Малороссійскихъ дворянокъ, прижилъ съ нею дочь Наталію, крещеную въ Православной Вѣрѣ, дослужился до чина коллежскаго ассессора, и получилъ штатное мѣсто экзекутора. Онъ скоро овдовѣлъ, и бывъ въ строгой зависимости отъ жены, поклялся не жениться въ другой разъ. Младшій братъ его, Петръ, перешелъ въ военную службу, дослужился до чина подпоручика, женился, по любви, на дочери бѣднаго Русскаго чиновника, и умеръ отъ болѣзни. Послѣ честнаго портнаго осталось, какъ уже сказано, порядочное состояніе — каменный домъ и тысячъ со сто рублей. Братья дѣлились между собой доходами. Чувствуя приближеніе кончины, Петръ далъ заемное письмо женѣ своей въ 30,000 рублей, отказавъ остальное, по завѣщанію, племянницѣ. Карлъ хотѣлъ было тягаться со вдовою своего брата, но родные ея настращали экзекутора, и онъ предложилъ своей золовкѣ жить у него, довольствоваться процентомъ, и наблюдать за воспитаніемъ его дочери. Она согласилась.

И такъ, вотъ родословная Карла Ѳедоровича! Нѣмецкій портной назывался Іогансономъ, то есть, Ивановымъ, по имени своего отца, и подъ этимъ именемъ сыновья портнаго вошли въ службу, и Петръ удержалъ его. Но одинъ изъ начальниковъ назвалъ Карла, въ послужномъ спискѣ канцелярскихъ служителей, Циттербейномъ, то есть *трясоножкой*, оттого, что онъ всегда и всего трусилъ и дрожалъ на ногахъ предъ начальникомъ,

и это имя, данное въ шутку, осталось при немъ навсегда. Теперь онъ уже подписывался по-Нѣмецки: фонъ Циттербейнъ.

Дѣдъ и отецъ Карла Ѳедоровича были честные и добрые люди, потому что оставались въ своемъ кругу, и не лѣзли насильно въ гору. Братъ Карла Ѳедоровича, Петръ, также былъ хорошій человѣкъ и исправный офицеръ, потому что любилъ свое званіе, исполнялъ охотно свой долгъ и не мучился честолюбіемъ. Карла Ѳедоровича погубила страсть къ почестямъ и отличіямъ. Этой страсти онъ пожертвовалъ всѣми человѣческими чувствованіями. Не имѣя покровителей въ родѣ, и столько способностей, чтобъ отличиться на службѣ трудами своими, Карлъ Ѳедоровичъ выслуживался низкопоклонностью и угодливостью, и почиталъ позволенными всѣ средства, которыми только можно снискать благоволеніе начальства. Только одна страсть дѣйствовала въ душѣ его столь же сильно, какъ и честолюбіе, а именно, скупость. Потерявъ пять тысячъ рублей на одномъ изъ своихъ начальниковъ, Карлъ Ѳедоровичъ продалъ немедленно домъ, и объявилъ, что онъ лишился всего своего капитала въ одной спекуляціи, а между тѣмъ занимался тайно ремесломъ ростовщика, отдавая деньги взаймы подъ ручные заклады. Онъ имѣлъ въ этомъ дѣлѣ сообщника, стараго холостяка, Нѣмца, человѣка безъ всякаго званія, называвшагося купцомъ, удалившимся отъ дѣлъ, по имени Шварца, который далъ Карлу Ѳедоровичу на прокатъ свое имя и свою честь, за извѣстный процентъ. Два любимыя занятія Карла Ѳедоровича состояли въ томъ,

чтобъ считать свои денежки и пересматривать закладныя вещи, и за трубкою табаку мечтать о будущемъ возвышеніи. Сперва всю цѣль его желаній составлялъ чинъ коллежскаго ассессора, съ которымъ сопряжено было дворянское достоинство. По полученіи патента и дворянской граматы, желаніе Карла Ѳедоровича перепрыгнуло за прежнюю черту, и избрало другую цѣль. Карлу Ѳедоровичу и снился и видѣлся генеральскій чинъ, съ парочкою орденовъ, и онъ тогда только былъ веселъ, когда, запершись въ своемъ кабинетѣ, выписалъ разъ тридцать на листѣ бумаги: «Карлъ фонъ Циттербейнъ, *дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ*». Полюбовавшись на свою подпись, онъ, со вздохомъ, сожигалъ этотъ листокъ бумаги, и отправлялся, по обыкновенію, кланяться и наушничать.

Карлъ Ѳедоровичъ видалъ дочь свою только за столомъ, и мало занимался ею. Нельзя сказать, чтобъ онъ не любилъ ея, но какъ онъ любилъ выше всего *себя*, чины и деньги, и безпрерывно занимался средствами къ удовлетворенію своихъ главныхъ страстей, то родительская любовь не имѣла времени выказываться. Отъ природы онъ былъ угрюмъ и молчаливъ, и притомъ, опасаясь проговориться, никогда ни съ кѣмъ не начиналъ разговора, и на всѣ вопросы отвѣчалъ двусмысленно и неопредѣленно. Дамы, то есть, дочь и золовка, всегда почти были однѣ, въ своей комнатѣ. Карлъ Ѳедоровичъ не любилъ знакомствъ, и не вывозилъ никуда своей дочери. Нѣсколько пожилыхъ женщинъ, подругъ юности золовки Карла Ѳедоровича, Марьи Прохоровны, и нѣсколько старыхъ товарищей ея

мужа заходили, иногда, навѣстить ее. Въ числѣ послѣднихъ былъ отецъ Искрина, и потому Марья Прохоровна часто призывала Александра Андреевича на чашку чаю или кофе, когда Карла Ѳедоровича не было дома. Искринъ, для забавы дамъ, игралъ на фортепіанѣ и пѣлъ, разговаривалъ съ ними, по-Французски, о новыхъ романахъ, приносилъ для прочтенія новыя книги, давалъ ноты, копировалъ узоры, списывалъ для нихъ стишки и пѣсенки, и даже игралъ на четыре руки съ Натальей Карловной, и пѣвалъ съ нею дуэты. Не знаю, какъ это случилось, только по истеченіи года, Наталія Карловна, вошедши въ восемнадцати-лѣтній возрастъ, уже любила Искрина, и даже призналась ему въ томъ, когда онъ открылся ей въ своей любви. Они даже помѣнялись крестами, и поклялись другъ другу въ вѣчной любви. Марья Прохоровна вовсе не замѣчала постепенностей этой любви и тогда только опомнилась, когда увидѣла, нечаянно, чрезъ двери, что Наталія, сидя возлѣ Искрина за фортепіаномъ, положила ему руку на плечо, и Искринъ, взявъ другую ея руку, поцѣловалъ, прижалъ къ сердцу и сказалъ: «Будешь ли ты всегда любить меня, Наташа?» — «Всю жизнь, и скорѣе брошусь въ Неву, чѣмъ выйду замужъ за другаго,» отвѣчала Наталія и поцѣловала милаго друга въ лобъ. — «Наташа! Александръ Андреевичъ! что это? Ахъ, Боже мой!» воскликнула Марья Прохоровна, всплеснувъ руками. Наташа бросилась къ ней, повисла на шеѣ, стала плакать, и сквозь слезы и всхлипыванія говорила: «Тетушка! Я не могу жить безъ него: я умру!» Александръ Андреевичъ цѣловалъ ру-

ки Марьи Прохоровны и также плакалъ, не будучи въ состояніи вымолвить слова. Кончилось тѣмъ, что и сама Марья Прохоровна заплакала и стала обнимать любящихся, называя ихъ своими милыми дѣтками и благословляя, хотя, правду сказать, не имѣла на то ни какого права. Съ этихъ поръ Марья Прохоровна, волею неволею, сдѣлалась покровительницею и повѣренною любовниковъ. Они каждый день видались въ ея комнатѣ, иногда по нѣскольку разъ, и тогда даже, когда Карлъ Ѳедоровичъ былъ въ своемъ кабинетѣ и считалъ свои деньги или тѣшился генеральскою подписью. Хотя онъ и заставалъ нѣсколько разъ Искрина у своей золовки, и притомъ въ присутствіи своей дочери, но ничего не подозрѣвалъ, зная дружескую связь отца Искрина съ покойнымъ своимъ братомъ. Впрочемъ, Карлъ Ѳедоровичъ вовсе не зналъ, что̀ такое любовь, и никакъ не могъ предполагать, чтобъ бѣдный, безпомощный чиновникъ осмѣлился полюбить дочь своего начальника, и чтобъ дочь его, экзекутора и коллежскаго ассессора, полюбила чиновника 12-го класса, человѣка бѣднаго и безъ покровительства! Это не могло даже ему представиться въ воображеніи! Онъ уже избралъ себѣ по сердцу зятя, и въ этотъ именно день вознамѣрился объявить дочери о своемъ намѣреніи. Въ этотъ день исполнилось также полтора года отъ знакомства Наталіи съ Искринымъ, и полгода отъ объясненія ихъ въ любви. Оттого именно Наталія ждала въ передней Искрина, чтобъ поздравить его... наканунѣ они говорили объ этомъ...

Наталія не знала о происшедшемъ между отцемъ ея

и любовникомъ, и надѣялась увидѣться съ нимъ вечеромъ. Но вечеръ прошелъ, Искринъ не являлся, и она грустно сѣла за ужинъ, жалуясь на головную боль.

Тогда картофель, нынѣшній nec plus ultra Нѣмецкой гастрономіи, былъ еще рѣдкостью. Въ мѣщанскомъ нѣмецкомъ быту картофель ѣдали только въ праздники, а ежедневное мѣсто его заступали, такъ называемые, Schweins-Bohnen, то есть, большіе бобы, которые и нынѣ охотно ѣдятъ Нѣмецкіе и полу - Нѣмецкіе биргеры. На столѣ стояло блюдо этихъ бобовъ, отваренныхъ въ водѣ, чайное блюдечко съ масломъ, кусокъ холодной говядины изъ обѣденнаго супа и бутылка полпива. Покушавъ умѣренно, Карлъ Ѳедоровичъ обратился къ своей дочери и сказалъ:

«Наташа! чрезъ мѣсяцъ ты будешь замужемъ!» Наташа испугалась.

«Помилуйте, батюшка!» воскликнула она жалостно.

«Я точно милую тебя, и потому выдаю замужъ за прекраснаго человѣка.»

«Кто же это?» спросила Марья Прохоровна.

«Ты видала его у меня, нѣсколько разъ, Наташа,» продолжалъ Карлъ Ѳедоровичъ. «Это Иванъ Ивановичъ Швернодеръ.

«Какъ! этотъ рыжій!...» сказала Наташа, закрывъ лицо руками и качая головою.

«Рыжіе волосы означаютъ пылкость души»... примолвилъ Карлъ Ѳедоровичъ.

«Косой!»... возразила Марья Прохоровна.

«Тѣмъ лучше: онъ заразъ видитъ на обѣ стороны,» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ. «Человѣкъ онъ отличный,

способный и имѣетъ сильную протекцію. Дядя его управляетъ имѣніемъ одного изъ первыхъ нашихъ вельможъ, и самъ Иванъ Ивановичъ дошелъ до той степени, что даже былъ приглашенъ на обѣдъ къ Свѣтлѣйшему Князю Григорію Александровичу Потемкину!...»

«Что за важность!» возразила Марья Прохоровна.

«Да, ужъ бо̀льшей важности я не знаю!» отвѣчалъ Карлъ Ѳедоровичъ: «обѣдать у Свѣтлѣйшаго! Да это выше всего, чего нашъ братъ можетъ только достигнуть! Вѣдь послѣ этого выбирай любое мѣсто и куда только угодно: никто не тронетъ... Обѣдать у Свѣтлѣйшаго! Да, за это можно отдать половину жизни.»

«Батюшка! Я не понимаю этого достоинства,» сказала рѣшительно Наташа, вставъ съ мѣста. «Я осмѣлюсь вамъ доложить, что я ни за что не выйду замужъ за Швернодера.»

«Выйдешь, когда я приказываю!...» закричалъ грозно Карлъ Ѳедоровичъ.

Любовь дѣлаетъ героевъ, по старой Римской пословицѣ. Наталья нашла въ душѣ своей неизвѣстное ей дотолѣ мужество, и отвѣчала твердо: «Не выйду!»

«Или выйдешь замужъ за человѣка, который обѣдалъ у Свѣтлѣйшаго, или — въ монастырь!»

«Хоть на тотъ свѣтъ, но не выйду замужъ иначе, какъ по любви... а Швернодеръ мнѣ противенъ!»

«Съ глазъ долой!» завопилъ Карлъ Ѳедоровичъ. «Пошла спать! — Этимъ я вамъ обязанъ, сударыня!» примолвилъ Карлъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ Марьѣ Прохоровнѣ: «Вы ее воспитали.... это ваши чувства.... вѣдь

вы также вышли замужъ по любви, то есть, братъ мой женился на васъ по любви... безъ приданаго и безъ протекціи!»

«И былъ счастливъ!» сказала Марья Прохоровна гордо и съ упрекомъ.

«Это до меня не касается... но отъ дочери моей я требую повиновенія...» примолвилъ холодно Карлъ Ѳедоровичъ.

«Для этого надобно быть благоразумнымъ въ требованіяхъ,» отвѣчала Марья Прохоровна.

«Вы учите меня... вы не имѣете ни какого права на дочь мою, сударыня!»

«Я посвятила ей пятнадцать лѣтъ жизни, взлелѣяла ее и воспитала, какъ умѣла, и для нея отреклась отъ всѣхъ притязаній на жизненныя радости... осталась бездѣтною вдовой... Если вы не признаете моихъ заслугъ, пожалуйте мнѣ мои деньги... я завтра же васъ оставлю!...»

Слово *деньги* тронуло сердце Карла Ѳедоровича.

«Ну, полно, не сердитесь... я васъ вполнѣ уважаю!... а все-таки дочь моя должна быть замужемъ за человѣкомъ, который обѣдалъ у Свѣтлѣйшаго!.... Доброй ночи!»

Всѣ разошлись въ дурномъ расположеніи духа.

—

IV.

РИКОШЕТЫ, ИЛИ СМѢХЪ И ГОРЕ.

Карлъ Ѳедоровичъ полторы сутки не говорилъ ни словечка съ дочерью и съ золовкою. Чтобъ утѣшиться и забыть домашнюю непріятность, онъ умножалъ всѣ свои радости, а именно, два раза лишнихъ пересмотрѣлъ заложенныя вещи, и сдѣлалъ счетъ своему капиталу, исписалъ три лишнихъ листа бумаги подписью своего имени, съ чиномъ *дѣйствительнаго статскаго совѣтника*, и три лишнихъ раза прошелся по канцеляріи, съ важностью и гордостью бросая презрительные взгляды на Пѣтушкова и Пѣвцова, которыхъ участь была у него въ карманѣ. Въ то самое время, когда Карлъ Ѳедоровичъ дерзко и грубо отвѣчалъ Пѣвцову на его замѣчаніе, что перья весьма дурны, чернила рыжѣютъ и бумага протекаетъ, и когда торжественно пожималъ руку Швернодеру, и объявлялъ ему, съ сладостною улыбкою, о хорошей погодѣ — курьеръ позвалъ Карла Ѳедоровича къ Князю. Карлъ Ѳедоровичъ бросилъ вокругъ гордый взглядъ, сморщилъ лобъ и высунулъ губы, взглянувъ на Пѣвцова, и поднявъ голову, пошелъ, размѣреннымъ шагомъ, въ комнаты Князя.

Князь былъ уже причесанъ и напудренъ, и прохаживался по кабинету, въ утреннемъ сюртукѣ, съ двумя звѣздами. Когда Карлъ Ѳедоровичъ вошелъ въ двери, Князь остановился и посмотрѣлъ на него сердито. Карлъ Ѳедоровичъ сперва съёжился, а потомъ вытя-

нулся, протянулъ руки по швамъ, поднялъ голову и затрепеталъ всѣмъ тѣломъ.

«Ну, что, есть ли деньги?» спросилъ Князь.

«Ваше сіятельство!.... сіятельный Князь!.... Откупщикъ что-то упрямится..... Онъ надѣется, что по прибытіи Свѣтлѣйшаго, найдетъ къ нему дорогу.»

«Все ты лжешь!» сказалъ Князь гнѣвно. «Откупщикъ былъ самъ у меня..... Ты вывелъ его изъ терпѣнья своимъ пронырствомъ.... Ты хочешь что нибудь выторговать для себя..... а мое дѣло чистое: я занимаю и даю на себя обязательство..... Я все знаю! У тебя есть деньги; ты даешь деньги взаймы другимъ.....» Князь обернулся и сталъ скорыми шагами ходить по комнатѣ, бросая сердитые взгляды на Карла Ѳедоровича.

А онъ бѣдный чуть устоялъ на ногахъ отъ этого нечаяннаго удара.

«Помилуйте, ваше сіятельство, какія у меня деньги!» завопилъ онъ жалостно: «я бѣдный, раззоренный человѣкъ, и если бъ имѣлъ что нибудь, то съ радостью сложилъ бы у ногъ вашего сіятельства! Отъ откупщика я ничего не требовалъ для себя.....»

«Молчи!» закричалъ Князь: «ты все лжешь! Ты сказывалъ мнѣ, что откупщикъ хочетъ помѣстить своихъ племянниковъ на вакантныя мѣста: неправда! Онъ только хочетъ приписать ихъ къ канцеляріи, а напротивъ, просилъ меня повысить Пѣтушкова и Пѣвцова. Первый женится на его племянницѣ, а второй, который написалъ на тебя такую славную эпиграмму, обучаетъ дѣтей его грамотѣ. Поди же сейчасъ въ канцеля-

рію, и скажи правителю, что я приказываю ему дать Пѣтушкову вакантное мѣсто секретаря, а Пѣвцову мѣсто Швернодера, которому сейчасъ же вели подать въ отставку. Я знаю, какія предложенія дѣлалъ онъ откупщику! Можетъ быть, это по твоему наущенію; но я съ тобой раздѣлаюсь послѣ.... Маршъ!»

Полумертвый, вышелъ Карлъ Ѳедоровичъ отъ Князя, обронилъ, въ безпамятствѣ, шляпу и перчатки на лѣстницѣ, сошелъ въ забвеніи внизъ, обошелъ вокругъ нижній корридоръ и весь дворъ, и тогда только опомнился, когда ударился носомъ объ оглобли водовозной лошади, которой низко поклонился, отступивъ три шага. Осмотрѣвшись кругомъ, онъ обтеръ холодный потъ съ лица, тяжело вздохнулъ, и пошелъ медленно въ канцелярію.

Тихими шагами вошелъ онъ въ переднюю, остановился у дверей, и заглянулъ робко во внутренность. Въ это время Пѣвцовъ, взявъ листъ бумаги, приложилъ къ ней языкъ, и указывая товарищамъ бумагу, сказалъ: «Вотъ промоклая душа нашего экзекутора!» и потомъ разбивъ щелчкомъ нѣсколько перьевъ, примолвилъ: «а вотъ его косточки!» Молодые чиновники хохотали. Карлъ Ѳедоровичъ хотѣлъ было бѣситься, но уже не имѣлъ на то духу. Онъ вошелъ въ канцелярію, потупя голову, на цыпочкахъ, и проходя мимо Пѣвцова, превѣжливо ему поклонился, а Пѣтушкову даже отвѣсилъ низкій поклонъ. Когда же Швернодеръ хотѣлъ взять его за руку, онъ отдернулъ ее, даже не посмотрѣлъ на него, и прошелъ тихомолкомъ въ комнату, гдѣ занимался дѣлами правитель канцеляріи.

«Господа! это что значитъ?» сказалъ одинъ изъ чиновниковъ. «Карлъ Ѳедоровичъ бьетъ челомъ предъ Пѣтушковымъ и Пѣвцовымъ! Да это чудеса!»

«Видно, вѣтеръ перемѣнился,» подхватилъ другой.

Когда Карлъ Ѳедоровичъ возвращался чрезъ канцелярію изъ комнаты правителя, всѣ чиновники хохотали. Но экзекуторъ не поднялъ глазъ, и смиренно пробрался домой, ударивъ кулакомъ сторожа, который отперъ ему двери и не успѣлъ посторониться. У своихъ дверей онъ увидѣлъ домашнюю кошку, которая мяукала и просилась въ комнаты. Карлъ Ѳедоровичъ схватилъ ее за шею и въ бѣшенствѣ тиснулъ за перила галереи. Вошедъ въ свою переднюю, онъ почти наткнулся на Искрина. Этотъ смѣшался; но Карлъ Ѳедоровичъ не спросилъ его даже, зачѣмъ онъ здѣсь, къ кому пришелъ въ его отсутствіи, а взявъ за руку, потащилъ въ свой кабинетъ.

Карлъ Ѳедоровичъ бросился въ кресла, протянулся, задралъ голову и сталъ хлопать рѣсницами, какъ будто выжимая слезы изъ глазъ, потомъ съёжился, и устремивъ быстрый взглядъ на Искрина, сказалъ жалобно: «Пѣтушковъ и Пѣвцовъ въ милости!»

«Тѣмъ лучше,» возразилъ Искринъ, который наконецъ пришелъ въ себя, думая сперва, что надъ нимъ разразится гроза. «Тѣмъ лучше,» примолвилъ онъ: «это люди добрые, честные, способные.»

«Они меня ненавидятъ, они меня зарѣжутъ..... сгонятъ со свѣта!...» завопилъ Карлъ Ѳедоровичъ.

«Не бойтесь!» отвѣчалъ Искринъ: «Русскій человѣкъ не мстителенъ, отъ природы. Въ первомъ жару онъ вы-

бранитъ, готовъ приколотить..... Но вы знаете Русскую пословицу: «лежачаго не бьютъ. Покорись — и Русскій человѣкъ забылъ все прошлое!»

«Какъ можно не сдѣлать зла врагу, когда есть къ тому случай и сила!» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ.

«Зло дѣлаютъ только злые люди, а Пѣтушковъ и Пѣвцовъ люди добрые,» отвѣчалъ Искринъ.

«Но ты не сказывалъ имъ о томъ, что было говорено между нами?» спросилъ Карлъ Ѳедоровичъ.

«Я никогда не переношу дурныхъ вѣстей, а передаю людямъ только то, что можетъ ихъ порадовать,» сказалъ Искринъ.

«Обними меня, другъ мой!» сказалъ нѣжно Карлъ Ѳедоровичъ: «и будь моимъ защитникомъ и спасителемъ!»

Искринъ обнялъ своего начальника и сказалъ: «Какъ я могу защищать васъ..... я самъ беззащитный!»

«Но ты въ дружбѣ съ Пѣтушковымъ и Пѣвцовымъ?

«Да, они меня любятъ!»

«И такъ, ради Бога, внуши имъ, что я ихъ первый почитатель, что я всегда говорилъ объ нихъ хорошо Князю, что я готовъ всѣмъ служить имъ.....»

Искринъ едва могъ удержаться отъ смѣха; но желая кончить поскорѣе эту непріятную сцену, онъ обѣщалъ сдѣлать все, что будетъ только угодно экзекутору.

«Любезный другъ,» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ: «я убитъ, растерзанъ, болѣнъ тѣломъ и душею, и ни къ чему неспособенъ. Займись всѣмъ дѣломъ и присмотри,

чтобъ все было вычищено, выкрашено. Не знаю, кому Князь поручитъ теперь свои коммиссіи..... Но ужъ я едва ли угожу ему! Ступай съ Богомъ, любезный другъ Александръ Андреевичъ, и займись дѣломъ! Ты человѣкъ умный, расторопный, честный..... я всегда любилъ тебя.....» Карлъ Ѳедоровичъ еще нѣсколько разъ обнялъ Искрина, и выпроводивъ изъ кабинета, заперся на ключъ. Для утѣшенія себя въ горѣ, онъ сталъ пересчитывать свои деньги и счеты.

Въ галереѣ Искринъ встрѣтилъ Пѣтушкова, Пѣвцова и нѣсколько чиновниковъ; всѣ они были веселы, шумѣли и хохотали.

«Поздравляй меня и его,» сказалъ Пѣтушковъ: «къ намъ проглянуло солнышко!»

«Душевно радъ,» отвѣчалъ Искринъ. «Но что сталось съ моимъ Карломъ Ѳедоровичемъ? Онъ тише воды, ниже травы!»

«А мы у тебя хотѣли объ этомъ спросить,» сказалъ Пѣвцовъ. «Вообрази, что онъ даже отвѣсилъ мнѣ низкій поклонъ!»

«Не считай этого за честь,» возразилъ одинъ изъ чиновниковъ: «однажды, проходя по Невскому Проспекту, я увидѣлъ, что нашъ Карлъ Ѳедоровичъ снялъ шляпу и низко поклонился каретѣ. Карета остановилась, Карлъ Ѳедоровичъ подбѣжалъ къ дверцамъ, отперъ ихъ и выпустилъ пуделя! Я не могъ удержаться отъ смѣха. «Помилуйте, что это за нѣжность съ пуделемъ!» сказалъ я нашему Карлу Ѳедоровичу, а онъ въ отвѣтъ: «Почемъ знать, братецъ, можетъ быть хо-

зяинъ кареты и пуделя смотритъ, откуда нибудь, изъза угла или въ окно! Услужливость не мѣшаетъ!»

«Да ужъ воля ваша, а съ Карломъ Ѳедоровичемъ случилось что нибудь необыкновенное,» сказалъ Пѣвцовъ. «Что онъ готовъ кланяться сапогу сильнаго человѣка, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но поклониться врагу!! О! это ужъ значитъ что нибудь преважное!»

«Видно, его порядочно пристукнули, такъ онъ и раскисъ», сказалъ Пѣтушковъ. «Нашего брата брось, такъ выйдетъ рикошетъ, по математическому закону, что уголъ впаденія равенъ углу отраженія; а ударь объ полъ картофель—брызнетъ мякотью! Вотъ почему на насъ отразилась *мягкость* Карла Ѳедоровича. А между тѣмъ, господа, просимъ, въ честь нашего повышенія, позавтракать на нашъ счетъ!»

«Вотъ это лучшій экстрактъ изъ дѣла!» сказалъ одинъ чиновникъ — и всѣ они дружно и весело пошли въ трактиръ.

—

V.

ПРІѢЗДЪ ВЪ СТОЛИЦУ ЛЮБИМЦА СЧАСТЬЯ.

Здѣсь не мѣсто взвѣшивать заслуги Князя Потемкина-Таврическаго, но во всякомъ случаѣ мы должны сказать, что полученныя имъ награды превышаютъ все, что когда либо частный человѣкъ пріобрѣлъ отъ мило-

сти Государя. Даже самые льстецы, восхвалявшіе Князя Потемкина при жизни, истощивъ все свое краснорѣчіе на превознесеніе его мудрости, мужества, добродѣтелей и красоты, называли его «сыномъ и любимцемъ счастья». Слава Румянцова и Суворова меркла въ лучахъ счастья, озарявшаго своего любимца. Великая Екатерина, въ лицѣ Князя Потемкина, награждала собственную свою мудрость въ дѣлахъ политики и государственнаго управленія и великіе подвиги своего дивнаго воинства. Князь Потемкинъ не управлялъ отдѣльно ни какою частью, но все было ему подчинено, и онъ имѣлъ право вездѣ приказывать и требовать отчета. Никто въ цѣлой Имперіи не осмѣливался ослушаться его. Богатство его было неисчерпаемо, потому что онъ издерживалъ столько денегъ, сколько ему вздумалось, не отдавая никому отчета. Счастье или несчастье человѣка зависѣло отъ его слова, взгляда, прихоти...

И такъ, мудрено ли, что вся Россія была въ волненіи, когда онъ возвращался изъ Яссъ въ Петербургъ, въ Февралѣ 1791 года? Жители городовъ и селеній выходили къ нему навстрѣчу, съ хлѣбомъ и солью. Всѣ чиновники являлись къ нему, какъ къ начальнику. Почетные караулы ждали его на всѣхъ ночлегахъ, и каждый день встрѣчалъ Князя Потемкина курьеръ изъ Петербурга, чтобъ спросить, отъ имени Государыни, о его здоровьѣ. Тысячи людей согнаны были на Московскую дорогу, для ея починки. Передъ Петербургомъ, на нѣсколько верстъ, дорога была освѣщена и украшена транспарантами. Князь Потемкинъ прибылъ къ заставѣ вечеромъ 11-го Марта. Здѣсь встрѣтили его важ-

нѣйшіе государственные сановники и дежурный генералъ-адъютантъ. Свѣтлѣйшій пересѣлъ въ придворную раззолоченую карету, въ восемь лошадей, цугомъ, и сопровождаемый взводомъ кавалергардовъ и всѣми генералами, поѣхалъ въ Зимній Дворецъ, въ назначенныя для него комнаты; толпы народа стояли по обѣимъ сторонамъ улицъ, и привѣтствовали его радостными восклицаніями. Въ комнатахъ встрѣтилъ Князя Потемкина другой генералъ-адъютантъ, поздравилъ отъ имени Государыни съ благополучнымъ пріѣздомъ, и объявилъ, что Императрица желаетъ его принять на другое утро, въ торжественной аудіенціи.

На другое утро, едва Свѣтлѣйшій проснулся, къ нему принесли, отъ имени Императрицы, полный гусарскій мундиръ, украшенный, вмѣсто шитья, крупными алмазами и оцѣненный въ шестьдесятъ тысячъ рублей, а на мелочные расходы доставлено сто тысячъ рублей золотомъ. Мы говоримъ *о тогдашнихъ* рубляхъ, что по нынѣшнимъ цѣнамъ составитъ болѣе полумилліона рублей ассигнаціями. Въ одиннадцать часовъ утра Князь Потемкинъ появился въ тронной залѣ, среди государственныхъ сановниковъ, придворныхъ чиновъ и дипломатическаго корпуса, допущенъ къ рукѣ Императрицы, и удостоился привѣтствія ея въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. Екатерина назвала его «опорою Русской славы!»

Возвратясь во внутреннія комнаты, Государыня позволила Князю Потемкину слѣдовать за собою, и призвала туда же Графа Безбородко. Князь Потемкинъ возвратился изъ арміи въ Петербургъ для того только,

чтобъ убѣдить Государыню къ продолженію войны съ Турціею, вопреки желанію всѣхъ Европейскихъ Дворовъ, хотѣлъ изложить Императрицѣ положеніе дѣлъ и выгоды отъ войны; но Государыня ласково прервала его и сказала: «Я хочу забыть на время всѣ дѣла, чтобъ заняться угощеніемъ моего дорогаго гостя, покорителя Измаила и Очакова!»

Какъ ни лестенъ былъ пріемъ, сдѣланный Князю Потемкину, какъ ни милостивы были слова Государыни, но проницательный Князь видѣлъ ясно, что партія, желавшая мира, превозмогла, и что его хотятъ усыпить увеселеніями. Онъ чувствовалъ уже, что всемогущество его нашло препону, и возвратясь въ свои комнаты, подвязалъ щеку платкомъ и сказалъ царедворцамъ, что у него болитъ *зубъ*, и что онъ до тѣхъ поръ не будетъ спокоенъ, пока не вырветъ этого злаго зуба. Всѣ поняли намекъ на Графа Зубова...

Вельможи и царедворцы недоумѣвали, которому солнцу кланяться, восходящему или заходящему, чувствуя, что уже воля Князя Потемкина не есть общій законъ. Но постигнувъ намѣреніе Государыни, увеселеніями и пирами отвлечь Князя отъ дѣлъ, вельможи наперерывъ другъ передъ другомъ старались блеснуть роскошью и богатствомъ, въ угощеніи Свѣтлѣйшаго, и въ Петербургѣ ничѣмъ не занимались, какъ только балами и пиршествами. Князь Потемкинъ хотя скучалъ этимъ невольнымъ разсѣяніемъ, но не могъ отказываться отъ приглашеній, потому что снисхожденіемъ своимъ надѣялся составить себѣ сильную партію противъ человѣка, котораго онъ

ночиталъ своимъ совмѣстникомъ, и не хотѣлъ противиться волѣ Государыни, принимавшей участіе въ большей части праздниковъ, которые вельможи давали въ честь его. Между тѣмъ, хотя важныя дѣла государственныя шли своимъ обыкновеннымъ порядкомъ, но въ частностяхъ и въ канцелярскомъ производствѣ случились нѣкоторыя уклоненія, потому что высшіе чиновники, озабоченные и измученные ежедневными увеселеніями, не могли внимательно наблюдать сами за всѣмъ, и должны были положиться на дѣлопроизводителей и секретарей. Для дѣльцовъ, интригантовъ и ростовщиковъ наступила обильная жатва. Купцы и подрядчики богатѣли, огромныя дворянскія имущества обременялись долгами. Ловкіе чиновники шагали быстро на высшія мѣста, подьячіе ныряли по карманамъ просителей. Этотъ порядокъ дѣлъ продолжался около трехъ мѣсяцовъ сряду.

Князь Петръ Андреевичъ Камышенскій, увлеченный вихремъ свѣтскихъ наслажденій, не заботился о дѣлахъ, и долженъ былъ забыть о плутовствѣ своего экзекутора, имѣя въ немъ нужду. Деньги, взятыя взаймы у откупщика, уже были издержаны, и онъ, послѣ рѣшенія дѣла въ его пользу, отказалъ въ новомъ займѣ. Надлежало снова прибѣгнуть къ экзекутору.

Карла Ѳедоровича Циттербейна бросило въ лихорадку, когда его позвали къ Князю, чрезъ двѣ недѣли послѣ послѣдней сцены. Князь вскочилъ съ креселъ, когда Карлъ Ѳедоровичъ вошелъ въ двери, и опершись руками на его плечи, сказалъ: «Спасай, братецъ... денегъ, денегъ!»

«Ваше сіятельство! Я бѣдный, раззоренный человѣкъ, а теперь, кромѣ того, лишился всякаго кредита вашею немилостью! Откуда мнѣ взять денегъ?.. Я уже пересталъ думать о всемъ земномъ, и готовлюсь къ смерти... Вы убили меня гнѣвомъ вашимъ, сіятельный Князь!»

«Полно вздоръ молоть!» сказалъ Князь: «я на тебя вовсе не гнѣваюсь... достань только денегъ!....»

«Но откуда, ваше сіятельство?»

«Изъ-подъ земли, изъ ада, изъ глубины моря... Займи у чорта... продай душу... но мнѣ нужны деньги, во что бы ни стало!....»

«Ваше сіятельство! Всѣмъ извѣстно, какъ вы обошлись со мною. Не знаю, кто разсказалъ это въ канцеляріи... вашъ ли камердинеръ или какой нибудь чиновникъ, который въ это время вошелъ въ переднюю...но я обезчещенъ, лишенъ всякаго уваженія, не смѣю показать глазъ... теперь только и толковъ, что о свѣтлѣйшемъ Князѣ Григоріи Александровичѣ Потемкинѣ, и тѣ, которые могутъ похвалиться этимъ, что были у него, что говорили съ нимъ, почтены и уважены. Если бъ ваше сіятельство доставили мнѣ случай представиться Свѣтлѣйшему, то ужъ я, хоть бы пришлось подлинно заложить душу, а досталъ бы сколько нибудь.»

«Менѣе пяти тысячъ рублей нельзя... а вотъ тебѣ рука моя, что ты представишься Свѣтлѣйшему!»

«А по скольку процентовъ въ мѣсяцъ, ваше сіятельство?»

«Это ужъ твое дѣло! Давай что хочешь, только чтобъ были деньги.»

«Постараемся, ваше сіятельство!»

«Ну, ступай, любезный, а я тебя награжу!... Ступай, ступай!»

Карлъ Ѳедоровичъ, вышедъ въ сѣни, вздохнулъ свободно и спускаясь по лѣстницѣ, встрѣтилъ Пѣтушкова, Пѣвцова, Глазова, Перепеченку и Искрина, которые дружною толпою шли въ канцелярію. Экзекуторъ пріосанился, поднялъ голову, поправилъ треугольную шляпу и, взявшись лѣвою рукою за ефесъ своей шпаги, заступилъ имъ дорогу.

«Какъ вы смѣете отлучаться изъ канцеляріи въ часы, назначенные для работы?» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ грозно. Чиновники съ изумленіемъ посмотрѣли другъ на друга. За нѣсколько дней передъ симъ, экзекуторъ былъ такъ тихъ, смиренъ и низкопоклоненъ, и эта внезапная перемѣна удивила ихъ.

«Мы ходили взглянуть на слона, котораго вели изъ новаго Таврическаго Сада на Волынскій Дворъ,» сказалъ Искринъ.

«Какъ вы смѣете отлучаться, говорю я! Сей же часъ доложу Князю! Постойте, молодчики, я васъ проучу порядкомъ! Просидите у меня праздники въ пустой канцеляріи, подъ замкомъ!»

«Потише, потише, Карлъ Ѳедоровичъ! Вы знаете, что имѣете дѣло съ секретаремъ начальника канцеляріи!» сказалъ Пѣтушковъ.

«Сегодня секретарь, а завтра... что Богъ дастъ!!!...» возразилъ экзекуторъ, съ злобною улыбкой.

«Кажется, вамъ не за что сердиться,» примолвилъ Пѣвцовъ насмѣшливо: «вѣдь когда вы намъ такъ вѣж-

ливо кланялись, за нѣсколько дней предъ симъ, когда пришли въ канцелярію объявить наше повышеніе,— мы также отвѣчали вамъ поклонами на поклонъ.»

«Постойте! согнетесь вы въ дугу!» сказалъ съ гнѣвомъ экзекуторъ. «Искринъ, ступай за мною! Сей часъ же писать рапортъ!...» Карлъ Ѳедоровичъ пошелъ въ свою квартиру, ворча про себя: «Вольнодумцы, бунтовщики, насмѣшники! Я васъ проучу!»...

Въ своей квартирѣ онъ остановился нарочно въ столовой, возлѣ дверей своей золовки, и зная, что она принимаетъ участіе въ судьбѣ Искрина, сталъ бранить его громко, чтобъ она слышала, и стращать, что сгонитъ его съ мѣста, за нерадивость и связи съ дурными людьми. Искринъ, равно какъ и его товарищи, догадался, что экзекуторъ снова попалъ въ милость къ Князю. Спорить и отвѣчать грубостью за грубость было бы неблагоразумно, и потому Искринъ рѣшился промолчать. Но Наталія, которая все слышала чрезъ двери, находясь въ комнатѣ своей тетки, горько плакала.

—

VI.

ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ БЕЗНАДЕЖНАГО.

Пообѣдавъ и отдохнувъ спокойно, Карлъ Ѳедоровичъ вышелъ со двора, чтобъ достать денегъ для Князя у знакомыхъ ростовщиковъ. Только въ послѣдней край-

ности, при совершенной невозможности обмануть какого нибудь ростовщика надеждами на большіе проценты, Карлъ Ѳедоровичъ рѣшился дать собственныя деньги, и то съ условіемъ, чтобъ ему позволено было выплачивать себѣ изъ экстренныхъ канцелярскихъ суммъ. Зная жадность ростовщиковъ, Карлъ Ѳедоровичъ не сомнѣвался, что успѣетъ провести хотя одного изъ нѣсколькихъ десятковъ. Въ то время ростовщиковъ было множество въ столицѣ, потому что роскошь и пиры почитались принадлежностью знати, а мотовство необходимымъ качествомъ молодаго свѣтскаго человѣка. Но за то счастливый, неожиданный случай доставлялъ нечаянно огромное состояніе, и всѣ отъ того мотали, что надѣялись разбогатѣть или собственнымъ счастіемъ, или счастіемъ своихъ родныхъ. Племянничество (népotisme) было тогда въ полной силѣ. Въ наше время, мы такъ взыскательны и такъ наклонны къ порицанію, что каждое, даже незначительное злоупотребленіе, неизбѣжное въ человѣческомъ обществѣ, заставляетъ насъ вопить и жаловаться. А тогда, каждое мѣсто приносило извѣстные доходы. Дворянство то раззорялось, то снова богатѣло, посредствомъ связей съ случайными людьми. Это была лоттерея! Но болѣе прочихъ богатѣли подьячіе, ростовщики и откупщики, какъ мы уже намекнули, дѣлясь прибылями съ своими покровителями. Подьячіе и ростовщики были то же въ обществѣ, что акулы въ морѣ — глотали съ жадностію всякую добычу, и жирѣли на счетъ другихъ.

Искринъ караулилъ за угломъ Карла Ѳедоровича, и

лишь только онъ вышелъ со двора, онъ побѣжалъ къ его дамамъ.

Наталья вскрикнула, увидѣвъ его. Онъ былъ блѣденъ, и лицо его выражало сильное безпокойство.

«Что съ тобою, другъ мой, Александръ Андреевичъ!» сказала добрая Марья Прохоровна, осѣнивъ его крестомъ: «не боленъ ли ты?»

Наталья взяла его за руку и сказала нѣжно: «Мнѣ страшно, Александръ!»

«Вы слышали, какъ обходится со мною Карлъ Ѳедоровичъ! Только для тебя, для одной тебя, милая Наталья Карловна, переношу я это униженіе, всѣ эти несправедливости... Но, душа моя не можетъ долѣе выдержать... сердце разрывается на части, и на меня находитъ отчаяніе! Никогда онъ не согласится выдать тебя за меня замужъ... Отецъ твой обходится со мною, какъ съ какимъ нибудь лакеемъ!... Я не хочу болѣе служить подъ его начальствомъ... Да мнѣ и ждать нечего, вообще, въ штатской службѣ. Пойду въ военную! Весною откроется война съ Турками... или панъ или пропалъ!...»

«Ты хочешь моей смерти!» сказала Наталья, со слезами на глазахъ.

«Нѣтъ, хочу отличиться, сдѣлаться достойнымъ руки твоей, и когда Богъ мнѣ поможетъ и сохранитъ, пріѣду свататься съ письмомъ Свѣтлѣйшаго. Онъ любитъ храбрыхъ людей, и я, вмѣсто всѣхъ наградъ, выпрошу, чтобъ онъ былъ моимъ сватомъ...» Наталья заплакала.

«Что съ тобою, Александръ Андреевичъ!» возразила Марья Прохоровна. «Да развѣ ты забылъ, что матушка

твоя запретила тебѣ вступать въ военную службу? Неужели не уважишь ея воли?»

«Матушка не предвидѣла моей участи! Она боялась меня лишиться; но она уже на томъ свѣтѣ, и чѣмъ скорѣе мы соединимся съ нею за могилою, тѣмъ лучше!»

«Ты не любишь меня, Александръ!» сказала Наталья, всхлипывая: «Нѣтъ, ты не любишь меня! Если бъ любилъ, ты вспомнилъ бы, что оставляешь меня!...»

Искринъ цѣловалъ руки Натальи и Марьи Прохоровны, и самъ плакалъ.

«Но что мнѣ дѣлать!» сказалъ онъ. «У меня нѣтъ ни какой надежды къ возвышенію, къ пріобрѣтенію милости и покровительства какого нибудь вельможи, а вы знаете, что при моей бѣдности, только этимъ можно пріобрѣсть вниманіе Карла Ѳедоровича. Вѣдь онъ потому только хотѣлъ выдать тебя, Наталья Карловна, за Швернодера, что онъ обѣдалъ однажды у Князя Потемкина!»

«Такъ неужели и тебѣ нельзя добиться до этого великаго блаженства?» сказала Наталья.

«Помилуй, Наталья Карловна! Да какъ? чрезъ кого? за что? Вѣдь это величайшая честь, какой можетъ удостоиться чиновникъ!» возразилъ Искринъ.

«Эхъ, другъ мой, Александръ Андреевичъ! Какъ тебѣ все кажется мудренымъ! Третьяго дня навѣстила меня старая пріятельница Акулина Ивановна: она разсказала мнѣ, что племянникъ ея, Костровъ, былъ позванъ къ обѣду Свѣтлѣйшаго, за то только, что поднесъ ему переводъ какой-то книжицы!»

«Бездѣлица! Переводъ Гомеровой Иліады!» сказалъ горестно Искринъ.

«А тотъ-то стихотворецъ, о которомъ разсказывалъ покойный твой отецъ... какъ бишь его... ну тотъ, котораго Свѣтлѣйшій возилъ съ собою на войну?...» сказала Марья Прохоровна: «вѣдь и онъ обѣдывалъ за княжескимъ столомъ!»

«Да это Петровъ, первый нашъ поэтъ!» возразилъ Искринъ.

«А Гаврило Романовичъ Державинъ, котораго я знала еще, когда онъ былъ поручикомъ,» примолвила Марья Прохоровна: «смотри-ка, за стишки вышелъ въ люди, извѣстенъ самой Государынѣ!»

«Это геній!» сказалъ Искринъ.

«И, полно, батюшка Александръ Андреевичъ! Не боги горшки лепятъ!» возразила Марья Прохоровна. «Ты намъ приносишь читать такіе хорошенькіе стишки, такъ неужели и самъ не сложишь!...»

Наталья положила руку на плечо Искрину, и смотря на него нѣжно, примолвила: «Я увѣрена, что ты все сдѣлаешь прекрасно, за что ни возьмешься. Попробуй, другъ мой, Александръ!.. не отчаявайся, и по крайней мѣрѣ подожди и не торопись вступать въ военную службу. Торопиться нечего... я готова ждать сколько тебѣ угодно,» прибавила она, съ милою улыбкою.

Искринъ задумался и вдругъ вскочилъ со стула, ударилъ себя рукою по лбу и сказалъ: «Женщины, женщины! Самъ Богъ надѣлилъ васъ неисповѣдимымъ чувствомъ проницанія и инстинктомъ дальновидности! По-

слушаюсь васъ и попробую! Прощайте, добрая Марья Прохоровна! Прощай, милая Наталья Карловна! Утопающій хватается, говорятъ, за бритву, а мнѣ, безнадежному, только и утѣшеніе, что въ вашихъ надеждахъ... Прощайте!»

Искринъ выбѣжалъ поспѣшно на улицу, нанялъ извощика и поскакалъ на Козье Болото, къ Глазову.

—

VII.

ВЗГЛЯДЪ ЗА КУЛИСЫ СЧАСТЬЯ.

Быть можетъ, и были такіе философы, которые не завидовали счастью Князя Григорія Александровича Потемкина, но ужъ, вѣрно, не только вся Россія, но и вся Европа почитала его счастливѣйшимъ человѣкомъ своего времени. Онъ пользовался всѣми возможными благами жизни. Ему тогда былъ пятьдесятъ первый годъ отъ рожденія, но по виду онъ казался въ самомъ полномъ развитіи силъ. Здоровья онъ былъ крѣпкаго, желѣзнаго, и мужественная красота его лица соотвѣтствовала гигантскому росту. Слава, почести, богатства, могущество уже были его собственностью. Казалось, что ему нечего было желать болѣе. Императрица подарила ему новый дворецъ, построенный Ею близъ Смольнаго Монастыря, и прозвала Таврическимъ, въ вѣчное воспоминаніе героя, пріобрѣтшаго

для Россіи Тавриду. Въ этомъ дворцѣ, убранномъ, на счетъ Государыни, съ величайшимъ великолѣпіемъ и вкусомъ, поселился Потемкинъ, и жилъ въ немъ по-царски. Сама Государыня заставляла первыхъ вельможъ своихъ и царедворцевъ преклоняться предъ Потемкинымъ, спрашивая ихъ, при каждомъ свиданіи, были ли они у Таврическаго героя. Съ утра, въ обширныхъ залахъ Таврическаго Дворца было тѣсно отъ людей, пріѣзжавшихъ на поклонъ къ первому лицу въ государствѣ. Счастливъ былъ тотъ, на кого вельможа обращалъ вниманіе, а громогласное приглашеніе къ обѣду и на вечеръ почиталось настоящимъ блаженствомъ. Князь Потемкинъ всегда жилъ роскошно и великолѣпно, но прежнюю его роскошь можно было назвать бѣдностью, въ сравненіи съ нынѣшнею. Онъ показывался въ люди не иначе, какъ въ платьѣ, украшенномъ алмазами, шитомъ жемчугомъ, и всегда былъ окруженъ многочисленною свитою. Когда онъ выѣзжалъ верхомъ, то, въ подражаніе стариннымъ Польскимъ магнатамъ, лошадь его и лошади его флигель-адьютантовъ подкованы были серебряными подковами, нарочно слегка, чтобъ онѣ отпадали и доставались народу. Толпы народа кружились цѣлый день противу крыльца, чтобъ слушать музыку и смотрѣть на всю знать, а Потемкинъ велѣлъ бросать народу деньги или выкатывать бочки съ виномъ и пивомъ. Каждый вечеръ, въ семействахъ разсказывали что нибудь новое о Потемкинѣ, и оканчивали день загадкою: что-то будетъ завтра въ Таврическомъ Дворцѣ? Въ свободные часы, всѣ жители Петербурга имѣли одну прогулку, а именно, вокругъ жили-

ща Князя Потемкина. Издали смотрѣли на флагъ, развѣвавшійся надъ куполомъ дворца, въ знакъ, что Князь дома и принимаетъ. Когда же онъ былъ отозванъ въ гости и флагъ снимался, толпы народа ожидали у крыльца его выѣзда и возвращенія. Князь Потемкинъ, казалось, не могъ насытиться радостями и наслажденіями, жаждалъ ихъ, искалъ, и среди увеселеній выдумывалъ новыя забавы. Всѣ удивлялись этой странной жизни Потемкина, и его непостижимой безпечности, во время столкновенія самыхъ сложныхъ политическихъ событій, когда вся Европа противилась планамъ Россіи — но одна Екатерина Великая понимала Потемкина. Только Она знала, что Потемкинъ не веселится, а ищетъ средствъ усыпить червя честолюбія, грызущаго его сердце.

Князь Потемкинъ не имѣлъ въ жизни друга. Онъ сдѣлалъ много добра людямъ, многихъ облагодѣтельствовалъ, многихъ приковалъ выгодами къ своей судьбѣ, но никого не привязалъ къ себѣ любовью, потому, что сердце покупается только сердцемъ. Даже люди, облагодѣтельствованные имъ, боялись его, и признавая его благодѣянія, предпочитали любить его заочно. Никто не смѣлъ быть съ нимъ откровененъ, будучи убѣжденъ, что онъ никому не вѣритъ и со всѣми неискренъ. Князь Потемкинъ, по несчастью, не видалъ человѣчества въ его природной простотѣ и нравственномъ здоровьѣ. Въ быстромъ переходѣ своемъ отъ ничтожества къ величію, Князь Потемкинъ долженъ былъ изучать человѣчество, такъ сказать, въ больницѣ неисцѣлимыхъ (Hopital des incurables), зачумленныхъ че-

столюбіемъ, корыстолюбіемъ, гордостью, сластолюбіемъ и всѣми пороками интриги и искательства. Все гнулось передъ нимъ, и если кто либо дерзалъ противиться его могуществу, то единственно изъ совмѣстничества, и вооружался не добродѣтелью, а интригою и коварствомъ. Онъ видѣлъ только двѣ крайности въ людяхъ: лесть и злобу, низость и упорство, и не могъ ни любить, ни уважать человѣчества. Сердце его кружилось въ свѣтѣ одиноко, какъ планета въ неизмѣримомъ пространствѣ, и обращалось только къ солнцу, отъ котораго заимствовало свѣтъ, теплоту и силу.

Бываютъ въ жизни минуты, въ которыя слава, могущество, богатство и всѣ блага земныя въ тягость человѣку. Въ эти минуты, человѣкъ отдалъ бы милліоны за одну слезу состраданія, за одинъ вздохъ соучастія, за одно искреннее слово! Но безъ довѣренности, безъ любви къ людямъ, нѣтъ утѣшенія въ горестяхъ. Золото, драгоцѣнные камни, почести, могущество не согрѣютъ сердца, когда оно начинаетъ мерзнуть отъ пресыщенія земными благами...

Князь Потемкинъ уже пресытился ими. Одно желаніе еще оживляло его душу — и тутъ встрѣтилъ онъ препятствіе. Первое препятствіе послѣ всегдашнихъ, привычныхъ успѣховъ тѣмъ тяжеле, что одно мгновеніе разрушаетъ очарованіе цѣлой жизни. Князь томился скукою на балахъ, притворяясь веселымъ, отправлялся на пиршества, принуждая себя, и среди всѣхъ признаковъ величія и могущества чахнулъ душею, чувствуя, что онъ свѣтитъ только заимственнымъ свѣтомъ, и что этотъ свѣтъ, хотя свѣтитъ

еще, но уже не грѣетъ. Переговоривъ съ Графомъ Безбородко, Князь Потемкинъ заперся въ своихъ комнатахъ съ утра, и не велѣлъ впускать никого. Наступилъ вечеръ. Князь не призывалъ никого, не спрашивалъ ничего, не обѣдалъ и не выходилъ изъ своей комнаты.—Приближенные его сильно безпокоились. Докторъ ждалъ въ пріемной, вся дворня была на ногахъ, экипажи заложены. Но когда надежда уже вовсе померкнетъ, послѣдній лучъ ея, для спасенія несчастнаго отъ отчаянія, отражается на него изъ сердца женщины!

Потемкинъ болѣе всего въ мірѣ любилъ женщинъ, но онъ любилъ ихъ по-Юпитеровски (à la Jupiter). Онъ уничтожалъ женщину, подобно Семелѣ, являясь во всемъ своемъ могуществѣ, или убивалъ золотымъ дождемъ, какъ Данаю. Домашнюю, внутреннюю свиту Потемкина составляли женщины. Иногда онѣ имѣли надъ нимъ необыкновенную силу, иногда были его рабынями Все зависѣло отъ расположенія духа, отъ капризовъ Князя.

Около семи часовъ вечера пріѣхала въ Таврическій Дворецъ Графиня Уральская, которую Князь Потемкинъ называлъ другомъ, любя ея смѣлую, простодушную (naïve) бесѣду и непринужденную веселость. Графиня была молода и прекрасна. Родственная связь позволяла ей быть на короткой ногѣ съ Княземъ. Узнавъ въ пріемной о его положеніи, она смѣло пошла во внутреннія комнаты. Никто не смѣлъ задерживать ее.

Князь Потемкинъ сидѣлъ за столомъ, и забавлялся, разбирая неоправленные драгоцѣнные камни: алмазы,

яхонты, изумруды, опалы, изъ которыхъ онъ раскладывалъ на столѣ разныя фигуры. Это было любимое его занятіе, въ часы досуга или бездѣйствія. Онъ поднялъ глаза, и увидѣвъ Графиню, кивнулъ головою.— «Извините, ваша свѣтлость, что я осмѣлилась нарушить ваше запрещеніе! Я испугалась, думая, что вы нездоровы...»

« Я точно болѣнъ и очень радъ, что ты навѣстила меня. Вотъ тебѣ за это! Держи платокъ!»

«Помилуйте, Князь! на что это!»

«Держи платокъ, говорю я тебѣ!»

Графиня должна была повиноваться, и Князь смелъ рукою въ платокъ всѣ драгоцѣнные камни, тысячъ на пятьдесятъ рублей. Графиня хотѣла благодарить, но Князь далъ знать, чтобъ она молчала, и указывая ей мѣсто, въ углу софы, сказалъ: «садись!»

« Если вы нездоровы, то не лучше ли посовѣтоваться съ докторомъ? Онъ здѣсь!» сказала Графиня.

«На мою болѣзнь есть въ мірѣ одно лекарство, но оно уже мнѣ недоступно!» отвѣчалъ Князь, тяжело вздохнувъ. «Вотъ здѣсь болитъ, понимаешь!» примолвилъ Князь, указывая на сердце. Князь оперся локтями на столъ и закрылъ лицо руками.

«Вамъ ли грустить, Князь? Чего вамъ не достаетъ? Всѣ завидуютъ вашему счастью!»

«То-то и худо, что завидуютъ! Зависть успѣла оклеветать меня! Распустили сперва слухи, что я хочу быть Польскимъ Королемъ; потомъ стали увѣрять, что я хочу завоевать Молдавію и Валахію для себя, и сдѣлаться

независимымъ государемъ. Нашлись даже такіе, которые утверждаютъ, что я хочу выгнать Турокъ изъ Константинополя, и вѣнчаться Греческимъ Императоромъ! Какъ эти толки ни нелѣпы, однако жъ очевидно, что не хотятъ продолжать войны съ Турками... что желаютъ мира... хотятъ отнять у меня армію... и въ какое время? тогда, какъ у меня все созрѣло, чтобъ нанести послѣдній ударъ дряхлой Портѣ, оглушенной паденіемъ Измаила и Очакова, ослабленной покореніемъ Крыма!... Теперь избѣгаютъ даже случая говорить объ этомъ, забываютъ все прошлое.»

«Не забываютъ, Князь, когда намѣрены при жизни вашей поставить вамъ памятникъ, предъ вашимъ дворцемъ. До того еще никто не дожилъ!»

«Я не хочу этого и ни за что не соглашусь! Я просилъ, чтобъ въ память заслугъ моихъ положили, хотя простой камень, въ Царскомъ Селѣ, въ виду Чесменскаго памятника... Мнѣ на это не отвѣчали... Вижу, что мнѣ пора умирать!!.. Я скоро умру, другъ мой!...»

Графиня прослезилась, приблизилась къ Князю, и стала цѣловать руки своего родственника, говоря: «Вы приводите меня въ ужасъ! Вамъ еще долго жить, и вы должны жить для славы, для пользы Россіи!»

«Ужъ я болѣе не могу ничего сдѣлать!» сказалъ Князь. «Я плохой исполнитель чужой воли. У меня для этого не достаетъ ни силъ, ни характера. Тогда только я могу дѣйствовать сильно и неутомимо, когда исполняю мой собственный вымыселъ, мою волю... я не гожусь въ капралы!»

«Но помните ли, Князь, что говорилъ Безбородко? Недостатокъ въ деньгахъ, опасность со стороны Швеціи, дѣла Польскія мѣшаютъ продолжать войну съ Турціей...»

«Пустое! я бы все уладилъ! Голландцы далибы мнѣ денегъ, со Шведомъ легко помириться, а Польша — трупъ; взвали на плечи, да и неси куда угодно... Не то, другъ мой, не то!... Меня ужъ не надобно! Я слишкомъ высоко взлѣзъ... пора въ могилу!...»

«Ради Бога, выбросьте эти мысли изъ головы! Это ужасно!...»

«Ужасно умирать въ молодости, среди надеждъ и желаній—а мнѣ нечего болѣе желать и надѣяться. Я все испыталъ, всѣмъ пресытился и наконецъ все мнѣ опротивѣло... Пора, пора въ могилу!»

«А мы, друзья ваши, ваши приверженцы, преданные вамъ душею, неужели не заслуживаемъ, чтобъ вы подумали объ насъ!... Я не переживу васъ!» Графиня заплакала, но Князь не тронулся.

«Поплачешь и утѣшишься,» сказалъ онъ хладнокровно.

«Я не заслужила такого презрѣнія!» возразила Графиня, всхлипывая.

«Ну, полно, не сердись!» сказалъ Князь, поцѣловавъ Графиню въ лобъ: «я люблю тебя и не забуду о тебѣ.»

«Живите и наслаждайтесь славою и любовью облагодѣтельствованныхъ вами! Вамъ уже ничего не нужно болѣе, чтобъ быть счастливымъ!»

«Ничего, кромѣ счастья!» отвѣчалъ Князь съ горькою улыбкой. «Ты дитя, и не понимаешь, что такое счастье. Кто былъ первымъ и имѣлъ неограниченную волю, тотъ уже не можетъ быть счастливъ иначе...»

«Но развѣ вы не первый, развѣ вамъ здѣсь не все повинуется? Васъ честятъ здѣсь, какъ иностраннаго государя, пріѣхавшаго въ гости; всѣ вельможи въ вашей пріемной...»

«Другъ мой, ты не понимаешь, что это погребальный парадъ!... Но они не должны знать этого, эти черви! Гей!» Князь захлопалъ въ ладоши, и явился камердинеръ. «Чтобъ ужинъ былъ готовъ на пятьдесятъ кувертовъ. Музыку, два хора пѣсенниковъ!... Вотъ на этомъ столикѣ списокъ, кого пригласить... Пошли сейчасъ курьеровъ... а мнѣ приготовь алмазный гусарскій мундиръ! Ты другъ мой,» примолвилъ Князь, обращаясь къ Графинѣ, «поѣзжай домой и переодѣнься въ мой любимый алый цвѣтъ, который тебѣ такъ къ лицу... Прощай!»

Поцѣловавъ Графиню въ лице, онъ отпустилъ ее, и велѣлъ впустить всѣхъ ожидавшихъ его въ пріемной. Ввалилась цѣлая толпа, въ шитыхъ кафтанахъ, въ мундирахъ, и Князь, развалясь на диванѣ, въ халатѣ принималъ привѣтствія, изъявленія благодарности или слушалъ просьбы, и казался необыкновенно веселымъ.

—

VIII.

ОДА.

Глазовъ лежалъ на кровати, окутавъ голову плащемъ, чтобъ не слышать шуму и стуку, потому что хозяинъ его, слесарь, поперемѣнно то колотилъ молотомъ по наковальнѣ, то пилилъ тупымъ терпугомъ, такъ что эти нестройные звуки разогнали даже кошекъ съ кровли и собакъ со двора. Искринъ подошелъ къ кровати, и дернулъ Глазова за ногу. Этотъ открылъ лице, Искринъ поздоровался съ нимъ, но онъ не могъ слышать словъ его. Глазовъ подозвалъ къ себѣ Искрина, и прокричалъ ему на ухо: «Если ты хочешь поговорить со мною, ступай къ хозяину, и дай ему на водку. Онъ пойдетъ въ питейный домъ, и оставитъ насъ въ покоѣ.» Искринъ такъ и сдѣлалъ. Слесарь, схватилъ гривенникъ, пустился, со всѣхъ ногъ, бѣжать изъ дому.

«Ну, что скажешь новаго? Что твой Карлъ Ѳедоровичъ? Все еще на вершинѣ блаженства!» сказалъ шутливо Глазовъ.

«Не въ томъ дѣло, братецъ! я пришелъ просить твоей помощи и совѣта. Я хочу писать стихи....»

«Ну что жъ, въ добрый часъ, если тебѣ нечего дѣлать!.. Вѣрно любовные?»

«Нѣтъ! торжественную оду!»

«Вотъ куда ты летишь! Кому же?»

«Разумѣется, Свѣтлѣйшему Князю Потемкину.... Кому же болѣе писать оды!... Пособи, другъ, дай совѣтъ, какъ начать, съ чего, и что сказать. Ужъ риѳмы-то подберемъ кое-какъ!»

«Я долженъ тебя предувѣдомить, что я вообще терпѣть не могу торжественныхъ одъ, не люблю даже одъ Ломоносова, а этого черстваго Петрова, который, то сжимается, то растягивается въ словахъ, для мѣры, хвалитъ безъ мѣры и раздувается, какъ индѣйскій пѣтухъ — этого хваленаго Петрова, я жестокій врагъ! Впрочемъ, по моему мнѣнію, это самый легкій родъ стиҳотвореній, если писать такъ, какъ у насъ пишутъ, потому здѣсь менѣе всего требуется здраваго смысла. Только бъ гремѣло—и довольно! Набери поболѣе звучныхъ словъ, сгони всѣхъ боговъ и полубоговъ съ Олимпа на барщину, выдумай нѣсколько гиперболъ и чудовищныхъ картинъ—и на подножіи, составленномъ изъ всей этой нелѣпости, поставь твоего кумира, превыше облака ходячего—вотъ-те и торжественная ода!»

«Ты шутишь, а мнѣ не до шутокъ! мнѣ плакать хочется! Ты узнаешь все послѣ, а на первый случай скажу тебѣ, что я пишу по неволѣ, и что это единственное, послѣднее средство къ моему спасенію! Пожалуйста, скажи, какъ мнѣ приняться за это дѣло?

«Начинай, разумѣется, словомъ: *Пою*, или *звуками лиры и тимпановъ* — это необходимое условіе торжественной оды, на Русскій ладъ. Потомъ призови Аврору *съ багряными перстами*, да освѣтитъ вселенную на торжество героя, и воскликни: *Ликуй, ликуй!* А рѳ-

мами стучи, какъ въ барабанъ! Право, тутъ не надъ чѣмъ ломать головы! Но если ты хочешь написать что нибудь порядочное, то совѣтую тебѣ, безъ обиняковъ, передѣлать какую нибудь Горацiянскую оду.»

«Вотъ это было бы, кажется, лучше,» сказалъ Искринъ: да ты знаешь, что я не понимаю по-латыни...»

«Ну, въ этомъ я тебѣ пособлю. Скажи только, какъ ты хочешь изобразить своего героя. Разумѣется, что ты играешь здѣсь роль бѣднаго поэта, слѣдовательно тебѣ нуженъ Меценатъ. Ну, вотъ тебѣ ода къ Меценату:

«Mecenas atavis edite regibus,
O et praesidium et dulce decus meum...»

Тутъ была бы славная риѳма: *Меценатъ* и добродѣтелями *богатъ*... Но бѣда въ томъ, что тебѣ нельзя такъ фамиліяриться съ Свѣтлѣйшимъ, какъ фамиліярился Горацій съ первымъ владыкою Рима и полусвѣта! Но вотъ ода, какъ будто нарочно для тебя написанная!» Глазовъ подошелъ къ полкѣ, снялъ Горація, и развернувъ книгу, сталъ читать оду къ Августу:

«Quem virum aut heroa lyra, vel acri
Tibia, sumis celebrare, Clio?
Quem Deum? cuius recinet jocosa
Nomen imago.»

Это, братецъ, чудесная ода. Поэтъ спрашиваетъ у Музы, какого героя или полубога воспѣть ему и какимъ стихомъ. Перебираетъ всѣхъ боговъ Олимпа и всѣхъ героевъ Рима, и наконецъ, переходя къ Августу, превозноситъ его до небесъ, не прямо однако жъ, а въ молитвѣ къ Юпитеру, чтобъ Августъ не имѣлъ себѣ равнаго и одинъ господствовалъ на землѣ. Вотъ что

именно надобно Свѣтлѣйшему, и чего ему хочется: чтобъ не имѣть равнаго на землѣ; лучшаго содержанія для оды не выдумаешь, а вся сила въ томъ, чтобъ раздробить мысли въ стихи, разложить на строфы и завязать риѳмами. Подожди-ка, я напишу тебѣ полное содержаніе тѣхъ строфъ, которыя ты долженъ передѣлать по своему, то есть обрусить. Вѣрь, братецъ, что всѣ наши торжественные пѣвцы обвѣшаны Горацiанскими и Виргилiевскими лохмотьями!... Пока я буду писать, ты сходи, братъ, въ трактиръ, и принеси мнѣ выпить и закусить чего нибудь. Вотъ уже вечеръ, а я съ утра ничего во рту не имѣлъ. Въ карманахъ пусто, какъ въ головѣ торжественныхъ пѣвцовъ...»

Искринъ пошелъ приготовить ужинъ для голоднаго Глазова, а тотъ засѣлъ за работу.

Когда Искринъ возвратился съ ужиномъ для Глазова, планъ оды былъ уже готовъ.

«Знаешь ли, что мнѣ пришло въ голову, Никита Ѳедоровичъ!» сказалъ Искринъ. «Не лучше ли было бы, если я написалъ къ Свѣтлѣйшему посланіе, въ родѣ стихотворенія Державина: *къ Фелицѣ?*»

«Сохрани тебя Богъ и помилуй!» отвѣчалъ Глазовъ. «Да тебѣ не будетъ мѣста на бѣломъ свѣтѣ! Вѣдь Державина чудь не заклевали! Что ты это, братецъ, въ своемъ ли умѣ? Знаешь ли, что въ цѣломъ мірѣ одной только *Екатеринѣ* можно сказать то, что высказалъ Державинъ! Она одна поняла его и оцѣнила! Это стихотвореніе есть жестокая сатира на современныхъ людей. Если бъ Государыня не защитила Державина, онъ

давно бы уже ловилъ соболей! Нѣтъ, братъ, не берись за это—сгибнешь, какъ муха. Свѣтлѣйшему надобны такіе поэты, какъ его Петровъ, котораго онъ водитъ за собою вездѣ, какъ доморощенаго пегаса. Для курьёзу, я списалъ нѣсколько одъ его.» Глазовъ вынулъ изъ столоваго ящика тетрадь и сказалъ: «Посмотри, братецъ, вотъ образцикъ, какъ должно писать къ Свѣтлѣйшему:

«Возстани, муза! пѣть достоитъ
Вождя возлюбленна тебѣ,
Кой тысячамъ блаженство строитъ,
Живъ поздно роду, не себѣ.»

Каково? а вотъ эти строфы напримѣръ:

«Честить пѣвца Троянской брани
Былъ, пишутъ, Александра вкусъ:
Какъ сотъ Потемкина гортани
Твой стихъ, великій отче музъ.»

Слышишь ли? стихи Гомера такъ сладки, какъ сотъ гортани Потемкина, то есть, какъ рѣчь его? А ужъ конецъ, всѣму дѣлу вѣнецъ:

«Не тяжекъ праздныхъ словъ примѣсомъ,
Красотъ по слогѣ онъ (т. е. Потемкинъ) примѣръ;
Когда бъ онъ не былъ Ахиллесомъ,
Всемѣрно былъ бы онъ Гомеръ.»

Видишь ли, если бъ Свѣтлѣйшій не былъ Ахиллесомъ, то былъ бы Гомеромъ! И это принимаютъ за правду, и за это награждаютъ! Вотъ, братецъ, тебѣ мѣрка... Ступай съ Богомъ!»

Искринъ на другой день сказался больнымъ, заперся въ своей комнатѣ, работалъ трое сутокъ ежеминутно, безъ отдыха, посвящая едва нѣсколько часовъ сну,

и на четвертыя сутки, вечеромъ, явился къ Глазову съ одою, въ двадцать двѣ строфы. Прочитавъ оду, Глазовъ сказалъ: «Превосходно! Громко, высокопарно и пелѣно! Здѣсь есть все, что̀ требуется отъ торжественной оды: океанъ *лжи и лести*, капля правды, барабанный бой, трубные звуки до оглушенія, и здравый смыслъ — напзнанку... Предсказываю тебѣ полный успѣхъ!...» Искринъ обнялъ Глазова, и повторилъ просьбу о томъ, чтобъ онъ хранилъ молчаніе.

Два дня употребилъ Искринъ на то, чтобъ переписать оду узорчатымъ почеркомъ, на большомъ александрійскомъ листѣ, и нарисовать лавровые и розовые вѣнки вокругъ. Во всѣ эти дни онъ даже не видался съ Натальей, однако жъ посылалъ къ ней записочки, чрезъ преданнаго ему канцелярскаго сторожа. Послѣдняя его записочка была слѣдующаго содержанія:

«Молись, другъ мой, Наташа! Завтра должна рѣшиться наша участь. Все готово!»

Свернувъ оду свою въ трубку, Искринъ отправился въ Таврическій дворецъ, въ восемь часовъ утра. Онъ приказалъ доложить о себѣ Василію Степановичу Попову и сказать, что онъ не проситель, а пришелъ благодарить за милости. По счастью, Поповъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и не занятъ важною работою, а потому велѣлъ допустить къ себѣ Искрина; но не могъ вспомнить, что онъ же доставилъ молодому человѣку мѣсто, и забылъ даже объ его фамиліи. Пріятный видъ и благородная физіономія Искрина расположили Попова въ его пользу, и онъ съ удовольствіемъ слушалъ изъявленіе его благодарности. Наконецъ, за-

мѣтивъ свитокъ, Василій Степановичъ спросилъ: «это что такое у тебя?»

«Будьте отцемъ, благодѣтелемъ и заступникомъ моимъ, ваше превосходительство, заставьте за себя вѣчно Бога молить! Благоволите представить этотъ мой трудъ Свѣтлѣйшему! Это ода, моего сочиненія!»

«Браво! ты поэтъ... Посмотримъ!» Василій Степановичъ развернулъ листъ и полюбовавшись почеркомъ и рисункомъ, прочелъ нѣсколько строфъ и сказалъ: «очень не дурно!»

«Отецъ мой палъ на полѣ битвы, подъ непосредственнымъ начальствомъ его Свѣтлости, въ глазахъ его, какъ мнѣ говорили, — да позволено будетъ сыну прославить подвиги героя...»

Василій Степановичъ прервалъ рѣчь Искрина. «Посмотримъ, посмотримъ! Поди въ пріемную, помѣстись гдѣ нибудь въ уголкѣ, и жди меня, хотя бы до вечера. Я не знаю, когда Свѣтлѣйшій позоветъ меня, когда отпуститъ, можно ли будетъ представить ему твою оду, то есть, будетъ ли онъ въ духѣ — словомъ, все зависитъ отъ счастья и случая. И мнѣ хочется помочь тебѣ, бѣдняку!»

Искринъ, по тогдашнему обыкновенію, поцѣловалъ въ руку превосходительнаго благодѣтеля, и пошелъ въ пріемную, читая въ умѣ молитвы.

Въ пріемной ждало множество народа: генералы, штабъ и оберъ-офицеры, служащіе и отставные, кто безъ ноги, кто безъ руки, множество женщинъ съ дѣтьми, гражданскіе чиновники, купцы, кто съ бумагою,

кто со слезами на глазахъ. Зала была огромная, но въ ней не было, по тогдашнему обычаю, ни одного стула для просителей. Женщины и колѣки сидѣли на окнахъ, а нѣкоторые даже на полу. Прохаживаться по залѣ и говорить громко было запрещено.

Искринъ провелъ въ ожиданіи цѣлыхъ четыре часа. Наконецъ дверь изъ внутреннихъ комнатъ растворилась, и въ пріемную вошелъ Поповъ, въ полномъ мундирѣ. Всѣ встрепенулись; сердце у Искрина сильно забилось. Онъ выступилъ на три шага впередъ. Поповъ, окинувъ взоромъ собраніе, кивнулъ Искрину, чтобъ онъ къ нему приблизился.

«Поздравляю, братецъ!» сказалъ Василій Степановичъ: «Свѣтлѣйшій милостиво принялъ твою оду, и велѣлъ дать тебѣ... сто рублей!»

«Благодарю покорнѣйше, ваше превосходительство, за милостивое предстательство, и почитаю себя счастливымъ, что трудъ мой принятъ благосклонно... Но, осмѣливаюсь доложить, что денегъ я не возьму!»

«Въ своемъ ли ты умѣ, братецъ...» Но Поповъ не могъ продолжать своей рѣчи; въ это самое время дверь быстро отворилась, и изъ тѣхъ же внутреннихъ комнатъ показалась прелестная женская головка: это была Графиня Уральская, которая сказала громко: «Василій Степановичъ, пожалуйте ко мнѣ!» — и въ ту минуту, когда Поповъ хотѣлъ итти къ Графинѣ, взоръ ея встрѣтился со взоромъ Искрина. Графиня, вмѣсто того, чтобъ ждать Василія Степановича, сама вышла къ нему въ залу, и значительно осмотрѣвъ, съ ногъ до го-

ловы, Искрина, спросила у Попова, по тихоньку: «кто этотъ красавецъ?»

«Поэтъ, ваше сіятельство!» отвѣчалъ Поповъ.

«Я почти угадала!.. у него въ глазахъ пылаетъ божественное пламя... а чего онъ хочетъ?»

«Онъ поднесъ Свѣтлѣйшему оду... Князь велѣлъ выдать ему сто рублей; но онъ не хочетъ брать денегъ!

«Прекрасно!»—Подойдя къ Искрину, Графиня спросила его: «Изъ какого вы званія?»

«Дворянинъ!»

«Чего же вы желаете отъ Свѣтлѣйшаго?»

«Я почелъ бы за величайшее счастіе, если бъ удостоился чести обѣдать за столомъ его Свѣтлости, въ его присутствіи!»

Графиня улыбнулась. «Я постараюсь объ этомъ! Какъ васъ зовутъ?» — Искринъ сказалъ ей имя, отчество и прозваніе.

Графиня, казалось, находила особенное удовольствіе смотрѣть на Искрина и говорить съ нимъ. Но замѣтивъ, что на нее обращены всѣхъ взоры, она удалилась, давъ знакъ Попову, чтобъ онъ за нею слѣдовалъ въ другую комнату, и уходя сказала Искрину: «Ступайте домой и ждите отвѣта... я предстательница ваша у Свѣтлѣйшаго! Надѣйтесь!» — При этомъ словѣ Графиня такъ взглянула на Искрина, что онъ не могъ выдержать ея взгляда, потупилъ взоръ и покраснѣлъ; потомъ низко поклонился и вышелъ.

Вечеромъ онъ нашелъ случай повидаться съ Марьею Прохоровною и Натальею, и разсказалъ имъ все, какъ

было. Покровительство прекрасной Графини не очень понравилось Натальи, и она нѣсколько надулась. Но Искринъ нѣжностью своею истребилъ сѣмена ревности, и они разстались дружно. Искринъ не могъ уснуть всю ночь отъ безпокойства. Ничего нѣтъ хуже въ мірѣ, какъ ждать чего нибудь и надѣяться!

—

IX.

ПРИГЛАШЕНІЕ КЪ ОБѢДУ ВЕЛЬМОЖИ, ХЛОПОТЫ И РЕПЕТИЦІЯ ОБѢДА.

Прошло двое сутокъ отъ подачи оды, и бѣдный Искринъ находился въ лихорадочномъ состояніи, ожидая послѣдствій. Наталья облегчала его страданія своими ласками, а Глазовъ, повѣренный его тайны, утѣшалъ его надеждою, увѣряя, что ода должна нравиться, потому что написана по всѣмъ правиламъ лести, громозвучія и нелѣпости, и что желаніе его исполнится непремѣнно, потому что въ дѣло вмѣшалась женщина. На третій день, на канцелярской лѣстницѣ Искринъ встрѣтилъ ѣздоваго, въ придворной ливреѣ, который спросилъ его, гдѣ экзекуторскій помощникъ, коллежскій секретарь Искринъ. На отвѣтъ его, что это онъ самъ, ѣздовой вручилъ ему пакетъ. Дрожащими руками Искринъ распечаталъ бумагу и прочелъ слѣдующее: «Свѣтлѣйшій Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ приглашаетъ губернскаго секретаря Искрина къ

обѣденному столу, въ среду 22 Апрѣля.» Подписалъ дежурный флигель-адъютантъ Свѣтлѣйшаго. У Искрина въ глазахъ потемнѣло; онъ упалъ бы въ обморокъ, если бъ не прислонился къ стѣнѣ и не испугался, въ то же время, Карла Ѳедоровича, котораго онъ завидѣлъ на верхней галереѣ. Отдавъ послѣдній серебряный рубль ѣздовому, Искринъ, съ пакетомъ въ рукахъ, сбѣжалъ внизъ, чтобъ скрыться отъ Карла Ѳедоровича, который его не замѣтилъ, и спрятавшись за заборомъ, на дворѣ, далъ полную волю своей душѣ. Слезы текли у него градомъ, онъ плакалъ и молился.

Успокоившись, Искринъ пошелъ въ канцелярію, вызвалъ Глазова, объявилъ ему о счастливомъ успѣхѣ своего искательства, и снова просилъ совѣта. Вопросъ былъ важный. Дѣло шло о томъ: скрыть ли предъ всѣми приглашеніе Свѣтлѣйшаго и объявить обо всемъ послѣ обѣда, или разгласить теперь? Глазовъ совѣтовалъ умолчать. «Карлъ Ѳедоровичъ опять въ милости у Князя,» сказалъ онъ: «изъ зависти экзекуторъ можетъ очернить тебя предъ Княземъ и упросить, чтобъ онъ написалъ къ Свѣтлѣйшему, что ты недостоинъ этой чести. Порази ихъ нечаянностью — это вѣрнѣе.» Искринъ призналъ совѣтъ благоразумнымъ.

«Но вотъ новая бѣда!» сказалъ Искринъ: «обѣдъ черезъ три дня, а у меня теперь вышли всѣ деньги—осталось дома едва нѣсколько рублей, между тѣмъ, мнѣ бы хотѣлось появиться къ Свѣтлѣйшему въ приличной одеждѣ. Притомъ же я никогда не бывалъ въ кругу знатныхъ, и мнѣ хотѣлось бы посовѣтоваться съ кѣмъ нибудь, какъ вести себя ловче... Согласись, что

страшное дѣло явиться между этими полубогами!... Надобно непремѣнно открыть тайну мою третьему, который бы могъ мнѣ помочь и посовѣтовать...»

«На все это лучше нашего Перепеченки никого и выдумать нельзя,» сказалъ Глазовъ: «этотъ хохолъ, сущій бѣсъ! Все знаетъ, вездѣ вотрется... а притомъ же, онъ провелъ молодость на барскомъ дворѣ, и насмотрѣлся всего вдоволь,»

«Но можно ли ему повѣрить?»

«Онъ не измѣнитъ, когда дѣло не касается до него, положительно. Я совѣтую тебѣ прибѣгнуть къ Перепеченкѣ.»

Искринъ вызвалъ Перепеченку и показалъ ему приглашеніе къ обѣду, прося помощи и совѣта и обѣщая благодарность.

Перепеченко остолбенѣлъ, двадцать разъ прочелъ приглашеніе, взглянулъ на печать пакета, и осмотрѣвъ нѣсколько разъ Искрина съ ногъ до головы, сказалъ наконецъ, дрожащимъ голосомъ: «Какъ... *вы* (прежде онъ называлъ Искрина *ты*)... будете обѣдать съ Свѣтлѣйшимъ, Александръ Андреевичъ! Господи спаси и помилуй! Приказывайте... Я готовъ на все, что *вамъ* угодно!»

«Во-первыхъ, прошу не называть меня *вы*, во-вторыхъ, достать денегъ взаймы, на приличную одежду, въ-третьихъ дать совѣтъ, какъ вести себя между знатью, а въ-четвертыхъ поклясться, что никому не скажешь о томъ, что я званъ обѣдать къ Свѣтлѣйшему,» сказалъ Искринъ.

«На все готовъ — но послѣднее обстоятельство немножко затруднительно... Вѣдь чтобъ достать денегъ, надобно сказать на что, — кто намъ дастъ денегъ такъ, спроста!»

«Тому, кто дастъ денегъ, ты можешь сказать; но чтобъ изъ канцелярскихъ не зналъ никто!»

«Клянусь!» сказалъ торжественно Перепеченко, поднявъ руку, и примолвилъ: «и такъ пойдемъ же вмѣстѣ доставать денегъ — время дорого!»

Перепеченко повелъ Искрина къ дворецкому Графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, и дорогою разсказалъ, вкратцѣ, исторію человѣка, съ которымъ должно имѣть дѣло. Иванъ Курченко былъ вольный Малороссійскій казакъ, котораго Графъ Кириллъ Григорьевичъ зналъ въ молодости, и взялъ къ себѣ въ дворню, а потомъ, за расторопность, произвелъ въ дворецкіе. На немъ лежала обязанность закупать всѣ припасы къ столу и всѣ вещи на содержаніе дома. Курченко составилъ себѣ огромное состояніе, не обкрадывая, однако жъ, своего барина, но изъ одиихъ подарковъ отъ подрядчиковъ и купцовъ, и процентами, давая деньги взаймы имъ же, въ случаѣ нужды, и торгуя векселями раззоряющихся баричей. Двухъ своихъ племянниковъ помѣстилъ онъ въ службу, выхлопоталъ имъ дворянское свидѣтельство, и они уже были въ штабъ-офицерскихъ чинахъ, прибавивъ къ своей фамиліи окончаніе *овъ*, по обычаю большей части Малороссіянъ, оставляющихъ родину, и непринадлежащихъ къ извѣстнымъ фамиліямъ. Иванъ Курченко, какъ всѣ старые Малороссіяне, былъ чрезвычайно на-

боженъ, необыкновенно грубъ въ обращеніи, и скупъ въ такой степени, какъ только можно быть скупымъ по-Малороссійски. Вездѣ есть скупцы, но нигдѣ нѣтъ такихъ оригинальныхъ, такихъ самостоятельныхъ скупцовъ, какъ между Малороссіянами, и они тѣмъ превосходнѣе, что весьма искусно умѣютъ скрывать свою скупость и богатство, притворною бѣдностью. Они даже обманываютъ сами себя, и отъ привычки лгать, сами вѣрятъ, что на кучахъ золота умираютъ съ голода.

Иванъ Курченко жилъ въ домѣ Графа Кирилла Григорьевича, своего господина (что нынѣ Воспитательный Домъ, у Полицейскаго моста) въ трехъ комнатахъ, порядочно меблированныхъ, потому ни квартира, ни мебели ему ничего не стоили. Но изъ бережливости онъ сдѣлъ дома въ Малороссійскомъ зипунѣ, изъ домашняго холста. Перепеченко назвалъ его *батькою* по старому Малороссійскому обычаю, и изложилъ причину своего прихода, то есть просилъ помочь товарищу, ручаясь за его честность.»

«Присядьте, присядьте!» сказалъ Курченко, и обратясь къ Искрину, спросилъ: « А гдѣ ваша вотчина?»

«У меня нѣтъ вотчины, но я выплачу вамъ изъ жалованья и изъ того, что мнѣ дастъ тетушка.» Искринъ объявилъ о всѣхъ своихъ доходахъ.

Старикъ покачалъ головою, поморщился и спросилъ: «а нѣтъ ли у васъ чего заложить?» Искринъ отвѣчалъ отрицательно.

Старикъ еще пуще сморщился. «Да какъ же мнѣ дать вамъ грошей, коли мнѣ не на что положиться!»

Искринъ вынулъ изъ кармана приглашеніе къ обѣду Свѣтлѣйшаго и сказалъ: «Вы можете спросить, подъ присягою у Перепеченки, что я никогда не занималъ денегъ, и теперь бы не прибѣгнулъ къ этому средству, если бъ не эта бумага, отъ которой я ожидаю благодѣтельныхъ послѣдствій...»

Старикъ взялъ бумагу, надѣлъ очки, прочелъ и устремилъ недовѣрчивые взоры на Искрина: «Обѣдать къ Свѣтлѣйшему! сказалъ онъ: «а кто объ васъ говорилъ Князю?»

«Василій Степановичъ Поповъ и Графиня Уральская!» отвѣчалъ Искринъ.

«Ге, ге, ге! Грахвиня Уральская,» примолвилъ старикъ, лукаво улыбаясь: «Да эдакъ можно далеко уйти! А и много же вамъ надобно денегъ?»

«Я, право, и самъ незнаю: только чтобъ одѣться пристойно!»

«Такъ подите же, сейчасъ, къ портному и въ лавки; примѣрьте платье, шпагу, шляпу, и дайте мнѣ знать, я пошлю своего чиловичка заплатить за все... хе, хе, хе, васъ знаетъ Грахфиня Уральская!»

«Мнѣ надобно, кромѣ того, десятка два рублевиковъ, на разные мелочные расходы.»

«И это получите... справьтесь до вечера и пріѣзжайте!»

Искринъ отъ радости бросился на шею старику, а тотъ смотрѣлъ на него съ сатирическою улыбкою, повторяя безпрестанно: «Ге, ге! о, о! въ милости у Грахфини Уральской! Да еще какой статный дѣтина! Вый-

дешь въ люди, выйдешь, сударикъ!—Съ Богомъ, ступай же за дѣломъ!...»

Простившись со старикомъ, который далъ ему притомъ двадцать рублей серебромъ, подъ расписку, и поблагодаривъ душевно Перепеченку, Искринъ нанялъ извощика, выбралъ все что нужно (тогда у портныхъ всегда были готовые шитые шелковые кафтаны), записалъ адресы портнаго и лавокъ, и отдалъ Перепеченкѣ, и велѣлъ ему явиться завтра въ полдень. На вечеръ Искринъ побѣжалъ къ Натальи, и хотя Карлъ Ѳедоровичъ былъ дома, но его пропустили чрезъ кухню, и Марья Прохоровна заперлась съ любовниками въ своей комнатѣ, напомнивъ имъ, что должно говорить шепотомъ.

Когда Искринъ показалъ дамамъ приглашеніе къ обѣду, онѣ были внѣ себя отъ радости: «А въ доказательство, что я никогда не сомнѣвалась въ твоемъ успѣхѣ,» сказала Наталья: «вотъ тебѣ во что принарядиться!» Она подала ему галстухъ, манишку и манжеты, изъ лучшаго батиста, вышитые ею и обложенные кружевами. Искринъ разцѣловалъ ручки Натальи и подарки, и разсказалъ, что онъ купилъ новую пару платья изъ палеваго гродетура, съ блестками, новую шпагу, шляпу, шелковые чулки... Наталья отъ радости прыгала и хлопала бѣленькими своими ручками. «Пожалуйста, покажись намъ въ шелковомъ нарядѣ, любезный Александръ!»

«Непремѣнно — а между тѣмъ надобно бѣжать отсюда, чтобъ не поймалъ Карлъ Ѳедоровичъ! Прощайте!» Онъ побѣжалъ домой, думая выспаться порядочно, но-

слѣ нѣсколькихъ дней безпокойства; но не тутъ-то было. Радость, мечты и надежды не давали ему уснуть и онъ задремалъ уже утромъ. Стукъ у дверей разбудилъ его. Онъ отперъ, и вошелъ Перепеченко съ незнакомымъ ему человѣкомъ. «Неужели ты спишь до сихъ поръ?» спросилъ Перепеченко.

«Да я только заснулъ утромъ!»

«Но вѣдь уже двѣнадцать часовъ по полуночи!»

«Ахти! заспался — а мнѣ надобно быть у нашего пріятеля.»

«Ничего, поспѣешь,» сказалъ Перепеченко: «а вотъ надобно рѣшить другое важное дѣло! Честь имѣю рекомендовать моего благопріятеля Хведора Ахванасьевича (то есть Ѳедора Аѳанасьевича) Палкина, отставнаго гофъ-фурьера!»

Искринъ, взглянувъ на Палкина, по пурпуровому носу его догадался о причинѣ отставки. «Милости просимъ присѣсть, господа,» сказалъ Искринъ: «а я тотчасъ одѣнусь, за перегородкою.»

Когда Искринъ вышелъ одѣтый, Перепеченко сказалъ: «Я упросилъ Хведора Ахвананьевича показать вамъ всѣ штуки барской церемоніи, которой онъ присмотрѣлся въ теченіе многихъ годовъ. Но для этого намъ должно пообѣдать вмѣстѣ.»

«Очень радъ!» отвѣчалъ Искринъ, «въ которомъ часу вы свободны?»

«Для обѣда во всякое время, хоть бы четырежды въ сутки,» сказалъ Палкинъ.

«И такъ назначьте часъ, и изберите трактиръ.»

«Не угодно ли сегодня въ два часа, въ трактирѣ: *Веселые Острова*, за Аничковымъ Мостомъ?» сказалъ Палкинъ: «прекрасный трактиръ, чудная настойка!»

«Явлюсь непремѣнно; теперь позвольте мнѣ отправиться по дѣламъ,» примолвилъ Искринъ: «старикъ ждетъ меня,» сказалъ онъ Перепеченкѣ.

Курченко точно ждалъ Искрина съ полнымъ нарядомъ. Старый дворецкій былъ глубокій политикъ, насмотрѣвшись на своемъ вѣку на ходъ дѣлъ и на прихотливую игру счастья. Ростъ, красота лица Искрина, юность, скромность и благородные его пріемы предвѣщали многое, при покровительствѣ знатныхъ дамъ, и Курченко охотно рѣшился помочь ему, въ надеждѣ на его будущую блистательную участь. На счетъ честности Искрина Курченко вѣрилъ Перепеченкѣ, зная, что онъ не *смѣетъ* обмануть его, завися отъ него въ половинѣ своего существованія. Итакъ Курченко отдалъ Искрину платье, шпагу, шляпу, башмаки, шелковые чулки, страсовыя пряжки, заставилъ его подписать расписку въ полученіи денегъ, что все это стоило, со включеніемъ процентовъ, впередъ за три мѣсяца, и благословилъ его на обѣдъ Свѣтлѣйшаго.

Отвезя домой узелъ, Искринъ пошелъ въ трактиръ, гдѣ ждали его Перепеченко съ пріятелемъ своимъ.

Столъ былъ уже накрытъ въ особой комнатѣ, на три куверта, рядомъ, передъ стѣннымъ зеркаломъ. Послѣ первыхъ привѣтствій Палкинъ сказалъ Искрину:

«Я насмотрѣлся, вдоволь, на людей большаго свѣта. На нихъ много клевещутъ понапрасну; это самые сниc-

ходительные люди! Они знать не хотятъ ни о твоей нравственности, ни о твоемъ умѣ, ни о твоихъ правилахъ. Дѣлай только угодное имъ, не заступай имъ дороги, придакивай, прислуживайся — а тамъ дѣлай себѣ что угодно. Но если ты попалъ въ ихъ общество, старайся объ одномъ, а именно, чтобъ не показаться смѣшнымъ... Ужъ какъ возьмутъ тебя на зубокъ, то будь ты семи пядей во лбу — прослывешь дуракомъ, и пропалъ! И такъ вы, Александръ Андреевичъ, должны себя вести такъ, чтобъ въ васъ не замѣтно было ни какой странности. Въ нашемъ быту, войдя въ комнату, кланяются на всѣ стороны, но въ барскомъ обществѣ не такъ. Какъ вы не гость, но званый изъ милости, то васъ представятъ Свѣтлѣйшему; поклонитесь ему и займите скромное мѣстечко у стѣны или у окна, и кланяйтесь легонько тому только, изъ знакомыхъ господъ, который подойдетъ къ вамъ близко, и взглянетъ на васъ. За столомъ, если вамъ не укажутъ мѣста, садитесь на концѣ, между самыми младшими. Когда станутъ разносить водку, вамъ, по молодости, не прилично кушать ее — а мы съ Перепеченкой, такъ тяпнемъ порядочную красоулю, не правда ли?»

Палкинъ въ самомъ дѣлѣ налилъ почти полный стаканъ настойки, и выпилъ за разъ. Между тѣмъ внесли супъ, уже разлитый въ тарелки, и Палкинъ пригласилъ Искрина сѣсть по срединѣ, сказавъ: «Каждое дѣло мастера боится, и въ каждомъ дѣлѣ потребна опытность, которой нельзя достигнуть иначе, какъ частымъ повтореніемъ, или, какъ говорятъ господа, репетиціей. И такъ начнемъ репетицію обѣда!»

Сѣвъ за столъ, Искринъ взялъ ножъ, и хотѣлъ было отрѣзать себѣ кусокъ хлѣба, но Палкинъ скомандовалъ громко: «Отставь! не такъ! за барскимъ столомъ хлѣба не рѣжутъ, а ломаютъ его, почти неприметно.» Искринъ повиновался. Подали мясо; Искрину понравился жирный кусокъ посреди блюда, и онъ направилъ на него вилку, но Палкинъ еще громче скомандовалъ: «Отставь!... Извольте брать съ краю. Вы должны предполагать, что здѣсь все хорошо—выбору нѣтъ» Подали вино. «Вотъ особенный казусъ,» сказалъ Палкину: «поступайте, какъ я говорю, а не такъ какъ я дѣлаю; я не могу пить вина рюмками и прихлебывать, а пью стаканомъ и однимъ махомъ; но вы должны пить первую половину рюмки прихлебывая, а уже вторую половину можете вытянуть, хотя бы и духомъ, но все-таки полегоньку. Отъ крѣпкихъ винъ, которыя станутъ разносить, вамъ, какъ молодому человѣку, слѣдуетъ отказываться. Что вы изволите оглядываться и поднимать голову? Отставь, отставь! Вы, сударь, не собесѣдникъ на пиру, а почти то же, что муха на блюдѣ; извольте смотрѣть въ свою тарелку, когда кушаете, а откушавъ поглядывайте на гостей скромно, какъ красна дѣвица на сговорѣ...»

Палкинъ, по мѣрѣ того, какъ осушалъ бутылки, болѣе горячился командовать *отставь*, и наконецъ такъ наскучилъ Искрину, что этотъ прервалъ быстро репетицію, вставъ съ мѣста и сказавъ, что онъ долженъ быть въ этомъ часу по важному дѣлу, у важнаго человѣка, просилъ Палкина и Перепеченку кончать обѣдъ безъ него и, заплативъ за все, вышелъ. Искринъ согласил-

ся на эту репетицію обѣда не столько для изученія этикета, сколько для того, чтобъ угостить Перепеченку, за его усердіе. Отдѣлавшись отъ этой скучной бесѣды, Искринъ пошелъ домой, полюбоваться новымъ своимъ нарядомъ. Кого изъ насъ, въ юности, не радовала обновка, особенно когда съ нею сопряжены были какія нибудь надежды, какая нибудь идея? А не вся ли юность состоитъ изъ надеждъ и различныхъ идей о счастьѣ! Блаженное время!

«Пустой человѣкъ твой пріятель!» сказалъ Палкинъ Перепеченкѣ, когда Искринъ вышелъ за двери. «Разсѣянъ, не знаетъ толку ни въ винѣ, ни въ водкѣ, и не умѣетъ пользоваться своею красотою и природною ловкостью... Будь я на его мѣстѣ, я бы купался въ мадерѣ!» Высшаго блага Палкинъ не могъ себѣ представить, какъ плаванье ввинѣ!

«У всякаго свой вкусъ, братецъ!» отвѣчалъ Перепеченко, который долженъ былъ запить водою послѣдній кусокъ, потому что все репетиціонное вино выпилъ учитель этикета или, какъ говорилъ Перепеченко, барской церемоніи.

—

X.

Заря счастья на блюдѣ.

Искринъ нанялъ коляску и, въ часъ по полудни, отправился въ Таврическій дворецъ. Сердце его сильно

билось, голова кружилась отъ мечтаній. Поворачивалъ въ улицу, неподалеку отъ дворца, Искринъ увидѣлъ Глазова, выходящаго изъ мелочной лавочки, и приказалъ кучеру остановиться.

Глазовъ покачалъ головою, взглянувъ на Искрина. «Да ты, братецъ, рожденъ каммергеромъ!» сказалъ онъ: «Какъ разряженъ! какой молодецъ! Ну, право, я влюбился бы въ тебя, если бъ былъ дѣвицей!»

«А какъ ты попалъ въ эту даль?» спросилъ Искринъ.

«Ты ѣдешь лакомиться за барскимъ столомъ, а я лакомился здѣсь, по своему. Эта лавочка, братецъ, знаменита между всѣми поклонниками Бахуса, отличною севрюжиною, имѣющею свойство гасить внутренній жаръ и возбуждать жажду...» Глазовъ захохоталъ.

«Ахъ, братецъ, какъ тебѣ не стыдно... съ твоими познаніями, съ твоими дарованіями, съ твоею благородною душею!»

«Надобно забываться, надобно быть скотомъ, чтобъ не чувствовать достоинства человѣка!..» отвѣчалъ Глазовъ, надѣлъ шляпу на бекрень, закричалъ кучеру Искрина: «Пошелъ!» И посвистывая громко Волжскую пѣсню, отправился въ трактиръ. Искринъ тяжело вздохнулъ. Ему жаль было добраго и умнаго Глазова. Искринъ велѣлъ остановиться кучеру въ отдаленіи отъ подъѣзда, и пошелъ пѣшкомъ въ комнаты, занимаемыя Василіемъ Степановичемъ Поповымъ. Онъ встрѣтилъ Искрина ласково, велѣлъ подождать, пока самъ одѣнется, и когда ударило два часа, повелъ его въ парадныя комнаты.

Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ лежалъ на софѣ въ Венгерскомъ полукафтаньѣ, съ золотыми шнурами. Возлѣ него сидѣло въ креслахъ нѣсколько дамъ и между ними Графиня Уральская, нѣсколько генераловъ, вельможъ и придворныхъ стояли въ отдаленіи, въ полной формѣ, въ лентахъ. Только одинъ Графъ Безбородко сидѣлъ рядомъ съ дамами.

Василій Степановичъ Поповъ подвелъ Искрина къ Свѣтлѣйшему и сказалъ: «это сочинитель оды!» Князь кивнулъ головою, и не сказалъ ни слова. Искринъ поклонился, по всѣмъ правиламъ танцовальнаго искусства, отошелъ въ сторону, и помѣстился съ вельможами. Взоръ Графини Уральской радостно встрѣтилъ его и преслѣдовалъ до мѣста. Можно было догадаться по лицу ея, что она была довольна.

Доложили, что кушанье подано. Свѣтлѣйшій всталъ съ дивана, потянулся, зѣвнулъ, взялъ подъ руки двухъ дамъ, и пошелъ, медленно, въ столовую.

Я не стану описывать обѣда Князя Потемкина: это было бы излишнимъ. Державинъ превосходно характеризировалъ эту неслыханную роскошь и прихоть вкуса:

«Богатая Сибирь, наклонясь надъ столами,
Разсыпала по нимъ и злато и сребро;
Восточный, Западный, сѣдые океаны,
Трясяся челами, держали рѣдкихъ рыбъ;
Украйна, Холмогоръ несли тельцовъ и дичь;
Вѣнчанна классами хлѣбъ Волга подавала,
Съ плодами сладкими принесъ кошницу Таврь;
Рифей, нагнувшися, въ топазны, аметистны
Лилъ кубки медъ златой, древъ искрометный сокъ.

«Ну, какъ тебѣ нравится мой новый поваръ?» спросилъ Свѣтлѣйшій у любимца своего, генералъ-маіора и флигель-адъютанта Ея Величества Василія Ивановича Левашева: «Его прислалъ мнѣ, какъ диво, Польскій Король.»

«Превосходный поваръ, мастеръ мастеровъ!» сказалъ Левашевъ.

«Но вы сами ничего не кушаете, Князь!» сказала Графиня Уральская, взглянувъ съ нѣжнымъ участіемъ на Свѣтлѣйшаго, который, развалясь въ креслахъ, то зѣвалъ, то посматривалъ на потолокъ.

«Я не люблю этой химіи,» отвѣчалъ Князь. «Знаешь ли, чего бы я поѣлъ охотно?» примолвилъ онъ, обращаясь къ своему метръ-д'отелю: «хорошей севрюжины! Нѣтъ ли у тебя?»

«Ваша Свѣтлость! теперь не пора на эту рыбу... хорошей невозможно достать... да ея и не сохраняютъ, потому, что господа вовсе не употребляютъ ея...»

«Дуракъ ты, братецъ, съ твоими господами!» сказалъ Свѣтлѣйшій, улыбаясь: «будто они знаютъ наше хорошее. Вѣдь они только ногами держатся на Русской землѣ — а всѣмъ тѣломъ и душею — во Франціи! Какой ананасъ сравнится съ нашею квашеною капустою? А соленая севрюжина!... да это чудо! Подай мнѣ миску сырой капусты и севрюжины!»

«Ваша Свѣтлость, извините великодушно!» сказалъ метръ-д'отель: «капуста есть, а севрюжины невозможно достать!...»

«А я бы далъ Богъ вѣсть что, за кусокъ севрюжины!» сказалъ Потемкинъ.

Искринъ преодолѣлъ свою робость и сказалъ: «Если Вашей Свѣтлости угодно, я черезъ десять минутъ доставлю вамъ севрюжины, какой лучше нѣтъ и не бывало въ Петербургѣ!»

«Одолжишь, братецъ, одолжишь навѣки! Беги скорѣе — лети!» сказалъ Потемкинъ.

Искринъ вскочилъ изъ-за стола, и стремглавъ побѣжалъ въ переднюю, схватилъ серебряное блюдо, сѣлъ въ свою коляску, и погналъ въ ту лавочку, при которой встрѣтилъ Глазова.

Въ отсутствіи Искрина, Свѣтлѣйшій Князь спросилъ у гостей: «Что это за человѣкъ? Наружность его мнѣ нравится.»

«Это сочинитель оды, которую вы велѣли мнѣ прочесть вамъ,» сказала Графиня Уральская.

«Стихи, кажется, не дурны, а?..» примолвилъ Свѣтлѣйшій.

«Прекрасные, плавные, ровные,» сказала Графиня.

«А изъ какихъ онъ?» спросилъ Князь.

«Изъ природныхъ дворянъ,» отвѣчала Графиня.

«Онъ сынъ офицера, убитаго, подъ начальствомъ вашей свѣтлости, въ прошлую войну,» сказалъ Поповъ: «Когда ваша свѣтлость изволили переправиться, на паромахъ, чрезъ Дунай и взяли городъ Цымбру, 5 мая 1771 года, отецъ его первый бросился на Турецкую баттарею, и погибъ на ней.»

«Помню, очень помню!» сказалъ Свѣтлѣйшій: «это былъ хорошій офицеръ... онъ еще былъ живъ, когда я пріѣхалъ на взятую баттарею и я помню его прощаніе... Безъ него я не взялъ бы города... а дѣло было славное! Надобно, братецъ, сдѣлать что нибудь для сына...» примолвилъ Князь, обращаясь къ Попову.

«Онъ, по моей рекомендаціи, опредѣленъ на мѣсто,» отвѣчалъ Поповъ.

«Лучше взялъ бы ты его къ себѣ... »

Въ это время явился Искринъ съ блюдомъ севрюжины, и поднесъ Свѣтлѣйшему. Потемкинъ покраснѣлъ отъ удовольствія, и долго любовался севрюжиною, которой запахъ заставилъ поморщиться дамъ. Потомъ, обратясь къ Искрину, сказалъ:

«Что ты видишь на этомъ блюдѣ?»

Искринъ смѣшался, и не зналъ что отвѣчать: «рыбу,» примолвилъ онъ, запинаясь.

«Рыба рыбой — а я, такъ вижу зорю твоего счастія. Я зналъ твоего отца, храбраго, достойнаго офицера — и не забуду тебя!»

Искринъ поцѣловалъ руку Свѣтлѣйшаго, и сѣлъ на свое мѣсто.

Свѣтлѣйшій скушалъ два кусочка севрюжины, величиною въ орѣхъ, поморщился, велѣлъ снять блюдо со стола и сказалъ: «прекрасно, превкусно!»

Обѣдъ кончился, и собесѣдники перешли въ залу, гдѣ разносили кофе и ликеры. Свѣтлѣйшій снова прилегъ на софѣ, и просилъ дамъ сѣсть близъ него.

Въ это время дежурный флигель-адъютантъ доложилъ Свѣтлѣйшему, что прибылъ чиновникъ отъ Князя Камышенскаго, и объявилъ, что имѣетъ повелѣніе вручить лично пакетъ Свѣтлѣйшему.

«Пусть войдетъ!» сказалъ Свѣтлѣйшій.

Явилась лягушечья фигура, на дроздовыхъ ножкахъ и начала кланяться отъ порога, подвигаясь медленно впередъ. Самъ Князь не могъ скрыть улыбки и дамы закрылись платками. Это былъ Карлъ Ѳедоровичъ Циттербейнъ! Онъ скользилъ по паркету, согнувшись, высунувъ руку съ пакетомъ и вдругъ поднявъ глаза, увидѣлъ Искрина, стоявшаго съ чашкою кофе, у изголовья Князя Потемкина. Карла Ѳедоровича бросило въ дрожь; онъ отступилъ на шагъ и чуть не упалъ. Голова его закружилась.

«Сломи печать и читай!» сказалъ Свѣтлѣйшій Карлу Ѳедоровичу.

Онъ сломалъ печать, добылъ очки изъ кармана, надѣлъ на носъ, поклонился Князю, и очки упали на полъ. Подпимая очки, Карлъ Ѳедоровичъ уронилъ шляпу; потомъ поднимая шляпу, уронилъ пакетъ, наконецъ кое-какъ справился, развернулъ бумагу, хотѣлъ читать, взглянулъ на Искрина, снова смѣшался, и сталъ читать заикаясь: «пѣ ррр.... по пр....» и закашлялся.

«Возьми, братецъ, бумагу и прочти мнѣ!» сказалъ Свѣтлѣйшій, обращаясь къ Искрину. — «А ты, убирайся туда, откуда пришелъ!» примолвилъ Князь, взглянувъ сурово на Циттербейна. «Поповъ! напиши къ Кня-

зю Камышенскому, чтобъ онъ не присылалъ ко мнѣ, впередъ, такихъ дураковъ!»

Искринъ громко и внятно прочелъ донесеніе Камышенскаго о томъ, что покровительствуемый Свѣтлѣйшимъ человѣкъ допущенъ къ подрядамъ, безъ залога, на слово покровителя. Свѣтлѣйшій сказалъ Искрину: «Такой же мастеръ читать, какъ и писать! Я беру тебя къ моей особѣ; теперь ступай домой, а завтра явись къ Попову!»

Между тѣмъ Циттербейнъ, какъ громомъ пораженный, едва добрался до крыльца, и повалился безъ чувствъ. Лакеи и казачки Свѣтлѣйшаго окатили его холодною водою, съ головы до ногъ, съ хохотомъ посадили мокраго на дрожки, и отправили домой... Карлъ Ѳедоровичъ слегъ немедленно въ постелю, и послалъ за докторомъ и за пасторомъ, собираясь умирать.

—

XI.

Ура! побѣда отъ обѣда!

На другой день въ канцеляріи разнеслось извѣстіе, что Искринъ обѣдалъ у Свѣтлѣйшаго, и произвело различные толки, возмутило различныя страсти. Нѣкоторые изъ мелкихъ чиновниковъ и друзья Искрина радовались, что человѣкъ изъ ихъ круга удостоился такой

великой почести; иныхъ мучила зависть, и они громко начали взвѣшивать достоинства счастливца и отыскивать въ немъ пятна. Другіе вовсе не хотѣли вѣрить этому извѣстію. Оно казалось невѣроятнымъ и преувеличеннымъ!

Искринъ въ тотъ же вечеръ извѣстилъ Наталью запискою о ласковомъ пріемѣ Свѣтлѣйшаго, о его обѣщаніи и о своей надеждѣ. Сердце бѣдной Натальи раздиралось горестью о болѣзни ея отца, и не могло быть недоступно радости о счастьѣ милаго ей человѣка: она едва могла выдержать такое положеніе. Прошло еще двое сутокъ. Искринъ не являлся въ канцеляріи, а Карлъ Ѳедоровичъ все лежалъ въ постелѣ, охалъ, не принималъ ни какого лекарства, не хотѣлъ никого видѣть, и питался однимъ габерсупомъ. Наталья и Марья Прохоровна часто подходили, на цыпочкахъ, къ дверямъ его комнаты, и слышали, что онъ стоналъ и охалъ, произнося имя Искрина, и толкуя про себя объ обѣдѣ у Свѣтлѣйшаго.

На четвертый день отъ этого происшествія, въ квартиру Карла Ѳедоровича явился чиновникъ отъ Князя Камышенскаго, и объявилъ Марьи Прохоровнѣ и Натальѣ, что онъ долженъ непремѣнно переговорить съ больнымъ. Карлъ Ѳедоровичъ, послѣ долгаго сопротивленія, наконецъ допустилъ его къ себѣ.

«Князь желаетъ непремѣнно поговорить съ вами лично,» сказалъ чиновникъ.

«Помилуйте, въ моемъ положеніи!» воскликнулъ жалостно Карлъ Ѳедоровичъ: «я готовлюсь предстать предъ моего Создателя, и уже распрощался съ землею!..

«Князь, любя васъ, хочетъ имѣть удовольствіе объявить вамъ лично пріятныя новости.»

«Пріятныя новости!... для меня!...» вскричалъ Карлъ Ѳедоровичъ, быстро поднявшись на постелѣ, «отъ кого?... какія новости?...»

«Отъ Свѣтлѣйшаго Князя Григорія Александровича Потемкина и отъ самого Князя... а что такое — мнѣ не извѣстно,» отвѣчалъ чиновникъ.

«Отъ Свѣтлѣйшаго!» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ жалобно, закрывъ лице одѣяломъ: «чего хорошаго ожидать мнѣ отъ него!...» Онъ не могъ удержать слезъ и захныкалъ.

«Я не смѣю говорить вамъ неправду, и увѣряю васъ честью, что вы будете весьма довольны, если явитесь къ Князю, и что Свѣтлѣйшій весьма къ вамъ благоволитъ.»

«Благоволитъ! Наташа!... прикажи дать мнѣ одѣться поскорѣе... бриться... чесаться! Скорѣй! Доложите Князю, что я тотчасъ явлюсь, что я готовъ встать изъ гроба для исполненія его приказаній!»

Чиновникъ вышелъ, и Карлъ Ѳедоровичъ вскочилъ съ постели и началъ поспѣшно одѣваться. Онъ дрожалъ, какъ осиновый листъ, подходя къ дверямъ Князя, терзаемый страхомъ и надеждою. Болѣзнь его была не что иное, какъ стыдъ и страхъ: теперь другія ощущенія волновали мелкую его душонку.

Князь сидѣлъ въ креслахъ и разговаривалъ дружески съ стоявшимъ напротивъ Искринымъ. Когда вошелъ Карлъ Ѳедоровичъ, Князь встрѣтилъ его ласко-

вою улыбкою и сказалъ: «Я узналъ, съ сожалѣніемъ, что ты былъ нездоровъ, любезный Карлъ Ѳедоровичъ, и хотѣлъ послать къ тебѣ своего доктора.»

Циттербейнъ собирался благодарить, но взглянувъ на Искрина, который, въ щегольскомъ нарядѣ, смотрѣлъ на него весело, — задрожалъ и смутился, вспомнивъ ужаспую сцену у Свѣтлѣйшаго. Циттербейнъ только поклонился Князю, и молчалъ.

«Ты долженъ выбрать себѣ другаго помощника, любезный Карлъ Ѳедоровичъ,» сказалъ Князь: «нашъ добрый Искринъ переведенъ въ собственную канцелярію Свѣтлѣйшаго, въ должность секретаря-докладчика при особѣ Свѣтлѣйшаго Князя!...»

Карлъ Ѳедоровичъ встрепенулся, какъ будто его окатили, внезапно, холодною водою, и низко поклонился Искрину, который отплатилъ ему также поклономъ. Князь чуть не захохоталъ и продолжалъ:

«Ты также, Карлъ Ѳедоровичъ, весьма понравился Свѣтлѣйшему,» сказалъ Князь, съ лукавою улыбкою. «И его Свѣтлость просилъ меня, представить тебя къ слѣдующему чину, не въ очередь!...»

«Я понравился Свѣтлѣйшему!... я получу чинъ по его предстательству!» воскликнулъ Циттербейнъ. «Ваше сіятельство!... я умру отъ радости!... готовъ служить вамъ всѣмъ, отдамъ послѣднюю каплю крови.»

«Постой, братецъ, еще не все!» возразилъ Князь. «Мы таки и потребуемъ отъ тебя крови твоей... Свѣтлѣйшій Князь прислалъ тебѣ въ подарокъ вотъ эту золотую табакерку, съ своимъ вензелемъ...» Князь по-

далъ табакерку Карлу Ѳедоровичу, который приложилъ ее къ губамъ, поцѣловалъ и спряталъ поспѣшно въ карманъ, какъ будто опасаясь, чтобъ ея не отняли у него.

«Эту табакерку Свѣтлѣйшій даритъ тебѣ въ память сватовства... Свѣтлѣйшій сватаетъ дочь твою, Наталью Карловну, за секретаря своего, Титулярнаго Совѣтника Александра Андреевича Искрина!... Онъ вчера произведенъ въ титулярные!».

Карлъ Ѳедоровичъ съежился, сложилъ руки на груди, вздохнулъ, сморщился и сказалъ: «Могу ли я отказать въ чемъ либо его Свѣтлости и вашему сіятельству!... Извольте... я согласенъ!... Я всегда любилъ и уважалъ Александра Андреевича, и очень радъ, что дочь моя ему понравилась.»

Искринъ поблагодарилъ сперва Князя, а потомъ Карла Ѳедоровича, и Князь сказалъ: «Свѣтлѣйшій беретъся устроить судьбу Искрина, а ты, любезный Карлъ Ѳедоровичъ, ступай въ канцелярію, и вели написать, немедленно, представленіе о себѣ, да приготовься къ свадьбѣ. Свѣтлѣйшій требуетъ, чтобъ все кончено было въ трое сутокъ.»

«Хоть въ три часа!» отвѣчалъ Карлъ Ѳедоровичъ. «Это не мое дѣло—пусть будетъ какъ приказано!»

Циттербейнъ и Искринъ вышли вмѣстѣ изъ кабинета, и Карлъ Ѳедоровичъ бросился на шею Искрина, сталъ душить его въ своихъ объятіяхъ, увѣрять въ своей всегдашней привязанности, и просилъ, чтобъ онъ проводилъ его въ канцелярію. Теперь уже Карлъ Ѳедоровичъ гордился Искринымъ!

У дверей канцеляріи Карлъ Ѳедоровичъ вынулъ табакерку, подаренную ему Свѣтлѣйшимъ, и хотя она была пуста, но онъ, проходя важно по канцеляріи, дѣлалъ видъ, что нюхаетъ изъ нея табакъ, а подошедъ къ Пѣтушкову, сказалъ: «Извольте, по приказанію его сіятельства, заготовить представленіе о повышеніи меня въ слѣдующій чинъ, за отличіе по службѣ! Поподчивалъ бы я васъ за это табакомъ, изъ табакерки, подаренной мнѣ Свѣтлѣйшимъ Княземъ Григоріемъ Александровичемъ Потемкинымъ, въ знакъ особенной его ко мнѣ милости, но будущій зять мой, Александръ Андреевичъ, секретарь-докладчикъ его Свѣтлости и титулярный совѣтникъ, нечаянно высыпалъ табакъ... а табакерочка премиленькая, посмотрите-ка!»

«Александръ Андреевичъ будущій зять вашъ!» сказалъ Пѣтушковъ.

«Да, это дѣло *давно* у насъ улажено, но мы съ нимъ скрывали, до поры, до времени,» отвѣчалъ Карлъ Ѳедоровичъ.

Чиновники бросились поздравлять Искрина и Циттербейна.

«Пойдемъ же, къ невѣстѣ, любезный зятюшка!» сказалъ Карлъ Ѳедоровичъ весело, трепля по плечу Искрина.

«Очень радъ!» возразилъ Искринъ: «а вы, любезные мои друзья, подождите меня, при выходѣ изъ канцеляріи,» примолвилъ онъ, обращаясь къ Пѣтушкову, Пѣвцову, Глазову и Перепеченкѣ: «мнѣ надобно съ вами поговорить.»

Войдя въ свою квартиру, Карлъ Ѳедоровичъ, не снимая шляпы, сталъ посреди залы, и позвалъ, громкимъ голосомъ, Наталью. Когда она явилась, отецъ взялъ ее за руку, и подведя къ Искрину, сказалъ: «Вотъ твой женихъ! на третій день свадьба. Приготовься — отговорокъ не принимаю! Это по приказанію Свѣтлѣйшаго! Понимаешь ли!»

Вмѣсто отвѣта, Наталья бросилась на шею Искрину и сказала: «Милый Александръ! Слава Богу, слава Богу!» Потомъ стала обнимать отца, приговаривая: «Благодарю, батюшка, благодарю, вы исполнили единственное желаніе вашей дочери! Я давно уже дала клятву не выходить ни за кого замужъ, кромѣ Искрина!»

Карлъ Ѳедоровичъ стоялъ безмолвный и удивлялся этой фамиліярности, обнаруживающей старинную дружескую связь. — «Да развѣ вы видались и говорили прежде о женитьбѣ?» спросилъ хладнокровно Карлъ Ѳедоровичъ, поглядывая съ удивленіемъ то на Искрина, то на дочь свою.

«Да вѣдь вы сами сказали Пѣтушкову, что это дѣло *давно* улаженное,» возразилъ Искринъ. «Вы сказали совершенную правду!»

Циттербейнъ покачалъ головою, и сказалъ: «Дѣлать нечего... все кончено!» и пошелъ въ свой кабинетъ.

Пробывъ съ полчаса съ своею невѣстою, Искринъ поспѣшилъ на свиданіе съ пріятелями, которыхъ не видалъ со времени перемѣны своей участи. Они ждали его подъ воротами.

«Побѣда, друзья побѣда!» сказалъ Искринъ.

«Отъ обѣда!» примолвилъ Глазовъ.

«Ура, побѣда отъ обѣда!» закричали всѣ дружно, и стали обнимать и поздравлять Искрина, который позвалъ всѣхъ ихъ обѣдать на свой счетъ. Послѣдній тостъ былъ провозглашенъ Глазовымъ, и окна дрожали отъ возгласовъ:

«Ура! побѣда отъ обѣда!»

—

XII.

ХОРОШІЙ КОНЕЦЪ ВСЕМУ ДѢЛУ ВѢНЕЦЪ.

Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ полюбилъ Искрина, и облекъ его своею довѣренностью: уѣзжая въ армію, онъ оставилъ его въ Петербургѣ, и поручилъ ему приведеніе въ порядокъ домашнихъ дѣлъ его и всѣ важныя свои бумаги. По смерти Потемкина, Искринъ, по этому обстоятельству, вошелъ въ сношенія съ весьма важными людьми, и пріобрѣлъ ихъ уваженіе, благосклонность и покровительство. Болѣе всѣхъ благодѣтельствовала ему Графиня Уральская. Она была настоящій образецъ женскихъ характеровъ XVIII вѣка. Нельзя было назвать ея Гибралтаромъ женской добродѣтели, но она была женщина милая, умная, добродушная и постоянная во всѣхъ связяхъ, гдѣ только не вмѣшивалась любовная интрига. Она покровительствовала Искрина сперва безкорыстно,

а потомъ изъ благодарности за важную услугу, потому что Искринъ, по смерти Потемкина, возвратилъ ей бумаги, которыя не должны были попасть въ чужія руки. Впрочемъ, положеніе Искрина было уже таково, что онъ имѣлъ вѣсъ въ свѣтѣ своею особою. Тесть его, Карлъ Ѳедоровичъ Циттербейнъ умеръ, отъ разлитія желчи, когда новый начальникъ, заступившій мѣсто Князя Камышенскаго, велѣлъ подать ему въ отставку. Послѣ Циттербейна осталось шесть сотъ тысячъ рублей, а кромѣ того наслѣдство послѣ тетки его, Швейцарки, и доброй Марьи Прохоровны, и значительная сумма, подаренная Искрину наслѣдниками Потемкина, и нѣсколько удачныхъ спекуляцій, составили всего болѣе милліона. Человѣкъ съ милліономъ наличныхъ денегъ и связями можетъ сдѣлать много, и Искринъ употребилъ все свое значеніе на то, чтобъ помогать своимъ прежнимъ пріятелямъ и покровительствовать бѣдныхъ, но умныхъ и честныхъ чиновниковъ, не забывая никогда о прежнемъ своемъ положеніи. Глазовъ пилъ съ горя и отчаянья, слѣдуя ложному правилу, будто въ винѣ можно утопить горе. Искринъ поручилъ его брату Графини Уральской, бывшему губернаторомъ въ одной изъ губерній новоприобрѣтеннаго края, и онъ умѣлъ оцѣнить умъ, сердце и честность Глазова, который бросилъ всѣ дурныя привычки, и сдѣлался первымъ помощникомъ своего начальника и искреннимъ его другомъ. Пѣтушкова, Пѣвцова и Перепеченку Искринъ также вывелъ въ люди.....

—

..... Въ восьмисотыхъ годахъ я долженъ былъ просить покровительства у одного важнаго лица, несчастнымъ сиротамъ, моимъ родственникамъ. Это важное лице, тайный совѣтникъ, съ двумя звѣздами, былъ — Александръ Андреевичъ Искринъ. Онъ полюбилъ меня и пригласилъ навѣщать его. Два сына его были уже штабъ-офицерами, дочь замужемъ. Мнѣ было пріятно ходить къ Александру Андрѣевичу, чтобъ утѣшаться картиною семейнаго счастья. Онъ любилъ жену свою послѣ тридцати лѣтъ супружества, какъ въ первый день брака, и я восхищался ихъ нѣжностью. Въ ихъ домѣ познакомился я съ тайными совѣтниками Глазовымъ, Пѣтушковымъ и дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Перепеченковымъ (онъ уже прибавилъ къ своей фамиліи *въ*), который, толстотою своею, неукротимымъ аппетитомъ и малороссійскими прибаутками доставлялъ частые случаи къ шуткамъ. Всѣ эти старики жили между собою въ тѣсной дружбѣ. Въ назначенные дни они собирались у каждаго поочередно, съ своими семействами и приближенными, поставляя себѣ въ обязанность приглашать также бѣдныхъ чиновниковъ, не имѣющихъ связей и покровительства. Я былъ введенъ въ этотъ кругъ, и отдыхалъ душею въ обществѣ добрыхъ и благородныхъ людей. Глазовъ особенно любилъ бесѣдовать со мною о литературѣ, и, какъ говорится, философствовать, то есть разсуждать о различныхъ предметахъ. Однажды, мы разговорились съ нимъ о старинѣ, о славныхъ прошлыхъ временахъ и о прежнемъ бытѣ. «Времена были славныя,» сказалъ мнѣ Глазовъ: «но не дай Богъ, чтобъ

они воротились! Присядьте возлѣ камина, я вамъ разскажу исторію молодости нашей, то есть моей и друзей моихъ, которыхъ вы знаете. Вы найдете здѣсь нѣсколько очерковъ прежняго расхваленнаго быта:

«Временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма!»

Старики, герои этого разсказа, позволили мнѣ напечатать слышанное, какъ вещь поучительную, во многихъ отношеніяхъ. Нравоученія извлекать я не стану, потому, что каждый читатель найдетъ его самъ. Правда, это не модный разсказъ; въ немъ нѣтъ ни раздирающихъ душу чувствованій, ни ужасныхъ сценъ, ни убійствъ, ни происшествій, притянутыхъ, какъ говорится, за волосы, чтобъ составить мудреную завязку, ни крученыхъ фразъ, ни вычурныхъ картинъ. Это простые *очерки нравовъ* того времени, которые мы привыкли хвалить по преданіямъ, не чувствуя превосходства настоящаго времени. За вѣрность красокъ ручаюсь — а за все прочее — извините!

ОСАДА УГЛИЧА.

ОСАДА УГЛИЧА. (*)

I.

Версты за двѣ отъ Углича, за Волгою, возвышается холмъ, покрытый кустарникомъ и окруженный мелкимъ лѣсомъ. Послѣ 1611 года, онъ долгое время сохранялъ названіе Богоявленской Горы, но нынѣ и это названіе исчезло. Безъ уцѣлѣвшихъ страницъ старинной лѣтописи, никто и не узналъ бы: что на этомъ холмѣ стоялъ нѣкогда монастырь Богоявленія Господня; что деревянную церковь, кельи и ограду превратили въ пепелъ Литовцы, и что въ стѣнахъ сожженнаго монастыря погибли тридцать восемь иноковъ и болѣе трехъ

(*) Во время поѣздки по Россіи въ 1834 году, авторъ пріобрѣлъ въ Угличѣ отъ тамошняго старожила старинную рукопись, подъ заглавіемъ: *О разореніи града Углича, нарицающагося древле градъ Угло.* Въ ней описаны всѣ важныя событія, случившіяся въ городѣ, отъ его основанія до 1611 года. Изъ этой рукописи, по соображеніи ея съ другими историческими источниками, заимствованъ предметъ настоящей повѣсти.

сотъ окрестныхъ жителей, искавшихъ въ святой обители спасенія отъ мечей непріятельскихъ.

Въ прекрасное, весеннее утро (въ 1610 году), подъѣхалъ къ оградѣ Богоявленскаго Монастыря всадникъ, привязалъ воронаго коня своего къ дереву, и постучался въ дверь кельи игумена Авраамія. Зеленое полукафтанье всадника застегнуто было на груди широкими петлицами изъ золотыхъ снурковъ. Перекинутая черезъ плечо сафьянная перевязь, вышитая серебромъ, поддерживала дорогую турецкую саблю. Грусть и задумчивость изображались на прекрасномъ лицѣ всадника. Глаза его, исполненные жизни и выраженія, обличали въ немъ душу добрую, благородную, мужественную.

Благословивъ незнакомаго пришельца, Авраамій ласково пригласилъ его войти въ келью, сѣлъ съ нимъ на деревянную скамью и спросилъ: что̀ при́вело его къ нему, въ уединенное его убѣжище?

«Привела меня слава твоей святой жизни, твоей мудрости. Не откажи въ благодѣяніи, которое ты оказать мнѣ можешь. Я буду просить у тебя суда.

«Суда!» спросилъ удивленный старикъ. «На кого?

«На собственное мое сердце.

«Я не могу быть судьею, не зная твоего противника.

«Въ этомъ мірѣ ты одинъ узнаешь его, отецъ Авраамій. Передъ тобой однимъ обнаружу всѣ его тайны. О, если бы твои совѣты, твое посредничество примирили меня съ моимъ противникомъ!.. Передъ тобой — Стрѣлецкій Голова Ѳеодосій Алмазовъ. Покойные родители мои были небогаты, но цѣлую жизнь стара-

лись дѣлать ближнимъ добро. Я былъ единственный сынъ ихъ. Наравнѣ со мною они воспитывали Иларіона, мальчика, котораго усыновили и спасли отъ безпомощнаго сиротства. Въ послѣдніе годы царствованія Іоанна Грознаго, я лишился матери; отецъ мой, отъ незаслуженной казни, принужденъ былъ бѣжать въ Польшу. Тамъ я съ Иларіономъ поступилъ въ училище. Черезъ нѣсколько лѣтъ мы вышли оттуда, уже взрослые, въ числѣ первыхъ учениковъ. Между тѣмъ въ Польшѣ отецъ мой призрѣлъ еще двухъ малолѣтныхъ дѣвочекъ, которыя, по смерти родителей своихъ, бѣглецовъ Русскихъ, остались на чужой сторонѣ круглыми сиротами. Когда Евгенія и Лидія (такъ зовутъ ихъ) подросли, то Польскій вельможа, покровитель отца моего, взялъ ихъ въ домъ къ себѣ и воспиталъ вмѣстѣ съ своими дочерьми. По окончаніи воспитанія, онѣ обѣ возвратились къ отцу моему, который вскорѣ послѣ того занемогъ безнадежно. Умирая, онъ завѣщалъ мнѣ и тремъ сиротамъ, имъ призрѣннымъ, возвратиться въ Россію, возложилъ на меня замѣнить его для нихъ, и велѣлъ жить всѣмъ намъ вмѣстѣ, въ дружбѣ и согласіи, какъ роднымъ братьямъ и сестрамъ. Мы всѣ поклялись исполнить его послѣднюю волю. Онъ благословилъ насъ — и скончался. По возвращеніи на родину, вступилъ я въ Стрѣлецкое войско. И братъ мой, Иларіонъ (онъ моложе меня пятью годами) черезъ нѣсколько лѣтъ послѣдовалъ моему примѣру. Счастье намъ благопріятствовало. Теперь мнѣ тридцать три года, а я уже Стрѣлецкій Голова и начальникъ Угличской крѣпости. Братъ мой—Пятисотенный моего полка. Мы оба

по совѣсти можемъ сказать, что не были послѣдними на поляхъ битвы.

До пріѣзда въ Угличъ, я жилъ въ Москвѣ. Тамъ сердце указало мнѣ спутницу жизни. Питая другъ ко другу любовь чистую, пламенную, мы наконецъ превозмогли всѣ препятствія, которыя долго мѣшали нашему счастію, и я назвалъ ее моею. Всѣ говорятъ, что на землѣ не возможно найти полнаго счастія. Нѣтъ, это несправедливо, отецъ Авраамій! Я, я наслаждался этимъ счастіемъ!... Правда, оно скоро улетѣло и — навсегда! Она покинула меня, милая, незабвенная Ольга! Скоро ушла она на небо съ этой бѣдной земли! О, какъ дорого заплатилъ я за свое счастіе!.... Легче было бы мнѣ, если бъ оторвали половину моего сердца; но я не роптalъ, я даже не плакалъ — я не могъ плакать. Меня утѣшала мысль, что я страдаю одинъ, что моя Ольга на небѣ, гдѣ счастіе вѣчно, неизмѣнно, гдѣ ее уже не можетъ постигнуть утрата, подобная моей. На языкѣ человѣческомъ нѣтъ выраженій, чтобъ изобразить то, что я чувствовалъ, когда вокругъ гроба ея раздавалось похоронное пѣніе, когда мои запекшіяся уста прильнули къ ея холодной щекѣ, гдѣ недавно игралъ такъ плѣнительно румянецъ жизни; къ ея рукѣ неподвижной, которою она, угасая и вперя въ меня исполненный любви, прощальный взоръ, въ послѣдній разъ пожала мою руку!...

Какъ бы горячо я тогда обнялъ того, кто мнѣ далъ бы хоть одну слезу, которая бы уменьшила страданіе сердца! Но я не плакалъ. Отойдя отъ гроба, я упалъ передъ образомъ Богоматери. И вдругъ, какъ свѣтлый

ангелъ посреди мрачныхъ, клубящихся тучъ, блеснула въ растерзанной душѣ мысль, что моя Ольга съ любовью и состраданіемъ смотритъ на меня изъ другаго, высшаго міра, и молитъ тамъ безконечную Благость низпослать мнѣ утѣшеніе! И въ тотъ же мигъ непостижимая отрада наполнила сердце—слезы побѣжали изъ глазъ моихъ. Мнѣ даже казалось, что это были слезы радости.

Возвращался ли ты когда нибудь, отецъ Авраамій, съ кладбища, похоронивъ тамъ человѣка, котораго ты любилъ, который былъ тебѣ дороже жизни? И теперь еще душа содрогается при одномъ воспоминаніи о чувствованіяхъ, раздиравшихъ сердце, когда я шелъ къ опустѣлому дому своему отъ могилы, сокрывшей въ себѣ навсегда все мое счастіе, всѣ мои радости! Нѣтъ, я этого разсказать не въ силахъ. Ты не поймешь моихъ невыразимыхъ страданій.»

Ѳеодосій опустилъ голову и замолчалъ.

«Проходятъ, исчезаютъ, какъ дымъ, наши радости,» сказалъ Авраамій: «но также проходятъ и страданія. И что вся земная жизнь наша? Она, по словамъ Апостола, паръ, на малое время являющійся. Она скоро исчезаетъ; но настанетъ для насъ другая, безконечная жизнь. Утѣшься: она уже настала для той, которую ты оплакиваешь.

«Эта мысль всегда утѣшала меня. Но за то сколько разъ овладѣвали мною безутѣшная горесть, отчаяніе! Весь міръ опротивѣлъ мнѣ. Сколько милліоновъ сердецъ, часто думалъ я, бьется теперь на землѣ, но всѣ эти сердца не замѣнятъ для меня одного утраченнаго.

Изъ этого сердца изливался источникъ моего счастія. Смерть оледѣнила, разрушила его, источникъ моего счастія изсякъ, и я на землѣ, какъ въ безпредѣльной степи, томлюсь жаждою, которой ничто утолить не можетъ. Все, что прежде меня радовало, что возбуждало во мнѣ сладостныя ощущенія, воспоминанія, мечты, все это вдругъ превратилось въ ядъ, который мертвилъ меня. Шелъ ли я въ рощу, гдѣ мы часто гуляли съ нею, и мнѣ казалось, что каждое дерево говорило: ты одинъ, ея ужъ нѣтъ съ тобою, она уже никогда не придетъ въ эти мѣста! Попадался ли мнѣ на глаза какой нибудь нарядъ ея, какая нибудь любимая вещь, — сердце мое сжималось: я страдалъ какъ въ пыткѣ, но не имѣлъ силъ отвести глазъ отъ того, что меня терзало.

«Я бы не вынесъ моихъ мученій, если бы участіе моихъ домашнихъ, ихъ безпрерывныя заботы обо мнѣ, не поддержали меня. Они не возвратили мнѣ счастья, но удержали меня на землѣ, чтобъ жить для нихъ.

«Время залечиваетъ самыя глубокія раны сердца. Прошло уже два года съ тѣхъ поръ, какъ смерть похитила мое счастье; жало горести притупилось. Осталось въ душѣ одно уныніе, одно убійственное равнодушіе ко всему. Я не могъ уже ничѣмъ наслаждаться, разучился радоваться!

«Всѣхъ болѣе принимала во мнѣ участія Евгенія, одна изъ сиротъ, призрѣнныхъ отцемъ моимъ. Живя съ нею подъ одною кровлей съ дѣтства, я издавна любилъ ее, любилъ наравнѣ съ братомъ моимъ Иларіономъ и съ Лидіею, другою сиротой, которую покойный родитель

воспиталъ вмѣстѣ съ нами. Но теперь я люблю ее болѣе всего на свѣтѣ. Съ какимъ искусствомъ, съ какою нѣжностію умѣла она утолять мои сердечныя терзанія, отвѣвать отъ меня ядовитое дыханіе отчаянія! Въ ней воскресла для меня моя Ольга. Но я не долженъ такъ любить ее: она принадлежитъ уже другому. Братъ мой Иларіонъ давно, еще при жизни моей Ольги, оцѣнилъ Евгенію и привязался къ ней со всею пылкостью первой любви. Прошло уже три года, какъ онъ открылъ ей свое сердце, поклялся ей въ вѣчной любви и требовалъ и ея клятвы. Она знала доброе сердце Иларіона; сила его страсти изумила, испугала ее. Чтобы его успокоить, она произнесла клятву, которой онъ отъ нея требовалъ. Съ тѣхъ поръ Иларіонъ называетъ ее своею невѣстою, употребляетъ всѣ возможныя усилія, чтобы пріобрѣсти средства къ жизни. Онъ не хочетъ отягощать меня собою, и рѣшился тогда обвѣнчаться съ Евгеніей, когда будетъ въ состояніи жить особымъ домомъ. Нѣсколько разъ предлагалъ я ему раздѣлить небольшой достатокъ мой, но онъ всегда отказывался, говоря, что на мнѣ еще лежитъ обязанность устроить судьбу Лидіи, и что онъ и безъ того уже многимъ мнѣ обязанъ. По моимъ стараніямъ, ему уже обѣщано мѣсто Стрѣлецкаго Головы. Онъ скоро получитъ его и достигнетъ цѣли своихъ желаній. Евгенія уѣдетъ съ нимъ, и я... опять останусь одинъ! Второй разъ потеряю въ ней мою Ольгу. Боже мой, Боже мой! зачѣмъ я такъ люблю ее?

«Но, нѣтъ, я не долженъ любить ее... пусть Иларіонъ будетъ счастливъ! Дай Богъ, чтобъ и она была съ

нимъ счастлива, такъ счастлива, какъ только возможно на землѣ! Я рѣшился затаить любовь мою, чтобы не разрушить, не уменьшить благополучія моего брата и Евгеніи. Для нихъ я принесу, я долженъ принести эту жертву. Давно и твердо рѣшился я на это, но... иногда плачу дань слабости человѣческой. Бываютъ минуты, когда я завидую брату Иларіону, когда мнѣ кажется, что онъ не стоитъ Евгеніи, не съумѣетъ оцѣнить и осчастливить ее. Стыжусь сказать: я его тогда ненавижу,—его, моего брата, котораго люблю съ дѣтства! Тогда въ сердцѣ моемъ возстаетъ ужасная борьба; часто я самъ не понимаю чувствъ своихъ. О, какія это ужасныя минуты!

«Недавно испыталъ я еще новое мученіе. Иларіонъ, получивъ письмо изъ Москвы, въ которомъ увѣдомляли его, что онъ скоро будетъ назначенъ Головою, прибѣжалъ въ восторгѣ домой и подалъ письмо Евгеніи. Она прочитала его, и мнѣ показалось, что неожиданная вѣсть не произвела въ ней большой радости, что она даже стала задумчивѣе прежняго. Во мнѣ мелькнула мысль: любитъ ли она Иларіона? Не сожалѣетъ ли она, что связала совѣсть свою клятвой?

«И такъ мы скоро разстанемся?» сказала она мнѣ.

«Эти простыя слова отдались въ моемъ сердцѣ, какъ крикъ утопающаго. Не знаю, что со мной сдѣлалось.

«Боже мой! думалъ я: если Евгенія проникла въ глубину моего сердца, если она то же чувствуетъ въ тайнѣ ко мнѣ, что я къ ней, если и у нея въ душѣ такая же ужасная борьба? Для чего же не объясниться намъ, не открыть чувствъ нашихъ? Но, возможно ли

это? Она не захочетъ убить Иларіона; она для него собой пожертвуетъ такъ же, какъ я для нихъ собой жертвую. Что, если, не любя, она идетъ за него? Она будетъ страдать, и скрывать свои страданія. Нѣтъ, нѣтъ! Иларіонъ не захочетъ погубить ее, если онъ хоть сколько нибудь ее любитъ. Но если и онъ не въ силахъ будетъ принести этой жертвы? Что съ нимъ будетъ?.... Вотъ мысли, которыя меня съ тѣхъ поръ день и ночь терзаютъ. Я изнемогаю отъ душевной борьбы и не знаю, что дѣлать долженъ. Разъясни, отецъ Авраамій, мысли и чувства мои, разсуди меня съ моимъ сердцемъ, и произнеси безпристрастный приговоръ. Я исполню его.»

Старикъ покачалъ головою и задумался. «Я почти уже переплылъ житейское море,» сказалъ онъ по нѣкоторомъ молчаніи: «и для меня страненъ долетающій ко мнѣ издали голосъ страстей земныхъ. Не говорю это въ укоръ тебѣ, сынъ мой! И я былъ молодъ, и меня обуревали страсти. Теперь, огляпувшись назадъ, вспомня время, когда, вмѣсто этихъ бѣлыхъ сѣдинъ, вились на моихъ плечахъ русыя кудри, я съ удивленіемъ спрашиваю самого себя: неужели это былъ я?... Быстро проходитъ все земное — красота, любовь, всѣ наши страсти, которыя такъ волнуютъ насъ, не болѣе какъ призраки сна, то плѣняющіе, то терзающіе насъ. И счастливъ тотъ, кто устоитъ противъ обольщеній ихъ, чью совѣсть не увлекутъ онѣ съ пути прямаго! Пролетаютъ скоро душевныя бури, но угрызенія совѣсти остаются надолго въ томъ, кто палъ, кто не выдержалъ бури. До самыхъ дверей могилы преслѣдуетъ

насъ стыдъ паденія. Эта дверь, ведущая въ другой, высшій міръ, страшна для того, кто, приближаясь къ ней, стыдится самого себя, самого себя ужасается.

«Желалъ бы я скорѣе подойти къ ней!» сказалъ стрѣлецъ. «Этотъ міръ для меня несносенъ.

«Стыдись своей слабости! Желать себѣ смерти грѣшно. Вѣришь ли ты, что Богъ даровалъ жизнь намъ, что Онъ ее поддерживаетъ, и ведетъ насъ къ другой настоящей жизни черезъ временный путь борьбы, испытаній, лишеній? Кто знаетъ, что возложилъ Господь на тебя? что предназначилъ тебѣ совершить въ этой жизни? Можетъ быть, рука твоя понадобится отечеству; можетъ быть, она предназначена защитить отъ враговъ тысячи твоихъ ближнихъ, вдовъ безпомощныхъ, младенцевъ невинныхъ. Спасая ихъ, ты не съ теперешнимъ унынiемъ твоимъ бросишься къ дверямъ могилы, — съ мечемъ въ рукѣ, и, сопровождаемый благословенiями спасенныхъ тобою, скажешь: «я не даромъ жилъ на землѣ!»

«О! это была бы смерть сладостная!» сказалъ Ѳеодосій. «Я бы избавился моихъ мученій. Но ожидая ее, я все буду мучиться. Не знаю, что мнѣ дѣлать? Наставь меня, отецъ Авраамій.

«Спроси и послушай совѣта внутренняго твоего наставника. Двѣ главныя заповѣди даны намъ: «любить Бога всею душею, и ближняго, какъ самого себя». Вѣрь, что безъ воли Творца ни что въ мірѣ случиться не можетъ, кромѣ зла, которое дѣлаетъ человѣкъ, одинъ человѣкъ, противясь волѣ Божiей. Поступай всегда

такъ, чтобы твои намѣренія, побужденія, рѣшимость могли быть, передъ судомъ собственнаго твоего сердца, соглашены съ любовью къ Богу и ближнимъ — и ты никогда не ошибешься, не сдѣлаешь зла.»

Долго еще разговаривали они. Солнце уже склонялось къ западу, когда Ѳеодосій, въ глубокой задумчивости, подъѣхалъ, на своемъ ворономъ конѣ, къ воротамъ Угличской крѣпости.

—

II.

Въ Угличѣ до сихъ поръ сохранился ровъ, который обозначаетъ, гдѣ была встарину крѣпость. Земляные валы и каменныя стѣны, ее окружавшія, давно срыты; уцѣлѣли только изъ старинныхъ зданій каменный дворецъ Царевича Димитрія и церковь Преображенія, съ отдѣльною, высокою колокольней. Теперешній дворецъ не что иное, какъ маленькій, четырехъ-угольный домикъ, съ неправильными окошками. Въ первомъ этажѣ кладовыя, во второмъ одна комната. Но къ этому дворцу, встарину, придѣланы были различнаго вида и величины деревянныя строенія, которыя составляли съ нимъ одно неправильное цѣлое. Теперь около дворца обширная площадь, а подлѣ нея садъ, которые прежде были застроены деревянными домами частныхъ лицъ. Крѣпость стояла на высокомъ берегу Волги. Нѣсколько подземныхъ потаенныхъ ходовъ вели изъ крѣпости къ

рѣкѣ и оканчивались небольшою, желѣзною дверью, прикрытою кустарниками.

Со стороны Волги земляной валъ былъ не высокъ и составлялъ вершину ея крутаго берега. Изъ оконъ домовъ, находившихся въ крѣпости, видна была, на далекое разстояніе, рѣка и луговая сторона ея, съ деревнями, монастырями, мельницами, рощами, лѣсами, холмами.

У одного изъ такихъ оконъ сидѣли Евгенія и Лидія, и шили какіе-то для себя наряды. Ѳеодосія и Иларіона не было дома.

«Какъ я ни посмотрю на тебя, сестрица,» сказала Лидія, «все мнѣ приходитъ въ голову, что мы съ тобой въ Угличѣ первыя красавицы — да что я говорю въ Угличѣ...

«Не скажешь ли, въ цѣломъ свѣтѣ, Лидія?

«Ну, нѣтъ, это будетъ немножко хвастливо. Что же касается до Углича, мы навѣрное здѣсь первыя. Что тутъ скромничать! Я видала здѣсь много прекрасныхъ лицъ, но всѣ они похожи на куколъ. И пошевелиться не смѣютъ.

«И мы были бы съ тобою такія же молчаливыя, если бы воспитывались не въ Польшѣ. За то, послушай, что здѣсь про насъ говорятъ!

«Ну, что, что говорятъ? Да здѣсь никто и говорить-то не умѣетъ. Молодыя рта разинуть не смѣютъ, а пожилыя и старыя сожмутъ развѣ только значительно губы и покачаютъ своими умными головами. Это еще бѣда не большая.

«Насъ всѣ называютъ бусурманками.

«Бусурманками!» вскричала Лидія, захохотавъ. «Да за что это?

«За то, что мы не соблюдаемъ здѣшнихъ обычаевъ.

«Хороши обычаи! Каждая дѣвушка сиди въ своей свѣтлицѣ, какъ въ клѣткѣ, и не смѣй носу высунуть въ окошко; съ мужчинами не говори ни слова, какъ нѣмая, и только родственникамъ въ поясъ кланяйся, сложа степенно руки; прогуляться по городу и не думай, а пойдешь въ церковь, то иди съ конвоемъ бабушекъ и тетушекъ, земли подъ собой не слыша отъ страха и потупивъ глаза; взглянуть на мужчину, хоть бы ему было девяносто лѣтъ отъ роду, не смѣй. Мнѣ кажется, здѣшнія красавицы и на попа въ церкви смотрѣть боятся. Не смотри на мужчинъ! Да что они за звѣри такіе! Почему на нихъ намъ не смотрѣть, и прямо въ глаза? Чего ихъ бояться? Они глазѣютъ же на насъ!

«Ты разсуждаешь по-Польски, а мы теперь въ Угличѣ. Каждая земля, каждый городъ имѣетъ свои нравы и обычаи...

«Которымъ я слѣдовать не хочу. Каждая дѣвушка, которая поумнѣе и образованнѣе другихъ, можетъ имѣть свои нравы и обычаи. Пускай съ насъ берутъ примѣръ.

«Мы съ тобою однихъ лѣтъ, и было бы смѣшно, если бъ я вздумала учить тебя; но... я боюсь, чтобы ты не повредила своей доброй славѣ и не подала повода къ пересудамъ.

*

«Не боюсь я никакихъ пересудовъ! Ихъ никто не избавится, хоть въ лѣсъ отъ людей убѣги. И тутъ какая нибудь найдется благочестивая кумушка, которая, вздохнувъ, скажетъ: «Дѣвка-то въ лѣсъ ушла. Ну, что ей одной въ лѣсу дѣлать!»

«Съ этими правилами ты не найдешь себѣ жениха здѣсь.

«Есть чего искать! Пусть они меня ищутъ. Не можетъ быть, чтобъ я никому не понравилась. Да надобно, чтобы и онъ мнѣ понравился. А все-таки прежде я его хорошенько помучу. Больше цѣнить меня будетъ.

«Не ошибись въ разсчетахъ, сестрица!

«Да у меня никакихъ разсчетовъ нѣтъ. Буду всѣмъ показывать себя, какова я есть. Ужъ притворяться ни для кого не стану. Буду на всѣхъ смотрѣть, выбирать, сравнивать. Развѣ это не весело? Пусть меня пересуживаютъ! У кого совѣсть чиста, тотъ можетъ всякому смѣло смотрѣть въ глаза, не исключая и молодыхъ мужчинъ, которые не вѣсть какъ много о себѣ думаютъ. А ужъ если я кому понравлюсь, и увижу, что онъ меня стоитъ, потѣшу же я себя надъ нимъ. Я его переучу по своему. Здѣшніе всѣ женихи немножко на медвѣдей похожи; а мой будетъ и мазурку танцовать, и играть на гитарѣ, и пѣть, и читать латинскія книги, въ въ которыхъ я, правда, сама толку не знаю.

«Ахъ, ты веселая головушка!

«Да что жъ, развѣ лучше по твоему... грустить да задумываться? И о чемъ грустить тебѣ? У тебя ужъ есть женихъ. Иларіонъ-то славный малый! онъ всѣхъ здѣшнихъ жениховъ за поясъ заткнетъ. Какъ онъ мазурку

танцуетъ! Этакъ здѣшнимъ женихамъ и во снѣ проплясать не пригрезится. Посмотрѣла я, какъ они танцуютъ: словно глину мѣсятъ!

«Какъ будто семейное счастіе зависитъ отъ одной мазурки.

«Конечно, не зависитъ, но все же мазурка не мѣшаетъ. Знаешь ли, что̀, сестрица? Мнѣ кажется, что Иларіонъ не очень тебѣ нравится. Если это правда, то уступи мнѣ его. Я тебя за это поцѣлую.

«Перестань, что ты за пустяки говоришь, шалунья!

«Ну, скажи правду, признайся. Мы здѣсь однѣ. Ты очень любишь Иларіона?

«Люблю.

«Больше всѣхъ на свѣтѣ?

«Конечно.

«А что̀ ты скажешь о Ѳеодосіи?

«Это что за вопросъ! Я люблю и Ѳеодосія, но такъ же, какъ и ты.

«Ну, а онъ тебя такъ черезчуръ любитъ.

«Я думаю такъ же, какъ и тебя.

«Нѣтъ, не также: большая разница! Я давно за нимъ примѣчаю. Онъ думаетъ, что я вѣтренная, что я ничего не понимаю. Нѣтъ, я гораздо догадливѣе, нежели онъ воображаетъ. Отчего, напримѣръ, со мной онъ говоритъ охотно и много, а съ тобой все выбираетъ время говорить, и болѣе молчитъ, когда ты тутъ?

«Перестань пустяки выдумывать. Тебѣ, кажется, хочется убѣдить меня, чтобы я уступила тебѣ Иларіона.

«Вотъ еще! Ужъ это не упрекъ ли? Не нужно мнѣ твоего Иларіона! Я постараюсь понравиться Ѳеодосію. Онъ также танцуетъ порядочно мазурку. Или найду кого нибудь изъ здѣшнихъ, да отучу его отъ всего, что̀ мнѣ въ немъ не понравится, и выучу его всему, всему, что̀ мнѣ нравится. Онъ лучше Иларіона будетъ.

«Ахъ, Лидія, ты совершенное дитя! Завидую твоему веселому характеру.

«А я твоему не завидую. Ты невѣста, и такъ часто грустишь. Посмотри на меня, когда я буду невѣстой. Грусть тогда на десять верстъ не осмѣлится ко мнѣ подъѣхать.

«Дай Богъ, чтобы она всегда была на сто верстъ отъ тебя, но въ жизни никто не избѣгалъ печали. Такъ жизнь устроена!

«А я перестрою ее по-своему.

«Что ты хочешь перестроить, Лидія?» спросилъ Ѳеодосій, входя въ комнату. «Свою свѣтелку, что ли?

«Нѣтъ, не свѣтелку, а жизнь.

«Какъ! Жизнь?

«Да вотъ, сестрица говоритъ, будто бы жизнь такъ устроена, что всегда и всѣмъ надобно печалиться, даже невѣстамъ.

«Ты, Лидія, переиначиваешь слова мои,» замѣтила Евгенія, не много смутившись. «Надобно знать связь всего нашего разговора.

«Какую же ты мысль сказала, Евгенія?» спросилъ Ѳеодосій, стараясь принять на себя шутливый и веселый видъ; между тѣмъ объ дѣвушки замѣтили, что онъ скрывалъ отъ нихъ сильное душевное волненіе.

Въ то время вошелъ въ комнату Иларіонъ.

«Еще добрыя вѣсти изъ Москвы,» сказалъ онъ. «Князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскій, котораго теперь Москва на рукахъ носитъ, обѣщалъ говорить обо мнѣ Царю. Онъ хочетъ самъ итти противу Польскаго короля Сигисмунда, который стоитъ теперь у Смоленска, не смѣя итти впередъ и стыдясь отступать, а къ Калугѣ, куда бѣжалъ Тушинскій самозванецъ, Князь намѣревается отрядить небольшое войско, чтобы уничтожить шайку злодѣя. Онъ хочетъ пожаловать меня въ Стрѣлецкіе Головы и назначить въ это войско, которое, по окончаніи похода, останется въ Калугѣ. Богъ услышалъ мои молитвы, милая Евгенія! Счастіе наше не далеко.»

Онъ поцѣловалъ свою невѣсту.

«Такъ мы скоро и на сватьбѣ попируемъ!» вскричала Лидія, прыгая отъ радости. «Ужъ какъ же я мазурку протанцую! Всѣ на меня заглядятся.

«Ты поблѣднѣла, Евгенія?» сказалъ Иларіонъ, пристально глядя ей въ глаза. «Что съ тобою сдѣлалось?

«Всякое неожиданное извѣстіе, какъ бы оно радостно ни было, производитъ на меня странное дѣйствіе. Я самой себя не понимаю.

«Когда же, сестрица, ты пойдешь къ вѣнцу?» спросила Лидія, цѣлуя Евгенію.

«Я хотѣлъ тебя о томъ же спросить, моя милая!» сказалъ Иларіонъ, взявъ Евгенію за обѣ руки и нѣжно смотря ей въ глаза. «Походъ въ Калугу почти нельзя называть походомъ. Это скорѣе будетъ прогулка. Выгнать изъ города ничтожную шайку самозванца и упи-

чтожить ее, на это нужно будетъ нѣсколько часовъ. Мнѣ бы хотѣлось, моя милая, чтобы молодая жена моя поздравила меня съ побѣдой.

«Я въ твоей волѣ, Иларіонъ! Я готова ѣхать съ тобою, куда хочешь.

«И такъ наша сватьба будетъ здѣсь, въ Угличѣ, прежде отъѣзда въ Калугу? Ты согласна, Евгенія?

«Въ Угличѣ, непремѣнно въ Угличѣ!» воскликнула Лидія. «Ѳеодосію нельзя будетъ ѣхать на сватьбу къ вамъ, въ Калугу, а мнѣ и подавно. Кто же безъ меня невѣсту къ вѣнцу одѣнетъ? Кто на свадебномъ пиру протанцуетъ мазурку такъ хорошо, какъ я? Безъ моей мазурки и сватьба будетъ не въ сватьбу.

«Что это? У тебя слезы на глазахъ, Евгенія?» сказалъ Иларіонъ. «Я, пожалуй, подумаю, что ты выходишь замужъ за немилаго. Ты, кажется, совсѣмъ не рада. Скажи, ради Бога, что съ тобою?

«Мнѣ пришло на мысль, что я должна разстаться на долго и — кто знаетъ? — можетъ быть, навсегда съ моей сестрицей Лидіей!

«А со мной, Евгенія, ты разстанешься безъ всякаго сожалѣнія?» спросилъ Ѳеодосій, стараясь придать своему вопросу шутливое выраженіе; но голосъ его отъ сильнаго внутренняго движенія дрожалъ.

Евгенія бросилась Ѳеодосію на шею, прижалась лицемъ къ плечу его, и заплакала.

—

III.

Иларіонъ гулялъ съ Евгеніей по крутому берегу Волги. Разговоръ ихъ переходилъ отъ предмета къ предмету. Глаза Иларіона сіяли восторгомъ, упоеніемъ счастія. Евгенія также была весела, но по временамъ задумчивость мелькала на лицѣ ея. Прелестные глаза дѣвушки опускались къ землѣ, и если въ это время какая нибудь шутка Иларіона вызывала на уста ея улыбку, то въ этой улыбкѣ замѣтна была какая-то принужденность.

«Скажи мнѣ, Евгенія, отчего ты все печальна? О чемъ тебѣ теперь печалиться?

«Съ чего ты взялъ, Иларіонъ, что я печальна?

«Ты, безъ сомнѣнія, что нибудь скрываешь отъ меня.

«У меня нѣтъ для тебя ничего тайнаго.

«Докажи мнѣ это. Скажи мнѣ, о чемъ думала ты теперь, когда такъ засмотрѣлась на струи Волги?

«Мнѣ пришло въ голову старое сравненіе рѣки съ жизнью. Я увидѣла вонъ это лебединое перо. Посмотри, какъ быстро несетъ его Волга. Куда плыветъ оно? гдѣ остановится? Такъ и мы не знаемъ, что будетъ съ нами? куда умчитъ насъ быстрый потокъ жизни?

«Онъ умчитъ тебя въ мои объятія, онъ принесетъ тебя къ порогу скромнаго, свѣтлаго домика, гдѣ ждутъ тебя неизмѣнная, пламенная любовь и семейныя радости, которыхъ нѣтъ ничего выше на землѣ. Ахъ, Евгенія! ты меня не такъ любишь, какъ я тебя. Если бы

ты также любила, то также бы и радовалась близости нашего счастія.

«Ты несправедливъ, Иларіонъ. Ты знаешь давно, что я люблю тебя. Болѣе любить я не умѣю. Цѣню вполнѣ мое счастіе и благодарю за него Бога, но при всемъ томъ не могу защитить себя отъ грустныхъ мыслей. Онѣ невольно приходятъ въ голову. Таковъ ужъ мой характеръ, которому я иногда сама не рада. Я люблю воспоминать о прошедшемъ, цѣню настоящее, умѣю наслаждаться имъ, но боюсь будущаго. Я никогда не предавалась, какъ другія, мечтамъ, надеждамъ и пламеннымъ желаніямъ. Что было, того никто не отниметъ у меня; наслажденія въ настоящемъ могла бы я чувствовать живѣе, если бъ не отравлялись они мыслію, что все на землѣ является на мигъ. О будущемъ я стараюсь никогда не думать. Положимъ, что однѣ радости ожидаютъ насъ впереди. Но, что такое будущее? Оно богатый запасъ, вѣрная добыча для прошедшаго. Чему назначено быть, тому назначено и пройти. По этому ожиданіе будущаго счастія никогда меня не радуетъ. И кто знаетъ, придетъ ли еще оно?

«Къ чему, моя милая, такъ мрачно смотрѣть на жизнь? Много въ ней горя, но много и радостей. Къ чему ожидать одного худаго? Теперь счастіе наше недалеко и, кажется, вѣрно. Неужели и это тебя не радуетъ?

«Я не люблю притворства, я должна быть откровенна съ тобою. Я бы обманула тебя, если бы отвѣчала: радуетъ.

«Не радуетъ.... Ты меня не любишь, Евгенія!

«Не обижай меня напраснымъ подозрѣніемъ. Нѣтъ, Иларіонъ! Я люблю тебя, очень люблю, но... говорятъ, что любовь даетъ намъ полное блаженство. Сердце мое его не чувствуетъ. Счастіе мое отравляется многимъ, многимъ!

«Чѣмъ же?

«Не должна ли я разстаться, разойтись по разнымъ дорогамъ жизни съ Лидіей, съ которою росла съ младенчества? А бѣдный Ѳеодосій, который такъ много потерпѣлъ въ жизни, который утратилъ навсегда свое счастіе! Лидія не можетъ для него замѣнить меня. Она слишкомъ весело смотритъ на жизнь, не приметъ въ немъ такого участія, не пойметъ его страданій и не съумѣетъ облегчить ихъ. Если я вижу, что страдаетъ другой, и что я могу помочь ему, пожертвовавъ своимъ собственнымъ счастіемъ, я готова на эту жертву. Она тѣмъ для меня легче, что я не могу быть счастлива при мысли о страданіяхъ другаго, которыя я умѣла облегчать и которыя облегчать уже не буду въ силахъ.

«Зачѣмъ же, Евгенія, ты увѣряла, что любишь меня? Останься съ Ѳеодосіемъ. Я поѣду одинъ въ походъ и постараюсь разлюбить, забыть тебя. О! это слишкомъ дорого мнѣ будетъ стоить. Евгенія, Евгенія! что сдѣлала ты со мною? Для чего давно не сказала, что меня не любишь, что меня любить не можешь?

«Ты бы сталъ страдать, Иларіонъ, а я люблю тебя наравнѣ съ Ѳеодосіемъ — нѣтъ! люблю теперь болѣе потому, что теперь я необходимѣе для тебя, чѣмъ для него. Горесть его лишилась уже прежней силы; онъ можетъ теперь обойтись безъ меня, и найдетъ утѣше-

ніе въ твердости души своей, а ты, если бы я отвергла любовь твою, ты навѣрное не перенесъ бы этого. Я твоя, Иларіонъ! Но ты плачешь? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!» воскликнула она, бросясь ему на шею и цѣлуя его въ глаза, наполненные слезами. «Я тебѣ не позволю плакать.»

Иларіонъ въ восторгѣ сжалъ ее въ объятіяхъ.

«Такъ ты меня любишь, Евгенія?

«Ты давно ужъ это знаешь. Я никогда, никого не обманывала.»

Ѳеодосій, облокотясь на пушку, смотрѣлъ въ глубокой задумчивости съ земляного вала на Волгу. Лидія, оставшись дома одна, не знала, что дѣлать со скуки. Изъ окна увидѣвъ Ѳеодосія, она вздумала взобраться къ нему на валъ.

«А вотъ и я здѣсь!» сказала она, запыхавшись. «Какъ трудно взбѣжать сюда! Я совсѣмъ задохлась.

«Лидія!» вскричалъ удивленный Ѳеодосій. «Откуда ты явилась? Что тебѣ вздумалось!

«Я увидѣла изъ окна, что ты стоишь у этой пушки, повѣся носъ, и будто подслушиваешь: не скажетъ ли тебѣ чего пушка? — Онъ отъ нея ни словечка не дождется, подумала я, и побѣжала сюда, чтобы поговорить съ тобою. Ты, кажется, очень печаленъ, Ѳеодосій?

«Нимало. Я только задумался.

«Нѣтъ, ты печаленъ, и я знаю, отъ чего.

«А отъ чего бы, напримѣръ?

«Отъ того, что Евгенія замужъ скоро выходитъ и отсюда уѣзжаетъ.

«Напротивъ: ея счастіе меня радуетъ. Правда, что мнѣ скучно съ нею разставаться; но, я думаю, и тебѣ не весело?

«Да нельзя ли какъ сдѣлать, чтобы они здѣсь остались? Вѣдь я пропаду съ тоски. Ты всегда такой задумчивый, а безъ Евгеніи отъ тебя и слова никогда не добьешься. Ты будешь очень горевать, да и она также.

«Почему это?

«Потому, что она тебя любитъ болѣе, чѣмъ Иларіона.

«Не говори пустяковъ, Лидія.

«Ну, пусть я говорю пустяки! Только я знаю то навѣрное, что ты любишь Евгенію болѣе всего на свѣтѣ; она любитъ тебя болѣе, чѣмъ Иларіона, а я... люблю Иларіона болѣе, чѣмъ она. Но Иларіонъ меня не любитъ — такъ и Богъ съ нимъ!

«Откуда все это пришло тебѣ въ голову?

«Пришло съ разныхъ сторонъ; черезъ эти два окошечка, которыя называются глазами, и которыя, говорятъ, очень свѣтлы и не дурны, да еще отсюда.»

Она положила руку на сердце.

«Ты настоящій ребенокъ, Лидія!

«Хорошъ ребенокъ: девятнадцати лѣтъ.

«Я не говорю: по лѣтамъ.

«Что жъ? Глупа я что ли, по твоему?... Какъ бы не такъ!... Видишь, ему досадно, что я догадалась о томъ, что онъ такъ скрывать старается. Не безпокойся, не проведешь меня! Я давно все вижу. Глаза-то у меня не для одной красы вставлены. И уши также у девятнад-

цати-лѣтняго ребеночка не для того только, чтобы будущій мужъ мой за какую нибудь проказу могъ имѣть удовольствіе выдрать меня за уши. Да, я ему еще это и не позволю.

«А ты стоила бы этого, Лидія, за всѣ твои выдумки.

«Ну, хорошо, выдери мнѣ ухо, если ты по чистой совѣсти увѣренъ, что я говорю неправду. Что? Рука, видно, не поднимается?

«Я въ совѣсти увѣренъ только въ томъ, что ты большая проказница.

«А я увѣрена въ томъ, что ты очень худо дѣлаешь, тая отъ всѣхъ насъ настоящія твои чувствованія. Если Евгенія увидитъ, что ты ее такъ любишь, и она скрываться не станетъ. Можетъ и то быть, что она теперь сама не понимаетъ чувствъ своихъ. Иларіонъ сначала погорюетъ немножко; но я его постараюсь утѣшить. Онъ наконецъ меня полюбитъ, и на мнѣ женится. Все уладится, какъ нельзя лучше. Всѣ будемъ довольны и счастливы.»

Совѣтъ Лидіи сильно взволновалъ Ѳеодосія. Онъ съ трудомъ могъ скрыть свое волненіе и не отвѣчалъ ей ни слова. Взглянувъ въ сторону, онъ сказалъ: «Кто это идетъ сюда къ намъ? Гонецъ, кажется. Откуда и какія вѣсти привезъ онъ?»

Гонецъ подошелъ и, поклонясь, подалъ свитокъ Ѳеодосію.

«Боже мой!» вскричалъ онъ, прочитавъ свитокъ. «Какое ужасное несчастіе!

«Что, что такое?» сказала, встревожась, Лидія.

«Племянникъ Царя, Князь Михаилъ Васильевичъ, скоропостижно скончался. Какая потеря для отечества! Какая радость для враговъ Россіи!

«Это тотъ самый Князь, который хотѣлъ говорить Царю объ Иларіонѣ и послать его въ Калугу?

«Да, Лидія, тотъ самый. Боже мой, Боже мой! Смерть въ такія молодыя лѣта, и въ такое время! Пойдемъ, Лидія, домой скорѣе. Иди за мною,» прибавилъ онъ, обратясь къ гонцу.

—

IV.

Съ кончиною Князя Михаила Скопина-Шуйскаго закатилась счастливая звѣзда Царя Василія Іоанновича. Польскій Король Сигисмундъ, стоявшій до того времени въ недоумѣніи у Смоленска, рѣшился дѣйствовать наступательно; Тушинскій самозванецъ, подкрѣпленный Сапѣгою, изъ Калуги подступилъ къ Москвѣ и сталъ лагеремъ въ селѣ Коломенскомъ. Гетманъ Жолкѣвскій, посланный Сигисмундомъ, съ небольшимъ отрядомъ, на встрѣчу Русскому войску, которое шло къ Смоленску подъ начальствомъ брата царскаго, Князя Димитрія Шуйскаго, сошелся съ нимъ близъ села Клушина и разбилъ его на голову, воспользовавшись измѣною наемныхъ иностранцевъ. Рязанскій дворянинъ Прокопій Ляпуновъ поднялъ знамя бунта, обвиняя Царя Василія и брата его, Димитрія, какъ отравителей

Князя Михаила, котораго народъ назвалъ отцемъ отечества.

Ѳеодосій и Иларіонъ готовились выступить съ Угличскимъ полкомъ стрѣльцовъ къ Москвѣ, по присланному повелѣнію царскому.

«Завтра, на разсвѣтѣ, пойдемъ въ походъ,» сказалъ Ѳеодосій, осматривая свое оружіе.

«А когда воротитесь, — Богъ знаетъ!» замѣтила Лидія. «Ну что мы безъ нихъ станемъ дѣлать, сестрица? Одна кухарка Сидоровна останется съ нами! Очень весело! Мнѣ ужасъ какъ плакать хочется!

«Я бы тебѣ совѣтовалъ, Лидія, пойти скорѣе въ свою комнату и лечь спать,» сказалъ Ѳеодосій. «Скоро уже полночь. Вы обѣ слишкомъ устали сегодня, снаряжая насъ въ дорогу.

«Да, уснешь теперь! Посмотри тамъ, какія тучи! Вотъ и молнія!... Іюль уже на исходѣ, а ни одной грозы еще не было. За то, я думаю, сегодня ночью будетъ такой громъ, что ужъ и я струшу. Уфъ, какой ударъ! Сестрица! сестрица! отойди отъ окошка.

«Я не боюсь грозы, и люблю смотрѣть, какъ извивается молнія.

«Затвори, по крайней мѣрѣ, окошко.

«Что это, Евгенія?» сказалъ Иларіонъ, отводя ее отъ окна. «Ты, любуясь на молнію, плачешь? Перестань горевать, мой другъ! Мы скоро воротимся.»

Въ это время послышался у воротъ стукъ, и вскорѣ вошелъ торопливо въ комнату Стрѣлецкій Сотникъ,

Ивановъ. Не задолго до того Ѳеодосій послалъ его въ Москву съ донесеніями Стрѣлецкому Приказу.

«Что это значитъ, Илья Сергѣичъ?» сказалъ удивленный Ѳеодосій. «Для чего ты такъ поспѣшно воротился?»

Ивановъ началъ приглаживать свои сѣдые волосы, и вздохнулъ, не говоря ни слова.

«Что съ тобой сдѣлалось?

«Я такія вѣсти привезъ изъ Москвы, Ѳеодосій Петровичъ, что ты ни за что не повѣришь мнѣ и подумаешь, что я помѣшался.

«Ради Бога, говори скорѣе, что такое?

«У насъ уже нѣтъ Царя!

«Боже мой! Неужели скончался?

«Нѣтъ, онъ живъ.

«Я не понимаю тебя.

«Измѣнники и бунтовщики свели его съ престола и насильно постригли въ монахи.

«Возможно ли!

«Положено избрать Царя всею землею, а до того времени государствомъ будетъ править Князь Ѳедоръ Ивановичъ Мстиславскій съ Боярскою Думой. Во всѣ города отправлены граматы объ этомъ и крестоприводныя записи. И къ тебѣ прислана запись съ приказомъ, чтобы ты по ней всѣхъ насъ и всѣхъ Угличанъ привелъ къ присягѣ. Вотъ она.»

Въ записи было сказано: «Цѣлую крестъ на томъ: мы «Дворяне, и Чашники, и Стольники, и Стряпчіе, и «Головы, и Дѣти Боярскіе, и Сотники, и Стрѣльцы, «и Казаки, и всякіе служилые люди и приказные, и

«гости, и торговые, и черные, и всякіе люди всего Мо-
«сковскаго Государства, били челомъ Боярамъ Князю
«Ѳедору Ивановичу Мстиславскому съ товарищами,
«чтобы прямили Московское Государство, пока намъ
«Богъ дастъ Государя, и крестъ намъ на томъ цѣло-
«вать, что намъ во всемъ ихъ слушать и судъ ихъ вся-
«кій любить, что они кому за службу и за вину приго-
«ворятъ, и за Московское Государство и за нихъ сто-
«ять, и съ измѣнниками биться до смерти, а вора, ко-
«торый называется Царевичемъ Димитріемъ, на Мос-
«ковское Государство не желать, и между собою, другъ
«надъ другомъ и надъ недругомъ никакого зла не хо-
«тѣть, никому не мстить, не убивать, не грабить, зла
«ни надъ кѣмъ не мыслить и ни въ какую измѣну не
«вступать. А выбрать Государя на Московское Госу-
«дарство имъ Боярамъ и всякимъ людямъ всею землею;
«а Боярамъ Князю Ѳедору Ивановичу Мстиславскому
«съ товарищами за Государство стоять, и насъ всѣхъ
«праведнымъ судомъ судить, и Государя выбрать съ
«нами, всякими людьми, всею землею, сославшись съ
«городами, кого дастъ Богъ на Московское Государ-
«ство. А бывшему Государю Царю и Великому Князю
«Василью Ивановичу всея Россіи отказать и на Госуда-
«ревомъ Дворѣ не быть и впредь на Государствѣ не
«сидѣть, и намъ надъ Государемъ и надъ Государынею
«и надъ его братьями убійства не учинить и никакого
«зла; а Князю Димитрію да Князю Ивану Шуйскимъ
«съ Боярами въ Думѣ не сидѣть.»

Ѳеодосій, прочитавъ грамату, смялъ ее и бросилъ на столъ.

«Поклянусь въ одномъ, чего требуютъ: биться на смерть съ измѣнниками.

«Вся Москва, Ѳеодосій Петровичъ, присягнула,» сказалъ Ивановъ: «многіе города также. Что же мы одни противу всѣхъ станемъ дѣлать?

«Будемъ дѣлать то, къ чему обязываетъ насъ честь и совѣсть. Развѣ можно играть клятвами? Развѣ не клялись мы служить Царю Василью Ивановичу и стоять за него до послѣдней капли крови? Кто поручится мнѣ, что новую клятву не нарушатъ завтра же, какъ и прежнюю? Къ чему это все поведетъ?

«А если правда,» замѣтилъ Иларіонъ, «что на пиру Князя Димитрія, по волѣ Царя, былъ отравленъ спаситель отечества, Князь Михаилъ Васильевичъ?

«Пусть судитъ его въ этомъ Богъ: мы судить Царя не въ правѣ. Притомъ это одно подозрѣніе, или, еще вѣроятнѣе, клевета. Илья Сергѣевичъ! ты завтра поѣдешь съ донесеніемъ моимъ къ Царю Василію Ивановичу. Я напишу, что онъ поручилъ мнѣ Угличъ; что я безъ его повелѣнія не сдамъ крѣпости никому на свѣтѣ; что я исполню все, что онъ укажетъ, и буду ждать его царскаго слова.

«Ты погубишь себя и всѣхъ насъ!» сказалъ Иларіонъ.

«Можетъ быть, я погибну, но никогда не погублю моей чести и совѣсти! Пусть узнаютъ всѣ, что Угличъ остался вѣренъ Царю Василію. Всѣ преданные ему соберутся сюда; составится войско, пойдетъ на измѣнниковъ и возвратитъ Царю престолъ его...»

—

V.

Ивановъ изъ Москвы написалъ къ Ѳеодосію, что ищетъ случая передать донесеніе его Царю Василію, который жилъ въ монастырѣ, подъ строгимъ присмотромъ. Время между тѣмъ текло, и тучи, одна другой грознѣе, восходили надъ нашимъ отечествомъ. Почти вся Россія присягнула сыну Польскаго Короля, Владиславу, между тѣмъ, какъ Сигисмундъ замышлялъ присвоить Россію себѣ и уничтожить ее, слившъ съ Польшей. Гетманъ Жолкѣвскій занялъ Москву, Шведы брали Русскіе города на сѣверо-западѣ; измѣна, смятенія, грабежи волновали все государство.

Въ концѣ октября Ѳеодосій получилъ отъ Иванова письмо. «Дожили мы до позора!» писалъ онъ. «Рус-«скій, православный Царь въ полону у Ляховъ! Наши «измѣнники выдали Василія Ивановича Гетману Жол-«кѣвскому, а тотъ, переодѣвъ его въ простое литовское «платье, повезъ Царя къ Польскому Королю Сигисмун-«ду, въ лагерь подъ Смоленскомъ.»

Ѳеодосій сдалъ начальство надъ Угличскою крѣпостію Иларіону, приказалъ править ею именемъ Царя Василія, не сдавать ни кому до послѣдней крайности, и самъ, переодѣвшись въ польское платье, сѣлъ на коня и поскакалъ къ Смоленску.

Черезъ нѣсколько дней забѣлѣлись передъ нимъ, вдали, каменныя башни этой крѣпости. Въ разныхъ мѣстахъ около нея стояли шатры Поляковъ, ихъ шанцы

и туры, съ наведенными на крѣпость пушками. Особенно сильны были укрѣпленія Поляковъ по лѣвую сторону Копытинскихъ Воротъ. Ѳеодосій подъѣхалъ къ цѣпи часовыхъ, намѣреваясь пробраться въ лагерь.

«Кто идетъ?»

Ѳеодосій назвался Польскою фамиліею, какая пришла ему первая въ голову, и сказалъ, что онъ изъ Москвы посланъ Жолкѣвскимъ въ лагерь, и что самъ Гетманъ вскорѣ за нимъ будетъ. Однако жъ часовой затруднился пропустить его за цѣпь.

«Что у васъ за споръ?» спросилъ Польскій всадникъ, подъѣхавъ къ Ѳеодосію. «Кто ты таковъ?»

Прежде, чѣмъ дастъ отвѣтъ Ѳеодосій на этотъ вопросъ, надобно разсказать, кто таковъ этотъ всадникъ.

Это былъ Панъ Струсь, не тотъ извѣстный полковникъ Струсь, который, во время пожара Москвы 1611 года, изъ Можайска прискакалъ съ отрядомъ на помощь Полякамъ, и впослѣдствіи отстаивалъ Кремль, осажденный Княземъ Пожарскимъ. Послѣдній попалъ въ Исторію, вѣроятно не думая объ этомъ, а первый постоянно объ этомъ думалъ, но не попалъ, хотя и стоилъ того по многимъ отношеніямъ. Онъ былъ дальній родственникъ полковника. Владѣя въ Польшѣ довольно обширнымъ, наслѣдственнымъ помѣстьемъ, онъ жилъ безъ всякаго разсчета; въ роскоши, гостепріимствѣ, великолѣпіи не хотѣлъ отставать отъ первыхъ богачей Польши, и вскорѣ прожилъ все имѣніе. Это побудило его вступить въ военную службу и отправиться въ походъ со всею многочисленною своею дворнею, ко-

торую ему кормить было не чѣмъ. Онъ надѣялся, при взятіи приступомъ двухъ, трехъ Русскихъ, богатыхъ городовъ, поправить свое состояніе. Онъ хотѣлъ сверхъ того при всякомъ случаѣ не упускать военной добычи, и года черезъ два думалъ воротиться на свою родину богаче прежняго. Главная страсть его была честолюбіе. Онъ хотѣлъ быть выше всѣхъ на свѣтѣ, мечталъ попасть въ вельможи, и даже, со временемъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ Короли.

Природа создала его трусливымъ и изнѣженнымъ сибаритомъ; но съ другой стороны, отъ непомѣрнаго честолюбія, онъ такъ боялся прослыть трусомъ, что приходилъ отъ одной мысли объ этомъ въ отчаяніе, которое дѣлало его храбрымъ до неистовства. Естественно, что въ этой насильственной храбрости не было ни постоянства, ни хладнокровія. Когда порывъ отчаянія утихалъ, когда онъ былъ увѣренъ, что неустрашимость его уже доказана, и что можно, безъ срама, уклониться отъ опасности, онъ всегда отъ нея спасался какъ заяцъ. Отъ этого онъ всегда былъ первый въ нападеніи, и первый же, когда другіе отступали или бѣжали.

Желаніе быть выше всѣхъ, не уступать ни кому, дѣлало его во мнѣніяхъ упрямымъ и настойчивымъ до невѣроятности. Онъ готовъ былъ спорить со всякимъ, о чемъ бы то ни было, хоть до драки. Занимавшись въ молодости изученіемъ Польскаго законодательства, онъ употреблялъ въ дѣло свои познанія при спорахъ, и такъ привыкъ мнѣнія свои подкрѣплять словами закона, что наконецъ началъ большею частію выдумывать

статьи и артикулы существующихъ или небывалыхъ королевскихъ повелѣній, статутовъ, конституцій и сеймовыхъ постановленій, если только споръ происходилъ не при какомъ нибудь юристѣ или адвокатѣ. Иногда, разгорячась, онъ отчаянно спорилъ и съ юристами, увѣренный, что никто изъ нихъ не можетъ твердо помнить безчисленнаго множества Польскихъ законовъ.

Онъ былъ чрезвычайно нетерпѣливъ и вспыльчивъ. Противорѣчіе тотчасъ выводило его изъ себя. Если онъ что нибудь выдумывалъ, на что нибудь рѣшался, или давалъ другому какой нибудь совѣтъ, то не могъ спокойно спать, не пополнивъ своей мысли, или не принудивъ другаго послѣдовать его совѣту.

Въ этихъ случаяхъ онъ цѣлый день, а не рѣдко и цѣлую недѣлю, все думалъ объ одномъ и томъ же. Мысль: какъ бы сдѣлать это, какъ бы доказать ему, какъ бы принудить его, уличить, довести ad absurdum,—безпрестанно вертѣлась у него въ головѣ и мучила его. Отъ этого онъ былъ чрезвычайно разсѣянъ; помнилъ малѣйшія подробности разговора или спора, который былъ за недѣлю, и забывалъ, что было имъ или ему сказано за минуту. Еще особенная черта его характера была та, что онъ легко влюблялся. Двадцать лѣтъ сряду твердилъ онъ, что въ будущемъ мѣсяцѣ непремѣнно женится, и дожилъ до сорока пяти лѣтъ холостякомъ. Однажды вздумалось ему припомнить по порядку красавицъ, въ которыхъ онъ былъ страстно влюбленъ. Онъ началъ ихъ считать и не могъ кончить счета. Ему самому стало смѣшно. Счетъ его остановился на семдесять четвертой, въ 1605 году; осталось еще

исчислить предметы любви за пять лѣтъ и нѣсколько мѣсяцевъ.

Онъ былъ средняго роста, довольно толстъ и неуклюжъ. Воображая себя чрезвычайно ловкимъ, онъ не дѣлалъ ни одного движенія, ни одного шагу спроста, безпрестанно рисовался и становился въ разныя живописныя позиціи, какъ будто сбираясь танцовать, и крутилъ свои длинные усы. Глаза его были большіе, черные; густыя брови съ просѣдью находились въ безпрестанномъ движеніи: онъ то опускалъ ихъ, то поднималъ, то кривилъ. Орлиный носъ его, довольно длинный и согнувшійся, какъ мелкій шляхтичъ передъ богатымъ паномъ, старался, казалось, заглянуть въ ротъ, который часто улыбался не впопадъ и потомъ быстро принималъ, также рѣдко впопадъ, важное и строгое выраженіе. Когда онъ слушалъ чей нибудь разсказъ, то всегда нижнею губою прижималъ верхнюю къ носу, кивалъ значительно головою и дѣлалъ жесты то одобренія, то охужденія, то сомнѣнія.

Главный, общій характеръ его физіономіи и вообще наружности выражалъ самодовольство и гордость, съ легкимъ оттѣнкомъ глупости.

Эта самая особа подъѣхала къ Ѳеодосію съ вопросомъ: «кто ты таковъ?»

«Я шляхтичъ Ходзинскій,» отвѣчалъ Ѳеодосій по-Польски: «пріѣхалъ сюда изъ Москвы передъ Гетманомъ Жолкѣвскимъ, который сюда скоро будетъ.

«А зачѣмъ онъ будетъ сюда? Мы и безъ него возьмемъ Смоленскъ. Въ храбрости мы ему не уступимъ.

«Онъ везетъ сюда Московскаго Царя, котораго взялъ въ плѣнъ.

«Взялъ въ плѣнъ! Чортовъ хвостъ! Да это превосходно! Но послушай, любезный: ты, мнѣ кажется, врешь.

«Нѣтъ, панъ, я говорю правду.

«Дьявольская бомба! Царь Москалей нашъ плѣнникъ! Это превосходно! Да здравствуетъ Польша!

«Вели же, вельможный панъ, пропустить меня въ лагерь. Я хочу записаться въ какой нибудь полкъ изъ здѣшнихъ. Полкамъ, которые въ Москвѣ, совсѣмъ не платятъ жалованья.

«Хочешь ли служить подъ моимъ начальствомъ? Я панъ Струсь. Ты, я думаю, слыхалъ обо мнѣ?

«Какъ не слыхать! Я поставлю себѣ за особую честь служить у васъ.

«Такъ поди къ моему ротмистру и вели себя внести въ списокъ. Или подожди: я самъ тебя запишу.»

Струсь въ разсѣянности забылъ, что онъ еще не полковникъ, а ротмистръ. Онъ вынулъ изъ кармана бумагу и карандашъ, и записалъ вымышленное имя Ѳеодосія.

«А сколько ты хочешь жалованья?» продолжалъ Струсь.

«Сколько назначите. Я торговаться не стану.

«Чортовъ хвостъ! Да ты лихой малый. Ну, иди же за мной. Я назначу, въ которой тебѣ быть палаткѣ. О жалованьѣ не безпокойся; будешь мною доволенъ.»

На другой день прибылъ Гетманъ Жолкѣвскій. По всему лагерю разнеслась вѣсть, что онъ привезъ взята-

го имъ въ плѣнъ Царя Московскаго. Вездѣ поднялся шумный говоръ, вездѣ раздавались радостныя восклицанія.

Сигисмундъ, для бо́льшаго блеска, велѣлъ Жолкѣвскому представить ему Царя Василія передъ лицемъ всего войска. Королевская палатка стояла на холмѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ крѣпости, и была закрыта отъ выстрѣловъ земляннымъ валомъ. Передъ палаткой устроили родъ трона, на которомъ долженъ былъ сидѣть Сигисмундъ, принимая Шуйскаго. Около трона разостлали нѣсколько ковровъ, гдѣ должна была стоять королевская свита. Звукъ трубъ подалъ знакъ войску о начатіи торжества.

Струсь, сопровождаемый Ѳеодосіемъ, котораго онъ очень полюбилъ, протѣснился сквозь толпу, и, чтобы лучше все видѣть, взлѣзъ съ нимъ на земляной валъ, который находился подлѣ королевской палатки. На валу и со всѣхъ сторонъ около холма и палатки стояло уже множество народа.

«Желаю здравія, панъ!» сказалъ Струсь, увидѣвъ на валу, въ числѣ зрителей, своего полковника, Ивана Каганскаго.

«Здравствуйте, ротмистръ!» отвѣчалъ тотъ.

«Скоро ли торжество начнется?» спросилъ Струсь.

«Король уже пріѣхалъ, и теперь въ палаткѣ. Я думаю, онъ сейчасъ оттуда выйдетъ и сядетъ на тронъ. Какъ отсюда все хорошо увидимъ! Валъ не высокъ. Можно даже разслушать, что́ тамъ внизу говорить будутъ.

«Дьявольская бомба! Это прелюбопытно! А вотъ позвольте, полковникъ, представить вамъ шляхтича Ходзинскаго. Онъ вчера записался въ нашъ полкъ.

«А кто его записалъ?» спросилъ Каганскій, посмотрѣвъ съ ногъ до головы на Ѳеодосія.

«Я записалъ.

«Кажется, слѣдовало бы прежде представить его полковнику и потомъ записать.

«Извините, полковникъ. Это совсѣмъ не было нужно. Ротмистръ имѣетъ полное право принять и записать кого бы то ни было.

«Извините, ротмистръ. Вы, я вижу, не знаете до сихъ поръ твердо порядка.

«Я не знаю порядка? Чортовъ хвостъ! Мы въ этомъ никому не уступимъ! Развѣ вы забыли статутъ Вислицкій 1347 года? Да и въ статутѣ Короля Владислава Ягеллы 1420 года сказано: «Ротмистръ имѣетъ «право принять и записать въ полкъ всякаго желаю«щаго.»

«Я не знаю вашихъ статутовъ, знаю только то, что...

«Не знаете статутовъ, полковникъ? А что говоритъ артикулъ пятнадцатый Сеймоваго постановленія 1583 или 85 года? Года не припомню навѣрное.

«Артикулъ этотъ говоритъ, что ротмистру не слѣдъ учить своего полковника.

«Вы, я вижу, шутите надъ законами и забываете, что въ обычаяхъ земли Краковской 1505 года, Consuetudines Cracovienses, постановлено на подобные случаи очень строгое правило.

«Ахъ, отстаньте, прошу васъ, ротмистръ! Вы меня задушить хотите цитатами изъ всѣхъ статутовъ, постановленій и обычаевъ, какіе только бывали или не бывали на свѣтѣ. Къ чему толковать съ глухимъ о музыкѣ?

«Стало быть, вы согласны, что ротмистръ имѣетъ право...

«Согласенъ, на все согласенъ! Тише, тише! Король вышелъ изъ палатки.»

Сигисмундъ сѣлъ на приготовленный тронъ. По правую и по лѣвую его руку помѣстились главные военачальники и вельможи. Тѣлохранители королевскіе стали около нихъ полукружіемъ. Два строя солдатъ, протянутые отъ холма до шатра, гдѣ былъ Жолкѣвскій съ Шуйскимъ, образовали родъ улицы. Раздался звукъ трубъ. Гетманъ вывелъ изъ шатра своего плѣнника и пошелъ впередъ. Шуйскаго, одѣтаго въ великолѣпное платье, окружила стража, и повела вслѣдъ за Гетманомъ. Раздались по всему полю шумныя восклицанія: «Да здравствуетъ Король! Да здравствуетъ Польша!»

«Вотъ ужъ Царь Москалей подходитъ къ Королю,» сказалъ Струсь, разглаживая свои усы. «Знай нашихъ! Мы, я думаю, скоро возьмемъ въ плѣнъ Китайскаго Императора.»

«Какъ онъ блѣденъ и печаленъ!» замѣтилъ Каганскій, глядя внимательно на Шуйскаго.

Ѳеодосій дрожалъ. Сердце его сжалось. — Боже! Боже! До чего дошла Россія! — думалъ онъ, готовый рыдать, и одна только слеза скатилась съ рѣсницъ его, но какая слеза!...

Шуйскаго поставили передъ Сигисмундомъ. Жолкѣвскій сказалъ Королю привѣтственную рѣчь и поздравилъ его съ плѣннымъ Царемъ Русскимъ.

«Царь Василій Ивановичъ!» сказалъ онъ въ заключеніе, обратясь къ Шуйскому: «преклони колѣна и поклонись твоему побѣдителю, могущественному и великому Королю Польши.»

При этихъ словахъ Шуйскій гордо поднялъ опущенную на грудь голову, взглянулъ на Гетмана, потомъ на Короля, и съ твердостію сказалъ: «Царь Московскій не кланяется Королямъ. Судьбами Всевышняго я плѣнникъ, но взятъ не вашими руками, а выданъ вамъ моими подданными, измѣнниками.»

Ѳеодосій готовъ былъ броситься къ ногамъ Шуйскаго.

«Дьявольская бомба!» воскликнулъ Струсь. «Онъ отвѣчалъ истинно по-царски! Тѣмъ болѣе намъ чести, что у насъ такой Царь въ плѣну.»

—

VI.

Наступила ночь. Шуйскій, въ той же одеждѣ, въ которой представленъ былъ Королю, сидѣлъ въ шатрѣ, на постелѣ, облокотясь на изголовье. На столикѣ передъ нимъ тускло горѣла свѣча въ фонарѣ. Стража стояла у входа.

Во всемъ лагерѣ еще длился общій пиръ, начавшійся съ утра. Вино лилось рѣкою. Слышались шумъ, клики, пѣсни.

— Не сонъ ли тяжелый мнѣ снится? думалъ Шуйскій. Неужели я, Царь Россіи, въ самомъ дѣлѣ не болѣе какъ узникъ Сигисмунда? Нѣтъ, нѣтъ! Я въ Кремлѣ. Это мои подданные ликуютъ и веселятся. Да! Такъ веселились они, когда я свергнулъ съ престола ненавистнаго всѣмъ самозванца, и когда они, въ порывѣ благодарности, избрали меня Царемъ. Богъ видитъ, желалъ ли я добра имъ. И что они со мной сдѣлали!... За то, что я для счастія ихъ не жалѣлъ этой сѣдой головы, которая лежала на плахѣ, когда я обличалъ самозванца, они сорвали съ нея царскій вѣнецъ, лишили меня свободы, постригли неволей въ чернецы, предали врагамъ Россіи, разлучили меня съ женою!.. Высока, крѣпка ограда Суздальскаго монастыря! Ты никогда уже не выйдешь изъ него, бывшая Царица! Напрасно будешь плакать и рваться,—въ могилѣ одной найдешь утѣшеніе! Мы уже съ тобой не увидимся въ этой жизни! Ты умрешь на чужихъ рукахъ, я не закрою глазъ твоихъ!... Я самъ умру, окруженный врагами, на чужой сторонѣ!...

—Гдѣ же мои угодники, мои льстецы? Что нейдете попрежнему кланяться мнѣ, выпрашивать у меня милостей? Я не нуженъ вамъ болѣе!... Я скоро умру, и всѣ позабудутъ меня!... Всѣ измѣнили мнѣ, всѣ меня возненавидѣли! И за что? Что я сдѣлалъ имъ?... Но, можетъ быть, есть люди, которые въ-тайнѣ жалѣютъ меня. Станутъ жалѣть многіе, когда будутъ страдать подъ

нгомъ Сигисмунда. Боже! спаси Россію, защити отъ враговъ ея!

— Польскій шатеръ прикрываетъ меня отъ ночнаго холода. Теперь двѣ сажени земли—всѣ мои владѣнія. Давно ли шатеръ мой былъ сводъ небесный, который раскидывался надъ обширнымъ царствомъ Русскимъ?

—Всѣ измѣнили мнѣ, всѣ возненавидѣли! Это ужасно! —

«Что надобно тебѣ?» спросилъ онъ, увидѣвъ человѣка, осторожно вошедшаго въ шатеръ.

Ѳеодосій бросился на колѣна передъ плѣннымъ Царемъ.

«Кто ты?» сказалъ Шуйскій, приподнявшись.

«Вѣрный подданный Вашего Царскаго Величества.

«У меня нѣтъ уже подданныхъ.

«Есть многіе, которые готовы умереть за тебя и за счастіе отечества.

«Они должны теперь ждать счастія отъ Сигисмунда.

«Сигисмунда ждутъ Русскія сабли! Я Стрѣлецкій Голова Алмазовъ, начальникъ Угличской крѣпости. Всѣ Стрѣльцы моего полка преданы Вашему Царскому Величеству. Я во всѣ стороны разошлю гонцевъ и буду звать всѣхъ къ Угличу, для защиты Царя и отечества. Соберутся тысячи. Многіе уже теперь видятъ, что, присягнувъ Королевичу Владиславу, они его никогда не дождутся, и что самъ Сигисмундъ хочетъ для себя поработить Россію и присоединить ее къ Польшѣ. На тебя, Государь, одна надежда. Ты законный Русскій Царь! Спасись отсюда изъ рукъ враговъ, укройся въ Угличѣ. Когда на стѣнахъ его разовьется твое знамя, без-

численная рать соберется, пойдетъ, ударитъ на полки Сигисмунда, и съ торжествомъ введетъ тебя въ Москву.

«Благодарю тебя за твое усердіе, за твои добрыя желанія; но они сбыться не могутъ. Какъ спасусь я отсюда?

«Теперь ночь. Стражи твои послѣ пира уснули мертвымъ сномъ. Я вошелъ сюда свободно. И всѣ въ лагерѣ теперь или спятъ, или пируютъ, какъ безумные. Я проведу тебя, Государь!

«Но если меня схватятъ?.. Нѣтъ, нѣтъ! Я не унижу себя побѣгомъ. И куда бѣжать мнѣ? Къ моимъ измѣнникамъ, подданнымъ? Они выдали меня Сигисмунду... пусть они и отнимутъ меня у него, если я еще нуженъ для отечества. Я не боюсь ни плѣна, ни страданій, ни самой смерти, и въ плѣну докажу, что я... достоинъ былъ царствовать.»

Въ это время красное сіянье факеловъ освѣтило, сквозь распахнувшійся занавѣсъ, внутренность шатра. Послышались шумные разговоры, и панъ Струсь съ нѣсколькими пріятелями вошелъ въ шатеръ. Видно было, что всѣ они въ теченіе дня пировали очень усердно.

«А гдѣ тутъ Царь Москалей?» провозгласилъ Струсь, озираясь. «Который изъ васъ Царь? Здѣсь я вижу четырехъ человѣкъ.»

У пана двоилось въ глазахъ.

«Въ ту ли мы палатку вошли?» замѣтилъ другой ротмистръ.

«Свѣтите, дурачье, хорошенько!» крикнулъ Струсь двумъ солдатамъ, державшимъ факелы. «Я ничего не

вижу. Мнѣ хочется поближе разсмотрѣть Царя Москалей.

«Что надобно вамъ?» сказалъ Шуйскій. «Я Царь Русскій. Неужели Король позволяетъ оскорблять плѣнниковъ и лишать даже сна, послѣдней ихъ отрады!»

Струсь, глядя мутными, неподвижными глазами на сверкающіе глаза Шуйскаго, невольно снялъ шапку.

«Сигисмундъ,» отвѣчалъ онъ прилипающимъ языкомъ: «Король, то есть, Сигисмундъ, не спитъ теперь самъ и прислалъ всѣхъ насъ засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе и пожелать спокойной ночи.»

«Подите къ нему и поблагодарите его. Что жъ вы стоите? Я прошу, я требую, чтобъ никто меня не смѣлъ тревожить въ моей палаткѣ.

«Иди же, панъ!» сказалъ Ѳеодосій.

«А ты кто такой? Не Тушинскій ли самозванецъ? Что ты мнѣ приказываешь! Ба! дьявольская бомба! Если глаза меня не обманываютъ, это шляхтичъ Ходзинскій, мой завербованный. А знаешь ли ты, несчастный, что по силѣ артикула семнадцатаго Обычаевъ Краковской Земли 1998 года, я имѣю полное право дать тебѣ оплеуху? Ты этого не знаешь?»

Онъ замахнулся.

«Не забудь, панъ,» сказалъ Ѳеодосій, «что по силѣ слѣдующаго восемнадцатаго артикула, я долженъ буду возвратить тебѣ оплеуху. Поди же скорѣе отсюда, со всѣми твоими прілтелями.

«Ты врешь! Въ артикулѣ восемнадцатомъ сказано, что данная оплеуха ни подъ какимъ видомъ возвраще-

на быть не можетъ, и что я имѣю полное право оставаться въ этой палаткѣ, сколько мнѣ будетъ угодно.

«Возьмемъ лучше его подъ стражу,» сказалъ одинъ изъ пріятелей Струся. «Какъ онъ смѣетъ намъ грубить!

«Оставь меня и спасайся!» шепнулъ Шуйскій Ѳеодосію.

«И откуда взялся здѣсь этотъ Ходзинскій?» продолжалъ Струсь. «Его съ нами не было.

«Спасайся, я тебѣ приказываю!» повторилъ тихо Шуйскій. «Прощай! Я тебя всегда буду помнить. Не забудь прежняго Царя своего.

«Поспѣшу въ Угличъ,» сказалъ Ѳеодосій: «и тамъ напомню о себѣ Вашему Царскому Величеству.

«Куда, куда, Ходзинскій?» сказалъ спокойно Струсь, стоя на одномъ мѣстѣ. «Мы тебя беремъ подъ стражу. Стой!... Но онъ, кажется, ушелъ? Онъ этимъ поступкомъ нарушилъ всѣ статуты, конституціи и сеймовыя постановленія! Его надобно повѣсить! Пойдемъ, повѣсимъ его.»

Вся ватага, пошатываясь, вышла изъ палатки.

Ѳеодосій между тѣмъ сѣлъ на коня своего, который стоялъ невдалекѣ.

«Посмотри, панъ, онъ ужъ на лошади!» сказалъ Струсю одинъ изъ его пріятелей.

«Какъ на лошади? Дьявольская бомба! Мошенникъ Ходзинскій! Ты съ ума сошелъ! Куда ты ѣдешь? Слѣзь съ лошади, сейчасъ слѣзь! Намъ надобно тебя повѣсить.

«Прощай, панъ!» закричалъ Ѳеодосій. «На прощанье скажу тебѣ, что я не Ходзинскій, а Русскій Стрѣлецкій Голова Алмазовъ, начальникъ Угличской крѣпости. Милости просимъ ко мнѣ въ гости!....

«Лови, держи!» закричали паны дикимъ хоромъ, брянча саблями. «Дьявольская голова!» воскликнулъ Струсь. «Кто бы могъ подумать, что это не Ходзинскій, а Русская стрѣлецкая бомба!» Нѣсколько пьяныхъ солдатъ, лежавшихъ на землѣ, услышавъ шумъ, перевернулись съ одного бока на другой.

Ѳеодосій ускакалъ.

—

VII.

«Какъ радъ я, что ты возвратился,» говорилъ Иларіонъ Ѳеодосію. «Я безъ тебя былъ въ большомъ затрудненіи. Всѣ наши Стрѣльцы хотѣли послѣдовать примѣру другихъ городовъ и присягнуть Владиславу. Я съ трудомъ удержалъ ихъ и упросилъ подождать твоего возвращенія.

«Кто внушилъ имъ эту мысль?

«Проѣзжалъ черезъ нашъ городъ Стольникъ Бахтеяровъ съ граматою Боярской Думы. Онъ прочиталъ ее Стрѣльцамъ и жителямъ.

«Зачѣмъ же ты допустилъ его читать?

«Я не имѣлъ возможности остановить его. Онъ былъ у обѣдни; выйдя изъ церкви на площадь и собравъ около себя толпу, онъ началъ читать грамату, въ ко-

торой содержалось увѣщаніе присягнуть скорѣе Владиславу. Остановить его, значило бы возбудить еще большее любопытство и волненіе въ умахъ.

«Справедливо.

«Бахтеяровъ зашелъ потомъ ко мнѣ и долго разговаривалъ со мной. Узнавъ, что мы держимся стороны Царя Василія Ивановича, онъ предлагалъ мнѣ, именемъ начальника Стрѣлецкаго Приказа, твое мѣсто и сверхъ того помѣстье въ награду, если я нашихъ Стрѣльцовъ и жителей Углича приведу къ присягѣ на вѣрность Польскому королевичу. Я съ трудомъ убѣдилъ всѣхъ подождать тебя.»

Ѳеодосій обнялъ Иларіона.

Созвавъ Стрѣльцовъ на площадь, Ѳеодосій вышелъ къ нимъ съ Иларіономъ. Они встрѣтили его громкими восклицаніями, какъ давно любимаго начальника.

«Я слышалъ, друзья мои, что вы колеблетесь въ вѣрности вашей Царю Василью Ивановичу и хотите присягнуть Польскому королевичу?»

Сотникъ Ивановъ выступилъ впередъ и сказалъ: «Я уполномоченъ говорить тебѣ, Ѳеодосій Петровичъ, отъ лица всего нашего полка. Царь Василій Ивановичъ сведенъ съ престола и взятъ въ плѣнъ. Королевичу Владиславу присягнула Москва и всѣ города. Для чего жъ намъ однимъ держаться старой присяги? Если королевичъ Владиславъ избранъ въ Цари Москвою и всѣми городами, то насъ сочтутъ возмутителями и принудятъ присягнуть новому Царю.

«А не клялись ли вы передъ Богомъ стоять за Царя Василья Ивановича до послѣдней капли крови?

«Конечно, клялись; но что же дѣлать, если онъ лишенъ царскаго вѣнца и взятъ въ плѣнъ?

«Но справедливо ли поступили тѣ, которые свели его съ престола и предали въ руки враговъ?

«Говорятъ, что самъ Царь Василій Ивановичъ въ этомъ виноватъ. Онъ отравилъ своего племянника.

«Это одно подозрѣніе, а по одному подозрѣнію нельзя обвинять не только Царя, но и послѣдняго изъ подданныхъ.

«Онъ въ тайнѣ велѣлъ убить и утопить болѣе двухъ тысячъ невинныхъ людей.

«Я вамъ прочитаю грамату Святѣйшаго Патріарха, которую онъ разослалъ по Москвѣ и во всѣ города, когда измѣнники возстали противъ Царя. Слушайте: «Во «имя Бога нашего, Которымъ живемъ, движемся и су«ществуемъ, по волѣ Котораго цари царствуютъ и силь«ные содержатъ землю. Я, смиренный Ермогенъ, Бо«жіею милостію Патріархъ Москвы и всей Россіи, вос«поминаю о себѣ вамъ, бывшимъ православнымъ хри«стіанамъ, которыхъ нынѣ не знаю, какъ и назвать. «Оставивъ свѣтъ, вы обратились ко тмѣ, отступили «отъ Бога, возненавидѣли правду, отпали отъ Церкви «и измѣнили Богомъ вѣнчанному Царю, вами самими «избранному. Развѣ не знаете вы, что Всевышній вла«дѣетъ царствами человѣческими и даетъ ихъ, кому хо«четъ? Преступивъ крестное цѣлованіе и клятву, вы, «бывшіе свободными, волею поработились иноземцамъ. «У меня не достаетъ словъ! Сердце мое терзается! По«щадите, братья и дѣти, души свои! Вразумитесь и

«возстаньте! Вы видите, что отечество наше разоряет-
«ся иноплеменниками, льется кровь невинныхъ, вопі-
«ющая къ Богу! На кого вы поднимаете оружіе? Не на
«своихъ ли братій единоплеменныхъ? Не свое ли оте-
«чество разоряете?.. Мятежелюбные Іудеи въ сороко-
«вой годъ по воскресеніи Спасителя изгнали царя сво-
«его Ирода Агриппу, избрали другаго и погибли отъ
«междоусобій. Пришли Римляне, разорили Іерусалимъ
«и предали все огню и мечу. Того ли хотите вы? Да
«пощадитъ насъ Господь! Онъ рекъ: не бойся, малое
«Мое стадо! Хотя много волнъ и грозитъ потопленіе,
«но не погибнутъ стоящіе на камнѣ Вѣры и правды.
«Пусть море пѣнится и бушуетъ! Сохранитъ Господь
«уповающихъ на Него. Заклинаю васъ именемъ Бога
«и Спасителя нашего отстать отъ вашего начинанія.
«Мы будемъ молить Всевышняго, чтобы отпустилъ ви-
«ны ваши; будемъ просить Государя о дарованіи вамъ
«прощенія. Онъ милостивъ и незлопамятенъ. Онъ про-
«ститъ тѣхъ, которые въ Сыропустную Субботу возста-
«ли на Него и говорили Ему ложныя и грубыя слова.
«Если же дойдетъ до брани, то знайте, что убитыхъ съ
«нашей стороны ожидаетъ вѣчное блаженство, съ ва-
«шей — вѣчныя муки. Мы будемъ плакать о нихъ: они
«братья наши. Но вамъ есть еще время обратиться. Мо-
«жете обращеніемъ вашимъ подвигнуть небеса на весе-
«ліе. Если радость бываетъ на небесахъ объ одномъ
«грѣшникѣ кающемся, то какая же радость будетъ тамъ
«о тѣхъ христіанскаго народа? Возставшіе на Царя
«забыли, что Царь, Божіимъ изволеніемъ, а не самъ со-
«бою принялъ царство, и что всякая власть отъ Бога

«дается. Они забыли, что Онъ освободилъ насъ отъ са-
«мозванца и спасъ Вѣру нашу и всѣхъ насъ отъ поги-
«бели. «Онъ велитъ въ тайнѣ убивать,» говорили они о
«Царѣ, «и бросать въ воду дворянъ, дѣтей Боярскихъ,
«женъ и дѣтей ихъ, и погубилъ уже болѣе двухъ ты-
«сячъ.» Мы удивились словамъ ихъ и спросили: когда
«и кто погибъ такимъ образомъ? Они не могли назвать
«изъ двухъ тысячъ ни одного по имени, и лживость
«обвиненія ихъ явно обнаружилась. Они стали потомъ
«читать грамату, присланную Русскими изъ Литов-
«скихъ полковъ. Въ ней было сказано, что Князя Ва-
«силія Шуйскаго одна Москва выбрала на царство, а
«другіе города о томъ и не знали; что за него кровь
«льется, земля въ волненіи; что надобно избрать нова-
«го Царя. Мы возразили, что донынѣ никакой городъ
«Москвѣ не указывалъ, а указывала Москва всѣмъ го-
«родамъ; что Царь Василій Ивановичъ избранъ всею
«Россіею, всѣми властями и чинами; что при Его из-
«браніи были люди изъ всѣхъ городовъ Русскихъ. Но
«вы, забывъ крестное цѣлованіе, хотите свести Его съ
«престола. Васъ, возставшихъ, не много. Россія же не
«знаетъ этого и не хочетъ. Мы сами съ вами не согла-
«шаемся. И такъ вы возстаете противу Бога и воли
«всего народа. Мы же молимъ Всевышняго, чтобы Онъ
«на многіе годы сохранилъ на престолѣ возлюбленнаго
«Имъ Царя. Предки наши не только не впускали въ Мо-
«сковское царство враговъ, но сами летали, какъ ор-
«лы, въ отдаленныя страны, на берега морей, и все
«покоряли Царю Московскому. Послѣдуйте примѣру
«предковъ вашихъ, возвратитесь на путь правды, воз-

«станьте за Церковь, Царя и Отечество. Мы съ радо-
«стію и любовію примемъ васъ, и все прошедшее пре-
«дадимъ забвенію. И настанетъ въ Русскомъ царствѣ
«миръ, покой и благоденствіе!»

«Вотъ что̀ писалъ Святѣйшій Патріархъ,» сказалъ Ѳеодосій. «Объявите мнѣ теперь, хотите ли присягнуть Владиславу или, лучше сказать, Сигисмунду? Онъ не дастъ намъ сына, а его именемъ хочетъ завладѣть царствомъ Русскимъ.

«Да здравствуетъ Царь Василій Ивановичъ!» воскликнули Стрѣльцы. «Умремъ за него, положимъ за Вѣру, Царя и родину наши головы!...»

—

VIII.

Ѳеодосій разослалъ по разнымъ городамъ граматы, призывая въ Угличъ всѣхъ преданныхъ Царю Василію. Между тѣмъ Сигисмундъ посылалъ въ Москву повелѣнія Боярской Думѣ, раздавалъ мѣста, награждалъ помѣстьями, однимъ словомъ, начиналъ царствовать въ Россіи, маня всѣхъ неискреннимъ обѣщаніемъ *пожаловать* Русскимъ въ Цари Владислава.

«Боже мой, Боже мой!» говорила Лидія Евгеніи. «Когда кончатся эти смутныя, несчастныя времена! Я, конечно, не понимаю хорошенько, въ чемъ дѣло, но замѣчаю однако жъ, что все идетъ очень худо. У всѣхъ такія постныя лица. Впрочемъ, не отъ того ли это, что завтра наступаетъ Великій Постъ? Не говорилъ ли че-

го тебѣ, сестрица, Ѳеодосій, о дѣлахъ? Какъ идутъ они? Мнѣ онъ ничего не сказываетъ. Я ужъ нѣсколько разъ его спрашивала.

«Да, Лидія! мы живемъ во времена незавидныя. Царь нашъ въ плѣну; ты, я думаю, это знаешь?

«Слышала объ этомъ. Впрочемъ, ему въ Польшѣ будетъ веселѣе жить, чѣмъ здѣсь. Помнишь ли, какъ мы тамъ веселились?

«Ахъ, ты, глупенькая! Ты по себѣ судишь.

«Да почему же ему тамъ не веселиться, пока его не отобьютъ у Поляковъ. Ѳеодосій вѣдь говорилъ, что Рускіе, во что бы то ни стало, освободятъ Царя. О чемъ же ему много горевать?

«Сколько крови должно пролиться для этого! Долго еще ждать намъ счастливыхъ, радостныхъ дней.

«У тебя все печальныя мысли. Оставимъ этотъ разговоръ. Скажи лучше, скоро ли будетъ твоя свадьба?

«Теперь не такое время, чтобы объ этомъ думать.

«Какъ не такое время? Ахъ, да, я и забыла, что завтра наступаетъ Великій Постъ!

«Постъ и пройдетъ, но свадьбы моей ты не дождешься. Вѣроятно, Иларіонъ и Ѳеодосій не будутъ уже тогда въ Угличѣ.

«Да гдѣ жъ они будутъ?

«Въ походѣ.

«Ну, вотъ, опять походъ! Только и слышишь про походы! Ужъ мнѣ они такъ надоѣли!

«Что дѣлать, Лидія! Будемъ молиться Богу, чтобы послалъ скорѣе Россіи миръ и тишину.

«А знаешь ли что, сестрица? Гдѣ мы будемъ завтракать и ѣсть блины сегодня? Отгадай.

«Въ большой нашей комнатѣ, я думаю. Гдѣ же намъ завтракать?

«Нѣтъ, ты не отгадала. Какой чудесный видъ оттуда на Волгу и во всѣ стороны! Я думаю, верстъ на десять все оттуда кругомъ видно, какъ на блюдечкѣ.

«Я не понимаю тебя.

«Видишь ли ты эту угловую башню, къ которой примыкаетъ этотъ валъ, а съ другой стороны каменная стѣна?

«Вижу.

«Мы въ этой башнѣ будемъ завтракать.

«Какъ это можно!

«Увѣряю тебя. Ѳеодосій любитъ ходить по стѣнѣ и по валу, и смотрѣть на свои любезныя пушки. Вѣрно, и теперь онъ тамъ бродитъ съ Иларіономъ. Я и вздумала зазвать ихъ въ башню и удивить ихъ неожиданнымъ завтракомъ. Надобно же стараться развеселить ихъ чѣмъ нибудь; они оба все такіе печальные.

«Проказница! Какъ же ты это уладила! Какъ тебя часовой пропустилъ въ башню?

«Меня-то не пропустить—сестру начальника крѣпости! Онъ, было, въ самомъ дѣлѣ не пускалъ насъ туда, то есть, меня и кухарку нашу, Сидоровну; но я такъ на него крикнула, что онъ совсѣмъ струсилъ. «Какъ ты смѣешь, негодный, насъ останавливать,» сказала я ему: «когда насъ послалъ твой начальникъ? Развѣ ты не знаешь, что я его сестра?»

«Что жъ тамъ дѣлаетъ теперь Сидоровна?

«Да, я думаю, уже блины печетъ.

«Блины печь въ крѣпостной башнѣ!» сказала Евгенія, засмѣявшись. «Чего только тебѣ не придетъ въ голову! Ѳеодосій, вѣрно, расхохочется.

«А мнѣ то и нужно. Пусть онъ хоть для масляницы посмѣется съ Иларіономъ. Ужъ мнѣ наскучило смотрѣть на ихъ нахмуренныя брови. Я, право, даже забыла, какая у нихъ улыбка, и который изъ нихъ пріятнѣе улыбается.

«Но, кажется, мы останемся безъ блиновъ. Гдѣ ихъ печь въ башнѣ?

«Мы съ Сидоровной нашли тамъ какую-то дрянную печку, въ маленькой комнатѣ, съ четырьмя узкими окошками. Часовой сказалъ намъ, что въ этой печкѣ, встарину, ядра калили. А мы будемъ въ ней блины печь. Сидоровна ужъ принесла вязанку дровъ и развела огонь. Вонъ посмотри: какой тамъ дымъ идетъ изъ башни. Пойдемъ же, сестрица, отыщемъ Ѳеодосія съ Иларіономъ и заманимъ ихъ къ нашему завтраку.»

Онѣ вышли изъ дому. Ѳеодосій, въ самомъ дѣлѣ, ходилъ по валу съ Иларіономъ. Съ ними былъ еще ихъ короткій знакомецъ, Угличскій торговый человѣкъ Алексѣй Матвѣевичъ Горовъ, сѣдой, почтенный старикъ.

Въ то время, когда Евгенія и Лидія подошли къ нимъ, Горовъ, отвѣчая на что-то сказанное Ѳеодосіемъ, кивнулъ печально головою и сказалъ:

«Да, да, Ѳеодосій Петровичъ! Видимъ мы и сами, что кривы наши сани. Но унывать не надобно. «Голенькій

охъ, а за голенькаго Богъ.» Можетъ быть, и подойдетъ къ тебѣ еще подмога.

«Неужели въ самомъ дѣлѣ суждено нашей родинѣ быть подъ игомъ Сигисмунда?» сказалъ Иларіонъ. «Быть не можетъ! Русскіе не потерпятъ этого. Думный дворянинъ Ляпуновъ, какъ слышно, собираетъ въ Рязани сильное войско и хочетъ итти къ Москвѣ, чтобы освободить ее отъ Поляковъ, и приступить къ избранію Царя всею Русскою землею.

«Дай Господи, чтобъ это была правда,» примолвилъ Горовъ. «Нынѣ ничему хорошему не вѣришь. Такія времена!

«Что это?» вскричалъ Ѳеодосій. «Посмотрите: какой тамъ дымъ вьется около башни. Отчего тамъ могло загорѣться?

«Ахти, мои батюшки!» сказалъ Горовъ. «И впрямь на пожаръ похоже!»

Всѣ пошли поспѣшно къ башнѣ.

«Это не пожаръ,» сказала Лидія. «Ты напрасно безпокоишься, Ѳеодосій.

«Что жъ это такое, по твоему?

«Это... такъ, просто дымъ идетъ, а только никакого пожару нѣтъ. Я въ этомъ тебѣ головой ручаюсь. Ахъ, какъ ты скоро идешь! Посмотри: мы съ Евгеніей задохлись. Къ чему такъ спѣшишь? Повѣрь, что не пожаръ.

«Какъ тебѣ не повѣрить.»

Всѣ вошли въ башню и по узкой лѣстницѣ поднялись въ верхнюю, небольшую комнату. Тамъ накрытъ

былъ маленькій столъ, на которомъ стоялъ завтракъ, большая кружка наливки и нѣсколько серебряныхъ чарокъ.

«Что это такое?» сказалъ Ѳеодосій, осматриваясь.

«Блины готовы, матушка!» отрапортовала Сидоровна Лидіи. «Кажется, хорошо испеклись.»

Всѣ засмѣялись.

«Что за шалунья!» продолжалъ Ѳеодосій, ласково потрепавъ Лидію по щекѣ.

Принялись завтракать. Нѣсколько чарокъ наливки разогнали мрачныя мысли мужчинъ. Какъ лучи солнца, проникавшіе сквозь узкое окно въ темную комнату башни, засіяла въ душахъ ихъ надежда. Давно уже они не были такъ веселы.

«Все перемелется, мука будетъ!» говорилъ Горовъ, наливая чарку и любуясь отливомъ темноалой наливки на золотой внутренности сосуда. «Слышно, что Рязанцы, Туляки, Калужцы, Нижегородцы, Вологжане, Костромичи, Ярославцы, Владимірцы, Новгородцы крѣпко пошевеливаются. Сигисмунду не сдобровать! Царя нашего выручимъ изъ плѣна...

«Москва между тѣмъ во власти Поляковъ!» сказалъ Ѳеодосій со вздохомъ.

«Не надолго!» продолжалъ Горовъ. «Я былъ тамъ недавно. Что за кутерьма тамъ! Толку не добьешься! Истинно, не знаешь чего хотятъ. Иной стоитъ горой за Владислава, другой за Сигисмунда, третій за плѣннаго Царя, четвертый кричитъ пуще всѣхъ, а самъ не знаетъ о чемъ. Бояре не довѣряютъ Полякамъ, Поляки

боярамъ, а никто не дѣлаетъ что нужно. Выходитъ, какъ говорятъ старые люди, «бояринъ повару не вѣритъ, самъ по воду ходитъ.»

«Что это идетъ сюда за войско?» сказалъ вполголоса Ѳеодосій, глядя въ окно башни. «Вонъ, вонъ тамъ, вдали.

«А! вѣрно, идутъ полки къ тебѣ на подмогу,» замѣтилъ Горовъ. «Вотъ ты горевалъ, что всѣ забыли плѣннаго Царя.

«Посмотри, Ѳеодосій,» сказалъ Иларіонъ. «Теперь съ этого холма пушки съѣзжаютъ. Кажется, глаза меня не обманываютъ?

«Точно, это пушки.»

Лидія и Евгенія смотрѣли въ другое окно, на Волгу, и любовались, какъ съ ледяной горы мелькали по льду, мимо башни, санки катающихся.

Вдругъ отворилась дверь комнаты, и вошелъ сотникъ Ивановъ, съ тревогою на лицѣ.

«Что скажешь?» спросилъ Ѳеодосій.

«Сюда идутъ Поляки,» отвѣчалъ тотъ шопотомъ.

«Съ которой стороны?

«Я былъ на другомъ концѣ крѣпости и тамъ съ башни ихъ увидѣлъ.

«Стало быть, они идутъ съ двухъ сторонъ. Но Поляки ли это? Пошли нѣсколько гонцевъ въ разныя стороны, а между тѣмъ вели всѣмъ Стрѣльцамъ быть готовыми и заряжать пушки. Не забудь запереть всѣ ворота и поднять мосты. Дай знать гуляющимъ теперь за городомъ и жителямъ предмѣстія, чтобы всѣ скорѣе шли въ крѣпость.»

Евгенія и Лидія ничего не слыхали изъ этого разговора, и продолжали смотрѣть на Волгу.

«Посмотри, посмотри, сестрица!» вскричала Лидія, захохотавъ. «Какъ этотъ толстякъ свалился съ санокъ и перекувырнулся. Бѣдняжка попалъ головой прямо въ снѣгъ. Слышишь ли, какъ всѣ тамъ на льду хохочутъ? А вотъ поплыли на большомъ лубкѣ двѣ купчихи! Какъ онѣ ледъ не проломятъ! Ну! и онѣ завертѣлись. А вотъ, и свалились. Пойдемъ, сестрица, покатаемся.

«Пожалуй, если хочешь. А ты не боишься упасть въ снѣгъ?

«Я скачусь не хуже вотъ этого молодца, въ бархатной шапкѣ, который теперь такъ быстро катится, будто птица летитъ. Вѣрно, невѣста его на него смотритъ, а онъ думаетъ: пусть она любуется своимъ суженымъ.

«Батюшки-свѣты!» говорилъ тихо Горовъ. «Бѣда неминучая! Ихъ, окаянныхъ, много сюда идетъ. И пушекъ у нихъ довольно. Помилуй насъ, грѣшныхъ, Господи!

«Что ты робѣешь, Алексѣй Матвѣевичъ,» сказалъ Ѳеодосій вполголоса. «Хоть бы ихъ было вдвое больше, крѣпость не легко взять. Я тебѣ въ этомъ ручаюсь. Успокойся!

«Да вѣдь и съ другой стороны они идутъ.

«Ну, что жъ такое? Защитимся. Да перестань же вздыхать! Ты перепугаешь...»

Онъ тихонько указалъ на Евгенію и Лидію.

«Позволь намъ съ сестрицей на горѣ покататься,« сказала Лидія Ѳеодосію. «Какъ весело птицей летѣть по

льду! Ты ужъ вѣрно съ нами не пойдешь? Насъ бы туда Иларіонъ проводилъ.

«Что это значитъ?» вскричала Евгенія, продолжая смотрѣть въ окно. «Всѣ тамъ на льду какъ будто испугались чего-то. Всѣ бѣгутъ, крестятся, машутъ руками. Странно! Что ихъ вдругъ такъ встревожило?

«Они услышали, что сюда идетъ ничтожный отрядъ Поляковъ,» сказалъ Ѳеодосій. «Есть чего пугаться!

«Ахъ, Боже мой!» вскричали въ одинъ голосъ Евгенія и Лидія.

«Прошу не трусить!» продолжалъ Ѳеодосій. «Это до васъ не касается. Они еще далеко, и мы успѣемъ покататься на горѣ. Пойдемъ, Лидія! Ты вѣдь хотѣла кататься.

«Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Ни за что!

«Ну, такъ ты не пойдешь ли со мною, Евгенія?

«Не ходи, не ходи, сестрица! Поляки тебя изрубятъ!

«Станутъ они рубить такихъ хорошихъ дѣвушекъ, какъ вы. Они скорѣе протанцуютъ съ вами мазурку. Но прежде мы съ Иларіономъ заставимъ танцовать незваныхъ гостей и проводимъ отсюда. Такъ ли, Иларіонъ?

«Безъ сомнѣнія. Крѣпость нашу взять нелегко. Не бойся, моя милая!» прибавилъ онъ, взявъ Евгенію за руку. «Ты дрожишь? Ахъ, стыдъ какой!

«Я боюсь не за себя, Иларіонъ! Мнѣ страшно за тебя... и за Ѳеодосія.

«А мнѣ и за себя и за всѣхъ страшно,» сказала Лидія, чуть не плача. «Проклятые эти Поляки! Кто ихъ просилъ сюда прійти!»

Въ это время Сидоровна, стоявшая безмолвно у печки, съ сложенными руками, поняла наконецъ въ чемъ дѣло, и подняла такой плачъ съ причитаньемъ, что и Горовъ, ободренный Ѳеодосіемъ, опять завздыхалъ и заохалъ.

«Пойдемъ домой скорѣе,» сказалъ Ѳеодосій Евгеніи и Лидіи. «Охъ, вы зайчики пугливые! Да замолчи, ради Бога, Сидоровна!»

—

IX.

«Вотъ и Угличъ!» говорилъ панъ Струсь полковнику Каганскому, указывая на крѣпость.

«На стѣнахъ, у пушекъ, курятся фитили,» замѣтилъ тотъ. «Видно, готовы къ оборонѣ. Мы здѣсь, за этими холмами, остановимся, пока ставятъ туры и готовятъ укрѣпленія для осады. Между тѣмъ надобно занять всѣ дороги и окружить крѣпость со всѣхъ сторонъ.»

Онъ слѣзъ съ лошади. Струсь послѣдовалъ его примѣру. Къ нимъ подошли другіе ротмистры и офицеры.

«Велите солдатамъ раскидывать палатки. Вотъ здѣсь будетъ главная моя квартира,» продолжалъ Каганскій, указывая на деревянный домъ, стоявшій у подошвы холма, близъ дороги. «А не худо, господа, позавтракать. Я, признаюсь, проголодался. Послѣ завтрака составимъ совѣтъ объ осадѣ. Держите наготовѣ планъ крѣпости.»

Панъ Струсь отдалъ приказъ о завтракѣ. Каганскій, въ сопровожденіи офицеровъ, вошелъ въ домъ, гдѣ не было ни души. Жильцы разбѣжались; двери были не затворены, сундуки открыты. Что было возможно унести, все унесено.

«Видно, эта красавица бѣжала отсюда, не помня себя отъ страху,» сказалъ Струсь, поднимая концемъ сабли съ пола шелковую фату и женскій башмакъ, вышитый серебромъ. «Она всѣ свои наряды въ попыхахъ растеряла. А! вотъ и завтракъ несутъ. Сюда, сюда ставьте, на этотъ большой столъ. Я начну, полковникъ, и пью за здоровье бѣжавшей красавицы, изъ ея башмачка.

«Ну, воля ваша, я изъ этого башмака пить не стану. Можетъ быть, его сронила съ ноги какая нибудь старая вѣдьма.

«Быть не можетъ!» возразилъ Струсь. «Я знатокъ въ этомъ дѣлѣ. Чортовъ хвостъ! Такой маленькой, хорошенькой ножки не можетъ быть у старой вѣдьмы. По башмаку я вижу, что она красавица изъ красавицъ. Милочка!»

Вмѣстѣ съ этимъ нѣжнымъ восклицаніемъ, онъ поцѣловалъ концы сложенныхъ своихъ пяти пальцевъ.

«Ужъ вы, панъ Струсь, кажется, въ нее влюбились?

«Почти такъ. Она, вѣрно, убѣжала въ крѣпость. Дьявольская бомба! Тѣмъ храбрѣе я буду драться при осадѣ, отыщу ее въ крѣпости и возвращу ей башмакъ и фату, а за это велю себя поцѣловать двѣнадцать разъ сряду... Какой удивительный соусъ! Это, кажется, цы-

плята? Нашъ полковой поваръ лихой малый! Однако жъ соусъ не худо запить. Ваше здоровье, полковникъ!»

Послѣ завтрака, Струсь пошелъ осматривать всѣ комнаты дома. Въ верхней свѣтлицѣ онъ увидѣлъ кровать съ периною, нашелъ гребень на окошкѣ и подъ кроватью женскій чулокъ. Онъ развалился на перинѣ и началъ расчесывать гребнемъ свои усы.

«Что это вы, панъ!» сказалъ Каганскій, входя съ нѣсколькими офицерами въ свѣтлицу. «Вы ужъ спать хотите?

«Нѣтъ, полковникъ! Это постель моей красавицы. Здѣсь недавно лежала она, а теперь лежу я. Фу! это блаженство! Что можетъ быть лучше войны! Воинъ вездѣ гость и хозяинъ. Все ему позволено, все возможно!

«Возможно даже поваляться на чужой перинѣ. Удивительное счастіе! Однако жъ не пора ли намъ начать совѣтъ? Времени терять не для чего.

«Я готовъ,» сказалъ Струсь, слѣзая съ кровати.

Всѣ сошли внизъ, и сѣли къ тому самому столу, на которомъ передъ тѣмъ завтракали, составивъ съ него на окошки посуду и пустыя бутылки.

«Вотъ, господа, планъ крѣпости. Войска въ ней около трехъ тысячъ. Съѣстныхъ и боевыхъ припасовъ не можетъ быть много, потому что не ждали насъ. Что лучше: долговременная осада или штурмъ?

«Штурмъ, непремѣнно штурмъ!» воскликнулъ Струсь.

«А почему такъ? Впрочемъ, позвольте, ротмистръ, прежде васъ младшимъ офицерамъ сказать свое мнѣніе.

«Говори они, что хотятъ, а я говорю — штурмъ!»

Другіе ротмистры и офицеры начали подавать мнѣнія. Струсь перебивалъ слова всѣхъ и твердилъ: штурмъ!

«Да позвольте, ротмистръ...

«Ничего не позволяю и слушать ничего не хочу. Штурмъ, съ подкопами и съ позволеніемъ солдатамъ воспользоваться военною добычею по взятіи крѣпости.

«А я думаю иначе,» сказалъ Каганскій. «Долговременная осада вѣрнѣе поведетъ къ цѣли и съ меньшею потерею людей. Притомъ грабить жителей значитъ ожесточать ихъ противъ нашего короля. Это было бы противно его видамъ.

«А долговременная осада,» возразилъ горячо Струсь: «противна пятьдесятъ третьему артикулу королевскаго универсала 1492 года, и конституціи 1598 года, извѣстной подъ названіемъ Прусская Корректура. Въ этихъ законахъ повелѣно считать того трусомъ, кто предпочитаетъ долговременную осаду штурму.

«Считать трусомъ? Не совѣтую, ротмистръ, повторять вами сказаннаго.

«Трусомъ, трусомъ!

«Вы сами трусъ, ротмистръ!» вскричалъ взбѣшенный Каганскій. «Прошу васъ оставить совѣтъ. Мы безъ васъ рѣшимъ дѣло. Вы не даете никому слова сказать. Прошу васъ выйти въ другую комнату!

«Не угодно ли вмѣстѣ съ вами? Мы можемъ тамъ раздѣлаться на саблях.

«Вы вызываете меня, вашего начальника, на дуэль, въ военное время? Знаете ли, что за это опредѣлено закономъ? Одумайтесь и, прошу васъ, подите въ другую комнату, а не то...

«Извольте, я выйду,» сказалъ оробѣвшій Струсь: «но не соглашусь ни за что на долговременную осаду.»

Лишь только Каганскій успокоился и началъ разсуждать съ офицерами, Струсь отворилъ дверь и опять вошелъ въ комнату. Каганскій, внѣ себя, вскочилъ.

«Вы шутите надо мною?

«Позвольте, полковникъ, не горячитесь понапрасну. Я сейчасъ опять выйду, и вошелъ сюда, чтобы напомнить вамъ и господамъ офицерамъ, что двадцать шестымъ пунктомъ Сеймовато постановленія 1521 года предписано: не считать трусомъ того, кто, заспоривъ съ начальникомъ, уступитъ ему и выйдетъ изъ комнаты. Я только хотѣлъ напомнить вамъ объ этомъ законѣ, который исполняю, и потому выхожу; но будьте увѣрены, что не изъ робости. Дьявольская бомба! Я самого чорта не струшу.»

Сказавъ это, онъ вышелъ. Каганскій пожалъ плечами, а всѣ офицеры засмѣялись.

Совѣтъ рѣшилъ, обложивъ крѣпость, вступить въ переговоры съ осажденными. Потомъ, если они не сдадутся и не согласятся признать себя подданными короля, начать штурмъ ночью, но въ случаѣ сильнаго сопротивленія или неудачи отступить и начать долговременную осаду.

Всѣ встали съ мѣстъ. Струсь, услышавъ шумъ отодвигаемыхъ скамеекъ, догадался, что совѣтъ кончился и вошелъ въ комнату.

«Чѣмъ рѣшено дѣло, полковникъ?» спросилъ онъ.

«Рѣшились на долговременную осаду.

«Помилуйте!...»

Онъ засыпалъ полковника пунктами сеймовыхъ постановленій и артикулами статутовъ, доказывая, что должно начать дѣло штурмомъ и позволить войску воспользоваться военною добычей. Эта главная мысль произвела въ немъ обычный его припадокъ разсѣянности, и онъ, продолжая спорить и даже угрожать полковнику, хотѣлъ выйти съ видомъ оскорбленнаго достоинства изъ комнаты, подошелъ къ окну, взялъ, вмѣсто своего шишака, круглую оловянную крышу съ соусника, которая имѣла съ шишакомъ его нѣкоторое сходство, и надѣлъ се на голову. Остановясь въ дверяхъ и оборотясь къ Каганскому, онъ оперся на свою саблю и принялъ положеніе, которое воображалъ важнымъ и величественнымъ.

«Если вы послѣ этого не убѣждены...» началъ онъ.

Каганскій и всѣ офицеры покатились со смѣху; такъ Струсь былъ умотителенъ. Этотъ общій взрывъ смѣха смутилъ его.

«Что вы находите во мнѣ смѣшнаго, господа?» сказалъ онъ, нахмуривъ брови и стараясь придать своему положенію еще болѣе важности и достоинства.

«Посмотрите, ротмистръ, что у васъ на головѣ,» сказалъ Каганскій.

Струсь торопливо снялъ оловянный шлемъ свой и уронилъ его на полъ отъ смущенія.

«Чортовъ хвостъ!»

Болѣе онъ ничего сказать не могъ, схватилъ свой настоящій шишакъ и убѣжалъ. Два дня нигдѣ его отыскать не могли. На третій онъ явился съ принужденною улыбкою на лицѣ, и чуть было не придумалъ ар-

тикула сеймоваго постановленія, которымъ строго запрещалось въ военное время находить что нибудь смѣшное въ металлической крышкѣ соусника, надѣтой кѣмъ нибудь на голову, вмѣсто шишака.

—

X.

На колокольнѣ Преображенской соборной церкви раздался звонъ колокола, и жители Углича собрались на площадь, которая окружала храмъ. На церковной паперти стоялъ Ѳеодосій и держалъ въ рукѣ бумагу. Всѣ смотрѣли на него, и въ молчаніи, съ безпокойствомъ на лицѣ, ожидали, что онъ скажетъ.

«Начальникъ непріятельскаго войска,» началъ Ѳеодосій: «прислалъ ко мнѣ грамату. Я созвалъ васъ, любезные сограждане, чтобы прочитать вамъ ее и посовѣтоваться съ вами: что я долженъ отвѣчать ему? Вотъ его грамата: «Преименитый и Богомъ спасаемый го«родъ Угличъ! Почтенному господину Стрѣлецкому «Атаману Ѳеодосію Алмазову со всѣми гражданами здрав«ствовать! Повелѣніемъ великаго Государя Литовска«го, Божіею милостію Короля Польскаго, я, панъ Ка«ганскій, до васъ эту грамату посылаю, чтобы увѣрить «васъ, что жителямъ города никакой обиды сдѣлано «не будетъ. Государь Король, по закону христіанинъ, «городовъ раззорять не повелѣваетъ, но самъ города «созидаетъ, чтобы въ нихъ вѣра христіанская умножа-

«лась, а не оскудѣвала. Онъ подъ клятвою запретилъ «своимъ воинамъ разорять города христіанскіе. Неу- «жели вы, забывъ страхъ Божій, захотите кровопроли- «тія? Король послалъ насъ сюда не съ войною. Онъ «желаетъ только, чтобы вы, какъ подданные его, при- «сягнули ему въ вѣрности. Вамъ извѣстно, что бывшій «Царь вашъ лишился престола, и что царство его по- «ручено Богомъ нашему Королю. Если вы захотите «упорствовать, то я принужденъ буду, противъ жела- «нія моего, пойти на васъ. Я самъ христіанинъ, и же- «лалъ бы отъ всего сердца избѣжать кровопролитія и «раззоренія города. Живите въ немъ спокойно, свобод- «но исповѣдуя Русскую вѣру свою, спокойно владѣя «своимъ имуществомъ. Сдайте городъ добровольно, от- «пустите Стрѣльцовъ, окажите послушаніе Королю, «какое прежнему Царю оказывали. Подъ его властію «живите счастливо, моля Бога за Короля, который бу- «детъ награждать достойныхъ изъ васъ почестями, и «оказывать всѣмъ милость и покровительство. Если не «сдадитесь, то не я дамъ Богу отвѣтъ за пролитіе кро- «ви христіанской и за гибель города. Да взыщетъ Богъ «эту кровь на васъ въ день послѣдняго суда!»

«Что скажете вы на это, любезные сограждане?

Поднялся общій шумъ; вся площадь взволновалась. «Не хотимъ Короля!» кричали тысячи голосовъ. «Не боимся угрозъ его! Не вѣримъ льстивымъ словамъ непріятелей! Умремъ, по крестному цѣлованію, за Царя Василія Ивановича! Отстоимъ городъ святаго Царевича Димитрія!

«Мы всѣ вооружимся, Ѳеодосій Петровичъ!» сказалъ Горовъ. «Что они думаютъ, эти нечестивые Литовцы! «Соборомъ и чорта поборемъ,» говорятъ старые люди.

Ѳеодосій послалъ къ Каганскому короткій отвѣтъ: «Жители Углича не хотятъ и слышать о Королѣ. Хотя «царь нашъ попущеніемъ Божіимъ въ рукахъ вашихъ, «но мы не измѣнимъ ему. До послѣдней капли крови «будемъ защищаться. Возьми крѣпость, если можешь, «и знай, что разсыплешь ея твердыя стѣны и башни «скорѣе, чѣмъ поколеблешь въ насъ вѣрность Царю «и любовь къ отечеству.»

Каганскій собралъ опять совѣтъ. Когда прочитали письмо Ѳеодосія, панъ Струсь первый закричалъ: «Штурмъ, сейчасъ же штурмъ, и никому пощады!

«Не горячитесь такъ, ротмистръ!» сказалъ полковникъ. «Это надобно обдумать.

«Не намѣрены ли вы послѣ такого оскорбленія начать долговременную осаду?

«Нѣтъ, я считаю удобнѣе сдѣлать приступъ къ крѣпости ночью, и назначаю васъ въ передовые. Вы должны первые съ сотнею самыхъ отважныхъ взобраться на крѣпостной валъ, и тамъ держаться. За вами и мы взойдемъ. Вы призадумались, кажется?

«Я призадумался? Нимало! Берусь взойти первый. Чортовъ хвостъ! И не въ такихъ бывалъ я опасностяхъ.

«И такъ вы пойдете впередъ, а вы, господа,» продолжалъ Каганскій, обратясь къ прочимъ офицерамъ: «велите готовить лѣстницы и все, что нужно, для присту-

па. Валъ въ одномъ мѣстѣ не высокъ и защищенъ очень слабо. Ровъ засыплемъ фашинами. Только не надобно подавать виду, что мы готовимся къ приступу. Нападеніе должно быть начато въ расплохъ, когда ночь наступитъ. Я увѣренъ, что завтра утреннее солнце освѣтитъ уже королевское знамя на этой высокой башнѣ, которая теперь смотритъ на насъ такъ сердито.»

Евгенія весь тотъ день была задумчива и печальна. Лидія нѣсколько разъ принималась плакать. Ѳеодосій шутилъ и старался ихъ ободрить. Онъ безпрерывно уходилъ на стѣны и часто посылалъ туда Иларіона. Передъ наступленіемъ ночи они оба воротились въ домъ ихъ.

«Я думаю, вамъ и сонъ на умъ нейдетъ?» спросилъ Ѳеодосій, улыбаясь, Евгенію и Лидію.

«Какой теперь сонъ!» отвѣчала послѣдняя. «Я всю ночь спать не буду.

«И очень худо сдѣлаешь. Мы съ Иларіономъ сейчасъ уходимъ въ свою комнату и уснемъ богатырскимъ сномъ. Совѣтовалъ бы и вамъ послѣдовать нашему примѣру. На стѣнахъ разставлена стража: бояться совершенно нечего. Если бы вы даже услышали нѣсколько выстрѣловъ, то, ради Бога, не пугайтесь. Ночью нарочно наши будутъ стрѣлять, чтобы непріятели видѣли, что мы готовы ихъ встрѣтить. Они не осмѣлятся и на версту подъѣхать къ крѣпости. Притомъ мы съ Иларіономъ будемъ не далеко отъ васъ, всего черезъ двѣ комнаты. Желаю вамъ спокойной ночи... Пойдемъ, Иларіонъ! Смотрите же, прошу не трусить и не тревожить

насъ по пустому. Мы оба, ужасъ, какъ устали и намъ нуженъ отдыхъ.

«Какъ ты думаешь, сестрица,» сказала Лидія, когда Ѳеодосій съ Иларіономъ ушелъ въ свою комнату: «спать намъ, или пѣть?

«Какъ хочешь, Лидія.

«Кажется, бояться нечего? Ѳеодосій не сталъ бы спать, если бъ была какая нибудь опасность. У меня, признаюсь, глаза такъ и слипаются.

«Помолимся Богу и ляжемъ,» сказала Евгенія. «Я едва ли усну. Тѣмъ спокойнѣе ты можешь спать.

«Только раздѣваться не надобно, сестрица!» прибавила Лидія. «Не равно придется бѣжать.

«Куда же мы убѣжимъ, Лидія?

«Куда нибудь. Ахъ, Боже мой, Боже мой! Въ самомъ дѣлѣ, бѣжать не куда. Крѣпость окружена со всѣхъ сторонъ. За что насъ эти проклятые такъ мучатъ? Что мы имъ сдѣлали? Ахъ, какъ мнѣ плакать хочется!

«Полно, Лидія! Положись на Бога. Онъ защититъ насъ. Слышишь ли, какая тишина во всемъ городѣ. Чего ты боишься? Я ложусь, Лидія.

«Я подлѣ тебя лягу. Мнѣ не такъ будетъ страшно.»

Она положила голову на пуховую подушку, обняла сестру и вскорѣ заснула глубокимъ сномъ. Щеки ея разгорѣлись; дыханіе полуоткрытыхъ устъ было прерывисто и часто. И сонъ не могъ прекратить ея душевной тревоги. Евгенія, облокотясь одною рукою на изголовье, смотрѣла въ лице Лидіи, и крупныя слезы отъ времени до времени падали съ длинныхъ рѣсницъ дѣ-

вушки. Невольно глаза ея поднялись къ небу, и она начала молиться.

«Кажется онѣ уснули,» сказалъ шепотомъ голосъ за затворенною дверью. «Пойдемъ скорѣе!»

Послышался легкій шелестъ шаговъ, и вскорѣ все затихло. Это ни сколько не смутило Евгенію. Она знала, что это будетъ, и давно уже догадалась, что Ѳеодосій съ Иларіономъ проведетъ ночь на стѣнахъ крѣпости. Тяжелый вздохъ поднялъ грудь ея. Не смыкая глазъ, глядѣла она въ окно, которое находилось прямо противъ ея кровати. Сквозь стекла видно было одно небо, черное какъ дно бездны. Оно все обложилось густыми тучами. Прошло около часа. Тучи стали рѣдѣть, раздвигаться, и въ окнѣ Евгеніи заиграла одна звѣзда своими алмазными лучами. Евгенія засмотрѣлась на нее. Звѣздочка, звѣздочка! — подумала она — высоко ты катишься на небѣ, далека ты, безопасна отъ горя и бѣдъ земли! Какъ бы желала я улетѣть на тебя, утонуть въ твоихъ лучахъ сіяющихъ. Не на тебѣ ли скрывается счастіе, спокойствіе, которыхъ мы, бѣдные жители земли, всю жизнь напрасно ищемъ? Но къ чему ропотъ? Тотъ, Кто создалъ эту небесную звѣзду, создалъ и меня. Безъ воли Его не упадетъ она съ неба, безъ воли Его не упадетъ волосъ съ головы моей. О! какую неизъяснимую радость, какое непонятное спокойствіе пролила ты мнѣ въ сердце, звѣздочка! Мнѣ кажется, лучи твои приносятъ на землю что-то небесное, и на невѣдомомъ, таинственномъ языкѣ шепчутъ намъ: «Дѣти земли! любите Творца, любите другъ друга!»

Вдругъ, по тучамъ, клубившимся около звѣзды, пробѣжалъ красный блескъ, похожій на зарницу, и черезъ нѣсколько мгновеній грянулъ пушечный выстрѣлъ.

«Боже мой!» вскричала Лидія въ испугѣ, быстро приподнялась съ подушки и упала въ объятія сестры.

«Успокойся, милая! Ты развѣ забыла, что̀ говорилъ Ѳеодосій. Это наши стрѣляютъ.»

Лидія дрожала и прижалась лицемъ къ плечу Евгеніи.

Раздался другой выстрѣлъ, третій; стрѣляютъ все чаще, все громче. Загрохотала ружейная пальба. Послышался отдаленный, смутный шумъ, крикъ, восклицанія.

Лидія вскочила съ кровати и бросилась въ комнату Ѳеодосія. Вскорѣ прибѣжала она назадъ, ломая руки.

«Ихъ нѣтъ тамъ! Они ушли!» восклицала она. «Мы здѣсь однѣ съ тобою! Что намъ дѣлать?

«Молиться.

«Я не могу молиться, Евгенія! Ахъ, душенька моя! Спрячемся куда нибудь, убѣжимъ!

«Чего ты такъ боишься, Лидія. Ѳеодосій вѣдь предварялъ насъ.

«Нѣтъ, нѣтъ! Я знаю, что это стрѣляютъ непріятели, что началась битва. Слышишь ли, какъ кричатъ, какъ стонутъ раненые?

«Тебѣ все это чудится.

«Я побѣгу къ Ѳеодосію. Пусть онъ защититъ насъ.»

Сказавъ это, она бросилась изъ комнаты.

«Куда, куда, Лидія?

Евгенія по неволѣ должна была бѣжать вслѣдъ за нею. Онѣ сошли съ крыльца на площадь.

«Куда это вы пробираетесь?» спросилъ Горовъ, остановясь передъ ними.

«Ахъ, Алексѣй Матвѣевичъ!» вскричала Лидія: «защитите, спасите насъ!

«Не бойтесь, матушка! Богъ милостивъ! Наши отобьютъ окаянныхъ. «Стрѣльба—похвальба, а борьба — хвастанье,» говорятъ старые люди. Видно, они, треклятые, хотѣли было подъѣхать въ расплохъ, да нѣтъ! Ѳеодосія-то Петровича не проведешь! «Стараго воробья на мякинѣ не обманешь,» говорятъ старые люди. Онъ ихъ знатно принялъ, голубчиковъ!

«А если они одолѣютъ?

«Вотъ на! Ужъ и одолѣютъ! Признаться, и я, какъ пушки заорали, трухнулъ немножко сначала. Вскочилъ съ кровати благимъ матомъ, и вооружился на всякій случай, какъ видите. Только грѣхъ со мной случился. Выбѣжалъ я на улицу, чтобы итти къ Стрѣльцамъ на подмогу, гляжу: за кушакомъ у меня сабля, а вмѣсто пищали въ рукѣ кочерга! Въ комнатѣ-то, изволите видѣть, было темновато, такъ видно я въ попыхахъ и схватилъ кочергу. Не знаю, какъ она, проклятая, мнѣ подъ руку подсунулась. «Метилъ въ сыча, а попалъ въ грача,» говорятъ старые люди. Хотѣлъ было сейчасъ воротиться домой за пищалью, да вотъ съ вами встрѣтился. А впрочемъ, нѣтъ нужды. Я и кочергой двухъ трехъ Поляковъ зашибу, если дойдетъ до драки. Да куда же это вы итти изволите?

«Ахъ, какъ стрѣляютъ! Куда бы намъ убѣжать, Алексѣй Матвѣевичъ?

«Да куда убѣжишь, матушка? Кругомъ все враги. Подъ землю не спрячешься. Не угодно ли развѣ вамъ съ сестрицей ко мнѣ пожаловать?

«Мнѣ кажется, намъ не такъ было бы страшно, если бъ мы могли видѣть сраженіе,» сказала Евгенія.

«Это правда, матушка. Мнѣ бы и самому взглянуть хотѣлось, что дѣлаютъ наши. Да откуда увидишь? Развѣ не взобраться ли на башню?

«Пойдемъ, пойдемъ на башню!» вскричала Лидія. «Тамъ, кажется, всего безопаснѣе. Она такая высокая. Я думаю, ядро или пуля не можетъ долетѣть до ея верха, Алексѣй Матвѣевичъ?

«Ну, матушка...

«А что, развѣ можетъ долетѣть?

«Гдѣ долетѣть! Не долетитъ! Пойдемъ туда, если угодно.

«А не можетъ разшибить башни ядро или пули?

«Куда разшибить! Не разшибетъ.»

Они взошли на ту самую башню, гдѣ Лидія за нѣсколько дней готовила завтракъ съ Сидоровной. Въ это время на проясняющемся востокѣ появилась заря и освѣтила битву. Лидія и Евгенія подошли къ окну, Горовъ къ другому.

«Мнѣ теперь не страшно,» говорила Лидія, тихонько пятясь отъ окошка. «Я думала, что ужасъ возьметъ, когда взглянешь на сраженіе, но, кромѣ дыму, я ничего покуда не вижу.

«Да подъ дымомъ-то что, матушка!» замѣтилъ Горовъ, вздохнувъ.

«А вонъ тамъ на стѣнѣ Ѳеодосій! Точно онъ!» вскричала въ восторгѣ Евгенія.

«А гдѣ-то Иларіонъ?» примолвила Лидія, печально покачавъ головкою.

«А вонъ онъ, матушка! Изволите видѣть, саблей-то помахиваетъ.

«Ура!» раздалось вдали.

«Что это кричатъ?» спросила Лидія, въ испугѣ отскочивъ отъ окошка.

«А это, матушка, значитъ, что наша взяла. Слава Тебѣ, Создателю!»

Евгенія и Лидія упали на колѣна и, сложивъ руки, подняли глаза къ небу.

Пань Струсь сдержалъ свое слово. Въ то время, какъ въ разныхъ мѣстахъ кипѣло сраженіе, ему удалось первому, послѣ множества усилій, взойти на валъ. За нимъ взбѣжало нѣсколько десятковъ Польскихъ удальцевъ. Они овладѣли двумя пушками и повернули уже ихъ, направивъ во внутренность крѣпости. Но Ѳеодосій, увидѣвъ опасность, подоспѣлъ съ отрядомъ Стрѣльцовъ. Завязалась жестокая битва. Черезъ нѣсколько времени валъ былъ очищенъ. Ѳеодосій, узнавъ Струся, пощадилъ его; онъ только вышибъ у него изъ руки саблю и столкнулъ съ вала, который былъ довольно отлогъ. Панъ покатился, какъ кубарь, и былъ остановленъ въ паденіи уступомъ вала.

«Чортовъ хвостъ!» воскликнулъ онъ, кряхтя и поднимаясь на ноги.

Уступъ былъ узокъ. Панъ, оступившись, покатился снова и попалъ въ ровъ.

«Дьявольская бомба!» проворчалъ онъ, вытаскивая руки и ноги изъ снѣга.

Между тѣмъ били уже отбой. Осажденные сдѣлали сильную вылазку, и Поляки отступали. Панъ Струсь, видя толпы бѣгущихъ, выскочилъ изъ рва съ легкостью неимовѣрною и пустился по полю такою рысью, что первый королевскій скороходъ, глядя на него, повѣсился бы отъ зависти.

—

XI.

Прошло нѣсколько недѣль. Полковникъ Каганскій не предпринималъ ничего важнаго, щадя жизнь солдатъ и надѣясь переговорами склонить Ѳеодосія къ сдачѣ крѣпости. Именемъ Короля онъ обѣщалъ ему за то богатую награду. Нужно ли говорить, что тотъ съ негодованіемъ отвергъ его предложеніе.

«Безъ штурма дѣло не обойдется,» говорилъ панъ Струсь. «Я давно это твержу. Да и вольно вамъ, полковникъ, поручать переговоры людямъ, которые вовсе къ тому неспособны.

«Попробуйте, ротмистръ, переговорить съ начальникомъ крѣпости, сказалъ Каганскій. Посмотримъ на ваше искусство!

«Пускай панъ Струсь докажетъ свое убѣдительное краснорѣчіе,» примолвили насмѣшливо прочіе офицеры.

«А что вы думаете, господа, не докажу, что ли? Дьявольская бомба! Конечно, не могу ручаться навѣрное за успѣхъ, однако жъ...

«Я вамъ очень буду благодаренъ, ротмистръ,» сказалъ Каганскій. «Уполномочиваю васъ вступить въ переговоры на извѣстныхъ уже вамъ основаніяхъ.

«Извольте! сейчасъ же отправляюсь. Теперь утро, надѣюсь, что къ обѣду будемъ въ крѣпости праздновать ея сдачу.»

Струсь, въ сопровожденіи трубача, подъѣхалъ къ крѣпостнымъ воротамъ и, послѣ обычныхъ знаковъ, былъ впущенъ въ Угличъ.

Войдя въ домъ Ѳеодосія, Струсь въ первой комнатѣ встрѣтилъ Лидію и такъ былъ пораженъ ея красотою, что едва не вскрикнулъ отъ удивленія и удовольствія. Лидія, увидѣвъ его, испугалась и хотѣла убѣжать, но, ободренная учтивымъ, низкимъ поклономъ Струся, остановилась и спросила: кого ему надобно?

«Мнѣ нужно говорить съ начальникомъ крѣпости,» сказалъ Струсь не совсѣмъ чисто по-Русски. «Я присланъ къ нему съ важнымъ порученіемъ отъ полковника Каганскаго.

«Не угодно ли вамъ подождать его здѣсь. Я сейчасъ его позову къ вамъ.» Лидія вбѣжала въ комнату, гдѣ былъ Ѳеодосій. Сидя у окна, онъ увидѣлъ, когда Струсь подъѣхалъ къ крыльцу. Иларіонъ и Евгенія ходили по комнатѣ и разговаривали.

«Тебя спрашиваетъ какой-то Полякъ, присланный Каганскимъ,» сказала Лидія Ѳеодосію. «Ему нужно говорить съ тобою о важномъ дѣлѣ.

«Безъ сомнѣнія, опять дружескія предложенія,» замѣтилъ Иларіонъ. «Это добрый знакъ! Видно, они увѣрились, что взять крѣпость трудно.

«Это пріѣхалъ панъ Струсь. Я его знаю,» сказалъ Ѳеодосій. «Мнѣ не о чемъ съ нимъ толковать. Я не вступлю ни въ какіе переговоры, пока они не отступятъ отъ крѣпости. Скажи ему это, Лидія.

«А если онъ хочетъ сказать тебѣ что нибудь хорошее? Мнѣ страхъ хочется узнать, зачѣмъ онъ пріѣхалъ. Это очень любопытно. Очевидно, что они трусятъ, когда такъ часто къ тебѣ забѣгать начали.

«Пожалуй, поговори съ нимъ, если тебя любопытство мучитъ. Уполномочиваю тебя кончить съ нимъ дѣло, какъ тебѣ вздумается. Согласись, пожалуй, и на сдачу крѣпости, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы вы оба прежде принудили меня сдать вамъ ее. Ну, поди же, начинай съ нимъ переговоры!

«А ты думаешь, что я боюсь его? Совсѣмъ не боюсь! Онъ такой учтивый. Пойду, скажу ему твой отвѣтъ и спрошу, зачѣмъ онъ пріѣхалъ?»

Лидія вышла опять къ Струсю.

«Начальникъ крѣпости не можетъ принять васъ,» сказала она. «Онъ поручилъ мнѣ переговорить съ вами.

«За эту насмѣшку!..» вскричалъ Струсь, вскочивъ со скамьи и обнаживъ до половины саблю.

Лидія перепугалась, хотѣла бѣжать, но Струсь взялъ ее за руку.

«Ну, рубите, рубите мнѣ голову, если вамъ этого не стыдно!» сказала она по-Польски, плачевнымъ голосомъ, протягивая свою шейку. «Не много вамъ будетъ чести убить беззащитную дѣвушку.

«Что слышу!» вскричалъ Струсь. «Русская красавица умѣетъ говорить по-Польски!

«Умѣю, къ вашимъ услугамъ.

«Падаю къ ногамъ вашимъ! Языкъ нашъ въ устахъ прекрасной дѣвушки сладкозвучнѣе гармоніи небесной! Прошу васъ, панна, успокойтесь, сядьте и обяжите меня, поговоривъ со мною. Какая пріятная неожиданность!»

Они сѣли у окна. Струсь распросилъ Лидію, гдѣ она научилась Польскому языку, какъ зовутъ ее, сколько ей лѣтъ, однимъ словомъ, засыпалъ ее вопросами. Отвѣты Лидіи восхитили, обворожили Струся. Ему показалось, что онъ никогда еще такъ не влюблялся.—Непремѣнно предложу ей руку, думалъ онъ, любуясь каждымъ взглядомъ дѣвушки, каждымъ ея движеніемъ. Онъ такъ размечтался, что совсѣмъ позабылъ, гдѣ онъ находится и съ какимъ посланъ порученіемъ. На него нашелъ жестокій припадокъ его разсѣянности. Ѳеодосій, Иларіонъ и Евгенія, удивляясь, что переговоры длятся уже болѣе часа, подошли тихонько къ дверямъ комнаты, и, вслушавшись въ разговоръ пана Струся и Лидіи, расхохотались.

«Вы говорите, что весело жили въ Польшѣ?» спрашивалъ Струсь. «Не откажетесь снова туда отправиться?

«Не знаю, что вамъ отвѣчать на это. Можетъ быть, мнѣ отъ того было весело, что я была моложе.

«А теперь вы развѣ состарѣлись, панна? Я обрублю тому уши, кто это подумать осмѣлится! Что же вамъ особенно нравилось въ Польшѣ?

«Мазурка.

«Мазурка! О, въ самомъ дѣлѣ, безподобный танецъ!

«Вы, вѣрно, ее прекрасно танцуете, панъ?

«Не дурно.»

Въ это время тонкій слухъ Лидіи помогъ ей разслушать за дверью смѣхъ Иларіона и Ѳеодосія, не смотря на то, что они старались смѣяться какъ можно тише. Это поощрило ее. Замѣтивъ, что панъ Струсь отъ нея безъ ума, она рѣшилась позабавиться надъ нимъ для собственнаго удовольствія и для возбужденія бо́льшаго смѣха въ скрытыхъ за дверью свидѣтеляхъ проказъ ея.

«Я такъ давно не танцовала мазурки,» сказала она печально. «Я думаю, совсѣмъ позабыла ее. Исполните ли вы, панъ, мою просьбу?

«Просьбу? Вы не можете имѣть до меня просьбъ, а имѣете право давать мнѣ одни приказанія. Для васъ, панна, я готовъ на все!

«Протанцуйте со мной мазурку,» сказала Лидія, вставъ со скамьи и подавая Струсю свою хорошенькую ручку.

Струсь усмѣхнулся.

«Нѣтъ ли кого здѣсь?» спросилъ онъ, разсѣянно осматриваясь.

«Никого нѣтъ; мы одни. Что жъ? Вы не хотите доставить мнѣ удовольствія? Или, можетъ быть, вы не такъ-то ловко танцуете? Признайтесь.

«Я неловко танцую! Вы это сейчасъ увидите. Позвольте только снять саблю.»

Панъ, взявъ Лидію за руку, всталъ въ молодецкую позицію, расправилъ усы, началъ насвистывать мазурку, щелкнулъ каблуками, притопнулъ, загремѣлъ шпорами—и пошелъ, и пошелъ! То перебрасывалъ онъ Лидію съ руки на руку, то, охвативъ ея стройный станъ, кружилъ ее, присѣдая чуть не до полу, то бросался на колѣна, обводилъ танцующую Лидію около себя, и, глядя на нее, былъ внѣ себя. Полъ дрожалъ отъ его топанья.

Сопровождавшій пана трубачъ дожидался его въ сѣняхъ. Услышавъ шумъ, онъ осторожно подошелъ къ дверямъ, немного растворилъ ихъ, высунулъ свое лицо и обомлѣлъ отъ удивленія, увидѣвъ, съ какимъ неистовствомъ ротмистръ, посланный для переговоровъ, выплясывалъ мазурку!

«Не помѣшался ли панъ?» сказалъ онъ про себя.—Что съ нимъ сдѣлалось?

Струсь, увидѣвъ выпученные глаза, поднятыя брови и разинутый ротъ трубача, вдругъ остановился, не додѣлавъ самое отчаянное па.

«Что тебѣ надобно, Гржимайло? Откуда ты взялся?» спросилъ онъ съ досадой.

«Это вы, панъ?

«Конечно я! Что за глупый вопросъ? Убирайся къ чорту! Откуда ты могъ здѣсь взяться?

«Какъ откуда взяться! Я съ вами пріѣхалъ, панъ, для переговоровъ.

«Дьявольская бомба!» вскричалъ Струсь, ударивъ себя ладонью по лбу. «Совершенно забылъ! Во всемъ этомъ виноваты вы, обворожительная панна. Слушай, Гржимайло! если ты заикнешься, пикнешь въ лагерѣ о томъ, что ты здѣсь видѣлъ, то не быть тебѣ живому! Я тебя изрублю!

«Слушаю, панъ.

«Убирайся къ своему мѣсту. Видите ли, панна, что вы меня совсѣмъ съ ума свели. Но вы устали, кажется? Слдьте.»

Онъ подвелъ Лидію къ скамейкѣ, взялъ потомъ свою саблю и надѣлъ на себя.

«Это, кажется, домъ начальника крѣпости?» продолжалъ онъ.

«Такъ точно.

«Гдѣ жъ хозяинъ дома?

«Я уже сказала вамъ, что онъ не хочетъ вступать въ переговоры.

«Не хочетъ!... Онъ въ этомъ раскается: скажите ему это отъ меня. Вы, кажется, сестра его?

«Да, сестра.

«Скажите ему, что мы возьмемъ крѣпость штурмомъ... что мы не оставимъ въ Угличѣ камня на камнѣ...

«Какой вы злой, панъ.

«И это вы такъ спокойно слушаете?

«Я увѣрена, что вы не исполните вашей угрозы: вы такъ добры и любезны. Еще скажу вамъ, между нами, что крѣпость взять невозможно.

«Кто вамъ сказалъ это? Нѣтъ на свѣтѣ крѣпости, которая бы противъ насъ устояла.

«Мой братъ говоритъ, что вы напрасно будете хлопотать около Углича.

«Увидимъ!... Повторяю, что онъ раскается въ своемъ упрямствѣ. Я увѣренъ, впрочемъ, что онъ самъ давно уже отчаялся въ спасеніи крѣпости, и притворяется спокойнымъ, чтобы не устрашить васъ.

«Быть не можетъ! Онъ никогда не притворяется. Не стыдно ли вамъ, панъ, такъ пугать меня?

«Вамъ опасаться нечего. Я васъ беру подъ свою защиту.

«Благодарю васъ, но, кажется, въ вашей защитѣ мнѣ не будетъ нужды.

«Я возьму васъ въ плѣнъ, панна. Къ стыду моему, долженъ признаться, что вы уже прежде меня взяли въ плѣнъ. Вы это безъ сомнѣнія замѣтили, должны были замѣтить. Я увезу васъ въ Польшу, отведу вамъ въ моемъ замкѣ лучшія комнаты, буду слугою, рабомъ моей плѣнницы... буду угождать вамъ, веселить васъ, исполнять всѣ приказанія, всѣ прихоти ваши, и если сердце моей плѣнницы еще свободно, если мое нѣжное вниманіе успѣетъ тронуть ее, я буду счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ! Я холостъ, знатенъ, богатъ. Множество красавицъ льстились надеждою завлечь меня въ свои сѣти, но до сихъ поръ сердце мое сохраняло неза-

висимость. До сихъ поръ я жилъ только для войны и для славы. Пора успокоиться, пора подумать о семейномъ счастіи. До свиданія, моя прелестная плѣнница!

«Покуда я еще свободна, а вы... мой плѣнникъ! Если я вамъ въ самомъ дѣлѣ правлюсь, если вы точно хотите исполнять всѣ мои желанія, то докажите искренность всѣхъ увѣреній вашихъ исполненіемъ моей первой просьбы.

«Приказывайте, повелѣвайте, панна.

«Отступите отъ Углича и уйдите отъ него подальше.

«Какъ мило вы шутить умѣете, панна! Нѣтъ, нѣтъ! Участь Углича рѣшена. Беремъ его штурмомъ, и вы — моя плѣнница! Скажите, однако жъ, начальникъ крѣпости рѣшительно не хочетъ переговоровъ?

«Рѣшительно не хочетъ.

«Хорошо! Прощаюсь съ вами. Прошу васъ ничего не опасаться; вы подъ моей защитой. Никто изъ нашихъ не прикоснется и къ краю вашего платья.

«Я увѣрена въ этомъ, потому что вы не возьмете Углича.

«Позвольте, панна, мнѣ оставить вамъ что нибудь на память.»

Струсь въ это время вспомнилъ о фатѣ и башмакѣ, которые онъ нашелъ въ загородномъ домѣ, гдѣ Каганскій назначилъ свою главную квартиру. Ему пришла мысль: не Лидія ли потеряла эти вещи? Когда онъ пилъ изъ найденнаго башмака за здоровье неизвѣстной красавицы, которую онъ хотѣлъ непремѣнно отыскать въ Угличѣ, то въ головѣ его составился идеалъ красоты. Лидія такъ близко подошла къ этому идеалу, что

Струсь, вспомнивъ о фатѣ и башмакѣ, тотчасъ рѣшилъ: это она, непремѣнно она! Желая увѣриться въ справедливости блеснувшей мысли, онъ спросилъ Лидію: «Не потеряли ли вы чего нибудь за городомъ?» Лидія удивилась такому вопросу. Когда-то, гуляя по берегу Волги, она потеряла платокъ. Вспомнивъ объ этомъ, она отвѣчала Струсю: «Я потеряла платокъ.

«А еще что?

«Болѣе ничего.

«Понимаю ваше смущеніе. Понимаю, что стыдливость мѣшаетъ вамъ признаться въ потерѣ еще кой-чего. Я нашелъ обѣ ваши вещи, предугадалъ по нимъ вашу чудесную красоту, и далъ себѣ слово отыскать васъ здѣсь, въ Угличѣ. Изрядно же мы васъ перепугали; сознайтесь, что, услышавъ о нашемъ приближеніи, вы съ ужасомъ бѣжали изъ вашего загороднаго дома? Иначе вы не сронили бы той вещи, въ потерѣ которой вы стыдитесь признаться.

«Я не понимаю васъ, панъ.

«Не краснѣйте, панна! Вы не мужчина. Робость прилична красавицамъ. Вотъ ваши вещи. Я ихъ всегда носилъ съ собою, здѣсь на груди моей. Вотъ вашъ платокъ, вотъ башмачекъ съ вашей прелестной ножки. Изъ этого башмачка я пилъ за ваше здоровье въ виду цѣлаго лагеря, и тогда уже объявилъ себя напередъ вашимъ плѣнникомъ.» Лидія расхохоталась.

«Помилуйте, панъ!» сказала она. «Я потеряла полотняный платокъ прошлаго года, а вы мнѣ отдаете шелковую фату и какой-то башмакъ. Фату носятъ здѣсь однѣ женщины, а я еще, слава Богу, не замужемъ. И

башмаковъ, будьте увѣрены, я никогда еще не теряла. Съ чего это все пришло вамъ въ голову!

«Стало быть, это недоразумѣніе,» сказалъ Струсь, смутясь. «Впрочемъ, позвольте оставить вамъ на память мои обѣ находки. Не возражайте мнѣ. Вы не принудите меня взять ихъ назадъ. Онѣ будутъ талисманомъ, который предохранитъ васъ отъ всякой опасности во время штурма. Если я васъ не вдругъ отыскалъ бы по взятіи крѣпости, то покажите мой подарокъ кому хотите изъ нашихъ воиновъ. Вамъ всѣ окажутъ такое же уваженіе, какъ королевѣ, и тотчасъ же проводятъ васъ, въ безопасности, ко мнѣ. Но я увѣренъ, что я первый отыщу васъ. До свиданія, несравненная панна!»

Поцѣловавъ руку Лидіи, Струсь удалился.

«Что за сумасшедшій!» сказала Лидія вполголоса, глядя ему вслѣдъ. Она улыбнулась и побѣжала въ другую комнату.

«Поздравляю съ женихомъ и съ подаркомъ!» сказала Евгенія, смѣясь и обнимая вбѣжавшую сестру.

У Иларіона и Ѳеодосія были слезы на глазахъ... отъ хохота.

—

XII.

Наступило Вербное Воскресенье. Жители Углича, отъ обѣдни разойдясь по домамъ, готовились сѣсть за столъ. Вдругъ раздался звукъ колокола.

«Что это значитъ? сказалъ Горовъ, бывшій въ домѣ Ѳеодосія.

«Кажется, звонятъ на колокольнѣ Преображенскаго собора,» замѣтилъ Иларіонъ. «Не пойти ли намъ на площадь?

«Звонъ въ такое необыкновенное время!» сказалъ Ѳеодосій. «Надобно тотчасъ же узнать, что это такое?»

Всѣ трое пошли къ собору. Евгенія и Лидія хотѣли также итти съ ними, но Ѳеодосій не пустилъ ихъ.

«Лучше вы похлопочите объ обѣдѣ,» сказалъ онъ. «Мы сейчасъ воротимся, и вы все узнаете. Я вижу, что вы ужъ испугались! Всего вы боитесь!»

На площади толпился народъ. Всѣ спѣшили войти въ Преображенскую церковь и тѣснились у входа.

Ѳеодосій съ Иларіономъ и Горовымъ вошелъ въ соборъ и увидѣлъ на амвонѣ, посреди церкви, монаха. Онъ стоялъ съ опущенною головою, съ сложенными руками. Сѣдая борода его лежала на груди.

«Кто этотъ чернецъ, откуда, зачѣмъ онъ собралъ народъ въ церковь?» спрашивали всѣ другъ у друга шепотомъ.

«Этого старца я знаю,» сказалъ Горовъ Ѳеодосію. «Онъ изъ Николкина монастыря, который прозывается Песочнымъ. Благочестивый старикъ! Ему уже лѣтъ восемдесятъ отъ роду.»

Старецъ поднялъ голову, окинулъ глазами народъ, тѣснившійся въ церкви, и сказалъ: «Православные христіане! Сегодня въ полночь молился я въ уединеніи объ избавленіи города Углича отъ враговъ. Молился я долго и усердно. Слезы текли изъ глазъ моихъ. И вдругъ, стоя на колѣняхъ, пришелъ я въ какое-то оцѣпенѣніе. Мысли мои стали мѣшаться, въ глазахъ нача-

ло темнѣть, какъ будто сонъ овладѣлъ мною, но, я чувствовалъ, что не сплю. Сердце мое билось непонятнымъ благоговѣніемъ и ужасомъ. И увидѣлъ я предъ собою прекраснаго юношу, въ бѣлой одеждѣ.

«О чемъ плачешь ты?» сказалъ онъ мнѣ. «Иди въ Угличъ и возвѣсти жителямъ, что добрая пшеница уже созрѣла и вскорѣ собрана будетъ въ небесную житницу.» Пораженный видѣніемъ, я всталъ, посмотрѣлъ во всѣ стороны, но юноша исчезъ. Я пришелъ, православные христіане, возвѣстить вамъ о моемъ видѣніи. Забудьте вражду, очистите сердца, будьте готовы. Отсюда нѣтъ уже вамъ дороги въ міръ. Одинъ путь вамъ остается,—путь изъ этого міра. Смерть со своими легіонами окружила Угличъ. Не скорбите и не ужасайтесь. Не окружаютъ ли легіоны смерти всѣхъ жителей земли такъ же, какъ и городъ нашъ? Блаженны тѣ, которые помнятъ часъ послѣдній!... Вооружитесь щитомъ Вѣры, Надежды и Любви, и вы навсегда спасетесь отъ смерти въ область жизни.»

Старецъ сошелъ съ амвона, и удалился изъ церкви. Рѣчь его поразила слушателей. Въ глубокомъ унынiи всѣ разошлись по домамъ. Въ тотъ же день пронесся по городу слухъ, что старикъ, говорившій въ церкви, возвратясь въ келью, черезъ нѣсколько часовъ умеръ тихо и спокойно. Это извѣстіе еще болѣе изумило Угличанъ. Во всю Страстную Недѣлю они готовились къ смерти.

Раздалось въ храмахъ пѣніе: «Христосъ воскресе!» и сердца при этихъ радостныхъ, торжественныхъ звукахъ вновь забились надеждою.

Ѳеодосій не унывалъ, и неусыпно заботился о защитѣ крѣпости. Поляки стояли спокойно въ лагерѣ, изрѣдка перестрѣливаясь съ осажденными. Ледъ прошелъ на Волгѣ, и воды ея начали постепенно возвышаться. Съ луговой стороны прибылъ гонецъ, переѣхалъ рѣку ночью и впущенъ былъ въ крѣпость черезъ подземельный ходъ. Онъ привезъ извѣстіе, что нѣсколько полковъ, преданныхъ Царю Василію, собрались около Ярославля и спѣшатъ къ Угличу.

Всѣ радовались, всѣ поздравляли другъ друга.

Наступила ночь. Всѣ жители спали. Вдругъ, около полуночи, раздался набатъ. Ѳеодосій въ это время обходилъ съ Иларіономъ крѣпостныя стѣны. Сотникъ Ивановъ прибѣжалъ къ нимъ, запыхавшись.

«Измѣна!» кричалъ онъ. «Пятьсотъ Стрѣльцовъ передались на сторону Ляховъ и впустили ихъ въ крѣпость.

«Къ оружію! къ оружію, товарищи!» закричалъ Ѳеодосій, выхвативъ саблю. «Бейте тревогу, сбирайтесь всѣ на площадь, становитесь въ ряды: тамъ встрѣтимъ враговъ! А ты, Иларіонъ, бѣги въ домъ нашъ, и проведи скорѣе Евгенію и Лидію на Преображенскую колокольню. Тамъ онѣ будутъ безопасны отъ выстрѣловъ. Я окружу колокольню рядами самыхъ храбрыхъ Стрѣльцовъ. Не уходи отъ бѣдныхъ сестеръ, ободряй ихъ. Скажи, увѣрь, что онѣ будутъ спасены. Возьми съ собою нѣсколько Стрѣльцовъ, и поставь ихъ къ орудію, которое я недавно велѣлъ поднять на колокольню. Прощай, Иларіонъ!»

Жители Углича, пробужденные пальбою, набатомъ, крикомъ сражающихся, вскочили въ ужасѣ, хватали оружіе и выбѣгали изъ домовъ. Поляки, какъ истребительная лава, разливались по крѣпости. Потокъ остановился, встрѣтивъ оплотъ на площади — твердый рядъ Стрѣльцовъ. Закипѣла жестокая битва.

Иларіонъ успѣлъ провести Евгенію и Лидію въ верхній ярусъ колокольни. Къ нимъ присоединился Горовъ, съ огромною пищалью въ рукѣ.

«Наказаніе Божіе!» восклицалъ онъ горестно. «Не адъ ли кипитъ подъ нами? Сердце все изныло отъ ужаса!»

Пожаръ пылалъ въ предмѣстіи Углича. Уже и въ крѣпости многія зданія обнялись пламенемъ.

Евгенія и Лидія, освѣщенныя заревомъ, сидѣли на разостланной епанчѣ Иларіона, прислонясь къ стѣнѣ. Блѣдныя, молчаливыя, онѣ смотрѣли то на Иларіона, то на Горова, какъ будто прося защитить ихъ. По временамъ, Лидія, опуская лицо въ ладони, рыдала. Евгенія была тверже и спокойнѣе. Иларіонъ старался обѣихъ ободрить и утѣшить.

Настало утро, а битва еще не переставала. Съ восходомъ солнца закипѣла она еще яростнѣй. Ряды Стрѣльцовъ на площади примѣтно рѣдѣли и колебались. Вооруженные жители подкрѣпляли ихъ.

Ѳеодосій, видя малочисленность войска и усиливавшійся съ каждою минутою натискъ непріятелей, велѣлъ остаткамъ Стрѣльцовъ и вооруженныхъ жителей отступать и постепенно входить въ Преображенскій Со-

боръ, на колокольню, и въ каменный дворецъ Царевича Димитрія.

«Это наши будутъ три крѣпости!» сказалъ онъ. «Не сдадимъ ихъ до послѣдней крайности. Завалимъ двери бревнами и каменьями!»

Приказаніе его исполнили. Онъ самъ взбѣжалъ на колокольню, и наложилъ фитиль на орудіе. Грянулъ выстрѣлъ. Стрѣльцы, изо всѣхъ оконъ колокольни выставивъ ружья, начали пальбу. Все зданіе задышало огнемъ и дымомъ. Изъ дворца Царевича Димитрія съ громомъ сыпался свинцовый дождь. На Преображенскомъ Соборѣ утреннее солнце ярко освѣтило золотой крестъ. Въ то же время изо всѣхъ оконъ выстрѣлы свили около храма вѣнецъ изъ молній и дыма. Вся церковь сверкала, гремѣла и дымилась. Казалось, храмъ Божій ополчился за православную Россію.

Перекрестный, жестокій огонь, направленный изъ оконъ на паперть церкви, уничтожалъ усилія Поляковъ выломить дверь храма. Они поставили наконецъ пушку на площади, направили на эту дверь и начали стрѣлять. Ядро за ядромъ, раздробляя желѣзо и дерево, вырывало ряды изъ тѣснившагося въ церкви народа.

Наконецъ дверь разлетѣлась, толпы враговъ хлынули въ церковь, и въ домѣ молитвы раздались крики вражды, началась сѣча. Кровь лилась ручьями черезъ порогъ церковный.

Во дворецъ Царевича Димитрія также вломились враги. Оставалась одна колокольня. Входъ въ нее заваленъ былъ съ внутренней стороны каменьями и обрубками бревенъ, съ внѣшней грудами убитыхъ. Всѣ усилія По-

ляковъ обратились на эту грозную колокольню, которая, какъ непобѣдимый великанъ, стояла посреди враговъ, бросая смерть въ толпы ихъ.

«Огня, огня!» закричали въ рядахъ непріятельскихъ. «Зажжемъ колокольню!»

Ѳеодосій разслушалъ этотъ крикъ. Отъ орудія, у котораго онъ стоялъ, взбѣжалъ онъ на верхній ярусъ, гдѣ были Евгенія и Лидія.

«Скоро ли убьютъ насъ?» вскричала Лидія, ломая руки. «Ахъ, какъ бы насъ поскорѣй убили! Не правда ли, Ѳеодосій, все уже погибло, и намъ спастись невозможно?

«Нѣтъ, Лидія! Я спасу васъ. Ободрись, Евгенія! Пока не взята колокольня, мы еще не побѣждены.» Онъ подошелъ къ окну и взглянулъ на Волгу. Въ это время вдали появились Русскія знамена. Полки отъ Ярославля спѣшили на помощь Угличу.

«Слава Богу!» воскликнулъ Ѳеодосій, указывая вдаль. «Помощь!

«Слава Тебѣ, Создателю!» вскричалъ Горовъ и бросился на колѣни.

«Пойдемъ, Евгенія! пойдемъ скорѣе, Лидія!» продолжалъ Ѳеодосій. «Я васъ проведу на берегъ Волги. Вы переѣдете рѣку; Иларіонъ укроетъ васъ въ безопасномъ мѣстѣ.

«Куда итти намъ?» сказала Евгенія. «Намъ, кажется, одинъ остался свободный путь... туда!»

Она указала на небо.

«За мной, за мной!» вскричалъ Ѳеодосій. «Время дорого.»

Онъ повелъ ихъ внизъ, по лѣстницѣ. Проходя мимо пушки, Ѳеодосій сказалъ Сотнику Иванову, который заряжалъ ее, и Стрѣльцамъ, стрѣлявшимъ въ окна: «Я сейчасъ буду къ вамъ, товарищи! Не унывайте! Отстаивайте колокольню. Къ намъ идетъ помощь.»

Онъ спустился до самаго основанія колокольни, поднялъ потаенную дверь, зажегъ факелъ и вошелъ въ подземный ходъ. Евгенія и Лидія, поддерживаемыя Иларіономъ и Горовымъ, послѣдовали за нимъ. Долго шли они по узкому ходу, подъ низкимъ, остроконечнымъ сводомъ, и приблизились наконецъ къ желѣзной рѣшетчатой двери. Сквозь нея видны были кустарники и мелькавшія струи Волги.

Онъ отперъ дверь и подвелъ всѣхъ къ небольшой лодкѣ, скрытой подъ нависшими надъ водою кустарниками.

«Садитесь и плывите съ Богомъ!» сказалъ онъ. «Прощайте! Прощай, Евгенія!... Прощай, Лидія!... Иларіонъ! поручаю ихъ тебѣ.»

Смертная блѣдность покрыла лицо Евгеніи.

«А ты... не ѣдешь съ нами?» сказала она, задыхаясь.

«Я долженъ, обязанъ воротиться. Безъ меня, можетъ быть, не отстоятъ колокольни. Я велѣлъ товарищамъ моимъ ее отстаивать до послѣдней крайности, пока не подоспѣетъ помощь. Что скажетъ мнѣ совѣсть, если я не возвращусь къ нимъ по обѣщанію, и они одни погибнутъ? Нѣтъ! Я раздѣлю судьбу ихъ. Тамъ, вмѣстѣ съ ними, найду смерть или побѣду. Вспомни, что все кругомъ во власти Поляковъ. На одной колокольнѣ сра-

жаются еще Рускіе за свою независимость, за Царя своего. Прощай, Евгенія!

«Возьми и меня съ собой!» вскричала она, въ безпамятствѣ, бросясь въ объятія Ѳеодосія. «Безъ тебя что мнѣ въ жизни! О, если бы ты зналъ, какъ я люблю тебя, Ѳеодосій! Нѣтъ! полно уже мнѣ скрываться! полно себя обманывать! Спасайся съ нами, Ѳеодосій, или сжалься надо мной! Возьми меня съ собою!»

Ѳеодосій затрепеталъ и прижалъ Евгенію къ сердцу. Лидія рыдала. Пораженный Иларіонъ стоялъ, блѣдный и неподвижный, едва переводя дыханіе. Горовъ вздыхалъ, смотрѣлъ на всѣхъ попеременно и утиралъ рукавомъ слезы.

«Что сказала ты, Евгенія!» проговорилъ дрожащимъ голосомъ Ѳеодосій. «Вспомни, что ты невѣста моего брата. Ты убьешь его! Нѣтъ, нѣтъ! Я иду! Прощай!»

Буря кипѣла въ сердцѣ Иларіона. Онъ не понималъ, не чувствовалъ себя, какъ оглушенный громомъ. Вдругъ, собравъ всѣ силы души, онъ подошелъ къ Евгеніи, взялъ ее ласково за руку и сказалъ: «Я не виню тебя, моя милая! Сердцемъ владѣть невозможно. Возвращаю тебѣ клятву твою. Будь счастлива съ Ѳеодосіемъ! Братъ, любезный братъ! люби ее!...»

Онъ заплакалъ.

«Прости меня, Иларіонъ!» вскричала Евгенія, бросясь къ ногамъ его.

«Встань, встань, Евгенія!» сказалъ Иларіонъ, поднимая ее. «Я не виню тебя... Позволь, братъ, мнѣ вмѣсто тебя итти на колокольню.»

*

Онъ подошелъ къ двери.

«Нѣтъ, Иларіонъ! ни за что!...» воскликнулъ Ѳеодосій, схвативъ его за руку. «Время проходитъ. Можетъ быть, тамъ безъ меня гибнутъ мои товарищи! И тамъ... и здѣсь!...» продолжалъ онъ, взглянувъ на Евгенію, которая упала въ объятія Лидіи.

«О! какъ рвется мое сердце! Въ битву! въ битву! Прощайте!.. Прощай, моя Евгенія!»

Онъ поцѣловалъ ее, побѣжалъ и захлопнулъ за собою желѣзную дверь.

Евгенія была въ обморокѣ. Иларіонъ и Горовъ внесли ее въ лодку и посадили подлѣ Лидіи. Она обняла ее, и положила ея голову на плечо свое. Лодка поплыла.

Лидія нѣсколько разъ брызнула водою въ лицо Евгеніи. Она открыла томные глаза, и первый взглядъ ея устремился на колокольню. Та попрежнему дымилась и гремѣла. Между тѣмъ соборъ Преображенскій и дворецъ Царевича Димитрія, зажженные врагами, пылали. Пожаръ быстро разливался по всему Угличу.

«Загорѣлась! загорѣлась!» вскричалъ черезъ нѣсколько минутъ Горовъ, сплеснувъ руками, и указалъ на колокольню.

Пламя обхватило ея деревянныя лѣстницы и стропила. Выстрѣлы съ нея рѣдѣли и вскорѣ замолкли. Изъ оконъ и съ ея вершины клубился густой, черный дымъ.

Евгенія не спускала глазъ съ колокольни.

«Онъ погибъ, Лидія!» сказала она чуть слышнымъ голосомъ, и, закрывъ лицо руками, приникла къ плечу сестры.

Въ это время раздалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ съ берега. Евгенія вдругъ вскрикнула, встрепенувшись, и застонала.

«Боже мой! Кровь!» воскликнула отчаяннымъ голосомъ Лидія. «Сестрица милая! тебя ранили!»

Отвѣта не было.

Держа сестру въ объятіяхъ, она тихо положила ея поникшую голову на свои колѣни, устремила взоръ на ея неподвижные, полузакрытые глаза, и въ оцѣпенѣніи ждала, искала на лицѣ ея признаковъ жизни. Напрасно!... Лидія зарыдала. Слезы ея капали на тихое, спокойное лицо Евгеніи, покрытое смертною блѣдностію.

Иларіонъ пустилъ лодку по теченію Волги, гребя изо всѣхъ силъ. Онъ не понималъ что дѣлаетъ, не зналъ куда спѣшитъ. Въ дикихъ взглядахъ его ярко выражалось отчаяніе.

«Утѣшьтесь, матушка!» сказалъ Горовъ Лидіи, скрѣпясь и удерживая слезы. «Они оба теперь тамъ!» продолжалъ онъ, указывая на небо. «Ей Богу, матушка, тамъ лучше, чѣмъ здѣсь!»

—

Россія гибла, но Богъ не судилъ ей погибнуть. Раздался въ Нижнемъ Новѣгородѣ голосъ простаго гражданина, и отозвались на него вѣрные сыны отечества во всѣхъ концахъ государства. Запылала Москва! запылали сердца Русскія!... развилось знамя Пожарскаго, собралось войско, и побѣда полетѣла по слѣдамъ его.

Свергнувъ иго иноплеменниковъ, Россія возстала и, свободная, избрала себѣ Царя по сердцу. Памятенъ для Рускихъ день: *двадцать первое Февраля 1613 года*. Съ этого дня началась новая жизнь нашего отечества.

Когда въ Москвѣ праздновали вступленіе на престолъ Михаила, Горовъ встрѣтилъ на Красной Площади Стрѣлецкаго Голову съ молодою, прекрасною женой.

У Стрѣльца была подвязана рука, раненая при отбитіи Кремля у Поляковъ.

Всмотрѣвшись, Горовъ узналъ эту чету и, съ радостными слезами, бросился обнимать своего знакомца. Счастіе изображалось яркими чертами въ темно-голубыхъ глазахъ Стрѣльца и въ прелестныхъ, черныхъ глазкахъ молодой жены его.

Вѣроятно, и читатели узнали эту счастливую пару.

ДЕРЕВО СМЕРТИ.

ДЕРЕВО СМЕРТИ.

I.

Есть дерево въ лѣсахъ Америки; оно
Чудесной силой чаръ одарено.
О, путникъ! берегись искать отдохновенья
Въ тѣни его. Глаза смежитъ невольный сонъ,
Возстанутъ предъ тобой волшебныя видѣнья,
И, очарованъ, восхищёнъ,
Ты не дождешься пробужденья.
Ты встрѣтишь смерть, не думая о ней;
Проснешься въ области тѣней.

II.

Спустилось въ волны океана
Свѣтило дня, и край небесъ
Горитъ зарей. Гигантскій лѣсъ,
Покрытый саваномъ тумана,

До берега съ вершины горъ
Низходитъ грозно. Вотъ, въ долинѣ
Ревъ слышенъ буйвола. Изъ норъ
Выходятъ тигры. На вершинѣ
Высокой пальмы соловей
Своей влюбленной пѣснью томной
Встрѣчаетъ ночь. Гремучій змѣй
Поднялся изъ травы огромной:
То свившись въ два, то въ три кольца,
Свирѣпо смотритъ на пѣвца.

III.

Зачѣмъ ты, о юноша, поздней порой
По берегу моря блуждаешь,
И слушаешь волнъ океана прибой,
И взоръ въ отдаленье вперяешь?
«Здѣсь ночи и дни одинокій брожу,
И ночи и дни все тоскуя,
Въ печали глубокой на море гляжу,
И думой крылатой лечу я
Туда, черезъ весь океанъ, на Востокъ,
Въ Россію, родную Россію,
Откуда навѣки изгналъ меня рокъ!...
Тамъ вижу, въ восторгѣ, Марію!
И все позабывъ, бѣглеца не виня,
Бѣдняжка снѣется и скачетъ,
И въ очи глядитъ, и цѣлуетъ меня,
И плачетъ, да, радостно плачетъ!

И вотъ я въ семьѣ, средь родныхъ и друзей,
Печаль и тоску забываю,
И, въ домъ возвратясь изъ-за дальнихъ морей,
Убитой душой оживаю.
Но длится недолго мечтаній обманъ:
Существенность снова жестоко
Мнѣ вдругъ предстаетъ. Предо мной океанъ;
Россія.... далеко, далеко!...»

IV.

Повѣялъ утренній, прохладный вѣтерокъ,
На небѣ облака лучами заиграли,
Пылаетъ пурпуромъ востокъ,
И шаткія тумановъ зданья пали
На дно глубокое долинъ.
Возсталъ изъ моря исполинъ,
И тѣни спрятались за горы
И въ бездны спрянули. Весь золотомъ облитъ,
Спокойный океанъ сіяньемъ чуднымъ взоры
И ослѣпляетъ и дивитъ.
Но утра красоты не трогаютъ скитальца.
Онъ съ берега идетъ; съ поникшей головой
Садится къ дереву. Тоска въ душѣ страдальца;
Въ Россію онъ летитъ привычною мечтой,
Живя однимъ прошедшимъ, безъ надежды.
И вдругъ невольный сонъ его смыкаетъ вѣжды.
Чело разгладилось; спокойствіе въ чертахъ;
Улыбка у него мелькнула на устахъ;

Тоска и грусть съ лица слетѣли,
И радости слеза въ глазахъ его блеститъ.
Такъ безмятежно, тихо спитъ
Младенецъ въ колыбели.

V.

Что ты видишь, добрый молодецъ, во снѣ!
Ужъ не свидѣлся ли съ милою своей?
Не цѣлуешь ли пріятелей-друзей?
Не несешься ли на борзомъ ты конѣ,
Въ полѣ чистомъ, по шелковой муравѣ,
Къ бѣлокаменной, родной твоей Москвѣ?
Посмотри: тамъ Кремль, какъ звѣздочка, горитъ!
Какъ онъ много ретивому говоритъ!....
Добрый молодецъ завидѣлъ Кремль вдали,
Ну вотъ градомъ слезы такъ и потекли.
Онъ сдержалъ коня, на землю вмигъ спрыгнулъ,
И къ землѣ родной устами онъ прильнулъ.
«Боже! Боже! я на родинѣ опять!
Я могу отца и мать свою обнять,
Расцѣлую милыхъ братцевъ и сестрицъ,
Налюбуюсь вновь на Русскихъ на дѣвицъ;
Между ними ждетъ одна давно меня!...»
Онъ вскочилъ опять на борзаго коня,
И по полю полетѣлъ онъ соколомъ,
По дорогѣ только встала пыль столбомъ.
«Не горюй, не плачь, красавица! Лечу!
Умереть у ногъ отъ радости хочу!»

VI.

Тоска и грусть съ лица слетѣли,
И радости слеза въ глазахъ его блеститъ.
Такъ безмятежно, тихо спитъ
Младенецъ въ колыбели.
И не проснешься ты! Плѣнительной мечтой
Ты яду тонкому обязанъ,
Ты цѣпью къ дереву невидимой привязанъ,
А подлѣ смерть стоитъ съ поднятою косой.
Друзья его! гдѣ вы? спѣшите!
Скорѣй, скорѣй его будите!
Прочь, прочь отъ дерева!... Никто изъ васъ нейдетъ?
Свершилося! Вашъ другъ навѣкъ глаза сомкнетъ
Среди мечтательнаго рая.
Но и не всѣ ль, какъ онъ, мы смерти ждемъ, мечтая?

VII.

Его спасли. Онъ снова сталъ
Бродить по берегу, съ тоской невыразимой
Смотрѣть на океанъ, искать въ дали незримой
Эдема своего. Не долго онъ искалъ:
Существенность все сердце истерзала.
Лишь находилъ отраду онъ,
Плѣнительный воспоминая сонъ.
Однажды, какъ заря на небѣ исчезала,
Несчастнаго у дерева нашли.
Вокругъ него онъ обвилъ крѣпко руки

Оледенѣлыя: разнять ихъ не могли!
Сонъ обольстительный его окончилъ муки,
И міра лучшаго въ таинственный предѣлъ,
Мечтая, онъ перелетѣлъ.

УРСУЛЪ.

УРСУЛЪ.

Повѣсть.

И онъ началъ разсказъ:

Въ 18... году, рано утромъ, ѣхалъ я верхомъ изъ загородныхъ Кишеневскихъ садовъ, называемыхъ Малиною, въ городъ. Проѣзжая мимо корчмы, у въѣзда, противъ торговой площади, я замѣтилъ, привязанныхъ къ столбамъ навѣса, нѣсколькихъ верховыхъ лошадей, въ турецкой сбруѣ. Смуглый, суровой наружности человѣкъ стоялъ, облокотясь на одну изъ нихъ; онъ былъ въ простой арнаутской одеждѣ, въ мантѣ, обшитой въ узоръ снурками, и въ молдованской кушмѣ, или высокой перегнутой на бокъ шапкѣ изъ черныхъ мерлушекъ; другая рука его лежала на пи-

столетъ, который торчалъ за поясомъ. Пріостановясь взглянуть на статныхъ коней, и налюбовавшись на нихъ, я спросилъ у него по-Молдовански, не продастъ ли мнѣ одного жеребца.

«Не годятся тебѣ,» отвѣчалъ онъ равнодушно, окинувъ меня дикими взорами.

«Отчего же не годятся?»

Отвернувшись отъ меня, онъ какъ будто не слыхалъ моего вопроса.

Я понялъ, что отъ него не добиться болѣе ни слова, и поѣхалъ своею дорогой.

Едва я поравнялся съ областнымъ почтовымъ дворомъ, который былъ саженей на сто отъ корчмы, какъ вдругъ изъ воротъ выбѣжалъ Молдованъ, а вслѣдъ за нимъ почтмейстеръ, отставной полковникъ, старый гусаръ, и вся его команда почтальоновъ, вооруженныхъ кортиками. Всѣ они бросились къ корчмѣ, на которую указывалъ Молдованъ и кричалъ: «*талгарь! талгарь!**

«Хайдъ!» раздалось у корчмы, и по этому слову выскочило нѣсколько человѣкъ, съ ружьями за плечами, съ ятаганами и пистолетами за поясомъ. Торопливо отвязали они лошадей, и между тѣмъ, какъ на крикъ Молдована бросился съ площади и народъ, они вскочили на сѣдла, оглянулись и, вмѣсто того, чтобъ скакать за городъ, какъ птицы вспорхнули изъ окружавшей уже ихъ толпы почтальоновъ и народа, и по-

* Разбойники.

неслись вдоль по улицѣ, прямо въ городъ. Все бросилось въ слѣдъ за ними, съ крикомъ: *талгарь!*

Вскорѣ передъ отчаянными всадниками вся улица залилась народомъ; отважные загородили имъ дорогу, надѣясь крикомъ и шапками испугать лошадей; но разбойники, безстрашно, какъ скованные другъ съ другомъ, мчались сквозь толпы, поражая вправо и влѣво выстрѣлами изъ пистолетовъ и саблями всѣхъ, кто набѣгалъ на нихъ и дерзко протягивалъ руку къ уздѣ.

Жандармская команда, на дюжихъ коняхъ, также шла въ погоню.

Проскакавъ бо́льшую часть улицы и видя, что передъ ними толпы народа становятся гуще и гуще, они быстро своротили вправо въ переулокъ, на грязную жидовскую улицу. У народа Израильскаго въ этотъ день былъ праздникъ «Трубъ». Жиды, накинувъ на головы саваны и прикрѣпивъ ко лбу Хранилище Заповѣдей, углубленные въ молитву, пробирались въ синагогу; а жиденята, въ воспоминаніе воинства Израилева, расхаживали толпами, вооруженные деревянными мечами и стрѣлами. Втоптавъ въ грязь нѣсколькихъ защитниковъ Іерусалима отъ нашествія Навуходоносора, всадники мчались быстро впередъ, преслѣдуемые народомъ крикомъ *талгарь!* и воплями раздавленныхъ.

Въ концѣ улицы показался на встрѣчу имъ взводъ солдатъ съ гауптвахты.

Разбойники своротили къ Булгаріи*; смѣлые Булгары, вызванные изъ домовъ необыкновеннымъ кри-

---

* Названіе улицы.

комъ, вооружились дубинами, бросились на нихъ и принудили свернуть въ переулокъ, который велъ къ огородамъ, на долинѣ рѣки Быка.

Прискакавъ къ плетню, наѣздники не задумались перелетѣть черезъ него; только одинъ изъ нихъ вдругъ пріостановился подлѣ отдѣльной хаты, на возвышеніи, соскочилъ съ коня, оттолкнулъ его отъ себя, выхватилъ пистолеты изъ-за пояса, ударилъ ихъ объ землю, и сѣлъ на скатѣ, спокойно, какъ будто въ намѣреніи отдохнуть; но лицо его, даже издали, было страшно, и глаза сверкали. Народъ обступилъ его съ ужаснымъ крикомъ; а между тѣмъ Булгары не отставали отъ прочихъ его товарищей, которые переносились отчаянными скачками черезъ плетни; но безконечные загороды и рыхлая земля грядъ утомили наконецъ коней ихъ; черезъ нѣсколько минутъ, лихіе кони и отчаянные всадники были уже въ рукахъ Булгаръ. Преслѣдуемые толпами любопытныхъ, они повели разбойниковъ въ полицію.

На другой день узналъ я, что это была шайка извѣстнаго Урсула, ужаса Орхеевскихъ лѣсовъ.

Любопытствуя видѣть Урсула, я отправился въ тюремный замокъ, гдѣ содержался онъ въ особенномъ отдѣленіи, въ тяжкихъ оковахъ. Взглянувъ на него, я удивился прекрасной, мужественной наружности; суровость лица его смягчалась спокойными взорами, которые какъ будто вмѣстѣ съ мыслями его погружены были въ пучину памяти о прошедшемъ. Онъ былъ еще молодъ, но сѣдина клочками проглядывала на черныхъ его волосахъ.

Зная хорошо Молдованскій языкъ, я съ участіемъ сказалъ:

«Жаль молодца!

«Нечего жалѣть,» отвѣчалъ онъ равнодушно. «Каковы дѣла, таковы и лавры.»

Отвѣтъ его поразилъ меня.

«Лавры злодѣйскіе,» сказалъ я.

«Злодѣйскіе!»... повторилъ онъ, встряхнувъ на себѣ оковы и бросивъ на меня дикій взглядъ. «Кого укуситъ бѣшеная собака, тотъ самъ взбѣсится, будетъ искать утоленія отъ палящаго огня и бѣгать отъ воды.»

Какая-то образованность понятій, замѣтная въ отвѣтахъ Урсула, увлекла мое любопытство; я видѣлъ, что это не просто безчувственный злодѣй, рожденный звѣремъ, и рѣшился распросить, что было причиною отчаянія, которое сдѣлало его разбойникомъ? Я имѣлъ случай быть при допросахъ этого человѣка, и успѣлъ удовлетворить свое любопытство.

«Какъ твое имя? спросили его.

«Вы знаете,» отвѣчалъ онъ.

«Запишите: Урсулъ,» сказалъ допрашивающій.

«Откуда родомъ?

«Если я Урсулъ,* то нечего и спрашивать — изъ берлоги.

«Прикажете записать?» спросилъ писарь.

«Все это пустыя рѣчи,» сказалъ Урсулъ. «Поймавъ звѣря, сдерите кожу — и кончено!»

---

*) *Урсулъ* значитъ медвѣдь.

Послѣ этихъ словъ, онъ упорно молчалъ и смотрѣлъ на допрашивающихъ, какъ человѣкъ, который не слышитъ, что́ ему говорятъ. Его вывели въ другую комнату; и между тѣмъ какъ допрашивали его товарищей, я имѣлъ возможность говорить съ нимъ.

«Ты имѣешь родныхъ?» спросилъ я у него.

«Да; я не безродный.

«Какое нибудь несчастіе принудило тебя оставить семью?

«Да, оставилъ,» отвѣчалъ онъ.

«Любопытно мнѣ знать твою жизнь.

«Зачѣмъ тебѣ знать? Знаетъ про то Богъ. Въ Его великой книгѣ все записано.... Самъ я записалъ въ нее и мое имя, и дѣла, и помышленія, безъ допроса, безъ грозы и истязанія..... Придетъ время, Онъ скажетъ только: «На, читай — судись и казнись!».... Для меня пришло это время; и день и ночь, и на яву и во снѣ, все читаю я про себя, и со скрежетомъ зубовъ, подкладываю подъ себя огонь, вымѣщаю на душѣ и тѣлѣ всѣ дѣла воли моей. Сушу въ костяхъ мозгъ, кипячу кровь, вытягиваю жилы..... О, золъ человѣкъ! Онъ самъ себѣ мститель!

«Я вижу, Урсулъ, ты не изъ черни; и тѣмъ удивительнѣе, что ты даже въ отчаяніи избралъ такой путь.

«Можетъ быть, я учился кой-чему, и зналъ кое-что; да не зналъ, что только Богъ тушитъ пожаръ въ нѣдрахъ.

«Съ чего же начались твои несчастія? спросилъ я у него съ участіемъ.

«Какъ и все начинается — просто, изъ ничего. Отецъ сказалъ мнѣ: Пора тебѣ жениться, сынъ; ищи

добрую жену, да не сказалъ: Не женись на младшей сестрѣ мимо старшей..... Я нашелъ себѣ невѣсту и по сердцу и по душѣ; звали ее Иляной. Хороша ли она была, не умѣю тебѣ разсказать. Глупая память не въ силахъ ее и представить себѣ — а часто хочется, чтобъ память нарисовала ее передо мной, чтобъ своимъ образомъ заслонила она отъ меня все!.... Глаза похожи: взоръ такъ и обнимаетъ меня съ любовью, а ротъ искривленъ! Похожа улыбка: схвачена та минута, когда она шопотомъ разсказывала мнѣ чувства свои, и благовонно дышала на меня.... а вокругъ этого рта что-то безобразное! О, если бъ она вся вылилась похожею!..... Да, нѣтъ. мнѣ бы страшно было видѣть ликъ ея въ тюрьмѣ, посреди преступниковъ!.... Избави Богъ! Я сказалъ бы ей: «Ступай на небо, ступай, моя заря! Не роняй слезы на нечистую землю!»... Знаешь какъ хорошо, когда подружится душа съ душею! Не прошло нѣсколькихъ дней..... и мы съ Иляной знали уже, что намъ другъ безъ друга не житье. Я сказалъ Илянѣ, что хочу жениться на ней. — Какъ же тебѣ на мнѣ жениться? А сестра? — Что сестра? Она старшая, она не уступитъ мнѣ тебя. — Э, полно, Иляна, говорить про старые, глупые обычаи! — Не уступитъ! сказала Иляна, вздохнувъ, и слезы покатились у ней потокомъ изъ глазъ. — Не ея воля, а отцовская! сказалъ я, и пошелъ къ отцу Иляны. — Куконъ* Петраки, примешь ли меня въ свои зятья? — Радъ, отвѣчалъ онъ: у невѣсты и приданое готово;

---

* Господинъ.

Роксандра у меня добрая дѣвка. — Не Роксандру прошу я у тебя, а Иляну. — Какъ можно! Въ своемъ ли ты умѣ? Роксандра старшая: ей черёдъ выходить замужъ; а тебѣ все равно жена: любить будетъ тебя и Роксандра, потому что ты молодецъ, какихъ рѣдко встрѣтишь. — Нѣтъ, куконъ Петраки, сказалъ я, если хочешь быть мнѣ отцемъ, то отдай за меня Иляну! Мы другъ друга любимъ и не будемъ жить одинъ безъ другаго. — Какъ же я обижу Роксандру? Да и обычай у насъ таковъ: старшей впередъ, младшей позади. Зачто жъ гнушаться тебѣ Роксандрой: онѣ у меня обѣ равны. — Полно, куконъ Петраки, говорить противъ сердца, сказалъ я ему. Если бъ ты родилъ двухъ дочерей, которыя различались бы только именами, тогда бы для меня все равно было называть жену Иляной или Роксандрой; но ты самъ сравни ихъ, а потомъ и вини людей за то, что они одну называютъ ангеломъ, а другую чортомъ. Вольно тебѣ не отдать красоту въ монастырь, чтобъ выдать урода замужъ.... Старикъ задумался. — Нѣтъ, сказалъ онъ: я люблю Иляну, и ни за что не отдамъ ея въ монастырь, хоть жена и добивается этого. Иляна моя дочь, а Роксандра, Богъ знаетъ, въ кого уродилась! Возьми Иляну, продолжалъ добрый старикъ со слезами: ты также мнѣ по сердцу — она съ тобою будетъ счастлива. Я сказалъ о своемъ желаніи матери: она и слышать не хотѣла; да это было ужъ поздо: отецъ благословилъ насъ, мать волей-неволей должна была согласиться. Когда получилъ я право назвать Иляну своею, душа какъ чаша вдругъ наполнилась сладкимъ чувствомъ, и

мнѣ достало бы его на всю жизнь, если бъ проклятое созданье не отравило все черною жельчью своей.... На другой же день Иляна прижалась къ груди моей со слезами. — Сестра грозитъ мнѣ, сказала она: боюсь ее! —Чего жъ ты боишься ее: она не съѣстъ тебя. — Съѣстъ! отвѣчала Иляна. Посмотри, какимъ звѣремъ смотритъ она. «Ты» говоритъ, «отняла у меня жениха, я тебѣ не подарю его.» Я шутилъ надъ боязнью Иляны; да, вѣрно, страхъ ея былъ не даромъ. Черезъ нѣсколько дней замѣтилъ я, что румянецъ Иляны погасъ, будто смылъ кто, и загасилъ яркій свѣтъ въ очахъ ея. — Что съ тобой, сердце мое? спросилъ я: ты вся похолодѣла. — Нѣтъ, во мнѣ все горитъ, отвѣчала Иляна. Прошелъ день, два; вижу я — таетъ Иляна!... Насталъ назначенный день свадьбы.... она закатывается на груди моей какъ солнце, а вокругъ меня все меркнетъ. — Прощай! сказала она наконецъ: прими душу мою. — Иляна! вскричалъ я, да поздо: нѣтъ отвѣта, холодна!— Гдѣ жъ Иляна!... Гдѣ?... Это не она! вскричалъ я снова и бросился бѣжать, самъ не зная куда. И бродилъ я полуумнымъ въ горахъ, звалъ ее; ночью садился на утесъ, и отпѣвалъ бѣдную мою Иляну — такъ отпѣвалъ, что волки сходились толпами и выли вокругъ меня.

«Жажда томила мнѣ душу; да я не искалъ источника — я обламывалъ вѣтви съ горькой осины и глодалъ ихъ. Наконецъ пришла мнѣ на мысль Роксандра, и я захохоталъ..... Что жъ я буду здѣсь, въ глуши, дѣлать?.... Не вѣкъ тосковать!..... Роксандра, изъ любви ко мнѣ, уморила Иляну.... Пойду, женюсь на Роксандрѣ,

буду любить ее!.... И пошелъ. Иляны ужъ и слѣда не было въ домѣ. — Роксандра, ты меня любишь? сказалъ я ей. Чтожъ молчишь? Говори, Роксандра, правду! Я думалъ, что у ней желчь выступитъ на лицѣ, а она покраснѣла, потупила глаза, какъ дитя. — Говори же, Роксандра, любишь ли ты меня? Я женюсь на тебѣ. — Ты любишь сестру, отвѣчала змѣя. — Люблю сестру? Глупая! не мертвую же мнѣ ее любить! Не ждать же мнѣ ея воскресенья! Отецъ и мать сами сказали, чтобъ я женился на старшей, на тебѣ, Роксандра! Сама ты упрекала Иляну, что она отняла у тебя жениха. Отняла!.... Гдѣ ей отнять! Она проста была на такіе замыслы.... Ты, дѣло другое! Другую Роксандру не скоро встрѣтишь.... За то я люблю тебя.... Чего жъ ждать? У меня горитъ сердце, приложи руку!... Змѣя! Я думалъ, что она ужалитъ меня, когда я взялъ ее за руку, а она на меня нѣжно взглянула! — О, рай мой! пойдемъ же къ отцу и матери! Пришли. — Благословите насъ, сказалъ я. — Видишь ли, сказала мать, самъ Богъ не допустилъ, чтобъ Иляна отняла жениха у старшей сестры. Не Илянѣ, вѣрно, готовилось приданое..... Отецъ заплакалъ.

«Къ свадьбѣ все было готово; на другой же день насъ обвѣнчали. Тяжко было мнѣ только стоять во храмѣ Божьемъ, да еще..... тяжело было выносить людскіе взоры! Мнѣ казалось, что всѣ смотрѣли на меня, какъ на усопшаго, и желали царства небеснаго.

— Ну, Роксандра, ты моя! сказалъ я ей, когда мы остались одни. Ты моя, мититика, душа, радость моя!.... Знаешь ли ты, сколько во мнѣ огня?.... Посмотримъ,

серебряный источникъ мой, утолишь ли ты мою жажду! О, я высосу поцѣлуемъ душу изъ тѣла!.... Что, крѣпки ли мои объятья? а? Роксандра, что жъ ты? Цѣлуй, называй, величай своимъ!... Что жъ усмирѣла ты? Что жъ ты уснула, какъ рыба на берегу?..... Что жъ ты, какъ мокрая птица, опустила крылья?.... Отчего жъ посинѣла, какъ свинецъ, и только однажды вздохнула? А, проклятая! вѣрно, чужое сердце придавило тебя, чужая любовь убила громомъ!.... Что жъ молчишь? Здѣсь не могила, я не гробовой твой камень — нехолоденъ! Злодѣйка! скажи, сладко ли отмстилъ я за смерть Иляны?.... Змѣя! Что не отвѣчаешь? Прощай же, ледъ!.... Прощайте! сказалъ я отцу и матери. Возьмите свою Роксандру; я такой жены не хочу! — И ушелъ.

«Ухъ, какая гроза во мнѣ бушевала! Громы перекатывались въ черепѣ, кровь ходила валами по жиламъ, била въ сердце — а сердце, какъ скала!.... Хлынули бы слезы, легче бъ было, но только молнія жгла внутренность; въ очахъ переливалось кровавое зарево; подъ ногами все рушилось; вихрь крутилъ меня, я хватался за воздухъ.....

«И очутился я въ лѣсу, въ глухой лощинѣ, въ толпѣ вооруженныхъ людей. Одинъ схватилъ меня за воротъ; я швырнулъ его отъ себя, и онъ покатился подъ гору. — Ха! Урсуле, медвѣдь! крикнула вся толпа; нѣкоторые прицѣлились уже на меня ружьями. — Стой! вскричалъ вдругъ одинъ изъ нихъ: эту голову не даромъ носятъ плечи. Смотрите, что за красота! что за звѣрская, славная красота! Да это Арамбаша*

* Арамбаша — тоже что Атаманъ, начальникъ, предводитель.

всѣмъ войникамъ, да это женихъ всѣмъ куконицамъ!* — Будь по твоему, Іорги, отвѣчали всѣ. — *Схіэ сенатосъ!* будь здоровъ! продолжалъ онъ, поднимая полобокъ съ земли, и, испивъ, подалъ мнѣ. — *Пуфтимъ*** Урсуле!

«Жажда жгла меня, и я схватилъ полобокъ, сталъ пить.

«Чѣмъ больше пилъ я, тѣмъ болѣе утихала во мнѣ буря, и, казалось, тяжесть спадаетъ съ плечъ, и на душѣ становится легко.... и казалось, будто всѣ предметы понеслись прочь отъ меня, и все опустѣло вокругъ, опустѣла и память.

«Много времени прошло, покуда я очнулся; много бѣдъ надѣлалъ я людямъ во время отверженія отъ всѣхъ чувствъ человѣческихъ..... Не хочу считать это время жизнію — пусть будетъ это сонъ!.... Послушай, отвѣчаетъ ли человѣкъ за то, что дѣлаетъ онъ во снѣ? — Во снѣ? Кажется, нѣтъ; сонъ не оставляетъ ни на чемъ слѣдовъ своихъ. — А я думаю, что отвѣчаетъ, потому что сонъ есть прошедшая жизнь наша, только перепутанная воображеніемъ..... Я очнулся. — Какъ хочешь понимай это слово. Я очнулся посреди богатаго дивана, прислонясь на чью-то горячую грудь, и чья-то голова лежала на моей головѣ, и дышала на меня какъ-будто огнемъ, а на груди былъ золотой крестъ.... Господи! подумалъ я, помяни мя, егда пріидеши во царствіе Твое!.... и на глазахъ моихъ вы-

---

* Барышня.

** *Пуфтимъ* или *Повтимъ* — покорно просимъ; но слово въ слово: имѣй желаніе. Повта имай.

ступили слезы, а на душѣ было горько.... Когда взоръ очистился отъ слезъ, я взглянулъ, гдѣ я и кто подлѣ меня?..... Иляна! хотѣлъ я вскричать; да нѣтъ, это не Иляна, это не она спитъ спокойно; это и не злая Роксандра.... Не обижай, не обманывай ея! проговорило въ первый разъ во мнѣ чувство. Я поцѣловалъ крестъ на спящей, и стало мнѣ легче; я вышелъ изъ комнаты; въ передней сидѣли два Арнаута; одинъ пошелъ въ слѣдъ за мною на крыльцо.

— Что, *домнуле*,* сказалъ онъ мнѣ: намъ здѣсь нечего дѣлать. У бояра и въ головѣ и въ мѣшкѣ пусто.

«Это былъ тотъ самый Арнаутъ Іорги, который, въ глухой лощинѣ, не далъ меня убить своимъ товарищамъ, и утолилъ мою жажду.

— Наши соскучились, продолжалъ онъ. Уже ль понравилась куконица Аника? Лучше поѣдемъ, Демну Урсуле. Чортъ съ ней! А что за скупая кукона** Катинька! Ока вина въ день не дастъ, а кормятъ, какъ цыганъ, мякиной!.... Не житье здѣсь!... Что, коня или трубку, домнуле?....

«Я совершенно не понималъ, что говорилъ онъ; душа во мнѣ бушевала. — Давай коня! вскричалъ я, осматриваясь кругомъ и желая припомнить, какимъ образомъ очутился я въ незнакомомъ мѣстѣ. Въ это время вышелъ на крыльцо какой-то толстый бояръ съ заспанными глазами, отдуваясь и обтирая лицо платкомъ. — Фу, какъ изъ кипятка! сказалъ онъ. А!

---

* Домне-луй — его господство.

** Хозяйка.

Домну Іоане!.... Э! э! *мой*![1]) кафе, ши *люле*![2]) И онъ, бросивъ съ ногъ папуши, расположился на широкой лавкѣ крыльца, на которой разостланъ былъ мохнатый коверъ. — *Чи Гында*?[3]) спросилъ онъ меня, подкладывая подъ бокъ подушку, и перебирая четки. — Нишкъ! отвѣчалъ я, смотря на эту кожаную бочку. — Какъ ничего? Нельзя ничего не думать, продолжалъ онъ, принимая изъ рукъ Арнаута трубку и отъ босой цыганки кофе. Вотъ я такъ всегда думаю; и теперь думаю, что надо къ свадьбѣ выписать изъ Кишенева цыганъ, потому что у меня дома только кобза да скрипка. Пошлю *Ватаву*[4]), Домну Іоане, запишика, купить: десять окъ *одубешти*[5]) да ящикъ *домнешти* Кочковалу[6]) окъ пять, да литры двѣ сахару, — запиши! — Не умѣю я писать, отвѣчалъ я толстому бояру. — Какъ, Домне Іоане, не умѣешь писать? — Такъ, не умѣю. — Какимъ же образомъ ты *логофетъ ди Вистіарія*.[7]) Я усмѣхнулся горько надъ простодушіемъ бояра: Арнаутъ Іорги жаловалъ меня вездѣ высокими званіями и чинами. — *Гата*![8]) вскричалъ Іорги, подскакавъ верхомъ къ крыльцу, съ другою, богато осѣдланною лошадью.

---

1) Звукъ мой! — по Молдовански выражаетъ ей, ты!
2) Люле — трубка, люлька, туфли.
3) Что думаешь, что гадаешь?
4) Прикащикъ.
5) Одубештскаго вина.
6) Домнестскихъ яблоковъ.
7) Логофетъ казначейства.
8) Готово.

«Я всталъ, и пошелъ съ крыльца.

— Куда? спросилъ бояръ. — Гулять, Домну Іоане? *Драку-шти*!* Ты что-то не въ духѣ, или посорился съ Аникой?.....

«Не отвѣчая на вопросъ бояра, вскочилъ я на сѣдло, подобралъ поводья и.....

— Домну Іоане, Домну Іоане! раздался женскій голосъ съ крыльца.

«Я оглянулся; это была та дѣвушка, подлѣ которой я очнулся надиванѣ. Пришпоренный турецкими стременами, конь быстро вылетѣлъ со двора, и я, сопровождаемый Арнаутомъ Іорги, пронесся по деревнѣ, выѣхалъ на дорогу, которая извивалась между виноградными и фруктовыми садами въ гору, и вскорѣ выѣхалъ на самую вершину. На оконечности хребта возвышалась Могура**, увѣнчанная огромною *могилой*.***

— За Могурой, на хуторѣ, наши, сказалъ мнѣ Іорги.

«Я поскакалъ къ Могурѣ, и вскорѣ взлетѣлъ на конѣ на крутую могилу; передо мной открылась вся безконечность волнистыхъ хребтовъ. Со стороны запада тянулась туманная полоса рѣки Прута, а за ней гряды отраслей Карпата. Небо было ясно, и все было такъ мирно подо мной; казалось, ни что не нарушало земнаго безмолвія; ни шумомъ, ни раздорами, ни жалобами не оглашался воздухъ. И вдругъ вся эта пустота стала населяться призраками прошед-

---

* Чортъ знаетъ!

** Названіе горы.

*** Курганъ.

шаго, и страшно зашумѣли они вокругъ меня..... Орелъ ринулся съ высоты камнемъ на жертву.

— Что жъ мы смотримъ здѣсь? сказалъ Іорги. Я очнулся. – Это, кажется, видны Яссы? спросилъ я. — Да, это видѣнъ монастырь Галата, отвѣчалъ Іорги. — Куда жъ ѣхать намъ? Не въ Яссы ли? — Зачѣмъ? — Да, можетъ быть, вздумается побывать у молодой жены домнуле?..... Ласковая куконица Марьёла; стóитъ, чтобъ вспомнить объ ней.

«Кровь взволновалась во мнѣ отъ этихъ словъ.»

— А намъ бы теперь не худо воротиться въ Яссы, продолжалъ Іорги. Изъ Яссъ бояры бѣгутъ; Турки въ Букарестѣ, а мы покуда похозяйничаемъ. — Ѣдемъ въ Яссы! сказалъ я.

«И сдавивъ коня стременами, ринулся съ крутой горы; однимъ скачкомъ хотѣлъ я перелетѣть съ Могуры на возвышенность передъ Яссами, но очутился подъ горою, въ глубокой лощинѣ, окруженной голыми крутизнами. Іорги свиснулъ коршуномъ, и черезъ нѣсколько минутъ человѣкъ двадцать отчаянныхъ головъ скакали уже въ слѣдъ за мною.

«На ночлегъ пріѣхали мы къ корчмѣ селенія Флорешти. Молодцы мои заставили жидовку готовить ужинъ, а жида носить изъ погреба вино. Нѣсколько человѣкъ Молдаванъ, бывшихъ въ корчмѣ, завидѣвъ насъ, почтительно поклонились и убрались домой. Узнавъ, что въ корчмѣ *небуни*,* никто изъ новыхъ гостей не являлся. Жидовская соленая рыба не понравилась; прогнали жида къ ватаману деревни, чтобъ прислалъ

* Недобрые люди.

молодаго барана да нѣсколько куръ, на ужинъ. Вскорѣ все явилось, и въ дополненіе коновка свѣжей брынзы, да кругъ кочковали. Я прилегъ на разостланномъ коврѣ, на прилавкѣ, подъ навѣсомъ корчмы, и смотрѣлъ, какъ мои *небуни* хозяйничали, распоряжались, чтобъ былъ хорошій ужинъ, вино, кормъ лошадямъ, и заботились провести вечеръ весело.

— Добрая деревня! кричали они, когда ватаманъ принесъ припасы. Кланяйся бояру, да скажи, не худо бы прислать ему и хорошаго вина, — у жида кисло.

« Ватаманъ отправился, и не замедлилъ принести большой полобокъ добраго вина.

« Кстати, пришли намъ и цыганъ, *мошуле*;[1]) они намъ споютъ:

Спуне, спуне, Молдовень,
Унде друму ла Фокшень?
Унде каса мититика?
Унде фата формошика? [2])

— Амушъ, амушъ! сейчасъ, сейчасъ! отвѣчалъ послушный ватаманъ. — Постой, фрате,[3]) не худо бы сладить *джокъ*;[4]) вечеръ славный; а жидъ выставитъ вамъ на нашъ счетъ коновки двѣ *ракіи*;[5]) слышишь? Мы попляшемъ; посылай сюда народъ. — Амушъ, амушъ, бояриле, отвѣчалъ ватаманъ; надѣлъ шапку и пустился бѣгомъ въ деревню.

---

1) Старинушка.

2) Скажи, скажи, Молдованъ,
Гдѣ дорога на Фокшаны?
Тамъ есть маленькая хата,
Въ хатѣ дѣвушка красотка.

3) Братъ.

4) Пляска.

5) Водки.

«Черезъ нѣсколько минутъ послышались кобза и скрипка. Весело раздавалась *мититика*. Это шли цыгане музыканты, а за ними молодежь, въ кушмахъ на бекрень, и *формошики фети.** Цыгане встали на площадкѣ противъ корчмы, а вокругъ нихъ, въ одно мгновеніе, составился кругъ *джока*. Мои *небуни* выбрали также себѣ пары, и пляска началась.

«Надо было видѣть, какъ весь этотъ народъ безпечно веселился! И о чемъ имъ было думать? Каждый наслаждался тѣмъ, что составляло наслажденіе его жизни: передъ старыми стояло вдоволь вина и ракіи; молодежь и красныя дѣвицы выплясывали мититику, сербешти и булгарешти. *Талгаре* безпрекословно хозяйничали подъ кровлей добрыхъ людей; даже мохнатый *чабанъ*,** глазѣвшій на пляску, былъ радъ, что его заставили проплясать *чабанешти*.*** Завидуя этимъ людямъ, я непримѣтно заснулъ..... И во снѣ тотъ же джокъ; но я устремилъ вниманіе на одну дѣвушку, которой лицо совершенно закрыто было платкомъ; только черные глаза ея блестѣли ярко, и взоры часто останавливались на мнѣ. Подлѣ нея стоялъ Іорги..... Вдругъ она вырвалась изъ джока и бросилась утомленною на прилавокъ; сѣла у меня въ головахъ. — Что жъ ты не пляшешь со мной, Іоане? прошептала она. Кровь застыла во мнѣ.... голосъ Иляны! Я схватилъ ея руку. — Тсъ! произнесла она, отдернувъ руку: ты видишь, на насъ смотритъ сестра. — Гдѣ? — Вотъ,

---

* Красныя дѣвушки.

** Пастухъ.

*** Пастушеская пляска, въ одиночку, съ посохомъ.

вотъ она. — Иляна, это Арнаутъ Іорги. — Полно говорить; я знаю, что это сестра; не смотри на наружность, — она *дракуляса**, прикидывается чѣмъ хочетъ; она извела меня, и тебя хочетъ извести, за то, что ты замучилъ ее.... Ступай налѣво, а я направо пойду; захвати коня; сойдемся за корчмой въ долинѣ и ускачемъ..... Скорѣе, скорѣе, покуда не разгорѣлась смоляная бочка: освѣтитъ насъ — все пропало!

Иляна вскочила съ мѣста и скрылась вправо; я также хотѣлъ встать, а на мнѣ оковы, вотъ эти самыя оковы!... Рвусь, да напрасно; а надо мной кто-то хохочетъ..... — Ха, проклятая Роксандра! вскричалъ я, и очнулся. Подлѣ меня стоялъ Іорги.

— Насилу добудился я тебя, домну Урсуле. Вѣрно, жаль разстаться съ куконицей Роксандрицей?

— Ха, проклятая дракуляса! повторилъ я, смотря на Іорги съ отвращеніемъ.

— Что, худой вѣрно сонъ снился? За то будетъ хорошо на яву, продолжалъ онъ.

«Прохлада утра освѣжила чувства мои, и я пришелъ въ себя; но сердце сильно колотило въ грудь: тоска по Илянѣ вспѣнила кровь; по всему тѣлу разсыпались жгучія искры.

Все готово къ пути, сказалъ Іорги.

Я вскочилъ съ прилавка, осмотрѣлся, — ни Джока, ни Иляны; только жидъ стоялъ въ дверяхъ и кланялся, а изъ подъ полы его выглядывалъ босой жиденокъ. *Небуни* стояли уже прислонясь на осѣдлан-

* Вѣдьма.

ныхъ лошадей, и пыхтѣли дымомъ изъ закуренныхъ трубокъ.

«Мнѣ подвели коня, я сѣлъ и поѣхалъ по дорогѣ, которая шла къ переправѣ Скулянской.

— Насъ добромъ не пропустятъ на паромъ, сказалъ Iорги: надо своротить вправо, въ кутъ, пробраться къ рѣкѣ лѣсомъ, выѣхать поправѣе болотень, между кордонами, къ броду; попадется казачій разъѣздъ — не бѣда: фрате Василику отведетъ его въ сторону.

«Моимъ молодцамъ не впервые было переправляться черезъ границу. Пробравшись по глухой тропинкѣ, почти къ самой рѣкѣ, и притаившись за деревьями, мы ожидали, покуда Василику осмотритъ, нѣтъ ли казачьяго разъѣзда на береговой дорогѣ.

«Не прошло нѣсколькихъ минутъ, какъ вдругъ онъ гикнулъ и пустился во весь опоръ влѣво по берегу. Разъѣздные казаки понеслись за нимъ въ догонку. Только что они промчались, а мы тихомолкомъ къ рѣкѣ, да въ воду, вплавь.....

— Хе, хе! Сюда, казакъ! сюда! закричали мои, перебравшись на Молдавскій берегъ.

«Гнавшіеся за Василикой два казака оглянулись, а онъ бухъ въ воду и поплылъ.

— Здравствуй, фрате казакъ! *Буна доминяца.** — Пуфтимъ къ намъ? крикнулъ Василику казакамъ, которые остановились въ недоумѣніи, и послали нѣсколько недобрыхъ словъ да двѣ пули, въ догонку за нами.

«Съ кордона, на выстрѣлы, прискакали еще нѣсколько казаковъ, да поздо! Они посмотрѣли на насъ, потол-

* Добраго утра.

ковали, прокричали что-то намъ, и шажкомъ поѣхали обратно къ кордону, а мы пустились скокомъ по дорогѣ въ Яссы.

— Домну Урсулъ, въ Яссахъ нужны деньги, а у насъ мало,» сказалъ одинъ изъ моихъ молодцовъ, подъѣхавъ ко мнѣ: Позволь занять у кого нибудь..... Вонъ, на дорогѣ ѣдетъ *бутка**; вѣрно какой нибудь бояръ; мы попросимъ у него въ займы.

— Подъ росписку, прибавилъ другой.

— А чѣмъ отдадите? спросилъ я.

— Какъ чѣмъ? Пусть вычтутъ изъ жалованья; возвратитъ бояру сторицей — урожаемъ и приплодомъ.

— А если бояръ не захочетъ вамъ дать?

— Не можетъ быть. Онъ побоится Божьяго наказанія за скупость.

— А если онъ будетъ отвѣчать вамъ пулей въ лобъ?

— Ну, ужъ это вызовъ на бой! Чья возметъ: чье поле, того и воля.

«Просить просите; просить Богъ не запретилъ, а силой не брать, слышите!

«Войники мои пустились стрѣлой на большую дорогу, по которой ѣхала коляска. Не прошло нѣсколькихъ минутъ, бояръ продолжалъ уже путь, а моя команда воротилась.

— Далъ по десяти гальбиновъ** на брата, донесли они мнѣ. Предобрый человѣкъ! Говоритъ: далъ бы больше, да больше нѣтъ. Мы спросили, какъ зовутъ, гдѣ живетъ? на случай пріѣхать, расплатиться.

---

* Коляска.

** Червонцевъ.

— Не нужно, не нужно, сказалъ; что за счеты между добрыми людьми? — Ну, мы пріѣхали бы въ гости, боярскаго вина отвѣдать. — Кисло, фрате, отвѣчалъ; самъ покупаю. Вѣрно, не любитъ гостей.

— Теперь не худо бы пообѣдать, продолжали Небуни. Вотъ кстати стадо барановъ; чабанъ уступитъ одного. — Гей! мой! чабанъ! поймай-ка, фрате, баранчика!

— Амушъ, амушъ, бояриле! отвѣчалъ чабанъ, и тотчасъ же поймалъ крючкомъ своего длиннаго посоха одного жирнаго барана за ногу.

«Между тѣмъ разложили огонь. Чабанъ самъ снялъ шкуру съ барана; вздѣли его на палку, и *фриптура** поспѣла. Въ котелкѣ сварили мамалыги; вино было запасное.

«Послѣ обѣда мы отправились далѣе, и къ вечеру подъѣхали къ Яссамъ.

— Вы ступайте на Магалію, а я съ Домнеалуй поѣду въ куртѣ-бояряскъ,** сказалъ Іорги прочимъ своимъ товарищамъ.

«Проѣхавъ большою улицей до поворота въ Копо, мы свернули влѣво.

— Поскачу впередъ, скажу куконицѣ, что хозяинъ ѣдетъ, сказалъ Іорги, и пустился къ дому, который стоялъ на скатѣ рѣки Бахлуй, окруженный большимъ дворомъ и садами.

— Тутъ Маріолица, жена моя, думалъ я; но что жъ изъ этого? какой я мужъ для нея? — Послѣ

* Жаркое.

** Боярскій дворъ.

этихъ мыслей, равнодушіе снова овладѣло мною, и я поѣхалъ шагомъ, приближался къ дому, какъ къ корчмѣ на большой дорогѣ, съ однимъ желаніемъ отдохнуть послѣ труднаго пути.

«И вся жизнь мнѣ казалась въ эту минуту путемъ, а каждая кровля заѣзднымъ ханомъ, или ратушей*. Кто бъ ни былъ, хозяинъ или хозяйка — все равно, они возьмутъ съ меня чѣмъ нибудь за ночлегъ, не деньгой, такъ выслугой: потребуютъ, чтобъ я жилъ у нихъ, какъ покорный сынъ, какъ послушный рабъ, или какъ угодливый мужъ.

— Іоане, Іоане! раздался вдругъ пріятный голосъ, когда я подъѣхалъ къ дому. Едва соскочилъ я съ коня, какъ съ крыльца сбѣжала молодая прекрасная женщина, бросилась ко мнѣ на шею, осыпала всего поцѣлуями.

Забилось сердце, когда я взглянулъ на нее, на ея радость и на радостныя слезы. Она совершенно онѣмѣла, изступленно обнимая меня. — Господи Боже! думалъ я: меня ли цѣлуетъ она такъ нѣжно, такъ сладко, съ такимъ же чувствомъ, какъ цѣловала Иляна! Я безуменъ, или безумна она, и видитъ во мнѣ призракъ того, кого любитъ? или это сонъ, тяжкій сонъ. — «Гдѣ ты былъ, Іоане?» произнесла наконецъ она: «я думала, что ты совсѣмъ оставилъ свою Марьёлу.... Пойдемъ, пойдемъ, скорѣе! Ты усталъ съ дороги, пойдемъ.»

И она помогала мнѣ всходить на крыльцо, ввела въ комнаты.

— Садись, сядь на диванъ; отдыхай, цвѣтъ мой, мое золото, сердце мое! Я думала, Богъ знаетъ что съ

* Трактиръ.

тобой сдѣлалось!..... Истомилась я въ это время! Ахъ, Іоане, какъ ты похудѣлъ! Здоровъ ли ты? Мнѣ кажется, что ты нездоровъ.... или ты усталъ съ дороги?

«Такъ говорила Марьёла. Не зная, какъ высказать свою радость, она снимала съ меня скуфью, манту, поясъ; цѣловала мнѣ руки, грудь, глаза; приказывала, чтобъ подали мнѣ чубукъ и кофе, чтобъ накрывали скорѣй на столъ, принесли вина.

— Ахъ, Іоане, продолжала она: съ тобой вѣрно случилось какое нибудь несчастіе! Я боюсь тебя спрашивать. Знаешь ли что? Мнѣ приходило все въ голову, что Армашъ Іордаки убилъ тебя.... Да, эта мысль измучила меня.... Мнѣ сказали, что онъ поклялся мстить тебѣ, за то, что ты перебилъ у него невѣсту!.... Злодѣй какой! онъ хотѣлъ, чтобъ я противъ сердца шла за него замужъ!.... Нѣтъ! Когда я тебя увидѣла, я не пошла бы за самого Господаря!.... Онъ грозилъ увести меня..... Я день и ночь жила за запертыми воротами; не спала, — все прислушивалась, не идетъ ли кто; все молилась за тебя.....

«Я смотрѣлъ на Марьёлу, слушалъ ее и молчалъ. — Какъ хороша женщина, которая любитъ, думалъ я. Но мнѣ казалось, будто все это сонъ; я боялся произнесть въ отвѣтъ слово, чтобъ не разбудить самого себя.

«Марьёла и не замѣчала, что я не отвѣчалъ на ея поцѣлуи поцѣлуями, на ласки ласками, и что ея вопросы были безотвѣтны.

Накрыли на столъ, подали ужинъ; Марьёла угощала меня какъ гостя, а въ моей головѣ ходили черныя

мысли тучами. — И здѣсь я проѣзжій, думалъ я: проѣзжій, отъ котораго хозяйка требуетъ любви, такъ соблазнительно требуетъ любви!.... требуетъ любви по праву; да гдѣ жъ взять мнѣ этой платы? Нѣтъ у меня любви ни къ чему живому!—»

Здѣсь разсказъ Урсула прервался; за нимъ пришли.

«О, какъ досадно!» вскричалъ я.

«Вижу,» сказалъ онъ, «тебѣ хочется знать конецъ моей исторіи.

«О, хочу, очень хочу!»

«На какой улицѣ ты живешь, въ чьемъ домѣ?»

Я сказалъ ему.

«Хорошо, найду..... около полуночи..... безъ оковъ и безъ свидѣтелей, мнѣ легче будетъ разсказывать»....

Приподнявъ оковы, которыми отягчены были ноги, Урсулъ пошелъ между двумя солдатами; а я, пораженный и разсказомъ его, и послѣдними словами, долго смотрѣлъ вслѣдъ за нимъ, и съ недоумѣніемъ возвратился домой. Убѣжденный въ невозможности таинственнаго посѣщенія, я, однако жъ, какъ-будто боясь приближенія ночи и страшнаго гостя, ушелъ изъ дому, и провелъ время привидѣній съ товарищами. Въ началѣ перваго часу возвратился я домой, и по привычкѣ, вмѣсто ужина, сталъ пить чай. Вдругъ цыганъ дворникъ пришелъ и сказалъ, что пріѣхалъ какой-то бояръ и спрашиваетъ адъютанта, который здѣсь стоитъ.

«Кто такой?» спросилъ я, вскочивъ съ мѣста; но, вмѣсто отвѣта, отворились двери, и я содрогнулся, взглянувъ на вошедшаго бояра въ богатой *антеріи* и чалмѣ. Это былъ Урсулъ; я узналъ его болѣе по

предчувствію: такъ одежда измѣнила и возвысила его наружность! Я выслалъ своего человѣка; но чувство ужаса, оставаться наединѣ съ преступникомъ, смутило меня.

«Вы, можетъ быть, думаете,» началъ онъ, смотря на меня, и не кончивъ рѣчи, продолжалъ: «не безпокойтесь..... есть добрые люди, которые вѣрятъ и моему честному слову..... моя воля и здѣсь въ оковахъ..... Дайте и мнѣ чаю, я люблю чай..... Я немного опоздалъ,» продолжалъ онъ, «Что жъ дѣлать..... когда ужъ не отъ себя зависишь!..... Тяжко было мнѣ начинать повѣсть свою; но слеза сожалѣнія дорога для души моей..... Люди будутъ судить меня, какъ преступника, казнятъ въ страхъ другимъ преступникамъ..... Да что ихъ казнь? благодать противъ той казни, которой я казнюсь со дня женитьбы на Роксандрѣ!..... Да! живая Роксандра погубила Иляну, а мертвая Роксандра погубила меня.... и никто не разъувѣритъ душу мою, чтобъ это не она, въ разныхъ образахъ, водила меня по мукамъ сердца! О, она, она же была и въ образѣ Марьёлы, хоть я и не дуракъ, чтобъ вѣрить оборотнямъ! Слушайте: когда, чувствуя голодъ, я сѣлъ ужинать, Марьёла сѣла подлѣ меня, прижалась ко мнѣ, приклонила голову на плечо, и угощала меня, какъ ребенокъ, съ такою радостною, доброю улыбкой, какую демонъ не смѣлъ бы принять на себя. — Скажи, за чье здоровье ты пьешь, Іоане? спросила она, когда я взялъ стаканъ вина изъ рукъ ея. — За здоровье моей милой хозяйки, отвѣчалъ я. — Іоане, дай мнѣ руку.... Слышишь, какъ бьется? Вы-

пей же за здоровье твоего сына!... сына, я чувствую, что сына!.....

«Камень расплавился въ груди моей отъ этихъ словъ; кипучее стекло покатилось струей изъ глазъ на лицо Марьёлы..... Она пламенно взглянула на меня; я ее обнялъ, поцѣловалъ, и..... испугался собственнаго поцѣлуя. Въ эту минуту въ первый разъ пришло мнѣ на мысль: не Роксандра ли ставитъ сѣти, чтобъ душа забыла Иляну, а чувства измѣнили ей?....

«Но если бъ ты видѣлъ Марьёлу!.... Это была душа, облеченная во всѣ чувства любви, плоть во всей роскоши!

— Я не хочу разспрашивать теперь, Іоане, гдѣ ты былъ, и не разсказывай мнѣ, говорила Марьёла: я хочу, чтобъ ни одно грустное слово не нарушило моей первой радости: можетъ быть, что нибудь страшное заставило тебя вдругъ скрыться отсюда; можетъ быть, твоя жизнь была въ опасности!.... Нѣтъ! завтра, завтра разскажешь, когда я буду въ состояніи плакать; а теперь обними меня..... обними! потому что младенецъ и въ нѣдрахъ матери чувствуетъ любовь отца..... О, какъ радостенъ его трепетъ!.... Что жъ ты замолкъ, Іоане?.... ты поблѣднѣлъ! Что жъ ты отклонился отъ меня?..... ты что-то скрываешь на душѣ!..... подѣлись со мной! Я вижу, что это не даромъ! я замѣтила по лицу твоему съ самой минуты пріѣзда, да боялась спрашивать..... Ахъ, Іоане, пища моя! если бъ и мужчины знали только одну любовь и искали всѣхъ благъ жизни въ ея объятіяхъ, тогда я поцѣловала бы твою руку, не облитую собственными моими слезами; я бы

боялась только одного..... чтобъ ты не разлюбилъ меня..... Правда ли, Іоане?.... Солнце мое! ты опять взглянуло на меня!....

— Марьёла! хотѣлъ я вскрикнуть. О, Боже! я такъже страшно сдавилъ бы ее въ объятіяхъ, какъ Роксандру... Вдругъ дверь спальни откинулась, и я чувствовалъ только восклицаніе Марьёлы, да что-то холодное впилось въ грудь мою.....

«Вотъ рана, только не смертельная!»

Съ этими словами Урсулъ распахнулъ грудь и я увидѣлъ слѣдъ глубокой раны.

«Да, трудно помириться съ судьбою!» продолжалъ онъ. «Я съ раскаяніемъ готовъ былъ подать ей руку, а она коварно выждала минуту безсилія моего, чтобы снова отбросить меня отъ всѣхъ земныхъ надеждъ!....

«Ты можешь вообразить, долго ли я былъ въ жару страданія, безъ чувствъ и памяти: но это безпамятство было слишкомъ памятно мнѣ! Въ бреду, отвратительный, страшный призракъ не оставлялъ меня, и чей образъ, думаешь ты, принялъ онъ? Арнаута Іорги. Мнѣ казалось, что его тяжкая голова лежала на груди моей, и грубый его голосъ упрекалъ меня въ измѣнѣ, и повторялъ собственныя мои слова: «Что жъ ты молчишь? Здѣсь не могила, я не гробовой твой камень! Что жъ ты посинѣлъ, какъ свинецъ? Не потухай же, Іоане! Цѣлуй, нѣжь меня! Любовь не знаетъ ни сна ни отдыха!....

«Съ содроганіемъ открылъ я глаза, а Іорги перевязывалъ мнѣ рану..... Я хотѣлъ оттолкнуть его, и не могъ; хотѣлъ проклясть его, и не могъ. «Прочь!»

вскрикнулъ я наконецъ, съ напряженнымъ усиліемъ: «прочь, демонъ!»

— Будетъ живъ! сказалъ онъ, кончивъ перевязку и отходя отъ меня.

«Я окинулъ вокругъ себя взорами, и видѣлъ, что лежу въ какой-то землянкѣ; вся шайка моихъ была тутъ же; на прилавкахъ, на полу, сидя и лежа, играли они въ карты, а подлѣ топившейся печки сидѣла какая-то старая вѣдьма.

«Слабыя вѣки мои закрылись, я лежалъ неподвиженъ, какъ мертвый; только чувство слуха не замерло. Небуни говорили про меня; не весело было мнѣ слушать разсказъ, старые подвиги. Для самого меня они были какъ-будто новостью, я удивлялся собственнымъ поступкамъ.

— А что, Іорги, говорилъ одинъ: надежда плоха, а мы только теряемъ время. Оставимъ его здѣсь на руки *матушка**, а сами отправимся повоевать.

— Нѣтъ, фрате; какъ свою голову, не оставлю я его здѣсь добровольно, отвѣчалъ Іорги. Правду сказать, Урсула никто намъ не замѣнитъ; счастлива его рука: при немъ мы какъ-то вездѣ гости, вездѣ намъ ласковый пріемъ; не то что прежде: житья между людьми не было.....

— Онъ долженъ быть не простъ, продолжалъ другой; гдѣ ни покажется — вездѣ хозяинъ; что за смѣлость! ѣдетъ себѣ прямо на дворъ къ боярамъ, и мы вслѣдъ за нимъ; никому и въ голову не придетъ

* Тетка.

спросить насъ, что мы за люди. Право, житье съ нимъ! Недобраго слова ни отъ кого не услышишь, и собаки-то, какъ-будто, не лаютъ на насъ. Право, онъ не простъ; въ немъ есть дьявольщина! А женщины такъ въ глаза ему и смотрятъ: всѣ до одной сбѣжали бы за нимъ со двора.....

— Должно быть, что онъ не христіанинъ! сказалъ третій. Сколько у него теперь женъ счетомъ, Іорги?

И счетъ потерялъ, отвѣчалъ Іорги.

— А ты еще не разсказалъ намъ про куконицу Зоицу, что близъ Романа, продолжалъ второй. Что сказалъ ты бояру, когда мы подъѣзжали къ куртѣ*, а ты поѣхалъ впередъ? Насъ приняли тамъ какъ Визиря.... Ты, вѣрно, сказалъ бы, что ѣдетъ какой нибудь Господарь?

— Вотъ хорошо! Я лгать съ роду не лгу; я просто пріѣхалъ во дворъ, велѣлъ скорѣй вызвать бояра, и крикнулъ, по обыкновенію:

— Домну Іоане ѣдетъ! — Какой Домну Іоане? спросилъ онъ.... — Домну Іоане, отвѣчалъ я, сію минуту будетъ; извольте скорѣе отвести ему покой, да не забудьте приготовить *подложанов* съ сорочинскимъ пшеномъ: безъ этого онъ и за столъ не сядетъ; да тотчасъ же чтобъ былъ кофе. Сказалъ, и пошелъ встрѣчать арамбашу; а бояръ и куконица какъ полуумные стали разбѣгаться, кричать, толкать въ шею цыганъ, чтобъ прибирали въ домѣ, да рѣзали скорѣе барановъ и куръ на ужинъ. Когда подъѣхалъ нашъ Домну

---

* Ко двору.

Іоане, Урсулъ къ крыльцу, бояръ выбѣжалъ встрѣчать: а самъ трясется отъ страха.

— Правду сказать, перервалъ Василику: у него такое важное, суровое лицо, что самъ Али-Паша показался бы передъ нимъ бабой.

— Какъ сталъ всходить на крыльцо, я повелъ его подъ руку, продолжалъ Іорги, и далъ знакъ бояру также помогать. Кукона съ куконицей встрѣтили насъ въ дверяхъ, потупивъ очи; а онъ, по обыкновенію, идетъ молча какъ султанъ; сѣлъ на диванѣ. Между тѣмъ какъ ему подали трубку и кофе, я сказалъ бояру, чтобъ подумалъ о кормѣ людямъ и лошадямъ; онъ пошелъ, а хорошенькая куконица Зоица увилась около меня. — Скажи, пожалуйста, кто это тамаре-бояръ?* — Какъ кто? Домну Іоане. — Зачѣмъ же онъ пріѣхалъ сюда? — Какъ зачѣмъ? Да вы, куконица, лучше меня это знаете. — Право не знаю. — Полно-те пустое говорить; если бъ вы не знали, Домну Іоане не пріѣхалъ бы къ вамъ ни съ того ни съ сего.

— Божится куконица, что ничего не знаетъ и не вѣдаетъ, и Домну Іоане никогда въ глаза не видала. — Ну, сказалъ я, если вы не видывали его, такъ онъ васъ видѣлъ; сказалъ да и пошелъ отъ нея. Смотрю, крадется самъ бояръ; отвелъ меня въ особую комнату, сталъ угощать виномъ, вынулъ обрѣзанный гальбинъ и даетъ мнѣ. — Возьми, говоритъ.... такая скряга! а у самого золота цѣлая могила. — Зачѣмъ это, бояръ?

---

* Большой господинъ.

спросилъ я. — Такъ, въ знакъ дружбы. — Спасибо, бояръ, подай лучше нищему, а у насъ, слава Богу, денегъ довольно, по милости Домну Іоане, сказалъ я, вынувъ изъ-за пояса артельный кошель и захвативъ горсть гальбиновъ. По пятидесяти гальбиновъ даетъ на мѣсяцъ, да его одежда: пара бархатная, шитая золотомъ, да пара простая, да шаль турецкая. — О! богатой онъ человѣкъ! сказалъ съ удивленіемъ бояръ. Скажи пожалуйста, твой господинъ куда ѣдетъ?» — Какъ куда? да онъ къ вамъ пріѣхалъ. — Да зачѣмъ же, скажи пожалуйста? — Вамъ про то лучше знать. — Ей-ей ничего не знаю! — Пустое, вы все говорите! Съ чего же Домну Іоане, когда поѣхалъ изъ дому, приказалъ все готовить къ свадебному пиру, да созвать народъ изо всѣхъ своихъ деревень? — Я, говоритъ, ѣду къ кукону Петраки Макареско; черезъ недѣлю пріѣду съ молодой женой, съ куконицей Зоицей, — и поѣхалъ прямо сюда. — Да, это что жъ такое ты говоришь чудеса какія неслыханныя! Домну Іоане пріѣхалъ жениться на моей дочери, а я ничего о томъ и не знаю!» — Да и зачѣмъ вамъ было знать прежде времени? — Какъ зачѣмъ? я отецъ! — Пустое вы все говорите! Если бы Домну Іоане не захотѣлъ самъ жениться на вашей дочери, вамъ бы и во снѣ не видать такого жениха. Онъ же дѣлаетъ вамъ честь, да еще и спрашивать васъ, хотите ли принять ее? Домну Іоане не простой бояръ; у него своихъ деревень пятьдесятъ: Гульпешти, Мынчешти, Градешти, Малаешти, Албинешти, Горешти, Гальбинешти..... — Домне Ферешти!* вскри-

* Господи! Слово въ слово: сверши Господи!

чалъ бояръ: я радъ такой чести; пусть только скажетъ мнѣ о своемъ желаніи. — Говорить! да съ чего вы взяли, что онъ будетъ говорить? — А какъ же не спросить согласія ни у отца, ни у невѣсты? — Онъ съ роду никого ни о чемъ не спрашивалъ;..... да что говорить пустыя рѣчи; я не знаю, не мое дѣло; какъ хочетъ Домне Іоане, такъ и будетъ..... А что, готово ужинать? — Готово. Ну, я пойду доложу.

— Вотъ и пошелъ я къ Домну Урсулу, и сказалъ, что хозяинъ человѣкъ какихъ мало на свѣтѣ, и годится ему въ тести. — Хорошо, сказалъ онъ: готовь какъ знаешь дѣло къ свадьбѣ. — Что, подавать ужинать? спросилъ бояръ. — Нѣтъ, подождать; Домну Іоане сказалъ, что онъ хочетъ передъ ужиномъ жениться. — Какъ передъ ужиномъ жениться? вскричалъ бояръ. — Что жъ тутъ страннаго? Свадьба всегда бываетъ передъ ужиномъ. — Да какая же свадьба? — Ужъ это не мое дѣло; не угодно ли самому бояру спросить его. — Что ты говоришь за чудныя рѣчи..... я пойду спрашивать! — Какъ хочешь, бояръ, что мнѣ за нужда. — Іорги! крикнулъ Арамбаша: готово ли? — Вотъ самъ хозяинъ! сказалъ я, указывая на кукона. — Готово! отвѣчалъ бояръ, кланяясь. — Ну и прекрасно, сказалъ арамбаша, я радъ такому тестю; прикажите послать за Парентіемъ; ведите сюда невѣсту! — Слышишь, бояръ, шепнулъ я остолбенѣвшему кукону. — Что жъ это такое будетъ? проговорилъ онъ, выходя вслѣдъ за мною. — Какъ что? Домну Іоане желаетъ скорѣе быть твоимъ зятемъ. — Да я не хочу! вскричалъ вдругъ бояръ. — Если не хочешь, такъ скажи самъ объ этомъ,

а я не пойду докладывать: въ сердцахъ, зачѣмъ не исполняютъ его приказанія, онъ изрубитъ меня въ куски, да и ты, бояръ, не жди себѣ добра! Я знаю, каковъ онъ въ сердцахъ! — Что жъ онъ мнѣ сдѣлаетъ? — Что? просто скажетъ: сжечь его со всѣми потрохами! мы и сожжемъ, потому что мы должны слушать, что онъ прикажетъ. — Ва́лю! ва́лю! вскричалъ бояръ: ну, веди Парентія; что жъ мнѣ за нужда? пусть его женится на моей дочери — я бѣдный человѣкъ!.... Что жъ я могу сдѣлать такому великому господину!

Вотъ и послали за Парентіемъ, сыграли свадьбу; кто веселъ, а куконица всѣхъ веселѣе. — Поздравляю, куконъ Петраки, сказалъ я бояру, *Логофетъ-Маре**, дядя Домну Іоане, обѣщалъ, когда племянникъ женится, сдѣлать тестя его *Стольникомъ-Маре***. Обрадовался бояръ и такъ развернулся, что диво; откуда, что взялось — помните?

— Какъ же! перервалъ Василико: на третій день шестеро изъ насъ повезли три воза приданаго, въ Яссы, въ домъ боярскаго зятя, да свернули ошибкой въ горы. Какъ теперь помню, на границѣ Австрійскіе жиды купили весь хламъ за пять тысячъ левовъ, кромѣ турецкихъ цалей. А на четвертый день поутру и мы отправились съ Домну Іоане.

— Просто уѣхали?

— Э, нѣтъ; сказали кукону, что ѣдемъ впередъ, чтобъ встрѣтить молодую, по обычаю, въ домѣ молодаго.

---

* Великій Логофетъ.

** Великій Стольникъ.

— Въ тотъ же день куконица съ отцемъ, съ матерью и со всѣми родными должна была отправиться въ Яссы, и пріѣхать прямо на дворъ Логофета-Маре. Любопытно было бы посмотрѣть, какъ ихъ тамъ приняли?

— Э, такъ вотъ что! Знаю! вскричалъ цыганъ Луша. Я былъ тогда кучеромъ у Логофета-Маре; помню! Только что я подалъ *бутку** къ крыльцу, вдругъ ѣдутъ на дворъ двѣ бутки, да воза два горничныхъ цыганокъ. Слуга прибѣжалъ, спрашиваетъ: — Здѣсь Домну Іоане? — Какой Домну Іоане? — Племянникъ Логофета-Маре. — Здѣсь; а кто пріѣхалъ? — Куконица Зоица, жена его. — Какая же это куконица? думаю я себѣ, отъѣзжая отъ крыльца: кажется, *куконашъ* еще не женатъ? Только-что бутка подъѣхала къ крыльцу, и изъ нея вышли какой-то бояръ, старая кукона, да молодая; а съ крыльца сходитъ Логофетъ-Маре. — Что вамъ угодно? спросилъ онъ бояра. — Здѣсь живетъ племянникъ Логофета-Маре, Домну Іоане? — Такъ точно, мой племянникъ со мной живетъ, сказалъ Логофетъ-Маре; а вы кто, позвольте узнать?..... — Я его тесть, честь имѣю представить себя; а это дочь моя, его молодая жена. — Его молодая жена! вскричалъ Логофетъ-Маре и остолбенѣлъ. — Какъ! мой племянникъ женатъ? — Такъ точно; вотъ уже четыре дня, какъ была свадьба. — Гдѣ жъ онъ самъ? — Онъ поѣхалъ впередъ. — *Сараку дя мине*!** безъ моей воли

---

* Коляску.

** Слово въ слово: «бѣдной я!» но произносимое съ сердцемъ значитъ почти тоже что «чортъ возьми!»

жениться, и обманомъ! Сказалъ, что поѣдетъ дней на пять въ деревню! Гей!.... цыганъ! выбросить на дворъ всѣ вещи его, и не пускать его ко мнѣ на дворъ! Подавай бутку!.... Я подалъ, и мы поѣхали къ Господарю. Вещи *куконаша** выбросили на дворъ; дней черезъ пять пріѣхалъ онъ и самъ; прямо-было къ дядѣ, — Да позвольте! сказали ему: дядюшка не велѣлъ васъ пускать на дворъ. — Какъ? — Да такъ, за то, что вы женились. — Кто женился? — Да вы. — Пустяки ты говоришь! — Какіе пустяки! спросите хоть у дядюшки. — Спрошу, что за чудеса! Пусти же меня къ нему. — Э, нѣтъ, не приказалъ пускать.... Туда-сюда, доложили Логофету-Маре — и слышать не хочетъ; и велѣлъ гнать со двора племянника. Ей Богу!.... Такъ прошло съ недѣлю; я ушелъ отъ батоговъ, за то, что линяли кони и обсыпало однажды бояра шерстью. Бѣдный куконашъ! ужъ я увѣренъ, что ему не оправдаться и не получить въ наслѣдство откупеннаго ногтя!....

«Вотъ разговоръ моихъ молодцовъ, который остался у меня въ памяти отъ слова до слова. Ты можешь понять изъ него, что въ безумствѣ своемъ я былъ вмѣстѣ и атаманъ и игрушка разбойниковъ.

«Но съ возрастающими силами и возвращающеюся памятью, во мнѣ стали бороться два чувства: Иляна и Марьёла становились существами нераздѣльными со мною; мнѣ казалось, что Иляна всегда подлѣ меня справа, а Марьёла слѣва. Иляна — блѣдная какъ свѣтъ луны, облачная, съ нѣжнымъ, томнымъ взоромъ, съ

---

* Баричъ.

улыбкой умиленія; а Марьёла — пламенная, страстная, дышущая жизнью и наслажденіемъ чувствъ. Меня броситъ въ огонь — Иляна повѣетъ сладостною прохладой, и мнѣ хочется испить ея дыханія. Обдастъ меня холодъ — Марьёла пыхнетъ на меня жаромъ любви, и мнѣ хочется согрѣться въ ея объятіяхъ.... Но стыдно небесной Иляны — она тутъ..... Задумаюсь, предамся грусти — а Марьёла приласкаетъ меня взоромъ..... я забудусь снова; но въ минуту упоенья, взгляну вправо — Иляна стоитъ какъ ангелъ надъ гробовымъ камнемъ, плачетъ безъ слезъ, ропщетъ безъ голоса!... О, какъ мгновенно стынетъ во мнѣ жаръ сердца! какъ быстро пробуждается жалость о погибшей Илянѣ!.... Отъ одного моего взгляду, унынiе ея исчезаетъ, все въ ней пробуждается, какъ на ликѣ природы, когда она радуется, что солнце возвращаетъ ей любовь свою! И мнѣ хотѣлось скорѣй умереть, чтобъ соединиться съ небесной.... а младенецъ? а месть злодѣю Армашу? И я жаждалъ снова жизни!....

— Іорги, сказалъ я, почувствовавъ, что могу сѣсть на коня: ты видѣлъ рану мою? знаешь ея мѣру? знаешь ты Армаша Іордаки? Онъ нуженъ мнѣ: это его дѣло. — Въ Ясахъ теперь Турки, отвѣчалъ Іорги: да все равно, я допытаюсь, куда уѣхалъ Армашъ. И въ тотъ же день къ вечеру воротился Іорги изъ Яссъ *въ Одаю**,

---

* Временный хуторъ въ степи, состоящій изъ нѣсколькихъ землянокъ. Собственно же хуторъ предполагаетъ въ себѣ хату для жилья помѣщика, или поссесора.

и увѣдомилъ меня, что Армашъ Іордаки уѣхалъ въ Австрію.

— Ѣдемъ туда! сказалъ я своимъ.

— Туда не пустятъ, отвѣчали мнѣ, или оберутъ оружіе на границѣ; а ужъ этого мы не снесемъ! Не словами же защищать свою голову!

— Ѣдемъ! повторилъ я. И мы пустились къ Австрійскимъ границамъ. Противъ селенія Маморницы, близъ рѣки Прута, мы остановились въ лѣсу, въ одномъ кишлѣ.* Я послалъ Іорги въ Черновцы развѣдать объ Армашѣ. Былъ тамъ, да и уѣхалъ въ Бессарабію. Нечего дѣлать, ѣдемъ въ Бессарабію; гдѣ быть ему кромѣ Кишенева. И точно, слѣдъ найденъ, да и тутъ не застали — уѣхалъ на-время въ Бендеры.

«Выѣхавъ на Бендерскую дорогу, я расположился ждать проѣзда Армаша въ селеніи Миреняхъ. Отправленный мною въ Бендеры Іорги, на другой день прискакалъ съ извѣстіемъ, что Армашъ своротилъ съ большой дороги въ Бульбокахъ, и поѣдетъ въ Кишеневъ правою стороной рѣки Быка. Тѣмъ лучше! Мы переправились черезъ рѣку противъ селенія Синжеры и расположились въ скрытомъ мѣстѣ, на половинѣ дороги отъ этого селенія до Кишенева. Около вечера показалась вдалекѣ бричка. — Онъ! вскричалъ Іорги. Только-что бричка спустилась въ лощину, я не вытерпѣлъ, первый бросился къ ней. Арнаутъ, сидѣвшій на облучкѣ, выстрѣлилъ по мнѣ, да мимо. Мои

* Временное жилье чабановъ или пастуховъ въ степи, съ заговомъ для стадъ и табуновъ.

остановили лошадей, обезоружили Арнаута, который однако же нашелъ между ними старыхъ товарищей; а я между тѣмъ вытащилъ Армаша изъ брички. — Отдамъ, отдамъ Марьёлу! только пощади! кричалъ онъ. — Поздо, другъ! теперь, самъ возьму! Скрутивъ руку Армашу, его взвалили на бричку; я сѣлъ подлѣ него, посадилъ на козлахъ двухъ изъ своихъ, крикнулъ: Хайдъ! — да ни съ мѣста. Никто не замѣтилъ, какъ проклятый *суруджи** перерѣзалъ шлейку и ускакалъ по дорогѣ въ городъ.

«Василику, служившій прежде на почтѣ, вызвался править; связавъ шлейку, вставилъ въ нее своего коня, ударилъ передовыхъ лошадей возжами, и — мы понеслись къ Кишеневу. Подъѣзжая къ городу, мы выждали ночи, и я велѣлъ своимъ ждать меня въ той самой корчмѣ у въѣзда въ городъ, гдѣ насъ окружилъ народъ.

«Около полуночи, по указанію Армаша, подъѣхали мы къ воротамъ дома, гдѣ жила Марьёла у сестры его.

«Василику слѣзъ съ коня и постучалъ. — Кто тамъ? спросилъ сторожевой сонный цыганъ. — Отворяй скорѣе! пріѣхалъ куконъ Армашъ; куконъ очень болѣнъ. Цыганъ отперъ ворота, а мы вытащили связаннаго Армаша изъ брички и повели подъ руки. Онъ молчалъ и дрожалъ отъ страха. — Охай! шепнулъ я ему, показывая пистолетъ. Да скажи цыгану, чтобъ никого не будилъ, да шелъ скорѣй за докторомъ. Ар-

* Почтарь, кучеръ.

машъ повторилъ приказаніе, охая. Цыганъ побѣжалъ, а мы взошли на лѣстницу. Домъ раздѣлялся корридоромъ на двѣ половины; отъ лѣвой ключи были у Армаша въ карманѣ; осторожно отперли, вошли. Я приказалъ стеречь Армаша, и ощупью нашелъ дверь въ другую комнату; изъ этой въ третью дверь приперта задвижкой. Отдернувъ тихо, я пріотворилъ; тутъ кто-то храпѣлъ; я подкрался къ постели, прислушался.... Нѣтъ! это не Марьёла, это что-то отвратительное. Вдругъ замѣтилъ я слабый свѣтъ въ скважинѣ, это была дверь; осторожно отворилъ, взглянулъ..... Лампада, чуть-чуть теплилась передъ образомъ; на диванѣ лежала женщина, а подлѣ нея, на подушкѣ, младенецъ. Долго смотрѣлъ я на нихъ. Въ первый разъ въ жизни выступила изъ глазъ моихъ радостная слеза.... Не такая какъ эта — мутная, горькая..... нѣтъ, сладкая, алмазная!»

При этихъ словахъ Урсулъ приподнялъ было руку, чтобъ отереть слезы, но вдругъ остановился.

«Нѣтъ,» сказалъ онъ, «не отру, не затаю въ сердцѣ! Знаешь ли ты, вѣдь эта женщина была Марьёла, а младенецъ.... мой сынъ. Я затаилъ дыханье, и простоялъ бы надъ ними до утра, да бѣда была на плечахъ: некогда было и вздохнуть радостно. — Марьёла, Марьёла! прошепталъ я. Вдругъ младенецъ заплакалъ; Марьёла очнулась, взглянула на меня съ ужасомъ, и вскрикнула: «Тсъ! это я, Марьёла, я.... Возьми скорѣе младенца, дай ему груди, уйми плачъ его!» Она схватила младенца на руки и продолжала смотрѣть на меня, какъ на привидѣніе. — Я за тобою пришелъ, Марьёла,

сказалъ я ей шопотомъ: не время думать и радоваться.

— За мною? проговорила она. О, дай мнѣ пожить для младенца!— Тсъ! что говоришь ты, я не мертвецъ, я твой Іоанe. — О, Іоанe, подожди хоть одну минуту: я накормлю его грудью! — Не время ждать, Марьёла, сказалъ я, и, накинувъ на нее шаль, схватилъ на руки и понесъ.

— Кто тутъ? раздался охриплый голосъ въ темной комнатѣ. Торопливо притворилъ я дверь, заперъ задвижкой. — Василику, сказалъ я, проходя покой Армаша: завяжите ему ротъ, уложите въ постель, идите за мной!

«Ты понимаешь? продолжалъ онъ дрожащимъ голосомъ, схвативъ меня за руку. Выбѣжавъ на улицу, бросился я въ переулокъ, и бѣжалъ самъ не зная куда. Въ первый разъ испыталъ я страхъ; мнѣ казалось, что за мной гонятся, отнимутъ у меня жену и сына. Выбравшись изъ глухихъ, грязныхъ улицъ къ рѣкѣ, утомленный, я подошелъ къ одной отдѣльной хатѣ на пригоркѣ, сѣлъ на прилавокъ, перевелъ духъ, взглянулъ на Марьёлу..... голова ея лежала на плечѣ моемъ, а въ рукахъ нѣтъ ничего!... нѣтъ моего младенца!....»

При этихъ словахъ Урсулъ затрепеталъ; крупныя слезины копились на глазахъ его. Слезы блестѣли и на моихъ глазахъ.

«Что жъ мнѣ было дѣлать! Я бросилъ мать, побѣжалъ искать сына. Проклятый городъ! и направо и налѣво переулки; и направо и налѣво слышится плачъ младенца. Прислушиваюсь, который голосъ ближе

къ сердцу? побѣгу вправо..... а сзади какъ-будто кто нибудь кричитъ: не туда!... Остановлюсь на перекресткѣ, схвачусь за голову — голова горитъ; заверчу ее и брошусь опять бѣжать..... Видишь, я посѣдѣлъ въ эту ночь!.... Стало уже свѣтать, люди проснулись, дѣти плачутъ; то тамъ, то здѣсь, раздается голосъ младенца, да это все чужіе!.... не моя кровь!.... а Марьёла очнется, хватится ребенка, бросится искать его, и все пропало!.... И побѣжалъ я назадъ къ Марьёлѣ, пришелъ; а на прилавкѣ одна шаль лежитъ! Что съ ней сдѣлалось?.... Если бъ она была жива, она пришла бы ко мнѣ... Ахъ, нѣтъ! она не знаетъ, что ея мужъ.... Урсулъ!»

И Урсулъ закрылъ лицо, зарыдалъ; у меня надрывалось сердце отъ жалости, и слезы выступили на глазахъ.

«Теперь мнѣ легче,» продолжалъ онъ: «спасибо тебѣ, заплати тебѣ Богъ всѣми благами жизни за эти слезы состраданія. Ничего не остается мнѣ болѣе сказать тебѣ.... Разумѣется, что я преодолѣлъ отчаяніе и пошелъ къ своимъ. Долго заставилъ я ихъ ждать себя, и былъ причиною ихъ оковъ. Ужъ день былъ на дворѣ, когда я пришелъ къ нимъ; и едва только вступилъ въ двери, какъ сторожевой подалъ голосъ. Мы были окружены. Толпы народа не удержали бы насъ, если бъ я бросился къ выѣзду; но безуміе и чувства повлекли меня въ городъ, и всѣ поскакали въ слѣдъ за мной. Я не спасался, а искалъ Марьёлу и сына..... Подлѣ той самой хаты, гдѣ я оставилъ ее, народъ окружилъ меня..... Тутъ должны были кончиться всѣ

призраки жизни моей, и мысль обратиться къ Илянѣ, а за мыслью и самъ я!.....» —

Урсулъ замолкъ.

Я содрогнулся; молчаніе было страшно.

Онъ всталъ съ мѣста, заходилъ большими шагами по комнатѣ. Дрожь пробѣгала по мнѣ, а внутренній голосъ повторялъ: это не человѣческое наказаніе!

Когда я очнулся отъ тяжести состоянія души, все уже было вокругъ меня тихо; Урсулъ исчезъ какъ привидѣніе.

—

Вскорѣ пронеслись слухи про страшную муку, которою паказывалъ самъ себя Урсулъ, не довольствуясь ни Божьимъ, ни человѣческимъ наказаніемъ.

СИЛА ВОЛИ.

СИЛА ВОЛИ.

ВОСПОМИНАНІЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКА.

—

БОРРОМЕЙСКІЕ ОСТРОВА.

«Или вы еще не встали?» раздался у дверей моихъ знакомый голосъ, сопровождаемый легкимъ стукомъ.

Я отвѣчалъ приглашеніемъ войти и удостовѣриться, что, напротивъ, я оканчиваю уже завтракъ.

Это былъ мой пріятель, съ которымъ я жилъ душа въ душу, оттого, что провелъ съ нимъ неразлучно цѣлые два дня, съ той минуты, какъ сѣлъ возлѣ него въ дилижансѣ, слѣдующемъ изъ Мартиньи къ Домо-д'Оссола. Въ путешествіи два дня много значатъ: при быстромъ приливѣ и отливѣ впечатлѣній, безпрестанно смѣняющихся, вы невольно привязываетесь ко всему, что въ отношеніи къ вамъ соблюдаетъ сколько нибудь постоянства: ко всему, будетъ ли то нумеръ дилижанса, или нумеръ гостиницы, плутовская рожица служанки, являющейся нѣсколько дней сряду убирать поутрамъ вашу комнату, или неопредѣленная фигура дорожнаго сосѣда, который нѣсколь-

ко ночей, безъ церемоніи, высыпается на вашихъ плечахъ. Впрочемъ, на этотъ разъ пріязнь моя къ двухъдневному товарищу основывалась не на одной привычкѣ — въ продолженіе сорока часовъ видѣть и толкать другъ друга. Съ перваго взгляда мнѣ понравилась его открытая, привѣтливая физіономія. При первомъ прыжкѣ дилижанса, который привелъ насъ въ самое близкое соприкосновеніе, мы заговорили, разумѣется, начавъ извиняться другъ передъ другомъ въ томъ, въ чемъ ни тотъ ни другой не были виноваты. Рѣчь продолжалась потомъ о дорогѣ, о погодѣ, и наконецъ развернулась длиннымъ, неистощимымъ клубкомъ. Наши остальные товарищи, въ числѣ четырехъ, все мужчины, были какъ-то неговорливы: они или важно курили сигары, или еще важнѣе дремали. На первой станціи мы уже знали: я, что сосѣдъ мой ѣдетъ въ Локарно, городокъ Тичинскаго кантона Швейцаріи; онъ, что и мнѣ надобно ѣхать въ ту же сторону, до мѣстечка Магадино, куда я отправилъ чемоданъ свой изъ Люцерна, самъ пустившись пѣшеходствовать по Альпамъ. На второй, мы условились продолжать вмѣстѣ нашъ путь изъ Домо-д'Оссола. Подъ вечеръ перваго дня, во время перемѣны лошадей, я и онъ бѣгали смотрѣть знаменитый Туртманскій водопадъ, съ версту отъ мѣстечка того жъ имени; это навлекло намъ строгое замѣчаніе со стороны кондуктора, который, прождавъ насъ нѣсколько минутъ свыше положеннаго на перемѣну лошадей срока, объявилъ, что впредь не будетъ имѣть подобнаго снисхожденія и оставитъ на произволъ судьбы всякаго нарушителя

порядка, дерзающаго отлучаться самовольно отъ дилижанса и не являться во-время. При переѣздѣ черезъ Сималонъ, испросивъ разрѣшеніе суроваго капитана нашего сухопутнаго корабля, мы взобрались оба на имперіалъ, и оттуда вмѣстѣ отдали прощальный взглядъ грозному величію Альпъ, и вмѣстѣ привѣтствовали первую золотую полосу благодатнаго неба Италіи. Пріятель мой былъ старше меня, но не меньше моего любилъ природу и восхищался ея красотами. Такъ доѣхали мы до Домо-д'Оссола; оттуда взяли наемную шарабанку до Бавено, и остановились здѣсь ночевать въ трактирѣ, подъ вывѣскою «Братьевъ Адами», на самомъ берегу великолѣпнаго Лаго-Маджоре. Мы были уже почти друзьями и сдѣлались ими совершенно, когда за ужиномъ опорожнили бутылку Сильери, въ честь благополучнаго прибытія въ очаровательный эдемъ Италіи. Тутъ пріятель мой взялъ съ меня слово заѣхать къ нему въ Локарно (онъ оказался жителемъ этого городка) и провести по крайней мѣрѣ хоть ночь подъ кровлею его дома, въ кругу его семейства. Впрочемъ, наши свѣдѣнія другъ о другѣ и тутъ не распространились дальше того, что я Рускій, путешествую для удовольствія путешествовать, и попалъ въ Швейцарію изъ Франціи, а онъ, возвращаясь домой изъ Берна, вздумалъ дать кружокъ по Альпамъ и прокатиться по прелестному Женевскому Озеру. Я продолжалъ называть его «синьоро Лекки»: это была настоящая его фамилія. Но онъ съ перваго разу нашелъ себя въ невозможности выговорить мое, хотя впрочемъ нетрудное, прозваніе; и потому вели-

чалъ меня просто по имени «синьоро Николо» или въ порывахъ сердечнаго увлеченія, еще проще «саго Russo».

Этотъ день мы намѣревались посвятить обозрѣнію окрестностей Бавено, въ ожиданіи парохода, который ежедневно проходитъ Лаго-Маджоре изъ конца въ конецъ, забирая по берегамъ пассажировъ. Бавено, небольшое мѣстечко, само по себѣ не имѣетъ ничего особенно занимательнаго, кромѣ живописнаго мѣстоположенія на озерѣ. Но оно находится противъ знаменитыхъ Борромейскихъ Острововъ. Мы условились еще съ вечера посѣтить ихъ. Лекки, который былъ здѣсь почти дома, вызвался быть моимъ чичероне. Теперь онъ пришелъ сказать, что все готово къ прогулкѣ. Я собрался тотчасъ. У берега ожидала насъ лодочка, подъ управленіемъ молоденькой Италіяночки, лѣтъ осьмнадцати, которая, принявъ насъ съ милою улыбкой, рѣзво заиграла послушными веслами.

Не берусь описывать волшебныхъ красотъ Лаго-Маджоре, сосредоточенныхъ преимущественно вкругъ острововъ Борромейскихъ. Мое наслажденіе было тѣмъ живѣе, и потому тѣмъ невыразимѣе, что я здѣсь въ первый разъ вкусилъ божественную сладость Италіи. До Бавено продолжается еще Швейцарія, хотя уже подъ Италіянскимъ небомъ. Вы чувствуете приближеніе красавицы; но она сокрыта еще за альпійскою занавѣсью послѣднихъ уступовъ Сималона. Лаго-Маджоре есть первый взглядъ, которымъ Италія даритъ васъ безъ покрывала, — взглядъ чудесный, обворожительный, взглядъ полный любви, нѣги и сладострастія. Сапфирное зеркало озера оправлено въ

рамы, которыя уже не подавляютъ васъ своею колоссальностью. Ихъ живопись мелкая, но съ какою чистотой рисунка, съ какою пышностью колорита! Онѣ устланы коврами мягкой, атласной зелени, перевиты гирляндами шелкокудрявыхъ, благовонныхъ рощъ, осыпаны лебяжьимъ пухомъ бѣлоснѣжныхъ италіянскихъ домиковъ, тамъ сгруппированныхъ въ маленькій городокъ, здѣсь разбросанныхъ уединенными виллами. Но главнѣйшая прелесть картины, верхъ очарованія— миніятюрный Борромейскій архипелагъ. Эти изумрудныя крошки, плавающія въ голубыхъ волнахъ озера, кажутся тѣми баснословными раковинами, въ которыхъ воображеніе древнихъ заставляло прогуливаться царицу водъ, окруженную свитою полногрудыхъ Нереидъ и зеленовласыхъ Тритоновъ. Миніятюрность ихъ особенно поразительна въ сосѣдствѣ громадной Швейцарской природы. Въ отдаленной глубинѣ ландшафта еще видны ледяныя маковки великановъ Альпійскихъ, покоящіяся на голыхъ, сухихъ ребрахъ земнаго остова, угрожающія небесамъ, которыя хмурятся надъ ними сизыми туманами. И жизнь, тамъ надменная до безмѣрныхъ размѣровъ, здѣсь раздробилась въ такіе мелкіе дребезги! Понятна веселая улыбка, которою осклабляется надъ ними благодатное небо!....

Наша лодочка стрѣлой пронеслась мимо «Верхняго Острова», или «Острова Рыбаковъ», въ самомъ дѣлѣ населеннаго рыбаками; при каждомъ взмахѣ веселъ, я такъ и ждалъ, что рѣзвушка-кормщица задѣнетъ ими и расшибетъ въ прахъ эту миленькую деревеньку съ

крошечною церковью—призракъ, сотканный изъ воздуха и пѣны. Мы пристали къ «Острову-Матери» (Изола-Мадре). Долго бродили мы по его террасамъ, покрытымъ роскошнѣйшею растительностью: тамъ освѣжаясь бальзамическимъ дыханіемъ могучихъ кипарисовъ, здѣсь останавливаясь передъ колоссальнымъ розмариновымъ деревомъ, чудно переросшимъ свой обыкновенный, нормальный возрастъ, или предъ величественнымъ нассо—пришельцемъ изъ странъ тропическихъ, который, вѣрно, и самъ не надивится пріюту, найденному имъ въ такой дали отъ его знойной родины. Стада птицъ, играющія всѣми переливами радуги, довершали очарованіе этого рая. Дивный видъ открывался на оба конца великолѣпнаго озера, съ одной стороны теряющагося въ постепенно возрастающемъ перистилѣ Альпъ, съ другой выливающагося на благодатныя равнины Ломбардіи. Мы привѣтствовали издали мельчайшіе лоскутки группы Острова Сан-Джованни и Сан-Микеле; потомъ пустились къ царю ея — къ «Острову-Красавцу» (Изола-Белла).

Я сказалъ уже, что Лекки былъ здѣсь, какъ дома. Ему обязанъ я, что истощена мною чаша наслажденія до дна, капля по каплѣ. Онъ выводилъ меня по всему лабиринту этого волшебнаго чертога Армиды, гдѣ съ чудесами природы спорятъ уже и чары искусства. Палаццо Изолы-Беллы, кромѣ разнообразнѣйшихъ видовъ на великолѣпную картину природы, обогащенъ произведеніями кисти Джордано, Проккачини, Тиціано, Лебрёня, и другихъ не послѣднихъ мастеровъ. Тутъ были и воспоминанія, которыя Лекки

оживлялъ для меня своими разсказами. Богатая коллекція ландшафтовъ кавалера Темпесты, наполняющая три маленькія уединенныя комнатки, бросила грустную тѣнь на мою душу. Рука, начертавшая ихъ, была рука убійцы, который принесъ жену свою въ жертву преступной страсти къ другой красавицѣ. Злодѣй былъ наказанъ заточеніемъ въ палаццо Изолы-Беллы... Но я забылъ все, когда Лекки указалъ мнѣ покои, гдѣ первый и послѣдній Консулъ Французской Республики отдыхалъ послѣ кроваваго пира подъ Маренго. Въ саду, на корѣ маститаго лавра, ещё не заросло знаменитое имя, вырѣзанное рукою самого героя. Какъ вспоминалась эта минута узнику, прикованному къ дикой скалѣ Океана?.. Я спѣшилъ разсѣять и это чувство, слишкомъ захватывающее духъ, слишкомъ тяжелое для груди!... Мы взобрались на верхушку сада, вырастающаго прямо изъ волнъ пирамидою, во сто двадцать футовъ вышины надъ зеркаломъ озера. Подъ ногами у насъ были собраны драгоцѣннѣйшія сокровища Флоры и Помоны, смѣшанныя въ очаровательномъ безпорядкѣ; виноградныя лозы, перевитыя жасминами и розами, сами обвивались вкругъ сочныхъ маслинъ, или развѣшивали свои яхонтовыя кисти кругомъ янтарныхъ лимоновъ. Бѣломраморныя статуи казались неземными жилицами очарованнаго святилища. Журчаніе фонтановъ раздавалось волшебною музыкой. Воздухъ, пресыщенный упоительнымъ благовоніемъ, лился во всѣ чувства неизъяснимою сладостью. Душа плавала въ морѣ блаженства!

Но Лекки былъ дома. Все это онъ видѣлъ уже не въ первый разъ, и потому, при всемъ сочувствіи своемъ къ красотамъ природы, сохранилъ больше спокойствія. Послѣ нѣсколькихъ восклицаній, облегчившихъ приливъ невольнаго восторга, онъ оставилъ меня истощать, въ безмолвіи, глубину перваго дѣвственнаго упоенія, и самъ началъ бродить взорами по окрестнымъ берегамъ, разговаривая съ дѣвушкой, дочерью управителя, которая сочла долгомъ провожать насъ вездѣ, ради трехъ франковъ, установленныхъ за проводы таксою, подписанною самимъ графомъ Борромео, владѣльцемъ очарованныхъ острововъ.

«Это что за вилла,» спросилъ онъ, указывая рукою: «вотъ что у подошвы Верганте, недалеко отъ Стрезы? Неужели это вилла Боленгари?

«Точно такъ, синьоро!» отвѣчала дѣвушка.

«Да кто жъ ее такъ разукрасилъ? Я почти не узналъ ея.

«Нынѣшняя госпожа, синьоро.

«А кто эта нынѣшняя госпожа? Давно ли она здѣсь?

«Не очень давно, съ прошлаго лѣта. Виллу отдѣлывали нарочно для ней, еще до ея пріѣзда. Графиню зовутъ... зовутъ... право, я и позабыла, какъ ее зовутъ... только очень знатная и богатая... ахъ, Santa Madonna! Какъ это могла я позабыть? Графиня... Графиня...

«Такъ она жила здѣсь и зиму?

«Всю, съ самаго начала. Женщина такая странная! Никуда не выѣзжаетъ, и никто почти ея не видитъ. Говорятъ, все молится Богу...

«Старушка, или еще молоденькая?

«Богъ ее знаетъ. Одни говорятъ, что еще не стара, другіе — что едва держится на ногахъ. Я вѣдь вамъ сказала, что ея никто не видитъ. Кому нужда до ней, тотъ долженъ обращаться къ домашнему ея священнику, падре Анзельмо. Вотъ этого почтеннаго человѣка всѣ здѣсь знаютъ и любятъ.

«Знаете ли что?» сказалъ Лекки, обращаясь ко мнѣ. «Намъ надо побывать въ саду этой виллы: оттуда чудеснѣйшій видъ на острова и на озеро. Только...» онъ посмотрѣлъ на часы: «только въ такомъ случаѣ должно поторопиться. Иначе, мы можемъ опоздать къ пароходу, до котораго надобно еще отобѣдать.

«Я бы не совѣтовала синьорамъ спѣшить,» сказала дѣвушка. «Отобѣдать можно очень вкусно и здѣсь, въ гостиницѣ «Дельфина». Вы тамъ еще не были?

«Покорно благодаримъ, cara amica!» отвѣчалъ Лекки, улыбаясь. «Я припомню твой совѣтъ, и когда нибудь нарочно пріѣду обѣдать къ «Дельфину». Должно быть вкусно тамъ, гдѣ такая миленькая сирена хозяйкою. Вѣдь отецъ твой, кажется, держитъ гостиницу?...»

Дѣвушка съ досадою закусила губку, и начала щипать свой черный тафтяный передникъ.

«А между тѣмъ мы ѣдемъ!» продолжалъ Лекки.

Признаюсь, мнѣ жаль было оторваться отъ восхитительнаго зрѣлища, находившагося уже передо мною; но я повиновался приглашенію. Въ самомъ дѣлѣ, время текло, а я имѣлъ полную довѣренность ко вку-

су моего пріятеля, и не хотѣлъ пропустить случая— если не возвысить, то разнообразить свое наслажденіе.

Мы возвратились къ нашей лодочкѣ. Пока мы прогуливались, наша кормщица успѣла сплести себѣ гирлянду изъ цвѣтовъ Изолы-Беллы, и связала ею свои черные, волнуемые вѣтеркомъ, волосы.

«Къ виллѣ Боленгари!» сказалъ ей Лекки, когда мы усѣлись въ лодочку.

—

ВИЛЛА БОЛЕНГАРИ.

«Синьоры, вѣрно, знакомы съ падре Анзельмо?» спросила насъ кормщица, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, играя веслами.

«Нѣтъ,» отвѣчалъ Лекки.

«А вы ѣдете въ виллу Боленгари?

«Да! Мы хотимъ погулять тамъ.

«Г-мъ!» продолжала дѣвушка. «А я думала, что вы знакомы съ падре Анзельмо!.. Да какъ же хотите вы погулять въ виллѣ, когда вы съ нимъ незнакомы? Или, можетъ быть, сама графиня знаетъ васъ?...

«Графиня насъ тоже не знаетъ, да и мы ея не знаемъ. Кто она такая, не знаешь ли ты?

«Какъ же мнѣ не знать? Я ея крестница. Моя мать была кормилицей покойнаго сына графини Оспедалетто...

«Графини Оспедалетто!» произнесъ Лекки съ осо-

беннымъ выраженіемъ... «Оспедалетто!.. Не та ли это, что жила когда-то въ Миланѣ?...

«Пьяцца Сан-Сеполькро,» подхватила дѣвушка... «Она, она самая... Тамъ, у ней въ палаццо, я и родилась.

«Да развѣ сынъ ея — вѣдь у ней, кажется, былъ только одинъ сынъ — развѣ онъ уже умеръ?

«Давно,» отвѣчала съ грустью дѣвушка: «очень давно! А какой былъ добрый! Какъ любилъ и ласкалъ меня; называлъ не иначе, какъ своею миленькой Фіореллой!... Жаль, однако,» примолвила она, стараясь перервать себя: «жаль, что вы незнакомы съ падре Анзельмо! А я полагала, что вы съ нимъ знакомы...»

И она пріударила сильнѣе въ весла.

Я не обращалъ большаго вниманія на этотъ разговоръ. Между тѣмъ лодочка неслась быстро. Скоро мы были уже у берега.

Разсѣянно вышелъ Лекки на землю.

«У меня пропала охота видѣть эту виллу,» сказалъ онъ мнѣ. «Туда, видите, нельзя попасть безъ благословенія падре... какъ бишь его... падре Анзельмо... Не такъ ли, Фіорелла?»

Дѣвушка кивнула головою.

«Что жъ намъ безпокоить его преподобіе!.. Однако все лучше, если мы воротимся въ Бавено пѣшкомъ, вдоль берега. Не правда ли?...»

Я также кивнулъ головою.

Мы расплатились съ Фіореллой. Такъ какъ, сверхъ условленной цѣны, мы прибавили ей еще нѣсколько

чентезимъ, то она осыпала насъ изъявленіями жарчайшей благодарности, прибавивъ въ заключеніе: «Жаль, очень жаль! Я было думала, что добрые синьоры знакомы съ падре Анзельмо...»

Поднявшись на верхъ берега, мы увидѣли себя противъ самыхъ воротъ виллы. Онѣ были рѣшетчатыя, но затворены и заперты снутри. Я машинально подошелъ къ воротамъ. Лекки слѣдовалъ за мной, молча и примѣтно задумавшись.

Въ длинной, широкой аллеѣ, простиравшейся отъ воротъ до палаццо, прохаживались два монаха, въ одеждѣ Капуцинскаго ордена. Они шли тихими, мѣрными шагами. Разговаривая межъ собой, они не замѣчали насъ, хотя шли прямо къ воротамъ.

Уже поворачивали они назадъ, какъ одинъ изъ нихъ поднялъ глаза, взглянулъ въ ворота, пріостановился и вдругъ побѣжалъ къ намъ.

«Синьоро Лекки!» кричалъ онъ, протянувъ руки: «синьоро Лекки! Какимъ неожиданнымъ случаемъ....

«Здравствуйте, падре Джироламо,» отвѣчалъ сухо Лекки. «Вы какъ здѣсь? — И монсиньоро Урбини!..» примолвилъ онъ, глядя на другаго монаха, который также подошелъ къ воротамъ.

Тотъ, котораго Лекки назвалъ Джироламо, былъ старичокъ, бѣлый какъ лунь. Товарищъ его едва ли имѣлъ за сорокъ лѣтъ; но гордая, величавая осанка изобличала въ немъ высшую іерархическую степень; лицо его было запечатлѣно строгою важностью, которую, однако, онъ поспѣшилъ смягчить привѣтливою улыбкой, увидѣвъ и узнавъ Лекки.

«Я радъ здѣсь увидѣться съ вами, синьоро Лекки,» сказалъ онъ. «Вы, вѣрно, возвращаетесь съ сейма. Дайте жъ намъ обнять и привѣтствовать васъ съ благополучнымъ прибытіемъ.»

Джироламо успѣлъ уже между тѣмъ отворить ворота настежь.

«Милости просимъ,» продолжалъ монсиньоро. «Мы здѣсь не хозяева; но вся земля Господня... Вы незнакомы съ почтенною графинею Оспедалетто?...

«Не имѣю этой чести,» отвѣчалъ Лекки, «и боюсь обезпокоить ея сіятельство вступленіемъ въ ея владѣнія, не испросивъ предварительно соизволенія...»

Монахъ снова улыбнулся.

«Синьоро депутато все еще разсуждаетъ, какъ на сеймѣ, съ дипломатическимъ этикетомъ. Войдите безъ опасенія. Мы ручаемся вамъ за повелительницу здѣшнихъ владѣній.»

И онъ взялъ Лекки за руку, которую пожалъ дружески.

«Въ самомъ дѣлѣ,» сказалъ Лекки, «если бы, подъ вашимъ милостивымъ покровительствомъ, дозволено было намъ сдѣлать кружка два по очаровательному саду этой виллы, то я очень бы остался благодаренъ не столько за себя, сколько за моего пріятеля, котораго имѣю честь рекомендовать вашему высокопреподобію.»

Монахъ взглянулъ на меня, и отвѣчалъ ласково на мой поклонъ.

«Вся вилла къ вашимъ услугамъ,» сказалъ онъ, «и я самъ буду вашимъ чичероне, чтобы имѣть случай

дольше побыть и побесѣдовать съ вами, синьоро Лекки.»

Мы вошли въ ворота и отправились по аллеѣ. Джироламо вдругъ куда-то скрылся.

«Вы не намѣрены заглянуть въ палаццо?» продолжалъ оставшійся монахъ. «Тамъ много драгоцѣннѣйшихъ сокровищъ искусства... Графиня была нѣкогда любительница... Вы, конечно, знаете ее хоть по слуху.

«Очень мало,» отвѣчалъ Лекки. «Впрочемъ, мы торопимся. Мы отправляемся съ сегоднишнимъ пароходомъ. Намъ хотѣлось бы только полюбоваться садомъ и его очаровательными видами.

«Какъ вамъ угодно,» сказалъ монахъ, и повернулъ въ сторону къ главной аллеѣ.

Я воспользовался этою минутой, и, схвативъ Лекки за руку, указалъ ему глазами на монаха. Онъ отвѣчалъ тихо:

«Провинціалъ Ордена, бывшій настоятель монастыря въ Локарно».

Въ самомъ дѣлѣ, садъ былъ чудо; виды еще чуднѣе. Но я уже сдѣлался къ нимъ равнодушнѣе. Я не столько смотрѣлъ, сколько слушалъ.

Мой Лекки оказался высокопочтеннымъ депутатомъ Тичинскаго Кантона Швейцарской Конфедераціи. Гордый провинціалъ очевидно увивался вокругъ него; и это было не даромъ. Изъ нѣкоторыхъ, искусно подводимыхъ распросовъ, я замѣтилъ, что какіе-то важные интересы, касавшіеся вообще монаховъ, и въ особенности Капуцинскаго Ордена, находились въ зависимости отъ Лекки.

Мы находились среди цвѣтника, составленнаго изъ драгоцѣннѣйшихъ тропическихъ растеній. Монсиньоро называлъ намъ каждое по имени, и описывалъ съ подробностью, дѣлавшею честь его свѣдѣніямъ въ Ботаникѣ, какъ явился запыхавшійся Джироламо.

«Синьоро Лекки,» сказалъ онъ, едва переводя духъ: ея сіятельство, узнавъ, что вы почтили посѣщеніемъ ея виллу, проситъ васъ доставить ей удовольствіе видѣть васъ и познакомиться съ вами.»

Лекки нахмурился.

«Я считаю себя незаслуживающимъ такой внимательности со стороны госпожи графини. Не ошибается ли она? Не считаетъ ли меня за одного изъ Бергамскихъ Лекки? Сказали ль вы ей, что я не Графъ Лекки, а просто гражданинъ города Лакорно.

«Она знаетъ это.

«Жаль,» продолжалъ Лекки, «что я нахожусь вынужденнымъ отказаться отъ лестнаго приглашенія ея сіятельства. Вы видите, что я не одинъ...

«Она проситъ васъ и съ вашимъ спутникомъ...

«Но, милый падре, посмотрите на нашъ костюмъ... Прилично ли въ немъ представиться ея сіятельству?...»

Костюмъ Лекки былъ еще туда и сюда; онъ одѣтъ былъ въ длинный дорожный рединготъ. Что касается до меня, то я былъ во всей живописной простотѣ Альпійскаго пѣшехода. Одежда моя состояла изъ зеленой блузы, съ боковыми наружными карманами, швейцарскихъ чеботовъ, подкованныхъ лошадиными гвоздями, да соломенной шляпы съ широкими, лапоухими крыльями.

Джироламо не нашелся ничего возразить на это, и опять скрылся.

Мы пошли далѣе.

Черезъ нѣсколько минутъ Джироламо явился опять впереди насъ, но уже не одинъ. Съ нимъ находился другой духовный, только не Капуцинскаго Ордена. Этотъ послѣдній подошелъ къ Лекки съ изъявленіемъ глубокой почтительности.

«Честь имѣю представить въ себѣ высокопочтенному синьоро Лекки смиреннаго капелана сіятельнѣйшей графини Оспедалетто. Ея сіятельство повторяетъ снова свою просьбу, чтобы вы, съ вашимъ почтеннымъ спутникомъ, посѣтили ея уединеніе. Въ удаленіи отъ свѣта, она забыла о томъ, что̀ предписывается суетными обычаями міра. Она проситъ васъ, синьоро Лекки, именемъ Бога и Его Святой Церкви, о благѣ которой намѣрена бесѣдовать съ вами.»

Лекки взглянулъ на меня, и сказалъ по-Нѣмецки:

«Что дѣлать?

«Я не хочу мѣшать вамъ,» отвѣчалъ я. «Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ что нибудь важное. Я, пожалуй, останусь здѣсь въ саду.»

И я пробормоталъ нѣсколько словъ капеллану, прося извиненія и дозволенія продолжать мою прогулку, пока синьоро Лекки будетъ имѣть честь бесѣдовать съ госпожею графинею.

Но Лекки перебилъ меня:

«Не смѣю противиться волѣ ея сіятельства. Проводите насъ.»

Капелланъ пошелъ впередъ, сдѣлавъ новый почтительный книксенъ.

Графиня сидѣла въ галлереѣ палаццa, открытой въ глубину сада. Мы замѣтили ее, не входя еще въ палаццо.

Это была женщина лѣтъ пятидесяти, одѣтая въ глубокомъ траурѣ. Печальная мрачность царствовала и въ комнатахъ, которыя мы должны были пройти, прежде нежели достигли до галлереи. На всемъ лежала печать монастырской суровой важности, представляющей рѣзкій контрастъ съ прелестнымъ эдемомъ наружныхъ принадлежностей виллы.

Я испугался, когда, приблизясь къ графинѣ, увидѣлъ въ ней сухой скелетъ, едва обтянутый желтою кожей. Она казалась мумiей, вырвавшеюся изъ тысячелѣтняго плѣна въ могильномъ склепѣ. Но искры жизни горѣли еще въ ея черныхъ большихъ глазахъ. И какой жизни? Я не могъ вынести блеска этихъ глазъ, когда она, выслушавъ привѣтствiе Лекки, обратилась ко мнѣ.

Лекки не могъ иначе представить меня, какъ подъ именемъ «signoro Russo.»

Это возбудило любопытство монаховъ, но не графини, для которой всякое различiе людей, вѣроятно, потеряло смыслъ. Она пригласила насъ сѣсть. Капелланъ и Джироламо обратились ко мнѣ съ распросами, можетъ быть и для того, чтобъ дать графинѣ свободу заняться исключительно съ Лекки.

Изъ словъ, которыя я успѣлъ схватить, отвѣчая монахамъ, я поцялъ, что графиня просила Лекки о

монастыряхъ Мадонны дель-Сесто и Мадонны делла-Тринита, находящихся въ окрестностяхъ Локарно. Лекки отвѣчалъ, что все это зависитъ отъ Главнаго Совѣта Кантона, гдѣ онъ только имѣетъ одинъ голосъ члена; что онъ впрочемъ съ своей стороны готовъ всячески содѣйствовать благочестивымъ намѣреніямъ ея сіятельства.

Провинціялъ былъ родъ звена, соединявшаго обѣ группы бесѣдующихъ. Онъ принималъ участіе и въ разговорѣ графини съ Лекки, и въ распросахъ, которыми тормошили меня монахи. Наконецъ Лекки, кажется для того, чтобъ освободить себя отъ тягости исключительной бесѣды съ графинею, воспользовался случаемъ, когда рѣчь зашла о бывшемъ сеймѣ и о неудовольствіяхъ, возникшихъ съ того времени между Швейцаріею и Франціею по поводу раздѣленія Базельскаго Кантона, неудовольствіяхъ, которыя занимали сеймъ предпочтительно. При вопросѣ графини о дѣлахъ Французскихъ, онъ обратился на меня и сказалъ:

«Signoro Russo возвращается изъ Франціи, прямо изъ Парижа.»

Графиня устремила на меня опять свои карбункуловые глаза, вставленные въ мертвый черепъ.

Я началъ разсказывать, что̀ зналъ и что̀ видѣлъ. Главное событіе, занимавшее тогда Францію, была адская машина Фіески, которой я имѣлъ несчастіе быть очевидцемъ. Графиня слушала хладнокровно; но когда я, въ порядкѣ повѣствованія, дошелъ до торжественнаго «*Te Deum*», воспѣтаго Парижскимъ Ар-

хіепископомъ въ присутствіи Короля Луи-Филиппа и его министровъ, она одушевилась. Монахи запрыгали отъ радости. Провинціялъ воздѣлъ руки къ небу и воскликнулъ:

«Благодареніе Господу! Сердце Фараоново умягчается. Плѣнъ Египетскій приходитъ къ концу. Gloria in excelsis! Halleluja!»

И всѣ повторили вслѣдъ за нимъ:

«Halleluja!»

Лекки предварилъ уже графиню, что мы отправляемся съ сегоднишнимъ пароходомъ. Она изъявляла нѣсколько разъ сердечное сожалѣніе, что мы не можемъ остаться съ нею обѣдать.

«По крайней мѣрѣ,» сказала она, «вы не откажетесь чѣмъ нибудь подкрѣпить себя. Позаботьтесь объ этомъ, Анзельмо!»

Капелланъ побѣжалъ тотчасъ. Онъ-то и былъ Анзельмо.

«Между тѣмъ не угодно ли вамъ поклониться святынѣ, которою Богъ благословилъ меня украсить мое уединеніе?»

Лекки всталъ, и я тоже.

«Проводите ихъ, падре Джироламо, въ капеллу.

«Я также пойду съ ними,» сказалъ провинціялъ, «я далъ слово синьоро Лекки, что буду его чичероне.»

Въ капеллѣ находилось дѣйствительно множество мощей и другихъ святынь, уважаемыхъ Католиками. Сверхъ того она убрана была картинами превосходнѣйшихъ мастеровъ.

Оба наши проводника, на каждомъ шагу, разсыпались въ похвалахъ благочестію и добродѣтелямъ графини. Джироламо клялся всѣми святыми, что она заживо должна быть сопричислена къ ихъ свѣтлому лику, что имя ея давно записано на небесахъ. Я не скрывалъ своего удивленія при видѣ богатыхъ украшеній капеллы. Но Лекки хранилъ суровое молчаніе. По временамъ, при восклицаніяхъ монаховъ, какое-то судорожное движеніе проскользало по его безмолвному лицу.

Я видѣлъ, что Лекки совсѣмъ не такъ мало зналъ графиню, какъ говорилъ; впрочемъ, графиня, очевидно, не знала его и видѣлась съ нимъ въ первый только разъ.

Скоро присоединился къ намъ и Анзельмо.

«Графиня ожидаетъ васъ въ бельведерѣ,» сказалъ онъ. «Она желаетъ показать вамъ лучшій видъ изъ своего палаццо на озеро.»

Мы отправились вслѣдъ за нимъ.

Роскошный дессертъ приготовленъ былъ въ бельведерѣ, откуда раскрывалась великолѣпнѣйшая панорама Лаго-Маджоре. Намъ подали по чашкѣ бульону. Графиня сама не дотрогивалась ни до чего.

Но недолго мы тутъ пробыли. Лекки взглянулъ на озеро, и увидѣлъ лодку съ краснымъ флагомъ, наполненную людьми; она выравнивалась съ Изолой-Беллой.

«Мы опоздали,» сказалъ онъ, ставя чашку. «Это лодка, которая беретъ изъ Бавено пассажировъ для

парохода. Впрочемъ, парохода еще не видно. Мы должны спѣшить, графиня.

«Не могу больше удерживать васъ,» отвѣчала она. «Надѣюсь, впрочемъ, что синьоро Лекки не позабудетъ дороги въ виллу Боленгари, когда снова посѣтитъ здѣшнія мѣста, чего я отъ всей души желаю. Добрый путь, синьоро Лекки! Добрый путь, синьоро Russo?»

Мы откланялись графинѣ. Анзельмо, Джироламо и самъ провинціялъ проводили насъ до воротъ виллы.

«Я скоро увижусь съ вами въ Локарно, синьоро Лекки,» сказалъ послѣдній, прощаясь. «Дѣла, удерживающія меня здѣсь, почти кончены.»

Бѣгомъ помчался Лекки по дорогѣ къ Бавено. Я едва поспѣвалъ за нимъ. Тысяча вопросовъ шевелились на моихъ губахъ; но Лекки зажалъ мнѣ ротъ на первомъ словѣ.

«Послѣ, послѣ!» сказалъ онъ. «Теперь надобно спѣшить. Мы рѣшительно опоздали. Чтобъ чортъ побралъ эту старую гарпію! О! я вамъ пораскажу про нее...»

Наконецъ мы достигли Бавено, почти выбившись изъ силъ.

Содержатель гостиницы встрѣтилъ насъ на лѣстницѣ.

«Обѣдъ вашъ давно готовъ, синьоры! Два часа било.

«Чортъ возьми!» отвѣчалъ Лекки. «Когда жъ намъ теперь обѣдать? Лодка ужъ уѣхала!»

«Уѣхала, синьоры! А вы непремѣнно хотите поспѣть на пароходъ. Еще можно. Вонъ, пропасть лодочекъ, которыя довезутъ васъ — только не дорожитесь. А я прикажу отпустить обѣдъ съ вами.

«Очень хорошо! Сдѣлайте милость! Поскорѣе же!»

Я побѣжалъ въ свой нумеръ, Лекки въ свой. Чрезъ нѣсколько минутъ мы уже были въ походѣ. Одинъ слуга тащилъ чемоданы Лекки; другой несъ большую корзину съ блюдами и бутылками.

У берега стояла опять лодочка Фіореллы. Мы кивнули ей, и какъ старые знакомые, не торгуясь, бросились въ лодочку. Слуга, несшій корзину, наказалъ Фіореллѣ, чтобы она въ цѣлости доставила назадъ въ трактиръ блюда, ножи, вилки и бутылки.

«Послѣ, послѣ!» повторилъ Лекки, когда я опять было заговорилъ о виллѣ. «Теперь надо ѣсть.»

И мы принялись работать зубами, между тѣмъ какъ лодочка понеслась къ Изолѣ-Беллѣ.

Предусмотрительная Фіорелла натянула полотно сверхъ лодки, чтобы защитить насъ отъ полуденнаго зноя. Теперь оно не достигло своей цѣли. На озеро набѣжалъ съ горъ свѣжій вѣтерокъ, который все болѣе и болѣе разыгрывался. Волны прыгали по озеру крупными зайцами. Фіорелла мужественно боролась съ ними. Мы уже подъѣзжали къ Изолѣ-Беллѣ, оканчивая послѣднее блюдо холоднаго жаркаго, какъ вдругъ пошелъ сильный дождь...

«Не прикажете ли завернуть въ «Дельфино?» произнесла Фіорелла.

«А между тѣмъ пароходъ уйдетъ,» отвѣчалъ Лекки, наливая мнѣ въ стаканъ вина. «Corpo di Baccho! Что намъ дѣлать?

«Такъ я васъ провезу въ такое мѣсто, гдѣ вы укроетесь отъ дождя и не пропустите парохода...»

Она направила лодочку вокругъ Изолы-Беллы.

«Только вы, синьоры, обманули меня. Вы знакомы и съ графинею и съ цадре Анзельмо. Что бы вамъ сказать мнѣ? Я бы васъ попросила замолвить словечко обо мнѣ и объ Карлино... Вы не знаете Карлино... Вотъ что стоялъ тамъ, на Изолѣ-Пескатори, какъ мы ѣхали мимо...

«Послѣ, послѣ!» кричалъ Лекки. «Теперь ничего не слышно.»

Въ самомъ дѣлѣ, вѣтеръ бушевалъ, озеро шумѣло, дождь пробивалъ насквозь полотняную покрышку, которая едва держалась на тоненькихъ шестикахъ.

Лодка наша обогнула островъ и поворотила къ его южной оконечности, перпендикулярно выростающей изъ среды волнъ.

—

ЭТО КТО?

«Ба! ба! ба! Куда мы это заѣхали?» вскричалъ Лекки. «Il antro di Polifemo!»

Въ самомъ дѣлѣ, лодочка наша нырнула въ родъ Полифемовой пещеры, образованной одною изъ аркадъ, подпирающихъ великолѣпную пирамиду Изо-

лы-Беллы. Устье этой пещеры одрапировано было роскошною зеленью растеній, частію свѣсившихся съ нижней террасы сада, частію укрѣпившихъ свои коренья въ самыхъ контрфорсахъ. Внутри, стѣны и сводъ были убраны разноцвѣтными ракушками, поддѣланными подъ видъ сталактитовъ. Кругомъ стѣнъ шла мраморная широкая скамейка. Волны, вбѣгая въ глубину грота, разшибались объ нее и выбѣгали назадъ шипячею жемчужною пѣною.

Къ довершенію картины, въ этой пещерѣ находилось существо живое, не похожее однако на Полифема.

У самаго входа, на краю скамейки, сидѣлъ монахъ во всей живописной нищетѣ костюма миноритовъ, называемыхъ въ Италіи «сокколанти» и «рифформатп». Онъ одѣтъ былъ въ сѣрую сермягу, подпоясанную толстою узловатою веревкою. Тяжелыя сандаліи прикрѣплялись къ босымъ ногамъ узенькими ремешками, которые красными рубцами въѣдались въ ступни и безъ того истрескавшіяся отъ солнца. Капишонъ монаха былъ закинутъ за плечи, и потому голова его была вся наружи; она имѣла бронзовый отливъ, наведенный не Европейскимъ небомъ, хотя рисункомъ ея изобличался настоящій италіянскій типъ. Монаху было лѣтъ за тридцать, не больше; но, конечно, тяжкая трудническая жизнь изсушила его мышцы, высосала изъ жилъ кровь, вылощила какъ пергаментъ кожу, сквозь которую чуть не просовывались острыя кости. Его можно было принять за одну изъ тѣхъ, грубой старинной рѣзьбы, статуй, обглоданныхъ временемъ и перемѣнами стихій, которыя такъ не рѣдко

встрѣчаются въ католическихъ земляхъ у вороть монастырей, при входѣ церквей и часовень. Неподвижно смотрѣлъ онъ на разбивавшіяся у ногъ его волны, и только трепетаніе пальцевъ, перебиравшихъ розарій, обнаруживало въ немъ присутствіе жизни. Наше прибытіе исторгло его изъ этой видимой безчувственности. Онъ накинулъ быстро капишонъ свой на голову, и потомъ уже поднялъ на насъ глаза.

Каково жъ было мое удивленіе, когда Лекки вдругъ всплеснулъ руками и закричалъ:

«Сильвіо!»

Казалось, тайный трепетъ пробѣжалъ по членамъ монаха. Но онъ сохранилъ всю свою наружную тишину. Онъ только погрузилъ глубокій взоръ въ Лекки, не отвѣчая ничѣмъ на его восклицаніе.

Въ эту минуту въ устье пещеры врѣзалась лодка съ краснымъ флагомъ, наполненная пассажирами.

«Гей, держи лѣвѣе!» крикнулъ голосъ кормчаго Фіореллѣ. «Береги свою орѣховую скорлупу!»

Прежде чѣмъ Фіорелла успѣла отпихнуть свою лодочку въ другую сторону грота, Лекки выпрыгнулъ на скамейку къ монаху. Прибывшая лодка отрѣзала меня отъ нихъ, а шумъ пассажировъ заглушилъ продолженіе ихъ разговора, который сдѣлался взаимнымъ.

По капризу, свойственному подгорнымъ сторонамъ, тучка, загнавшая насъ въ это убѣжище, успѣла уже умчаться. Надъ озеромъ, прямо противъ насъ, раскинулась яркая радуга. Подъ нею видѣлась уже лента дыму приближающагося парохода.

«Просимъ покорно,» бормотали голоса пассажировъ. «Вотъ, если бъ мы послушались содержателя Дельфино, да вздумали дожидаться его тухлой яишницы, прозѣвали бы мы пароходъ.

«Что жъ? Ему отъ того было бы не хуже. Привелось бы тогда и отужинать у него, да и отобѣдать завтра. Онъ себѣ на умѣ.»

Я спѣшилъ разстаться съ Фіореллою. Но она была вся внѣ себя.

«Санто-Франческо!» шептала она, не сводя глазъ съ противоположной стороны грота: «Мадонна дель-Монте! Или я во снѣ?»

Она даже не сочла денегъ, которыя всунулъ я ей въ руку.

Между тѣмъ хозяинъ большой лодки кричалъ мнѣ, Лекки и монаху:

«Если господа ѣдутъ на пароходъ, такъ прошу проворнѣе садиться. Тамъ не будутъ ждать.»

Я перескочилъ въ лодку, Лекки и монахъ тоже. Но насъ раздѣлила толпа. Мы сѣли на противоположныхъ концахъ.

Быстро понеслась лодка, съ помощію вѣтерка, гнавшагося вслѣдъ за пробѣжавшею тучей. Солнце уже сіяло опять на освѣженномъ горизонтѣ. Оглядываясь назадъ, я видѣлъ, что Фіорелла, выдвинувъ свою орѣховую скорлупу изъ пещеры, оставалась все у ея входа, смотря вслѣдъ за нами.

Скоро достигли мы парохода. Взобравшись на палубу, я спѣшилъ отыскать Лекки. Но его окружала толпа знакомыхъ, которые здоровались съ нимъ, жа-

ли ему руку и осыпали распросами. Увидавъ меня, онъ закричалъ свое любимое:

«Послѣ, послѣ!.. Чудеса! Истинно, чудеса!..»

Я пошелъ отыскивать монаха. Онъ стоялъ уединенно, опираясь на свой костыль. На лицѣ его господствовала глубокая, безмятежная тишина.

Палуба парохода кипѣла народомъ. Многіе пассажиры бѣжали изъ Піемонтскихъ владѣній отъ холеры, которая, прорвавшись изъ-за горъ, свирѣпствовала по всему Лигурійскому берегу Средиземнаго Моря, отъ Ниццы до Генуи. Они были съ семействами. Воздухъ Альпъ считался единственнымъ убѣжищемъ отъ грознаго, губительнаго бича. Швейцарія уже нѣсколько недѣль подвержена была такому приливу бѣглецовъ, что ея маленькіе городки и еще меньшія деревушки переполнились народомъ, такъ, что мѣстное начальство испугалось другой язвы, могущей произойти отъ чрезмѣрной скученности населенія. Почему, не дальше какъ въ этотъ день, обнародовано было постановленіе, что въѣздъ въ области Конфедераціи воспрещается всѣмъ жителямъ Піемонта, которые не предъявятъ основательныхъ причинъ, зачѣмъ они ѣдутъ. Только для тѣхъ, которые еще наканунѣ записались на пароходъ и заплатили деньги, сдѣлано было снисходительное исключеніе. У меня такъ же, какъ и у всѣхъ другихъ прибывшихъ вмѣстѣ со мною, спросили паспортъ; и когда шкиперъ парохода увидѣлъ, что на немъ стояла виза Сардинской пограничной таможни Изелле отъ вчерашняго только числа, то, безъ всякихъ дальнѣйшихъ рас-

просовъ, подписалъ на немъ: «buono per Locarno» — примолвя, что съ этой подписью я могу гостить сколько мнѣ угодно и гдѣ угодно на всемъ пространствѣ Швейцаріи.

Холера была главнымъ предметомъ почти всѣхъ разговоровъ. Тѣ, при которыхъ прописывался мой паспортъ, узнавъ, что я ѣду изъ Франціи, приступили ко мнѣ съ вопросами: правда ли, что между Ліономъ и Женевою учрежденъ строжайшій карантинъ, что въ Провансѣ и Лангедокѣ люди мрутъ, какъ мухи, что Парижская Академія изобрѣла какой-то чудесный элексиръ противъ этой ужасной заразы, но Якобинцы не дозволяютъ ей открывать его, для того, чтобы переморить всѣхъ католиковъ въ Южной Франціи, и. т. п. Я отвѣчалъ имъ, что̀ зналъ; а зналъ я только то, что холера дѣйствительно свирѣпствовала въ Южныхъ Департаментахъ Франціи и уже проникла по Ронѣ до Валансея, но что о карантинахъ ничего не было слышно, тѣмъ болѣе объ элексирѣ, въ существованіи котораго однако самъ я не изъявилъ ни малѣйшаго сомнѣнія, изъ справедливаго опасенія прослыть неблагомыслящимъ и вольнодумцемъ.

Какъ бы то ни было, но сообщенныя мною свѣдѣнія дали мнѣ нѣкоторый интересъ. Вокругъ меня составился кружокъ любопытныхъ, который безпрестанно возобновлялся. Я повторялъ всѣмъ одно и то же. Наконецъ толпа праздношатающихся распрашивателей схлынула. Со мной осталось только трое молодыхъ Піемонтцевъ, ѣхавшихъ изъ Ароны. Это были баккалавры одного изъ закрытыхъ въ то время Сардин-

скихъ университетовъ, люди не столько ученые, сколько живые и пылкіе. Разговоръ нашъ отъ холеры перешелъ на состояніе просвѣщенія въ Сардиніи, о которомъ я желалъ узнать подробнѣе.

Между тѣмъ пароходъ приставалъ то къ тому, то къ другому берегу озера, выпуская пассажировъ. У Каннобіо, послѣдняго городка Сардинскихъ владѣній, я распрощался съ баккалаврами. Во все это время Лекки нѣсколько разъ приближался ко мнѣ, но все не одинъ; почему я и не могъ распрашивать его. Я замѣтилъ только съ новымъ удивленіемъ, что онъ ни разу не подходилъ къ монаху, по видимому такъ для него близкому. Этотъ послѣдній въ свою очередь оставался недвижимъ на мѣстѣ, одинокій и безмолвный.

День склонялся къ вечеру. Хотя послѣ тучи онъ оставался неизмѣнно яснымъ, но горный вѣтеръ не утихалъ, волны озера продолжали колыхаться. Особенно, когда мы вошли промежъ Монте-Каноббіо и Монте-Пино, сдавливающимъ озеро съ обѣихъ сторонъ своими мохнатыми утесами, волненіе значительно усилилось; пароходъ качало. Отъ безпрестанной убавки пассажировъ, палуба порядочно поочистилась. Лекки не было видно; онъ убрался въ каюту; я собрался туда же искать его.

Но вдругъ на кормѣ парохода, занятой преимущественно семействами пассажировъ, произошло смятеніе. Всѣ бросились оттуда опрометью: матери тащили за собой дѣтей; мужчины, болѣе мужественные, подносили къ носу скляночки, выхваченныя быстро изъ

карманов. Со всѣхъ сторонъ раздался жалобный вопль:

«Холера! Холера!»

Корма вся опустѣла. Тамъ осталась только одна женщина съ маленькою дѣвочкой.

Эта женщина, очень просто и даже бѣдно одѣтая, находилась въ припадкѣ болѣзни, обнаруживавшейся самыми мучительными явленіями. Перевѣсившись черезъ бортъ парохода, она трепетала судорожно всѣмъ тѣломъ. Маленькая дѣвочка, вѣроятно дочь ея, обвилась вокругъ нея своими ручонками, и наполняла воздухъ отчаянными криками. Наконецъ страдавшая подняла голову; лице ея было покрыто смертною блѣдностью; она произнесла глухимъ, изсякающимъ голосомъ:

«Воды, ради Бога, воды!»

Но никто не трогался съ мѣста. Всѣ стояли, какъ ошалѣлые. Только нѣкоторые, стуча зубъ объ зубъ отъ страха, говорили, посматривая другъ на друга:

«Нѣтъ ли здѣсь доктора? Какого нибудь доктора?

«Maledetta! Теперь насъ засадятъ въ карантинъ, или еще хуже, воротятъ назадъ, не спустивъ съ парохода.

«А ты сидѣла такъ близко подлѣ ней,» говорилъ мужъ женѣ съ нѣжною заботливостію, отступивъ однако на нѣсколько шаговъ и боясь прикоснуться къ ней, хотя бѣдная, отъ испуга, едва держалась на ногахъ.

Больная между тѣмъ опрокинулась на спину, съ закатившимися глазами.

Въ это мгновеніе очутился возлѣ ней монахъ, мой знакомый незнакомецъ. Онъ схватилъ ее за руки, по-

томъ за виски, которыя началъ тереть. Больная открыла глаза и снова произнесла:

«Воды, ради Бога, воды!

«Или нѣтъ здѣсь ни одной христіанской души?» сказалъ монахъ умоляющимъ голосомъ, обратясь къ толпѣ. «Воды и спирту!»

Я бросился внизъ въ каюту, откуда на шумъ выбросились всѣ. На силу допросился я у испуганнаго буфетчика бутылки съ водой и стакана. Онъ безпрестанно крестился и пересчитывалъ всѣхъ святыхъ поименно.

Воротясь, я увидѣлъ Лекки, подававшаго монаху склянку со спиртомъ, которую онъ, какъ я узналъ послѣ, насильно вырвалъ у одного изъ пассажировъ. Шкиперъ парохода стоялъ также невдалекѣ.

Нѣсколько глотковъ воды освѣжили больную. Она было приподнялась на ноги; но слабость ея была такъ велика, что она упала бы въ ту жъ минуту, еслибъ монахъ не схватилъ ее своими сухощавыми руками.

«Ей нуженъ покой,» сказалъ онъ, обращаясь къ намъ...«Дайте сюда подостлать что нибудь.»

Шкиперъ оборотился къ толпѣ:

«Господа!» сказалъ онъ: «здѣсь нѣтъ постели. Нельзя ли ссудить своихъ плащей для христіанскаго дѣла?»

Глухой ропотъ обнаружился въ толпѣ.

«Caro mio!» отвѣчалъ ему одинъ старичокъ, весьма почтенной физіономіи: «вы хотите распространить заразу. Берегитесь, чтобы вамъ не отвѣчать передъ за-

конами—вамъ, на которомъ лежитъ попеченіе о безопасности пассажировъ.

«Corpo di Baccho!» проворчалъ шкиперъ. «Въ самомъ дѣлѣ, не вышло бы какихъ несчастныхъ послѣдствій.

«Джюліо,» сказалъ монахъ, обратясь къ Лекки: «не подѣйствуетъ ли твой примѣръ сильнѣе монхъ словъ.»

Лекки нѣсколько колебался.

Я уже зналъ холеру по Московскому страшному опыту, и хотя не былъ совершенно убѣжденъ въ ея незаразительности, однако твердый голосъ монаха сильно подѣйствовалъ.

«Вотъ мой!» сказалъ я, сбрасывая съ себя дорожный непромыкаемый плащъ, который, за неимѣніемъ чемодана, носилъ на плечахъ, свернутый въ катокъ.

«Подайте и мой,» закричалъ Лекки: «онъ тамъ въ каютѣ.»

Монахъ бросилъ на насъ взглядъ, выражающій движеніе чувства.

«Еще бъ лучше было,» сказалъ онъ, схватившись за послѣднее слово Лекки, «еще бъ лучше было перенесть больную въ каюту; тамъ ей гораздо будетъ покойнѣе.

«Въ самомъ дѣлѣ,» подхватилъ Лекки, обращаясь къ шкиперу: «это значитъ отдѣлить больную, какъ предписываютъ и медицинскія правила; вы запретите потомъ входъ въ каюту пассажирамъ.

«Точно такъ,» отвѣчалъ шкиперъ, ободрившись. «Но кто жъ понесетъ ее?

«Мы,» отвѣчалъ монахъ.

Я тотчасъ подошелъ къ больной.

Лекки за мной послѣдовалъ.

«Господа, посторонитесь,» закричалъ шкиперъ. Въ силу медицинскихъ правилъ, я повелѣваю отдѣлить отъ сообщенія особу, оказавшуюся подозрительною. Ее отнесутъ сейчасъ въ каюту. За тѣмъ никто не долженъ трогаться съ мѣста, слышите ли? подъ опасеніемъ сужденія и штрафованія по карантиннымъ законамъ!»

Толпа разступилась. Мы втроемъ взяли на руки больную; шкиперъ шелъ впереди.

«Синьоро Маркезе!» сказалъ онъ гордо, поровнявшись съ старичкомъ почтенной физіономіи. «Надѣюсь, что вы не обвините меня теперь въ безпечности о безопасности экипажа.»

Мы снесли больную въ каюту и уложили ее на нашихъ плащахъ. Шкиперъ, видя нашу безстрашность, до того раздобрился, что самъ снялъ съ своего стула кожаную истертую подушку и положилъ больной подъ головы.

«Неужели это въ самомъ дѣлѣ холера?» сказалъ тихо Лекки.

«Можетъ быть,» отвѣчалъ хладнокровно монахъ.

«Впрочемъ,» примолвилъ я, «заразительность этой болѣзни больше чѣмъ сомнительна.

«Не говорите этого,» сказалъ монахъ. «Я знаю коротко это чудовище. Я видѣлъ его въ самомъ гнѣздѣ его, на Востокѣ. Но рука Вышняго есть единственная противъ него защита. Всѣ человѣческія предосторожности безполезны. На моихъ рукахъ умерло много

несчастныхъ жертвъ холеры Индійской, которой здѣшняя, какъ я слышу, есть только слабый призракъ; однако я живу еще, какъ видите.»

Больная между тѣмъ пришла въ чувство и открыла глаза.

«Какъ вы чувствуете себя?» спросилъ ее заботливо Лекки.

«Богъ да наградитъ васъ, благородные синьоры,» отвѣчала она, все еще слабымъ голосомъ. «Примите мою глубочайшую благодарность за ваши попеченія, и, ради Бога, перестаньте безпокоиться. Это ничего, это тотчасъ пройдетъ. Я всегда страдаю такъ на водѣ; вѣрно, таково мое сложеніе. Но теперь уже меня слишкомъ закачало. Въ послѣдній разъ, какъ я ѣхала на этомъ самомъ пароходѣ недѣли три назадъ, помните, синьоро капитано—припадокъ мой былъ силенъ, но все не такъ, какъ теперь.

«А!» вскричалъ шкиперъ, ударивъ себя по лбу: «такъ это вы, госпожа Миллеръ изъ Госпенталя? Да какъ же я не узналъ васъ? Какая это холера! Бѣдная женщина въ прошлый разъ чуть ли не была еще хуже. Это бываетъ и съ другими, не привычными къ качкѣ.... Vittoria!»

И онъ побѣжалъ вверхъ объявить радостную вѣсть пассажирамъ и снять съ нихъ карантинную опалу.

«Во всякомъ случаѣ, вамъ нужно спокойствіе, добрая госпожа,» сказалъ монахъ. «Постарайтесь немного заснуть; это лучшее лекарство отъ морской болѣзни, которой вашъ припадокъ родной братъ. Господа,» примолвилъ онъ, обратясь къ намъ: » присутствіе

наше будетъ только стѣснять и тревожить больную. Я одинъ останусь присмотрѣть за ней....»

Мы было хотѣли поупорствовать и остаться. Но шкиперъ перервалъ нашъ споръ, воротясь въ каюту.

«Синьоро Лекки,» сказалъ онъ. «Пароходъ подходитъ къ Локарно. Не угодно ли вамъ собираться? Да и вы, господа, кажется, ѣдете туда же!

«И такъ Сильвіо!» сказалъ Лекки, взглянувъ на монаха. «Ты подаришь меня этою ночью?

«Какъ же мы оставимъ эту бѣдную женщину?» сказалъ монахъ. «Въ Локарно есть госпиталь. Не взять ли ее съ собою?

«О, благодарю васъ еще тысячу разъ, благородные синьоры!» произнесла больная. «Но я увѣряю васъ, что это ничего. Притомъ я имѣю родственницу въ Магадино, гдѣ пароходъ остановится.

«Точно, точно,» сказалъ шкиперъ. «Я беру на свои руки госпожу Миллеръ, и доставлю ее въ сохранности въ домъ г-на почтмейстера, котораго жена ей кузина..

«Это бѣдная женщина,» продолжалъ онъ, поднимаясь съ нами изъ каюты на палубу. «Но она прежде не была такова: мужъ ея былъ ландаммановъ въ Альторфѣ, да умеръ, оставя ей только кучу негодныхъ хрусталей и камешковъ; видите, былъ ученый, Богъ съ нимъ!»

На пароходѣ звонилъ уже колокольчикъ. Лодка съ флагомъ подплывала изъ города, чтобы взять насъ. На дворѣ смеркалось.

«Ради Бога, кто этотъ монахъ?» спросилъ я Лекки, спускаясь за нимъ по лѣстницѣ парохода, между тѣмъ какъ монахъ шелъ впереди.

Онъ оборотился ко мнѣ и произнесъ тихо, но выразительно:

«Графъ Сильвіо Оспедалетто, умершій сынъ и наслѣдникъ благочестивой владѣтельницы виллы Боленгари!»

—

ИСПОВѢДЬ.

Домикъ Джюліо Лекки представлялъ образецъ мирной швейцарской простоты и кроткаго идиллическаго счастія. Хозяинъ былъ отецъ милаго семейства. При первомъ звукѣ колокольчика, жена какимъ-то инстинктомъ угадала прибытіе мужа; она бросилась сама отпирать двери и упала въ объятія Лекки. Дѣти повѣсились къ нему на шею.

Послѣ первыхъ изліяній радости, Джюліо обратился къ намъ.

«Вотъ мое семейство,» сказалъ онъ. «Не правда ли, что я счастливъ, какъ только можно быть счастливымъ на землѣ? — Катерина!» продолжалъ онъ, обращаясь къ женѣ: «это мои спутники и друзья. Вели приготовить имъ добрыя постели; они ночуютъ у насъ. Да похлопочи объ ужинѣ.»

Катерина Лекки привѣтствовала меня ласковою улыбкою. Но предъ монахомъ склонилась почтительно и подвела къ нему дѣтей для благословенія.

«Богъ да благословитъ васъ, милые ангелы!» сказалъ монахъ, прикасаясь обѣими руками къ ихъ кудрявымъ головкамъ. «Да, Лекки, ты счастливъ: ты, вѣрно, остался достойнымъ счастія...

«Ахъ, Силь....Ахъ, Фра Анастазіо, Фра Анастазіо!» воскликнулъ Лекки, поправивши свою обмолвку. «Когда мы вмѣстѣ сидѣли на скамьяхъ Падуанскаго университета и вырѣзывали каррикатуры на нашихъ высокопочтенныхъ профессоровъ, могли ль мы воображать, что нѣкогда встрѣтимся такимъ образомъ!

«На все воля Божія!» отвѣчалъ монахъ съ кротостію, ни сколько не тревожась воспоминаніемъ прошедшаго.

Ужинъ поспѣлъ скоро. Явно было, что Лекки не хотѣлъ измѣнять тайнѣ монаха передъ женою. Разговоръ нашъ обращался вокругъ предметовъ общихъ.

Когда Фра Анастазіо узналъ, что я Русскій, онъ сказалъ, смотря на меня дружески:

«Ваше отечество мнѣ извѣстно. Великая, благословенная Богомъ страна! Я прошелъ Русскую землю изъ конца въ конецъ. При гоненіи, постигшемъ нашу миссію въ Японіи, меня, послѣ долгаго заключенія, вывезли вонъ и бросили на одинъ изъ Курильскихъ Острововъ. Оттуда я перебрался въ Камчатку, и прошелъ все необозримое пространство Сибири. Наконецъ въ Одессѣ уже сѣлъ на корабль, который довезъ меня до Ливорно. Гостепріимство и радушіе, которыя я встрѣчалъ вездѣ, дѣлаютъ честь характеру великаго народа.»

Любопытны и трогательны были разсказы его объ этой миссіи, въ которой онъ находился цѣлыя семь лѣтъ, считая со времени отбытія изъ Европы. На дорогѣ въ Японію, онъ провелъ болѣе года въ Индіи, посѣщалъ также и Кантонъ; собственно въ Японіи жилъ около пяти лѣтъ, изъ которыхъ больше года сидѣлъ въ тюрьмѣ. Какъ ни старался онъ прикрывать свою повѣсть высоко-христіанскимъ смиреніемъ и братолюбіемъ, видно было, что онъ много пострадалъ въ Японіи, и что главною причиною гоненія, котораго онъ сдѣлался жертвою, были распри между самими миссіонерами, въ числѣ которыхъ находились два экс-іезуита, величайшіе интриганты.

Послѣ ужина, Лекки тотчасъ отпустилъ жену и дѣтей спать, сказавши, что онъ самъ останется еще съ нами, если только мы не утомились и не чувствуемъ нужды въ покоѣ. Разумѣется, я отвѣчалъ, что готовъ не спать всю ночь. Монахъ прибавилъ, кротко улыбаясь, что въ его званіи сонъ есть только необходимое зло.

«Caro Anastasio!» сказалъ Лекки, когда мы остались одни: «или нѣтъ — дозволь мнѣ лучше называть тебя по прежнему caro Sylvio! Ты простишь меня: я не выдержалъ твоей тайны. Russo знаетъ твое настоящее имя и прежнее званіе. Я не выдержалъ, потому, что мы, вмѣстѣ съ нимъ, сегодня утромъ, были у твоей матери!

«Если я желалъ соблюденія этой тайны,» отвѣчалъ монахъ, «то конечно не для себя. Я надѣюсь, что она въ добрыхъ рукахъ. Притомъ же,» прибавилъ

онъ съ прежнею тихою улыбкою: «signore Russo не можетъ сдѣлать изъ ней употребленія, какого бы я не желалъ, если бъ даже, по свойственной природѣ человѣческой слабости, и увлекся искушеніемъ языка. Вѣдь вы не долго намѣреваетесь пробыть въ здѣшней сторонѣ?» примолвилъ онъ, обратясь ко мнѣ.

Я кивнулъ головой, не смѣя оскорбиться добродушнымъ замѣчаніемъ монаха на счетъ моей скромности.

«Добрый мой Сильвіо!» продолжалъ Лекки, протягивая къ монаху руку: «судьба заставила тебя узнать жизнь и людей съ темной стороны. Я понимаю, чего это стоило твоей огненной душѣ.

«О нѣтъ!» отвѣчалъ Сильвіо. «Я видѣлъ всѣ стороны. По моему мнѣнію, мы даже напрасно различаемъ ихъ — одну называемъ темною, другую свѣтлою. Въ мірѣ нѣтъ ни свѣта, ни тьмы: все — одинъ тусклый полумракъ! — Свѣтъ только тамъ,» произнесъ онъ торжественно, указывая на небо. «А отъ тьмы да помилуетъ насъ Богъ по смерти!

«Но мы — не дальше какъ сегодня утромъ — были въ царствѣ тьмы, которая не уступитъ адской!» вскричалъ Лекки, увлекаясь порывомъ негодованія.

«Ты ошибаешься, Джюліо! Твоя дружба ко мнѣ ослѣпляетъ тебя. Никто лучше самого меня не можетъ знать тайной исторіи моего семейства. Я считаю теперь обязанностію ввѣрить ее тебѣ: ты узнаешь мою повѣсть...»

Чувствуя, что довѣренность Сильвіо не можетъ простираться на меня, я всталъ тотчасъ, чтобы удалиться. Но монахъ удержалъ меня.

«Вы не будете здѣсь лишнимъ,» сказалъ онъ. «Если кто выйдетъ нечистымъ изъ моего повѣствованія, такъ это я. Будьте и вы свидѣтелемъ моей искренной исповѣди. Она будетъ имѣть для васъ интересъ наставительный: вы увидите изъ ней, какъ то, что мы, по нашимъ мірскимъ понятіямъ, считаемъ добродѣтелью, носитъ въ себѣ густую примѣсь зла, и какъ часто, осуждая дѣянія людей, мы только клевещемъ на Провидѣніе, Которое все направляетъ къ великой развязкѣ небеснаго, единаго, истиннаго блаженства смертныхъ.»

Я сѣлъ опять. Мы оба придвинулись къ столу и превратились въ слухъ. Монахъ началъ:

«Ты такъ хорошо помнишь наше пребываніе въ Падуѣ, любезный мой Джюліо! Помнишь ли однако, что, при всей дружбѣ, которую мы почувствовали другъ къ другу съ перваго сближенія, я всегда избѣгалъ говорить съ тобою о моей фамиліи? Это было слѣдствіе первыхъ впечатлѣній моего дѣтства, изъ которыхъ послѣдовательною цѣпью развилась вся моя судьба. О, какъ важенъ этотъ возрастъ жизни!

Я былъ старшій, первородный сынъ моихъ родителей. Отецъ мой, послѣдній изъ древней и знаменитой, но вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ пришедшей въ упадокъ, фамиліи графовъ Оспедалетто, уже въ преклонныхъ лѣтахъ женился на моей матери, наслѣдницѣ одного богатаго Венеціянскаго дома, не записаннаго однако въ Золотой Книгѣ. Онъ былъ человѣкъ добрый, но отъ природы слабый, преданный глубокой, безпредѣльной набожности, при отсутствіи

всѣхъ другихъ страстей. Напротивъ мать моя одарена была если не сильнымъ, то пламеннымъ, безпокойнымъ, мужески - дѣятельнымъ характеромъ. По этому ей легко было сдѣлаться полновластною госпожею дома.

Рожденіе мое стоило большихъ страданій матери. Отецъ мой, любившій ее всею любовью, какою только могъ, далъ обѣтъ Мадоннѣ и Св. Франческо посвятить Богу плодъ, которымъ она разрѣшится. Такимъ образомъ, еще въ утробѣ матери, я уже обреченъ былъ въ то званіе, которое ношу теперь.

Черезъ годъ, мать моя родила другаго сына. Это дало отцу моему бодрость настоять на исполненіе своего обѣта, съ которымъ мать сначала не соглашалась.

Чтобы приготовить меня къ будущему назначенію, рѣшились воспитывать меня сообразно съ нимъ. Мнѣ еще было только два года съ половиною, какъ отецъ взялъ ко мнѣ въ гувернеры молодаго семинариста Анзельмо Канальетти.»

Я и Лекки обмѣнялись взглядами.

«Вы, вѣрно, его видѣли?» спросилъ Сильвіо. «Онъ живъ еще?»

Лекки кивнулъ головою.

«Этотъ Анзельмо былъ низкаго происхожденія, безъ всякихъ средствъ и значенія въ свѣтѣ. Отецъ выбралъ его по рекомендаціи Миланскаго Архіепископа, у котораго дядя Анзельмо, старый монахъ Ордена Миноритовъ, былъ камераріемъ. Анзельмо вступилъ въ нашъ домъ прямо изъ семинаріи. Онъ былъ еще юноша.

Когда я сталъ помнить себя, ему было какихъ нибудь двадцать лѣтъ.

Не смотря на свою молодость и неопытность, Анзельмо умѣлъ искусно привязать меня къ себѣ. Помню, что я любилъ его страстно. Кажется, что я родился въ мать. По крайней мѣрѣ съ самыхъ первыхъ лѣтъ я оказался живымъ, рѣзвымъ, безпокойнымъ, и въ добавокъ еще самымъ упрямымъ ребенкомъ. Отецъ вовсе не занимался нами. Мать, иногда чрезмѣрно снисходительная, въ другихъ случаяхъ теряла терпѣніе и дѣлалась уже чрезмѣрно строгою. Анзельмо, напротивъ, баловалъ меня: онъ дозволялъ мнѣ рѣзвиться и дурачиться, скрывалъ, сколько могъ, всѣ мои шалости, и когда онѣ открывались, былъ моимъ ходатаемъ и заступникомъ передъ матерью. Разумѣется, это не могло не дѣйствовать на меня. Я обращался съ нимъ очень неуважительно: ѣздилъ на немъ верхомъ, дралъ его за уши и за волосы, плевалъ ему въ лице; но тѣмъ не менѣе любилъ его — любилъ конечно ужъ больше отца, даже чуть не больше матери.

Вы уже негодуете на моего наставника; считаете его подлецомъ, развратившимъ мое дѣтство. Удержитесь отъ осужденія. Я и самъ, въ послѣдствіи, не разъ думалъ то же. Однако я ошибался. Такое обращеніе Анзельмо имѣло для меня самыя благодѣтельныя послѣдствія. Будь онъ суровымъ, неумолимымъ педантомъ, я бы закоснѣлъ въ моемъ врожденномъ упрямствѣ; сердце мое зачерствѣло бы, ожесточилось, не успѣвъ развернуться. Благодаря баловству Анзельмо, я не чувствовалъ стѣсненія, и упрямство мое, не встрѣ-

чая раздражающихъ препятствій, само собою смягчилось. То же самое было причиною, что я не пріучился скрывать своихъ чувствъ, принуждать себя и лицемѣрить изъ страха наказанія. Я не боялся никого, даже и матери, видя изъ безпрестанныхъ опытовъ, что представительство Анзельмо обезоруживало всегда гнѣвъ ея.

Такъ достигъ я семилѣтняго возраста. Мы жили вообще очень уединенно. Въ разсужденіи отца, это было неудивительно: онъ былъ весь погруженъ въ молитвы и бесѣды съ своимъ духовникомъ. Но мать — женщина молодая, богатая, украшенная знаменитымъ именемъ, и вовсе не чуждая страстей — мать моя представляла, конечно, необыкновенное явленіе. Она была къ свѣту чуть ли не равнодушнѣе графа. Она рѣдко выѣзжала. Кругъ знакомства ея былъ самый ограниченный. Большую часть времени мы жили въ деревнѣ, на берегу Комскаго Озера, гдѣ вовсе не знакомились съ сосѣдями. Мать моя жила только для себя и для своего дома.

Впослѣдствіи, злой духъ нашептывалъ мнѣ, что это удаленіе отъ свѣта было въ ней слѣдствіемъ оскорбленной гордости. Въ самомъ дѣлѣ, графиня имѣла доступъ въ высшій аристократическій кругъ только по имени мужа. Очень естественно, что ей дали почувствовать это съ перваго шага; очень естественно, что это чувство возмутило ея душу. Если бъ это было и правда, поведеніе ея все бы не заслуживало осужденія; и по мірской нравственности, оно уважительнѣе той низости, съ какою другіе, занесенные слу-

чаемъ выше своего состоянія, безмолвно глотаютъ оказываемое имъ пренебреженіе. Но отшельничество графини могло имѣть вовсе другія причины. Она получила воспитаніе, которое нисколько не приготовило ея къ большому свѣту. Вступя въ него, она увидѣла себя въ атмосферѣ совершенно для нея чужой, тягостной, удушливой. Умъ ея былъ столько развитъ, что она поняла всю мелочность и ничтожность оковъ, называемыхъ приличіями большаго свѣта. Ей показалось тяжко передѣлывать себя, чтобы носить эти кандалы, не путаясь и не гремя ими. Она бѣжала, чтобы не истощить жизни своей въ трудной, и можетъ быть, безполезной борьбѣ съ собою. Она сдѣлала то, что, конечно въ другихъ отношеніяхъ и съ другою, высшею цѣлію, внушаетъ намъ голосъ высшей, неземной нравственности: « fugi, tace, quiesce! »

Я сказалъ, что мнѣ было уже семь лѣтъ. Способности мои быстро развивались. Въ семь лѣтъ я не только умѣлъ читать и писать, но, подъ руководствомъ Анзельмо, прошелъ Священную Исторію и Катихизисъ, и зналъ такъ твердо, что привелъ въ удивленіе достопочтеннаго Архіепископа Миланскаго, когда онъ конфирмовалъ меня. При этомъ случаѣ отецъ мой такъ былъ тронутъ лестнымъ отзывомъ архипастыря, что заплакалъ отъ умиленія и въ первый разъ прижалъ меня съ нѣжностью къ родительскому сердцу. Графиня радовалась не менѣе. Это заронило въ мою душу сѣмя гордости, тѣмъ болѣе, что младшій братъ мой, назначенный быть представителемъ фамиліи, росъ вялымъ, болѣзненнымъ и совершенно бездарнымъ мальчикомъ.

Вскорѣ послѣ того, я простудился, катаясь слишкомъ поздно вечеромъ по Комскому Озеру въ сырую, осеннюю погоду, и схватилъ жестокую горячку. Жизнь моя была въ опасности. Отецъ мой очень скорбѣлъ и безпрестанно молился обо мнѣ. Но мать и Анзельмо не отходили отъ моей постели, проводили безъ сна ночи въ продолженіе всего періода болѣзни. Это я знаю не по слуху — это я видѣлъ самъ, когда наконецъ, по неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія, возванъ былъ къ жизни и пришелъ въ память.

Въ одну изъ такихъ ночей.... Я уже начиналъ оправляться, но все еще былъ слабъ.... Въ одну изъ такихъ ночей, графиня и Анзельмо сидѣли по обыкновенію въ моей комнатѣ. Время было за-полночь. Лампа, прикрытая зонтикомъ, едва проливала дрожащій полу-свѣтъ. Они разговаривали тихо, чтобы не разбудить меня. Но я не спалъ; я только лежалъ, закрывши глаза. Отъ нечего дѣлать, я невольно вслушался въ ихъ разговоръ.

«Этотъ роковой обѣтъ сокрушаетъ меня,» говорила графиня. «Антоніо — (такъ звали младшаго моего брата) — Антоніо есть мое несчастіе, казнь Божія? — Что изъ него будетъ? По любви къ этому злополучному ребенку, я иногда имѣю жестокость желать, чтобъ Господь взялъ его съ этого свѣта, гдѣ онъ будетъ только посмѣшищемъ людей, позоромъ и безчестіемъ своего имени. Тогда, можетъ быть, и графъ согласится возвратить Сильвіо къ жизни, отъ которой бѣдный ребенокъ отчужденъ его обѣтомъ. Эта надежда только и остается мнѣ: она еще украшаетъ мое без-

цвѣтное бытіе. Сильвіо, котораго Провидѣніе возвратило моимъ отчаяннымъ мольбамъ, Сильвіо оправдаетъ мечты, въ которыхъ я заключила все мое счастіе. Ахъ, Анзельмо! Сколько я вамъ обязана! Какъ вы его любите, какъ печетесь объ немъ! Если бъ я только знала, чѣмъ могу наградить васъ, какъ могу изъявить вамъ всю безпредѣльную полноту благодарности, наполняющей мое сердце....

«Графиня,» отвѣчалъ Анзельмо съ жаромъ: «это чувство есть уже высочайшая награда, о какой только дозволено мечтать мнѣ. Я отдаю вамъ всю жизнь мою; если вы принимаете благосклонно эту дань....

«Нѣтъ, Анзельмо!» перервала мать моя. «Если этого довольно для васъ, то для меня слишкомъ мало. Чѣмъ безпредѣльнѣе ваше самопожертвованіе для насъ, тѣмъ безпредѣльнѣе должна быть наша признательность.... По несчастію для насъ, вы не имѣете нужды ни въ чемъ, что бы мы могли для васъ сдѣлать. Вы посвящаете себя Богу. На землѣ ничто не можетъ имѣть для васъ прелести...

«О, графиня, пощадите меня!» произнесъ Анзельмо задыхающимся голосомъ. «Вы возносите меня на высоту ангеловъ — червя, пресмыкающагося во прахѣ!... Графиня!» продолжалъ онъ изступленно: «не оскверняйте вашихъ похвалъ, осыпая ими преступнаго грѣшника.

«Это ужъ чрезмѣрное смиреніе, которое осуждается больше гордости,» отвѣчала графиня.... «Или.... можетъ быть.... Послушай, добрый мой Анзельмо,» продолжала она съ нѣжностью: «я давно замѣчаю въ тебѣ

особенную перемѣну. Тебя точитъ какая-то тайная грусть. Будь откровененъ со мною, какъ съ матерью: я люблю тебя, точно какъ сына. Если ты хочешь сдѣлать себѣ дорогу, если желаешь пастырскаго жезла, митры епископа, или шляпы кардинала — это желанія ни сколько не предосудительныя. Твои таланты даютъ тебѣ право искать возвышенія. Ты будешь красотою церкви. Если такъ, то наши средства всѣ въ твоемъ распоряженіи. Я ничего не пожалѣю....»

Анзельмо не отвѣчалъ ни слова. Я открылъ глаза и увидѣлъ, что онъ сидѣлъ, опустя на грудь голову.

«Или ты охладѣлъ къ пути, который выбралъ?» продолжала мать моя еще нѣжнѣе. «Что жъ? Воротиться еще не поздно! Ты не произносилъ вѣчныхъ обѣтовъ — и не произноси ихъ. Богъ не требуетъ жертвъ принужденныхъ. Ступай въ свѣтъ! Здѣсь мы можемъ еще болѣе помочь тебѣ. Какое званіе хотѣлъ бы ты себѣ выбрать? У насъ достанетъ средствъ пріобрѣсть тебѣ все.»

Грудь Анзельмо тяжело колыхалась. Онъ ломалъ себѣ руки. Графиня смотрѣла на него съ изумленіемъ.

«Ужъ не любишь ли ты?» сказала она наконецъ.

Анзельмо сплеснулъ руками, и закрылъ себѣ лице.

«Бѣдный юноша! Такъ вотъ твоя тайна!... Но отъ чего жъ такое отчаяніе? Если любовь твоя имѣетъ препятствія, то мы отстранимъ ихъ, чего бы то ни стоило.... Или ты стыдишься этого чувства? Такъ стыдись своего стыда! Любовь есть рай души, рай небеснаго, божественнаго блаженства. Безъ любви — не жизнь, но адъ — адъ со всѣми его ужасами, со

всѣмъ мракомъ, со всѣми преступленіями и муками, съ вѣковѣчнымъ воплемъ и скрежетомъ....»

Анзельмо глухо рыдалъ, опрокинувъ назадъ голову.

«Или ты такъ несчастливъ, что любишь безъ надежды взаимности?...»

Произнеся эти слова, графиня встала и, подошедши къ Анзельмо, взяля его за руки.

«Отвѣчай же мнѣ.... Открой свою душу, добрый мой Ансельмо.... Бремя, раздѣленное пополамъ, становится вдвое легче.... Ты долженъ имѣть ко мнѣ довѣренность.... Ты знаешь, что я люблю тебя....

«О, повторите, повторите еще разъ это слово,» прошепталъ дико Анзельмо, и бросился къ ногамъ графини. «Повторите и растопчите ногами презрѣнное, гнусное, неблагодарное твореніе, осмѣлившееся оскорбить преступнымъ чувствомъ ту....»

Графиня въ ужасѣ отскочила назадъ, но онъ волокся за ней, не выпуская ея рукъ, осыпая ихъ бѣшеными поцѣлуями.

«Анзельмо! Анзельмо!» произнесла она задыхающимся голосомъ. «Пусти меня! Что ты дѣлаешь, безумный ребенокъ?....»

Въ это мгновеніе я не могъ выдержать и испустилъ громкій, пронзительный крикъ. Анзельмо выпустилъ руки графини, и самъ вскочилъ на ноги. Оба они подбѣжали къ моей постели. Лицо матери моей горѣло мрачнымъ пламенемъ. Анзельмо былъ блѣденъ какъ мертвецъ.

Эта сцена, со всѣми своими подробностями, такъ глубоко врѣзалась въ моей душѣ, что вотъ — прошло

уже двадцать пять лѣтъ — а я пересказываю ее вамъ слово въ слово....»

Монахъ остановился на нѣсколько минутъ.

«Вы угадали смыслъ этой сцены,» продолжалъ онъ. «Его и не трудно угадать. Но тогда мнѣ было только семь лѣтъ. Душа моя, не смотря на преждевременное развитіе, находилась еще въ эдемѣ невинности. Я ничего не понималъ изъ слышаннаго мною разговора. Только изъ послѣдняго движенія графини я видѣлъ, что она испугалась Анзельмо, и самъ испугался. Но отъ чего всѣ эти слова врѣзались такъ глубоко въ моей дѣтской памяти? Это принадлежитъ къ психическимъ явленіямъ, составляющимъ тайну нашей природы. Глубока евангельская притча, что врагъ человѣкъ тайно сѣетъ плевелы на доброй нивѣ, которыя укореняются крѣпче благаго сѣмени.

Испугъ мой былъ такъ великъ, что я, обнаруживъ его внезапнымъ крикомъ, въ ту жъ минуту обезпамятѣлъ. Когда я опять началъ приходить въ чувство и открылъ глаза, мать сидѣла у моей постели и горько плакала. Я прошепталъ болѣзненно:

«Анзельмо! Анзельмо!

«Его нѣтъ, дитя мое,» сказала графиня. «Онъ ушелъ спать. Что съ тобой, мой дружокъ? Господь помилуетъ тебя!»

И она перекрестила меня, творя молитву.

Я понялъ, что графиня хотѣла скрыть произшедшее. Это я очень хорошо понялъ, почему закрылъ опять глаза, не отвѣчая ни слова. Слезы матери, про-

должавшей сидѣть надо мной, превратились въ тихія рыданія. Я ихъ явственно слышалъ.

Голова моя пустилась въ дѣтскія соображенія. Я остановился на томъ, что Анзельмо былъ причиною слезъ и рыданій графини. Восклицаніе ея объ раѣ и адѣ живѣе всего поразило меня; рай и адъ были мнѣ извѣстны изъ Священной Исторіи и Катихизиса. Я вспомнилъ объ искушеніи первой жены зміемъ, и воображеніе мое связало священную повѣсть съ таинственнымъ происшествіемъ. Анзельмо былъ коварный змѣй, увлекавшій мать мою въ адъ, изъ рая!

Я для того распространился объ этой сценѣ, что впечатлѣніе, которое она оставила во мнѣ, имѣло рѣшительное вліяніе на всю мою жизнь. Съ тѣхъ поръ я возненавидѣлъ Анзельмо всѣми силами моей пылкой души. Этой ненависти я и не старался скрывать, хотя тщательно таилъ ея причину. Я дѣлалъ ему всѣ возможныя для ребенка оскорбленія, пересталъ совершенно его слушаться, не училъ его уроковъ, нарочно смѣялся надъ тѣмъ, къ чему онъ внушалъ уваженіе, и изъявлялъ уваженіе къ тому, чѣмъ онъ гнушался. Терпѣніе Анзельмо было желѣзное: онъ переносилъ хладнокровно все, повидимому не замѣчая моей дѣтской злобы, или считая ее продолженіемъ ребяческихъ капризовъ.

Любовь моя тогда вся сосредоточивалась на матери. Чтобы больше бѣсить моего наставника, я, по расчету дѣтской хитрости, пріучилъ себя слушаться во всемъ графиню. Малѣйшее слово ея было для меня закономъ, тогда, какъ ласки и увѣщанія, которыя

позволялъ себѣ иногда Анзельмо, только что давали мнѣ поводъ къ большему ожесточенію. Я имѣлъ въ виду и то, что, поступая такимъ образомъ, покажу безполезность Анзельмо для моего воспитанія, и тѣмъ, можетъ быть, выживу его изъ дому.

Однако графиня обращалась съ нимъ съ прежнею пріязнію и довѣренностію. Поведеніе мое съ Анзельмо, кажется, не возбуждало въ ней никакихъ подозрѣній, но крайне огорчало ее. Когда я сдѣлался больше, она старалась убѣжденіями возбудить во мнѣ признательность, любовь и покорность къ наставнику, который посвятилъ образованію моему всю свою жизнь. Я молчалъ, но, при каждой подобной проповѣди, мысленно повторялъ клятву ненавидѣть еще болѣе змѣя, гнѣздившагося въ раю нашего семейства.

Вы думаете, что это было безсознательное чутье ужасной истины; что я инстинктомъ угадывалъ преступленіе, которое вамъ кажется несомнѣннымъ. Было время, что и я самъ точно также объяснялъ мою ненависть къ Анзельмо. Но я давно проклялъ это время. Истина была гораздо проще и чище. Молодой человѣкъ, во цвѣтѣ лѣтъ, въ пылу страстей, удаленный отъ свѣта и заключенный въ очарованномъ кругу прекрасной, пламенной, ласкающей его женщины, естественно могъ забыться. Графиня простила ему эту слабость, этотъ припадокъ съумасшествія; и таковы женщины: она не только не окорбилась минутой безумія, котораго сама была причиною, но сохранила нѣжное сочувствіе матери къ тому, кого не могла осчастливить другою любовью.... Не такъ ли?...»

Сильвіо посмотрѣлъ на насъ внимательно, желая отыскать въ глазахъ нашихъ выраженія согласія. Мы хранили глубокое молчаніе.

«Пробѣгаю быстро еще четыре года моей жизни. Когда мнѣ было двѣнадцать лѣтъ, Антоніо, братъ мой, умеръ въ сухоткѣ. Это измѣнило мое назначеніе. Потерявъ надежду имѣть еще дѣтей (графиня уже не рожала болѣе) отецъ мой нашелся принужденнымъ уступить настоятельнымъ, неотступнымъ просьбамъ моей матери. Архіепископъ торжественно разрѣшилъ его отъ обѣта, обязавъ сдѣлать значительное приношеніе въ пользу церкви. Воспитаніе мое перемѣнилось. Ко мнѣ назвали кучу учителей, долженствовавшихъ образовать изъ меня достойнаго представителя фамиліи графовъ Оспедалетто.

Анзельмо не имѣлъ уже прежнихъ ко мнѣ отношеній. Мнѣ дали другихъ гувернеровъ: Француза и Нѣмца. Но онъ все оставался въ нашемъ домѣ, на прежней ногѣ, считаясь главнымъ надзирателемъ моего воспитанія.

Когда мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, домашнее воспитаніе мое было кончено. Но меня медлили отсылать въ университетъ, опасаясь моей молодости и огненнаго характера. Мать хотѣла сама переселиться въ университетскій городъ, чтобы имѣть меня передъ глазами. Но графъ ни за что не хотѣлъ разставаться съ мѣстами, къ которымъ привыкъ. Графиня проговаривала было послать со мною Анзельмо. Онъ самъ отклонилъ эту мысль, говоря, что университетъ долженъ служить для меня приготовленіемъ къ жизни, что мнѣ

надо пріучаться дѣйствовать самимъ собою, и что тѣхъ правилъ, которыя внушены мнѣ, достаточно для успокоенія материнскихъ опасеній во время разлуки со мною.

Осьмнадцати лѣтъ я пріѣхалъ въ Падуу, гдѣ нашелъ тебя, мой добрый Джюліо. Что вспоминать про это время, которое такъ живо сохраняется въ твоей душѣ? Юность! юность! не даромъ называютъ тебя золотымъ вѣкомъ жизни.

Но моей душѣ не суждено было насладиться этимъ золотымъ вѣкомъ, такъ какъ наслаждаются другіе. Въ чашу, долженствовавшую клубиться только свѣтлыми, благоуханными восторгами, для меня уже подсыпано было горькаго, смертоноснаго зелья. Въ университетѣ я вкусилъ отъ древа познанія добра и зла, узналъ жизнь и людей съ той стороны, которая называется темною. Глаза мои просвѣтлѣли, но душа омрачилась. Перебросившись изъ крайности въ крайность, я увѣровалъ во всемогущество зла на землѣ. И мать моя сдѣлалась первою жертвою этой мрачной вѣры.

Вотъ почему, не имѣя отъ тебя ничего завѣтнаго, Джюліо, я не говорилъ съ тобой никогда о моемъ семействѣ; вотъ отъ чего лице мое покрывалось смертною блѣдностью, зубы стучали какъ въ лихорадкѣ, когда ты, бывало, прочитавъ мнѣ письма своихъ добрыхъ родителей, спрашивалъ меня съ нѣжностію: «Ну, а тебѣ что пишутъ.» Когда я получалъ письма моей матери (отецъ никогда почти не писалъ ко мнѣ) они жгли руки мои острымъ пламенемъ, отъ нихъ вѣяло сѣрнымъ запахомъ ада. Не рѣдко я бросалъ ихъ въ огонь, не читая....

Въ теченіе двухъ лѣтъ я не ѣздилъ ни разу домой, какъ ты помнишь. Всѣ вакаціальные дни я проводилъ въ Венеціи, или въ другихъ окрестностяхъ Падуи. Графиню извѣщалъ я обыкновенно, что не хочу прерывать моего ученія разсѣяніемъ, что я посвящаю свободное время ученымъ экскурсіямъ, и т. п.

А она писала ко мнѣ всегда съ такою горячею нѣжностію; журила меня, что я не хочу ее порадовать свиданіемъ; говорила, что сама бы непремѣнно пріѣхала въ Падуу, если бы не здоровье графа, которое со дня на день становилось слабѣе. Но по несчастью, въ каждомъ письмѣ ея было нѣсколько словъ объ Анзельмо; онъ то кланялся мнѣ, то изъявлялъ радость о моихъ успѣхахъ, слава которыхъ доходила до него; то дѣлалъ мнѣ нѣкоторыя порученія къ разнымъ духовнымъ особамъ въ Падуѣ, которые были ему товарищами или знакомыми.... И я рвалъ эти письма, бросалъ на полъ, и въ бѣшеномъ остервененіи топталъ ногами....

По истеченіи двухъ лѣтъ, графиня увѣдомила меня, что отецъ мой находится въ крайней степени изнеможенія, что жизнь его въ опасности, что онъ желаетъ видѣть и благословить меня. Въ этомъ письмѣ, кажется, ни слова не было объ Анзельмо. Я собрался въ путь и простился съ тобой. Да! и я не думалъ тогда, Джюліо, что чрезъ нѣсколько лѣтъ встрѣчусь съ тобой такимъ образомъ....

Я нашелъ графа точно при дверяхъ гроба. Мать заключила меня въ свои объятія, и долго обливала лице мое горячими, огненными слезами. Она сама

изнурилась вся, ходя за умирающимъ старикомъ. Анзельмо былъ тутъ, но онъ рѣдко показывался: онъ больше сидѣлъ уединенно въ своей комнатѣ; лице его было всегда спокойно, но мрачно.

Раздѣливъ попеченія моей матери объ издыхающемъ отцѣ, я до того предался имъ, что червь, грызущій мое сердце, почти извелся, или по крайней мѣрѣ глубоко притаился. При видѣ безпредѣльнаго самоотверженія графини, которая рѣшительно не отходила отъ постели больнаго, спала краткимъ, прерывистымъ сномъ въ его комнатѣ, и только развлекалась однимъ тѣмъ чувствомъ, чтобы я не слишкомъ изнурялъ себя, я почувствовалъ, что любовь и довѣренность къ ней снова возраждались въ моей душѣ. Она казалась мнѣ ангеломъ добра, тѣмъ болѣе, что я давно уже рѣшилъ, что она не могла любить своего мужа иначе, какъ только по чувству долга.

Такъ прошло недѣли двѣ. Графиня просила меня, наконецъ потребовала, чтобы я непремѣнно каждый день выходилъ освѣжать себя небольшою прогулкою на чистомъ воздухѣ. Я не смѣлъ противиться ея желанію.

Разъ, утомленный цѣлыми сутками, проведенными безъ сна по случаю усилившейся слабости въ больномъ, я вышелъ вечеромъ, закутавшись въ плащъ. Это былъ послѣдній день карновальне, то есть, трехъ лишнихъ дней, которые, по обряду Миланскому, прибавляются къ обыкновенному періоду карнавала. Въ эти дни Миланъ кипитъ народомъ; множество наѣзжаетъ изъ другихъ городовъ Италіи продолжить

еще тремя днями карновальное буйство. Толпы, наполнявшія улицы, увлекли меня на площадь Домо. Чтобы перевесть духъ, я остановился у входа одной кофейни. Маски и не маски лились мимо меня шумнымъ, пестрымъ, фантастическимъ потокомъ.

«Здравствуйте, молодой графъ Оспедалетто!» сказала вдругъ одна растрепанная маска, ударивъ меня по плечу. Она говорила, по обыкновенію, поддѣланнымъ голосомъ.

«Что смотрите такою длинною, великопостною фигурою?» прибавила другая маска, державшаяся за руку первой.

Мнѣ вовсе было не до шутокъ. Я посмотрѣлъ на нихъ хладнокровно и посторонился, чтобы дать имъ дорогу.

«Да вѣдь вы скоро постригаетесь въ монахи!» продолжала первая маска. «Счастливый путь! Не забывайте въ молитвахъ насъ, грѣшниковъ. А вѣдь весело и въ нашемъ мірѣ—не правда ли? Ну-ка, прогуляемся вмѣстѣ, хоть на заговѣнье.

«Что ты соблазняешь его!» прервала съ хохотомъ другая маска. «Пожалуй, онъ и повихнется. Тогда кто жъ займетъ убылое мѣсто. Вѣдь Анзельмо Канальетти дожидается только смерти стараго графа. Надо жъ, чтобъ фамилія Оспедалетто заплатила за такое важное похищеніе.

«Maledetti!» вскричалъ я въ бѣшенствѣ, и кинулся задушить наглецовъ.

Но они скрылись уже въ волнующемся потокѣ.

Вѣроятно, это были какіе нибудь сорванцы, вздy-

мавшіе помистифировать меня, да только пересолившіе черезъ чуръ свою злобную шутку.

Но тогда я не могъ разсуждать хладнокровно. Земля тряслась подъ моими ногами. Голова кружилась; духъ занимался.

«И такъ, безчестіе ея сдѣлалось уже сказкою города!» проревѣлъ я глухо, и помчался домой, опрокидывая все и всѣхъ, какъ съумасшедшій.

Неистово вбѣжалъ я въ комнату графа. Глаза мои горѣли. Колѣна тряслись. Слова проклятія горѣли на засохшихъ губахъ.

Увы!....

Отецъ мой кончался на рукахъ матери. Въ комнатѣ господствовало священное благоговѣніе. Слуги стояли въ дверяхъ на колѣняхъ, опустивъ безмолвно головы. Духовникъ умирающаго подносилъ къ судорожно трепещущимъ губамъ его Распятіе, произнося напутственныя въ вѣчность молитвы тихимъ, торжественнымъ голосомъ.

Я бросился къ графу, преклонилъ колѣна и прижалъ къ устамъ его леденѣющую руку. Старикъ вздрогнулъ, взглянулъ на меня мутными, отстоявшимися почти глазами, и, казалось, узналъ меня. По крайней мѣрѣ, онъ опустилъ другую свою руку ко мнѣ на голову, усиливаясь пошевелить губами, потомъ толкнулъ меня къ матери, какъ будто желая выразить, что отнынѣ я долженъ принадлежать ей одной; потомъ поднялъ глаза къ небу.... И все кончилось....

Истощенныя силы графини не могли выдержать болѣе. Ее отнесли замертво въ свою комнату.

Такъ какъ у насъ не было ни близкихъ родственниковъ, ни короткихъ друзей, то я долженъ былъ взять на себя всѣ распоряженія похоронъ. Графиня была такъ слаба, что не могла выходить изъ комнаты, и отказалась даже видѣть меня.

Анзельмо приходилъ только разъ поклониться тѣлу усопшаго. Но я узналъ, что и въ день смерти отца, и на другой день онъ имѣлъ длинныя ночныя аудіенціи у графини. Слуги ненавидѣли его, какъ лишняго человѣка въ домѣ, и также подозрѣвали. Они хотѣли услужить мнѣ своими пересказами.

На третій день тѣло графа должно было отправить въ Монастырь Сан-Мартино, неподалеку отъ нашей Комской деревни, гдѣ онъ желалъ быть погребеннымъ. Графиня прислала сказать, что она поручаетъ мнѣ одному проводить его, сама все еще не имѣя силъ; но что вмѣстѣ съ тѣмъ умоляетъ меня воротиться скорѣе, для облегченія ея грусти моимъ присутствіемъ. Я распорядился вывезть тѣло изъ города вечеромъ.

Въ назначенный часъ все было готово къ отъѣзду. Посылаю за нашимъ капелланомъ, бывшимъ духовникомъ отца, чтобы онъ пришелъ сотворить послѣднюю молитву надъ усопшимъ. Отвѣчаютъ, что онъ оставилъ нашъ домъ еще сегодня утромъ. Не пускаясь въ изслѣдованія, почему, я было приказывалъ позвать священника ближайшей церкви, какъ вдругъ явился Анзельмо. Онъ былъ въ полномъ священническомъ облаченіи.

Видъ его пробудилъ все мое бѣшенство.

«Что значитъ этотъ святотатскій поступокъ?» сказалъ я, обратясь къ нему съ скрежещущими зубами.

«Въ качествѣ капеллана дома вашего сіятельства,» отвѣчалъ Анзельмо тихо, но твердо: «я являюсь воздать послѣдній долгъ усопшему графу.

«Вы.... нашъ капелланъ!....

«Въ три послѣдніе дня,» продолжалъ онъ съ прежнею тишиною: «недостойный Анзельмо Канальетти удостоился принять ординацію. Воля графини, вашей матери, назначила меня въ преемники достопочтенному падре Стефано, изъявившему желаніе окончить остатокъ дней своихъ въ уединеніи и покоѣ.»

Я не могъ произнести ни слова отъ изумленія. Анзельмо съ приличными обрядами возгласилъ «De profundis».

Дорогою, я имѣлъ время размыслить объ этомъ внезапномъ превращеніи. Переходя отъ заключенія къ заключенію, отъ догадки къ догадкѣ, я остановился наконецъ на томъ, что устыдился своихъ прежнихъ подозрѣній и призналъ себя глубоко виновнымъ предъ матерью и передъ самимъ Анзельмо. Въ ту минуту, какъ графиня сдѣлалась совершенно свободною, онъ произнесъ вѣчный, неразрѣшимый обѣтъ, положившій непроходимую пропасть между имъ и свѣтомъ!.... Раскаяніе терзало мою душу, и я клялся внутренно загладить всею моей жизнью прежнее преступное поведеніе.

Графиня не хотѣла, чтобы я воротился въ Падуу оканчивать курсъ наукъ. Она считала слишкомъ достаточнымъ мое книжное образованіе. Время было пе-

рейти къ живой книгѣ опыта. И тутъ я увидѣлъ, какъ она любила меня. Двадцать лѣтъ проведши въ уединеніи, она пожертвовала мнѣ своимъ отвращеніемъ отъ свѣта. Приличія не дозволяли ни ей, ни мнѣ пуститься въ общество, до истеченія времени траура. Она рѣшилась употребить это время на приготовленіе къ предпринимаемой перемѣнѣ жизни. По прошествіи первыхъ недѣль глубокаго траура, домъ нашъ отворился для пріема посѣтителей. Говорю посѣтителей, но не посѣтительницъ. Общество, скоро образовавшееся вокругъ графини, почти исключительно состояло изъ мужчинъ; женщинъ ѣздило къ намъ очень немного, и то все пожилыя, набожныя богомолки, съ которыми не столько графиня, сколько покойный графъ всегда поддерживалъ знакомство. Мужской кругъ нашъ сначала составляли духовные, тоже по старой дружбѣ съ отцомъ; потомъ другіе, большею частью не старые, даже очень молодые люди, преимущественно военные или литераторы, безъ всякаго различія чиновъ и званій. Тутъ были и сыновья лучшихъ дворянскихъ фамилій Милана, и выходцы изъ низшихъ классовъ общества, составившіе себѣ репутацію одними талантами. Графиня принимала ихъ всѣхъ равно ласково и обязательно.

Вскорѣ я увидѣлъ себя въ новой атмосферѣ идей. Предметы, о которыхъ преимущественно разсуждали въ салонѣ графини, были политическіе, которыми я до тѣхъ поръ, по природному расположенію къ созерцательности, занимался очень мало. Мать моя, чего я прежде никакъ не подозрѣвалъ, оказалась такъ

знакомою съ этой частью, что всѣ слушали ее съ удивленіемъ и благоговѣніемъ; она имѣла обширную начитанность и самые смѣлые взгляды. Анзельмо тоже не былъ въ тѣни; онъ стоялъ на первомъ планѣ нашего круга. Я сначала только слушалъ и размышлялъ. Потомъ воображеніе мое разыгралось, душа увлеклась, и я, не умѣвшій ни въ чемъ наблюдать мѣры, отдался весь потоку, среди котораго находился.

Впрочемъ, ни въ понятіяхъ, ни въ выраженіяхъ людей, составлявшихъ наше общество, не было ничего предосудительнаго, подозрительнаго. Говорили всегда объ общемъ благѣ, которое невозможно безъ нравственной чистоты, безъ религіознаго одушевленія, безъ любви къ отечеству и готовности принести все ему въ жертву. Съ негодованіемъ возставали противъ разврата, эгоизма и бездушія, царствующихъ въ мірѣ, который обыкновенно называли «лѣсомъ, гдѣ хищные волки терзаютъ кроткихъ агнцевъ.» Всякой благородный человѣкъ, истинный христіанинъ и сынъ отечества, долженъ стараться всѣми зависящими отъ него средствами «очищать лѣсъ отъ волковъ.» Мнѣ нравился особенно этотъ мистическій языкъ, и я скоро принялъ его со всѣмъ энтузіазмомъ пылкаго юноши.

Между тѣмъ траурный годъ кончился. Графиня приняла всѣ мѣры, чтобы вступить въ связи съ большимъ свѣтомъ. Это сдѣлалось скоро. Матери моей простили ея прежнее отчужденіе, но, какъ я скоро замѣтилъ, совсѣмъ не ради ея, а—ради меня.... Я былъ представителемъ древней фамиліи графовъ Оспедалетто и наслѣдникомъ огромнаго богатства матери, которое въ

двадцать лѣтъ скромной, почти отшельнической жизни, все росло и копилось. Меня принимали съ распростертыми объятіями во всѣхъ знатнѣйшихъ домахъ Милана, и особенно ласкали тамъ, гдѣ были взрослыя дочери или сестры.

Но я не закружился въ этомъ новомъ вихрѣ. Я чувствовалъ себя «въ лѣсу,» и находилъ истинное наслажденіе только въ нѣдрахъ нашей «хижины,» или «баракки». Такъ называлъ я наше домашнее общество съ случая, о которомъ позабылъ разсказать вамъ.

Въ послѣдній день траурнаго года у насъ было самое полное собраніе домашнихъ знакомыхъ. Сверхъ того, приглашены были въ первый разъ два Неаполитанца, недавно пріѣхавшіе въ Миланъ. Рѣчь шла о вступленіи нашемъ въ свѣтъ. Я изъявлялъ горькое сожалѣніе, что долженъ буду сойтись съ «волками», и съ тѣмъ вмѣстѣ клялся, что сохраню къ нимъ непримиримую ненависть. За ужиномъ бесѣда сдѣлалась одушевленнѣе. Подали шампанское. Мать моя подозвала меня къ себѣ. Два пріѣзжіе Неаполитанца сидѣли возлѣ ней. Одинъ изъ нихъ всталъ и, обнявъ меня, воскликнулъ:

«Buono fratello!»

Всѣ повторили то же восклицаніе, и бросились обнимать меня.

«За здоровье короля Франческо!» вскричалъ опять тотъ же гость.

И всѣ, повторивъ его слова, осушили бокалы.

«Храни всегда, добрый братъ нашъ,» продолжалъ Неаполитанецъ, смотря на меня: «храни всегда свя-

щенный огонь, горящій въ твоей душѣ! Волки боятся огней. Но и тѣ, которые берегутъ и питаютъ святое пламя, должны быть на сторожѣ противъ хищныхъ звѣрей. Будь мудръ и осмотрителенъ въ лѣсу. Скрывай до времени свои истинныя чувства, и не обнажай ихъ, кромѣ какъ въ «бараккѣ», гдѣ братья твои въ тайнѣ готовятъ уголья, пока придетъ часъ ему вспыхнуть...»

Эта аллегорическая рѣчь произвела на меня могущественное впечатлѣніе; и съ тѣхъ поръ я привыкъ называть домъ свой «бараккой,» или «хижиной,» впрочемъ только съ своими. По совѣту незнакомца, который подтвердили и всѣ прочіе собесѣдники, не исключая моей матери, я принудилъ себя скрывать въ свѣтѣ не только образъ моихъ мыслей, но и тѣсную связь съ большею частью нашихъ короткихъ друзей. Мы встрѣчались очень холодно, говорили другъ съ другомъ весьма мало при людяхъ; за то они научили меня многимъ условнымъ знакамъ, которыми мы въ обществѣ непримѣтно передавали другъ другу свои замѣчанія и мысли.

Такъ прошло мѣсяцевъ шесть. Въ одно утро доложили мнѣ, что падре Стефано, старый нашъ капелланъ и духовникъ моего отца, находится при смерти и желаетъ видѣться со мною. Я уважалъ этого добраго, почтеннаго старика, и иногда навѣщалъ его: онъ жилъ при Домо, получая отъ насъ пенсію, которую всю раздавалъ бѣднымъ. Немедленно собрался я къ нему, и нашелъ его дѣйствительно при послѣднихъ минутахъ долголѣтней, тихо изсякавшей жизни.

«Благодарю васъ, графъ!» сказалъ старикъ, протягивая слабѣющую руку. «Мнѣ бы горько было оставить этотъ свѣтъ, не призвавъ въ послѣдній разъ небеснаго благословенія на дитя сына моего по духу, блаженной памяти вашего родителя. Скоро, скоро я увижусь съ нимъ въ другомъ свѣтѣ, и дай Богъ мнѣ раздѣлить съ нимъ блаженство, которое онъ заслужилъ своимъ благочестіемъ и добродѣтелями.»

Я почтительно поцѣловалъ руку старика.

«Сынъ мой!» продолжалъ онъ, притягивая меня къ себѣ и стараясь понизить свой и безъ того уже слабый голосъ. Въ кельѣ была одна только старушка изъ сестеръ милосердія, которая ходила за умирающимъ; она была глуха, какъ я замѣтилъ тотчасъ, проговоривъ съ ней нѣсколько словъ; но старикъ какъ будто боялся, чтобъ она его не услышала. «Сынъ мой! Я хотѣлъ бы еще, чтобъ ты успокоилъ послѣднюю земную грусть, которая возмущаетъ мою душу, преданную благородной фамиліи Оспедалетто! — Правда ли — отвѣчай искренно умирающему старику, другу твоего блаженнаго отца — правда ли, что ты принадлежишь къ проклятому, законопреступному, богопротивному скопищу Карбонаровъ, что у васъ въ домѣ давно уже существуетъ баракка?...

«Баракка!» вскричалъ я съ изумленіемъ... «Баракка? Что ты называешь бараккой, отецъ мой!

«Baracca carbonaria!» отвѣчалъ онъ: «мѣсто сборища, вертепъ разбойничьей шайки.

«Развѣ это значитъ баракка?» нерервалъ я въ волненіи, смотря на него во всѣ глаза.

«А!» продолжалъ старикъ съ горестію: «Стало, это правда.... Но ты, сынъ мой, можетъ быть, еще невиненъ. Увы! Сколько жертвъ завлечено въ эту пагубную бездну, безъ сознанія и воли! Я предчувствовалъ это. Ты точно невиненъ! злодѣй—да проститъ мнѣ Богъ это слово, вырванное праведнымъ негодованіемъ —я хотѣлъ сказать—Анзельмо.... онъ, вѣрно, раскинулъ уже свои сѣти. Онъ не успокоится, пока не погубитъ и тебя, такъ какъ погубилъ твою несчастную мать. Богъ, молитвами твоего праведнаго отца—да сохранитъ тебя, сынъ мой! По крайнѣй мѣрѣ, ты еще не Пиѳагореецъ?

«Пиѳагореецъ!» повторилъ я. «Это что значитъ?

«Благодареніе Господу!» воскликнулъ старикъ, одушевляясь приливомъ радости. Ты точно невиненъ, и можешь еще спастись. Заклинаю тебя именемъ твоего отца, именемъ Божіимъ—убѣгать и ненавидѣть всѣхъ, которые пьютъ здоровье короля Франческо!

«Но Франческо нашъ законный король,» произнесъ я, переходя отъ удивленія къ удивленію.

«Это не онъ, сынъ мой!» отвѣчалъ старикъ. «Дай Богъ, чтобъ ты никогда и не понималъ смысла этихъ преступныхъ словъ, который, къ вѣчному раскаянію моему, былъ мнѣ слишкомъ извѣстенъ!»

Въ эту минуту вошло къ больному нѣсколько духовныхъ, его знакомыхъ и сослуживцевъ.

«Теперь иди съ миромъ, сынъ мой!» сказалъ онъ. «Послѣдняя земная тяжесть спала съ моей души. Я хочу приготовиться предстать въ мирѣ предъ грозъ-

нымъ и милосердымъ Судіей, Который, чувствую, уже зоветъ меня.»

Слова Стефано были для меня яркимъ лучемъ зловѣщаго свѣта. Такъ вотъ гдѣ я былъ? Я принадлежалъ къ обществу, которое было предметомъ всеобщаго ужаса, надъ которымъ тяготѣла вся строгость общественныхъ законовъ. Мнѣ не мудрено было попасться въ обманъ и такъ долго не видѣть истины: на двадцать второмъ году жизни, я былъ еще ребенокъ, жертва перваго живаго увлеченія. Но мать моя!... Но Анзельмо!...

Но я былъ уже опытнѣе, и притомъ научился скрывать себя. Въ этомъ случаѣ, я обратилъ оружіе, которымъ снабдили меня друзья мои, противъ нихъ самихъ. Ни кому, ни даже матери моей, къ которой прежняя недовѣрчивость снова возбудилась въ моей душѣ, я не сказалъ ни слова о послѣднемъ свиданіи съ Стефано, который въ тотъ же самый день умеръ. Равно избѣгалъ я всячески дать замѣтить, что знаю настоящее значеніе общества, въ которомъ находился. Я продолжалъ вести себя по прежнему; но началъ внимательно и строго слѣдить за всѣми его членами.

Скоро увидѣлъ я, что эти люди, на словахъ такъ исполненные самоотверженія и ревности къ общему благу, на дѣлѣ были чернѣе «угольщиковъ», какими себя называли. Кромѣ немногихъ легкомысленныхъ энтузіастовъ, завлеченныхъ, подобно мнѣ, обольстительнымъ звономъ фразъ, они состояли изъ самозванцевъ-геніевъ съ загнаннымъ внутрь честолюбіемъ, изъ людей, разстроившихъ свое состояніе и обремененныхъ

неоплатными долгами; изъ негодяевъ, затворившихъ себѣ честную и прямую дорогу отъявленными бездѣльничествами, однимъ словомъ—изъ тѣхъ, которые только въ мутной водѣ надѣялись поймать что нибудь для себя. Каково было мое пробужденіе—сами можете представить. Тогда я не умѣлъ еще снисходить къ людямъ, понимать ихъ, такъ какъ они есть. Въ такомъ положеніи нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ увидѣть свои лучшіе, благороднѣйшіе порывы—игралищемъ плутовъ! Не нашедши въ друзьяхъ моихъ ангеловъ, я видѣлъ въ нихъ дьяволовъ.

Къ этой адской пыткѣ разочарованія присоединилось вскорѣ другое, болѣе положительное, потрясеніе. Я еще не рѣшался на явный разрывъ съ пріятелями. Впрочемъ, собранія ихъ у насъ сами собою сдѣлались рѣже, оттого—что мы, вступивши въ связь съ большимъ свѣтомъ, должны были принимать другихъ гостей, завести другой кругъ знакомства. Нѣкоторые изъ нихъ являлись вмѣстѣ съ прочими, но, какъ я уже сказалъ, стараясь всячески скрывать нашу тайную короткую связь. Другихъ нога не переступала нашего порога при постороннихъ. Тѣ два Неаполитанца, которые, въ торжественное засѣданіе, предсѣдательствовали въ нашемъ кругѣ, съ тѣхъ поръ вовсе не показывались у насъ, ни явно, ни тайно. хотя впрочемъ я иногда встрѣчалъ ихъ въ нѣкоторыхъ публичныхъ собраніяхъ.

Разъ у герцога Мельци давался блестящій балъ, гдѣ и я находился съ матерью. Собраніе было отборное—цвѣтъ высшаго Миланскаго общества. Я замѣ-

тилъ, что и оба таинственные Неаполитанца были тутъ же, въ числѣ гостей. Одинъ изъ нихъ игралъ въ карты; другой стоялъ зрителемъ въ танцовальной залѣ. Вдругъ между присутствующими обнаружилось какое-то волненіе, которое напрасно усиливались скрыть, чтобы не возмутить общаго веселья. Я вслушиваюсь въ разговоры, передаваемые другъ другу въ полголоса. О, ужасъ! Оба Неаполитанца арестованы прибывшею внезапно полиціею. И кто жъ они были? «Dekisi», то есть, члены самой отчаянной карбонарской шайки, нѣкогда разбойничавшіе подъ предводительствомъ извѣстнаго Чиро Аниккіарико, разстрѣляннаго назадъ тому лѣтъ семь генераломъ Чорчемъ.

Не смотря на усилія хозяина, балъ не могъ продолжаться. Мать моя уѣхала домой еще прежде меня. Возвратясь, я иду къ ней. Мнѣ говорятъ, что у ней падре Анзельмо. Я толкнулъ дверь и вошелъ безъ предувѣдомленія.

Анзельмо былъ едва-ли не разстроеннѣе графини. Оба они были блѣдны, какъ мертвецы. Увидѣвъ меня, мать вскочила и бросилась ко мнѣ на шею, заливаясь слезами.

«Сильвіо! сынъ мой! я погубила тебя!» шептала она, задыхающимся голосомъ.

«Я боюсь только за графа....» говорилъ трепещущій Анзельмо. «Что касается до меня, я принялъ всѣ возможныя предосторожности, чтобы не компрометировать ни себя, ни васъ, графиня....

«Не бойтесь и за меня,» отвѣчалъ я сухо. «Я компрометировалъ самъ себя по крайней мѣрѣ не болѣе

васъ. Будемъ ждать мужественно послѣдствій и надѣяться на нашу невинность,» продолжалъ я, обращаясь къ матери.

«Да будетъ воля Божія!» отвѣчала графиня, ломая руки. «О, я несчастная, слѣпая, безумная!...»

Съ часу на часъ мы ожидали, если не ареста, то посѣщенія и осмотра нашего дома. Однако все было тихо. Прошло нѣсколько дней, и не слышно было ни о какихъ другихъ мѣрахъ правительства. Вѣроятно, схваченные не выдали своихъ сообщниковъ; или можетъ быть правительство, узнавши пустоту и ничтожность замысловъ, которые, конечно, не имѣли никакой существенной зрѣлости рѣшилось наблюдать благоразумное молчаніе. Графиня и Анзельмо мало по малу начинали успокоиваться. Но я не былъ спокоенъ.

Съ душею истерзанною, опустошенною, я не находилъ отрады нигдѣ, ни дома, ни въ свѣтѣ. Чтобы заглушить себя, я скитался по улицамъ города, одинокій, безмолвный, погруженный только въ себя. Не разъ предлагалъ я графинѣ уѣхать въ нашу деревню. Но она отвѣчала, что это можетъ возбудить подозрѣнія, и нарочно усиливала свои свѣтскія сношенія, выѣзды и пріемы. Разумѣется, что отдѣльныя собранія пріятелей въ нашемъ домѣ сами собою закрылись. Страхъ подѣйствовалъ на всѣхъ. Даже прекратилось употребленіе тайныхъ условныхъ знаковъ.

Душа моя томилась смертнымъ томленіемъ, какъ вдругъ случай подлилъ въ нее новаго масла. Провидѣніе назначило мнѣ перейти всѣ степени земнаго очищенія. До тѣхъ поръ я еще не подвергался той губи-

*

тельной заразѣ, которую всѣ мы, сотканные изъ плоти и крови, должны вынести какъ оспу, и чѣмъ позже, тѣмъ хуже. Я еще не любилъ; я чувствовалъ отвращеніе, ненависть, ужасъ при одной мысли о любви. То что я имѣлъ передъ глазами подъ этимъ именемъ, пріучило меня считать эту страсть однимъ изъ гнуснѣйшихъ струповъ прокаженной человѣческой природы.

Однажды утромъ иду я по улицѣ, въ направленіи къ Порта-Тичинезе, безъ цѣли, безъ мысли, безъ вниманія ко всему, что мелькало мимо меня. Вдругъ, слышу, раздается дикій, пронзительный крикъ. Поднимаю глаза: взбѣсившіяся лошади мчатся, вырвавшись изъ переулка, въ то время, какъ черезъ улицу переходили двѣ женщины. Уже карета близка была раздавить несчастныхъ своими дымящимися колесами. Невольно увлеченный, я кинулся къ нимъ, и это внезапное движеніе заставило лошадей шарахнуться въ сторону. Одна изъ женщинъ уже шаталась и готова была упасть въ слѣдствіе испуга. Я принялъ ее на руки, и бѣдная обмерла на нихъ. Народъ, который былъ на улицѣ, занявшись исключительно лошадьми, смотрѣлъ въ слѣдъ имъ и кричалъ, не обращая на насъ вниманія. Другая изъ женщинъ въ безпокойствѣ обнимала ту, которую я держалъ, и только вопила:

«Дочь моя! — Анджелика! — Она умерла! — Ее раздавили!

«Она жива!» сказалъ я, осматриваясь вокругъ себя и не видя, куда бы сложить свою ношу, чтобъ

помочь ей притти въ чувство. «Успокойтесь, сударыня! Гдѣ вы живете!

«Вотъ, вотъ наша квартира!» вскричала ободренная словами моими мать, указывая на стоявшій неподалеку домъ.

Я не нашелся ничего лучше сдѣлать, какъ отнести полумертвую домой. Мать пустилась впередъ, и привела меня въ небольшую, но чистенькую квартирку, находившуюся въ четвертомъ этажѣ огромнаго дома.

Положенная на постель, дочь опамятовалась и открыла глаза. Мать бросилась ко мнѣ и едва не цѣловала мои руки, называя меня своимъ спасителемъ, ангеломъ-хранителемъ!

Видя, что существенной опасности никакой не было и что испугавшейся нуженъ только покой, я поспѣшилъ распрощаться, и ушелъ, осыпаемый благословеніями. Отъ всей этой сцены не осталось у меня другаго впечатлѣнія, кромѣ того, что дочь еще молоденькая дѣвушка, мать женщина добрая, и обѣ едва ли рожденныя въ томъ состояніи, въ которомъ я нашелъ ихъ. Когда я возвращался изъ спальни, куда отнесъ дѣвушку, я замѣтилъ въ небольшой комнаткѣ, служившей вмѣстѣ гостиною залою, фортепіано съ громадою нотъ, много книгъ въ шкафахъ и два или три семейные портрета съ золотыми, довольно богатыми рамами.

Въ тотъ же вечеръ, я шелъ по той же улицѣ, и поровнявшись съ домомъ, вспомнилъ о знакомыхъ незнакомкахъ. Мнѣ захотѣлось навѣдаться: не имѣло ли утреннее приключеніе, сверхъ чаянія, важнѣйшихъ

послѣдствій. Я спросилъ у превратницы дорогу къ двумъ жилицамъ дома, изъ которыхъ одну протащилъ утромъ мимо ея на рукахъ; самъ я рѣшительно не нашелъ бы ни дверей, ни лѣстницы. Она указала мнѣ то и другое; и чрезъ нѣсколько минутъ я былъ уже въ маленькой, чистенькой квартиркѣ четвертаго этажа.

Мать встрѣтила меня крикомъ восторга. Я нашелъ дѣвушку уже совершенно оправившеюся, возлѣ матери. При видѣ моемъ она встала, вспомнила или угадала меня — не знаю, только изъявила мнѣ свою признательность съ чувствомъ, хотя и безъ особеннаго жара. Мать усильно просила меня сѣсть и дать ей подолѣе насладиться моимъ присутствіемъ. Я уступилъ ея просьбѣ.

Разговоръ открылъ мнѣ въ ней женщину чрезвычайно образованную и совсѣмъ не чуждую свѣта. Это меня удивило. Хоть я и не обнаруживалъ нескромнаго любопытства, но она сама разсказала мнѣ, съ самою обязательною предупредительностью, что ее зовутъ госпожей Фейстрицъ, что она вдова офицера, служившаго въ Австрійско-Императорскихъ войскахъ, расположенныхъ въ Ломбардо-Венеціянскомъ Королевствѣ, что мужъ ея былъ родомъ изъ Моравіи, что она сама изъ одной благородной Веронской фамиліи, что мужъ ея, сынъ богатаго купца, лишился, по стеченію разныхъ несчастныхъ обстоятельствъ, своего наслѣдственнаго имѣнія и умеръ назадъ тому три года, оставя ей только обезпечительный капиталъ, бывшій въ рукахъ правительства, чѣмъ она и существуетъ теперь съ дочерью. Разсказъ ея дышалъ благородною откровен-

ностью. Во мнѣ она вовсе не подозрѣвала моего настоящаго званія, да и не навѣдывалась объ немъ, ни прямо, ни косвенно. Признаюсь, она, то-есть мать— обворожила меня въ это свиданіе, продолжавшееся около часа. Дочери я вовсе не замѣчалъ, хотя она сидѣла вмѣстѣ съ нами, впрочемъ сидѣла, не принимая никакого участія въ разговорѣ.

Уходя, я далъ слово госпожѣ Фейстрицъ навѣщать ее, и сдержалъ слишкомъ это слово.

Скоро я привязался до того къ этой женщинѣ, что началъ ходить къ ней каждый день и просиживалъ по цѣлымъ часамъ. Вы думаете, что я влюбился въ госпожу Фейстрицъ! Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ! Да это было и невозможно. Она уже имѣла лѣтъ подъ сорокъ. Она сохранила еще остатки прежней, должно быть, блестящей красоты; но эти остатки не были таковы, чтобъ вдохнуть страсть молодому двадцати двухъ лѣтнему юношѣ. Я любилъ ее, какъ мать, и она обращалась со мной, какъ съ сыномъ. Насъ особенно связывало сходство во взглядахъ, вкусахъ и направленіяхъ. Не смотря на жестокіе удары, которые я испыталъ, на днѣ души моей таилось еще природное расположеніе къ мечтательности. Госпожа Фейстрицъ была Италіянка, но она получила воспитаніе Нѣмецкое. Съ дѣтства, проведеннаго въ Германіи, она получила страсть къ литературѣ, этой восторженной, идеальной, мистической стороны. Душа ея взросла на Гердерѣ, на Клопштокѣ, на Шиллерѣ, на Жанъ-Полѣ, на Гёте. Лѣта умѣрили въ ней пылкость ея чувствъ, напряженность воображенія, но не охладили ея со-

вершенно. Она все еще съ слезами умиленія читала своихъ любимыхъ поэтовъ. Я слабо зналъ по-Нѣмецки, какъ ты помнишь, Лекки; но съ госпожею Фейстрицъ выучился скоро. Мы вмѣстѣ восторгались гимнами Клопштока, терялись въ лабиринтѣ Жанъ-Полевскихъ фантазій, горѣли огнемъ Шиллера.

Одно только меня удивляло, что Анджелика, дочь госпожи Фейстрицъ, вовсе не наслѣдовала ея души. Я видѣлъ въ ней дѣвушку тихую, скромную, внимательную, но совершенно безчувственную. Она почти безотлучно бывала съ нами, слушала наши чтенія, разговоры, восклицанія, и не показывала къ нимъ рѣшительно никакого сочувствія. Лице ея, не дурное, но и не отличавшееся особенною красотой, по крайней мѣрѣ на мои глаза — было всегда мертво, безъ выраженія. Изъ состраданія къ ней, я увѣрялъ себя, что она, вѣрно, еще не развилась, хотя впрочемъ ей уже было лѣтъ осьмнадцать. Укрѣпясь въ этой увѣренности, я нисколько не принуждалъ себя передъ ней, и если не бралъ ее къ себѣ на колѣна, не ласкалъ и не цѣловалъ, какъ семилѣтнюю Фіореллу, дочь моей кормилицы, то во-первыхъ отъ того, что Анджелика уже была довольно велика, во-вторыхъ, отъ того, что въ домѣ ихъ душа моя улетала въ небеса, забывая про землю.

Но вдругъ я былъ пораженъ нечаяннымъ открытіемъ. Это было спустя мѣсяца два послѣ нашего знакомства, когда впрочемъ я уже былъ почти свой въ домѣ госпожи Фейстрицъ. Она чувствовала легкое нездоровье. При моемъ прибытіи, она изъявила сожалѣ-

міе, что бонтся не быть въ состояніи занять меня, какъ прежде. И въ самомъ дѣлѣ, разговоръ нашъ, лишенный живости, прерываемый длинными паузами, томился.

«Не прочтешь ли ты намъ чего нибудь, Анджелика!» сказала наконецъ госпожа Фейстрицъ.

Анджелика безмолвно повиновалась. Она взяла книгу, указанную матерью, и начала читать слабымъ, едва внятнымъ, голосомъ.

«Тебя вовсе не слышно,» сказала мать. «Или ты потеряла голосъ? Что съ тобой сдѣлалось?»

Анджелика стала читать еще тише. Я рѣшился освободить ее отъ непріятнаго положенія, которое приписывалъ дѣтской робости; она читала передо мной еще въ первый разъ. Я обратился съ просьбою къ госпожѣ Фейстрицъ дозволить мнѣ перемѣнить Анджелику; но какъ я плохо произносилъ по-Нѣмецки, то предложилъ прочесть что нибудь по-Италіянски, именно изъ Данта. Госпожа Фейстрицъ съ признательностію приняла мой вызовъ. Смущенная Анджелика принесла мнѣ книгу. Я развернулъ на извѣстной сценѣ Франчески ди Римини, и началъ читать.

Продолжая чтеніе съ постепенно возрастающимъ одушевленіемъ, я нечаянно взглянулъ на Анджелику, которая сидѣла въ уголку, сложивъ на груди руки. О, удивленіе! Глаза ее были полны слезъ; лице одушевлялось такимъ необыкновеннымъ выраженіемъ, что я едва узналъ въ ней осьмнадцати-лѣтняго ребенка.

Я прервалъ чтеніе. Анджелика спѣшила скрыть свои слезы; но онѣ невольно катились изъ большихъ

черныхъ глазъ, которыхъ бездонную глубину я замѣтилъ тогда въ первый разъ.

«Что съ вами, добрая моя Анджелика?» сказалъ я, все еще тономъ родительской нѣжности, который всегда имѣлъ съ нею. «Вы разстроены?»

Она вскочила и побѣжала въ спальню.

«Не безпокойтесь объ ней,» сказала госпожа Фейстрицъ. «Это ваше чтеніе такъ разтрогало ее. О! вы еще не знаете всей раздражительности ея души. Признаюсь, я часто боюсь за нее. Что будетъ съ этой бѣдною дѣвушкою, если она — что весьма можетъ случиться — не найдетъ раздѣленія безпредѣльной полноты своего чувства?»

Я смотрѣлъ во всѣ глаза на госпожу Фейстрицъ.

«Къ несчастію,» продолжала мать, не замѣчая моего изумленія: «къ несчастію, она такъ еще робка и застѣнчива, что не смѣетъ дать простора пожирающему ее пламени—облегчить себя выраженіемъ. Ко мнѣ она имѣетъ единственную, за то безусловную довѣренность. Не знаю, какъ случилось, что она теперь такъ изобличила себя передъ вами.»

Мы напрасно ждали возвращенія Анджелики. Наконецъ пришла пора итти домой. Госпожа Фейстрицъ кликнула дочь, чтобъ проститься со мной по обыкновенію, и не получивъ отвѣта, сказала:

«Бѣдная дѣвушка стыдится своего увлеченія. Надѣюсь, что вы извините ее, добрый Сильвіо?»

Подъ этимъ только именемъ знала меня госпожа Фейстрицъ до тѣхъ поръ, не потому, чтобы я хотѣлъ скры-

ваться отъ ней, но потому, что она не изъявляла любопытства знать болѣе.

Всю эту ночь образъ Анджелики представлялся моему воображенію идеальнымъ, очаровательнымъ призракомъ. Я не могъ простить себѣ, что такъ худо умѣлъ оцѣнить ее, постигая вполнѣ, какъ должна была оскорблять чувствительную дѣвушку моя несправедливость, мое уничижительное обращеніе съ ней, какъ съ ребенкомъ.

На другой день иду по обыкновенію къ госпожѣ Фейстрицъ, и нахожу ее сверхъ обыкновенія одну. Мать и дочь всегда, бывало, встрѣчали меня вмѣстѣ. Послѣ первыхъ привѣтственныхъ словъ, госпожа Фейстрицъ сказала мнѣ:

«Вчерашнее приключеніе до того разстроило Анджелику, что бѣдняжка сдѣлалась больна не на шутку. Впрочемъ, я сказала, что приведу васъ къ ней непремѣнно. Надобно жъ лечить ее отъ болѣзни болѣе существенной — отъ этой дикости и скрытности, которыя могутъ сдѣлать ее рѣшительно несчастною. Вы меня простите, добрый Сильвіо, что я такъ распоряжаюсь вами, не предувѣдомивъ васъ.»

Я поцѣловалъ руку госпожи Фейстрицъ, прося ее считать меня своимъ. Мы нашли Анджелику въ креслахъ, одѣтую по-больному, въ шлафоркѣ, подъ спальнымъ чепцомъ. Въ этотъ разъ она показалась мнѣ очаровательно-прекрасною.

Разстройство ея сдѣлалось гораздо важнѣе, нежели какъ можно было предполагать. Она подверглась жестокимъ нервическимъ припадкамъ. Разъ я нашелъ ее

въ совершенномъ безпамятствѣ: она бредила, произнося несвязныя, странныя рѣчи. На-силу могли мы привести ее въ чувство. Мать сказала мнѣ, что такое ожесточеніе припадковъ случалось и прежде, въ моемъ отсутствіи; но она скрывала это отъ меня, зная мое участіе и расположеніе къ нимъ. Между тѣмъ сама смотрѣла на меня съ задумчивою грустью.

Я все еще ничего не подозрѣвалъ. Когда Анджелика опамятовалась, госпожа Фейстрицъ взяла съ столика, который стоялъ передъ больной, большую писанную книгу, должно быть, альбомъ, чтобы переложить на другое мѣсто. Маленькой листочикъ выпалъ изъ книги на полъ; я поспѣшилъ поднять его. Анджелика вскрикнула, и конвульсіи ея возобновились еще сильнѣе. Но я видѣлъ уже листокъ...

Это былъ мой портретъ, начерченный карандашемъ!..

Внезапный лучъ освѣтилъ мою душу, и все существо мое вспыхнуло.

Да! я былъ любимъ этою дѣвушкою — любимъ со всѣмъ жаромъ, со всею преданностью, со всѣмъ безпредѣльнымъ самоотверженіемъ дѣвственной, перво-любящей души. Въ этомъ я не могъ сомнѣваться послѣ нѣсколькихъ наблюденій, внушенныхъ мнѣ еще остаткомъ прежняго предубѣжденія. И госпожа Фейстрицъ это знала; но она считала священною обязанностью скрывать отъ меня эту роковую тайну, видя, какъ я былъ равнодушенъ къ несчастной дѣвушкѣ.

Такое открытіе было для меня рѣшительное. Любовь Анджелики — любовь, въ которой было столько чистоты и столько силы, нашла въ сердцѣ моемъ пол-

ный отзывъ. Если она опередила меня, то я обогналъ ее, или по крайней мѣрѣ сравнился съ нею. Я отдалъ ей все бытіе мое.

Не буду утомлять васъ подробностями, которыя, предполагаю, одинаковы во всякой исторіи сердца, какъ бы ни были разнообразны обстоятельства ея происхожденія и развитія. Довольно, что я не могъ долго скрывать себя. Въ минуту признанія, госпожа Фейстрицъ, восторженная какъ и мы, соединила наши руки и благословила насъ, обливая горючими слезами.

Тогда только, послѣ отлива первыхъ восторговъ, я произнесъ свое имя. Оно поразило ужасомъ мать и дочь.

«Графъ Оспедалетто!» вскричала госпожа Фейстрицъ. «Единственный сынъ и наслѣдникъ знаменитой фамиліи!

«Да,» отвѣчалъ я, ничего не понимая, «да — графъ Сильвіо Оспедалетто.»

Анджелика бросилась въ объятія матери, глухо рыдая.

«Я была слишкомъ безразсудна, не спросивъ васъ прежде о вашемъ званіи, графъ,» продолжала госпожа Фейстрицъ, блѣдная, трепещущая. «Богъ да проститъ мою неосторожность и да сохранитъ всѣхъ насъ отъ наказанія, которое я одна заслужила!... Графъ Сильвіо Оспедалетто!» произнесла она потомъ твердымъ, торжественнымъ голосомъ, указывая глазами на дочь, которая висѣла у ней на шеѣ. «Отвѣчайте мнѣ, какъ передъ судомъ Божіимъ! Бѣдная Анджелика Фейстрицъ можетъ ли быть женою графа Оспедалетто? Увѣрены

ли вы въ согласіи вашей фамиліи принять ее въ дочери?»

«О! если только это смущаетъ васъ», вскричалъ я, «то счастіе мое совершенно! Я имѣю только мать, которая любитъ меня страстно и которой понятія возвышаются надъ всѣми предразсудками свѣта. Я увѣренъ въ ея согласіи! — Но... если бы,» прибавилъ я, уколотый какимъ-то темнымъ предчувствіемъ — «если бы... чего я никакъ не ожидаю... то я полный господинъ самого себя... Именемъ всемогущаго Бога,» воскликнулъ я: «клянусь, что Анджелика будетъ моей женою! Отнынѣ я считаю себя обрученнымъ съ нею навсегда, на всю жизнь, на вѣчную вѣчность!»

Анджелика бросилась ко мнѣ. Я осыпалъ ея огнедышущее лице пламенными поцѣлуями.

«Да будетъ воля Божія!» произнесла госпожа Фейстрицъ. «Но я требую отъ васъ, добрый мой Сильвіо — я требую, чтобы вы немедленно открылись вашей матери и испросили ея благословенія. О! я слишкомъ знаю, по горькому опыту, какія послѣдствія влечетъ за собою союзъ, заключенный противъ воли семейства. Я сама пожертвовала мужу своею гордою фамиліею, которая никакъ не хотѣла меня выдать за не-ровню по происхожденію, за богача, но безъ предковъ — и вотъ до сихъ поръ отвержена ею... Но я не ропщу — я была слишкомъ счастлива,» примолвила она, устремивъ слезящіе глаза на портретъ покойнаго своего мужа.

Возвращаясь домой, я исходилъ прежде весь городъ, съ душой обуреваемой тысячью мыслей, тысячью предположеній. Я помнилъ, что графиня неоднократно изъ-

являла въ моемъ присутствіи, хотя и безъ прямаго отношенія ко мнѣ, совершенную свободу отъ всѣхъ аристократическихъ причудъ, особенно въ отношеніи къ семейнымъ союзамъ. Благородное негодованіе кипѣло въ ней всякій разъ, когда рѣчь касалась браковъ по разсчету, по принужденію, при которыхъ единственное земное счастіе, которымъ красится наша жизнь, приносится въ жертву гордости или корыстолюбію. Помнилъ я это очень живо и твердо, потому, что мнѣ всегда казалось, что я въ этомъ негодованіи слышу вопль ея собственной души: она сама была подобною жертвою. Но, съ другой стороны, мнѣ приходило на мысль, что въ послѣднее время, послѣ нашего разрыва съ Карбонарами, мать моя, усиливъ свои связи съ высшимъ обществомъ, въ особенности ѣздила и посылала меня въ домъ князя Монте-Корвино, у котораго была дочь невѣста; что эта молодая дѣвушка оказывала ко мнѣ особенную внимательность, что мать моя нѣсколько разъ заговоривала со мною объ ней, осыпая ее похвалами, и навѣдывалась, какое впечатлѣніе производятъ на меня ея прелести и таланты; что въ домѣ князя меня всячески старались сближать съ княжною, заставляли ворочать передъ ней ноты, когда она играла или пѣла, спрашивали моего мнѣнія о ея рисункахъ, совѣта въ разсужденіи выбора матеріи на платье, и тому подобное. Все это до тѣхъ поръ не обращало на себя особеннаго съ моей стороны вниманія, исполнялось мною безчувственно, машинально; но теперь раскаленною мѣдью падало на мою душу. Что, если графиня дѣйствительно имѣетъ на счетъ мой виды? Я зналъ ея любовь ко мнѣ,

но зналъ и упрямство. Прежнія слова ея тѣмъ болѣе возбуждали во мнѣ недовѣрчивость къ ихъ искренности и постоянству, что они произносимы были въ кругу, о которомъ мать моя въ послѣднее время не могла вспоминать безъ содроганія.

Раздираемый сомнѣніями, я не чувствовалъ въ себѣ мужества обратиться къ графинѣ, боясь услышать изъ устъ ея приговоръ, изрекающій мнѣ гибель. Между тѣмъ, я чувствовалъ, что требованіе госпожи Фейстрицъ справедливо, что я долженъ его непремѣнно выполнить. Какъ быть? Въ умѣ моемъ мелькнулъ Анзельмо, котораго посредничество могло бы не только облегчить для меня тяжесть непосредственнаго признанія, но и, можетъ быть, оказать мнѣ существенную пользу. Анзельмо продолжалъ имѣть неограниченную власть надъ графинею. Но я проклялъ эту мысль: мнѣ казалось гнуснѣйшею подлостью прибѣгнуть къ этому ненавистному средству.

Между тѣмъ я воротился наконецъ домой, измученный, раздавленный своимъ положеніемъ. Графини не было дома. Какъ нарочно, Анзельмо попался мнѣ на глаза, и изъявилъ сердечное участіе, увидя разстройство, котораго я не могъ скрыть. Я не выдержалъ. Душа моя была черезъ край — рвалась облегчить себя. Я увлекся — и Анзельмо узналъ мою тайну...

Онъ выслушалъ меня безмолвно, съ поникнутою головой; долго хранилъ то же молчаніе, когда я, кончивъ разсказъ, въ изступленіи бѣгалъ по комнатѣ. Наконецъ онъ всталъ, подошелъ ко мнѣ и дружески схватилъ мои руки. Мнѣ казалось, что онъ даже плакалъ.

«Графъ!» сказалъ онъ мнѣ: «благодарю Бога, что Онъ мнѣ даруетъ случай показать всю безпредѣльность любви, которую я питаю къ вамъ издѣтства. Вы уже слишкомъ наградили меня за то, почтивъ вашею драгоцѣнною довѣренностью. Обяжите же меня новымъ счастіемъ, дозволивъмнѣ быть предварительнымъ истолкователемъ вашихъ чувствъ передъ графинею, вашею родительницею. Надѣюсь, что голосъ мой—голосъ, который она привыкла уважать какъ органъ божественныхъ истинъ, возвѣщаемыхъ религіею — надѣюсь, что онъ встрѣтитъ по крайней мѣрѣ меньше сопротивленія въ ея душѣ, чѣмъ языкъ страсти, всегда подозрительный въ ослѣпленіи, въ безразсудствѣ. Впрочемъ, Господь всесиленъ!...»

Я чуть не задушилъ Анзельмо въ своихъ объятіяхъ. Эту ночь провелъ я всю безъ сна. Судьба моя рѣшалась, или уже была рѣшена. Анзельмо, по возвращеніи графини, имѣлъ съ ней длинную конференцію, между тѣмъ, какъ я, запершись въ своей комнатѣ, метался изъ угла въ уголъ.

Поутру, съ первыми лучами солнца, я услышалъ стукъ у моихъ дверей. Это былъ Анзельмо. Онъ вошелъ ко мнѣ, мрачный и унылый. Прежде, нежели онъ открылъ уста, я прочиталъ въ его глазахъ мое несчастіе.

Дѣйствительно, графиня не хотѣла и слышать о моей любви. Она уже рѣшила мой бракъ съ княжною Монте-Корвино. Анзельмо, по словамъ его, истощилъ всю силу своихъ убѣжденій. Графиня только запретила ему говорить съ ней о томъ въ другой разъ, но просила внушить и мнѣ, чтобы я, если сколько нибудь

люблю ее, избавилъ ее отъ тяжести личнаго объясненія съ ней по этому злополучному предмету.

«Долгъ вашъ, графъ,» прибавилъ Анзельмо, «есть повиновеніе и терпѣніе. Надѣйтесь на Бога; въ Его всемогущихъ рукахъ все. И я буду за васъ молиться...»

Въ отчаяніи пошелъ я въ домъ, гдѣ наканунѣ вкусилъ всѣ сладости земнаго блаженства. Госпожа Фейстрицъ и Анджелика угадали происшедшее по моему виду. Онѣ рыдали. Я повторялъ страшныя клятвы, что ничто не разлучитъ меня съ моею невѣстою. Сверхъ того, утѣшалъ ихъ надеждою, которой и самъ не былъ чуждъ, что воля графини не есть еще невозвратное опредѣленіе рока, что я могу преодолѣть ее постоянствомъ и усугубленіемъ просьбъ.

Графиню я увидѣлъ не прежде обѣда. Она была со мной чрезвычайно ласкова, не показывая и виду, что знаетъ роковую тайну. Подъ конецъ обѣда она весьма спокойно объявила, что напослѣдокъ рѣшилась уступить моимъ желаніямъ и завтра же ѣдетъ въ деревню, гдѣ обѣщается пробыть со мной все лѣтнее время. Я такъ былъ пораженъ этимъ внезапнымъ рѣшеніемъ, что не могъ ни слова произнесть въ возраженіе. Очевидно графиня хотѣла оторвать меня отъ Анджелики. Желаніе мое ѣхать въ деревню — я уже мѣсяца три и не заикался о томъ!

Вставъ изъ-за стола, я убѣжалъ въ свою комнату, и рыдалъ какъ ребенокъ. Анзельмо нашелъ меня въ этомъ положеніи.

«Графъ!» сказалъ онъ мнѣ голосомъ, въ которомъ звучало искреннее участіе: «теперь пришло время ис-

пытанія, когда вы должны явить себя истиннымъ мужемъ. Я раздѣляю вполнѣ ваши страданія, хотя званіе мое и повелѣваетъ мнѣ быть безстрастнымъ. Повторяю вамъ: надѣйтесь на Бога и ожидайте всего отъ одной Его милости, но не предавайтесь отчаянію.»

Я не отвѣчалъ ни слова. Я только глядѣлъ на него безсмысленно.

«Еще не все погибло для васъ,» продолжалъ Анзельмо. «Графиня явно замыслила ослабить вашу страсть разлукою. Можетъ быть, она и не обманется въ своихъ расчетахъ; можетъ быть, время, могущественный цѣлитель всѣхъ недуговъ, уврачуетъ и вашу душу, особенно когда пожирающій ее пламень не будетъ имѣть пищи. Тогда вы сами будете благословлять предусмотрительность вашей родительницы, спасшую васъ отъ мимолетнаго чувства, которому вы, въ пылу страсти, рѣшаетесь принести въ жертву все бытіе свое.

«Никогда!» воскликнулъ я. «Этого никогда не будетъ. Моя любовь вѣчна, какъ душа моя!»

«Увы!» возразилъ Анзельмо: «таковъ всегда языкъ страсти. Но опытъ удостовѣряетъ насъ, что чѣмъ напряженнѣе, чѣмъ изступленнѣе чувство, тѣмъ оно ненадежнѣе. Пламя, которое пышетъ слишкомъ ярко, очень скоро прогораетъ!

«Никогда!» вскричалъ я еще неистовѣе. «Прежде прогоритъ солнце, чѣмъ душа моя, если только она не обратитъ сама себя въ пепелъ!

«Въ такомъ случаѣ,» продолжалъ Анзельмо, «разлука, къ которой принуждаетъ васъ графиня, будетъ для васъ временемъ искуса, который не отдалитъ васъ, а

приблизить къ счастію, если вы будете умѣть воспользоваться имъ благоразумно. Докажите матери, что страсть ваша не есть минутный припадокъ безумія. Она такъ горячо любитъ васъ, что не будетъ долго упорствовать, какъ скоро удостовѣрится, что упорство ея безполезно.»

Душа моя просвѣтлѣла. Я чувствовалъ, что Анзельмо говорилъ правду.

«Но,» сказалъ я, не смѣя еще предаваться всему упоенію надежды: «но что будетъ съ Анджеликой въ это ужасное время? Она умретъ безъ меня! Она и такъ умираетъ всякій часъ, всякую минуту, когда не оживляетъ ее мой взоръ, мое дыханіе!... Ахъ! еслибъ я могъ по крайней мѣрѣ писать къ ней! Но какъ это сдѣлать? Если бъ я имѣлъ друга, которому бы могъ ввѣриться, который бы взялся быть нашимъ посредникомъ...»

Анзельмо подошелъ ко мнѣ. Глаза его пылали яркимъ блескомъ.

«Графъ!» сказалъ онъ, сжимая мнѣ крѣпко руки: «вы имѣете такого друга. Я — я самъ — готовъ остаться здѣсь для васъ. Распоряжайтесь мною. Я вѣрю въ вѣчность вашей любви, и Богъ да проститъ мнѣ, если я нарушаю строгія обязанности своего званія, предлагая вамъ свои услуги! Цѣль всѣхъ моихъ земныхъ дѣйствій есть счастіе ближнихъ, изъ которыхъ кто жъ мнѣ ближе васъ?»

Въ восторгѣ безпредѣльной признательности, я кинулся на грудь Анзельмо. Потомъ полетѣлъ увѣдомить Анджелику и ея мать о предстоящей разлукѣ и заключающихся въ ней самой надеждахъ.

Много пролито было слезъ, горькихъ, кровавыхъ слезъ, при этой вѣсти. Но госпожа Фейстрицъ скоро признала и необходимость разлуки, и вѣроятность ожидаемаго отъ ней дѣйствія. Она сама старалась успокоивать дочь. Мы условились о непрерывности нашей переписки чрезъ посредство Анзельмо. И я, собравъ все свое мужество, вырвался изъ объятій Анджелики, которыя закостенѣли на мнѣ холоднымъ, безжизненнымъ кольцомъ.

На другой день по утру я отправился съ графинею въ деревню. Анзельмо остался въ городѣ — не знаю навѣрное — подъ какимъ предлогомъ, но, кажется, не возбудивъ никакихъ подозрѣній въ графинѣ.

Въ деревнѣ я совсѣмъ не нашелъ того уединенія, которымъ мы наслаждались тамъ прежде. Къ намъ тотчасъ нахлынула бездна сосѣдей. Въ числѣ ихъ, черезъ два дня, увидѣлъ я и ненавистное семейство князя Монте-Корвино. Планъ графини былъ расчитанъ превосходно.

Но я былъ закованъ въ желѣзную, непроницаемую броню для всѣхъ обольщеній. Почти ежедневно получалъ я письма отъ Анджелики — и какія письма!.. Они пересылались ко мнѣ съ глубочайшею тайною, адресованныя Анзельмомъ на имя моей кормилицы, которая сама не знала ихъ содержанія, да если бы и знала, такъ изъ любви ко мнѣ не побоялась бы жертвовать собою. Также препровождалъ я и свои отвѣты.

Прошло довольно времени. Приближалась уже осень. Многія семейства, жившія въ нашемъ сосѣдствѣ, собирались назадъ въ городъ. Графиня и не думала объ

отъѣздѣ. Наконецъ всѣ почти уѣхали. Только княгиня Монте-Корвино, отпустивъ мужа, сама съ дочерью не трогалась и не думала трогаться съ мѣста, такъ же какъ и моя мать. Онѣ жили у насъ, или мы у нихъ, почти неразлучно.

Прощаясь съ Анзельмо, я заклиналъ его, сверхъ сообщенія писемъ Анджелики, писать ко мнѣ отъ себя — все, что̀ самъ онъ узнаетъ, ничего не скрывая. Я боялся, что нѣжность Анджелики и ея матери можетъ заставить ихъ утаить отъ меня истину, особенно въ отношеніи къ здоровью Анджелики, за которое я не могъ не страшиться. Анзельмо, который самъ не видалъ ни матери, ни дочери—(сношенія происходили чрезъ духовника госпожи Фейстрицъ, стараго знакомца Анзельмо) сначала сообщалъ мнѣ однѣ утѣшительныя вѣсти. Но мало по малу тонъ его писемъ началъ становиться какъ-то загадочнѣе и подозрительнѣе. Онъ говорилъ о здоровьѣ Анджелики неопредѣлительно, съ прибавленіемъ совѣтовъ и просьбъ надѣяться на Бога, не предаваться отчаянію. Но это-то именно и возбудило во мнѣ сначала сомнѣнія, потомъ рѣшительное отчаяніе. Я видѣлъ, что Анзельмо скрывается отъ меня, чувствовалъ, какъ онъ съ каждымъ письмомъ болѣе и болѣе приготовляетъ меня къ ужасному удару. Наконецъ, все открылось. Вслѣдствіе моихъ настоятельныхъ просьбъ, моленій, заклинаній, угрозъ рѣшиться на все, если онъ будетъ долѣе со мною скрытничать, и обѣщаній, что извѣстность, какова бы она ни была, легче вынесется мною, чѣмъ адъ неизвѣстности — Анзельмо увѣдомилъ меня, что Анджелика, которой письма также дѣлались день ото дня

грустнѣе и безнадежнѣе — что Анджелика, жертва благороднаго, высокаго самоотверженія, таетъ какъ свѣча и уже сама чувствуетъ свой близкій конецъ, но не хочетъ отравлять послѣднихъ минутъ надежды, которыми я могу еще наслаждаться, не зная грозящей ей участи.

Не дочитавъ до конца этого письма, я тотчасъ кинулся къ графинѣ и безъ всякихъ предисловій объявилъ ей, что сію же минуту долженъ ѣхать въ Миланъ, гдѣ присутствіе мое необходимо. Графиня, сначала встревоженная видомъ, съ которымъ я къ ней явился, выслушавъ меня, отвѣчала холодно и сухо, что не понимаетъ, какія причины могутъ требовать моего присутствія въ Миланѣ, что считаетъ меня не совсѣмъ здоровымъ, и именно отъ чрезмѣрной гипохондріи, которую съ прискорбіемъ замѣчаетъ во мнѣ и которой развитіе не можетъ приписать ни чему иному, какъ впечатлѣніямъ пагубныхъ связей нашихъ съ прежними Миланскими друзьями; что вслѣдствіе того не только не можетъ позволить мнѣ воротиться въ Миланъ, но напротивъ считаетъ долгомъ увезти меня куда нибудь далѣе, напримѣръ въ Ниццу или въ Женеву, гдѣ я, оторванный совершенно отъ тягостныхъ воспоминаній, могу скорѣе разсѣяться и выздоровѣть.

Я такъ былъ ошеломленъ полученнымъ извѣстіемъ, что выслушалъ этотъ отказъ совершенно безмолвно, не произнеся въ отвѣтъ ни слова. Но въ ту же ночь меня уже не было въ деревнѣ. Я скакалъ стремглавъ по Миланской дорогѣ, и къ утру лежалъ уже у ногъ моей Анджелики.

Жизнь ея точно потухала. Несчастная дѣвушка, судя по ея блѣдному, исхудалому лицу, по глазамъ, которые выплакали свой матовый блескъ и свѣтились какимъ-то сухимъ, зловѣщимъ огнемъ — была въ послѣдней степени лютой чахотки. Видъ мой сначала такъ поразилъ ее, что послѣдніе остатки души въ ней замерли; но потомъ она воскресла въ моихъ объятіяхъ — и какъ дивно воскресла! Щеки, бѣлыя какъ мраморъ, вдругъ заиграли огневымъ румянцемъ; очи, увлаженныя слезами восторга, облились жизнью; я чувствовалъ, какъ вскипѣвшая кровь, отхлынувъ отъ сердца, бросилась въ каждую жилку и отзывалась сладостнымъ трепетомъ, роскошнымъ біеніемъ. Прекрасный цвѣтокъ распустился прелестью неописанною, безпримѣрною. Но я не вѣрилъ этому воскресенію. Оно казалось мнѣ тѣмъ обманчивымъ сіяніемъ, которымъ изсякающая лампада вспыхиваетъ передъ тѣмъ самымъ мгновеніемъ, когда именно должна угаснуть на вѣки.

Весь день провелъ я съ нею, не позаботясь даже увѣдомить Анзельмо о моемъ прибытіи. Наконецъ вечеръ напомнилъ мнѣ, что я долженъ итти домой. Прихожу — графиня пріѣхала въ слѣдъ за мною. Не зная, гдѣ отыскать меня — (Анзельмо свято хранилъ тайну) — она спрашивала меня каждую минуту и дала приказаніе звать меня къ ней немедленно, какъ скоро явлюсь я въ домъ. Это сообщилъ мнѣ Анзельмо, который встрѣтилъ меня, самъ весь разстроенный, весь взволнованный.

Сцена свиданія моего съ матерью была ужасна. Я и теперь не могу вспомнить объ ней безъ содроганія. Я и теперь...»

Монахъ задохнулся на этомъ словѣ. Голосъ его порвался. Грудь дышала тяжело. Бронзовое лице обагрилось кровавыми пятнами.

«Довольно сказать вамъ,» продолжалъ онъ, преодолѣвъ свое волненіе желѣзною волею: «довольно, что я вышелъ весь изъ себя, позабылъ не только всѣ обязанности къ матери, но и приличія въ отношеніи къ женщинѣ. Съ первыхъ словъ я объявилъ графинѣ мою любовь и непреложное рѣшеніе соединиться съ умирающею Анджеликой, заклинаясь страшными клятвами, что ни что не сильно остановить меня. Но главное—но ужаснѣйшее — но то, чего я не могу простить себѣ во всю жизнь, что внушилъ мнѣ конечно самъ адъ въ минуту бѣшенаго изступленія — я имѣлъ дерзость, имѣлъ безстыдство, имѣлъ безчеловѣчіе... намекнуть матери моей, когда она сухо и даже презрительно отозвалась о моей страсти и объ ея предметѣ... намекнулъ ей... объ Анзельмо...»

И голосъ Сильвіо опять изсякъ, дыханіе его сперлось. Руки судорожно сжались на груди. Голова тяжко опустилась.

Это молчаніе продолжалось нѣсколько минутъ. Оно было ужасно. Оно задушило бъ и насъ, еслибъ протянулось долѣе. Мы сидѣли, безмолвные, недвижимые.

Грудь монаха облегчилась наконецъ тяжелымъ вздохомъ: этотъ вздохъ смѣшанъ былъ съ глухимъ, болѣзненнымъ стенаніемъ, обличившимъ во глубинѣ этой закаленной души невзглаженные слѣды ранъ, слѣды, вскрытые силой потрясенія. Вслѣдъ за тѣмъ онъ поднялъ голову. Глаза его были сухи; но по щекамъ катились

двѣ крупныя, съ кровью выдавленныя изъ сердца слезы.

«Какой раздирающій вопль вырвался изъ груди графини, когда она поняла смыслъ преступнаго, богохульнаго укора!» началъ онъ, снова возвращая свою твердость.

«Боже!» вскрикнула мать моя изступленнымъ голосомъ, съ помутившимися глазами. «Праведный Боже! Этого еще не доставало!.. Проклятіе!.. Проклятіе!..»

И она грохнулась въ безпамятствѣ на полъ.

Я оставилъ ее на рукахъ вбѣжавшихъ женщинъ. Сказать ли вамъ? Сердце мое до того ожесточилось, что я считалъ себя совершителемъ праведной мести надъ преступленіемъ, свирѣпствовалъ въ злобномъ торжествѣ, какъ Орестъ, пронзившій сердце Клитемнестры. Счастье мое, что Анзельмо не попался мнѣ на глаза въ ту пору. Забывъ услуги, которыя, при всѣхъ подозрѣніяхъ, я имѣлъ однако духъ принимать отъ него — въ эту минуту бѣшенства я бы задушилъ его, какъ Эгиста.

Онъ пришелъ ко мнѣ самъ около полуночи, когда я сидѣлъ уже въ мертвой, безчувственной оцѣпенѣлости, точно параличный. Во мнѣ не было никакой мысли, никакой искры сознанія. Я не слышалъ, что онъ говорилъ мнѣ, даже не узналъ его, хотя смотрѣлъ на него во всѣ глаза. Вѣроятно, однако, что онъ утѣшалъ меня, что его слова касались не столько моей матери, сколько Анджелики: потому-то, вмѣсто возвращенія прежняго моего бѣшенства, я началъ приходить въ чувство подъ вліяніемъ ея свѣтлаго образа. Помню, что въ заключеніе своей длинной рѣчи, Анзельмо спросилъ меня наконецъ:

«Что жъ вы намѣрены дѣлать?

«Жениться,» отвѣчалъ я, какъ будто просыпаясь отъ сна, оставившаго въ душѣ неясныя впечатлѣнія: «жениться на ней завтра же и потомъ умереть вмѣстѣ съ нею!»

Это были единственныя слова, которыя я имѣлъ силу сказать, и потомъ снова погрузился въ оцѣпенѣніе. Анзельмо оставилъ меня такъ же, какъ и нашелъ.

На другой день, чѣмъ свѣтъ, я уже былъ тамъ, гдѣ заключалось счастіе всей моей жизни. Анджелика и мать ея вскрикнули, увидѣвъ меня: такъ хорошъ я былъ послѣ этой адской ночи!

Я разсказалъ имъ послѣдствія моего свиданія съ матерью, разумѣется скрывъ всю гнусность моего преступленія предъ нею. Впрочемъ, это послѣднее происходило не отъ стыда раскаянія, а отъ стыда обезчестить себя безчестіемъ матери. Я сказалъ, какъ я проклялъ передъ графиней свое древнее знаменитое имя, какъ дерзко сбросилъ съ себя и потопталъ ногами всѣ мои права на ея огромныя богатства, какое презрѣніе обнаружилъ къ блестящей дорогѣ, которую она для меня готовила, и заключилъ, что послѣднія слова, которыя я слышалъ изъ устъ ея, были слова проклятія.

Чудный восторгъ одушевилъ Анджелику, когда я кончилъ. Она бросилась ко мнѣ на шею и произнесла съ изступленною торжественностію:

«Теперь только я вполнѣ счастлива! О, мой Сильвіо! жизнь моей жизни, душа души моей! Теперь только я счастлива, потому, что въ одной мнѣ заключается все твое счастіе — все безъ исключенія, безъ раздѣленія! —

Ахъ! До сихъ поръ небесная сладость моего блаженства отравлялась горечью, снѣдавшею это сердце, которое живетъ лишь тобою, бьется для одного тебя. Между нами не было равенства, полнаго, совершеннаго равенства! Ты, Сильвіо, ты былъ для меня все — для меня, у которой и нѣтъ ничего, кромѣ твоей любви! Но у тебя было славное имя, у тебя было блистательное состояніе, у тебя была широкая, великолѣпная будущность... Простишь ли ты меня, Сильвіо? Я не боялась ничьего совмѣстничества въ твоей высокой душѣ; но я боялась, что темное имя Анджелики Фейстрицъ останется неизгладимымъ пятномъ на твоемъ гербѣ, что моя безродность и нищета будетъ вѣчно выглядывать изъ-подъ графской величественной мантіи; что въ свѣтѣ, въ который ты введешь меня, я буду твоимъ стыдомъ, позоромъ, казнію, что изъ-за меня будутъ тебя чуждаться, убѣгать, поднимать на смѣхъ, или оскорблять презрительнымъ состраданіемъ, что я какъ чума отравлю всю твою жизнь, какъ гнѣвъ Божій ниспровергну всю твою будущность... Да! я часто спрашивала себя: должна ли я принять твою любовь, должна ли пожертвовать тобой своему счастію? И вотъ что истощало мою жизнь, заставляло меня желать, искать смерти!... Но теперь — теперь я живу, и буду жить — буду жить для тебя, мой Сильвіо? Такъ же какъ я, и ты теперь не имѣешь ничего, кромѣ меня! Ты и найдешь все во мнѣ, какъ я въ тебѣ! Ты мой, Сильвіо? Мой весь неисключимо, нераздѣлимо!... »

Какая высокая, безпредѣльная любовь!... Что могло равняться съ моимъ блаженствомъ?... Душа моя расто-

пилась. Я позабылъ все! Я вдыхалъ новую, неописанную жизнь всѣми порами моего существа. Наконецъ, я обратился къ госпожѣ Фейстрицъ и сказалъ, что сего же дня намѣренъ соединиться вѣчными узами съ Анджеликою.

Но госпожа Фейстрицъ не отвѣчала ни слова. Она стояла съ важнымъ, печальнозадумчивымъ лицемъ. Этотъ видъ поразилъ меня. Лихорадочный знобъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ. Я схватилъ ее за руки. Она дала знакъ Анджеликѣ оставить насъ однихъ. Послушная дочь, смущенная не меньше меня, повиновалась.

«Графъ Оспедалетто!» сказала мнѣ госпожа Фейстрицъ тихимъ, но торжественнымъ голосомъ, стараясь освободить свои руки: «вы человѣкъ благородный. Вы поймете и уважите голосъ разсудка, который по несчастію слишкомъ поздно освѣтилъ бездну, изрытую моей непростительною виной для васъ и для несчастной моей дочери. То, что̀ эта бѣдная дѣвушка, въ пылу изступленнаго самоотверженія, считаетъ верхомъ своего счастія — подумайте, и вы сами увидите — заключаетъ, напротивъ, сѣмя вѣчнаго несчастія и для ней, и для васъ. Если ее убивала мысль быть вамъ въ тягость, и тогда, когда бъ вы соединились съ нею, не пожертвовавъ ничѣмъ, кромѣ однихъ ложныхъ предразсудковъ свѣта, то какъ можетъ она вынесть, когда вы дѣйствительно принесете ей въ жертву все бытіе свое? Не вѣрьте этому клокоту раскаленнаго, огнедышущаго воображенія. Прекраснѣйшіе порывы нашей души суть только самообольщенія, которыя чѣмъ утонченнѣе и чище, тѣмъ скорѣе испаряются и исчезаютъ. Дѣйстви-

тельность, любезный графъ, не поэзія. Я безконечно виновата предъ вами, что допустила васъ завлечься такъ далеко; я уже и говорила вамъ это. Но я такъ наказана, что вы, конечно, будете имѣть великодушіе простить меня — простить, если не изъ состраданія ко мнѣ, то ради несчастной дѣвушки, столько васъ любящей, столько вами любимой. Въ залогъ этого прощенія, вы покоритесь безпрекословно рѣшенію, въ которомъ заключается теперь послѣдняя, единственная надежда возстановить то, что̀ я такъ преступно разрушила — ея спокойствіе, счастіе, и самую жизнь!... Отнынѣ вы не увидите ея болѣе, разорвете съ ней всѣ сношенія, постараетесь сами забыть ее и, можетъ быть, дадите ей возможность забыть васъ!... Ахъ! я и сама такъ ласкалась счастіемъ назвать васъ моимъ сыномъ! Но, вѣрно, нѣтъ на то воли Божіей!... Знаю по себѣ, какъ эта жертва тягостна; но она необходима для нашего общаго спокойствія! Прощайте, добрый, благородный графъ Оспедалетто! Въ этой жизни мы можетъ быть больше не увидимся!...»

Нѣсколько минутъ стоялъ я, какъ окаменѣлый, устремивъ помутившіеся глаза на дверь, за которую скрылась госпожа Фейстрицъ. Мнѣ приходило въ голову, не злобный ли сонъ играетъ мною? не душитъ ли меня ночная тѣнь? Земля подо мною тряслась. Предметы вокругъ прыгали, или принимали какіе-то чудовищные размѣры и формы. Наконецъ, не видя и не слыша ничего, кромѣ тяжкаго звона въ ушахъ и смутныхъ рябыхъ призраковъ передъ глазами, я машинально вытащился на улицу, чтобы прохладить запекающуюся грудь свѣжимъ дыханіемъ утра.

Но я не могъ оторваться отъ дома, въ которомъ заключалось мое бытіе. Весь этотъ день ходилъ я вокругъ него. Сто разъ взбирался по знакомой лѣстницѣ на четвертый этажъ, сто разъ останавливался передъ запертою дверью, пробовалъ отворить ее и, встрѣчая сопротивленіе, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ и опять безчувственно спускался съ лѣстницы. Думаю, что я проходилъ бы такъ и всю ночь, если бъ въ сумерки Анзельмо не отыскалъ меня, стоявшаго у дома насупротивъ, съ глазами дико впереннными назавѣтныя, глухо скрытыя извнутри окна.

Не знаю, нарочно ли онъ искалъ меня, или замѣтилъ, проходя мимо случайно. Знаю только, что онъ привелъ меня домой и насильно втащилъ въ комнату мою, заперъ, расположась самъ на всякій случай провести ночь въ передней комнатѣ. Предосторожность не излишняя! Изъ глубокаго безчувствія я быстро переходилъ въ изступленіе, и тогда въ бѣшенствѣ стучалъ и ломился въ двери.

Къ утру я успокоился отъ истощенія силъ. Я лежалъ, нераздѣтый, растянувшись на постелѣ, когда Анзельмо вошелъ ко мнѣ. Онъ вынулъ изъ-за пазухи бумагу, и подалъ мнѣ.

Все существо мое потряслось, словно отъ гальваническаго удара. Я угадалъ въ мигъ бумагу. Это было письмо Анджелики.

Несчастная знала также свою судьбу, рѣшенную такъ жестоко матерью. Но она, слабое созданіе, сохранила больше твердости и присутствія духа, нежели я. Она писала, что Само Провидѣніе благословляетъ нашу лю-

бовь, что теперь мы сдѣлались еще равнѣе, для того, чтобы тѣмъ исключительнѣе и безусловнѣе жить только другъ въ другѣ. Она заключила свое письмо радостнымъ восклицаніемъ:

«Теперь я уже не могу ни въ чемъ завидовать тебѣ, Сильвіо! У меня только и было, что мать. Я жертвую ею для тебя! —»

Жизнь моя вдругъ вся возобновилась. Я вскочилъ на ноги, и, объятый восторгомъ, подалъ письмо Анзельмо.

Послѣ я строго разбиралъ всѣ мои чувства, сколько я могъ ихъ припомнить, въ томъ числѣ и это движеніе. Оно, вѣрно, удивляетъ васъ. Какъ могъ я рѣшиться продолжать имѣть довѣренность къ человѣку, котораго оскорблялъ самымъ гнуснымъ подозрѣніемъ, ради котораго навлекъ на себя проклятіе матери? Гораздо удивительнѣе было, какъ я рѣшился открыться ему въ первый разъ? Но, сдѣлавши это въ минуту увлеченія, съ тѣхъ поръ, при видѣ его, я видѣлъ только единственнаго повѣреннаго моей роковой тайны, въ душу котораго невольно выливалась душа моя. Я не видѣлъ въ немъ ничего болѣе, особенно въ эти ужасныя минуты, когда самый образъ матери моей былъ отброшенъ въ дальній, темный уголъ моей души, откуда если и выглядывалъ, то неопредѣленнымъ страшилищемъ, которое прояснять я не имѣлъ ни желанія, ни силы, весь поглощенный другимъ, безпредѣльнымъ чувствомъ.

Какъ бы то ни было, только я пожиралъ жадными взорами Анзельмо, пока онъ читалъ это письмо, и, задерживая дыханіе, дожидался его отвѣта. Онъ читалъ медленно, со всѣмъ вниманіемъ. Потомъ сложилъ письмо,

и отдалъ мнѣ, не говоря ни слова. Онъ только смотрѣлъ на меня глазами, въ которыхъ изображалось чувство.

«Что жъ?» вскричалъ я, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.

«Такая любовь,» отвѣчалъ Анзельмо, «не можетъ быть внушеніемъ адскимъ.

«Стало быть, я не безумецъ, когда рѣшился соединиться съ ней и умереть!

«Нѣтъ, графъ!» возразилъ Анзельмо вдохновенный: «вы должны соединиться — и жить!.... Богъ благословитъ васъ!»

Разумѣется, я кинулся на шею Анзельмо. Слезы, радостныя слезы облегчили мою душу и смыли въ ней послѣднія пятна мрака. Я опять жилъ и блаженствовалъ.

Въ ту же минуту набросалъ я отвѣтъ къ Анджеликѣ, въ которомъ, раздѣляя ея радость, что мы теперь оба равно отвержены всѣмъ, что ни имѣли на свѣтѣ, и потому равно свободны, извѣщалъ ее, что беру мѣры къ немедленному соединенію нашей судьбы вѣчными, неразрывными узами. Анзельмо самъ вызвался уговорить одного священника, своего знакомаго, обвѣнчать насъ тайно, безъ всѣхъ формъ, предписываемыхъ гражданскими законами.

О графинѣ я рѣшительно не думалъ въ это время. Я даже не навѣдывался объ ея здоровьѣ. Съ своей стороны и она оставляла меня въ совершенномъ покоѣ.

Но скоро блаженство мое опять затмилось. Отвѣтъ Анджелики не имѣлъ уже той твердости, какъ ея первое письмо. Она испугалась быстрой, крутой развязки,

которую я предложилъ ей. Обязанности дочери вступили въ бой съ изступленіемъ любви. Она не отвергала моего предложенія, но умоляла меня отсрочить на нѣсколько дней его исполненіе.

«Сильвіо!» писала она. «Мать моя не прокляла меня. Она, «напротивъ, плачетъ со мною; она сдѣлалась опасно больна. «Я пожертвовала ею тебѣ. Я люблю тебя больше, чѣмъ ее. «Люблю и буду любить, не смотря на ея запрещеніе. Но дол«жна ли я уморить ее своимъ побѣгомъ? Да, побѣгомъ! Это «имя того, что ты мнѣ предлагаешь! О! зачѣмъ я, зачѣмъ «мы оба, ты и я, не въ могилѣ? Тамъ только возможно для «насъ счастіе!»

Анзельмо явился моимъ утѣшителемъ, когда это письмо снова погрузило меня въ бездну отчаянія. Онъ говорилъ, что эта потеря мужества, при внезапномъ приближеніи развязки, весьма естественна въ сердцѣ дѣвственномъ, чистомъ, непорочномъ. Но съ тѣмъ вмѣстѣ прибавлялъ, что при такой силѣ любви, сопротивленіе не можетъ быть продолжительно, что Анджелика, пріучась къ мысли о необходимости этой единственной мѣры даровать мнѣ блаженство, не замедлитъ осчастливить меня полною, безусловною рѣшимостью на предложеніе, которое сама же мнѣ внушила. Онъ былъ правъ, и я ему повѣрилъ.

Такъ прошло три дня. Въ продолженіе ихъ я получилъ шесть писемъ отъ Анджелики. Борьба ея не прекращалась, хотя любовь брала явный перевѣсъ надъ чувствами дочерняго долга. Но я самъ началъ бояться, не достанется ли ей эта побѣда цѣною жизни. Во мнѣ стали возникать порывы самоотверженія. Я рѣшался

прекратить пытку, которой подвергалъ ее; рѣшался отказаться отъ ней, и искать прекращенія своихъ страданій смертью, не безъ темной, корыстной надежды, что и она не замедлитъ послѣдовать за мною во гробъ, гдѣ въ самомъ дѣлѣ оставалась для насъ единственная надежда успокоенія....

Въ ночь на четвертый день Анзельмо вбѣжалъ ко мнѣ, встревоженный, задыхаясь отъ страха.

«Не умерла ли она?» вскричалъ я.

«Сильвіо, мой безцѣнный Сильвіо!» отвѣчалъ онъ, прерывающимся голосомъ. «Господь любитъ тебя, потому что хочетъ провести твою душу сквозь горнило, семь разъ раскаленное! Она здорова. Но ты, самъ ты стоишь на краю гибели! Связи твои, которыхъ невинность извѣстна Богу, связи съ прежнимъ обществомъ нашихъ коварныхъ друзей открыты. Злодѣи вѣроятно оклеветали тебя, чтобы имѣть злобное удовольствіе не однимъ погибнуть. Завтра ночью ты будешь арестованъ. Это извѣстіе сообщено мнѣ изъ Вѣны. Оно послано нѣсколькими часами прежде курьера, который долженъ привести роковое повелѣніе.»

Волосы поднялись дыбомъ на моей головѣ. Холодный потъ капалъ съ лица крупными каплями. Я думалъ не о себѣ, но объ Анджеликѣ. Что сталось бы съ ней, еслибъ за три дня она послушалась меня и была уже моею женою?... Я призналъ перстъ Провидѣнія во всѣхъ нитяхъ моей судьбы. Это возвратило мнѣ все мужество души, вооружило меня внезапною, непоколебимою твердостью.

«А ты, Анзельмо, самъ ты?» спросилъ я его. «А графиня?

«Неожиданнымъ, неизъяснимымъ чудомъ, жребій миновалъ наши головы и обрушился только надъ твоею, сынъ мой!» отвѣчалъ онъ, глухо рыдая.

«Если такъ,» продолжалъ я, «то благодареніе Богу! Я одинъ ничего не боюсь за себя. Я слишкомъ знаю свою невинность.

«О! не обольщайся этою мечтой благороднаго сердца, сынъ мой!» вскричалъ Анзельмо. Прежде, нежели твоя невинность откроется, Венеціянскія піомби изсушатъ твой мозгъ, растопятъ черепъ! Одно средство, къ которому я заклинаю тебя прибѣгнуть, заклинаю, если не для тебя самаго, то для Анджелики, которая не перенесетъ твоего бѣдствія, не доживетъ до твоего оправданія, это — искать спасенія въ поспѣшномъ бѣгствѣ! Предоставь намъ, любящимъ тебя, открыть твою невинность и, съ помощію Бога милостиваго и правосуднаго, сократить время твоего изгнанія.»

Я задумался. Первая мысль, овладѣвшая мною, была та, что мое удаленіе будетъ только продолженіе той отсрочки, о которой умоляла меня Анджелика, и которую я рѣшался даже превратить въ совершенное отреченіе. Самъ Богъ посылалъ мнѣ этотъ случай, чтобы дать бѣдной дѣвушкѣ время перевесть духъ и примирить свое терзаемое сердце. Но я не хотѣлъ ничего скрывать отъ ней. Я взялъ перо и имѣлъ мужество написать къ ней длинное, проникнутое всевозможнымъ спокойствіемъ письмо, въ которомъ увѣдомлялъ ее о постигшей меня напасти, о необходимости предотвратить тягчайшее

бѣдствіе скорымъ удаленіемъ, заклиналъ ее не предаваться отчаянію, увѣряя въ своей невинности, которая раньше или позже, но должна открыться, просилъ терпѣливо покориться этому новому удару судьбы, который можетъ быть обращенъ ею во благо, даруя время и случай испытать свѣтлымъ, невозмущеннымъ взоромъ будущность, для насъ неизбѣжную. Я боялся оскорбить ея глубокую чувствительность малѣйшимъ намекомъ подозрѣнія и возможности какой-либо перемѣны ея чувствъ. Напротивъ, писалъ, что теперь болѣе чѣмъ когда либо имѣю къ ней безпредѣльную вѣру, что испытаніе разлуки, впрочемъ необходимой, считаю нужнымъ только для умиротворенія въ душѣ ея двухъ враждующихъ стихій, изъ которыхъ напередъ знаю, которая одержитъ верхъ, и желаю лишь, чтобъ это произошло не насильственно, не разрушительно.

Но, прибавилъ я въ заключеніи, если бъ неиспытанная десница Промысла отяготѣла надо мною, если я останусь навсегда подъ преслѣдованіемъ правосудія, то самая безпредѣльность любви моей возлагаетъ на меня тяжкую, но священную обязанность, въ такомъ случаѣ разрѣшить судьбу ея отъ моей и не принимать высокаго самоотверженія, съ которымъ она захотѣла бы раздѣлить мою погибель.

Кончивъ письмо, я отдалъ его Анзельмо, прося вмѣстѣ съ тѣмъ принять на себя трудъ подумать о средствахъ предполагаемаго побѣга и даже сдѣлать къ тому нужныя приготовленія, впрочемъ со всѣми предосторожностями, чтобы отклонить отъ него всякое подозрѣніе въ участіи.

Отпустивъ Анзельмо, я принимался нѣсколько разъ написать прощальное письмо къ матери, которой не видалъ и о которой не слыхалъ ничего со времени роковой сцены. Но что я могъ написать къ ней? Изъ совершеннаго забвенія ея обо мнѣ въ продолженіе четырехъ дней, явно было, что ея гнѣвъ неумолимъ. Добрый ангелъ мой шепталъ мнѣ, что мой долгъ явиться къ ней и молить ее, если не о прощеніи оскорбленій, нанесенныхъ ей моею страстью, то о снятіи ужаснаго проклятія, котораго зловѣщій гулъ не переставалъ отдаваться въ моей душѣ, при всѣхъ испытанныхъ мною волненіяхъ. Но тутъ явилась гордость, дьявольская гордость. Не покажется ли это слѣдствіемъ разразившагося надо мной бѣдствія? Не причтется ли къ подлому отступленію съ поля битвы при сшибкѣ съ опасностями, при осуществленіи тѣхъ лишеній, къ которымъ я прежде изъявлялъ такое надменное презрѣніе? Я дралъ уже десятый листъ, на которомъ начиналъ писать и останавливался при первомъ словѣ, какъ Анзельмо возвратился. У него былъ отвѣтъ Анджелики.

Отвѣтъ этотъ состоялъ изъ нѣсколькихъ строкъ, но которыя излились изъ души въ послѣдней степени героическаго самоотверженія. Дрожащею рукой, но съ безтрепетнымъ мужествомъ, Анджелика писала, что теперь нѣтъ уже никакой борьбы въ ея сердцѣ, что въ настоящихъ обстоятельствахъ всякое колебаніе со стороны ея было бы лютѣйшее преступленіе, что въ нынѣшнюю же ночь она ждетъ меня у колоннъ Сан-Лоренцо, откуда отправится со мной всюду, куда бы ни повела меня судьба; только — присовокупляла она въ

концѣ — не иначе, какъ супругою, которой вѣчный союзъ со мной освященъ благословеніемъ Всевышняго!...

Я чуть не задохся отъ восторга. Анзельмо бросился тотчасъ самъ къ священнику, который жилъ въ подгородной деревнѣ, недалеко отъ Комской дороги. Я дожидался его и роковой ночи, какъ праздника. Мысль о матери уже болѣе меня не тревожила.

Наконецъ пришелъ вожделѣнный вечеръ. Все было приготовлено: и священникъ, и лошади, и паспортъ подъ чужимъ именемъ. Анзельмо хотѣлъ непремѣнно проводить меня не только изъ города, но и до капеллы, гдѣ долженъ былъ совершиться нашъ бракъ, актъ котораго уже былъ изготовленъ священникомъ. Но я рѣшительно воспротивился тому, тѣмъ болѣе, что по извѣстію, имъ полученному, въ ту же ночь должно было ожидать посѣщенія нашего дома, при чемъ отсутствіе его возбудило бы неизбѣжныя подозрѣнія.

За-свѣтло еще я уже находился у древнихъ развалинъ, извѣстныхъ подъ именемъ колонны Сан-Лоренцо. Наступили сумерки. Потомъ смерклось. Меня бросала въ ознобъ и въ жаръ лихорадка нетерпѣнія. Я вслушивался въ каждый шорохъ, содрогался при каждой перелетной тѣни. Анджелики не было. Пробило полночь — Анджелики нѣтъ. Часъ, два, три — ни слуху, ни духу. Ночь была холодная, декабрьская. Луна едва продиралась сквозь густыя облака, терзаемыя пронзительно свистящимъ вѣтромъ. Но я не чувствовалъ ничего. Ударило четыре часа. Слышу шелестъ скорыхъ шаговъ, приближающихся ко мнѣ. Жилы мои напря-

глись. Кровь прилила къ сердцу. Черезъ миниту обрисовалась передо мною человѣческая тѣнь. Это былъ Анзельмо.

«Вы еще здѣсь, графъ!» вскрикнулъ онъ шопотомъ, боязливо озираясь вокругъ. «Сердце мое не даромъ вѣщевало.

«Какъ видишь!» отвѣчалъ я мрачно.

«О! бѣгите, бѣгите сію же минуту!» продолжалъ онъ, дрожа всѣми членами.

«Я не ступлю съ мѣста — умру здѣсь — пока не дождусь ея!

«Но васъ ищутъ уже... Домъ вашъ сейчасъ былъ окруженъ солдатами, обысканъ сверху до низу полиціей... Служители показали единогласно, что вы сошли со двора еще передъ вечеромъ... Сбиры поскакали въ домы вашихъ знакомыхъ... Спасайтесь немедленно!... Я боюсь, не задержали бы васъ въ городскихъ воротахъ... Желаніе удостовѣриться, спасены ли вы, заставило меня броситься сюда, тотчасъ по окончаніи обыска... Бѣгите, заклинаю васъ!... Что нибудь непредвидѣнное задержало Анджелику... Но она исполнитъ свое слово... Я остаюсь здѣсь... Я препровожу ее въ вамъ, куда вы назначите... только, ради Бога, въ отдаленное, безопасное убѣжище... всего лучше во Францію, куда вы располагались и прежде... Бѣгите... На колѣнахъ умоляю васъ!..»

И онъ въ самомъ дѣлѣ бросился передо мною на колѣна, сложа жалостно руки.

«Нѣтъ!» отвѣчалъ я. «Моя воля непреложна. Я сказалъ, что не сдѣлаю шага, пока не увижу ея.

«Такъ вы хотите, чтобъ эта бѣдная дѣвушка прочла завтра извѣстіе объ вашемъ арестѣ — и сошла съ ума, или кинулась въ окошко! — Ахъ! Сильвіо!» прибавилъ онъ укоряющимъ голосомъ. «Вы не умѣете любить. Бросаясь добровольно въ пропасть, вы не хотите и думать, что влечете за собой другое существо, котораго вся вина въ томъ, что оно любитъ васъ. Ваша любовь не животворный, небесный свѣтъ, но адское, истребительное пламя..!»

Я содрогнулся. Анзельмо вскочилъ и схватилъ меня за руки.

«Можетъ быть, еще не поздо!» шепталъ онъ, увлекая меня.

Я допустилъ его тащить себя, точно какъ ягненокъ, котораго ведутъ на закланіе. Мы достигли до Комскихъ воротъ, за которыми дожидались приготовленныя лошади. Насъ остановили. Анзельмо объявилъ себя священникомъ, отправляющимся для исправленія требъ въ одну изъ сосѣднихъ деревень, по распоряженію архіепископа, и показалъ какую-то бумагу, которая вѣроятно подтвердила его слова. Такъ какъ я одѣтъ былъ въ грубое крестьянское платье, то онъ выдалъ меня за присланнаго изъ деревни, для того, чтобы пригласить и проводить его. Насъ пропустили.

Шагахъ во ста отъ воротъ, у обнаженнаго зимою тополя, стояли двѣ верховыя лошади съ проводникомъ. Анзельмо приблизился къ нему, назвалъ его въ полголоса по имени, и, когда тотъ отозвался, сдалъ ему меня на руки. Не помню, какъ я простился съ нимъ. Не помню, какъ мы свернули съ Комской большой дороги. Безъ

сомнѣнія, проводникамъ заплачено было предварительно, потому, что они передавали меня другъ другу, не безпокоя никакими требованіями, тѣмъ менѣе распросами. Въ Лавено, куда мы добрались къ вечеру, меня посадили на маленькую лодочку и ночью, по бунтующимъ волнамъ озера, привезли въ Палланцу. Я очувствовался вполнѣ уже на чужой землѣ!

Такъ какъ было условлено, чтобы Анзельмо адресовалъ ко мнѣ письма въ Парижъ, то я, не медля ни минуты, для того только, чтобы получить скорѣе извѣстіе объ Анджеликѣ, отправился далѣе, и черезъ восемь дней послѣ побѣга изъ Милана находился уже въ столицѣ Франціи.

Прошло еще пять ужасныхъ дней, и я получилъ письмо, адресованное на принятое мной подложное имя. Тутъ была вложена записка отъ Анджелики, записка, исполненная горестнаго отчаянія. Въ роковую ночь мать ея подверглась внезапнымъ припадкамъ разстроенныхъ нервовъ. Она не могла отойти отъ ея постели съ вечера до бѣла дня. Записка заключалась страшнымъ заклятіемъ бѣжать ко мнѣ, какъ скоро госпожа Фейстрицъ оправится хоть сколько нибудь. Съ тѣмъ вмѣстѣ она умоляла меня подтвердить моему повѣренному, чтобы онъ готовъ былъ всякую минуту доставить ей возможность исполнить непреложное рѣшеніе, въ которомъ отнынѣ сосредоточена вся ея жизнь. Я перевелъ духъ, и уже спокойно развернулъ письмо Анзельмо. Съ душевною скорбію извѣщалъ онъ меня, что графиня, на другой день послѣ моего побѣга, отреклась отъ меня торжественно и объявила меня лишеннымъ ея име-

ни и наслѣдства... Я остался и остаюсь до сихъ поръ подъ всею тяжестью материнскаго проклятія...

«Но разсудите сами» — продолжалъ монахъ, устремивъ на насъ твердый, мужественный взглядъ: «разсудите внимательно и безпристрастно: не самъ ли я заслужилъ свою участь? Послѣ мнѣ не разъ случалось слышать мою исторію, въ родѣ любопытнаго анекдота, отъ людей, которые не подозрѣвали, какъ близко она до меня касается. Я видѣлъ, что никто не знаетъ ея истинно: всякій обезображивалъ и переиначивалъ ее либо выпусками, либо прибавленіями. Но общее мнѣніе, какъ я замѣтилъ, было не въ пользу моей матери: жалѣли обо мнѣ; меня считали жертвою темныхъ козней Анзельмо и противоестественнаго безчеловѣчія графини. Ты самъ, Джюліо, ты дивишься моимъ добродѣтелямъ и высокому самоотверженію; ты отзываешься о домѣ матери моей съ негодованіемъ и проклятіями. Теперь видишь, какъ обманчива наружность. Что значитъ мое самоотверженіе? Чего оно могло стоить мнѣ, когда меня все отвергло еще прежде? Великъ подвигъ — объявить презрѣніе и отвращеніе къ жизни, которая уже предупредила васъ своимъ презрѣніемъ и отвращеніемъ! — Нѣтъ! не добродѣтелямъ моимъ должны вы дивиться, а милосердію Промысла, дозволяющаго мнѣ скитаться по землѣ, чтобы загладить достойнымъ раскаяніемъ буйства и преступленія моей прежней жизни! — Вы сегодня видѣли мою мать. Изъ словъ твоихъ, Лекки, я понялъ, что ея жизнь есть тяжкое страданіе. Кто отравилъ эту жизнь? Тотъ, кому слѣдовало быть ея украшеніемъ, счастіемъ, блаженствомъ! — Нѣтъ! не

я, но она заслуживаетъ благоговѣйнаго сострадания! Я по крайней мѣрѣ самъ назвался на свою судьбу... А она!....»

Сильвіо умолкъ.

Лекки смотрѣлъ на него грустно, не отвѣчая ни слова.

«Но Анджелика?» вскричалъ я, не могши удержать себя. «Анджелика?... Что сдѣлалось съ этимъ прелестнымъ созданіемъ?»

Сильвіо улыбнулся горько.

«Она умерла?» продолжалъ я.

«Не знаю,» отвѣчалъ онъ, подавляя горечь своей улыбки. «Я не видалъ ея уже семь лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ Парижъ.

«Такъ вы увидѣли ее въ Парижѣ? Она нашла васъ?»

«Нѣтъ,» продолжалъ Сильвіо, возвращая всю свою кротость. «Она и не искала меня. Я нашелъ ее случайно глазами въ ложѣ Италіянскаго Театра. Это было черезъ годъ послѣ нашей разлуки. Она была уже тогда маркизой Рокка.

«Маркизой Рокка!» вскричали мы оба съ Лекки въ одно слово.

«Да! Что жъ тутъ удивительнаго? То есть, женой маркиза Рокка.»

Мы оба остолбенѣли.

«И ты не разорвалъ на части, не растопталъ въ прахъ гнусное, презрѣнное, отвратительное созданіе?» закричалъ Лекки, переходя отъ изумленія къ бѣшенству.

«Во первыхъ, любезный мой Джюліо, я не могъ этого сдѣлать, если бъ и почувствовалъ къ тому поползно-

веніе. Въ то время, какъ я нечаянно увидѣлъ Анджелику въ ложѣ съ матерью, я держалъ вторую скрыпку въ оркестрѣ Италіянскаго Театра, одушевляемый сладостною надеждою быть принятымъ въ составъ его, чтобы не умереть съ голоду. Деньги, которыя я привезъ съ собою въ Парижъ, были такъ не велики, что ихъ едва достало мнѣ на три или на четыре мѣсяца. Со второю еще почтою Анзельмо прислалъ мнѣ довольно значительный вексель, говоря, что онъ получилъ его отъ графини для богоугоднаго употребленія и что считаетъ невозможнымъ употребить его лучше и сообразнѣе съ цѣлію самой графини, какъ препроводивъ ко мнѣ. Я имѣлъ гордость возвратить его назадъ, отозвавшись, что считаю непозволительнымъ принять эти деньги какъ ссуду, потому, что не предвижу возможности возвратить ихъ, въ милостынѣ же не имѣю нужды, потому, что имѣю голову и руки, которыми могу работать и кормить себя. Съ тѣмъ вмѣстѣ написалъ я и къ Анджеликѣ, чтобъ она отложила до времени желаніе со мною соединиться, что я теперь долженъ сосредочить всѣ мои силы для обезпеченія ей и мнѣ средствъ существованія въ будущемъ, при чемъ достаточно ея свѣтлаго образа, неизгладимо запечатлѣннаго въ душѣ моей, чтобы укрѣплять меня. Конечно, Анзельмо оскорбился моимъ отвѣтомъ: съ тѣхъ поръ онъ не писалъ мнѣ болѣе. Конечно, Анджелика, потерявъ въ немъ единственное средство, чрезъ которое могла сноситься со мной, не была въ состояніи найти другаго; съ тѣхъ поръ я не получалъ и отъ ней писемъ, хотя самъ писалъ нѣсколько разъ, адресуя на имя самой госпожи Фейстрицъ.

Скоро почувствовалъ я слѣдствія своей гордости. Голова и руки у меня были, но я не могъ сыскать имъ работы. Я хотѣлъ давать уроки Италіянскаго языка: для этого нужна была нѣкоторая извѣстность и знакомство. Думалъ сдѣлаться портретистомъ — та же неудача. Наконецъ представился мнѣ случай примкнуть къ шайкѣ музыкантовъ, которые гудѣли по трактирамъ за заставами, на гуляньяхъ и семейныхъ праздникахъ въ предмѣстіяхъ Парижа. Тутъ увидѣлъ меня віолончелистъ Италіянскаго Театра, знакомый съ дирекгоромъ или лучше подрядчикомъ нашей сволочи. Онъ замѣтилъ, что я играю не дурно, а держу себя и очень хорошо. Я счелъ его посланникомъ неба и ухватился за него обѣими руками. Но чѣмъ болѣе выигрывалъ я благосклонность моего новаго покровителя, тѣмъ болѣе терялъ въ мнѣніи моего хозяина и товарищей, которые видѣли во мнѣ безпокойнаго интригапта, снѣдаемаго безумнымъ честолюбіемъ; ктому жъ, я не скрывалъ презрѣнія моего къ ихъ обществу. Въ одно утро мнѣ отказали ни за что, ни про что, и пустили на всѣ четыре стороны. Я обратился къ благодѣтельному віолончелисту, который на первый разъ доставилъ мнѣ случай зарекомендовать себя, занявъ въ слѣдующемъ представленіи мѣсто заболѣвшей внезапно второй скрыпки. Я работалъ смычкомъ со всѣмъ вдохновеніемъ отчаянія, какъ вдругъ въ антрактѣ, блуждая глазами по театру, увидѣлъ Анджелику. Руки мои затряслись, голова закружилась. Я безпрестанно сбивался съ такта, бралъ фальшиво, однимъ словомъ, поролъ дичь и мутилъ оркестръ къ соблазну публики и къ справедливой яро-

сти капельмейстера, который не разъ покушался раздробить меня въ прахъ своимъ повелительнымъ скипетромъ. Впрочемъ, я нисколько не безпокоился этимъ. Глаза мои были прикованы къ ложѣ. Кажется, и Анджелика меня замѣтила. Она шепнула что-то матери, которая обратилась на меня, встала и тотчасъ увела ее изъ ложи. Это меня дорѣзало до конца; я вовсе опустилъ руки, смычекъ и скрыпку. Разъяренный капельмейстеръ подошелъ къ моему благодѣтелю и громко осыпалъ его упреками, что онъ ввелъ въ оркестръ пьяницу или съумасшедшаго: эти два слова повторилъ онъ нѣсколько разъ, пожирая меня сверкающими отъ бѣшенства глазами. Віолончелистъ не отвѣчалъ ни слова: его точно жарили на маломъ огнѣ. По окончаніи пьесы, не обращая вниманія ни на что, я побѣжалъ вверхъ и добился кое-какъ отъ капельдинеровъ, что роковая ложа абонирована маркизомъ Рокка на всю зиму. Маркизъ Рокка былъ мой дальній родственникъ и добрый пріятель. Мнѣ блеснула мысль, что онъ, узнавъ мою тайну, можетъ быть, отъ Анзельмо, взялся привезти ко мнѣ Анджелику и ея мать. Я отыскалъ его квартиру. Но костюмъ мой въ то время былъ уже такъ непредупредителенъ, что швейцаръ грубо отказалъ принять меня, когда я явился къ дверямъ великолѣпной отели, нанимаемой маркизомъ Рокка. Я отдалъ ему лоскутокъ, оторванный отъ нотной тетради, на которомъ карандашемъ написалъ свое настоящее имя, умоляя его передать этотъ лоскутокъ маркизу Рокка, потому, что швейцаръ не понималъ и смотрѣлъ на меня во всѣ глаза, когда я сначала говорилъ ему, чтобы онъ передалъ это

дѣвушкѣ, которая живетъ у маркиза съ матерью. Къ вечеру, возвращаясь опять, швейцаръ еще грубѣе объявилъ мнѣ, что записку мою взяла у него сама госпожа маркиза и что потомъ мать ея, госпожа Фейстрицъ, выслала сказать ему, чтобъ онъ извѣстилъ меня, въ случаѣ возвращенія, что ни маркизъ, ни маркиза не могутъ меня видѣть. Тутъ ужъ я выпучилъ безумно глаза на облитаго золотомъ грубіяна. Но недоумѣніе мое было непродолжительно. Къ дверямъ отсли подъѣхала карета. Лакей сбѣжалъ поспѣшно съ лѣстницы, крикнувъ швейцару «господинъ маркизъ и госпожа маркиза!» Я прислонился къ стѣнѣ дома, оттолкнутый не очень почтительно лакеемъ. Изъ дверей выпорхнула Анджелика, поддерживаемая моимъ кузиномъ Рокка, и скрылась въ карету; маркизъ послѣдовалъ за нею, и карета помчалась. Думаю, что маркиза меня не замѣтила.»

«И вы перенесли это равнодушно?» вскричалъ я.

«О, нѣтъ,» отвѣчалъ Сильвіо. «Это было выше моихъ силъ въ то время. Полагаю, что меня подняли на улицѣ, потому, что я очнулся уже въ Божьемъ Домѣ, спустя нѣсколько недѣль, выдержавъ всѣ ужасы нервической горячки, и потому, что тамъ не знали ни моего ремесла, ни имени, которое я принялъ, ни квартиры. Выздоравливая тѣломъ, я все еще долго не могъ выздоровѣть душею. Въ больницѣ изъявилъ я монаху, который находился при домѣ, желаніе отречься отъ свѣта: это еще было внушеніемъ отчаянія. Монахъ извѣстилъ о томъ викарія, къ которому былъ вхожъ, а тотъ архіепископа. Меня отправили въ Римъ, чтобы тамъ пройти искусъ и произнести обѣты; кажется, причиною такой благо-

склонности было замѣченное во мнѣ образованіе: настоящаго имени и званія своего я не открывалъ никому, даже на исповѣди; а чтобъ затерять всѣ слѣды, по которымъ можно бъ было какъ нибудь добраться до моего существованія, я взялъ мѣры, чтобъ и подъ тѣмъ именемъ, которое я принялъ, меня показали умершимъ въ Божьемъ-Домѣ. Разумѣется, я отправился въ Римъ моремъ, чтобы миновать Ломбардію, гдѣ могли еще меня признать. Произнеся вѣчные обѣты, послѣ срока, значительно для меня сокращеннаго, я самъ вызвался ѣхать въ миссію на Востокъ: тутъ опять было еще желаніе размыкать безотрадное горе души, или найти поскорѣе конецъ своей жизни и страданіямъ. Уже послѣ долгихъ, тягостныхъ бореній съ собою, я достигъ наконецъ того спокойствія, въ которомъ вы меня видите. Оно было слѣдствіемъ убѣжденія, что Анджелика вовсе не виновата ни передъ собою, ни передо мною; что я самъ былъ слишкомъ безразсуденъ, сосредочивъ все свое бытіе, заключивъ все свое блаженство въ такомъ слабомъ, непадежномъ созданіи, какова женщина, что страсть Анджелики была точно самообольщеніе, какъ замѣчала весьма справедливо ея мать, — самообольщеніе, неимѣвшее и не могшее имѣть столько прочности, что бы устоять противъ тысячи мелкихъ обстоятельствъ жизни, которыхъ сила всемогуща и не надъ женскимъ сердцемъ, сердцемъ, слѣпленнымъ изъ самой тонкой, самой чистой, и потому самой хрупкой глины... Да! теперь я совершенно спокоенъ. И вотъ вамъ доказательство...»

Онъ поднялъ розарій, и показалъ намъ вплетенное

въ немъ кольцо, перевитое черными, какъ смоль, волосами.

«Это,» продолжалъ онъ, «получилъ я отъ Анджелики въ ту минуту, когда мать ея изрекла надъ нами свое благословеніе. Тысячу разъ покушался я истребить его, вмѣстѣ съ другими остатками моего погибшаго счастія, вмѣстѣ съ письмами ея, которыя хранилъ только до постриженія. Но у меня не доставало рѣшимости въ минуту исполненія. Оно прожигало мою грудь, на которой я скрывалъ его, и однако я не имѣлъ силы разстаться съ нимъ. Благодареніе и за то Промыслу, Который все устрояетъ во благо! Если бъ я истребилъ этотъ послѣдній остатокъ моего прошедшаго, у меня не было бы оселка, на чемъ повѣрять мою душу. Теперь это кольцо всегда подъ моими руками, и оно уже не жжетъ меня. Напротивъ, всякой разъ, когда, во время молитвы, оно попадается мнѣ подъ пальцы, я произношу имя дѣвушки, которая нѣкогда столько меня любила, и молю Господа, да даруетъ Онъ ей счастіе, которымъ она хотѣла меня осчастливить и которое теперь не возбуждаетъ во мнѣ ни сожалѣнія, ни зависти...

«Вы не человѣкъ, а ангелъ!» произнесъ я, глубоко растроганный.

«Далеко не ангелъ», отвѣчалъ Сильвіо добродушно: человѣкъ — больше, чѣмъ вы думаете! — Нѣтъ!» продолжалъ онъ съ тихою грустью: «человѣкъ не можетъ быть ангеломъ. Пока носитъ онъ на себѣ эту земную оболочку, сердце его не можетъ совершенно оторваться отъ земли. Не дальше, какъ нынче утромъ, я дознался это на себѣ тяжкимъ опытомъ. Я нисколько не возму-

тился, когда, по возвращеніи съ Востока, генералъ Ордена назначилъ мнѣ пребываніемъ монастырь, куда я не могъ иначе достигнуть, какъ черезъ мѣста, ознаменованныя для меня столькими воспоминаніями. Третьяго дня я хладнокровно вошелъ въ Миланъ и прошелъ мимо того дома, гдѣ жила Анджелика, мимо тѣхъ колоннъ, гдѣ дожидался ея въ послѣднюю ночь, черезъ тотъ перекрестокъ, на которомъ увидѣлъ ее въ первый разъ. Но нынче, когда, идучи по берегу озера, я остановился передъ виллой, которой видъ какъ-то особенно занялъ меня, и когда прохожій, у котораго я имѣлъ любопытство спросить объ ней, произнесъ имя графини Оспедалетто — признаюсь, смертный холодъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ, я едва не упалъ на мѣстѣ. По счастію, рыбакъ, который спускалъ свою лодку на воду не вдалекѣ, завидѣвъ меня, подошелъ взять благословеніе и, чтобъ начать день благимъ дѣломъ, поусердствовалъ предложить, не угодно ли мнѣ ѣхать на Изолы? Я бросился стремглавъ съ земли, которая тряслась и зіяла подъ моими ногами. Добившись отъ меня, что я пробираюсь въ Локарно, рыбакъ увѣдомилъ меня о скоромъ прибытіи парохода, который обязанъ перевозить святыхъ мужей безмездно. Онъ хотѣлъ высадить меня въ гостиницѣ Изолы-Беллы; но какъ я сказалъ, что желалъ бы уединенія, совершеннаго уединенія, то онъ привезъ меня въ ту пещеру, гдѣ вы нашли меня, обѣщавшись завернуть въ гостиницу и дать знать транспортной лодкѣ, чтобъ она заѣхала за мною. Думаю, что видъ, въ которомъ я вамъ представился, не предупредилъ васъ въ мою пользу. Я, вѣрно, показался вамъ

привидѣніемъ, вырвавшимся изъ пещеръ ада. Да! адъ точно свирѣпствовалъ тогда въ моей душѣ. И я чувствую теперь, что совершенное успокоеніе далеко еще меня, что оно и не будетъ никогда моимъ удѣломъ, пока надо мной тяготѣетъ клятва матери. Всѣ сладости рая я готовъ теперь отдать за ея прощеніе, за ея благословеніе...

Лекки бросился къ нему на шею, съ глазами, наполненными слезъ.

«Ты точно человѣкъ, Сильвіо,» вскричалъ онъ: «но человѣкъ великій!»

Сильвіо съ кротостію освободился изъ его объятій; потомъ посмотрѣлъ на насъ, посмотрѣлъ на догорѣвшія почти свѣчи, взглянулъ на столовые часы, которые показывали уже далеко за полночь, и сказалъ:

«Но я слишкомъ употребилъ во зло вашу снисходительную внимательность. Вамъ пора успокоиться, давно пора. Позвольте пожелать вамъ доброй ночи — а вамъ,» примолвилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: «и добраго пути. Завтра рано отправляюсь я въ монастырь. Конечно, вы болѣе меня не увидите. Господь да благословитъ жизнь вашу!»

Молча поклонился я ему, пожалъ руку и повиновался Лекки, который, также молча, отворилъ сосѣднюю дверь, и указалъ мнѣ комнату, гдѣ я долженъ былъ провести остатокъ ночи.

—

УЗЕЛЪ ВМѢСТО РАЗВЯЗКИ.

На другой день, проснувшись часовъ въ девять, я точно не нашелъ уже монаха. Онъ ушелъ еще съ разсвѣтомъ, не простясь даже и съ Лекки.

Добрый Лекки никакъ не хотѣлъ отпустить меня до обѣда. Такъ какъ, по обычаю честнаго гражданина, онъ садился за столъ не позже часу пополудни, то это могло задержать меня много до двухъ или до трехъ часовъ, послѣ чего оставалось еще довольно времени, и самаго прекраснаго, чтобы, при вечерней прохладѣ, добраться до Магадино. Я уступилъ его просьбамъ.

Позавтракавши,—Лекки самъ отправился сдѣлать нѣкоторые визиты первой необходимости, которые не терпѣли отлагательства, а меня поручилъ одному изъ своихъ родственниковъ, съ тѣмъ, чтобъ онъ показалъ мнѣ городъ и его живописнѣйшія окрестности.

Локарно, маленькій городокъ, не имѣющій въ себѣ никакихъ особенныхъ достопримѣчательностей. Я имѣлъ-было желаніе посѣтить монастырь, назначенный для пребыванія Сильвіо, но мой чичероне повелъ меня къ Понте-Бролла — мосту черезъ потокъ Маджіа, отстоящему отъ города на добрые полтора часа, то есть, по нашему — верстъ на семь, а можетъ быть и съ прибавкою. Правду сказать, великолѣпное зрѣлище потока, вырывающагося изъ скалъ, почти сдвинутыхъ въ одну колосальную стѣну, пробуравленную стремительностью волнъ, и еще великолѣпнѣйшій горизонтъ окружныхъ горъ и долинъ, раскидывающихся необозримымъ, гигантскимъ лабиринтомъ, воз-

наградили меня съ избыткомъ за тягостное путешествіе. Но за то мы едва поспѣли воротиться ко времени обѣда, задыхаясь отъ усталости, и спеченные полуденнымъ зноемъ прекраснаго сентябрьскаго дня.

Обѣдъ подкрѣпилъ мои силы. Время текло. Надо было разставаться съ добрымъ, уже почти пяти-дневнымъ пріятелемъ. Лекки сказалъ, что онъ самъ проводитъ меня до лодки, которую уже заказалъ.

Во время стола, въ присутствіи семейства Лекки, ни онъ, ни я не упоминали иначе о Сокколано, какъ подъ именемъ Фра Анастазіо, и то мелькомъ. За то, когда я простился съ его домомъ, изливъ сердечную благодарность за оказанное гостепріимство, и мы оба отправились къ мѣсту, гдѣ ожидала меня лодка, то мы не говорили ни о чемъ другомъ, кромѣ какъ о Сильвіо.

«И этотъ благородный, высокій человѣкъ,» говорилъ Лекки, «находится въ такомъ жалкомъ заблужденіи! Онъ во всемъ считаетъ виновнымъ одного себя! О! какъ повѣсть его рвала мою душу, точно каленными клещами! До сихъ поръ я точно не зналъ многихъ ея подробностей. Но я знаю то, чего онъ не знаетъ — знаю это такъ же достовѣрно, какъ то, что я теперь иду съ вами. Извергъ Анзельмо безъ сомнѣнія обманулъ несчастнаго самою гнусною, самою наглою ложью. Никогда никто и не думалъ арестовать его: это не могло бы никакъ скрыться; бѣглецовъ судили и осуждали на казнь, не смотря на отсутствіе, даже безъ другихъ доказательствъ, кромѣ побѣга, который уже самъ по себѣ есть нравственное доказательство сознанія въ преступленіи. Мерзавецъ умѣлъ адски воспользоваться

критическимъ положеніемъ, въ которое самъ же ввергъ свою жертву. А эта маркиза Рокка? Я видалъ ее не разъ въ Миланѣ. Какимъ чистымъ, свѣтлымъ ангеломъ смотритъ она! Какой восторгъ, благоговѣйный восторгъ разливаетъ вокругъ своимъ присутствіемъ! Ее считаютъ фениксомъ чувствительности, добродѣтели, всѣхъ возможныхъ совершенствъ!... О! я поставлю цѣлью моей жизни сорвать личину съ этихъ чудовищъ, выставить ихъ на позоръ свѣту, надъ глупостью котораго они вѣрно смѣются тайно! Я открою глаза Сильвіо...

«Послушайте, добрый мой Лекки,» перервалъ я его: «сдѣлаете ли вы тѣмъ услугу этому, конечно, необыкновенному человѣку, но все человѣку? Лучше ли будетъ для него, когда вы разочаруете его въ добродѣтельномъ заблужденіи, которое самъ же онъ признаетъ единственнымъ основаніемъ своего успокоенія? Оставьте ему это убѣжденіе, которое купилъ онъ цѣною столькихъ трудовъ, столькихъ мукъ!»

Лекки задумался.

«Да!» продолжалъ онъ: «вы говорите правду. Но неужели жъ эти гнусные люди должны блаженствовать, тогда, какъ...

«Блаженство ихъ подлежитъ еще сомнѣнію,» отвѣчалъ я. «Мы видѣли вчера графиню. Я не знаю, кто существенно счастливѣе: владѣтельница ли виллы Боленгари, или босоногій Сокколано... Lis sub judici est!» примолвилъ я съ свойственною мнѣ ученостію.

А между тѣмъ мы ужъ и дошли до лодочки. Она была въ родѣ Фіореллиной, только съ дюжимъ, здоро-

вымъ парнемъ, подъ веслами. Я еще разъ обнялъ Лекки — крѣпко, крѣпко — и, отдаляясь отъ берега, преслѣдовалъ его глазами, пока онъ скрылся въ тѣни каштановыхъ и фиговыхъ деревъ, окружавшихъ городскіе домики, также обращаясь не разъ на мою лодочку и отыскивая ее взорами въ голубыхъ волнахъ озера. Тотчасъ по прибытіи въ Магадино и по водвореніи въ гостиницѣ, гдѣ намѣревался ночевать, я послалъ на почту спросить о моемъ чемоданѣ. О, ужасъ! Тамъ не было объ немъ ни слуху, ни духу. Никто ничего не оставлялъ, никто ничего не получалъ.

Бѣгу самъ на почту. Вы не знаете заграничныхъ почтмейстеровъ, и хорошо, если не знаете. Иначе, у васъ осталось бы впечатлѣніе, которое заградило бы ваши уста при самой щекотливой встрѣчѣ съ самымъ закавачнымъ изъ нашихъ станціонныхъ смотрителей. Наши смотрители, считающіеся только за-урядъ въ четырнадцатомъ классѣ, по крайней мѣрѣ люди не гордые, не спѣсивые, доступные для убѣжденій краснорѣчія, особенно подкрѣпляемыхъ плѣняющими, или сражающими доводами. Заграничные почтмейстеры совсѣмъ не то. Это особы важныя, едва ли не важнѣе въ своемъ мѣстѣ, чѣмъ нашъ капитанъ-исправникъ въ уѣздѣ. Они не любятъ долго толковать съ заѣзжими и проѣзжими, особенно, когда тѣ имѣютъ до нихъ нужду. Французъ изъ вѣжливости вамъ не покажется; Итальянецъ, по свойственной ему живости, выпроводитъ васъ за двери, не выслушавъ; Нѣмецъ выслушаетъ весьма внимательно, и потомъ оборотится къ вамъ спиною, не сказавъ ни слова. Магадинскій почтмейстеръ, по несчастію мо-

ему, былъ родомъ изъ Нѣмецкой Швейцаріи, воспитывался во Французскихъ кантонахъ, а теперь служилъ въ Италіянскомъ. И такъ онъ совмѣщалъ всѣ эти три типа. Онъ и поступилъ достойно представителя трехъ главнѣйшихъ народовъ Европы. Увидѣвъ меня, вошедшаго въ пріемную комнату почтоваго дома, и услышавъ дѣло, по которому я пришелъ, онъ отворотился, какъ Нѣмецъ, крикнулъ постильону, стоявшему у двери, что бы онъ сказалъ, что его нѣтъ дома, какъ водится у Французовъ; а какъ я не трогался съ мѣста, то обратился опять ко мнѣ, вѣроятно съ намѣреніемъ прибѣгнуть къ Италіянскому средству, чтобы сократить мое посѣщеніе.

Но въ эту рѣшительную минуту дверь изъ внутреннихъ комнатъ въ пріемную залу отворилась. Оттуда вышли двѣ женщины, изъ которыхъ одна, лишь только завидѣла меня, испустила радостное восклицаніе. Смотрю — это госпожа Миллеръ, та самая, которой болѣзнь наканунѣ произвела такой переполохъ на пароходѣ.

Чувствительность нашего свиданія размягчила почтмейстера. Узнавъ объ участіи, оказанномъ мною при болѣзни его свояченицы, онъ тотчасъ перемѣнился, сдѣлался какъ шелковой. Не только выслушалъ онъ меня снова со всѣмъ вниманіемъ, не только приказалъ навести строгую справку по книгамъ, но когда дѣйствительно не оказалось никакихъ слѣдовъ моего чемодана, то принялъ на себя трудъ успокоить меня, предполагая, что чемоданъ или привезенъ въ Сесто-Календе, гдѣ и покоится теперь въ таможнѣ, или остался въ

Беллинзонѣ. Мало того, онъ вызвался послать немедленно въ послѣдній городъ навѣдаться, чтобы не заставить меня ѣхать туда по напрасну, и весьма обязательно предложилъ мнѣ гаванискую сигару. Вотъ какъ доброе дѣло, въ которомъ случайно удалось мнѣ взять участіе, не осталось безъ вознагражденія!...

На другой день я еще былъ въ постелѣ, когда постильонъ пришелъ извѣстить меня, что чемоданъ мой точно гоститъ въ Беллинзонѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ увѣдомилъ меня, что господинъ почтмейстеръ пріискалъ мнѣ оказію доѣхать туда весьма покойно и дешево. Я приказалъ благодарить за такія великія милости, и проворно собрался въ путь-дорогу.

Оказія, доставленная радушнымъ почтмейстеромъ, состояла въ фурѣ, заложенной двумя лѣнивыми клячами и наполненной, сверхъ меня, одною женщиной съ огромною вязанкой зелени, которую она везла на продажу въ городъ и которая занимала по меньшей мѣрѣ двѣ трети фуры, другою — тоже женщиною, съ грудным, ужасно крикливымъ ребенкомъ, и третьимъ — мужчиною, въ кожаномъ, обагренномъ запекшеюся кровью фартукѣ, который, садясь противъ меня, счелъ обязанностью объявить себя достопочтеннымъ мясникомъ города Беллинзоны, разъѣзжавшимъ по окрестностямъ для обогащенія живностью своей смертоубійственной фабрики. Дѣло состояло въ томъ, что въ Беллинзонѣ съ завтрашняго дня открывалась ярманка, славная во всемъ кантонѣ. Въ такой почтенной компаніи, убаюкиваемый крикомъ ребенка, шуршаніемъ зелени, крахтѣньемъ мясника, скрыпомъ немазаныхъ колесъ и тол-

ками кумушекъ о предстоящихъ удовольствіяхъ и выгодахъ ярманки, я добрался наконецъ до маленькой столицы Тичинскаго Кантона, чередующейся на этомъ важномъ посту съ городами Локарно и Лугано.

Остановясь въ трактирѣ подъ вывѣскою «Орла,» противъ почты, я побѣжалъ тотчасъ обнять и привѣтствовать мой чемоданъ. Онъ былъ цѣлехонекъ. Но нѣтъ радости безъ горя. На вопросъ мой, когда отправляется миланскій дилижансъ, мнѣ отвѣчали, что еще черезъ два дня. Ай, ай! Я было къ вольнонаемнымъ. Куда! Приступу нѣтъ. Каждый веттурино, пользуясь ярманкой, поднималъ носъ, запрашивалъ въ три-дорога. Мнѣ пришло въ голову отправиться назадъ съ извощикомъ фуры, которая привезла меня; но и тотъ заломилъ такую цѣну, что я живо почувствовалъ всю дѣйствительность и великость услуги, оказанной мнѣ Магадинскимъ почтмейстеромъ — услуги, за которую, сидя въ фурѣ, имѣлъ неблагодарность нѣсколько разъ посылать его къ чорту съ такою же покойною и дешевою оказіей.

Что было дѣлать? Къ довершенію бѣдствія, и ярманка начиналась еще завтра. Въ этотъ день дѣлались приготовленія, которыхъ во всякомъ случаѣ нѣтъ ничего несноснѣе, скучнѣе, убійственнѣе. Я подумалъ, и рѣшился итти на встрѣчу дилижансу, долженствовавшему спускаться съ вершины Сан-Готардо. Эта экскурсія представляла мнѣ удовольствіе, во-первыхъ, взглянуть на исполина Альпъ съ новой точки зрѣнія, и во-вторыхъ, пройти тѣмъ драгоцѣннымъ для Русскаго сердца путемъ, на которомъ сѣверный Аннибалъ напе-

чатлѣлъ безсмертный слѣдъ, такъ достойно воспѣтый громозвучною лирою сѣвернаго Пиндара.

Вздумано, сдѣлано. Пѣшкомъ, безъ проводника, съ одною доброю волею, длинною альпійскою палкою и дорожникомъ Эбеля, я пустился вверхъ по Тичино. Къ вечеру того жъ дня я прибылъ въ Джіорнико, довольно порядочное мѣстечко при устьѣ Валле-Левентина, гдѣ провелъ ночь. На другой день отобѣдалъ въ Аль-Дацію-Гранде, уже на порогѣ Сан-Готардо, образуемомъ стѣною Монте-Піатино, сквозь которую буйный Тичино пробивается г охочущими каскадами . Отсюда до Айроло, послѣдней деревни на Итал янскомъ скатѣ Сап-Готардо, оставалось только два часа съ половиною пути, самаго утомительнаго, но за то и самаго живописнаго. Близость ледниковъ разливала въ воздухѣ острую прохладу, не смотря на сіяніе полуденнаго солнца. Моя сіеста была не долга. Я отправился далѣе по лѣстницѣ возвышающихся другъ надъ другомъ утесовъ, и наконецъ, перешедши нѣсколько разъ Тичино, издающій смертное хрипѣніе въ тискахъ узкаго, удушительнаго горла, открылъ серебренный х ебетъ исполина. Видъ этотъ исполнилъ мою душу святымъ умиленіемъ, блогоговѣйнымъ восторгомъ. Громко и торжественно произнесъ я великану привѣтствіе на языкѣ, котораго звуки нѣкогда такъ внезапно возмутили его пустынный покой.

Главой небесъ, ногами ада
Касаяся, претитъ итти:
Со ребръ его шумятъ внизъ рѣки;
Предъ нимъ мелькаютъ дни и вѣки,
Какъ вкругъ волнующійся паръ!

Я еще рано поспѣлъ въ Айроло, такъ, что не только вдоволь наслушался про Суворова, подвигъ котораго остался здѣсь вѣковѣчною легендою, но даже имѣлъ время взглянуть на знаменитую въ тѣхъ мѣстахъ скалу, съ Русскою будто бы надписью, оставленною Суворовцами. Признаюсь, когда привели меня къ этимъ каракулькамъ, я смотрѣлъ на нихъ съ энтузіасмомъ Шампольона и Гротефенда; но, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, согрѣтаго патріотическою гордостью, мнѣ не удалось открыть въ нихъ ни одной Русской черты. Однако, скрѣпя сердце, я не счелъ нужнымъ разочаровывать добрыхъ Швейцарцевъ и оставилъ ихъ благоговѣть передъ святынею, которая въ роды родовъ будетъ напоминать имъ славу и величіе Русскаго имени.

У этой надписи я услышалъ звонъ бубенчиковъ и колокольчиковъ, медленно приближавшихся. Это транспортъ пассажировъ спускался по дорогѣ изъ Оспиціо. Вѣроятно, кондукторъ имѣлъ причины не бояться знаменитой Валь-Тремолы, или Дрожащей-Долины, гдѣ большею частію не только снимаютъ съ лошадей всѣ побрякушки, но даже запрещаютъ пассажирамъ говорить и приказываютъ дышать какъ можно скромнѣе, отъ того, что малѣйшее колебаніе воздуха можетъ обрушить на васъ громады лавинъ. Узнавъ, что путешественники поднимутся изъ Айроло не прежде полуночи, я пропустилъ ихъ и воротился, налюбовавшись досыта новымъ свиданіемъ съ Альпами, которымъ, переѣзжая Симилонъ, отдавалъ-было послѣднее прощанье.

Въ полночь, усѣвшись въ каретѣ, имѣвшей только двухъ пассажировъ кромѣ меня, я покатился назадъ

внизъ, и часамъ къ осьми утра проснулся благополучно въ Беллинзонѣ.

Ярманка кипѣла уже во всемъ разгарѣ. Народу видимо-невидимо толпилось на крошечной площадкѣ городка. Я уже обрадовался, узнавши, что отъѣздъ въ Миланъ воспослѣдуетъ не прежде какъ часа черезъ два, подъ предлогомъ, что не успѣли заготовить подставы воловъ для подъема кареты на Монте-Ченере, но въ самомъ дѣлѣ, кажется, для того, чтобы дать время почтмейстеру накупить гостинцевъ, которые онъ послалъ потомъ съ нашимъ кондукторомъ въ Лугано. — Тѣмъ лучше, думалъ я: не дурно позѣвать и на другой экземпляръ швейцарской ярманки; первый я видѣлъ уже назадъ тому нѣсколько недѣль по ту сторону Альпъ, въ Шаффгаузенѣ.

Выхожу съ почтоваго двора, и пускаюсь въ средину толпы, волнующейся на площади. Но скоро раскаялся я въ этой опрометчивости, которой опасностей не могъ замѣтить съ просонья. Я попалъ въ самое жерло пучины. Меня стѣснили, сжали, сдавили, какъ селедку. Напрасно хотѣлъ я пробиться и вырваться какъ нибудь, куда нибудь. Стой! Ни взадъ, ни впередъ. Бѣдствіе произошло отъ того, что черезъ площадь шла какая-то духовная процессія, для которой, на счетъ нашихъ костей, прочищали широкую дорогу. Въ отчаяніи возвелъ я глаза къ небу. Но они остановились гораздо ближе, на балконѣ гостиницы подъ вывѣскою «Орла,» гдѣ я приставалъ наканунѣ. О, восхищеніе! На этомъ балконѣ стоялъ — ни больше, ни меньше — мой Локарнскій пріятель Джюліо Лекки.

Я собралъ всѣ свои силы, пустился работать руками и ногами. Геройство мое увѣнчалось успѣхомъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ тяжкой борьбы съ сомкнутыми, сросшимися плечами и туловищами, я нырнулъ въ дверь гостинницы, взбѣжалъ по лѣстницѣ и, прежде, чѣмъ Лекки успѣлъ обернуться, уже сжималъ его дружески, съ живымъ, радостнымъ восторгомъ.

Лекки былъ восхищенъ не меньше меня.

«Вы здѣсь еще? Вотъ чего я никакъ не ожидалъ!

«И на возвратѣ съ Сан-Готарда,» отвѣчалъ я. «Судьба привела меня еще разъ проститься съ Альпами, и еще разъ увидѣться съ вами. Это и для меня неожиданность! Какъ вы попали сюда? Кажется, вы не располагались?

«Ахъ!» сказалъ Лекки, и глубокая грусть выразилась на его лицѣ. «Я самъ простился безъ васъ—и какъ простился? Въ это роковое время столько совершилось страннаго, изумительнаго, ниспровергнувшаго душу мою до основаній!... Какъ я радъ, что нахожу васъ! Вы... вы были для меня необходимы!»

Я смотрѣлъ на него во всѣ глаза, ничего не умѣя понять.

«Пойдемте сюда,» продолжалъ Лекки, ведя меня въ залу гостиницы. «Трактиръ такъ полонъ, что я не могъ достать себѣ особаго нумера. Да нужды нѣтъ. Мы сядемъ здѣсь, и вы услышите чудныя, неслыханныя вещи.»

Какъ ни велико было любопытство, пробужденное во мнѣ таинственными словами Лекки, однако я счелъ за благо предварительно посовѣтоваться съ часами, что-

бы знать, сколько времени остается въ моемъ распоряженіи. Прошло еще не болѣе получаса, какъ я оставилъ почтовой дворъ; впрочемъ и оставалось только полтора часа. Я уже потерялъ желаніе смотрѣть ярманку, особенно увидѣвши Лекки; но это свиданіе не подавило во мнѣ чувства аппетита, весьма естественно усиленнаго напряженнымъ давленіемъ на желудокъ, которое я только что вытерпѣлъ, и я тѣмъ охотнѣе повиновался этому чувству, что видѣлъ возможность удовлетворить ему весьма пріятнымъ образомъ, въ сообществѣ Лекки. Почему прежде велѣлъ я подать завтракъ и бутылку хорошаго вина; а потомъ уже сѣлъ возлѣ Лекки и спросилъ его съ участіемъ:

«Что такое?»

«Сильвіо!» отвѣчалъ онъ, глубоко вздыхая. «Сильвіо!

«Что Сильвіо? Что съ нимъ случилось?»

«Я постараюсь разсказать вамъ все по порядку,» продолжалъ Лекки. «Голова у меня такъ спуталась, что я прошу васъ дать мнѣ возможность собраться съ мыслями. Иначе, я боюсь, вы ничего не поймете изъ моихъ словъ.»

Онъ опять перевелъ духъ глубокимъ, продолжительнымъ вздохомъ.

«Тѣмъ лучше,» продолжалъ я, все еще не предполагая ничего особенно важнаго, кромѣ того, что, можетъ быть, Сильвіо открылъ ему новыя тайны своей печальной исторіи, которыя усилили встревоженность его доброй и пылкой души. «Тѣмъ лучше! Вотъ намъ подаютъ и завтракъ. Не болѣнъ ли этотъ злополучный

страдалецъ? Не изнемогаетъ ли его мужество? Выпьемъ между тѣмъ за торжество невинности и за посрамленіе порока!»

Я налилъ себѣ и Лекки по стакану вина, которое оказалось благороднымъ плодомъ Рейна. — Лекки, не говоря ни слова, выпилъ свой стаканъ съ длинными передышками.

«Ну!» сказалъ я. «Что жъ такое?»

Лекки поставилъ стаканъ на столъ, вздохнулъ еще разъ, и началъ:

«Третьяго дня, проводивъ васъ и возвращаясь домой, я нашелъ у дверей своихъ молодаго, здороваго парня, который, увидя, что я иду въ домъ прямо и смѣло, подошелъ ко мнѣ, снялъ шапку и спросилъ, не я ли синьоро Джюліо Лекки. При утвердительномъ знакѣ съ моей стороны, онъ вынулъ изъ кармана письмо и подалъ мнѣ, присовокупивъ, что ему велѣно просить о немедленномъ отвѣтѣ. Я вхожу въ домъ, срываю печать и судите о моемъ удивленіи — это была собственноручная записка графини Оспедалетто? Вотъ она,» примолвилъ Лекки, вынимая изъ записной книжки пакетъ и подавая мнѣ: «вы сами лучше прочтите ее...»

Я взялъ записку. Она была слѣдующаго содержанія.

«Синьоро Лекки! — Меня извѣстили, что вы встрѣтились съ тѣмъ, котораго я уже столько времени оплакиваю смерть, въ которомъ нѣкогда заключалась вся моя жизнь... Именемъ всего, что для васъ священно, именемъ вашей матери и вашихъ дѣтей, заклинаю васъ сказать правду... Каковъ бы ни

былъ вашъ отвѣтъ, а чувствую, что не переживу его... Я умру... но только скажите — умоляю васъ, скажите.

Беатриче графиня Оспедалетто.»

«Да!» сказалъ я, возвращая назадъ письмо. «Это задача важная. Что жъ вы сдѣлали?

«Я тотчасъ кликнулъ къ себѣ письмоподателя. Это былъ рыбакъ, по имени Карлино. Письмо отдала ему наша знакомая Фіорелла, утромъ въ тотъ день, чѣмъ свѣтъ, заклиная его отправиться немедленно и не сказывать ни кому, куда онъ идетъ и зачѣмъ. Карлино говорилъ, что бѣдная дѣвочка была блѣдна, какъ мертвецъ, и дрожала всѣми суставами. Она тихонько укрылась изъ виллы, и полу-одѣтая примчалась на Островъ Рыбаковъ. «Я,» говорилъ онъ, «собравшись въ ту же минуту, перевезъ ее обратно на берегъ, и хотѣлъ проводить до виллы; но она закричала, чтобы я покинулъ ее, говоря, что если по несчастію падре Анзельмо замѣтитъ ее, то пусть гнѣвъ его разразится надъ нею одною, а я между тѣмъ исполню свое дѣло.

Видя, что добрый малый ничего не зналъ, я сказалъ ему, чтобъ онъ подождалъ меня немного, и самъ тотчасъ отправился въ монастырь къ Сильвіо. Я считалъ себя не въ правѣ распорядиться въ такомъ критическомъ случаѣ безъ предварительнаго совѣщанія съ нимъ, главнымъ героемъ драмы, которая такъ неожиданно повернула вдругъ къ развязкѣ.

По прибытіи въ монастырь, мнѣ сказали, что фра Анастазіо сейчасъ только позванъ къ настоятелю, у котораго и находится. Я отвѣчалъ, что буду его дожидаться.

Черезъ нѣсколько минутъ явился Сильвіо. Лицо его сіяло какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. Увидѣвъ меня, онъ протянулъ руку и, молча, привелъ меня въ свою келью. Тутъ онъ палъ на колѣна передъ Распятіемъ и нѣсколько минутъ провелъ въ глубокой молитвѣ. Видно было, что душа его находилась въ сильномъ движеніи. Наконецъ, вставши, онъ пригласилъ меня сѣсть и сказалъ мнѣ тихимъ, но твердымъ голосомъ:

«Не особенный ли залогъ милости Божіей ко мнѣ, что я вчера встрѣтился съ тобой, добрый другъ мой, единственное, сладкое воспоминаніе моей юности? Я могъ бы находиться такъ близко отъ тебя, и не увидаться съ тобою. Буди благословенно имя Господне! Сегодня я, еще разъ, обниму тебя, и конечно, уже навѣки, до свиданія въ блаженной вѣчности.

«Какъ такъ? вскричалъ я.

«Пути Промысла неисповѣдимы,» продолжалъ кротко Сильвіо. «Сію минуту объявлено мнѣ повелѣніе взять снова немедленно страннический посохъ и направить стопы мои въ Испанію. Корабль Церкви Христовой обуревается тамъ свирѣпыми волнами. Мнѣ поручается стать у руля и сражаться съ бурею. Провинціалъ нашего ордена, высокопреподобный монсиньоро Урбини...

«Монсиньоро Урбини!» перервалъ я его, и захлебнулся порывомъ бѣшенаго негодованія...

Весь адъ темныхъ козней освѣтило для меня это имя. Я не могъ долѣе удерживаться. Я выхватилъ письмо графини и подалъ ему, дрожа весь отъ изступленія.

Сильвіо узналъ почеркъ съ перваго взгляда. Лицо

его запылало. Грудь тяжко колыхалась. Когда онъ прочелъ письмо, изъ глазъ его брызнули слезы. Онъ сидѣлъ нѣсколько секундъ, сложа на груди руки. Потомъ вскочилъ и бросился опять ницъ передъ Распятіемъ. Молитва его была коротка, но огнедышуща, какъ молитва Серафимовъ. Потомъ онъ вскочилъ, и кинулся ко мнѣ на шею.

«О! я боюсь умереть отъ блаженства, невмѣстимаго въ скудельномъ сосудѣ земнаго бытія!» шепталъ этотъ желѣзный человѣкъ — слезы его падали на мое лицо каплями растопленнаго металла. «Я боюсь, что жизни, которой достало для очистительныхъ мукъ раскаянія, не достанетъ для того, чтобы возблагодарить достойно Провидѣніе, такъ внезапно умилостивившееся надъ моими страданіями! О, мать моя, мать моя!... Не правъ ли я былъ, или, лучше — не былъ ли безконечно виновенъ передъ нею?...»

Я раздѣлялъ его блаженство. Я самъ рыдалъ съ нимъ.

«Теперь,» продолжалъ Сильвіо, «теперь я полечу въ путь свой, полечу бодро, окрылатѣвшій, какъ орлій птенецъ. Нѣтъ! я не умру — и она не умретъ: она будетъ жить и благословлять Бога — добрая, несчастная, наконецъ вознагражденная страдалица! — Тебѣ, Джюліо, тебѣ поручаю...

«Какъ!» вскричалъ я: «ты не хочешь самъ видѣть ее?...

«Я имѣю повелѣніе моего начальника отправиться немедленно къ своему новому назначенію. Эта ночь не должна уже меня застать здѣсь.

«Такъ ты упорствуешь быть игрушкою этихъ гнусныхъ злодѣевъ, истинныхъ наперсниковъ ада? Уже-ли и теперь еще ты не видишь сѣтей, которыхъ доселѣ былъ жертвою? Урбини находится въ виллѣ твоей матери. Анзельмо, конечно, напалъ на твой слѣдъ. Цѣль объявленнаго тебѣ повелѣнія очевидна. Тебя посылаютъ на убой, на явный убой. Ты знаешь участь монаховъ въ Испаніи. Кровожадные коршуны сбываютъ тебя, чтобы свободнѣе доклевать издыхающій трупъ твоей матери.

«Не мое дѣло судить тайныя помышленія ближнихъ. Я и такъ слишкомъ дорого заплатилъ за это. Мой долгъ есть послушаніе безусловное. И чѣмъ инымъ могу выразить я свою благодарность къ Промыслу, какъ не безпрекословнымъ повиновеніемъ Его неиспытаннымъ судьбамъ, безропотнымъ исполненіемъ обѣта не имѣть собственной воли?

«Но развѣ это не перстъ Провидѣнія, Который такъ нечаянно сводитъ тебя съ умирающею матерью? Развѣ ты не имѣешь къ ней высшаго, священнѣйшаго долга, предшествующаго всѣмъ твоимъ обѣтамъ? Развѣ, повинуясь ей, ты исполнишь тѣмъ одну свою волю? Если совѣсть твоя гнушается изобличить вѣроломство враговъ, погубившихъ тебя и ее, то съ другой стороны не долженъ ли ты поспѣшить на вопль несчастной, требующей отъ тебя возмездія за страданія, которыхъ ты самъ былъ хотя невинною, но тѣмъ неменѣе дѣйствительною причиной?»

Сильвіо задумался.

«Да!» сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія: «я го-

товъ видѣть ее! Повелѣніе не опредѣляетъ дороги, которою долженъ я спѣшить къ назначенной цѣли: я могу зайти къ ней по пути! Но — какъ найти къ ней допускъ? Если Провинціалъ точно имѣетъ намѣреніе удалить меня отъ ней, то одно слово его можетъ остановить меня на порогѣ.

«Я самъ отправлюсь съ тобою!» вскричалъ я. «Я введу тебя. Посмотримъ, кто осмѣлится отказать намъ!»

Сильвіо опять задумался.

«Принимаю это новое доказательство твоей дружбы, вѣрный мой Джюліо,» произнесъ онъ наконецъ со взоромъ, въ которомъ сіяла небесная кротость. «Да, мы отправимся вмѣстѣ. Ты будешь моимъ проводникомъ и свидѣтелемъ, но съ условіемъ — обуздывать порывы сердца, слишкомъ пламеннаго, и оставить меня дѣйствовать, какъ Богъ внушитъ мнѣ!»

Я обѣщалъ ему все, и пошелъ дѣлать распоряженія къ немедленному отъѣзду. Сильвіо, послѣ вечернихъ молитвъ, долженъ былъ найти меня совершенно готовымъ.

Расположившись ѣхать сухимъ путемъ, по берегу озера, я приказалъ изготовить двѣ верховыя лошади. Карлино, послу Фіореллы, предложилъ я итти впередъ, съ словеснымъ отвѣтомъ, что я самъ немедленно увижусь съ графинею или дождаться насъ. Онъ предпочелъ послѣднее.

Въ назначенный часъ явился Сильвіо. Я оставилъ жену въ недоумѣніи, куда могъ я ѣхать такъ неожиданно и поспѣшно въ сопровожденіи монаха и рыбака; сказалъ только ей, что отлучаюсь не больше, какъ дня на

два, по крайней, внезапно встрѣтившейся необходимости. Мы вышли изъ дома уже въ сумерки. Сильвіо отказался сѣсть на лошадь: онъ со всею буквальной строгостью исполнялъ предписанія своего ордена. Я отдалъ лошадь его рыбаку Карлино. Сильвіо шелъ пѣшкомъ возлѣ меня, стуча своими тяжелыми сандаліями о дикіе каменья горной дороги.

Къ свѣту пріѣхали мы въ Палланцу. Карлино оставилъ насъ здѣсь, сказавши, что онъ отправится водою до Бавено, вопервыхъ, для того, чтобы не замѣтили его съ нами; вовторыхъ, чтобы имѣть время предувѣдомить Фіореллу о моемъ прибытіи. Намъ надобно было сдѣлать большой объѣздъ черезъ Мергоццо и Фаріоло. Мы подкрѣпили силы свои небольшимъ завтракомъ, и уже часовъ въ десять утра достигли Бавено.

Я не хотѣлъ заходить въ гостиницу, и оставилъ только лошадей у ея воротъ. Мы отправились пѣшкомъ къ виллѣ Боленгари. Пройдя нѣсколько шаговъ, вижу — идетъ на встрѣчу одинъ человѣкъ, важною и медленною походкой. Я не обратилъ на него вниманія. Но онъ, поровнявшись со мною, вдругъ остановился, схватилъ меня за руку и вскричалъ:

«Джюліо Лекки!»

Смотрю: старый мой знакомецъ — Антоніо Кастильоне, бывшій нотаріусъ въ Каноббіо, потомъ переѣхавшій въ Арону. Я не видался съ нимъ лѣтъ пять, и потому, особенно занятый другими мыслями, поглощавшими все мое вниманіе, насилу узналъ его. Антоніо, добрый малый, не выпускалъ моей руки, и повторялъ:

«Э, э! Такъ-то коротка память у синьоро Лекки! Всмотритесь-ка хорошенько, наведите справку съ прошлыми временами, съ старинными документами. Да куда вы это такъ спѣшите?

«Добрый мой синьоро Кастильоне,» сказалъ я, обнявъ его и потомъ стараясь высвободить свою руку: «я очень радъ такому пріятному и неожиданному свиданію. Не пробудете ли вы здѣсь нѣсколько часовъ? Я съ наслажденіемъ побесѣдовалъ бы съ вами. Но теперь крайняя нужда заставляетъ меня спѣшить.

«Не могу ли я быть вамъ полезнымъ?» продолжалъ безотвязный Антоніо. «Не нужно ли для васъ присутствіе нотаріуса? Кастильоне къ вашимъ услугамъ, хотя, правда, съ самаго разсвѣта на ногахъ, я самъ чувствую крайнюю нужду въ отдыхѣ и въ подкрѣпленіи. Но старый другъ лучше стараго вина; таковъ по крайней мѣрѣ мой вкусъ. Э?

«Покорно благодарю, добрый Антоніо,» отвѣчалъ я. «Но на этотъ разъ не имѣю нужды васъ безпокоить. Дѣла мои не письменныя. Я тороплюсь въ виллу Боленгари, и надѣюсь....

«Въ виллу Боленгари!» перервалъ нотаріусъ. «Что вамъ тамъ теперь дѣлать?

«Мнѣ надо видѣться съ графинею.

«Э, э! Такъ вы опоздали съ вашей торопливостью...

«Какъ?

«Графиня не принимаетъ: то есть, она не можетъ принимать. То есть, она скончалась — миръ душѣ ея!»

Я отскочилъ отъ него на нѣсколько шаговъ. Силь-

віо поднялъ руки къ небу, и прислонился къ одному изъ тополей, окружающихъ дорогу.

«Скончалась!» повторилъ я протяжно, и вѣрно съ необыкновеннымъ выраженіемъ лица и голоса.

«Что жъ тутъ удивительнаго?» отвѣчалъ Антоніо, для котораго смерть, рожденіе, бракъ, покупка и продажа имѣнія были текущими, обыкновенными дѣлами, различавшимися между собой только по нумерамъ, подъ которыми онъ вносилъ ихъ въ свои реестры. «Тутъ особенно вовсе нечему удивляться. Графиня женщина слабая, больная и пожила довольно! Пора и на покой! Сегодня разбудили меня еще до-свѣта. Падре Анзельмо Канальети, эта старая лисица, fac-totum покойной графини, звалъ меня какъ можно скорѣе, и притомъ не одного, а съ духовнымъ завѣщаніемъ, которое графиня, по пріѣздѣ сюда, отдала въ мои руки. Нечего дѣлать; такое ужъ ремесло: я тотчасъ поднялся, и не завтракавши, отправился въ путь. Пріѣзжаю. Графиня дѣйствительно при послѣднемъ издыханіи. Она металась въ постелѣ, и Богъ вѣсть что̀ бредила. Безпрестанно спрашивала, нейдетъ ли кто-то, не несутъ ли чего-то, какъ будто письма, или просто извѣстія. При ней находились падре Анзельмо, монсиньоро Урбини, еще одинъ монахъ, да двѣ служанки — одна старуха, другая молоденькая дѣвушка. Эта послѣдняя стояла у окна на озеро и безпрестанно въ него смотрѣла. Старуха рыдала. Монахи были такъ встревожены, что ни одинъ изъ нихъ не вздумалъ напутствовать умирающую утѣшеніями молитвы. При видѣ меня, Анзельмо подошелъ ко мнѣ

и спросилъ духовную. Я вынулъ ее изъ портфейля. Но въ эту минуту дѣвушка громко вскрикнула «Онъ, онъ!» и бросилась опрометью изъ комнаты. Графиня услышала этотъ крикъ и, вдругъ вскочивши, сѣла на своей постелѣ. Глаза ея, уже помутившіеся, устремились на меня. Я стоялъ въ самыхъ дверяхъ.

«Кто вы?» сказала она глухо. «Зачѣмъ вы здѣсь?»

«Нотаріусъ Антоніо Каѣтильоне, душеприкащикъ вашего сіятельства,» отвѣчалъ я, поклонившись.

«А!» произнесла она, и глаза ея вдругъ оживились какимъ-то невыразимымъ блескомъ. «Самъ Богъ послалъ васъ ко мнѣ въ эту минуту. Гдѣ мое завѣщаніе?

«Вотъ оно,» отвѣчалъ я, поднимая вверхъ бумагу.

Анзельмо, съ быстротою молніи, схватился за бумагу и рванулъ ее къ себѣ. Но я, машинально, самъ не знаю почему, сжалъ руку. Бумага разорвалась на двое. Половина ея осталась у меня, другая у Анзельмо.

«Что вы сдѣлали?» сказалъ я, смотря на него. «Вы уничтожили завѣщаніе.

«Онъ сдѣлалъ,» отвѣчала графиня, сверкая глазами: «сдѣлалъ то, что̀ должно сдѣлать. Онъ предупредилъ меня. Камилла! Гдѣ та бумага?

Старушка каммерьера дрожащею рукою вынула изъза пазухи запечатанный пакетъ.

«Вотъ мое истинное завѣщаніе,» продолжала графиня. «Передай его нотаріусу.»

Я протянулъ руку. Но Анзельмо предупредилъ меня. Онъ схватилъ пакетъ изъ рукъ старухи. Я ис-

пугался, взглянувъ на него. Лицо его было запечатлѣно звѣрскимъ свирѣпствомъ. Это былъ самъ сатана. Правду сказать, было отъ чего и взбѣситься: въ изорванномъ завѣщаніи, все имѣніе графини, которое принадлежало ей лично и которымъ она имѣла полное право распоряжаться, предоставлялось въ пользу монастырей ордена Св. Франческо, а достопочтенному падре Анзельмо назначалась огромная, кардинальская пенсія. Графиня тоже устремила на него свои глаза. Она задрожала послѣднимъ смертнымъ трепетомъ.

«Анзельмо!» сказала она хрипящимъ голосомъ: «ты не хочешь здѣсь покончить наши разсчеты. Мы разочтемся съ тобою тамъ... Впрочемъ,» вскричала она, собравъ послѣдніе звуки издыхающаго голоса: «ты уничтожилъ только копію съ подлинника, который хранится въ Миланѣ...»

Это усиліе было послѣднее. Она тихо опустилась на подушки, и ея не стало. Признаюсь, смертные случаи намъ не въ диковинку; но этотъ произвелъ на меня особенное впечатлѣніе. Къ довершенію моего ужаса, Анзельмо въ эту минуту показалъ новый опытъ своего безчеловѣчія, которое я давно подозрѣвалъ въ немъ, не смотря на его кошечью маску, но котораго наглость, особенно при такомъ торжественномъ случаѣ, превосходила всѣ мои подозрѣнія. Въ то время, какъ графиня уже совсѣмъ кончалась, убѣжавшая передъ тѣмъ дѣвушка воротилась назадъ; за ней шелъ молодой, красивый дѣтина, должно быть рыбакъ. Дѣвушка испустила крикъ отчаянія, видя издыханіе графини. Но Анзельмо схватилъ ее дико за руки и, бро-

сивъ въ смежный кабинетъ графини, заперъ дверь ключемъ. Потомъ обернулся къ пришедшему съ нею молодцу, и прежде, чѣмъ тотъ могъ опомниться, толкнулъ его такъ сильно въ двери, что бѣднякъ полетѣлъ навзничь и грянулся объ полъ. Конечно, можетъ быть, тутъ и не безъ шашней; можетъ быть, дѣвчонка, вѣроятно фаворитка графини, хотѣла воспользоваться ея смертными минутами, чтобы выхлопотать хорошенькое приданое для дюжаго, красиваго парня. Все бы однако въ такую минуту можно сдѣлать то же, да не такъ. Между тѣмъ монсиньоро Урбини приступилъ ко мнѣ, чтобы вскрыть пакетъ, который взялъ у Анзельмо. Что жъ? Это не воспрещается законами, особенно при свидѣтеляхъ. Я вскрылъ, потребовавши, чтобы и старая камерьера, которая стояла на колѣняхъ и читала молитвы, была пріобщена къ числу наличныхъ свидѣтелей. Начинаю читать громко, во всеуслышаніе... Уфъ! Въ этомъ завѣщаніи, сдѣланномъ во всей формѣ, и уже лѣтъ восемь тому назадъ, графиня предоставляла все свое имѣніе сыну, который, можетъ быть, и вы знаете, пропалъ безъ вѣсти, но котораго смерть не доказана оффиціально. Вотъ посмотрѣли бы вы, какъ вытянулось лицо господина провинціала. Анзельмо клялся и божился, что сынъ графини давно умеръ. Но на это надобны доказательства. А до тѣхъ поръ имѣніе возьмется подъ секвестръ. Да и послѣ, когда смерть наслѣдника достаточно подтвердится, все же не достанется ни ліарда ни ему, ни всей братіи Св. Франческо. Гдѣ актъ? — Изорванъ! — Монсиньоро морилъ меня часа два или болѣе въ виллѣ, совѣтуясь

со мной, дѣлая разные планы и предположенія. Мало ли чего не входило въ его голову? И что молодой графъ могъ утонуть, быть съѣденъ акулами, дикими звѣрями, каннибалами; и что онъ могъ сдѣлаться монахомъ, произнесть добровольно вѣчные обѣты нищеты, и пр. и пр. Ба! Утонулъ, съѣденъ—такъ докажи. Все же онъ будь хоть папою, хоть звонаремъ, все же самъ долженъ распорядиться имѣніемъ, которое принадлежитъ ему, jure et lege...

Словоохотный нотаріусъ, продолжалъ Лекки, могъ бы говорить еще цѣлый часъ, цѣлый день. Я слушалъ его, не открывая рта, но пожирая каждое слово. Вдругъ Сильвіо приблизился ко мнѣ и перервалъ потокъ рѣчи, уклонившейся уже въ юридическую технику — бездну, въ которой синьоро Антоніо уморилъ бы насъ и самъ бы добровольно уморился съ голоду.

«Джюліо,» сказалъ Сильвіо, не обнаруживая уже ни малѣйшаго волненія. «Теперь появленіе мое не только возможно, но и необходимо. Попросите господина нотаріуса слѣдовать за нами. Онъ будетъ нуженъ.»

Непонимая смысла его словъ, я однако повиновался ему и потащилъ за собой Антоніо, который въ недоумѣніи смотрѣлъ то на меня, то на Сильвіо, но не воспротивился нисколько моему безмолвному приглашенію, вѣроятно чутьемъ ворона осязая предстоящую добычу.

У воротъ виллы нашли мы бѣдняка Карлино, который стоялъ въ глубокой грусти, почесывая затылокъ и спину.

«Ахъ! синьоро!» вскричалъ онъ, увидѣвъ меня: «мнѣ только Фіореллу, одну Фіореллу! Она такъ любитъ меня, и я ее. Похлопочите за насъ у падре Анзельмо. Вѣрно изъ-за васъ мы страдаемъ. Прежде она все говорила, что только и надежды, что на падре Анзельмо. А вотъ вамъ и надежда!»

Сильвіо подошелъ къ нему и сказалъ что-то. Карлино недовѣрчиво посмотрѣлъ на него, покачивая головою. Онъ остался на мѣстѣ.

Взошедши въ палаццо, мы не встрѣтили никого. Прислуга графини, помните, и тогда была вовсе незамѣтна. Голоса слышались въ сторонѣ капеллы. Я иду туда по знакомой дорогѣ. Вижу: Джироламо хлопочетъ убирать церковь въ трауръ; катафалкъ стоялъ уже по срединѣ. Анзельмо не было; но провинціалъ находился тутъ же, углубленный по видимому въ свой бревіарій. При стукѣ нашихъ шаговъ, онъ обернулся, и лицо его исказилось судорожнымъ потрясеніемъ. Онъ, однако, подавилъ это движеніе, и встрѣтилъ меня, протягивая руку, можетъ быть, и не съ притворною грустью:

«Вы опять здѣсь, синьоро Лекки! Какая внезапная перемѣна! Недовѣдомы пути Божіи!

«Да,» отвѣчалъ я, едва удерживая бѣшенство, пробужденное этимъ лицемѣрнымъ спокойствіемъ: «пути Божіи недовѣдомы, монсиньоро! Думали ль вы, напримѣръ, что я привожу теперь съ собой графа Сильвіо Оспедалетто, сына и наслѣдника покойной графини, который къ несчастію не успѣлъ принять послѣдняго вздоха своей матери?...»

При этихъ словахъ, Сильвіо выступилъ кротко впередъ и преклонился благоговѣйно передъ монахомъ. Воспослѣдовала минута краснорѣчиваго молчанія. Джироламо, слышавшій мои слова, произнесенныя громко, уронилъ изъ рукъ черное сукно, которое развѣшивалъ за алтаремъ капеллы, и стоялъ, какъ вкопанный. Нотаріусъ выпучилъ глаза. Провинціалъ прежде всѣхъ оправился и произнесъ медленно, собирая силы и мысли:

«Графъ Сильвіо Оспедалетто.... братъ.... нашего.... священнаго.... ордена!»

Сильвіо снова преклонился, держа обѣ руки сложенныя крестомъ на груди.

«Твоя обитель, сынъ мой?» спросилъ онъ, какъ будто ничего не вѣдая.

«Я тотъ самый Фра-Анастазіо,» отвѣчалъ Сильвіо, не поднимая опущенныхъ въ землю глазъ, «который вчера получилъ повелѣніе вашего высокопреподобія отправиться въ Испанію.

«Анастазіо!» воскликнулъ провинціалъ: «Анастазіо! Свѣтило добродѣтелей! Украшеніе Церкви! Подвижникъ вѣры и благочестія! О, для чего твоя блаженная мать не дождалась сладостной минуты видѣть сына своего такъ высоко стоящимъ, такъ побѣдоносно торжествующимъ еще на землѣ надъ міромъ и всѣми его соблазнами! Да, сынъ мой! ты избралъ благую часть, которая никогда отъ тебя не отнимется! Теки же бодро въ новый свой путь! Я увѣренъ, что ты совершишь его къ славѣ имени Божія, къ радости ангеловъ, къ восхищенію матери нашей Церкви, къ

чести святаго ордена меньшихъ братій и къ довершенію спасенія твоей избранной души!....

«Отецъ мой!» сказалъ Сильвіо: «хотя я, принявъ крестъ свой, отвергся всѣхъ узъ плоти и крови; но духъ бодръ, а тѣло немощно. Позволено ли будетъ мнѣ заплатить послѣдній долгъ земной привязанности, воздать честь послѣднимъ остаткамъ усопшей матери?...

«Оставь мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ,» произнесъ важно провинціалъ, котораго бодрость возрастала съ каждымъ новымъ знакомъ смиренія Сильвіо.

Я не вытерпѣлъ.

«Сынъ и наслѣдникъ графини Оспедалетто,» сказалъ я, устремивъ грозный взглядъ на монаха: «есть полновластный господинъ въ домѣ своей матери. Кто смѣетъ здѣсь ограничивать его права, утвержденныя законами Божескими и человѣческими?»

Послѣднія слова произнесъ я съ особеннымъ удареніемъ, показавъ глазами на нотаріуса. Сильвіо взглянулъ на меня взоромъ кроткаго упрека. Провинціалъ отвѣчалъ:

«Никто и не ограничиваетъ этихъ правъ, синьоро Лекки. Но здѣсь идетъ бесѣда отца съ сыномъ, бесѣда духовная, которую чада міра не должны возмущать своими мятежными навѣтами... Фра-Джироламо!» сказалъ онъ, отвернувшись отъ меня гордо: «проводи брата Анастазіо къ тѣлу графини... Я буду ожидать тебя въ залѣ, сынъ мой,» примолвилъ онъ ласково, обратясь опять къ Сильвіо...

Признаюсь, я едва не уступилъ влеченію раздробить въ прахъ лицемѣра. Но умоляющій взоръ, ко-

торый Сильвіо снова возвелъ на меня, обезоружилъ мою ярость. Безмолвно послѣдовалъ я за нимъ, въ предшествіи Джироламо.

Мы вошли въ комнату, гдѣ лежала графиня. Это та самая, изъ которой ходъ на балконъ, гдѣ она угощала насъ. Мое вниманіе обратилъ, первый, Анзельмо. Онъ находился тутъ, но занимался совсѣмъ не покойницею. Передъ нимъ стояла на колѣняхъ Фіорелла, вся трепещущая, облитая слезами. Старуха, бывшая тутъ же, присоединяла свои мольбы къ рыданіямъ дѣвушки. Анзельмо обернулся, услышавъ нашъ приходъ. Мнѣ показался онъ разъяреннымъ тигромъ, когда глаза мои встрѣтились съ его глазами. Но лишь только увидѣлъ онъ Сильвіо, который, едва взошелъ, повергся на колѣна передъ бездушнымъ тѣломъ матери, какъ испустилъ дикій вопль, схватился руками за голову и, точно съумасшедшій, кинулся стремглавъ изъ комнаты.

Фіорелла вскочила и пробормотала что-то старухѣ. Обѣ онѣ бросились къ Сильвіо. Обѣ рыдали, цѣлуя съ восторгомъ его одежду.

Но онъ не замѣчалъ ихъ. Онъ стоялъ долго, недвижимый, преклоня голову. Наконецъ поднялся, прижалъ свои губы къ закостенѣлой рукѣ графини, посмотрѣлъ на ея открытое лицо, и снова палъ ницъ на землю.

Я самъ взглянулъ на покойницу. Уста ея были запечатлѣны слѣдомъ судороги, застигнутой смертью.

Была ли то послѣдняя корча совѣсти старой грѣшницы, или первая улыбка несчастной, кончившей свои

страданія, вѣдаетъ Тотъ, предъ чьимъ судилищемъ она уже предстояла.

Когда Сильвіо всталъ, лицо его сіяло неземнымъ величіемъ. Тутъ онъ увидѣлъ старуху и дѣвушку, и протянулъ къ первой изъ нихъ руки. Это была его кормилица, мать Фіореллы. Онъ далъ знакъ, чтобы онѣ обѣ слѣдовали за нимъ.

Мы возвратились въ залу. Провинціалъ ходилъ взадъ и впередъ большими шагами. Нотаріусъ, который оставался съ нимъ, держалъ какую-то длинную рѣчь, которую тотъ слушалъ, не прерывая.

Когда мы вошли, провинціалъ устремилъ проницательный взоръ на Сильвіо и сказалъ:

«Все ли ты кончилъ, сынъ мой?

«Нѣтъ еще,» отвѣчалъ Сильвіо. «Остается послѣднее. Я слышалъ, что мать моя оставила завѣщаніе, которымъ предоставляетъ одному мнѣ распоряженіе всѣмъ ея имѣніемъ, законнымъ моимъ наслѣдствомъ.

«Такъ, сынъ мой!» сказалъ монахъ голосомъ, въ которомъ изобличался невольный трепетъ.

«Я долженъ сдѣлать это распоряженіе,» продолжалъ Сильвіо. «Мнѣ извѣстна и послѣдняя воля графини, которой причина была конечно увѣренность въ моей смерти и которую она измѣнила при вѣсти о моемъ существованіи....»

Провинціалъ дрожалъ уже явно, какъ въ лихорадкѣ.

«Эта воля должна быть священна и ненарушима,» продолжалъ Сильвіо: «я уже не существую, я давно

умеръ для свѣта. Но по законамъ требуется съ моей стороны формальное подтвержденіе. Господинъ нотаріусъ! Напишите немедленно актъ, что, вслѣдствіе распоряженія бывшаго графа Сильвіо Оспедалетто, единственнаго сына и наслѣдника блаженной памяти графини Беатриче Оспедалетто, все имѣніе покойной, движимое и недвижимое, согласно послѣдней ея волѣ, принадлежитъ ордену меньшихъ братій Св. Франческо.

«Сынъ мой!» вскричалъ въ восторгѣ провинціалъ, и заключилъ Сильвіо въ свои нѣжныя объятія. «Возлюбленный, драгоцѣнный сынъ! Святый Франческо!...»

Не знаю, что̀ тутъ еще причиталъ онъ; потому, что въ эту минуту дверь залы отворилась съ шумомъ, и явился Карлино, который тащилъ въ рукахъ Анзельмо, погруженнаго въ безпамятство. Онъ положилъ его на кресла почти бездыханнымъ, съ оловянными, выпученными глазами.

«Что это сдѣлалось сегодня съ падре?» говорилъ Карлино. «Давича чуть не убилъ меня до смерти. А теперь самъ, какъ безумный, бѣжитъ прямо въ озеро, и былъ бы на днѣ, когда бъ я не схватилъ его и не притащилъ сюда насильно.»

Это происшествіе перервало сцену нѣжности, разыгрываемую провинціаломъ. Онъ и Сильвіо взглянули на Анзельмо.

«Да!» началъ опять Сильвіо: «прости меня, отецъ мой! Я позабылъ присовокупить еще два условія къ моему распоряженію. Первое: падре Анзельмо Кана-

льетти долженъ пользоваться до конца жизни тою пенсіею, которая назначалась ему послѣднимъ завѣщаніемъ...

Или Анзельмо притворялся, или слова Сильвіо имѣли на него гальваническое дѣйствіе. Онъ весь задрожалъ при нихъ и простоналъ глухо.

«Второе,» продолжалъ Сильвіо, не обращая вниманія на его конвульсіи: «второе, отецъ мой: эта дѣвушка, Фіорелла, дочь моей кормилицы Камиллы Ченталли, получитъ достаточное приданое, чтобы выйти замужъ, за кого она пожелаетъ, а мать ея — пенсію, которая бы обезпечила ея существованіе по смерть... Не правда ли, отецъ мой, вы утверждаете эти условія?...»

Провинціалъ изъявилъ знакъ согласія. Фіорелла взглянула на Карлино, потомъ схватила его за руку, потомъ вмѣстѣ съ нимъ бросилась на колѣна передъ Сильвіо. Старая Камилла присоединилась къ нимъ. Они обливали слезами руки Сильвіо, которыя онъ напрасно усиливался освободить отъ нихъ.

«Господинъ нотаріусъ!» сказалъ провинціалъ, можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ растрогавшись. «Я угадываю выборъ дѣвушки. Начинайте съ ея свадебнаго контракта, въ который включите и пенсію матери.»

Нотаріусъ сѣлъ за столъ писать...

—

Лекки остановился при этихъ словахъ.

«И такъ,» сказалъ я: «и такъ, Сильвіо...

«Погодите,» перервалъ Лекки, «погодите, исторія еще не кончилась. Главное только начинается... Но я совершенно истощился. Налейте мнѣ еще вина...»

Я налилъ стаканъ, не понимая, что еще могло случиться. Лекки осушилъ его однимъ духомъ. Это возвратило ему силы.

«Слушайте же теперь,» собравъ все свое мужество, продолжалъ онъ. «Антоніо заскрыпѣлъ своимъ послушнымъ перомъ, распросивъ прежде подробно о количествѣ назначаемаго приданаго и пенсіи. Не помню, сколько это было; но провинціалъ не поскупился на чужое добро, особенно въ такую минуту и при такомъ свидѣтелѣ. Только Антоніо не успѣлъ, я думаю, написать двухъ строкъ, какъ у подъѣзда раздался стукъ колесъ быстро примчавшейся кареты. Черезъ нѣсколько секундъ дверь въ залу распахнулась лакеемъ въ золотыхъ галунахъ, и вошелъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, ведя подъ руку женщину лѣтъ подъ тридцать. Кто бы, вы думали, это были?»

Я не отвѣчалъ ни слова.

«Маркизъ и маркиза Рокка!

«Рокка!» вскричалъ я. «Кажется, такъ называлъ Сильвіо нинѣшнюю фамилію Анджелики...

«Это была именно она сама — госпожа маркиза Рокка — съ своимъ благороднымъ супругомъ! Монсиньоро Урбини привѣтствовалъ вошедшую чету этимъ роковымъ именемъ, отъ котораго у меня занялся духъ, оледенѣли послѣднія капли крови. Опустясь на близъ стоявшія кресла, я искалъ потухающими глазами Сильвіо. Онъ стоялъ недвижимъ, склоня голову.

Господинъ маркизъ очень сухо отвѣчалъ на привѣтствіе провинціала. Онъ объявилъ безъ всякихъ дальнихъ предисловій, что, извѣстясь о воспослѣдовавшей кончинѣ двоюродной тетки его, графини Оспедалетто, умершей бездѣтною, онъ, въ качествѣ ближайшаго родственника и наслѣдника фамиліи Оспедалетто, поспѣшилъ, вмѣстѣ съ женою, отдать послѣдній долгъ покойницѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ лично присутствовать при опечатаніи ея бумагъ и вещей, которое будетъ произведено ѣдущими вслѣдъ за нимъ чиновниками Ароны, въ ожиданіи, пока онъ, какъ законный и единственный наслѣдникъ, будетъ признанъ и введенъ должнымъ порядкомъ во владѣніе всего оставшагося имѣнія, движимаго и недвижимаго.

Монсиньоро Урбини возвратилъ уже всю свою гордость. Онъ презрительно посмотрѣлъ на маркиза и отвѣчалъ ему:

«Благородный маркизъ и его супруга могутъ вполнѣ удовлетворить влеченію ихъ нѣжнаго, чувствительнаго сердца, и оросить слезами прахъ родственницы, такъ горячо ими любимой. Что же касается до имѣнія покойной графини, то считаю долгомъ извѣстить васъ заблаговременно, господинъ маркизъ: вы подвергаете себя на счетъ его напрасному безпокойству. Блаженныя памяти графиня Оспедалетто, ваша дражайшая родственница, распорядилась такъ, что вы совершенно избавлены отъ тяжкихъ заботъ, которыхъ потребовало бы управленіе такимъ значительнымъ имуществомъ, какимъ благословилъ ее Богъ. Оно все принадлежитъ ордену братій Св. Франческо, котораго я, недостой-

ный, имѣю честь быть провинціаломъ въ здѣшней области.»

Маркизъ перервалъ тѣмъ же саркастическимъ тономъ:

«Я слышалъ, высокопреподобнѣйшій отецъ, что графиня въ послѣднее время возымѣла это благочестивое намѣреніе, внушенное ей, конечно, Небомъ и подкрѣпленное его достойными служителями; что она даже имѣла предосторожность подтвердить это формальнымъ завѣщаніемъ. Сколько я ни желалъ бы исполнить безпрекословно волю родственницы, которая точно была для насъ дражайшею, но встрѣчаю къ тому непреодолимыя затрудненія. Въ брачномъ контрактѣ, заключенномъ между покойнымъ графомъ Бернардо Оспедалетто и дѣвицею Беатриче Біанки, блаженной памяти графинею, постановлено, что, въ случаѣ смерти послѣдней безъ прямаго потомства, все имущество ея, движимое и недвижимое, обращается къ родственникамъ графской фамиліи Оспедалетто, изъ которыхъ я, маркизъ Рокка, имѣю честь быть ближайшимъ.

«Господину маркизу не безъизвѣстно,» возразилъ провинціалъ, «что графиня скончалась не безъ прямаго потомства. Не угодно ли взглянуть на имѣющуюся здѣсь копію акта, которымъ она, назадъ тому еще десять лѣтъ, предоставила все свое достояніе, единственно и исключительно, сыну своему, графу Сильвіо Оспедалетто?

«Знаю,» отвѣчалъ маркизъ, «что графиня имѣла сына; но вашему высокопреподобію должно быть извѣстно, что этотъ сынъ давно уже не существуетъ. Предъ-

явленіе, которое прокуроръ вашего ордена сдѣлалъ въ Миланѣ о смерти графа Сильвіо Оспедалетто, уничтожаетъ актъ, о которомъ вы говорили. Что жъ касается до того, который графиня сдѣлала послѣ въ порывѣ благочестія, то я имѣю его формальное уничтоженіе, сообразно силѣ брачнаго условія, котораго выраженія слишкомъ ясны и опредѣлительны. Блаженной памяти графиня могла позабыть, что, при ея безпотомственности, она не имѣла уже никакого права распоряжаться своимъ имѣніемъ: но законъ памятливъ. Почему, сообщивъ вамъ всѣ нужныя объясненія, беру смѣлость пригласить васъ, какъ служителя церкви, совершить молитву надъ остатками усопшей, прежде нежели вы оставите эту виллу, гдѣ я намѣренъ не имѣть лишнихъ свидѣтелей моей душевной горести.»

Лицо провинціала обагрилось яркимъ румянцемъ.

«Маркизъ!» сказалъ онъ: «я долженъ отдать справедливость благоразумію принятыхъ вами мѣръ; но онѣ, къ сожалѣнію, напрасны. Завѣщаніе, объ уничтоженіи котораго вы хлопотали, не стоило этого труда: оно уничтожилось само собою,—уничтожилось тѣмъ, что извѣстіе о смерти графа Сильвіо оказалось совершенно ложнымъ. Это самое уничтожаетъ и свадебный контрактъ, на которомъ основывается ваше обольщеніе. Графиня скончалась не бездѣтною! Какъ служитель алтаря, я готовъ исполнить ваше благочестивое желаніе; но потомъ прошу, какъ добраго и обязательнаго сосѣда, почтить вашимъ свидѣтельствомъ приготовляемое подтвержденіе послѣдней воли графини, прежде нежели вы оставите эту виллу, гдѣ я не намѣренъ васъ

удерживать, видя какъ раздражается здѣсь ваша родственная чувствительность. Господинъ нотаріусъ! не изготовили ль вы уже акта, которымъ графъ Сильвіо Оспедалетто утверждаетъ ордену Св. Франческо все имѣніе своей матери, принадлежащее ему по праву единственнаго законнаго наслѣдника?»

Маркизъ вспыхнулъ.

«Это что значитъ?» вскричалъ онъ. Берегитесь играть именами, тѣмъ болѣе лицами. Замышленный подлогъ будетъ стоить вамъ дорого. Я предувѣдомляю васъ объ этомъ изъ состраданія, добрый отецъ!

«А я докажу вамъ иначе мое состраданіе въ отношеніи къ вамъ,» возразилъ провинціалъ. «Я предостерегу васъ не пустыми угрозами отъ клеветы, которая послужила бы только къ стыду и посрамленію вашему, благородный маркизъ. Знайте,» продолжалъ онъ, возвышая голосъ, «что графъ Сильвіо Оспедалетто не только живъ, но и находится здѣсь между нами. Я считаю себя обязаннымъ открыть, не столько для успокоенія васъ, или для изобличенія хулы на святый орденъ, котораго имѣю честь быть недостойнымъ членомъ, сколько для прославленія дивныхъ дѣлъ Божіихъ! Вотъ онъ — вотъ графъ Оспедалетто!» примолвилъ онъ, указывая торжественно на Сильвіо: «избранникъ Господень, достойно вѣнчающій благородное, увядшее на землѣ, но оживающее въ небесахъ древо!»

Маркизъ затрепеталъ. Онъ не могъ узнать Сильвіо, который стоялъ смиренно, потупя голову, во все продолженіе сцены; но вѣрно торжественный, самоувѣренный тонъ провинціала поразилъ его. Смущенный,

взглянулъ онъ на жену, какъ будто ожидая отъ ней подкрѣпленія и воодушевленія.

Госпожа маркиза во все это время со всѣмъ спокойствіемъ невинности играла концами своей богатой шали. Разстроенный видъ мужа пробудилъ ея безпечность. Она отворила свои розовыя уста и произнесла звуками нѣжной, гармонической флейты:

«Къ чему всѣ эти разсужденія, милый другъ! Участь графа Сильвіо Оспедалетто извѣстна. Ты имѣешь свидѣтельство изъ Божьяго-Дома въ Парижѣ, что несчастный скиталецъ, въ которомъ самъ ты призналъ графа Сильвіо — Богъ да упокоитъ душу его — скончался. Оно здѣсь — это свидѣтельство: я захватила его съ собой на всякій случай...»

И бѣленькая ручка маркизы опустилась въ ридикюль. Но въ эту минуту Сильвіо поднялъ голову. О! какъ былъ онъ величественно прекрасенъ!

«Вы обмануты, госпожа маркиза, вы обмануты, господинъ маркизъ,» сказалъ онъ голосомъ ангельской кротости. «Я точно бывшій графъ Сильвіо Оспедалетто; я живу еще.»

Маркизъ вскрикнулъ и отскочилъ на нѣсколько шаговъ. Онъ узналъ Сильвіо. Маркиза не обнаружила никакого волненія: только рука ея остановилась въ ридикюлѣ.

«Отецъ мой!» продолжалъ Сильвіо, обращаясь къ провинціалу: «благословите вашимъ одобреніемъ мысль, которая кажется мнѣ надежнѣйшимъ средствомъ водворить миръ въ эту минуту, когда бренные остатки моей матери еще не совсѣмъ остыли. Имѣніе ея со-

стоитъ изъ двухъ половинъ: одна находится въ Ломбардіи, другая въ Піемонтѣ. Первою церковь не можетъ владѣть, по существующимъ постановленіямъ; вы должны будете продать ее, и продать съ неминуемыми потерями. Пусть же останется она за господиномъ маркизомъ Рокка, который былъ мнѣ добрымъ родственникомъ и пріятелемъ во времена прошлыя, за нимъ и за супругою его нераздѣльно! Я желаю только, чтобы пожизненная пенсія падре Анзельмо въ такомъ случаѣ принята была господиномъ маркизомъ и госпожею маркизою.

«Ничего, ничего!» раздался голосъ Анзельмо. «Я не хочу ничего,» бормоталъ онъ; и конвульсіи его усилились.

«Amen!» произнесъ провинціалъ, конечно постигшій всю выгоду предложенія, которое, обезпечивая ему все вѣрное, спасало отъ ссоры и отъ молвы изъ-за невѣрнаго.

Маркизъ нѣсколько секундъ стоялъ въ изумленіи; потомъ подошелъ къ Сильвіо и взялъ его за руку: глаза его были наполнены слезами умиленія. Маркиза продолжала играть своею шалью. Богъ вѣсть, что происходило въ ея душѣ; лицо ничего не говорило рѣшительно.

Когда Сильвіо взялъ перо, чтобы подписать приготовленные немедленно акты, я не могъ долѣе выдержать. Розарій его лежалъ на столѣ, подлѣ котораго стояла маркиза. Я подошелъ, взялъ въ руки четки, отыскалъ завѣтное кольцо, сплетенное изъ черныхъ

волосъ, и съ улыбкою, исполненною ядовъ Локусты, обратилъ на него вниманіе маркизы.

«Фра-Сильвіо,» сказалъ я, пронзивъ ее змѣинымъ взглядомъ: «Фра-Сильвіо носитъ странные талисманы. Посмотрите, госпожа маркиза!»

Она взглянула, и легкая улыбка промелькнула на ея губахъ, не потерявшихъ нисколько своей розовой свѣжести. И Сильвіо взглянулъ на меня: въ его взорѣ изображался тихій упрекъ моей злобной нескромности.

Подписавъ бумаги, Сильвіо обратился къ провинціалу и сталъ передъ нимъ на колѣна.

«Теперь все кончено,» сказалъ онъ. «Отецъ! благослови сына своего въ предстоящій путь!»

Монахъ поднялъ руки. Мнѣ показалось, что и на его ресницѣ блеснула слеза.

«Богъ да благословитъ тебя!» произнесъ онъ голосомъ, въ которомъ изобличился трепетъ чувства, можетъ-быть и искренняго — да, я увѣренъ — искренняго! — «Я,» примолвилъ онъ еще растроганнѣе: «я поручаю себя твоимъ святымъ молитвамъ!»

И онъ обнялъ Сильвіо.

Предстоящіе рыдали. Даже Антоніо, добрый весельчакъ, привыкшій къ катастрофамъ жизненной драмы, даже онъ утиралъ платкомъ раскраснѣвшіеся глаза.

Только двое были спокойны: Анзельмо и маркиза. Но Анзельмо былъ погруженъ въ мертвое оцѣпенѣніе; лицо искаженное, глаза выкатились, всѣ суставы скор-

чены. Напротивъ маркиза сіяла блескомъ чувства, непричастнаго земнымъ, тревожнымъ волненіямъ.

Я вышелъ съ Сильвіо за ворота виллы. Здѣсь онъ простился со мною...

Долго стоялъ я, смотря за нимъ въ слѣдъ, долго, пока онъ не скрылся. Сильвіо шелъ медленно, но твердо. Онъ ни разу не обернулся назадъ...

Я больше не возвращался въ виллу. Не останавливался въ Бавено. Домой пріѣхалъ ночью съ тѣмъ же проводникомъ, не помня, какъ ѣхалъ.

Сегодня утромъ жена привезла меня сюда, надѣясь, что эта прогулка разсѣетъ мое внезапное, непостижимое для ней, уныніе. Она сама отправилась на процессію.

«А!..» сказалъ Лекки, ударивъ обѣими руками по столу.« Что вы объ этомъ думаете?...

«Что думать?» отвѣчалъ я.

И въ самомъ дѣлѣ, я не былъ въ состояніи думать.

«Не правда ли?» продолжалъ Лекки, смотря на меня съ глубокою грустью. «Жизнь такъ странна, что право не стоитъ труда родиться.»

Я молчалъ...

Въ эту минуту раздался пронзительный звукъ почтовой трубы. Хозяинъ трактира, знавшій, что я ѣду въ дилижансѣ, явился со счетомъ и извлекъ меня изъ задумчиваго бездумья.

Я обнялъ Лекки.

Площадь нѣсколько поразрѣдѣла. Народъ очистилъ дорогу каретѣ, при второмъ звукѣ трубы.

«Прощайте!» кричалъ мнѣ Лекки съ балкона. «До свиданія! Можетъ быть и еще увидимся!...»

Можетъ быть! Чего не случается, чего не можетъ случиться?... Судьба такъ изобрѣтательна, что никакое воображеніе не сравнится съ нею въ выдумкахъ. Жизнь бываетъ невѣроятнѣе сказки!

ІАКОВЪ МОЛЕ.

ПОВѢСТЬ.

ІАКОВЪ МОЛЕ.

—

повѣсть.

—

1.

СКАЗАНІЕ.

Золотой пеленой легли лучи заходящаго солнца на вершину Сіона.

Сіонъ! Сіонъ! домъ Божій, селеніе превыше всѣхъ селеній Іакова, вмѣстилище Скиніи Завѣта, хранилище праха Давида, юдоль, освященная стопами Сына Божія, чье сердце не возрадуется при имени твоемъ!

Но ни зрѣлище отходящаго свѣтила небеснаго, ни видъ торжественной горы Сіона, ни свѣжесть вечерняго воздуха, ничто не вызвало сына племени Іудова изъ душныхъ стѣнъ его жилища.

Съ жадностью очи Малха смотрѣли на злато, обманомъ и хитростію добытое: то была лихва съ нищаго пилигрима, бѣдняка крестоносца, то были ядовитые

плоды кровавой платы, тридцати сребренниковъ, нарощенные корыстью отверженнаго колѣна.

Злато пересыпалось въ рукахъ Малха, блистало мертвымъ блескомъ и въ кучкахъ ложилось на раскинутой полѣ его одежды.

Казалось, слезы и кровь христіанъ, отягощенныхъ налогами и притѣсненіями сборовъ, застыли на хладныхъ монетахъ; но, не смущали онѣ, напротивъ, тѣшили злобнаго Іудея, и богопротивная рѣчь лилась съ нечистыхъ устъ его.

«Злато, злато!» восклицалъ Малхъ: «въ тебѣ *жизнь сердца народовъ!* Чего не свершишь твоею силою? какой бѣды, какого зла не отвратишь отъ главы избраннаго племени?... О, сыны Іуды! сбирайте злато, копите его: въ немъ ваша защита и опора, въ немъ даже месть вашимъ гонителямъ.

«И безъ сожалѣнія выжимайте его вмѣстѣ съ кровью отъ псовъ нечестивыхъ; безъ сокрушенія сердца внимайте ихъ мольбамъ, плачу и рыданьямъ, — отверженники не стоятъ его. Когда сыну Израиля, когда тебѣ, Малхъ, доведется тѣснить и мучить слугу Беліала, вспомни позоръ и поношеніе твоихъ братьевъ въ Тулузѣ, въ Безіерѣ, въ Провансѣ и Бургундіи; вспомни кровопролитія въ домѣ Іакова во дни отправленія нечестивыхъ въ землю обѣтованную; вспомни ужасы и опустошенія здѣсь уже, когда стопы ихъ коснулись вратъ Іерусалима, храма Соломонова; вспомни и укрѣпись духомъ; не дай внити въ него состраданію; мсти своимъ утѣснителямъ, да не будутъ

менѣе дружны, менѣе братья между собой овцы угнетенныя, чѣмъ звѣри кровожадные, угнетатели!»

Глубокое молчаніе послѣдовало на-время за богопротивною рѣчью Іудея.

Малхъ собралъ въ одну кучу раскиданное золото, съ злобною улыбкой смотрѣлъ на него, и въ этой грудѣ, въ этой горѣ корысти и неправды чествовалъ Молоха, кланялся своему тельцу.... мести.

Кто-то постучалъ въ двери. Малхъ встревожился и, прикрывъ золото другою полой своей одежды, спросилъ смущеннымъ голосомъ:

— Кто прикасается перстами въ неназначенный часъ къ тростнику дверей моихъ?

— Нужда и горе, было отвѣтомъ.

— Ночь скрываетъ ихъ отъ очей сына Израиля, да не нарушится обычай дома Іакова, сказалъ успокоившись, Малхъ.

Мгновенное молчаніе наступило послѣ разговора, но снова стукъ нарушилъ его.

— Умилосердись! умилосердись! повторилъ умоляющій голосъ за дверью.

— Да не внидетъ милосердіе въ часъ ночной въ душу гонимаго племени; злоба и хитрость наругаются надъ нимъ! отвѣчалъ Малхъ.

— Такъ ты не отопрешь, Іудей! закричалъ снова голосъ за дверью, сдѣлавшись вдругъ изъ умоляющаго повелительнымъ. Такъ я же самъ отопру....

Дверь слетѣла съ петель; Малхъ вздрогнулъ: передъ нимъ стоялъ рыцарь въ вооруженіи.

Бѣлое шерстяное полукафтанье стягивало станъ его; на плечахъ былъ накинутъ того же цвѣта плащъ; простая кольчуга защищала грудь; желѣзный мечъ сторожилъ бедро и широкій кинжалъ безъ ноженъ, на мѣдной цѣпи, висѣлъ черезъ руку рыцаря. Съ гнѣвомъ и презрѣніемъ въ очахъ подошелъ онъ ближе къ Малху.

— Знаешь ли меня? спросилъ онъ трепетавшаго Іудея.

— Іерусалимъ и земля святая полны славы и подвиговъ Жерарда Русильонскаго, отвѣчалъ Малхъ, дрожа по прежнему всѣмъ тѣломъ.

— А ни какая слава, ни какіе подвиги не достучались еще путемъ до берлоги проклятаго Іудея, перебилъ рыцарь, грозно ударивъ по столу рукояткою кинжала.

Столъ задрожалъ, золото зазвенѣло, Малхъ поблѣднѣлъ.

— Малхъ! сказалъ не столь сурово рыцарь: западало ли хоть однажды состраданіе въ твою душу? желалъ ли ты когда-нибудь отклонить нужду, помочь горю, спасти отъ бѣды твоего ближняго?

— Случая не было, великій рыцарь, случая не было! отвѣчалъ ободрившись Малхъ.

— А если бы представился?

— У меня нѣтъ нуждающихся ближнихъ, и мой ближній не черезъ тебя станетъ просить моей помощи, великій рыцарь.

— Всѣ люди ближніе между собой, Малхъ.

— Въ нуждѣ, когда дѣло идетъ именно о помощи,

великій рыцарь; но вѣра, ненависть, гоненья разъединили ихъ....

— Малхъ! Малхъ! мои братья въ плѣну, сестры въ гаремахъ, отецъ и мать въ неволѣ. Помоги мнѣ, помоги на-время: на годъ срока дай злата, дай выкупъ за нихъ! Я заплачу тебѣ его съ лихвой, заплачу въ первый же день нашего великаго праздника.... клянусь въ томъ, клянусь именемъ Бога-Христа, за насъ распятаго! Малхъ, Малхъ! не отринь моей просьбы....

— Великій рыцарь, отвѣчалъ съ ложнымъ смиреніемъ Іудей: твои братья, твои сестры, твои мать и отецъ не мои братья, не мои сестры, не мои мать и отецъ; твой Богъ не мой Богъ, — не вѣрю клятвѣ, не дамъ злата, не внемлю твоей просьбѣ.

— Малхъ, Малхъ! тебѣ нужна защита, покровительство; твой домъ, твою семью, родныхъ, твое достояніе, все возьму подъ свою охрану, не дамъ ихъ на истребленіе, только внемли мольбѣ моей...

— Великій рыцарь! семью мою истребили христіане; достояніе разграбили крестоносцы: нечего защищать, нечего сохранять, нечѣмъ и пособить тебѣ.

— Ты ухищряешься, Малхъ, коварствуешь; откинь ложь и неправду, смягчи твое сердце сожалѣніемъ, помоги мнѣ.

Злобная улыбка радости была отвѣтомъ на скорбное моленіе горести.

Рыцарь плакалъ, Іудей смѣялся.

Рыцарь рыдалъ, простирая униженно руки; Іудей издѣвался.

— Не такъ ли же простирали мы длани къ вамъ, когда пламя опустошало домы наши въ стѣнахъ Іерусалима, когда мечъ крестоносцевъ купался въ крови чадъ Израиля — сжалились ли тогда вы? Не такъ ли же молили мы васъ о выдачѣ женъ, дѣтей, равно плѣненныхъ съ дѣтьми и женами Сарацинскими, и равно непощаженныхъ вами: умилосердились ли тогда вы? А теперь, когда то же горе посѣтило и тебя, великій рыцарь, собратъ христіанъ и крестоносцевъ, ты позабылъ кровь, пролитую вами; ты позабылъ униженіе наше; ты готовъ позабыть и Того Бога, во имя Котораго уничтожалъ насъ....

Очи рыцаря были воздѣты къ небу, положеніе рукъ измѣнилось по направленію къ храму Іерусалимскому; уста его шептали молитву: «Боже милостивый, Ты видишь всё!»...

— Малхъ, я отниму у тебя силою, не вымоливъ слезами, закричалъ рыцарь. Злата мнѣ! злата!

И опять ударъ по столу рукояткой кинжала заставилъ снова вздрогнуть и побѣднѣть Іудея. Въ испугѣ Малхъ дернулъ полами своей одежды и разсыпалъ цехины. Нужда подстрекала рыцаря, — онъ съ жадностью бросился на нихъ.

Недолго Малхъ пребывалъ спокойнымъ зрителемъ невольнаго хищничества: утрата достоянія истребила страхъ. Съ яростью схватилъ онъ ножъ, висѣвшій на дверяхъ его жилища; но кинжалъ рыцаря предупредилъ направленный ударъ, впился въ сердце Іудея, — кровь брызнула и рядомъ съ краснымъ

крестомъ легла пятнами на бѣломъ плащѣ храмовника....

— Проклятье на тебя!.... проклятье!.... стоналъ замирая Іудей: да падетъ оно на главу твою, твоихъ кровныхъ, твоихъ близкихъ, до послѣдняго твоего колѣна!... да вооружитъ, да возставитъ это злато брата на брата, сына на сына изъ твоего роду! да сокрушитъ оно и послѣдняго твоего потомка! да раскалится, да расплавится это злато въ рукахъ твоихъ и сожжетъ тебя своимъ адскимъ пламенемъ!.... да наростетъ оно, да умножится, да потечетъ лавой и истеплитъ всё твое племя, всё твое братство.... Проклятье! проклятье!....

Свистя пролетѣлъ мимо ножъ, направленный въ рыцаря и ударилъ въ оконницу. Вѣтеръ хлынулъ въ пробитое отверзтіе и загасилъ свѣтильникъ; онъ былъ единственный свидѣтель кроваваго событія.

— Господи! да не дойдетъ до Тебя проклятіе сына Іудова! да не услышится оно въ предѣлахъ горнихъ!...

Такъ кончилъ свое страшное сказаніе современный лѣтописецъ 1120 года.

—

2.

ХРАМОВНИКИ.

Давно ли было полнолуніе, давно ли собирались храмовники; но Іаковъ Моле, великій магистръ ордена, позвалъ ихъ снова. Вѣсти съ Запада были поводомъ къ неожиданному собранію.

Сѣверная часть древняго зданія, въ концѣ предмѣстья города Лимиссо, на выходъ уже къ морю, составляла временный храмъ ордена на островѣ Кипрѣ. Обширная зала, съ мрачными сводами, которые поддерживались черными колоннами, была главнымъ мѣстомъ собраній въ дни *торжественные*, въ дни *обычные* и въ дни *случайные*.

Молча сходились рыцари и занимали свои мѣста вокругъ жертвенника, покрытаго чернымъ сукномъ и на которомъ возвышались желѣзный крестъ — символъ ордена, чаша жизни и искупленія, и мечъ, совоинственникъ братій, за гробъ Господень подвизавшихся.

Мѣсто, ничѣмъ не отличавшееся отъ прочихъ, кромѣ раскинутаго надъ нимъ босеана-знаменья и свидѣтеля двухъ-сотъ-лѣтнихъ подвиговъ рыцарей храма, мѣсто великаго магистра было еще не занято.

Тишина, спокойствіе, благочиніе царствовали въ собраніи. Казалось, первоначальная эпоха храмовниковъ настала; казалось, то было одно изъ первыхъ и торжественныхъ собраній Гуго-Паганинскаго и Девяти Братій, основателей великаго ордена. Самое видимое смиреніе рыца-

рей наводило на то время, когда уставъ и правила Св. Бернарда еще свято и ненарушимо сохранялись орденомъ; самая одежда ихъ, простая и скромная, переносила невольно къ той эпохѣ, когда первые нищенствовавшіе храмовники, за недостаткомъ, ѣзжали по-двое на одномъ конѣ, срывали серебряную и золотую оправу съ оружія, и не смотря на различіе росту, одѣвались въ одну и ту же грубую шерстяную одежду одинаковой мѣры. Все перемѣнилось по-видимому; все, казалось, приходило въ прежнюю строгость и порядокъ: умъ, дѣятельность и примѣрная жизнь настоящаго магистра совершали великое преобразованіе къ лучшему въ орденѣ. Трудно, конечно, слагалась кора слабостей и пороковъ, въ которыхъ упрекали храмовниковъ; трудно было разставаться съ привычками роскоши и нѣги, привившимися къ нимъ въ двухъ-сотъ-лѣтнее пребываніе ихъ на Востокѣ; трудно было согласить смиреніе, кротость и бѣдность, предписываемыя прежнимъ уставомъ, съ соблазнами силы, могущества и славы, на которые они опирались въ настоящую эпоху. Но Іаковъ Моле шелъ смѣло къ великой цѣли, разрушая препятствія, укрощая непокорныхъ, карая виновныхъ со всею строгостью мѣръ и правъ возложеннаго на него званія великаго магистра.

Четыре раза раздавался звонъ колокола на башнѣ; четыре раза эхо повторяло унылые раскаты звуковъ; двери въ залу растворились; вошелъ великій магистръ, въ сопровожденіи вновь прибывшаго изъ Франціи храмовника.

Тихій шопотъ пробѣжалъ по рядамъ предсѣдящихъ

шестидесяти рыцарей, но великій магистръ занялъ свое мѣсто, и прежнее безмолвіе водворилось въ капитулѣ.

Іаковъ Моле, не смотря на важность собранія, на свое обычное спокойствіе и строгость, не могъ скрыть чувства внутренняго восхищенія, которымъ волновался онъ, и радостная улыбка противъ обыкновенія осѣняла уста его.

«Братья!» сказалъ онъ, возвысивъ голосъ и воздѣвъ очи къ небу: «возблагодаримъ Всемогущаго; *обѣты наши услышаны*, вопли и стоны вновь угнетенныхъ христіанъ святой земли достигли до предѣловъ горнихъ; коронованныя главы Запада вняли призыву великаго преемника духовной власти: Клементъ V-й зоветъ и насъ на совѣщаніе о вновь замышляемомъ крестовомъ походѣ. Братья! вознесемъ благодарственную молитву нашу къ престолу *трикраты великаго Строителя вселенной.*»

Іаковъ Моле сталъ на колѣни; всѣ рыцари послѣдовали его примѣру.

«Да будетъ молитва, предложенная мною, тепло принятая и вознесенная вами, братья, выраженіемъ власти, въ которую облекаетъ меня мое званіе,» сказалъ снова великій магистръ, занявъ свое мѣсто и давъ знакъ рукою всему собранію сдѣлать то же. «Въ этой молитвѣ, я заранѣе высказалъ мое согласіе на предложеніе папы Клемента V-го; но, созвавъ васъ на капитулъ, я строго исполняю пятьдесятъ девятое правило святомудраго устава нашего; великое предпріятіе да обсудится всѣми членами общества, на-лицо находящими-

ся. Братья! внемлите ему и дайте совѣтъ. Вы скажете ваше мнѣніе во славу и пользу нашего великаго ордена.»

— Само небо вѣщаетъ устами первосвященника Климента, сказалъ Іоаннъ Шатовильярскій: никогда нужды страждущихъ христіанъ не доходили до большей крайности и никогда силы нашего ордена, возвращенныя ему тобою, великій магистръ, не являлись столь мощными, какъ въ настоящее время. Наши подвиги на берегахъ Финикійскихъ, противъ эмировъ Египетскихъ, подъ твоимъ предводительствомъ, наше быстрое завоеваніе, хотя не надолго, вновь Палестины, за нѣсколько лѣтъ тому назадъ, заручаютъ несомнѣнно успѣхи новаго крестоваго похода, и стыдно бы коснѣть въ бездѣйствіи христіанствующему Западу, когда цари Арменіи и Грузіи пытали вырвать святую землю изъ рукъ невѣрныхъ, когда владѣтели такихъ же невѣрныхъ сочувствовали истребленію враговъ Христа, и стѣны Іерусалима не разъ осѣнялись знаменами полчищъ Казана, царя Монгольскаго!

— Не сомнѣваемся въ святости побужденій Климента V-го, возразилъ Генрихъ Герсинскій. Всѣ надежды его на водруженіе вновь знамени крестоносцевъ на стѣнахъ Іерусалимскихъ не безъ основанія опираются на подвигахъ ордена нашего; но въ то же время непостижимо для насъ это призваніе почти отъ вратъ Палестины, отъ преддверій Іерусалима, столь неожиданно и можно смѣло сказать совершенно не во-время на западъ Европы! Зачѣмъ оно? зачѣмъ оставить намъ Кипръ, откуда всѣ движенія наши могли бъ

быть гораздо удобнѣе, быстрѣе, и ѣхать во Францію на совѣщаніе. Не о чемъ, кажется, совѣщаться; дѣло, рѣшенное судомъ Предвѣчнаго — стоять за гробъ Господень, пока не освободимъ его отъ рукъ невѣрныхъ. Стоило только вспомнить о томъ намѣстнику Св. Петра и возвѣстить христіанствующему міру про высокій подвигъ, на немъ возлежащій.

Генрихъ Герсинскій замолкъ; одобрительный ропотъ прошелъ между рыцарями.

— Паствы пасутся пастырями, народы управляются избранными и помазанными, и въ нашъ вѣкъ трудно двинуть паствой и народомъ, не согласивъ прежде пастыря и избраннаго. Совѣтъ необходимъ, замѣтилъ строго великій магистръ: и мы братья, Генрихъ Герсинскій, мы храмовники, мы сокровенные блюстители блага христіанскаго міра, должны быть допущены къ совѣщанію. Честь, а не безчестіе дѣлаетъ намъ вызовъ намѣстника Св. Петра; высокій разумъ руководствуетъ его лестнымъ для насъ предложеніемъ.

— Не вѣрнѣе ли бъ было намъ, великій магистръ, не оставляя Кипра, внять конечнымъ выводамъ и распоряженіямъ собора, назначеннаго папой, и сдѣлаться своевременнѣе ихъ ревностнѣйшими исполнителями? Отдаленность отъ главнаго поприща нашего двухъсотъ-лѣтняго подвизанія, смуты Европы, соблазнъ придворной и городской жизни, могутъ охладить самое теплое, духовное чувство; я посѣдѣлъ, великій магистръ, во святыхъ браняхъ, свыкся съ требованіями нашего ордена: не могу безъ слезъ и восхищенія взирать на тебя, какъ на примѣрнаго ревнителя и исполнителя его

строгихъ правилъ; но не ручаюсь за себя, не ручаюсь, что родина не пересилитъ земли обѣтованной, что желаніе остаться въ ней не вырветъ меня противу воли изъ рядовъ поборниковъ креста.

— Братъ нашъ, Генрихъ, перебилъ Іоаннъ Парижскій: для того только, чтобы отстоять свое мнѣніе, готовъ клеветать на братьевъ, не щадя и себя.

— Братъ нашъ Іоаннъ, возразилъ Генрихъ Герсинскій: чтобы взглянуть на свои замки и помѣстья Турскіе, готовъ тоже на все, готовъ даже позабыть уваженіе къ братьямъ старшимъ и опытнѣйшимъ его...

— Братья наши Іоаннъ и Генрихъ увлеклись личными спорами, замѣтилъ Ламбертъ Куаси: не рѣшая общаго дѣла, главнаго вопроса — ѣхать или не ѣхать намъ, всѣмъ, или избраннымъ.

— Ѣхать! раздалось на сторонѣ Іоанна Парижскаго.

— Не ѣхать! чуть слышно сказали нѣкоторые на сторонѣ Генриха Герсинскаго.

— Избраннымъ! воскликнули всѣ.

— Всѣмъ! сказалъ торжественно Іаковъ Моле. И одно только равнодушіе къ святой вѣрѣ, одна только праздность и бездѣйствіе могли подсказать нежеланіе принять предложеніе святѣйшаго папы; одна холодность и полуприверженность къ ордену могла родить мысль объ избраніи только нѣкоторыхъ; всѣ мы братья, всѣ мы воины креста, всѣ мы слуги ордена: всѣмъ равно необходимо и радѣть объ его пользѣ и славѣ.

— Отчего же къ намъ однимъ, возразилъ Генрихъ Герсинскій: обратился Клементъ V-й? отчего рыцари Іоанна Іерусалимскаго, рыцари гроба Господня,

Тевтонскіе наконецъ, не призываются на предназначенное совѣщаніе? Дѣло общее всей христолюбивой братіи; смиряюсь передъ этимъ предпочтительнымъ избраніемъ, и, какъ членъ и слуга ордена храма, желалъ бы менѣе значить во мнѣніи и духовныхъ и свѣтскихъ властей Запада...

Снова одобрительный ропотъ пробѣжалъ между рыцарями.

— Знайте дѣло, братья, знайте прежде, воскликнулъ великій магистръ: и потомъ проговаривайте ваше рѣшительное мнѣніе. И другіе рыцарскіе ордена равно призываются на совѣщаніе; они могутъ ѣхать или нѣтъ, на то ихъ воля. Можетъ быть, страннопріимцамъ не до крестоваго похода; занятые преобразованіемъ въ *ленъ* острова Родоса, они утратили и память перваго предназначенія своего ордена; а Тевтонцамъ, среди ихъ честолюбивыхъ видовъ, среди устроенія будущаго королевства, имъ тоже не время думать и дѣйствовать во славу креста животворнаго; но мы по крайней мѣрѣ, мы храмовники, будемъ вѣрны обѣтамъ нашимъ, до конца жизни, до конца существованія ордена.

— А почему же бы и нашему ордену не послѣдовать примѣру другихъ орденовъ? сказалъ Робертъ Русильонскій, сидѣвшій на сторонѣ Генриха Герпинскаго и сохранявшій до сихъ поръ молчаніе. Времена перемѣнились, великій магистръ; полно быть труженниками безпріютными и бездомными, не пользующимися нашими владѣніями, собственностями; пора подумать и о гнѣздѣ, пора бы начать свивать его, и теперь вопросъ

пхать или не пхать намъ на соборъ кстати можетъ перемѣниться на другой: *зачѣмъ намъ пхать?* зачѣмъ хлопотать о новомъ крестовомъ походѣ? Не лучше ли войти въ наши права на Кипръ: не даромъ же Ричарду дали 25,000 серебряныхъ марокъ... еще лучше основаться на Арадѣ.

— Еще лучше, подхватили многіе: въ Финикіи.

— Вѣрнѣе, сказали другіе: въ самой Палестинѣ.

— Независимо отъ Запада, продолжалъ Робертъ Русильонскій.

— Расторгнуть всѣ связи съ нимъ, прибавилъ Генрихъ Герсинскій.

— Продать имѣнія, закричали всѣ.

— Продать! продать! раздалось въ залѣ.

Іаковъ Моле всталъ съ мѣста, подошелъ къ жертвеннику, схватилъ мечъ и, воткнувъ его крестообразно, не выпуская изъ рукъ, воскликнулъ громовымъ голосомъ:

— На колѣни, крамольники! именемъ великаго магистра на колѣни передъ крестомъ — символомъ мною управляемаго ордена!

Мгновенно повинновались храмовники волѣ своего великаго магистра: упали на колѣни и смолкли безропотно. Ни гордости, которая невольно могла бы родиться въ слѣдствіе сознанія могущества, ни самодовольной власти, ни заносчивости безусловнаго права не проявлялось въ очахъ Моле: одинъ справедливый гнѣвъ и грустное убѣжденіе въ шаткости правилъ ему подчиненныхъ братьевъ покрывали блѣдностью чело его.

— Братья! сказалъ онъ мрачно: за тѣмъ развѣ избрали вы меня вашимъ старшимъ, чтобы унизить не-

послушаніемъ въ самое блистательное мгновеніе судьбы нашего ордена? Для того развѣ облекли вы меня званіемъ великаго магистра, чтобы, отринувъ мои убѣжденія, возмутившись въ моемъ присутствіи, разрушить первое звено цѣпи нашего братства — безусловную покорность избранному магистру? Для того развѣ до сихъ поръ шли такъ согласно, дружно въ совершаемомъ преобразованіи, въ водворяемомъ нами порядкѣ, строгости, смиреніи, благочестіи, чтобы въ одинъ мигъ ниспровергнуть начатое и уничтожить наши общія надежды? О! я сложу, сложу этотъ крестъ съ главы моей, которымъ увѣнчали вы меня на званіе великаго магистра!....

И Моле снялъ красную магистерскую шапку и положилъ ее торжественно на жертвенникъ.

— Я отвяжу, продолжалъ онъ: отъ магистерскаго мѣста вдохновительный босеанъ, столько разъ потрясаемый мною передъ рядами вашими, да осѣнитъ онъ, и да разовьетъ его передъ вами достойнѣйшій!....

И Моле, подойдя къ знамени, отвязалъ его; храмовники вздрогнули.

— О! я сорву, сорву эту мантію магистерскую, которою вы же прикрыли семь ранъ моихъ, за честь и славу нашего ордена полученныя... Прочь отъ меня почесть людская, тщета міра человѣческаго! Простой братъ Моле видно былъ лучше великаго магистра Іакова Моле...

И Моле сбросилъ съ себя мантію. Храмовники плакали...

— О! я сгладилъ бы смертью эти раны съ чела и гру-

ди моей видно кровью, пролитою за братьевъ. Моле не снискалъ ихъ любви... *Боже милостивый! возьми раба Твоего Іакова, да не узритъ онъ позора ордена, Тобою благословеннаго.*»

И Іаковъ Моле съ воздѣтыми руками упалъ на колѣни передъ крестомъ.

Общій вопль исторгся изъ среды храмовниковъ. «Прости насъ! прости, великій магистръ!» раздалось по залѣ, тогда, какъ за нѣсколько мгновеній въ той же залѣ раздавались возмутительные крики.

Великій магистръ молился.

— Прости насъ! прости, великій магистръ! снова кричали одни.

— Умилосердись! восклицали другіе.

— Сжалься надъ нами! не оставляй насъ! Въ первомъ дѣлѣ со врагомъ, безъ щитовъ, безъ шлемовъ, будемъ биться съ нимъ... Прости насъ! прости! повторяли третіе.

— Посыплю главу пепломъ, босой, въ власяницѣ, на колѣняхъ приползу ко гробу Господню и буду молить о прощеніи... не покидай только, не покидай насъ! рыдая восклицалъ Генрихъ Герсинскій.

Великій магистръ молился.

Закостенѣли храмовники какъ бы въ нѣмой горести, смолкли вопли, смолкли рыданія — тишина мертвая воцарилась въ капитулѣ.

Великій магистръ окончилъ молитву и всталъ.

— Братья! сказалъ онъ смиренно, потупивъ взоры въ землю: какъ братъ вашъ, какъ простой совоинственникъ,

умоляю, внемлите моимъ убѣжденіямъ: откиньте гордость, на мгновеніе взволновавшую васъ; задушите суетныя желанія, нарушающія святость ордена нашего; почтите призывъ святѣйшаго папы, и мните лишь сподобиться участія въ предпринимаемомъ вновь походѣ крестовомъ; не мудрствуйте ложно тамъ, гдѣ ясны пути Промысла. Богу такъ угодно — Богу!...

— Богу такъ угодно! Богу такъ угодно! воскликнули единогласно храмовники и, вставъ съ колѣнъ, бросились къ великому магистру. Кто цѣловалъ его руки, кто подавалъ ему мантію, кто шапку магистерскую; одинъ только босеанъ оставался не тронутымъ, пока Іаковъ Моле самъ по обычаю не привязалъ его на прежнее мѣсто. Скоро великій магистръ явился, снова облеченный во всѣ знаки своего званія, и четвертый ударъ колокола возвѣстилъ объ окончаніи капитула.

Далеко за полночь вернулся Робертъ Русильонскій въ свой домъ съ капитула.

Не вмѣстѣ жили храмовники въ Лимиссо; тѣснота зданія, избраннаго ими для храма, по-необходимости заставляла ихъ нарушить обычай праотцевъ, храмовниковъ храма Соломонова. Разбросанные, ютились они по городу, кто въ главной улицѣ, кто въ предмѣстіи, строжайшія на взморьѣ; но вездѣ око великаго магистра равно бдительно слѣдило за поведеніемъ каждаго.

Робертъ Русильонскій жилъ въ лучшей части города, и, среди роскоши, среди нѣги полу-азіятской, полу-греческой, забывалъ почастую строгія правила устава своего ордена, хотя великій магистръ не терялъ его

изъ виду и не разъ уже грозилъ отлученіемъ отъ ордена.

—Джіако! Джіако! кричалъ Робертъ, входя въ свою комнату.

А чего не было въ этой комнатѣ? Турецкіе широкіе диваны раскидывались рядомъ съ вытянувшимися готическими креслами; ковры дамасскіе пестрѣли на черномъ обычномъ покровѣ пола въ жилищѣ храмовника; оружіе рыцаря перемѣшивалось съ оружіемъ мусульманина; мечъ перекрещивался съ кривой саблей; тяжелый, четырехъ-угольный щитъ совоинственника храма лежалъ на легкомъ, кругломъ щитѣ Сарацина; простой шеломъ давилъ чалму затѣйливую и, о срамъ! о святотатство! рядомъ съ знаменіемъ креста живтворнаго стоялъ осколокъ мраморной статуи храма Пафосскаго...

— Вильгельмъ Джіако! Вильгельмъ Джіако! вскрикнулъ еще разъ въ нетерпѣніи Робертъ. Дверь въ прилежащій покой растворилась, выбѣжалъ съ огнемъ братъ-служитель, вмѣстѣ и оруженосецъ, Роберта.

—Ты заспался, Вильгельмъ, заспался; хорошъ! и не подумалъ о своемъ братѣ. Огня побольше, огня, вина тоже, слышишь ли? Да сними съ меня эту шубу, эту шерстяную ветошь; будетъ притворяться — три часа сряду задыхался въ ней.

Оруженосецъ сдернулъ верхнее платье съ рыцаря, и Робертъ остался въ щеголеватомъ шелковомъ полукафтаньѣ, шитомъ золотомъ и снурками. Шерстяная рубашка храмовника скрывала лишь на случай роскошный костюмъ эмира Египетскаго, и въ этомъ стран-

номъ маскерадѣ проглядывалъ рѣзко весь бытъ того времени ордена храма.

— Вина, Вильгельмъ! вина командорскаго! кричалъ Робертъ, охорашиваясь въ своемъ затѣйливомъ нарядѣ: добрыя вѣсти не разсказываются на сухое горло.

Третій кубокъ уже стоялъ опорожненнымъ передъ Робертомъ, а онъ придирался къ четвертому, и придирался мастерски.

— Налей, Вильгельмъ, налей; число четыре — символъ нашего ордена; во славу его, во славу храма налей четвертый!

— Братъ Робертъ, ты охмѣлѣлъ и съ трехъ; будь воздержнѣе.

— Братъ Вильгельмъ, и стулъ не устоитъ на трехъ ногахъ, подставь четвертую — держится... налей четвертый — вытрезвлюсь....

Кипрское лилось, Робертъ слѣдилъ за его красною струей.

— Такъ въ Парижъ, Робертъ, во Францію? спросилъ братъ-служитель, поставивъ налитый кубокъ. И неужели были противники, неужели оспоривали они волю великаго магистра?

— Да я первый! перебилъ Робертъ.

— Ты, братъ?

— Да.

— Помилуй, Робертъ, ты пошелъ не пивши на капитулъ: не съ чего было съ ума сходить.

— Вотъ то-то и есть — теперь бы, можетъ быть, я закричалъ съ перваго слова за магистра, а давиче дѣло другое — я былъ трезвъ, я былъ уменъ, и какъ всѣ бо-

ялся испугать его неосторожнымъ восхищеніемъ отъ одной мысли хоть навремя заглянуть на Западъ; боялся слишкомъ скоро согласиться съ его предложеніемъ; спорилъ, бушевалъ больше всѣхъ, а потомъ, послѣ выходки магистра, я же кричалъ громче всѣхъ: «Богу такъ угодно! Богу такъ угодно!» потому только, любезный братъ Вильгельмъ, что мнѣ то же самое угодно... ну, да и штуку же выкинулъ магистръ!...

— Ты!.... Братъ Робертъ, кто-то мелкнулъ подъ окномъ, будь осторожнѣе.

— Ничего, Вильгельмъ, ничего, не бойся. Нашъ магистръ человѣкъ, — не то, что прежніе звѣри магистры: за каждое слово бичуютъ, бывало, какъ будто бы спины рыцарей доски, на которыхъ учатся ремеслу своему палачи Нормандскіе.

— Ну, братъ Робертъ, пошелъ ты по дядѣ: такой же былъ рѣзкій на слова — да и доставалось же...

— Всѣ мы, Русильонскіе, терпѣли за правду.

— Либо за неправду, прибавилъ братъ-служитель: начиная съ пращура.

Вѣтеръ ударилъ въ окно: разбилъ стекло и задулъ одинъ изъ свѣтильниковъ.

— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его! проговорилъ вздрогнувъ Робертъ и осушилъ кубокъ... Не тронь неуспокоившихся покойниковъ, Вильгельмъ... они пятнали орденъ, но и хранили его въ тысячи опасностяхъ живыми и...

Робертъ замолчалъ; дума легла вдругъ тучей на красивомъ лицѣ его.

— Братъ Робертъ, сказалъ Вильгельмъ, напѣнивъ

снова кубокъ: ты задумался, какъ бы съ тѣмъ, чтобъ разжалобить меня на пятый... Такъ и быть, онъ готовъ; только не хмурься, не вѣшай головы.

Робертъ засмѣялся и съ восклицаніемъ «къ чорту скука!» вскочилъ со стула.—Вильгельмъ! хоть и надоѣли, да нечего дѣлать, позови Сирійскихъ пташекъ; пусть пляшутъ, пусть поютъ; не даромъ же везъ я ихъ изъ самой Птоломаиды, не жалѣя денегъ и скрывая съ опасностью чести и жизни отъ волчьяго взгляду нашего магистра. Ну, дамъ же я себѣ знать Парижскимъ красавицамъ: родня не родня — съ того начну, что перецѣлую всѣхъ.

—A LXXII правило, сказалъ комически важно братъ-служитель и прочелъ на распѣвъ текстъ устава: Periculosum esse credimus omni Religioni vultum mulierum nimis ottendere, et ideo nec viduam, nec virginem, nec matrem, nec sororem, nec amitam, nec aliam foeminam aliquis frater osculari praesumat (*).

—Полно объ уставѣ! перебилъ неистово Робертъ, а потомъ, перемѣнивъ совершенно тонъ, прибавилъ смиренно: Братъ-служитель Вильгельмъ, призови дѣвъ Сиріи, да возрадуютъ онѣ насъ пѣснями своими!

Ночь выбрасывала уже на востокъ зарю утреннюю, а тайный развратъ храмовника не прекращался; звонко раздавались клики дѣвъ Сирійскихъ, и не утомили еще привычнаго къ нимъ слуха Роберта; соблазнительно крутились дѣвы въ ихъ живыхъ, огненныхъ пля-

(*) Почитаемъ опаснымъ члену ордена прикасаться къ лицамъ женщинъ; въ слѣдствіе чего да воздержится онъ отъ вдовъ, дѣвъ, матери, сестеръ, тетокъ и всякой другой женщины.

скахъ, а взоры рыцаря еще искали упоительныхъ очей ихъ; черезчуръ лилось вино Кипрское, и оно-то наконецъ отуманило рыцаря; опьянѣвъ, онъ упалъ на ложе, заснулъ сномъ мертвымъ, а проснулся мертвымъ для ордена...

Разодранный плащъ покрывалъ храмовника: незримая рука во время сна кровавыми буквами начертала передъ нимъ слова: Auferte malum ex vobis (*) и на нихъ-то остановились взоры пробудившагося Роберта.

Робертъ Русильонскій былъ изгнанъ изъ храма.

—

3.

НЕВѢСТКА.

Необыкновенное впечатлѣніе сдѣлалъ на Парижъ пріѣздъ храмовниковъ, хотя не было никого на Западѣ того времени, кто бы не имѣлъ понятія и прежде о рыцаряхъ этого ордена. Парижу стоило только взглянуть вверхъ по теченію Сены въ Нормандію, чтобы увидѣть замокъ съ монастырско-воинственною наружностью, гордо возвышавшійся своими башнями, шпилями и зубцами надъ другими замками Нормандіи: то былъ Тамплевиль, то былъ временный храмъ Французскихъ храмовни-

(*) Отгоните зло отъ васъ.

ковъ, или еще ближе, почти подъ бокомъ, на выходъ только отъ самаго Парижа, дряхлѣла башня, обыкновенно называемая Башнею Храма: то былъ тоже заѣзжій домъ, притонъ на время храмовниковъ, но всё-таки не болѣе, какъ Французскихъ храмовниковъ: многіе изъ нихъ ни разу не ходили въ Палестину, ни разу не обнажали меча за гробъ Господень, ни разу не видали великаго магистра, не понимали всей важности своего ордена, а подъ часъ даже безславили его. Мудрено ли послѣ этого, что Парижъ не обращалъ прежде на нихъ вниманія, не зналъ почти ихъ, а если зналъ, то болѣе со стороны невыгодной?

Но прибыли избранные ордена, прибыли храмовники, прославленные и своими подвигами, и разсказами пилигримовъ; прибылъ наконецъ самъ великій магистръ ордена, котораго заживо еще въ народѣ называли угодникомъ Божіимъ, и кто жъ не бѣжалъ смотрѣть на торжественный въѣздъ этихъ воиновъ, закаленныхъ во святой брани, опаленныхъ солнцемъ Востока, съ тяжкими ранами на лицахъ, въ изрубленныхъ латахъ, въ избитыхъ шлемахъ? кто не привѣтствовалъ ихъ восторженными кликами? гдѣ не разсказывали потомъ про нихъ? гдѣ не были заняты ими? Вездѣ, начиная отъ лачужки мельника Мирбайскаго на Сенѣ, до Лувра, дѣти, старики, мужчины, женщины, всѣ толковали о храмовникахъ, толковали даже невѣстки королевскія: конечно, не вездѣ одинаково, а каждый по своему.

— Нѣтъ той музыки, нѣтъ тѣхъ очаровательныхъ

звуковъ, которые могли бы увлечь меня, когда умъ мой занятъ другими мыслями, сердце новыми чувствами, сказала Маргарита Бургундская, жена Людовика, старшаго сына Филиппа, бросивъ лютню и упавъ въ раздумьѣ на алую бархатную спинку стула, украшеннаго серебреными густыми бахрамами.

— Давно ли сестрица наша сдѣлалась такою мечтательницей? спросила Бланка, жена Филиппа, средняго сына короля, насмѣшливо улыбнувшись и бросивъ букетъ цвѣтовъ, который наскучилъ ей, не смотря на его пестроту и свѣжесть.

— Я не замѣчаю дней перемѣны погоды, не замѣчаю дней перемѣны моего расположенія духа....

— А то и другое очень перемѣнилось съ прибытіемъ въ Парижъ храмовниковъ, перебила снова Бланка съ прежнею насмѣшливою улыбкой.

— Ты шутишь какъ ребенокъ, Бланка, не смотря на морщины и поблеклый цвѣтъ лица, которыя могли бы, кажется, напомнить тебѣ твои настоящіе годы,...

Колкій намекъ Маргариты на увядавшую красоту сестры ея чуть-чуть было не разсердилъ Бланки, но игривость характера, а можетъ-быть и другое какое нибудь чувство взяли верхъ: Бланка продолжала шутить.

— Вся надежда, сестрица, сказала она: опять-таки на храмовниковъ; не даромъ же жили они столько лѣтъ на Востокѣ, въ землѣ колдуновъ и волшебниковъ; говорятъ, что есть между ними и такіе, которые очаруютъ, разочаруютъ и причаруютъ хоть кого угод-

но: за доказательствами недалеко итти, сестрица наша Маргарита.... а ужъ на что твердая, умная и, главное, маловѣрная....

— Жаль, что мой колдунъ бросилъ жезлъ волшебный, не занимается своей наукой, поссорился съ главными и отсталъ совершенно отъ братства колдуновъ.....

— Тѣмъ лучше, Маргарита; больше свободнаго времени, — меньше зависти, меньше надзору отъ братій, дѣло скрытнѣе, словомъ....

— До поры до времени, за то послѣ страшнѣе....

— И, сестрица, смѣлѣе.... и откуда взялась вдругъ эта робость?.... давно ли прошла пора нашимъ праздникамъ въ башнѣ Неля? давно ли такъ упоительно текли наши часы наслажденій подъ сводами аббатства Мобюисонскаго?

— Потому и страшно мнѣ, что еще недавно, перебила Маргарита. Потому, что старое слишкомъ свѣжо, чтобы уступить мѣсто новому; потому, что участники, герои нашихъ невинныхъ удовольствій, могутъ сдѣлаться мстителями....

— Кто? перебила въ свою очередь Бланка: не братья ли Лоне? Помилуй, Маргарита, развѣ впервые мириться имъ съ счастливыми соперниками?....

— По крайней мѣрѣ въ этотъ разъ, сказала съ какою-то странною важностью Маргарита: предпочтенный не унизитъ ихъ, и не примиренія, а безъусловнаго униженія въ правѣ онъ отъ нихъ требовать. Ахъ, Бланка! если бы ты видѣла этого человѣка! что за дивное

созданіе красоты, ловкости и мужества! кажется, сами Феи на радость себѣ, въ зависть людямъ, въ усладу покровительствуемыхъ ими королей и принцессъ, создали такого красавца!... Ахъ, Бланка! если бы ты видѣла его, какъ я, въ одну изъ ночныхъ прогулокъ моихъ по Сенѣ, задумчиваго, грустнаго, мрачнаго даже, но при взглядѣ только на даму вдругъ просіявшаго всею роскошью красоты лица и стана; если бы ты видѣла, какъ ловко онъ закинулъ въ знакъ почтенія свою шелковую мантію, наклонилъ голову, какъ смѣло потомъ, на-перекоръ Сейскому водовороту, на своей маленькой лодочкѣ догналъ мою освѣщенную барку и опять красовался, опять привѣтствовалъ меня: о, Бланка! ты бы постигла мою задумчивость, не подсмѣивалась бы надъ моею мечтательностью....

— Кто же этотъ неизвѣстный красавецъ? спросила Бланка. Здѣшніе — бывалые... всѣ на перечетѣ... Храмовникъ, Маргарита?...

— Нѣкогда бывшій, но теперь изгнанный изъ своего ордена сумасбродами, невѣждами, уродами.... Боже мой! Боже мой! зачѣмъ нѣтъ женскаго ордена храмовниковъ! Робертъ Русильонскій былъ бы его великимъ магистромъ....

— И имя даже извѣстно сестрицѣ! воскликнула Бланка: откуда всѣ эти подробности?

— Сестрица наша Бланка позабыла, кажется, права старшей наслѣдственной принцессы — двадцать пажей, десятки карлицъ и всѣ ворожеи Парижа къ ея услугамъ....

— Великія средства — знать все въ мірѣ, отвѣчала смиренно Бланка: знать даже имя, исторію жизни изгнаннаго храмовника; но все это не даетъ права бранить и уничтожать неизгнанныхъ; за что предпочтеніе одного должно итти рядомъ съ униженіемъ другихъ? чѣмъ виноваты неизгнанные храмовники?.... а между ними есть такіе, отъ которыхъ не у одной Парижанки разбѣжались бы глаза.... Маргарита, я бросила этотъ букетъ, хоть въ немъ много цвѣтовъ, даже приторно душистыхъ, но потому-то они и надоѣдаютъ такъ скоро, и какъ послѣ этого не взглянуть привѣтно на пальму Пальмирскую! не остановиться съ благоговѣніемъ передъ кедромъ Ливанскимъ!....

— Сестрица, перебила Маргарита: вспомни, тебѣ подъ сорокъ лѣтъ....

На этотъ разъ истина, безъ колкости названная по имени, достигла лучше своей цѣли: Бланка оскорбилась, замолкла и съ досадой начала щипать только-что брошенный ею букетъ цвѣтовъ.

Вошли четыре пажа; явился слѣдомъ за ними самъ старшій сановникъ двора королевскаго, съ объявленіемъ на слѣдующій день учрежденныхъ похоронъ умершей Екатерины, жены брата короля Филиппа.

Удивительно великолѣпны были похороны жены графа Валуа, того самаго Валуа, который былъ сыномъ короля, братомъ короля, дядей трехъ королей, наконецъ отцемъ короля, не бывши самъ королемъ.

Храмовники много придавали блеску церемоніи: великій магистръ ихъ, по праву, несъ балдахинъ

надъ прахомъ усопшей Екатерины, внучки и единственной наслѣдницы Константинопольскаго императора Бодуина Презрѣннаго.

Множество прелатовъ, архіереевъ открывали шествіе; самъ король, въ *голубой мантіи*, залитой въ серебреные цвѣты лилій, ѣхалъ впереди гроба; министры, сенешалы, рыцари въ золотыхъ латахъ, испещренныхъ гербами и девизами, слѣдовали по бокамъ гроба, гдѣ ровняясь, гдѣ уступая дорогу дамамъ, въ главѣ которыхъ были три невѣстки королевскія, съ закинутыми на спину головными уборами, въ знакъ глубокаго траура; процессію заключалъ рядъ монаховъ, пилигримовъ, молельщиковъ и наконецъ строй латниковъ — героевъ Фландрскихъ, предводимыхъ непобѣдимымъ конетаблемъ Шатильонскимъ.

Съ любопытствомъ жители Парижа забѣгали впередъ печальной процессіи, другіе съ благоговѣніемъ смотрѣли на нее съ балконовъ, третьи сворачивали съ улицъ, бросались въ переулки, боясь придирокъ и нападковъ разгонявшихъ стрѣлковъ головы градскаго.

Съ досадой слѣдилъ взорами Робертъ Русильонскій за тѣмъ же кортежомъ въ окно невысокой башни, находившейся въ недальнемъ разстояніи отъ Лувра, въ которой поселился онъ съ перваго дня своего прибытія въ Парижъ.

Храмовники, нѣкогда бывшіе его братьями, съ гордостью шли въ процессіи, не просто принимая участіе въ ней, но какъ почетнѣйшіе и ближайшіе члены двора Французскаго, ревностнѣйшіе и достойнѣйшіе слуги

престола короля Филиппа, а онъ, какъ изгнанникъ, какъ отверженный братъ, филиномъ таился въ разсѣлинѣ башни и не смѣлъ не только принять участія въ церемоніи торжественной, не смѣлъ даже показаться днемъ среди улицъ города, подъ опасностью преслѣдованій ордена и страшной казни въ случаѣ ослушанія.

Горько было Роберту; гнѣвъ и оскорбленное самолюбіе выступали красными пятнами на лицѣ его, и даже привѣтная улыбка одной изъ почетныхъ дамъ кортежа, обращенная къ нему, не согнала грустныхъ думъ съ чела его. Робертъ видѣлъ даму, замѣтилъ улыбку, но не оцѣнилъ ея: досада и зависть сверлили душу, не смотря на то, что печальная процессія, такъ сильно подстрекнувшая ихъ, давно уже исчезла изъ глазъ Роберта и, повернувъ въ извилистую улицу, достигла церкви Якобиновъ Парижскихъ, мѣста, назначеннаго для погребенія.

— Наконецъ-то кончилась! сказалъ Вильгельмъ, знакомый намъ оруженосецъ и братъ-служитель Роберта, тоже изгнанный изъ ордена. И откуда набралось столько дряни у Филиппа IV, хоть и разряженной, раззолоченной на счетъ крови и на денежки бѣдныхъ гражданъ Парижскихъ, а все-таки дряни? *Фальшивый монетчикъ!* хоть бы посовѣстился щеголять своимъ нечистымъ дѣломъ. — Ну, да хороши и храмовники наши, продолжалъ онъ, обращаясь къ Роберту: точно какъ верблюды Арабскіе туда же полѣзли въ своихъ шерстяныхъ рубашкахъ!

— Удержись, Вильгельмъ!.... сказалъ строго Ро-

бертъ: давно ли ты самъ принадлежалъ къ этому ордену?

— По душѣ — никогда, благородный рыцарь, отвѣчалъ самонадѣянно Вильгельмъ; и въ продолженіе цѣлаго дня за кружкой Аржантельскаго вина не переставалъ честить всѣхъ и каждаго порознь.

Робертъ молчалъ, какъ бы совѣстясь раздѣлять и ощущенія и мнѣнія своего оруженосца; но не долго продолжалась въ немъ эта борьба съ благородными побужденіями: къ вечеру злоба взяла верхъ, и къ концу новой и длинной выходки оруженосца противу храмовниковъ, Робертъ вторилъ уже Вильгельму, браня и орденъ, и магистра, и всѣхъ братьевъ, распаляясь къ нимъ ненавистью и клянясь въ вѣчной мести.

— Они думали унизить меня, кричалъ Робертъ: выгнавъ изъ ордена; думали бросить клеймо позора на главу мою, оттолкнуть меня отъ общества, отъ цѣлаго міра... О, нѣтъ, храмовники! вы ошиблись, ошиблись жестоко, я найду можетъ-быть въ самомъ этомъ изгнаніи...

Троекратный стукъ въ дверь прервалъ слова рыцаря; Робертъ поблѣднѣлъ, Вильгельмъ бросился узнать причину стука; но дверь растворилась какъ бы сама собою; за порогъ, нельзя сказать чтобы перешла, но перекатилась уродливѣйшая изъ уродливѣйшихъ карлицъ, обычная мебель каждаго двора того времени, его потѣха, его роскошь.

И Робертъ не скоро пришелъ въ себя, а Вильгельмъ просто струсилъ и началъ читать молитву.

— Не пугайтесь меня, не пугайтесь, почтенные рыцари! я не такъ страшна, какъ вамъ кажется; я такой же человѣкъ, какъ и вы, благородные рыцари! сказала карлица, вертясь и кланяясь Роберту и Вильгельму: я добрыхъ вѣстей вѣстница, хорошихъ сказокъ сказочница, а пѣвица какая — не разъ при дворѣ меня заслушивались... успокойтесь, рыцари, успокойтесь! Да который же изъ васъ счастливецъ? что̀ хорошъ, что̀ красивъ собою — полюбился моей Феѣ, моей повелительницѣ, оторвалъ ее отъ всѣхъ, какъ волна маргаритку-цвѣтокъ отъ берега...

И карлица, проговаривая на распѣвъ заученныя фразы изъ старыхъ романсовъ и *вириле*, взглянула пристально на Вильгельма.

— Нѣтъ, рыцарь, извини меня, бѣдную, не въ обиду будь сказано: ни хорошъ ни красивъ ты собою, не къ тебѣ я посланницей...

Потомъ, взглянувъ на Роберта, карлица ахнула и, повернувшись на мѣстѣ, запѣла визгливымъ голосомъ:

«Я нашла, не таись,
Чаръ любви полный цвѣтъ...
Хоть божись, хоть клянись,
Не повѣрю, что нѣтъ.
Ты мой цвѣтъ, ты мой цвѣтъ!»

И карлица схватила за руку Роберта.

Давно уже этотъ пересмотръ, оцѣнка, какъ и самое появленіе карлицы, бѣсило и не понимавшаго дѣла Роберта, и оскорбленнаго Вильгельма; послѣдній былъ крѣпко обиженъ, задѣтый что называется заживое, и уже готовился отмстить обидчицѣ, вытолкать карлицу, если бы послѣдняя, перемѣнивъ тонъ, не объясни-

ла наконецъ понятнымъ образомъ причины своего появленія.

— Благородный рыцарь, Робертъ Русильонскій, вѣроятно, не откажется послѣдовать за придворной карлицей Бабиль-Фадиле, карлицей невѣстки короля, Маргариты Бургундской. Ночь темна, благородный рыцарь, храмовники утомились, ты внѣ опасности, внѣ преслѣдованій...

— Дорогою доскажешь, дорогою, моя милая, перебилъ Робертъ: я тебя наконецъ понимаю. Алую мантію, Вильгельмъ; ни меча ни кинжала не надо. Боже мой, Боже мой! неужели дивная красавица ночной прогулки по Сенѣ, неужели дама, привѣтно улыбнувшаяся изъ среды похоронной процессіи — Маргарита Бургундская!...

Робертъ выбѣжалъ изъ дому; карлица, катясь, съ трудомъ успѣвала за нимъ слѣдовать.

Не болѣе мѣсяца прошло послѣ неожиданнаго появленія карлицы въ башнѣ Роберта Русильонскаго, но и въ это короткое время Робертъ успѣлъ уже убѣдиться въ справедливости своихъ догадокъ, осуществить свои мечты и надежды роскошною дѣйствительностью, успѣлъ попасть въ милость къ Лаисѣ своего вѣка, Маргаритѣ Бургундской.

Робертъ топилъ въ чашѣ наслажденій все, топилъ даже месть свою къ храмовникамъ, — месть, которая такъ сильно волновала его въ первое время мнимо несправедливаго изгнанія! Одно только чувство не потеряло правъ своихъ на душу Роберта — это чувство страха, боязни подвергнуться казни за нарушеніе правилъ

ордена, который не выпускалъ изъ виду нигдѣ и никогда даже и своихъ изгнанныхъ членовъ.

Прекраснѣе чѣмъ когда либо, въ одинъ изъ темныхъ вечеровъ, въ чуть-чуть освѣщенной комнатѣ, лежала Маргарита на мягкой кушеткѣ изъ чернаго дерева, съ золотыми узорами, съ штофными занавѣсками. Робертъ сидѣлъ у ногъ ея, и занятый мыслями, равнодушно смотрѣлъ на бахрамы покрывала, которымъ были обвиты роскошныя формы красавицы.

— Ты скученъ, Робертъ! спросила Маргарита, протянувъ къ нему руку. Ты скученъ, Робертъ! повторила она.

— Есть минуты, Маргарита, въ которыя я невольный мученикъ мечтаній, призраковъ, создаваемыхъ моимъ напуганнымъ воображеніемъ.

— И они важнѣе настоящей дѣйствительности, перебила Маргарита, отнявъ руку.

— Мои призраки страшны...

— Моя дѣйствительность упоительна...

— Послѣдствія напуганнаго воображенія, повторяю...

— Послѣдствія счастливыхъ минутъ съ тобою...

— Я боюсь, Маргарита...

— Чего, Робертъ?

— Боюсь, чтобы среди міра блаженства вдругъ не появилась незримо откуда рука съ кинжаломъ-мстителемъ, и не наказала отверженника и соблазнителя вмѣстѣ.

— Опять храмовники, милый Робертъ! перебила ласково Маргарита, протянувъ снова къ рыцарю примирительную и соблазительную руку: опять храмовни-

ки!... Нѣтъ еще, не было и не будетъ того смѣльчака, Робертъ, который бы рѣшился переступить за порогъ Лувра безъ призыва его обитателей и обитательницъ, узами крови связанныхъ съ коронованною главой Франціи. Будь спокоенъ, Робертъ! Самый скрытный кинжалъ скользнетъ по щиту, которымъ накроетъ тебя Маргарита.....

Посреди смѣху, ласкъ, въ дверяхъ комнаты послышался шумъ. Робертъ вскочилъ.

— Не тревожься, Робертъ, не тревожься, сказала приподымаясь Маргарита: это вѣрно Бланка, сестра моя... Постой же, постой, я встану, я подразню тебя, я отопру дверь... Бланка! Бланка! поди сюда, поди...

Дверь растворилась, но вошла не Бланка, вошелъ Филиппъ IV, король Франціи.

Рѣдко пріѣзжалъ Филиппъ въ Лувръ, никогда безъ особенной причины, но и изъ этихъ рѣдкихъ посѣщеній бо́льшая часть дѣлалась въ слѣдствіе буйнаго поведенія и шалостей дѣтей его.

Хоть бы и теперь жалоба перваго монетнаго мастера (а монетный мастеръ есть первое лицо въ государствѣ, по мнѣнію Филиппа) на старшаго его сына приподняла Филиппа: какъ дать въ обиду моего Евстафія, моего перваго слугу! и кому же? моимъ дѣтямъ! сказалъ въ гнѣвѣ Филиппъ и поѣхалъ въ Лувръ. Но что же дѣлать, если, вмѣсто сына преступника, онъ увидѣлъ его жену преступницу... а все напроказничала мстительная Бланка!

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ спальню, изумленный Филиппъ отступилъ назадъ; Маргарита ахнула и съ

воплемъ скрыла голову въ складкахъ штофной занавѣсы; одинъ Робертъ, какъ бы приговоренный къ смерти, бездвижно оставался на прежнемъ мѣстѣ.

Часто бывалъ Филиппъ поставленъ въ необходимость краснѣть за дѣла его кровныхъ, его близкихъ; много испыталъ онъ горя, являясь иногда несправедливымъ судьею позорнаго поведенія дѣтей своихъ; много глубокихъ морщинъ нарѣзало это горе на челѣ его, но наконецъ сама судьба, кажется, навела на такой случай, гдѣ противу воли, вступаясь за права безпутнаго своего сына, онъ долженъ былъ хоть разъ наказать — и наказать ужасно — безславіе, нанесенное его крови, его имени. Такъ дѣйствовала, такъ мастерила можетъ-быть судьба за-одно съ Бланкой; но они имѣли дѣло съ Филиппомъ, у котораго были свои разсчеты, и въ самомъ ясномъ, видимомъ дѣлѣ онъ любилъ судебный порядокъ, допросы, а эти формальныя развѣдыванья не разъ мѣняли его образъ мыслей и останавливали самыя порывистыя, благородныя побужденія.

— Кто ты? спросилъ онъ однако жъ грозно, обращаясь къ отверженнику.

— Робертъ Русильонскій, отвѣчалъ рыцарь, не поднимая глазъ.

— Конюхъ, пажъ, мелкопомѣстный вассалъ, оруженосецъ, подъячій, кто именно? закричалъ Филиппъ.

— Я рыцарь, сказалъ Робертъ, поднявъ вдругъ голову и взглянувъ смѣло въ глаза Филиппу.

— Рыцарь... повторилъ спокойнѣе и тише Филиппъ. Рыцарь... Робертъ Русильонскій; я слышалъ это имя прежде; мнѣ знакомъ родъ Русильонскихъ...

— Два вѣка сряду прямыя и боковыя линіи этого рода служили въ рядахъ крестоносцевъ, два вѣка сряду Русильонскіе посвящались въ таинства ордена храмовниковъ, сражались подъ его знаменемъ и можетъ-быть составили наконецъ имя, которое достигло до слуха и великаго правителя Франціи.

— Это такъ, перебилъ Филиппъ съ нетерпѣніемъ и перемѣнивъ совершенно повелительный тонъ на вывѣдывающій: все это такъ, мой милый Робертъ Русильонскій, да что же ты такое?

— Я, государь, я... Робертъ покраснѣвъ остановился.

— Продолжай... продолжай... мой милый...

Робертъ молчалъ.

—Продолжай же... повторилъ опять сурово Филиппъ.

Робертъ упорствовалъ.

— Такъ ты не хочешь сказать, закричалъ снова Филиппъ: ты упрямишься? Позорная пытка развяжетъ языкъ, а плаха заставитъ его смолкнуть навѣкъ; говори, слышишь ли, въ послѣдній разъ: что ты такое?

«Изгнанный храмовникъ...» раздалось въ спальнѣ.

Робертъ затрепеталъ. Маргарита, выставивъ голову изъ занавѣсокъ, повторила свое восклицаніе: «Изгнанный храмовникъ, государь, изгнанный храмовникъ!...»

Страшная улыбка появилась на лицѣ Филиппа; всѣ мускулы его сжались; самъ онъ съёжился какъ-то странно; казалось, радость судорогой пробѣжала по всему его тѣлу и привела его въ это невольное положеніе. Такъ радуется только злѣйшій врагъ, когда, задушивъ всякое христіанское чувство пощады, вон-

заетъ ножъ въ сердце врага своего, такъ радоваться можно тогда только, когда десятки лѣтъ преслѣдованное, лелѣянное предпріятіе, наконецъ удается и совершается: такъ радовался и Филиппъ.

Но кто же могъ угадать причину этой радости? кто зналъ тайныя думы Филиппа? кому сполна довѣрялся онъ, когда близкому человѣку, своему созданію, Клементу V, изъ пяти условій даруемаго ему папства назвалъ только четыре, скрывъ пятое отъ современниковъ и потомства? А это пятое можетъ-быть составляло первую тайну его жизни.

Скоро однако же Филиппъ пришелъ въ себя, принялъ обыкновенно спокойный видъ и, обращаясь къ Роберту, сказалъ ласково, даже шутовски вѣжливо:

— Благороднаго рыцаря Роберта Русильонскаго, Филиппъ IV, король Франціи, проситъ на мгновеніе оставить одного съ Маргаритою Бургундской. Не тоскуйте, счастливый рыцарь, не тоскуйте! я скоро возвращу вамъ свободу упасть снова къ стопамъ любимой вами дамы.

Робертъ повиновался.

— Прекрасный мужчина! ей-ей, прекрасный! сказалъ Филиппъ, слѣдя за Робертомъ взоромъ. Онъ дѣлаетъ честь вашему выбору, Маргарита; я прощаю вамъ, и прощаю даже за вашего негоднаго мужа.

Чѣмъ кончилось совѣщаніе Филиппа съ невѣсткой не извѣстно; знаемъ одно только, что до слуху входившаго снова въ комнату Роберта долетѣли послѣднія слова оставлявшаго комнату Филиппа: «Смотри же, Маргарита, выпытай, или бойся: открытье или плаха!»

Вѣроятно, порученіе короля было исполнено въ точности, потому что, на другой же день, веселая и игривая Маргарита, трепля по плечу Бланку, какъ бы забывъ ея поступокъ наканунѣ, смѣясь говорила: Мы сдѣлали славное дѣло съ королемъ, и какъ не расцѣловать моего милаго Роберта: онъ помогъ намъ...

— Что такое, сестрица, что такое? скажи мнѣ.

— Не бывать этому.

— Пожалуйста...

— Я повторяю тебѣ — не бывать... Это въ задатокъ мщенія за вчерашнюю твою измѣну...

—

4.

ПЯТОЕ УСЛОВІЕ.

Странно, что даже въ башнѣ храма было спокойно, а почему странно?... Потому что въ царствованіе Филиппа IV нигдѣ не было спокойствія, начиная съ его души.

Но въ башнѣ храма было спокойно, не смотря на то, что разные слухи носились по домикамъ и лачугамъ *новаго городка*, который успѣлъ уже населиться за крѣпостнымъ валомъ и рвомъ башни изъ разнаго народу честнаго и зазорнаго, но равно покровительствуемаго орденомъ храма. Не смотря на то, что давно ужъ толковали тамъ: будто бы не долго существовать ордену, будто бы Филиппъ завидуетъ ему, негодуетъ на него, словомъ, хочетъ уничтожить; да кто же вѣрилъ этимъ тол-

камъ? на чемъ они основывались? неужели на страсти къ новизнѣ, къ неожиданностямъ, къ эффектамъ, которые такъ любилъ Филиппъ и которыми морочилъ онъ народъ?... На чемъ угодно, только имъ не вѣрилъ никто, еще менѣе храмовники, а еще менѣе ихъ великій магистръ.

— Гдѣ жъ тутъ правда? Помилуй, Гюи, гдѣ же хоть на волосъ истины въ этихъ слухахъ?... спрашивалъ Іаковъ Моле, обращаясь къ Гюи Оверискому, главному командору Нормандіи.

— Самая пустая молва, великій магистръ, не можетъ быть безъ основанія, отвѣчалъ утвердительно Гюи.

— Да гдѣ жъ это основаніе?

— Въ капризной волѣ короля, великій магистръ. Народъ заговорилъ, но на этотъ разъ не гласъ Божій вѣщаетъ его гласомъ, а шипѣнье ядовитой змѣи, которая давно уже таится подъ пятою своего безпечнаго врага.

— Помилуй, Гюи, кто же эта змѣя? неужели Филиппъ! Какъ не грѣшно тебѣ, какъ не стыдно, не зная, не понимая, повторяя чужіе, безмысленные толки, клеветать — и клеветать на кого же! Подумай самъ, всмотрись въ дѣло. Гдѣ же эта ненависть короля къ храмовникамъ? гдѣ эта тайная злоба, которая коварствуетъ противъ насъ? Мы ли еще не взысканы, не уважены? Всѣ внѣшнія права наши свято сохраняются; собственности остаются неприкосновенными, свободными отъ податей и налоговъ; сами мы допущены и ко двору, и къ торжествамъ, и даже къ тайнымъ государственнымъ совѣщаніямъ. Давно ли храмовники

были почетными членами печальной церемоніи похоронъ Екатерины Валуа? давно ли я, братъ храмовникъ, удостоился нести балдахинъ надъ прахомъ усопшей родственницы короля? Не далѣе, какъ три дни тому назадъ, я былъ избранъ воспріемникомъ возводимаго въ рыцари сына Филиппа IV, и столько видимыхъ, ясныхъ доказательствъ уваженія, скажу даже привязанности къ нашему ордену короля, неужели могутъ быть разрушены пустыми толками, ничтожными слухами? Стыдно и грѣшно, милый Гюи!...

Моле остановился на мгновеніе, взглянулъ на командора и, замѣтивъ его недовѣрчивую улыбку, спросилъ отрывисто:

— Ты сомнѣваешься, Гюи? ты не довѣряешь мнѣ?...

— Я человѣкъ, великій магистръ, я человѣкъ... не вдругъ сдружаюсь съ противурѣчащимъ мнѣніемъ... Къ тому же я лучше тебя можетъ быть знаю Филиппа. Живя безвыѣздно двадцать лѣтъ во Франціи по долгу Нормандскаго командора, я былъ свидѣтелемъ всѣхъ дѣйствій и поступковъ короля, и ни однимъ еще не руководили правда и благое побужденіе. Ты не могъ видѣть этого, великій магистръ, пожиная лавры славы въ далекихъ странахъ Палестины, поглощенный подвигами, занятый своимъ высокимъ назначеніемъ великаго магистра ордена; ты не могъ знать Филиппа.

— Да за что же уничтожать храмовниковъ? перебилъ разгорячась Моле. Развѣ они преступники? развѣ они не вѣрны своему долгу, не исполняютъ своихъ обязанностей? да и кто же другой судья и каратель

виновныхъ, кромѣ братства и меня?... Быть не можетъ, быть не можетъ... Филиппъ не вмѣшается не въ свои права...

— А кто дозволилъ вмѣшаться и разрушить права папы? перебилъ въ свою очередь командоръ: вогнать въ гробъ несчастнаго Бонифація и создать новаго, похожаго болѣе на слугу воли Филиппа, чѣмъ на намѣстника Св. Петра? кто благословилъ на кровавую войну Фландріи, гдѣ опустошенія превосходили далеко опустошенія невѣрныхъ въ Св. Землѣ? кто вложилъ въ умъ и душу Филиппа беззаконную жажду корысти, обременившую неслыханными налогами народъ свой? Не истина, великій магистръ, не правда, не любовь...

— Извини мою дерзость, великій магистръ; я спрошу тебя: зачѣмъ вызвали храмовниковъ изъ Кипра?

— Для совѣщанія о крестовомъ походѣ...

— Кто вызывалъ?

— Папа.

— Одинъ ли онъ?

— Одинъ...

— Впрочемъ, это все равно, ихъ было двое: папа писалъ, Филиппъ диктовалъ — исполнялъ только папа, приказывалъ король... Великій магистръ! воскликнулъ вдругъ командоръ «*миновалась пора крестовыхъ походовъ...*» будемъ ждать, пока возстанутъ кости Петра Пустынника и воззовутъ снова заснувшее христіанство къ подвигу, возвѣщенному имъ два вѣка назадъ. Нынче скорѣе побѣгутъ на праздникъ, на пиръ, торжество, въ которыхъ такъ изобрѣтателенъ Филиппъ, чѣмъ послѣдуютъ духовному призыву на брань за

гробъ Господень. Великій магистръ! Филиппъ тщеславенъ, напыщенъ, *любуется собой, любитъ чтобы на него смотрѣли. Этотъ призракъ, безъ существенности*, нѣсколько разъ увлекалъ, пугалъ собою міръ западный; но повѣрь мнѣ, чтобы снова обратить на себя вниманіе, снова удивить западное человѣчество, онъ не возьмется за дѣло гроба Господня и скорѣй изобрѣтетъ что нибудь легче, подниметъ или уничтожитъ то, что у него подъ рукою, нежели помыслитъ о святой брани.

Прислонясь къ колоннѣ, отвернувшись отъ Гюи и какъ бы неохотно внимая словамъ его, Іаковъ Моле смотрѣлъ мрачно на безконечный рядъ портретовъ великихъ магистровъ, украшавшихъ среднюю залу башни храма.

Много было вопіющей правды въ словахъ командора, но Моле сомнѣвался въ нихъ; чистая, свѣтлая душа, фанатическія вѣрованія въ добро, не легко дружились съ разочаровывающею истиной.

— Ты молчишь, Моле, ты сомнѣваешься... продолжалъ командоръ: не смѣю настаивать въ моихъ убѣжденіяхъ, но вспомни послѣднія слова мои: не будетъ его къ стыду христіанскаго міра, не будетъ намъ вожделѣннаго крестоваго похода.

— Не будетъ! перебилъ Моле, вдругъ обернувшись къ командору: не будетъ, говоришь ты, Гюи! Развѣ не будетъ меня, не будетъ ордена... Но пока искра жизни тлится во мнѣ, пока живетъ святая жажда Христовой брани въ груди моей, пока орденъ *мой*, пока я его великій магистръ, — мечъ храмовника не заржа-

вѣтъ въ ножнахъ, не устанетъ обнажаться во славу Христа. Взгляни сюда, взгляни: вотъ изображеніе Гуго Паганинскаго, перваго основателя ордена; вотъ изображеніе Години, послѣдняго моего предшественника; вотъ цѣлый рядъ послѣдовательно избиравшихся великихъ магистровъ ордена, всѣ они... служили только Богу, всѣ они жили вѣрными вѣрѣ и своему призванію. Кто учредилъ орденъ, кто устроилъ его, кто усилилъ, кто обогатилъ, кто прославилъ, кто содѣлалъ его равнымъ высокомощнымъ властямъ Востока и Запада? Но на мнѣ, ихъ настоящемъ представителѣ, Боже! Ты сосредоточилъ всѣ ихъ личныя предназначенія; Ты сподобилъ меня благодати уразумѣть Твою святую волю; и, клянусь, о Господи, неукоризненно оправдать мое призваніе!... Я вложу этому пастырю, можетъ-быть шаткому въ своихъ правилахъ, святую проповѣдь о святой брани; я подниму всѣхъ отъ ложа праздности и косненія; я двину снова народами Запада; хлыну на Востокъ и смою невѣрныхъ съ лица земли святой... Таковъ долгъ мой, о Господи! Подкрѣпи душу мою, или отжени ее заблаговременно отъ тяжкой для меня плоти.

Слезы умиленія полились изъ очей Моле; живыя чувства вѣры взволновали грудь; смиреніе, чистота, святость вѣнцомъ осѣнили главу его. Съ воздѣтыми руками къ небу, онъ палъ на колѣни передъ знаменьемъ креста, какъ бы чудотворно распахнувшагося надъ нимъ босеана, и жарко, жарко молился.

Увлеченный восторженнымъ словомъ великаго магистра, его вдохновенною молитвой, Гюи смирилъ свой духъ сомнѣнья и молился купно съ нимъ.

«Именемъ короля! именемъ короля! Хватай еретиковъ!...» раздалось на площадкѣ новаго города.

«Именемъ короля! именемъ короля!» повторилось у башни.

«Именемъ короля!» раздалось въ самой залѣ.

Толпа королевскихъ стрѣлковъ бросилась на великаго магистра и командора, схватила ихъ во время молитвы, сковала цѣпями и повлекла за мостъ и ровъ башни, съ криками: «Ловить еретиковъ! бить еретиковъ! казнить ихъ!»....

Совершалось повелѣніе королевское — исполнялось *пятое условіе*.

Тревожно ходилъ Филиппъ IV по комнатѣ, смотря то на дверь, то на окно, искрещенное рѣшеткой и испещренное неизбѣжными лиліями разныхъ величинъ и цвѣтовъ.

Каждый шумъ въ окрестностяхъ дворца, каждый шорохъ въ сосѣдственныхъ комнатахъ невольно двигали его то къ окну, то къ двери.

Безпокойное чувство ожиданій волновало Филиппа и недоброе было это чувство, недобраго ждалъ жадный слухъ его!....

Пройдя раза два три по комнатѣ, Филиппъ сѣлъ въ небольшія подъ балдахиномъ кресла, съ нетерпѣньемъ дергая широкіе рукава (имъ же введенные въ употребленіе) своей шелковой сутаны.

«Кажется, Маринья умеръ... проговорилъ онъ шопотомъ и наклонилъ голову по направленію къ окну.

«Онъ не исполнилъ моего порученія.... неудача....

ускользнули... отбились... ушли...» и двинулся всѣмъ тѣломъ къ двери.

Въ сосѣдней комнатѣ раздался троекратный звонокъ.

Филиппъ вскочилъ и побѣжалъ къ двери.

Дверь растворилась, вошелъ папа Клементъ V.

— Я не васъ ждалъ, святѣйшій отецъ... вы мнѣ ненужны... васъ звали развѣ? зачѣмъ? кто? не я... не я... святѣйшій отецъ...

Встревоженный Филиппъ замолчалъ, заставивъ своей странною выходкой замолчать и удивленнаго папу.

Послышался еще троекратный звонокъ; Филиппъ устремилъ взоры на дверь.

Вошелъ Мариньи — министръ Филиппа, наушникъ, палачъ, все что угодно, словомъ Филиппъ-исполнитель въ противуположность Филиппу-повелителю.

Мгновенно окинулъ взглядомъ Филиппъ съ ногъ до головы своего министра и, остановившись на его спокойномъ, безстрастномъ лицѣ, въ которомъ онъ только одинъ могъ прочесть что нибудь, спросилъ отрывисто:

— Что, Мариньи?...

— Исполнено, ваше величество...

— Взяты?

— Всѣ...

— До одного?...

— Отъ перваго до послѣдняго.

Съ непозволительнымъ для его королевскаго величества смѣхомъ отбѣжалъ Филиппъ отъ своего министра,

хлопая въ ладоши, топая ногами и не переставая кричать съ торжествомъ: «Взяты!... всѣ... до одного... Побѣда! побѣда!... Наконецъ-то, Господи, наконецъ-то они въ рукахъ моихъ... Мариньи! Мариньи! да распорядился ли ты какъ надобно?... въ тюрьму ихъ всѣхъ... всѣхъ... связать... заковать, слышишь ли?... въ цѣпи...въ короткія цѣпи... О, Господи мой! Наконецъ Ты привелъ меня исполнить завѣтное желаніе и уничтожить злѣйшихъ враговъ моихъ... А! святѣйшій отецъ, вы здѣсь?» продолжалъ онъ, но перемѣнивъ совершенно и тонъ и голосъ: «вы здѣсь? виноватъ... я и не замѣтилъ васъ... давно ли въ Парижѣ? и какъ кстати!... Мариньи, оставь насъ, ты мнѣ не нуженъ; ступай себѣ, да не думай больше о новомъ налогѣ — само небо послало благодать неожиданную... Прощай, Мариньи! прощай, мой вѣрный слуга!... Еще разъ виноватъ, святѣйшій отецъ,.... милости просимъ, милости просимъ.... присядьте на часочекъ... люблю я эти часочки, въ которые рѣшаются дѣла вѣковыя....»

Филиппъ и Клементъ усѣлись въ двойномъ креслѣ передъ большимъ столомъ, на которомъ лежали грудами свитки бумагъ и пергаменовъ, какъ бы въ доказательство грамотности Филиппа.

— Знаете ли новость? началъ Филиппъ скромнѣе, тише, но все еще не совершенно успокоившись отъ внутренняго волненія радости: знаете ли новость, святѣйшій отецъ? и какая новость! небывалая, невѣроятная, ну просто несбыточная! Если бъ я не имѣлъ доказательствъ подъ рукою, и доказательствъ ясныхъ, чистыхъ, свѣтлыхъ, какъ ликъ святѣйшаго отца нашего...

— Что же такое, ваше величество?

— Храмовники-то... храмовники... еретики! манихеи! гностики! магометане! содомники! идолопоклонники!...

И при каждомъ новомъ качествѣ, при каждой новой клеветѣ на храмовниковъ, поднимая и опуская руки, Филиппъ ударялъ пальцами въ ручку креселъ, какъ бы билъ такту своей адской музыкѣ.

— Неужели, ваше величество!...

— Точно такъ, ваше святѣйшество... На силу-то Богъ привелъ расквитаться мнѣ съ вами, или вѣрнѣе сказать, вамъ, святѣйшій отецъ, исполнить всѣ условія мною дарованнаго папства... Помните ли вы ихъ, *папа Клементъ V, во священствѣ Бертранъ Годъ?*... Первымъ было: мое примиреніе съ церковью — и вы это сдѣлали... второе было, чтобы вы уничтожили всякую духовную цензуру моей особы, моихъ министровъ, моихъ подданныхъ и моихъ союзниковъ — и благодаря вамъ, вотъ уже два года, какъ я и *моя Франція* совершенно спокойны... Третье условіе были десятинные доходы, и тоже по милости вашей я начинаю наслаждаться ими во славу и добро мною управляемаго народа, не исключая и пастырей церкви. Четвертое условіе, конечно, для васъ трудное къ исполненію, проклятье и уничтоженіе формальное памяти папы Бонифація VIII; однако же современемъ вы рѣшитесь наконецъ, — въ закладѣ ваше святѣйшее слово... Но помните ли пятое условіе, на которое я намекнулъ только, не назвавъ вамъ его, отлагая до удобнаго времени и случая, но равно зарученное въ

исполненіи вашимъ обѣщаніемъ... Время пришло, святѣйшій отецъ, случай представился: я назову вамъ наконецъ его по имени.

— Ваше величество....

— Это, ваше святѣйшество, истребленіе ордена храмовниковъ...

Папа вздрогнулъ; но, казалось, вмѣстѣ съ нимъ вздрогнуло и все святое, справедливое, непорочное.

— Да, да... истребленіе ордена храмовниковъ, повторилъ Филиппъ, постукивая по столу рукою.

— За что, ваше величество?

— За то, что они симоніатики, еретики, идолопоклонники, колдуны... Да вотъ цѣлый свитокъ ихъ преступленій и обвиненія; прочтите, святѣйшій отецъ, прочтите... тутъ все есть: и отреченіе отъ Христа, и поруганіе креста, и обожаніе истукана Бафомеда, и дѣтоубійство, и отвратительные обряды, все, все словомъ, а главное есть подпись внизу, — прочтите: *Храмовникъ Робертъ Русильонскій*... Давно я зналъ святотатство, безчиніе храмовниковъ, не смотря на таинственность ордена; но мнѣ нуженъ былъ свидѣтель, мнѣ нуженъ былъ человѣкъ, который бы, испытавъ на себѣ всю гнусность сущности этого ордена, отрекся отъ него и явился раскаявающимся обвинителемъ. Теперь онъ есть у меня; прочтите, повторяю вамъ, прочтите: *Робертъ Русильонскій, отрекшійся храмовникъ*...

Король умолкъ, папа читалъ про себя доносъ на храмовниковъ. Болѣе получасу царствовала тишина въ кабинетѣ королевскомъ.

— Ваше величество, сказалъ наконецъ папа, окон-

чивъ чтеніе и положивъ свитокъ: не смотря на всю справедливость, можетъ быть, этого доноса, не смотря на всѣ ужасы, въ которыхъ обвиняются въ немъ храмовники,—одинъ, по себѣ, онъ не можетъ еще быть единственнымъ поводомъ къ уничтоженію ордена. Вспомните, ваше величество, всю важность этого ордена, всю его обширность, силу, вліянье, наконецъ всѣ его услуги христіанствующему міру, и согласитесь со мной—чтобы разрушить его, мало одной улики, одного человѣка: необходимъ судъ, необходимъ совѣтъ, необходимо безпристрастное изслѣдованіе дѣла....

— Разумѣется, перебилъ король: и неужели, ваше святѣйшество, думаете, что я не думалъ объ этомъ... Развѣ вы не слышали моего повелѣнія первому министру? Для чего же приказалъ я ихъ *собрать* всѣхъ вмѣстѣ изъ цѣлой Франціи, святѣйшій отецъ? Для чего я васъ самихъ просилъ нѣсколько времени тому назадъ вызвать храмовниковъ, даже съ великимъ магистромъ, изъ Кипра? Неужели вы думали для крестоваго похода? неужели святотатцы и еретики (въ чемъ я убѣжденъ) могли бы принять въ немъ участіе?... Святѣйшій отецъ! ваше заблужденіе походило бы на заблужденіе одной изъ овецъ, которыхъ вы пастыремъ... Повѣрьте мнѣ, что сзывалъ я ихъ, собиралъ, наконецъ помѣстилъ теперь немного тѣсненько... именно для того, чтобъ произвести этотъ судъ, но не изъ избранныхъ, какъ можетъ-быть полагаете вы, а цѣлымъ народомъ, главою котораго, по праву, буду я... И не думайте, чтобы я не начиналъ ничего дѣлать, сидѣлъ сложа руки; нѣтъ.

Вотъ повелѣніе избрать адвокатовъ изъ университета, которыхъ поучу немного я самъ прежде; вотъ это въ комиссію судей, которую составлю я изъ людей мнѣ извѣстныхъ, а это къ Вильгельму Парижскому, моему капелану, духовнику и инквизитору главному, котораго и учить ненадобно, — онъ самъ найдется...

— Но, ваше величество, перебилъ папа: орденъ храмовниковъ духовный орденъ, и судить его могутъ одни только члены духовенства.

— Не мѣшаетъ и это; но прежде я приготовлю только обвиняемыхъ, гражданскимъ и военнымъ порядкомъ, къ суду духовному, вмѣстѣ съ маленкою мемоpіею вашему святѣйшеству о нашемъ пятомъ условіи...

Король всталъ, папа тоже.

— Такъ-то, святѣйшій отецъ, дѣло кончено... Уфъ, усталъ, пора отдохнуть...

Папа раскланивался.

— Прощайте, святѣйшій отецъ, прощайте...

Папа вышелъ.

«За что? за что?» говорилъ самъ себѣ Филиппъ, отправляясь въ спальню: «вотъ невинный-то вопросъ!... Простой человѣкъ мой папа, нечего сказать! да вѣдь я зналъ же кого избиралъ... За что? за то, святѣйшій отецъ, что они богаты, а мнѣ нужны деньги... за то, что они сильны, а я не люблю равнаго... за то, что они страшны, а я не могу терпѣть и сосѣдственныхъ, не только-что въ государствѣ государства... за то, наконецъ, что у Филиппа есть память, и онъ не позабылъ, чью сторону держалъ храмъ въ борьбѣ его съ Бонифаціемъ...

Филиппъ вошелъ въ спальню, кликнулъ чтеца и заснулъ на «*Утѣшеніяхъ* Боэція», только-что посвященныхъ ему современнымъ переводчикомъ и ученымъ Іоанномъ Мегюномъ.

5.

НОЧЬ ПРЕДАТЕЛЯ.

«По совѣту съ папой, съ прелатами, принцами крови и баронами нашего королевства, мы, поставленные Богомъ на защиту вѣры, истины и свободы Церкви, хотимъ и требуемъ, чтобы его святость, Вильгельмъ Парижскій, членъ ордена Братьевъ Проповѣдниковъ и инквизиторъ вѣры въ нашемъ королевствѣ, подвергнулъ немедленно допросу и испытанію всѣхъ и каждаго безъ изъятія храмовниковъ, а собственность ихъ, движимую и недвижимую, отобравъ какъ слѣдуетъ, передалъ въ наши руки на сохраненіе до дальнѣйшаго распоряженія.

«Филиппъ IV.»

Страшно было повелѣніе Филиппа, само по себѣ, но въ рукахъ монаха-инквизитора оно дѣлалось еще страшнѣе, являясь неизбѣжнымъ рокомъ, вооруженнымъ всѣми ужасами ада.

— Ты еретикъ... кричалъ Вильгельмъ Парижскій, и на кого же?... на великаго магистра храма, стоявшаго передъ нимъ въ цѣпяхъ, безъ одежды почти, окровав-

леннаго, только-что сошедшаго съ пытки. Сознайся, именемъ короля приказываю тебѣ, смотри, вотъ его повелѣніе, его *подпись*, его *печать* — сознайся, Моле...

Моле молчалъ, не внемля приказанію, не ужасаясь новой пытки.

— Ты молчишь!... ты соглашаешься стало-быть.— *Слышите ли*, господа ассистенты? Запишите, господинъ секретарь: «Яковъ Моле, бывшій великій магистръ ордена храмовниковъ, сознался, что онъ еретикъ»...

— Но, ваша святость, замѣтилъ одинъ изъ ассистентовъ: онъ не сознавался гласно, даже и на *желѣзныхъ пяльцахъ*....

— Гласно ли, молчалъ ли, все равно, перебилъ инквизиторъ: дѣло въ быстротѣ допроса: чѣмъ меньше словъ, тѣмъ меньше крючковъ впослѣдствіи, а здѣсь ихъ вовсе нѣтъ, стало-быть дѣло ясное... Ты.... и инквизиторъ съ важностью тянулъ начальное слово своего дерзкаго обращенія къ Моле: ты... ругался крестомъ и принуждалъ къ тому же твоихъ братьевъ.

Моле молчалъ, молчалъ попрежнему.

— Ваша святость, замѣтилъ другой асеистентъ: вопросъ предшествуетъ пыткѣ, что противно второму примѣчанію на десятый параграфъ инквизиторскаго устава.

— Ваша ревность къ дѣлу будетъ извѣстна королю, отецъ Анастасій, я заработался... Въ тряску осужденнаго! въ тряску!

Кровавый потъ катился съ чела мученика; плоть страдала въ рукахъ палачей, но духъ былъ бодръ и не признавалъ клеветы мучителей.

Вошелъ инквизиціонный медикъ по призыву инквизитора, и прекратилъ пытку.

Великій магистръ былъ снятъ съ блока, снова допрошенъ и снова обвиненъ, потому что сохранилъ свое свято-мученическое молчаніе.

Слуги мучителя прикрыли наготу истерзаннаго тѣла мученика и повели его изъ *тайнаго мѣста* пытки и истязанія.

—Кланяюсь тебѣ, великій магистръ! кланяюсь... кричалъ ему въ слѣдъ съ злобною насмѣшкой Вильгельмъ Парижскій, не выдержавъ, не сохранивъ тайны королевской: ты молчалъ, упорствовалъ, думая отстоять твою невинность передъ міромъ... напрасно! Повѣрь мнѣ, не усумнятся, что Моле сознался въ своихъ преступленіяхъ, и міръ будетъ знать только то, что угодно Филиппу и его слугѣ вѣрному.

Моле вздрогнулъ, услышавъ слова инквизитора; и мысль о клеветѣ на свято сохраняемую имъ память по себѣ передъ лицомъ потомства сокрушила его душу.

Такъ допрашивали великаго магистра, равносильнаго, равновластнаго, равно высокаго по достоинству со всѣми верховными владыками того времени! Что же дѣлалось послѣ этого съ прочими членами ордена? какъ они допрашивались?... Монахъ-инквизиторъ, вѣрный слуга королевскій, какъ самъ называлъ себя, гордился поспѣшностью слѣдствія, да и было чѣмъ, правду сказать... Въ три недѣли допросить сто сорокъ человѣкъ ложно обвиняемыхъ, не легко; особливо, если принять въ соображеніе троекратное повтореніе пытки, изъ которыхъ ни одно не продолжалось менѣе часу

по уставу инквизиторскому..... Вильгельмъ Парижскій распоряжался совершенно въ духѣ повелѣнія своего повелителя: представилъ *немедленно* протоколы преступленій ста четырехъ мнимыхъ преступниковъ.

— А тридцати шести, ваша святость? спросилъ король, встревожившись.

— Умерли въ пыткѣ, отвѣчалъ почтительно монахъ-инквизиторъ.

Медленно тянулся беззаконный судъ храмовниковъ; мрачно проходили дни ихъ страданій, въ неволѣ и истязаніяхъ.

Четвертая тюрьма была перемѣннымъ мѣстомъ заключенія мученика, несчастнаго магистра; изъ Корбель перевезли его снова въ Парижъ, и стѣны башни храма, свидѣтели его силы и могущества, сдѣлались свидѣтелями его неволи и страданій — но не униженія, не ропота и стоновъ. Моле былъ великъ въ своей горькой участи; твердо переносилъ ее, непрестанно молясь о прощеніи своихъ мучителей.

Одинъ только другъ его, Гюи Овернскій, и еще братъ-служитель, неизмѣнный товарищъ всѣхъ битвъ, походовъ, подвиговъ, были созаключенниками Моле. Они-то иногда, бесѣдуя межъ собой, нарушали могильную тишину сводовъ тюремныхъ и, принадлежа болѣе этому міру, не прощая своимъ врагамъ, представляли собою рѣзкую противоположность съ смиреннымъ, кроткимъ, молящимся Моле.

— Боже мой! Боже мой! воскликнулъ какъ-то братъ-служитель, вернувшись изъ пытки и обращаясь къ

командору: что сдѣлали они съ этой рукой! Посмотри, братъ, посмотри на нее.... эта рука обнажала мечъ Христовъ, эта рука была сильна и не разъ накрывала щитомъ угоднаго Богу пилигрима: а они, мучители, палачи, истязали ее, наругались надъ нею, ослабили ее; теперь она не сдержитъ меча Христова, не въ силахъ бить невѣрныхъ; не защититъ даже себя, не только ближняго угнѣтеннаго.

— Ты не о томъ горюешь, братъ-служитель, отвѣчалъ мрачно Гюи: скажи лучше, зачѣмъ тиранятъ они насъ по частямъ? зачѣмъ у палачей не достанетъ злобы однимъ рѣшительнымъ ударомъ уничтожить жизнь отмѣченныхъ имъ жертвъ? — вотъ погорюй о чемъ, а рука твоя и безъ того замерла бы вмѣстѣ со всѣмъ тѣломъ.

«Боже милостивый!» шопотомъ отозвалось въ дальнемъ углу тюрьмы: «прости мучениковъ, не знаютъ, что говорятъ; прости мучителей, не знаютъ, что дѣлаютъ...»

— Да когдаже будетъ конецъ нашимъ страданіямъ! воскликнулъ со слезами братъ-служитель.

— Когда устанутъ палачи, проговорилъ еще мрачнѣе Гюи: когда изсякнетъ ихъ изобрѣтательность пытки; а Вильгельмъ Парижскій постоитъ за себя: не скоро истощитъ свой запасъ; три стихіи, знаменители инквизиторскаго допроса, у него подъ рукою.

— Скоро! скоро! перебилъ братъ-служитель: потому что четверо изъ храмовниковъ, именно Іоаннъ Шатовильерскій, Генрихъ Герсинскій, Іоаннъ Парижскій и Ламбертъ Куаси, не только не оклеветали себя

въ продолженіе самой страшной пытки, но напротивъ пѣли хвалу ордену и его великому магистру.

«Слава и хваленіе Тебѣ, о Господи!» отозвалось снова въ противоположномъ углу тюрьмы: «Ты укрѣпилъ страждующихъ рабовъ Твоихъ.»

— Я слышалъ, продолжалъ братъ-служитель: выходя изъ тайнаго мѣста пытки, приказаніе инквизитора готовить костры сперва для шестидесяти, а потомъ для главныхъ четырехъ; не назвалъ онъ ихъ, но я отгадалъ, кто эти четыре.....

— По крайней мѣрѣ на моемъ, перебилъ съ гордостью Гюи: не будетъ надписи: morreo-quiemado par Herese relapso; но будетъ morreo quiemado Herese convito negativo....

«Боже милостивый!» снова воскликнулъ Моле: «отврати отъ меня незаслуженную казнь...» и упалъ на колѣни, обливаясь слезами и кровью, точимою незажившими еще ранами тѣла.

Ни братъ-служитель ни командоръ не внимали молитвѣ своего великаго магистра, продолжая разсуждать объ ихъ положеніи, объ ужасахъ пытки, о сносливости и терпѣніи нѣкоторыхъ изъ братій, не теряя изъ виду и прямаго виновника ихъ плачевной участи, гадая объ имени предателя и соглашаясь между собою въ его извѣстности всѣхъ правилъ ордена, всѣхъ постановленій, даже тайныхъ, но ни чуть небезаконныхъ обрядовъ.

— Храмовникъ онъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнья! сказалъ братъ-служитель, оканчивая свои сужденія. Мы до-

гадки, но кто именно — это непроницаемая тайна, которую врядъ ли узнаютъ и послѣ смерти нашей.

— По крайней мѣрѣ инквизиція, прибавилъ съ горькой улыбкой Гюи: позаботится скрыть и свидѣтельство и свидѣтеля главныхъ условій ея будущаго процвѣтанія; начало славное сгубило орденъ храмовниковъ.....

Въ то самое время, какъ несчастные заключенные томились въ неволѣ, одни молясь и смиряясь духомъ, другіе пытая предузнать будущую судьбу свою, третьи гадая объ имени ихъ предателя, какъ мы видѣли, — виновникъ всего дѣла, виновникъ страданій своихъ братій, отверженникъ Робертъ, былъ не спокойнѣе, хотя и тонулъ въ негѣ любви, но не столь уже пылкой, страстной, какъ въ первые дни привязанности.

Ревнивымъ укорителемъ являлся иногда Робертъ въ комнатѣ Маргариты, оскорбленнымъ любовникомъ возвращался онъ домой; но здѣсь смолкала буйная страсть рыцаря, просыпалась совѣсть и встревоженное воображеніе создавало призраки, но не ревности, а грозные призраки пробуждавшагося раскаянія. Тогда ни кубки обильно выпиваемаго вина, ни утѣшенія и шутки Вильгельма оруженосца, ничто не успокоивало Роберта; одни еще разсказы послѣдняго иногда увлекали вниманіе рыцаря, но и то не надолго: скоро тоска впивалась попрежнему въ сердце; черная дума, которая почти всегда остается слѣдомъ послѣ чернаго дѣла, ложилась попрежнему на душу; и Робертъ снова дѣлался добычею своихъ тревожныхъ ощущеній и страха казни, не въ этомъ, такъ въ будущемъ мірѣ, за гнусный

и ложный донось на храмовниковъ, и стыда, которымъ навсегда покрылъ свое имя.

Время было далеко за полночь, а Вильгельмъ досказывалъ еще свою повѣсть о храмовникѣ Жерардѣ Руссильонскомъ, конечно не въ первый разъ и не новую для рыцаря; но никогда еще съ такимъ возрастающимъ любопытствомъ не внималъ ей Робертъ, какъ въ эту минуту. Судьба одного изъ его предковъ, имѣя много общаго съ его судьбою, занимала рыцаря. Онъ погружался памятью въ прошедшемъ, рисовалъ его въ образахъ передъ собою и, кажется, видѣлъ несчастнаго Жерарда, преслѣдуемаго нуждою, молящаго у Еврея о помощи, и наконецъ отвергнутаго и ослѣпленнаго зрѣлищемъ злата, въ отчаяніи рѣшающагося на убійство.

«Онъ былъ бѣденъ,» говорилъ самъ съ собою Робертъ: «не простая нужда подстрекала его,—и любовь къ ближнему, къ кровному, томившемуся въ неволѣ, была роковымъ его двигателемъ: она и извинитъ его въ очахъ міра: а я, богатый, утопавшій въ негѣ и избыткѣ, столько разъ прощаемый за мои проступки и излишество, я за что сдѣлался убійцей, и кого же?.... добро бы презрѣннаго Еврея..... нѣтъ! я сдѣлался убійцей тысячи братій своихъ, близкихъ мнѣ и единовѣрныхъ со мною. И пускай бы убійцей,— нѣтъ, я сдѣлался клеветникомъ, и чего же? чести, вѣры, святыхъ обрядовъ цѣлаго ордена.... И гдѣ мое извиненіе, гдѣ чистая любовь, которая оправдала бы меня передъ міромъ?.... Гнусны, Робертъ, отвратительны твои двигатели; низкій страхъ и безумная страсть ввергли тебя въ неслыханное преступленіе!...

Вильгельмъ какъ бы не слышалъ сѣтованій въ слухъ рыцаря и, увлеченный силою своего разсказа, продолжалъ его съ прежнимъ одушевленіемъ.

Недолго Малхъ пребывалъ спокойнымъ зрителемъ невольнаго хищничества; утрата достоянія истребила страхъ: съ яростью схватился онъ за ножъ, висѣвшій на дверяхъ его жилища; но кинжалъ рыцаря предъупредилъ изготовленный ударъ, впился въ сердце Іудея, кровь брызнула и рядомъ съ краснымъ крестомъ легли пятнами на бѣломъ плащѣ храмовника.....

«Презрѣнная кровь! ничтожная кровь!» перебилъ снова Робертъ: «кровь Еврея.... она не могла наложить позора на имя моего предка; но кровь, пролитая мною, кровь братьевъ, о! за нее нѣтъ покоя ни въ этой ни въ будущей жизни.»

Проклятье на тебя! продолжалъ Вильгельмъ: *проклятье!* стоналъ замирая Іудей.

«Незаслуженное проклятіе....»

— *Да падетъ оно на главу твою....*

«Главу невинную....» перебилъ Робертъ.

— *Твоихъ кровныхъ,* продолжалъ Вильгельмъ, *твоихъ близкихъ....*

Робертъ внимательно наклонился къ Вильгельму.

— *До послѣдняго твоего колѣна....*

Робертъ вздрогнулъ.

— *Да вооружитъ,* продолжалъ Вильгельмъ, *да возставитъ это злато брата на брата, сына на сына изъ твоего роду, да сокрушитъ оно и послѣдняго твоего потомка!...*

Робертъ вскочилъ.

— *Да раскалится, да расплавится это злато въ рукахъ твоихъ и сожжетъ тебя своимъ адскимъ пламенемъ!... да наростетъ оно, да умножится, да потечетъ лавой и испепелитъ все твое племя, все твое братство.... Проклятье! проклятье!*

«Свершилось! сверщилось!» застоналъ Робертъ и упалъ на изголовье своего ложа.

Вѣтеръ хлынулъ въ распахнувшуюся неожиданно дверь и загасилъ свѣтильникъ, стоявшій передъ раскащикомъ....

Вильгельмъ сотворилъ молитву.

6.

КОСТЕРЪ.

Филиппъ IV спѣшилъ окончаніемъ суда храмовниковъ: весь западный міръ слѣдилъ за его дѣломъ; но Клементъ V наконецъ рѣшилъ этотъ судъ соборомъ въ Віенѣ. Хотя прелаты, архіепископы, епископы, словомъ всѣ члены собора, неожиданно заговорили было въ пользу храмовниковъ,—самъ папа смутился, не зная что дѣлать, начиналъ уже соглашаться, но Филиппъ бодрствовалъ: зайдя далеко, не думалъ возвращаться назадъ, накрылъ соборъ гнетомъ своей власти и вовремя напомнивъ о *пятомъ* условіи его предсѣдателю, принудилъ рѣшить дѣло, какъ ему было угодно. Соборъ кончился, возвѣстивъ міру свой роковой приговоръ — уничтоженіе ордена храмовниковъ.

Но за истребленіемъ во всѣхъ концахъ Франціи всѣхъ храмовниковъ, оставались въ живыхъ еще главные члены ордена, его представители: великій магистръ, командоръ Нормандіи, командоръ Аквитаніи и главный пріоръ Франціи.

Два раза приводили Моле во дворъ церкви Богоматери, два раза ужасами костра, раскладываемаго въ глазахъ его, принуждали всенародно обьявить себя преступникомъ, но въ оба раза Моле оставался неколебимымъ: съ твердымъ духомъ взиралъ на будущую казнь свою, проповѣдывалъ чистоту и святость своего ордена и хвалилъ Господа, сподобившаго его принять вѣнецъ мученика.

Народъ плакалъ; коммиссары папскіе, учредители церемоній, смущались; самъ папа пугался своего дѣла; одинъ Филиппъ оставался непреклоннымъ: волнуемый тайною местью, далекій отъ пощады, онъ изгналъ изъ души своей и послѣднюю искру человѣколюбія, которая велитъ прощать врага слабаго, уничтоженнаго, и ускорилъ казнь остальныхъ храмовниковъ, да какъ ускорилъ! послѣднее появленіе Моле во дворъ церкви Богоматери было утромъ 18 марта 1314 года, а вечеромъ того же дня уже готовился костеръ для несчастнаго.

Смеркалось.

Одна передъ окномъ, съ лютнею въ рукахъ, сидѣла Маргарита въ своей спальнѣ.

Прерывистые звуки, раздававшіеся по сводамъ комнаты, рѣзко выказывали и скуку, и безпокойство, и даже досаду, которая смущала душу Маргариты.

На что же гнѣвалась она?... что огорчало ее?...

Приходила пора обыкновеннаго посѣщенія Роберта, а онъ давно уже наскучилъ Маргаритѣ.... Да и какъ не наскучить, въ самомъ дѣлѣ, безпрестанными упреками, то шепчущаго подозрѣнія, то громко ропщущей ревности, съ которыми никакъ не хочетъ примириться свобода нравовъ Маргариты?... или каково исполнять безпокойныя, вѣчныя требованія ласкъ, поцѣлуевъ, объятій одного, когда думаешь о другомъ, и этотъ уже другой, въ особенное, для него назначенное время, тоже имѣетъ право и будетъ требовать такихъ же ласкъ, поцѣлуевъ и объятій? — скажите на милость, кого станетъ?.... Досадно, право досадно, когда и у самой Маргариты не вовсе спокойно и чисто на душѣ, а тутъ еще слушать порывы раскаянія, вопли возмущенной совѣсти, которыми иногда оглушалъ Робертъ свою возлюбленную...

«Скучно! глупо! не изъ чего!...» сказала Маргарита, и, бросивъ лютню, встала чтобы позвать свою карлицу.

Карлица явилась.

— Бабиль-Фадиле, сходи, да поскорѣе, къ Фоле, начальнику стражи королевской; скажи, чтобы онъ пришелъ сюда съ своими стрѣлками и былъ готовъ по первому моему зову.

Карлица исчезла.

«Вотъ такъ-то лучше,» сказала Маргарита, садясь на прежнее свое мѣсто. «Полно шутить, пора показать зазнавшемуся наглецу, что Маргарита ни чьей рабой быть не можетъ!...

Она взяла снова лютню, болѣе часу играла, пѣла и ни звуки инструмента, ни звуки голоса, ничто не обнаруживало уже прежняго волненія: Маргарита отдыхала на своемъ новомъ планѣ, созданномъ ея изобрѣтательномъ воображеніемъ, за которое такъ часто ласкалъ и щадилъ ее Филиппъ IV.

Дверь растворилась; разстроенный, блѣдный вбѣжалъ Робертъ въ спальню.

— Спаси меня, Маргарита! спаси, кричалъ онъ, падая въ ноги ея: спаси отъ преслѣдователей демона, вызванныхъ моею совѣстью..... вырви его изъ груди моей!... вотъ уже три дни, какъ онъ клокочетъ во мнѣ, жжетъ меня, истребляетъ твоего Роберта.... Маргарита! милая Маргарита, спаси меня!...

Презрительно улыбаясь, Маргарита оттолкнула Роберта.

— Ты меня отталкиваешь!.... ты смѣешься надо мной!.... Нѣтъ.... нѣтъ.... мнѣ показалось это.... прости, Маргарита, прости глупыя сомнѣнія подозрительной ревности!... ты меня любишь, ты спасешь твоего Роберта!... да что же ты не обнимаешь меня?.... ты молчишь.... ты не трогаешься!....

— Прочь, предатель!... ты мнѣ гадокъ!... прошипѣла Маргарита и встала гордо съ своего мѣста.

Красное зарево, взбѣжавшее на небѣ Парижа, ударило своими огненными лучами въ окна Лувра, въ окна спальни Маргариты и освѣтило блѣднаго, страшнаго Роберта.

Тысячи мыслей, одна другой убійственнѣе, медленно тянулись въ головѣ его; тысяча ощущеній, одно дру-

гаго ужасиѣе, стѣсняли его сердце; нѣсколько минутъ стоялъ онъ бездвижнымъ, какъ бы окаменѣлымъ, но наконецъ отчаянье, хлынувъ съ кровью и въ голову и въ сердце, оживило его.

— Я предатель... сказала ты, Маргарита, я предатель... А для кого я сдѣлался имъ? Кто обезумилъ меня? кто задушилъ во мнѣ всѣ чувства, кромѣ безобразной страсти? кто распалилъ эту страсть? кто выпыталъ у меня адскую клевету мою?... Да, я предатель!... но, на комъ лежитъ невинная кровь преданныхъ?... Скажи, Маргарита, скажи?... Что? молчишь?... На тебѣ, ужасная женщина, на тебѣ!.... Ты соблазнила меня, ты убила во мнѣ и вѣру, и правду, и честь; ты, погубивъ меня, погубила и моихъ кровныхъ... ты и предательница ихъ!... Полюбуйся же... полюбуйся на это зарево: это вѣстникъ послѣдней казни несчастныхъ жертвъ твоихъ! Это костры храмовниковъ... но я живъ еще, Маргарита... живъ еще предатель... Ха! ха! ха! такъ называешь ты меня, Маргарита... И этотъ предатель своихъ невинныхъ братій будетъ и мстителемъ ихъ!....

— Стража! стража! закричала Маргарита, дергая снурокъ колокольчика: стража! стража!...

Вбѣжалъ Фоле съ своими стрѣлками и, схвативъ Роберта, вынесъ его связаннымъ.

—

Толпами валилъ народъ на одинъ изъ острововъ Сены, въ недальнемъ разстояніи отъ Сите, гдѣ раскидыва-

лись роскошные сады Филиппа и гдѣ впослѣдствіи была поставлена статуя Генриха IV.

Каждый зналъ, куда влекло его любопытство, не смотря на тайну и поспѣшность, съ которыми дѣйствовалъ Филиппъ и его вѣрный слуга Вильгельмъ Парижскій.

Еще не было ни знамени инквизиторскаго ордена, ни длинныхъ церемоніаловъ процессій, ни палачей, разряженныхъ въ отвратительные костюмы, въ которыхъ они походили болѣе на выходцевъ съ того свѣта; ничего еще, словомъ, не было формальнаго, инквизиторскаго, хотя жгли виновныхъ и невинныхъ преисправно; однако жъ и въ это время, не смотря на таинственность и отсутствіе всякой торжественности инквизиціоннаго осужденія, оно не ускользало отъ народа, и каждый зналъ, какъ мы сказали, что жгутъ уже трехъ остальныхъ храмовниковъ и великаго магистра ихъ ордена.

Были, можетъ быть, и сомнѣвавшіеся еще; но вихрь пламени, пробившій страдальцевъ, привязанныхъ къ столбамъ костровъ, убѣдилъ наконецъ и тѣхъ, которые сомнѣвались.

— Который же изъ нихъ Моле? спросилъ одинъ изъ толпы своего сосѣда.

— А тотъ, что на среднемъ кострѣ.

— Сѣдой-то?

— Да.

— Боже мой! Боже мой! и старика не пощадили...

— Филиппъ щадитъ однихъ только тѣхъ, кто деньги платитъ... вмѣшался третій.

— Истинно, братъ Евстафій, истинно! прибавилъ четвертый.

— Поборы за поборами; боишься, чтобы и за *это* не взяли съ насъ денегъ, сказалъ пятый, показывая пальцемъ на ауто-да-фе.

— Учитесь, дѣти! учитесь! Такъ умираютъ мученики вѣры и правды, шепнулъ монахъ кордильерскій.

— Кто защититъ теперь насъ въ святой землѣ!... воскликнулъ пилигримъ Тулузскій.

— Смирно! смирно! раздалось въ толпѣ. Моле говоритъ къ народу.

«*Клементъ V и Филиппъ IV*, воскликнулъ Моле, вдохновенный свыше: *судьи беззаконные, палачи жестокосердые! я зову васъ на судъ передъ престоломъ Всевышняго — тебя, Клементъ, черезъ сорокъ дней; тебя, Филиппъ, черезъ годъ отъ моей смерти!...*

Голосъ умолкъ, пламя стихло, исчезъ костеръ во мракѣ, исчезла и тѣнь великаго Моле, только-что на немъ пострадавшаго.

Сбылось предсказаніе Моле. Клементъ умеръ въ назначенный срокъ; Филиппъ доживалъ свой, въ хлопотахъ объ очищеніи себя въ страшномъ дѣлѣ храмовниковъ, и однимъ изъ важнѣйшихъ актовъ его предсмертной дѣятельности былъ смертный приговоръ безумнаго Роберта Русильонскаго, по совѣту Маргариты, какъ единственнаго и остальнаго изобличителя его несправедливости.

ПРОИСШЕСТВІЯ

1812 года.

ПРОИСШЕСТВІЕ

1812 ГОДА.

Надобно признаться, что романъ и меньшая сестра его, повѣсть, принадлежатъ въ пріятнѣйшимъ родамъ словесности. Сочинителю открывается здѣсь — особливо въ романѣ — поле обширное и разнообразное: есть гдѣ разгуляться таланту; читателю представляется цѣлое море наслажденій: есть гдѣ помечтать, посмѣяться, поучиться добру — мимоходомъ, незамѣтно, не чувствуя что это урокъ. Жаль только, что новѣйшіе писатели, говоря вообще, не всегда желаемымъ образомъ исполняютъ свое назначеніе: они, или не довольно совѣстливы — разсказываютъ такія похожденія, отъ которыхъ морщится приличіе, краснѣетъ нравственность, вянутъ уши; или недовольно умѣренны, наводняя безжалостно повѣстями и романами всѣ возможныя въ свѣтѣ

литературы. Видно, не знаютъ умной поговорки: *Хорошенькаго понемножку.*

Не страшась подвергнуться первому упреку, я однако жъ опасаюсь послѣдняго, и потому разскажу вамъ не повѣсть, а быль, случившуюся въ тотъ достопамятный годъ, котораго священныя цыфры глубоко врѣзаны въ Русское сердце. Думаю, что въ настоящее время (*), послѣ совершенія Бородинской тризны, послѣ краснорѣчиваго описанія войны 1812 года, обновившаго столько великихъ воспоминаній, пріятнѣе, нежели когда нибудь, вызывать изъ сумрака двадцати семи лѣтъ все относящееся къ эпохѣ нашей народной славы.

Современники отечественной войны помнятъ еще, что при тогдашнихъ Вѣдомостяхъ выдавались, въ видѣ прибавленій, *Извѣстія изъ арміи*, которыхъ ждали, бывало, съ такимъ нетерпѣніемъ, читали съ такимъ восторженнымъ участіемъ. Въ одномъ изъ нихъ— отъ 7-го ноября — было напечатано, что Бѣлорусскій помѣщикъ Черноевичъ и Эстляндскій дворянинъ Габбе, укрывавшіеся въ лѣсахъ съ семействами своими отъ непріятеля, были наконецъ схвачены въ окрестностяхъ Шклова и представлены къ находящемуся въ Могилевѣ Французскому начальству; что отъ нихъ требовали присяги Наполеону; но что Габбе съ твердостію отъ того отказался, презирая смерть, которой ему угрожали.

Послѣ подвиговъ Энгельгардта, Шубина, это былъ тогда можетъ-быть третій, обнародованый, примѣръ самоотверженія изъ любви къ отечеству. Съ патріоти-

(*) Въ Сентябрѣ 1839 года.

ческою гордостію слушали и пересказывали его въ обществахъ, жалѣли только объ одномъ, что извѣстіе слишкомъ кратко. Случайно, въ недавнемъ времени, удалось мнѣ узнать всѣ подробности этого любопытнаго происшествія. Вотъ онѣ: передаю ихъ такъ, какъ самъ слышалъ — во всей исторической простотѣ разсказа.

—

Отставной капитанъ Черноевичъ, племянникъ извѣстнаго въ царствованіе Екатерины генерала Зорича, получивъ въ наслѣдство послѣ дяди огромное Шкловское имѣніе, убѣдилъ молодаго Эстляндскаго дворянина Габбе, искренняго своего пріятеля, бывшаго также въ отставкѣ, раздѣлить съ нимъ труды управленія. Габбе не могъ не согласиться: предложенныя ему условія были выгодны, занятія соотвѣтствовали его склонностямъ, а недавнее супружество призывало къ жизни, удаленной отъ столичнаго шума. Такимъ образомъ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1812 года, онъ оставилъ Петербургъ и отправился въ Шкловъ. Вскорѣ прибылъ туда и Черноевичъ, съ женою, съ воспитанницею ея, дѣвицею Кохановскою, и родственникомъ Янковскимъ. Разстройство, въ которомъ найдено ими имѣніе, и наступившая весна требовали всей хозяйственной дѣятельности. Съ жаромъ предались ей и помѣщикъ и управляющій. Все постороннее, даже тучи, собиравшіяся на политическомъ горизонтѣ Россіи, мало обращало на себя ихъ вниманіе. Вдругъ неожиданная

вѣсть, *Французскія войска вошли въ предѣлы нашей Имперіи,* поразила слухъ ихъ. Но первое впечатлѣніе ужаса скоро разсѣялось при мысли, что отъ Нѣмана до Шклова не близко, что непріятель вѣроятно будетъ остановленъ, отраженъ, — и встревоженные агрономы снова принялись за оставленный плугъ. Успокоеніе минутное: Французская армія, разливаясь потокомъ быстрымъ и широкимъ по гладкому, открытому пространству западныхъ губерній, менѣе чѣмъ черезъ три недѣли коснулась уже Могилевской. Черноевичъ отправилъ нарочнаго съ письмомъ къ губернатору, спрашивая, не опасно ли при настоящихъ обстоятельствахъ оставаться долѣе въ Шкловѣ? Губернаторъ отвѣчалъ, что опасности нѣтъ, что къ нелѣпымъ слухамъ о приближеніи Французовъ подали поводъ скитающіеся мародеры и вообще страхъ, наведенный на поселянъ войною. Столь увѣрительный отзывъ начальника губерніи совершенно успокоилъ Черноевича; но тѣмъ ужаснѣе было пробужденіе отъ этой отрадной увѣренности, когда на другой же день, налетѣвши какъ снѣгъ на голову, Французы заняли Шкловъ. Черноевичъ и Габбе съ ихъ семействами едва имѣли время выѣхать и скрыться у арендатора небольшаго фольварка, въ пятнадцати верстахъ отъ Шклова. Тутъ, опомнясь отъ ужаса, и сообразивъ, что настоящее убѣжище слишкомъ небезопасно, они разсудили, своротивъ съ большой дороги, пробраться за нѣсколько верстъ въ сторону, въ деревню Рябки, расположенную въ самомъ глухомъ, дикомъ мѣстѣ, окруженномъ лѣсомъ. Здѣсь, думали они, самъ Наполеонъ ихъ не отъищетъ. Не тутъ-

то было. Хищныя, голодныя толпы сброднаго его воинства, не встрѣчая нигдѣ сопротивленія, разсыпались какъ саранча по всѣмъ окольнымъ дорогамъ, по всѣмъ деревнямъ и мызамъ, искали хлѣба, надѣялись богатой добычи въ помѣщичьихъ домахъ, оставляемыхъ наскоро. Не укрылась отъ нихъ и деревня Рябки въ своей глуши. Черезъ нѣсколько дней, она занята была отрядомъ уланъ, и опять такъ внезапно, что семейство Черноевича едва успѣло спрятаться въ густую рожь, которая уже поспѣвала. Габбе не послѣдовалъ за ними: такое убѣжище казалось ему, съ одной стороны неприличнымъ, съ другой безполезнымъ, ибо легко могло быть открыто. Притомъ онъ полагалъ, что до такой степени нечего и бояться Французовъ, народа просвѣщеннаго. Вскорѣ, однако жъ, въ томъ разувѣрился.

Онъ стоялъ у окна въ крестьянской избѣ. Вдругъ начальникъ Французскаго отряда подскакалъ къ окну и, приставя карабинъ къ груди Габбе, грозно спросилъ: «Нѣтъ ли въ деревнѣ казаковъ?»—Нѣтъ, отвѣчалъ Габбе. «Точно ли?»—Я уже сказалъ вамъ, что нѣтъ. «А который часъ?» продолжалъ офицеръ нѣсколько благосклоннѣе, но не опуская карабина. Габбе вынулъ золотые часы; офицеръ взялъ ихъ, повертѣлъ въ рукахъ, и возвратилъ. Потомъ потребовалъ водки; но, получивъ въ отвѣтъ, что водки нельзя найти въ цѣлой деревнѣ, ограничился приказаніемъ дать отряду хлѣба и молока — и ускакалъ.

Все опять затихло; но послѣ такого посѣщенія, нельзя было долго оставаться въ этой деревнѣ. Габбе обыкновенно спалъ въ анбарѣ, съ заряженными пистоле-

тами и вѣрною собакой. Однажды ночью, бывъ разбуженъ лаемъ ея, онъ тихо подкрался къ двери, и явственно могъ разслушать, что нѣкоторые, собравшіеся у анбара злоумышленники, толковали о намѣреніи своемъ, воспользовавшись ночнымъ временемъ, связать его и представить непріятелю; остановка была только за тѣмъ, что никто первый не рѣшался ломать двери, зная, что Габбе спалъ вооруженный.

Черноевичъ, услышавши поутру о случившемся, немедленно уѣхалъ въ имѣніе адмирала Чичагова, верстахъ въ двадцати отъ деревни Рябки. Габбе, не имѣя собственныхъ лошадей, не могъ отправиться съ нимъ вмѣстѣ. Онъ обратился къ одному Еврею, съ просьбою свести его туда же; но ни какія убѣжденія, ни предлагаемая за провозъ большая плата, не могли склонить его: вѣроятно, боязнь Французовъ заглушила въ немъ голосъ человѣколюбія. Что оставалось дѣлать въ такомъ положеніи? Габбе схватилъ пистолетъ, и, прицѣлившись въ Еврея, требовалъ, чтобы онъ, или готовился умереть сію же минуту, или запрягалъ лошадей, взявъ за провозъ столько впередъ денегъ, сколько ему надобно. Средство это подѣйствовало, и Габбе опять соединился съ Черноевичемъ.

Здѣсь, наконецъ, думали они найти спокойное убѣжище, снова утѣшаясь надеждою, что оскорбленная честь отечества придастъ двойныя силы нашему воинству, что скоро произойдетъ рѣшительное сраженіе, въ которомъ оно восторжествуетъ и принудитъ враговъ къ поспѣшному отступленію; но судьбы Божіи

еще медлили карою, постигшею непобѣдимаго досель завоевателя на поляхъ Россіи. Черезъ нѣсколько дней, отрядъ уланъ вступилъ въ помѣстье Чичагова. Черноевичъ скрылся въ рощѣ. Будучи владѣльцемъ такого значительнаго имѣнія, онъ слишкомъ былъ извѣстенъ въ краѣ, и потому имѣлъ болѣе причинъ опасаться. Прочіе члены скитающагося семейства, покинувъ главный домъ, убрались въ ветхій флигель. По счастью, уланы думали на этотъ разъ о другомъ: они обратили все свое вниманіе на богатый винный погребъ, выломали въ немъ двери, порядочно попили, и, забравъ что могли съ собою, ушли обратно.

Дня черезъ два, вечеромъ, блеснулъ по опушкѣ рощи огонекъ. Послали осторожно развѣдать о причинѣ: оказалось, что это были казаки, подъ начальствомъ Жирова, отличавшагося впослѣдствіи многими блестящими подвигами храбрости. Маленькій отрядъ его принадлежалъ къ большому отряду Платова, съ которымъ неустрашимый атаманъ проходилъ тогда сквозь корпусъ маршала Даву на соединеніе съ арміею Барклая-де-Толли. Обрадованный появленіемъ казаковъ, Черноевичъ пригласилъ Жирова, съ бывшими при немъ офицерами, на ужинъ, и разговаривая о настоящихъ обстоятельствахъ, сообщилъ ему полученное черезъ посредство Евреевъ извѣстіе, что Шкловъ занятъ небольшимъ только отрядомъ Поляковъ. Закипѣла богатырская кровь удалаго Донца: ему не пилось, не ѣлось; онъ съ нетерпѣніемъ дожидался конца ужина и, прощаясь съ хозяиномъ, сказалъ, что завтра же на разсвѣтѣ перевѣдается съ Ляхами. Въ самомъ дѣлѣ,

онъ въ ту же ночь двинулся на Шкловъ, напалъ въ расплохъ на Поляковъ, разбилъ ихъ совершенно, овладѣлъ мѣстечкомъ. Держаться въ немъ было ему нельзя, да и не зачѣмъ; сдѣлавъ свое дѣло, встревоживъ, отодвинувъ непріятеля, онъ пошелъ далѣе своею дорогой.

Случай этотъ, счастливый для казацкаго оружія, радостный для нашихъ скитальцевъ, навлекъ на нихъ большія бѣды. Нашлись злонамѣренные люди, извѣстившіе Французское начальство въ Могилевѣ, что Поляки разбиты по милости живущихъ въ имѣніи адмирала Чичагова Русскихъ дворянъ, особливо Черноевича, который именно напустилъ на нихъ казаковъ. Маршалъ Даву немедленно приказалъ отъискать и привести къ себѣ Черноевича. Едва огласилось это повелѣніе, какъ посланный для исполненія отрядъ уланъ вступилъ въ селеніе. Черноевичъ попрежнему скрылся въ рощѣ; всѣ прочіе рѣшились остаться въ домѣ; женщинъ положено запереть въ самой отдаленной комнатѣ. Отчаяніе жены Черноевича было неописанно. Забывая о себѣ, она сокрушалась мыслію объ опасности, угрожавшей мужу, и обливаясь горькими слезами, умоляла Габбе ни въ какомъ случаѣ не открывать врагамъ его убѣжища. Напрасно Габбе старался доказать ей, что упорное со стороны его запирательство, какъ неимѣющее вѣроятія, было бы ему пагубно и безполезно для самого Черноевича, ибо роща слишкомъ необширна и не такъ густа, чтобы уланы не могли въ ней отъискать его; но жалостное положеніе этой женщины превозмогло, и онъ наконецъ обѣщалъ.

Взявъ къ себѣ ключъ отъ комнаты, въ которую заперли дамъ, Габбе, вмѣстѣ съ Янковскимъ, расположились въ гостиной ожидать, съ покорностію къ Провидѣнію, что произойдетъ далѣе. Гости не замедлили явиться. То были: начальникъ отряда, Баварецъ пожилыхъ лѣтъ, грубой наружности, полупьяный, и молодой офицеръ, лѣтъ двадцати. Не говоря другаго слова, Баварецъ, съ пистолетомъ въ рукѣ, подошелъ къ Габбе и спросилъ: «Гдѣ Черноевичъ?» На отвѣтъ не знаю, онъ съ гнѣвомъ вскричалъ: «Какъ не знаете? Ему негдѣ быть въ другомъ мѣстѣ; онъ долженъ быть непремѣнно здѣсь; говорите правду, или я разможжу вамъ голову.» — Пожалуй, но его *здѣсь* нѣтъ, увѣряю васъ честію, повторилъ Габбе. «Мы это сейчасъ увидимъ.» Съ симъ словомъ онъ отправился шарить по всему дому, приказавъ всѣмъ бывшимъ въ гостиной слѣдовать за собою; отворялъ шкафы, заглядывалъ подъ кровати, прокалывалъ саблею постели; наконецъ дошелъ до запертой двери, и потребовалъ чтобы ее отперли. Габбе возобновилъ свои увѣренія, что и *тутъ* не найдетъ онъ чего ищетъ; но Баварецъ настаивалъ, стучалъ ногою въ дверь, грозился ее выломать. Нечего было дѣлать: Габбе отворилъ комнату. Можно вообразить себѣ положеніе дамъ въ эту минуту! Комната была небольшая, свѣтлая, и почти безъ мебели; при первомъ взглядѣ, даже не входя въ нее, легко было увѣриться, что тутъ, кромѣ трехъ женщинъ, окаменѣвшихъ отъ ужаса, никого не было; но недовѣрчивый Баварецъ занесъ уже ногу, чтобы войти въ нее. «Остановитесь,» вскричалъ, схва-

тивъ его за руку, молодой офицеръ, на лицѣ котораго давно уже выражалось негодованіе: «мы посланы взять Черноевича, а не тревожить несчастныхъ дамъ.» — «Правда,» отвѣчалъ начальникъ отряда: «но какъ вы, милостивый государь,» продолжалъ онъ, обращаясь къ Габбе: «не хотѣли открыть намъ, куда запрятался Черноевичъ, то отправляйтесь вмѣсто его съ нами.» Настала для Габбе тяжкая минута испытанія: на него устремлены убійственные, пронзающіе сердце взоры двухъ женщинъ — молодой его супруги и жены Черноевича, — взоры, выраженіе которыхъ можно изобразить... развѣ только Брюлову. Средство избавленія въ рукахъ его; но онъ далъ благородное слово не открывать убѣжища человѣка, преслѣдуемаго злобными врагами; у него достало твердости сдержать это слово, — не достало только силы взглянуть въ другой разъ на полумертвую свою супругу. «Я готовъ,» сказалъ онъ. Тутъ, доселѣ безмолвная, неподвижная, едва дышущая жена его, съ крикомъ бросилась къ нему на шею и лишилась чувствъ. «Вы женаты, это супруга ваша?» вскричалъ съ живостію глубоко тронутый молодой офицеръ: «нѣтъ, мы не разлучимъ васъ, за нами послѣдуетъ вотъ этотъ господинъ; онъ не женатъ, не правда ли? (Янковскій дѣйствительно былъ холостъ), а для нашего начальства все равно, кого бы изъ двухъ васъ мы ни представили.» Габбе не находилъ словъ благодарить великодушнаго молодаго человѣка; начальникъ отряда упорствовалъ, сердился, но принужденъ былъ уступить благородной его настойчивости. Сила живаго, спра-

ведливаго, безкорыстнаго участія непобѣдима, повелительна: взяли одного Янковскаго и увезли.

Радость супруговъ, счастливо избѣгнувшихъ жестокой разлуки, особенно радость Габбе, услаждаемая простительнымъ чувствомъ самодовольствія, была бы полная, если бъ не отравлялась мыслію объ участи Янковскаго. Черноевичъ оставался въ рощѣ, сносясь съ домашними своими посредствомъ вѣрнаго служителя. Онъ полагалъ, что первымъ поискомъ не кончится, ждалъ новаго наѣзда, и не обманулся: спустя нѣсколько дней, нагрянулъ цѣлый эскадронъ гусаръ. Начальникъ его распорядился лучше своего предшественника, во всѣхъ отношеніяхъ. Прежде всего онъ приказалъ окружить господскій дворъ и разставить часовыхъ около рощи. Войдя потомъ въ домъ, съ кротостію объяснилъ, что имѣетъ строжайшее повелѣніе не возвращаться безъ Черноевича, который, какъ ему достовѣрно извѣстно, находится въ этомъ помѣстьи; что дальнѣйшее укрывательство напрасно; что онъ употребитъ всѣ мѣры къ исполненію возложеннаго на него маршаломъ порученія, обшаритъ всѣ мышьи норки, простоитъ съ эскадрономъ, если нужно, цѣлый мѣсяцъ, но непремѣнно отъищетъ Черноевича. «Тогда будетъ хуже,» примолвилъ онъ съ участіемъ. «Подумайте объ этомъ хорошенько; даю вамъ часъ времени на размышленіе,» и съ симъ словомъ вышелъ въ другую комнату.

Оставшіеся въ гостиной, послѣ минутнаго молчанія, приступили къ совѣщанію. Легко угадать, что госпожа Черноевичъ думала еще упорствовать; но была слишкомъ уже измучена безпрестанными душевными

тревогами, чтобы не уступить справедливымъ представленіямъ Габбе о невозможности долѣе противиться, объ упованіи на промыслъ Божій. Она рѣшилась итти въ рощу, убѣждать мужа отдаться добровольно, объявивъ напередъ, что и сама за нимъ послѣдуетъ. Ротмистръ, завидя приближеніе Черноевича, вышелъ къ нему на встрѣчу, взялъ ласково за руку, старался всячески успокоить, обѣщалъ не разлучать его съ женой. «Вамъ не будетъ скучно,» сказалъ онъ: «всѣ друзья ваши послѣдуютъ за вами: мнѣ приказано взять и господина Габбе.» Потомъ вѣжливо просилъ позволенія исполнить еще одно, данное ему порученіе: опечатать ихъ чемоданы, шкатулки, сундуки. Одинаковость судьбы, соединявшая плѣнниковъ, много усладила для нихъ горькую минуту отъѣзда и тяжкія думы дороги.

По прибытіи въ Могилевъ, комендантъ города, генералъ Пажоль, приказалъ помѣстить ихъ въ домѣ, хотя довольно просторномъ, но показавшемся имъ хуже всякой тюрьмы. Изъ него только-что выведенъ былъ военный госпиталь; въ нѣкоторыхъ комнатахъ не была еще убрана окровавленная солома; множество разбитыхъ оконъ предоставляли сквозному вѣтру полную свободу пролетать во всѣхъ направленіяхъ. Къ дому приставленъ былъ офицерскій караулъ. Черноевичъ занемогъ. Ни какой врачебной помощи не было ему оказано. По крайней мѣрѣ болѣзнь избавила его отъ нравственной пытки, которой подвергся Габбе отъ требованія присяги Наполеону. Караульный офицеръ приказалъ позвать его къ себѣ и отъ имени высшаго начальства предложилъ присягнуть новому, по словамъ

его, обладателю края. Началъ съ убѣжденій; увѣрялъ, что весь городъ, вся губернія присягнули; обѣщалъ, въ случаѣ согласія, свободу и выгодную должность; наконецъ, видя безполезность увѣщаній, перешелъ къ угрозамъ. Ничто не поколебало вѣрности Русскаго подданнаго: ни обольщенія, ни заряженный пистолетъ, приставленный къ груди его. «Стрѣляйте!» было отвѣтомъ Габбе: «я готовъ умереть, но измѣнить законному моему Государю — никогда!»

Французъ не выстрѣлилъ; или не поднималась у него рука на героя, который, при видной, прекрасной наружности, былъ такъ великъ въ эту минуту своимъ самоотверженіемъ; или онъ не имѣлъ полномочія на такое злодѣйство. Онъ приказалъ отвести его обратно въ отвратительный вертепъ заключенія, объявивъ, что обо всемъ донесетъ по начальству, что грозный маршалъ вѣроятно потребуетъ его къ себѣ и порядкомъ съ нимъ развѣдается. Но маршалъ Даву, озабоченный въ то время тѣмъ, что князь Багратіонъ уходилъ у него изъ виду, выступалъ уже къ Смоленску. Въ Могилевѣ смѣнилъ его князь Понятовскій. Онъ приказалъ перевесть заключенныхъ на другую, лучшую квартиру, хотя также оставилъ ихъ подъ крѣпкимъ карауломъ.

Едва перебрались они на новоселье, какъ является къ нимъ адъютантъ князя, ротмистръ Каменецкій. Въ рѣчахъ его, въ обращеніи видѣнъ человѣкъ благородный, образованный. Послѣ разговора, внимательнаго къ несчастію, онъ отводитъ Габбе въ сторону, въ глубину залы, объявляетъ ему о дошедшемъ до Французскаго начальства свѣдѣніи, что они вели переписку

съ командирами Русскихъ отрядовъ, извѣщая ихъ о положеніи Французскихъ войскъ, и что для розысканія сего назначена слѣдственная коммиссія, которая начнетъ съ осмотра чемодановъ и ящиковъ, въ надеждѣ найти тамъ важныя бумаги.

«Можетъ быть,» продолжалъ онъ: «коммиссія завтра же приступитъ къ дѣйствію; вотъ ключи отъ вашихъ ящиковъ и чемодановъ: выньте изъ нихъ и истребите все, что можетъ служить къ вашему обвиненію; въ противномъ случаѣ вамъ угрожаетъ вѣрная смерть.»

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Габбе, чрезвычайно удивленный и глубоко тронутый словами ротмистра: благодарю за ваше истинно великодушное предложеніе; высоко цѣню его, но не имѣю въ немъ нужды: у насъ нѣтъ ни какихъ подозрительныхъ бумагъ; мы не переписывались съ начальниками Русскихъ отрядовъ.

«Тѣмъ лучше, одной бѣдой меньше; но вамъ предстоитъ и другая: отъ васъ требовали присяги императору Наполеону; вы съ твердостью отказались. Хвалю васъ, уважаю: что можетъ быть прекраснѣе чувства любви къ отечеству; но по участію, которое, не знаю почему, вы такъ сильно во мнѣ возбуждаете, предваряю васъ, что требованіе присяги, можетъ быть, возобновится. Не противьтесь болѣе; вы уже сдѣлали свое дѣло: дальнѣйшее упорство безполезно. За тѣмъ ли Наполеонъ привелъ въ движеніе такія страшныя силы, прошелъ такое безмѣрное пространство, чтобы возвращать свое завоеваніе? Подумайте, если не о себѣ, то хотя о супругѣ вашей; что будетъ съ нею? Великія

общественныя бѣдствія обыкновенно все увлекаютъ за собою: нельзя одному противустать имъ; нельзя плыть противъ воды.»

— Если нельзя плыть, то по крайней мѣрѣ можно утонуть: я избираю послѣднее. Судьба здѣшняго края далеко еще не рѣшена. Французы еще не коснулись коренной Россіи; Русскіе не оросили еще родныхъ полей своею кровью; рѣшительная борьба впереди и конецъ ея извѣстенъ одному Богу, защитнику правыхъ.

«Да, должно согласиться съ вами: борьба рѣшительная еще не наступала; но она близка: мы ждемъ ее черезъ нѣсколько дней на берегахъ Днѣпра. Я ѣду туда завтра — принять въ ней участіе. Прощайте; уношу съ собою искреннее къ вамъ уваженіе, и если вы не питаете ко мнѣ ненависти, какъ въ воину противныхъ знаменъ, то не оскорбитесь чистосердечнымъ желаніемъ моимъ оказать вамъ помощь, лично отъ меня зависящую: возьмите этотъ кошелекъ съ золотомъ. Къ чему мнѣ оно? Я уже сказалъ вамъ, что спѣшу на кровавый пиръ, съ котораго не всѣ возвращаются; но вамъ, въ настоящемъ положеніи, въ плѣну, оно необходимо.»

— Нѣтъ, благородный человѣкъ! вскричалъ Габбе, бросаясь на шею Каменецкому: нѣтъ, оставьте у себя ваше золото; оно будетъ нужнѣе вамъ, нежели мнѣ: вы на чужбинѣ, я въ моемъ отечествѣ, и если Богъ поможетъ мнѣ освободиться, я нуждаться не буду. Но что бы со мною ни послѣдовало, никогда, до конца жизни, не забуду васъ и... этихъ минутъ!

Ротмистръ не отвѣчалъ; крѣпко обнялъ Габбе, крѣпко пожалъ ему руку и удалился.

Умилительны подвиги добра во всякое время, но посреди ужасовъ вражды народной — они неоцѣнимы!

На другой день чемоданы, ящики, сундуки заключенныхъ взяты были въ слѣдственную коммиссію. Въ нихъ не нашли, и не могли найти, ничего подозрительнаго. Вскорѣ послѣдовало приказаніе возвратить плѣнниковъ въ Шкловъ, но оставить тамъ подъ надзоромъ коменданта, и жить въ разныхъ домахъ. Тѣмъ еще не кончилось.

Главное начальство въ Могилевѣ, вмѣсто князя Понятовскаго, выступившаго съ корпусомъ на соединеніе съ главною Французскою армію, ввѣрено было маркизу Даліорно, родомъ Португальцу, человѣку почтенныхъ лѣтъ и добрыхъ качествъ. Кроткое и благоразумное его управленіе много облегчило бѣдствія края. Оно было бы еще ощутительнѣе, если бы не мѣшалъ ему интендантъ Шарпантье, гордый, недоступный, достойный исполнитель воли своего повелителя. Вліяніе его было сильно; онъ во многомъ раздѣлялъ власть маркиза и между прочимъ взялъ на свою долю прекрасное занятіе—приводить жителей уѣздовъ къ присягѣ, искушая вѣрность ихъ то обольщеніями, то жестокостями.

Предсказаніе Каменецкаго сбылось: къ Габбе явился отъ Шарпантье чиновникъ, съ требованіемъ подданства Наполеону и съ угрозами въ случаѣ неповиновенія; но какъ ни страшны были эти угрозы, муже-

ственный Габбе устоялъ въ третій разъ. Раздраженный Шарпантье наложилъ на него домовой арестъ, не позволялъ никому навѣщать его, стѣснялъ въ самыхъ способахъ продовольствія. Хотя Черноевичъ также не принялъ присяги, но съ нимъ поступали снисходительнѣе: можетъ-быть полагали, что по значительности своей въ томъ краѣ, онъ на что-нибудь пригодится имъ впослѣдствіи. Положеніе Габбе становилось невыносимымъ; онъ рѣшился изобразить оное въ письмѣ къ Даліорно, которое и удалось ему счастливо отправить. Маркизъ взялъ Габбе подъ свое покровительство, и смягчилъ строгія мѣры интенданта. Когда жъ, обозрѣвая губернію, пріѣхалъ въ Шкловъ, то пожелалъ видѣть его, изъявилъ ему, — разумѣется наединѣ, — свое уваженіе; а въ послѣдующіе объѣзды до того простеръ свою благосклонность, что сообщалъ ему о невыгодномъ положеніи, въ которомъ находилась тогда Французская армія, и утѣшалъ надеждою скораго освобожденія Россіи. Отъ него же Габбе узналъ о пораженіи короля Неаполитанскаго при Тарутинѣ.

Такъ проходили томительные дни октября. Отступленіе Французской арміи мало по малу становилось гласнымъ, хотя о немъ говорили еще шопотомъ. Ужасы войны, со всею неизмѣримостью гибельныхъ ея послѣдствій, снова приближались къ странѣ, еще не отдохнувшей отъ оныхъ. Новыя опасенія западали въ душу Россіянъ, оставшихся вѣрными своему Государю, но осужденныхъ жить посреди враговъ, озлобленныхъ неудачей вождя своего. Домъ, въ которомъ

помѣщенъ былъ Габбе, стоялъ на берегу Днѣпра. Однажды, въ глухую ночь, онъ слышитъ у дверей стукъ. Напуганному жестокими поступками интенданта, находящагося тогда въ Шкловѣ, ему представляется, что его требуютъ къ этому извергу. Кто стучитъ? спрашиваетъ онъ, подходя къ двери со свѣчею. «Другъ,» отвѣчаетъ ему незнакомый голосъ: «отворите.» Габбе отпираетъ, и, вмѣсто жандарма, котораго ожидалъ встрѣтить, видитъ передъ собою молодаго Еврея, усталаго, дрожащаго отъ холоду. Тихо притворивъ за собою дверь, осматриваясь осторожно во всѣ стороны, Еврей подаетъ ему письмо. Габбе распечатываетъ, — и, къ неописанному удивленію, узнаетъ почеркъ роднаго племянника своего — поручика Литовскаго Гвардейскаго полка.

Молодой Габбе писалъ, что находится въ отрядѣ партизана Сеславина, остановившемся въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Шклова, и просилъ увѣдомить съ этимъ же посланнымъ о числѣ непріятельскаго войска, занимавшаго мѣстечко.

Хотя письмо очевидно было неподложное — рука слишкомъ знакомая начертала эти строки, но подобные вопросы, при настоящихъ обстоятельствахъ, въ первую минуту показались Габбе сѣтью, разставленною мстительностью интенданта, а податель письма — искусителемъ.

«Не сомнѣвайтесь, ваше благородіе,» сказалъ Еврей, примѣтивъ недоумѣніе Габбе: «не обижайте меня вашими подозрѣніями. Каковы бы мы ни были въ общемъ понятіи, но въ нынѣшнее смутное время до-

казали, что преданы законному Государю и Его правому дѣлу. Многіе изъ нашихъ сложили уже головы за услуги, оказанныя Русской арміи. Я не хотѣлъ отставать отъ другихъ, и взялся исполнить это порученіе, по правдѣ сказать, опасное; но вотъ половина его, слава Богу, окончена счастливо.»

— А другая? возразилъ Габбе: другая можетъ-быть и не такъ легко сойдетъ съ рукъ, по крайней мѣрѣ погубитъ не одного тебя, а и меня тутъ же. Но какъ переѣхалъ ты Днѣпръ и ускользнулъ отъ часовыхъ, разставленныхъ по берегу?

«Я не переѣхалъ его, а переплылъ; переправу же свою устроилъ гораздо подальше отъ того мѣста, гдѣ разставлены часовые. Съ холоду имъ порядочно дремлется, и ночь кстати претемная. А какъ я самъ назябся! чуть не замерзъ въ рѣкѣ; ну, да пробѣжавъ сюда версты четыре, почти согрѣлся. Однако мѣшкать некогда; пишите-ка, ваше благородіе, отвѣтъ.

— Писать, значитъ класть на себя явную улику. Что, если ты попадешься? Не лучше ли на словахъ?

«Нѣтъ, ваше благородіе; мнѣ непремѣнно велѣно привезти письменный отвѣтъ, иначе чѣмъ мнѣ доказать, что я былъ у васъ, и выполнилъ то, за что взялся? Не безпокойтесь, если и попадусь, вамъ ни какой бѣды не будетъ: погибну я одинъ, но еще успѣю проглотить вашу записку.»

Габбе вошелъ въ свою комнату, упалъ на колѣни передъ висѣвшимъ въ углу образомъ, помолился отъ всей души, и твердою рукою написалъ: *Гарнизонъ состоитъ изъ 800 человѣкъ пѣхоты и 200 гусаръ.*

Черезъ два дни, молодой Габбе, съ частію отряда Сеславина, влетѣлъ въ Шкловъ, встрѣченный радостными восклицаніями жителей. Но Французовъ тамъ уже не было: по чутью ли, или слѣдуя общему отступательному движенію поражаемой на каждомъ шагу главной своей арміи, они убрались за нѣсколько часовъ прежде. Такимъ образомъ первый, поздравившій Габбе съ освобожденіемъ, былъ его племянникъ. Черезъ нѣсколько дней, къ общему удовольствію, здравъ и невредимъ возвратился Янковскій.

—

Не скоро, не ранѣе 1820 года, Императоръ Александръ узналъ о подвигахъ Габбе; узнавши, наградилъ его пенсіономъ. Указъ начинался такъ: *Въ память примѣрной любви къ отечеству и вѣрности престолу, оказанныхъ въ незабвенный 1812 годъ.....*

Габбе еще пользуется сею Монаршею милостію: онъ живетъ недалеко отъ С.-Петербурга, вспоминая съ наслажденіемъ о минувшихъ опасностяхъ, съ благодарностію о великодушіи враговъ, съ благоговѣніемъ о Вѣнценосномъ Благотворителѣ. —

Любопытно бы знать, что сдѣлалось съ ротмистромъ Каменецкимъ? пощадила ли этого благороднаго воина Смоленская или Бородинская пуля? коснулась ли нога его праваго берега Березины?

ЛЮБОВЬ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ БАРЫШНИ.

ПРЕДСМЕРТНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

ЛЮБОВЬ

ПЕТЕРБУРГСКОЙ БАРЫШНИ.

—

Предсмертный разсказъ.

—

Всѣ философы согласны въ томъ, что есть разнаго роду любви, совсѣмъ непохожія одна на другую: любовь шестнадцати-лѣтней дѣвушки, которая мечтаетъ только о счастіи, и любовь дѣвушки лѣтъ двадцати, которая мечтаетъ только о мужѣ; любовь двадцати-пяти-лѣтней женщины, которая еще впервые обманываетъ мужа, и любовь женщины тридцати-лѣтней, которая, испытавъ много измѣнъ, клянется, что уже въ послѣдній разъ ее обманываютъ; любовь тридцати-пяти-лѣтней женщины, или такъ называемая предпослѣдняя любовь, самая страстная изъ любовей, и любовь женщины сорока-лѣтней, самая

страшная изъ враждъ, самое жестокое изъ гоненій, и такъ далѣе, до любви шестидесяти-лѣтней женщины, приносящей въ годъ сто тысячъ рублей чистаго барыша. Сверхъ того, весьма точные наблюдатели утверждаютъ, что любовь существенно разнится даже смотря по націи, столѣтію, городу, климату, географической широтѣ и долготѣ женскаго сердца, его болотному, лѣсистому или нагорному мѣстоположенію и по тысячѣ другихъ обстоятельствъ, еще недостаточно приведенныхъ въ ясность. Статистика любви до сихъ поръ не составлена, а между тѣмъ, нѣтъ сомнѣнія, что это была бы самая занимательная и полезная изъ всѣхъ статистикъ. Кто не видитъ, что въ Испагани, Неаполѣ, Парижѣ и Костромѣ женщины должны любить совершенно различнымъ образомъ? Но не нужно брать такихъ огромныхъ разстояній: на пространствѣ двухъ или трехъ сотъ верстъ, качество любви совсѣмъ измѣняется: Петербургская любовь явственно не примѣняется къ Тверскому предмету обожанія, и въ Москвѣ, какъ извѣстно, любятъ совсѣмъ иначе, чѣмъ въ Тулѣ. Мы видимъ, что молодыя провинціялки, очень опытныя и искусныя въ любви, пока онѣ живутъ въ своихъ уѣздахъ, пріѣхавъ въ столицу, вовсе не умѣютъ любить: онѣ вздыхаютъ какъ паровыя машины, страшно ворочаютъ глазами, даютъ носовые платки, даже вышиваютъ подтяжки; а молодежь, воспитанная въ изящныхъ нравахъ Невскаго Проспекта, къ которой все это относится, и не примѣчаетъ того, что это любовь! Стало быть, есть огромная разница между любовьями. Это такъ справедливо, что я знаю

одного почтеннаго и весьма не глупаго Ярославскаго помѣщика, который много любилъ въ своей губерніи, и который, пріѣхавъ въ Петербургъ, принялъ премилое письменное признаніе первой возбужденной имъ здѣсь любви за счетъ изъ моднаго магазина.

Увы! я только одинъ разъ въ жизнь свою былъ любимъ, и то петербургскою любовью! Другой я не знаю. И не знать мнѣ другой любви! Рокъ уже осѣнилъ меня чернымъ крыломъ своимъ; могила вырыта подъ моими ногами; скоро ударитъ послѣдній часъ одной жизни, — первый часъ другой, — лучшей... той, гдѣ вѣчно свѣтло, звучно и весело. Прощай, земля, на которой я столько страдалъ! прощайте, цвѣтки земли, женщины!... Мы здѣсь цвѣли вмѣстѣ: вы еще красуетесь, полные жизнію и надеждой, я уже увядаю.... Это оглоданное жестокою болѣзнію лицо уже не задрожитъ сладостно подъ юнымъ поцѣлуемъ; эта измученная грудь уже не запылаетъ отъ лучей страстнаго взгляда; никто не положитъ преданной головы на это высохшее плечо; никто не обовьетъ бѣлою и полною рукою этой желтой шеи, въ которой смерть такъ страшно храпитъ въ темнотѣ ночной. Доживу ли я до весны, до поры любви и счастія всей природы?... О, нѣтъ, нѣтъ! я не доживу: не обманывайте меня, добрые родные!.... Прощай, весна! прощай, любовь! Я уже не увижу васъ, двухъ красныхъ дѣвъ, убранныхъ вѣнками изъ розъ, дружно держащихся объ руку и порхающихъ по бархатному лугу!.... Бѣгите, бѣгите къ счастію. Оно васъ ждетъ на порогѣ своего свѣтлаго чертога изъ солнечныхъ лучей; оно

манитъ васъ къ себѣ, стоя на коврѣ изъ тысячи блестящихъ цвѣтковъ, съ золотою чашею наслажденія въ рукѣ. Спѣша къ нему, дорогія гостьи земли, вы, можетъ быть, прочитесь по моей могилѣ: о! не заглядывайте туда, въ это скопище гадкихъ червей, которые будутъ пожирать мое сердце и его надежды.... Они пожрутъ и васъ! Но, Боже мой! умереть, быть съѣденнымъ червями, бывъ любимымъ только петербургскою любовью: это ужасно!....Ей-ей, не стоило родиться! Лучше ужъ было родиться лягушкою, потому что, нѣтъ сомнѣнія, у холодно-кровныхъ лягушекъ, живущихъ въ одномъ и томъ же болотѣ съ Петербургскими барышнями, любовь, по свидѣтельству всѣхъ физіологовъ, въ тысячу разъ и горяче, и страстнѣе, и постояннѣе. Какъ бы я теперь былъ счастливъ съ моей доброю, чувствительною, любящею лягушкой! Она посвятила бы мнѣ все свое существованіе, жила бы только для меня, заботливо смотрѣла бы въ мои потухающіе глаза, и, когда послѣдній лучъ свѣта въ нихъ погаснетъ, сама, своей нѣжной лапкою, закрыла бы ихъ навсегда. А барышня, жительница того же болота?.... Какая разница!

И слезы уже не текутъ у меня при воспоминаніи объ этой коварной!.... Это плохой признакъ. Я уже, навѣрное, очень близокъ отъ той черты, гдѣ оканчиваются всѣ радости и всѣ печали, когда могу такъ спокойно, даже весело, озираться на прошедшее, на это поле, покрытое терновникомъ и обагренное кровію изъ ранъ моихъ.... Но не станемъ думать объ этомъ. Слушайте, почтенные читатели: я разскажу вамъ исторію моей любви. Можетъ быть, эта слабая,

дрожащая рука еще успѣетъ дописать до конца печальное сказаніе: вы прочитаете его уже послѣ моей смерти. Я разскажу все безъ гнѣву и безъ натяжки. За слогъ не взыщите: слогъ мой будетъ обыкновенный, чахоточный. Занимательности не обѣщаю: возможно ли быть занимательнымъ между двухъ докторскихъ консиліумовъ?

Я былъ молодъ тогда. Я такъ непростительно былъ молодъ, что еще вѣрилъ въ непоколебимость дружбы и въ святость любовныхъ клятвъ; что женщина казалась мнѣ чѣмъ-то неземнымъ, и слава чѣмъ-то существеннымъ. Я обожалъ женщинъ, и съ нетерпѣніемъ ждалъ той вожделѣнной минуты, когда судьба позволитъ мнѣ заслужить привязанность одного изъ тѣхъ прелестныхъ существъ, такъ туго зашнурованныхъ, такъ прекрасно одѣтыхъ, такъ чудесно благоухающихъ. Въ этомъ разливѣ юношескихъ мечтаній и надеждъ, въ эти дни неодолимой жажды счастія, пользуясь хорошею погодою, отправился я однажды изъ лагеря въ деревню родственницы моей, находящуюся въ окрестностяхъ Петербурга. Въ этомъ роскошномъ лѣтнемъ пріютѣ, меня встрѣтило большое и радушное семейство и нѣсколько человѣкъ гостей, между которыми я замѣтилъ лицо, совершенно незнакомое. На вопросъ мой, кто этотъ господинъ? милая родственница отвѣчала, что это новый сосѣдъ ея, Ліановъ, который недавно купилъ прекрасное имѣніе, рядомъ съ ея деревнею. За обѣдомъ я познакомился съ Ліановымъ, и нашелъ въ немъ человѣка очень недалекаго. Послѣ обѣда всѣ мы отправились гулять въ

На третій, онѣ опять были у моей родственницы, съ какимъ-то предложеніемъ. Самолюбіе шепнуло мнѣ, что Ольга уговорила свою тетушку на это посѣщеніе единственно для меня. Сердце запрыгало отъ радости при этой тщеславной мысли. Я можетъ-быть и ошибаюсь, но какъ бы то ни было, Ольга явно предпочитала мое сообщество всякому другому: со мной она была весела и любезна; когда я отходилъ, она молчала и дулась; когда Ліанова собралась ѣхать домой, она очень упрашивала ее согласиться на желаніе моей родственницы и оставаться на чай. Ліанова улыбнулась и осталась, а моя родственница таинственно взглянула на меня; въ этомъ взглядѣ написано было крупными литерами: «Что жъ, не дурно!.... молода, красавица, и полторы тысячи душъ приданаго!» Проклятіе! Не прочитай я этой полуторы тысячи душъ во взглядѣ моей родственницы, я вѣроятно еще до чаю объявилъ бы Ольгѣ, что люблю ее до безпамятства; но полторы тысячи душъ все испортили; у меня не было ни какого имѣнія, а гордость не позволяла мнѣ и думать, чтобы я могъ женѣ быть обязанъ своимъ состояніемъ. Я мгновенно измѣрилъ все разстояніе, отдѣляющее меня отъ Ольги, и рѣшился отказаться отъ страсти, которая не вела ни къ чему, а могла имѣть для насъ обоихъ пагубныя послѣдствія. Я былъ весь вечеръ задумчивъ и печаленъ, мало говорилъ съ очаровательницею, и болѣе думалъ о своемъ будущемъ, чѣмъ объ ней. Она также казалась опечаленною. Наконецъ Ліанова увезла зловредную разрушительницу моего юношескаго спокойствія. Я перекрестился, ска-

залъ слава Богу! и легъ спать довольно беззаботно.

На четвертый день долженъ былъ я возвратиться въ Красное Село. Простившись съ моей родственницею, я заѣхалъ къ Ліановымъ, чтобы тоже проститься съ ними. Ольги я уже не боялся: гордость схватила меня за пяту и погрузила всего въ околдованныя струи Леты; отнынѣ впредь я былъ не уязвимъ.

Это было вечеромъ. Ліановы сидѣли на скамейкѣ, противъ прекраснаго искусственнаго луга, передъ красивымъ домомъ, отстроеннымъ въ новѣйшемъ вкусѣ, слушали веселыя пѣсни крестьянъ, и любовались на ихъ шумныя горѣлки. Мой пріѣздъ прервалъ это идилическое занятіе. Ліановъ помѣстилъ меня между своей прелестною женою и своей опасною племянницею. Я исключительно занялся хозяйкою. Ольга, сидя подлѣ меня, стучала отъ скуки и нетерпѣнія своей китайскою ножкою: ей было досадно, что я не говорилъ съ нею ни слова. Но вотъ я взглянулъ на нее случайно: два огонька засвѣтились въ ея прекрасныхъ глазахъ: ея античное лицо озарилось вдругъ нежданымъ блескомъ, и я почувствовалъ снова, что я влюбленъ. Погибая, видя себя разбитымъ, не зная чѣмъ и какъ защищаться противъ врага, превосходящаго меня числительною силою, я рѣшился въ отчаянія найти въ немъ полторы тысячи пороковъ, одинъ ужаснѣе другаго. Во-первыхъ, Ольга была слишкомъ хороша собою: я не хочу быть мужемъ прекрасной картины, которою всѣ готовы восхищаться. Во-вторыхъ, она была слишкомъ умна, а я совершенно согласенъ

съ мнѣніемъ покойнаго пророка Магомета, который говорилъ, что это очень неудобно въ супружествѣ. Въ-третьихъ, четвертыхъ, пятыхъ и шестыхъ она принадлежала къ поколѣнію петербургскихъ барышень, самому опасному изъ всѣхъ. Это поколѣніе, я, какъ благовѣрный Москвичъ, долженъ былъ ненавидѣть. У насъ въ Москвѣ есть повѣрье, будто петербургскія барышни для того только выходятъ замужъ, чтобы скорѣе овдовѣть. Говорятъ, будто вкусъ у нихъ испорченъ до такой степени, что онѣ въ мужья предпочитаютъ стариковъ, а въ друзья молодыхъ людей безъ опытности и постоянства; утверждаютъ также, что воспитаніе ихъ совершенно направлено къ искорененію на Руси домашняго счастія; что бракъ для нихъ не дѣло сердца, а простой предметъ спекуляцій; что онѣ вообще честолюбивы, надменны, холодны, своенравны, лицемѣрны въ дружбѣ, коварны въ любви, страстны къ удовольствіямъ, склонны къ самой сумазбродной роскоши, чужды русскихъ чувствованій, напитаны презрѣніемъ ко всему родному, и все готовы посвятить наружности и блеску. Нѣкоторые даже присовокупляютъ, что онѣ не знаютъ русской грамоты и гнушаются почетнымъ именемъ хозяйки. Я не выписалъ здѣсь и половины тѣхъ уголовныхъ преступленій, въ которыхъ наши московскія матушки, тетушки и бабушки обыкновенно обвиняютъ петербургскихъ барышень: дѣло въ томъ, что когда мнѣ было три или четыре года, то нянюшка моя, за непослушаніе или шалость, всегда стращала меня тѣмъ, что маменька сейчасъ женитъ меня на пе-

тербургской барышнѣ, и я боялся этой ужасной барышни еще болѣе чѣмъ трубочиста. Воспоминаніе объ этомъ фактѣ вдругъ остановило во мнѣ весь позывъ на обожаніе Ольги; я нахмурился, и съ отчаяніемъ въ сердцѣ оборотился къ Ліановой. Разговоръ нашъ не отличался ни вкусомъ ни изящностью содержанія; предметомъ его были разныя городскія новости. Ольга выказала по этой части такія обширныя познанія, что разговоръ этотъ даже пришелся мнѣ крѣпко не понутру. Я уже хотѣлъ было сказать, что предпочелъ бы, въ деревнѣ, слушать разсужденія ея о сѣнокосѣ. Хорошо, что Ліановъ догадался перемѣнить предметъ бесѣды и предложилъ кавалькаду.

Черезъ четверть часа мы уже скакали въ полѣ. Мнѣ пришлось быть кавалеромъ Ольги. Сказать, что она не была чудесна на лошади, значило бы безсовѣстно попирать истину, безъ которой нѣтъ исторіи; но какъ я рѣшился, по праву личной защиты, обращать все въ ней въ порокъ, въ недостатокъ, въ укоризну, то меня непріятнымъ образомъ поразило и самое искусство ея въ верховой ѣздѣ: эта смѣлость, эта рѣшительность на конѣ, показалась мнѣ, въ дѣвушкѣ, противузаконнымъ посягательствомъ на славу Киргизъ-Кайсаковъ. Я знаю, что настоящая петербургская барышня должна ѣздить верхомъ какъ берейторъ, и не уступать въ наѣздничествѣ маленькому Турніеру. Ольга, въ самомъ дѣлѣ, очень ловко управляла лошадью; но я держался той теоріи, что женщина должна ѣздить верхомъ робко и трусливо, и на каждомъ шагу нуждаться въ моей могучей и великодушной помощи.

Мнѣ бы хотѣлось, чтобы Ольга вскрикивала при малѣйшей опасности; мнѣ бы хотѣлось видѣть въ ней не воинственную амазонку, готовую защитить меня отъ цѣлаго полка Македонцевъ, но существо нѣжное и слабое, ожидающее за любовь свою моей защиты; мнѣ бы хотѣлось... Словомъ, она была такъ очаровательна, что мнѣ хотѣлось, чтобы она свалилась съ лошади. Не спорю, что я былъ несправедливъ къ Ольгѣ, но мнѣ уже не оставалось другаго средства. Я чувствовалъ себя побѣжденнымъ, и она видѣла это: она съ насмѣшливымъ торжествомъ примѣчала во мнѣ внутреннюю борьбу, и каждый взглядъ ея говорилъ мнѣ: «Ты мой рабъ!»

Осуждая Ольгу за удальство, я между тѣмъ находилъ ее великолѣпною и болталъ съ нею о вечерахъ и балахъ прошедшей зимы. Она чуть не заплакала, увѣряя меня, что мать находитъ ее еще слишкомъ молодою для большихъ баловъ и даже рѣдко беретъ съ собою на вечера.

— Самый пріятный вечеръ, продолжала она: какой я запомню, былъ конечно тотъ, который мы недавно провели у вашей родственницы. Какъ бы я желала, чтобъ онъ могъ повториться!

— Это совершенно зависитъ отъ васъ, отвѣчалъ я. Она поручила мнѣ просить вашу тетушку на домашній спектакль въ пятницу, и надѣется, что вы также не откажетесь украсить ея праздникъ своимъ присутствіемъ.

— Вы, мосье Рахманный, также тамъ будете? быстро спросила она.

— Къ величайшему сажалѣнію моему, я долженъ буду все это время провести въ лагерѣ.

Она вздохнула, и присовокупила:

— Нѣтъ, я тоже не могу быть у вашей родственницы. Маменька отпустила меня только до завтра: я должна возвратиться домой.

Говоря это, она подняла свою прелестную головку, и трогательный взглядъ, брошенный подъ самыя облака, зацѣпился о тучу и повисъ на серебряныхъ рогахъ луны, которая только-что всплыла надъ горизонтомъ.

Нѣтъ, что не говорите, а петербургской барышни, несмотря на всѣ ея пороки, нельзя не обожать!

Я былъ безъ ума отъ нея, и, чтобы скрыть мое низложеніе, пришпорилъ лошадь: черезъ нѣсколько минутъ мы очутились у крыльца господскаго дому.

Простившись съ Ліановыми, я отправился въ Красное Село и прибылъ туда уже въ шестомъ часу утра. Заспанный деньщикъ остановилъ меня у порога убійственнымъ извѣстіемъ:

— Баталіонъ уже полчаса какъ ушелъ на ученье.

О, боги!... Я поспѣшно надѣлъ шарфъ, киверъ и знакъ, и направилъ саженные шаги свое на марсовое поле.

—

Непредвидѣнное несчастіе, слѣдствіе безразсудной пылкости, вдругъ удалило меня изъ Петербурга. Я уѣхалъ въ одинъ уѣздный городъ, и долженъ былъ прожить тамъ до тѣхъ поръ, пока тучи, скопившіяся

надъ моей головою, не разсѣются, или судьба моя не рѣшится.

Привыкши къ шуму столицы и къ разсѣянностямъ свѣта, я скучалъ въ этомъ тяжеломъ уединеніи. Долго не могъ я привыкнуть къ обычаямъ деревяннаго городишка и къ причудамъ уѣздной жизни, доведенной до послѣдней степени умственнаго измельченія. Хотя мнѣ нравилась патріархальность семейства засѣдателя; хотя во время прогулокъ я нарочно ходилъ мимо оконъ уѣзднаго доктора, сквозь которыя какъ два черные алмаза блестѣли глазки его дочери; хотя я любилъ бывать у стараго полковника, который разсказывалъ мнѣ о походахъ Суворова, однако всѣхъ этихъ развлеченій было слишкомъ недостаточно для сердца, на которомъ лежала тяжелая грусть и для воображенія, испуганнаго грознымъ упрекомъ совѣсти. Природа медлила послать мнѣ утѣшеніе въ первомъ цвѣткѣ, распускающемся изъ-подъ снѣгу, въ первой пѣсни жаворонка, въ первыхъ блѣдныхъ листочкахъ нагой березы, уныло стоявшей передъ моими окнами. Въ этой печальной пустынѣ, роскошный образъ Ольги навѣщалъ иногда меня во снѣ, тихо нисходя съ облакъ по лунному лучу и носясь надъ моей безпріютной головою; но первое разсужденіе бодрствующаго ума еще болѣе растравляло раны моего сердца; къ разстоянію, которое богатство ея полагало между нами, теперь еще прибавилась бездна моего несчастія. Въ лицѣ закона нравственности, если не въ лицѣ общественнаго мнѣнія, я былъ преступникъ; весь мой карьеръ, начатый столь удачно подъ сѣ-

нію заслугъ отца, разстроился невозвратно; при самомъ благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ, меня все таки ожидало изгнаніе, болѣе или менѣе продолжительное. Не предвидѣлось даже возможности, чтобъ я могъ когда нибудь увидѣть Ольгу. Безнадежность эта была, конечно, благодѣяніемъ въ моемъ положеніи: я разсчитывалъ, что она скоро сотретъ въ моемъ сердцѣ послѣдніе слѣды неумѣстной и безполезной страсти, которая, какъ я ни прогонялъ ее, какъ ни запиралъ передъ нею всѣ входы въ грудь, растерзанную, требующую исцѣленія забвеніемъ прошедшаго, часто возвращалась ко мнѣ, мерзавка, вмѣстѣ со слезами и грустными предчувствіями. Однѣ книги могли тогда доставить мнѣ спасительное развлеченіе; я привезъ съ собою большой запасъ военныхъ сочиненій, и съ отчаяніемъ погрузился въ чтеніе. Удивляясь подвигамъ Фридриха Великаго, слѣдя за Суворовымъ на берегахъ Дуная, на поляхъ Польши, на вершинахъ Альпъ, сопутствуя генію Наполеона отъ стѣнъ Тулона до равнины Ватерлоо, я находилъ подъ ихъ безсмертными стопами достаточную пищу для своего воображенія, и были минуты, когда, полный ихъ высокими соображеніями, я даже забывалъ свое горе и чувствовалъ себя счастливымъ.

Такъ прошли два мѣсяца, вяло, скучно, однообразно. Однажды, въ тотъ день, когда приходитъ почта, — а это всегда день самый примѣчательный въ уѣздной жизни, — я пошелъ въ почтовую контору. Спрашиваю, есть ли ко мнѣ письма. — Есть, говорятъ, и цѣлыхъ два. Я беру и гляжу на адре-

сы: одно отъ моего друга Василія; другое — незнакомой руки. Пальцы мои задрожали: предчувствіе мгновенно сказало, что въ немъ должно заключаться что нибудь роковое. Я не смѣлъ распечатать его, и сперва принялся читать письмо моего друга, который сообщалъ мнѣ весьма неблагопріятное извѣстіе. Наконецъ срываю печать со втораго посланія, смотрю: круглый листъ мелкаго письма; читаю: «Monsieur, *не знаю, право, какъ вы назовете мой отчаянный поступокъ,*» и прочая. Съ нетерпѣніемъ обораччиваю листъ, гляжу на подпись: «*Ольга!*» Боже мой, что это такое? Дрожа, принимаюсь снова читать сначала. Каждая строка приводитъ меня въ удивленіе, въ восторгъ, въ краску или въ отчаяніе. Долженъ ли я прописать здѣсь эти строки?... Нѣтъ, нѣтъ! Да не осквернитъ ни чей равнодушный глазъ этого священнаго, тайнаго взрыва самыхъ завѣтныхъ, но самыхъ благородныхъ чувствъ души невинной и неопытной. Слова его лягутъ со мною въ могилу,—дорогія и страшныя слова, въ которыхъ таилось столько сладости и столько горечи для моей жизни: читателю достаточно будетъ знать общее содержаніе письма и нѣсколько важнѣйшихъ выраженій, имѣвшихъ рѣшительное вліяніе на все бытіе мое.

Узнавъ о моемъ несчастіи, добрая дѣвушка не могла совладѣть съ своими чувствами: забывъ всѣ верховные законы приличія, она рѣшилась принести мнѣ утѣшеніе въ горѣ. Всѣмъ готова была она пожертвовать, чтобы облегчить мою участь: если сердце ея, и все сокровище чистѣйшей любви, которое въ немъ содер-

жится, можетъ доставить мнѣ малѣйшее утѣшеніе, то и это сердце, всею любовію, она отдавала мнѣ. «Клянусь вамъ,» говорила она, «*даю вамъ мое честное слово*, что никому на свѣтѣ, кромѣ васъ, принадлежать не буду.» Слезы брызгнули изъ глазъ моихъ при этомъ небесномъ звукѣ, раздавшемся изъ сердца юнаго, теплаго и готоваго на всѣ подвиги возвышеннѣйшаго самоотверженія... Далѣе, Ольга, съ удивительнымъ умомъ, разсуждала о моемъ тогдашнемъ положеніи, о моей будущности, о томъ, что я потерялъ отъ моихъ буйныхъ страстей, о томъ, что еще могу пріобрѣсть отъ хорошаго ихъ направленія къ прекрасному, благородному и славному; она ободряла меня, убѣждала не унывать, старалась своей слабою рукою поддерживать мое колеблющееся мужество. «Если я такъ живо, такъ истинно васъ полюбила,» продолжала она: «то ужъ навѣрное не за то, чѣмъ вы «тогда были, но за то, чѣмъ быть можете. Повѣрь- «те предчувствію моего женскаго сердца, которое, говорятъ, почти никогда не обманываетъ: вы еще за- «служите себѣ прекрасную славу между своими со- «гражданами, если только благоразумно употребите «тѣ дарованія, которыя теперь не развиты, но кото- «рыя я въ васъ вижу, различаю, предчувствую; я еще «буду гордиться вами и своимъ выборомъ, и свѣтъ «не скажетъ, что я легкомысленно бросила свое серд- «це первому встрѣчному: я положила его, какъ очи- «стительную жертву, на алтарь великаго несчастія, «отяготившаго свою желѣзную руку надъ человѣкомъ, «созданнымъ для славныхъ трудовъ и прекрасной жи-

«зни, и достойнымъ любви благородной женщины,» и прочая, и прочая. Довольно! Ахъ, довольно! не спрашивайте, ради Бога, что еще было въ этомъ письмѣ: я слабъ; всѣ раны моего сердца раскрываются съ нестерпимою болью...

Что долженъ я былъ думать и чувствовать по прочтеніи этихъ строкъ, вылившихся очевидно изъ глубины пылкой и возвышенной души и написанныхъ рукою прекраснѣйшаго существа, какое только сырой и туманный Петербургъ видѣлъ въ стѣнахъ своихъ, то не легко мнѣ теперь изложить, и не легко понять читателю, который не испытывалъ ни моихъ угрызеній совѣсти, ни моего отчаяннаго положенія послѣ разлуки съ родными, друзьями, свѣтомъ, надеждою, всѣмъ, что составляетъ точку подпоры жизни и ея поэзію. Обвинять ли Ольгу въ необдуманности ея поступка? почитать ли уголовнымъ преступленіемъ нарушеніе приличій, которыя, за недостаткомъ въ гаремныхъ стѣнахъ, служатъ у насъ болѣе или менѣе невѣрною оградою женской добродѣтели?... Никогда! Да развѣ я старая гувернантка, безъ зубовъ и безъ сердца? Я, напротивъ, былъ въ восторгѣ, въ огнѣ, въ радостномъ изступленіи; я цѣловалъ письмо чистой и благородной Ольги; я прижималъ его къ разорванному сердцу, и оно служило ему цѣлебнымъ бальзамомъ; я обливалъ его лучшими своими слезами, и это были слезы признательности, удивленія, любви, нечаяннаго возрожденія къ новому бытію. Звѣзда-путеводительница мелькнула надъ моей несчастною головою сквозь мрачныя тучи. Рука Провидѣнія навела эту чудесную жен-

щину на путь грѣшнаго человѣка, чтобы направить его къ добродѣтели и небу. Ангелъ-хранитель принялъ на себя обликъ Ольги, и осѣнилъ меня своимъ золотымъ крыломъ. Отнынѣ, точка подпоры для этой горестной жизни была найдена: жить для нея, ее любить, оправдать ея выборъ, осуществить ея надежды, сдѣлаться достойнымъ ея прекраснаго сердца,—вотъ цѣль моего существованія, къ которой устремлюсь я на переломъ, сквозь горя и невзгоды земныя. И какъ сладко будетъ достигнуть этой цѣли! какая блестящая награда должна увѣнчать мои усилія!... Тамъ, у этой цѣли, стоитъ она, Ольга, мой другъ, мой добрый геній, съ сердцемъ, полнымъ тѣхъ же небесныхъ чувствованій, которыми дышетъ это письмо, съ душой, пылающею любовію ко мнѣ и восторгомъ ко всему благородному и прекрасному! Я простилъ ей всѣ полторы тысячи недостатковъ и пороковъ, простилъ смѣлость на конѣ, даже простилъ богатство, ужаснѣйшій изъ всѣхъ ея пороковъ, который дотолѣ приводилъ меня въ содроганіе и заставлялъ почти ненавидѣть эту добрую дѣвушку. За богатство я дамъ ей честію пріобрѣтенную славу,—это дороже и лестнѣе всякаго богатства. Но не ошибается ли она въ упованіи своемъ на мои способности? не ослѣпленіе ли страсти заставляетъ ее предполагать во мнѣ дарованія и достоинства, которыми природа меня и не надѣляла? Я не вижу ихъ въ себѣ! Я даже не чувствую въ душѣ своей того ядовитаго огня, который заранѣе томитъ и пожираетъ людей даровитыхъ. Эта мысль огорчала меня чрезвычайно. Но любовь дѣлаетъ чудеса; любовь еще

можетъ одушевить меня незнаемыми силами; она придастъ мужества и необходимой увѣренности въ самомъ себѣ; согрѣтый ея священнымъ огнемъ, зародышъ таланта, если онъ только есть во мнѣ, непремѣнно достигнетъ того развитія, къ какому онъ способенъ: геній, это терпѣніе, сказалъ человѣкъ, который самъ былъ не безъ генія и, конечно, зналъ, какимъ образомъ онъ пріобрѣтается. Я предамся ученію, буду читать прилежно и со вниманіемъ, образую свой умъ, разверну свои понятія, постараюсь тщательно наблюдать людей, общество, природу: все возможно съ твердымъ желаніемъ и лестною цѣлію. Впередъ, Рахманный! Авось и тебя святая Русь станетъ помнить добрымъ! Богъ—помощь, награда—Ольга. Впередъ!.... Вотъ тернія: бреди прямо черезъ нихъ! Вотъ пропасть: перепрыгни! Если не сломаешь шеи, вѣроятно, будешь тамъ, гдѣ и другіе.

Цѣлый день провелъ я въ ужасномъ безпокойствѣ, обдумывая средства сдѣлаться, если не примѣчательнымъ, по крайней мѣрѣ извѣстнымъ человѣкомъ, чтобы доказать на дѣлѣ искреннюю любовь мою къ Ольгѣ. Вечеромъ еще разъ прочелъ я это волшебное письмо, и открылъ въ немъ новыя выраженія глубокаго чувства, истинно прекрасной любви, благородной страсти, которая, какъ огонь Весты, горѣла, казалось, вѣчнымъ символомъ чистоты. Долго размышлялъ я опять надъ этими роковыми страницами, и много мыслей, много чувствъ опять взволновало мою голову и грудь. Мнѣ живо представился плѣнительный образъ Ольги, увѣнчанный всѣми совершенствами,

сіяющій всѣми прелестями, украшенный всѣми благами земными, образъ томный и задумчивый, съ любовью и со слезами издали устремляющій на меня свой взоръ. Это было настоящее видѣніе. Мнѣ показалось, что она плачетъ, и два ручья горячихъ слезъ невольно полились изъ глазъ моихъ на драгоцѣнное письмо, которое отнынѣ не должно было разлучаться со мною до могилы. Мнѣ представились тѣ мученія, которыя, конечно, сушатъ ея прекрасную грудь: сколько ночей безъ сна, сколько дней безъ надежды провела она, пока побѣдила врожденную стыдливость, рѣшаясь первая на страшное признаніе, и сколько еще проведетъ ихъ, прежде чѣмъ надежды ея исполнятся, прежде чѣмъ будетъ она гордиться мною и своимъ поступкомъ! Я былъ внѣ себя. Нетерпѣніе осуществить похвальныя мои предначертанія, къ которымъ тогда предстояло столько непреоборимыхъ препятствій, причиняло мнѣ муки настоящей пытки. Сонъ мой былъ тревожный, возмущаемый страшными грезами. Проснувшись на разсвѣтѣ, я опять прочелъ письмо бѣдной Ольги, и опять нашелъ въ немъ много новаго. Слова ея касались нѣжнѣйшей струны моего сердца—самолюбія. Юная и невинная дѣвушка, удивительной красоты, съ блестящимъ положеніемъ въ свѣтѣ, вручаетъ судьбу свою моей чести, предается мнѣ неограниченно, потому только, что полагаетъ меня достойнымъ своей любви, способнымъ оцѣнить высокія качества ея души и сердца. О, этого довольно! я умру, но не обману ея ожиданій.....

Такъ былъ окончательно разрушенъ покой моего

уединенія: страсти взволновались; двадцати-двухъ-лѣтняя кровь кипѣла въ жилахъ,—никогда не помню такой душевной бури. Образъ Ольги, моей великодушной Ольги, моей покровительницы, образъ, идеальнѣе котораго не создавало восторженное воображеніе ни живописца ни поэта, повсюду носился передо мною. Она была единственною цѣлію всѣхъ моихъ мыслей и мечтаній. Напрасно, пугаясь огромности предпріятія, вѣроятно, превышавшаго мои силы, старался я остановиться. Я чувствовалъ, что мечты увлекутъ меня слишкомъ далеко, что я тутъ издержу всю свою душу, что могила ждетъ меня въ половинѣ этого опаснаго пути, въ который съ такою ангельскою улыбкою заманиваетъ меня очаровательный образъ, мой воздушный путеводитель, что должно непремѣнно удержать себя, пока еще разсудокъ не истаялъ отъ напряженнаго пламени: все было напрасно! Челнокъ безъ кормила брошенъ былъ волшебницей въ потокъ воображенія, и стремительно понесъ меня, и я даже не протянулъ руки, чтобы ухватиться за берегъ....

Могъ ли я отвѣчать Ольгѣ иначе, какъ только пламеннымъ признаніемъ въ безпредѣльной любви, въ удивленіи ея благородной и возвышенной душѣ, въ истинной и глубокой привязанности? Могъ ли я на одно мгновеніе поколебаться передъ клятвеннымъ обѣтомъ посвятить отнынѣ всю жизнь свою сперва приготовленію, а потомъ охраненію ея счастія, сперва искреннимъ усиліямъ усовершенствовать себя и свои способности, по крайней мѣрѣ въ той степени, чтобы она не стыдилась носить моего имени, а потомъ со-

ставленію, изъ плодовъ этихъ усилій, ея полнаго и безоблачнаго блаженства? Всякій другой отвѣтъ нанесъ бы ей незаслуженную обиду, мнѣ безчестіе. Я отвѣчалъ..... Если бы кто этимъ письмомъ коснулся бочки пороху, она взлетѣла бы на воздухъ.

Съ этого времени началась новая эпоха моей жизни, новый родъ существованія: жизнь, дышащая самою страстною любовію, сущестзованіе, наполненное трудомъ, усиліями и сладостною мечтой.

Судьба бросила меня въ отдаленный городъ, въ которомъ еще недавно существовалъ знаменитый храмъ наукъ: я съ жадностью искалъ тамъ средствъ къ пополненію недостатковъ моего первоначальнаго образованія. Изгнаніе стало для меня школою. Я отдавалъ Ольгѣ вѣрный отчетъ въ моихъ занятіяхъ, успѣхахъ и надеждахъ. Она имъ радовалась, подкрѣпляла меня своими трогательными ободреніями, и поощряла къ новымъ усиліямъ. Письма ея дышали самою восторженною любовью: я всегда почерпалъ въ нихъ новыя силы, трудился, изнемогалъ отъ труда, и снова оживлялся надеждою, которую они такъ краснорѣчиво выражали.

Прошло двадцать мѣсяцевъ: письма Ольги неприметно стали рѣже, и послѣднее изъ нихъ крайне огорчало меня: оно показалось мнѣ нѣсколько холоднымъ. Я нетерпѣливо ожидалъ отвѣта на мое письмо, въ которомъ умолялъ ее объяснить эту перемѣну. Отвѣтъ не приходилъ. Я предавался страшному отчаянію. Около того же времени, въ первый разъ выступилъ я на литературное поле. Есть на Руси таинственный

человѣкъ, которому всѣ невольно удивляются, хотя многіе и злословятъ его. Не зная этого человѣка лично, я былъ влюбленъ въ него, быть-можетъ столько же, какъ въ Ольгу: не я одинъ, изъ нашего молодаго поколѣнія, питалъ и питаю къ нему эту романическую привязанность. По моимъ понятіямъ, такая сила дарованія должна была опираться въ немъ на душу теплую и благородную, и я не ошибся. Точно такъ же, какъ невинная Ольга довѣрчиво вручила свою судьбу мнѣ, почти незнакомому себѣ человѣку, я вручилъ ему свою, безпредѣльно, неограниченно. Любовное письмо, которое я написалъ къ нему, исторглось у меня также изъ глубины души: онъ такъ и понялъ его, и съ тѣхъ поръ его участіе, совѣтъ, руководство, содѣйствіе, помощь, дружба не оставляли меня. Радость, и весьма основательная гордость моя, по поводу пріобрѣтенія такого друга, служила нѣкоторымъ противувѣсіемъ горести, которую начинала причинять любовь. Дѣло въ томъ, что въ то самое время, какъ пріобрѣталъ друга, я очевидно терялъ любовницу: отвѣтъ, объясненіе не являлись.....

Благодаря содѣйствію этого достойнаго друга, маленькіе, довольно блестящіе успѣхи начали загромождать путь мой къ будущей литтературной славѣ, которая съ тѣхъ поръ и самому мнѣ показалась возможною къ достиженію при дальнѣйшихъ усиліяхъ болѣе важныхъ начинаніяхъ. Мое имя было произнесено въ гостиныхъ. Литтературные интриганты стали штурмовать меня письмами, стараясь привлечь новое перо мое въ журналы своихъ безсильныхъ пар-

тій. Эти бездарные шакалы мигомъ чуютъ поживу за семьсотъ семьдесятъ семь верстъ, и ихъ мелочные происки, внушая мнѣ отвращеніе, очень польстили моему самолюбію: они заставляли меня вѣрить въ мой собственный талантъ, и я уже, нѣкоторымъ образомъ, начиналъ разыгрывать роль «писателя». Предчувствія, предсказанія Ольги сбывались. Эти первые лучи славы были, безспорно, твореніе рукъ ея. Съ какимъ восторгомъ украсилъ бы я ими прелестную ея головку! Но гдѣ она? Она молчитъ..... она теперь знать меня не хочетъ!....

Горькія, кровавыя слезы были единственною моею пищею въ теченіе долгаго времени. Я убѣгалъ людей. Сонъ давно уже не навѣщалъ моей бѣдной постели. Мои собственные успѣхи, успѣхи безъ *ея* радости, стали мнѣ ненавистными, и вскорѣ я почувствовалъ первые припадки болѣзни, которая еще и донынѣ меня пожираетъ.

Кто любилъ въ продолженіе всей жизни, кто испыталъ мученія любовныхъ надеждъ и отчаяній, кому знакомы горе и радость влюбленныхъ, тотъ представитъ себѣ мое положеніе. Ужасныя терзанія сердца, которыхъ сдѣлался я безконечною жертвою, усилились новою и нестерпимою болью при полученіи, послѣ пяти мѣсяцовъ, уже послѣдняго письма отъ Ольги, — да! оно было послѣднее! — письма сухаго, церемоннаго, принужденнаго, которое избѣгало всякихъ объясненій, и гдѣ даже волшебное слово *любовь* повсюду замѣнено было холоднымъ словомъ *дружба*. Я хотѣлъ застрѣлиться.

Одинъ изъ знаменитѣйшихъ врачей и вистовыхъ игроковъ столицы, старинный знакомецъ нашего семейства, въ проѣздъ свой черезъ В***, зашелъ навѣстить меня. Послѣ нѣсколькихъ разспросовъ о моемъ положеніи, средствахъ и здоровьѣ, почтенный врачъ, держа меня за руку и прощаясь, произнесъ съ глубочайшимъ равнодушіемъ и совершенною разсѣянностью:

— У васъ чахотка.

И онъ произнесъ это такъ беззаботно, какъ будто сказалъ: «У васъ трефовый тузъ.» Я вздрогнулъ.

— Вамъ надобно на воды, примолвилъ онъ на порогѣ: я скажу это вашему начальнику.

Почтенный врачъ ушелъ. Я, въ отчаяніи, схватился обѣими руками за голову и горько заплакалъ: мнѣ стало жаль моей молодости, моихъ надеждъ!.....

— Ольга! вскрикнулъ я въ изступленіи, ударивъ кулакомъ по столику такъ сильно, что моя чернильница вспрыгнула и опрокинулась на бумаги. Ольга! это также твореніе рукъ твоихъ!.....

Силы меня оставили. Я бросился на постель почти безъ чувствъ.

—

Добрые начальники исходатайствовали мнѣ прощеніе. Мнѣ позволено возвратиться въ Петербургъ, откуда имѣлъ я намѣреніе отправиться къ минераль-

ными водами въ Германію.....
.....

—

Ольга избѣгаетъ встрѣчи со мною. Она меня убила... я не могу даже узнать причины столь страннаго поведенія этой дѣвушки со мною!

Люблю ли еще я ее?

О! да! я люблю ее, люблю безпредѣльно; но душевныя страданія, которыя породила любовь, обманутая такъ безсовѣстно, значительно стихли во мнѣ: они заглушены гораздо сильнѣйшими страданіями тѣла, горькимъ плодомъ той же злополучной любви. По словамъ моего доктора, въ Иппократовыхъ афоризмахъ сказано: «Сильнѣйшая боль уничтожаетъ слабѣйшую». Иппократъ правъ: онъ отгадалъ мой случай съ Ольгою.....
.....

—

Какая жестокая и смѣшная сцена! Этотъ носорогъ Ліановъ, встрѣтившись на улицѣ, чуть не задушилъ меня въ своихъ объятіяхъ: радости его нѣтъ конца; онъ непремѣнно требуетъ, чтобы я пріѣхалъ къ нему въ деревню, провести нѣсколько дней съ его родными и принять участіе въ праздникѣ, который онъ, носорогъ, готовитъ въ видѣ сюрприза своей прекрас-

ной супругѣ. Я принимаю приглашеніе тѣмъ охотнѣе, что надѣюсь встрѣтить Ольгу на этомъ семейномъ рамазанѣ. Пріѣзжаю: Ліановъ снова душитъ меня въ своихъ объятіяхъ, самъ хлопочетъ о моемъ помѣщеніи, самъ отводитъ мнѣ лучшую комнату въ домѣ, отдаетъ тысячу одно приказаніе о моихъ удобствахъ, проситъ меня отдохнуть послѣ дороги, чтобы потомъ въ полномъ блескѣ явиться въ залу, гдѣ его жена безъ памяти будетъ рада увидѣть меня послѣ столь долгаго отсутствія, и наконецъ уходитъ. Спустя полчаса, онъ возвращается ко мнѣ, разстроенный до послѣдней ноты, съ лицомъ краснымъ какъ у Москитоса, съ смущеннымъ видомъ, съ безпокойнымъ взоромъ. Его какъ разъ выбранили за приглашеніе меня безъ предварительнаго разрѣшенія!.... Онъ садится противъ меня, хочетъ завесть разговоръ, и не знаетъ чѣмъ начать. Но вотъ наконецъ онъ начинаетъ:

— Какая ужасная погода!

— Да! очень нехорошая.

— Васъ, вѣрно, промочилъ дождикъ.

— Да!.... немножко.

— Я совершенно простудился....

— Вамъ, кажется, теперь очень жарко. Не закрыть ли форточки?

— Да!.... мнѣ очень жарко.... я, правду сказать, былъ въ резиновомъ плащѣ, и оттого немножко.... то есть, такъ.... ничего.... У меня есть къ вамъ, Николай Николаевичъ, маленькая просьба.... моя племянница.... Ольга Васильевна.... я думаю, вы ее знаете?.... дала мнѣ порученіе....

— Ольга Васильевна здѣсъ?

— Да!.... она здѣсь.... дала мнѣ порученіе покорнѣйше просить васъ.... она васъ заклинаетъ вашею честью и всѣмъ, что *для* васъ свято, возвратить ея бумаги, которыя у васъ находятся.

— Моей честью!.... ея *бумаги!*.... спросилъ я съ величайшимъ удивленіемъ.

— Да!.... ея бумаги.... право, не знаю какія.... но только она, и жена, сказали мнѣ — бумаги.... отвѣчалъ смущенный носорогъ, который очевидно дѣйствовалъ какъ простое орудіе, не будучи участникомъ въ тайнѣ.

— Ея бумаги! повторилъ я дрожащимъ голосомъ и оперъ кружащуюся голову на рукѣ, облокоченной на столикъ: ея бумаги!.... Она требуетъ этихъ бумагъ?

— Да!.... она требуетъ этихъ бумагъ, примолвилъ носорогъ.

Кровь бурно прихлынула къ головѣ, грудь стѣснилась съ ужасною болью, въ глазахъ потемнѣло: я догадался, о какихъ бумагахъ идетъ дѣло, но не имѣлъ силъ говорить, и долго молчалъ, опершись горящимъ лбомъ на руку. Носорогъ молчалъ тоже.

— Что̀ съ вами? наконецъ спросилъ онъ. Вы страдаете?

— Нѣтъ, отвѣчалъ я: совсѣмъ нѣтъ.... я припоминаю, какія у меня есть бумаги вашей почтенной племянницы....

Я всталъ съ дивана и, шатаясь, пошелъ черезъ всю комнату въ противуположный уголъ, гдѣ, на ломбер-

номъ столикѣ, лежалъ мой дорожній чемоданъ. Отперши замокъ слабою рукой, я вынулъ маленькій nécessaire, взялъ изъ него всѣ письма Ольги, всѣ, исключая роковаго перваго письма, которое всегда хранилось у меня на груди; завернулъ ихъ въ листъ почтовой бумаги, запечаталъ оплаткой, надписалъ адрессъ: *въ собственныя руки,* отеръ послѣднюю слезу, которую видъ этого сокровища исторгъ у меня, и тихими шагами возвратился къ дивану. Мнѣ нужно было поскорѣе сѣсть: я не могъ долѣе держаться на ногахъ.

— Вотъ бумаги Ольги Васильевны, сказалъ я, протягивая съ дивана руку къ носорогу.

— Очень благодарю васъ, Николай Николаевичъ, сказалъ носорогъ, принимая пакетъ. Ольга Васильевна будетъ вамъ очень благодарна..... Моя племянница очень васъ уважаетъ.

— Я также очень уважаю вашу племянницу, сказалъ я, холодно прощаясь съ носорогомъ.....

.....

—

Негодованіе вдругъ придало мнѣ силъ, которыхъ лишился я при первомъ извѣстіи о черной измѣнѣ моей сантиментальной Петербургской барышни. Послѣ ухода Ліанова, я вскочилъ съ дивана и быстро сталъ переодѣваться, чтобы поспѣшить на формальное объясненіе съ мамзель Ольгою. Она мнѣ измѣнила: это ясно!.... Такъ, должно быть справедливо и то,

что́ я слышалъ и чему не хотѣлъ вѣрить, будто она выходитъ замужъ за какую-то старую обезьяну, которой огромное состояніе доставитъ ей значеніе въ свѣтѣ и средства затмѣвать своихъ подругъ роскошью?.... Въ этомъ домѣ я очевидно лишній. Я здѣсь не останусь! Однако жъ не уѣду отсюда, пока не выскажу коварной дѣвушкѣ всего моего мнѣнія объ ея знаменитомъ поступкѣ со мною.

Одѣвшись, я сбѣжалъ въ гостиную. Тогда былъ четвертый часъ въ началѣ. Сердце сильно билось въ груди. Руки обильно потѣли. Я чувствовалъ легкій припадокъ лихорадки, столь обыкновенный въ моей болѣзни.

Сердце сильно билось.... но не за себя, а за нее. Чѣмъ кончится наше свиданіе? что̀ она мнѣ скажетъ? какъ извинится? покажетъ ли по крайней мѣрѣ видъ, что хочетъ сдержать слово, когда я ей объ немъ напомню? исполнитъ ли торжественное обѣщаніе оправдать четырехъ-лѣтнюю вѣру моей юности въ искренность любви ея?.... ту вѣру, которая подкрѣпляла меня среди продолжительныхъ страданій и дала мнѣ силу перенести съ честью всё, что̀ я перенесъ?.... Или, увлеченная мишурою свѣта, наговорами родственниковъ, ложными понятіями о счастіи и удушливыми вздохами стараго, неотвязчиваго кита, она отречется отъ всѣхъ своихъ благородныхъ чувствованій, явно расторгнетъ первую клятву, и еще, пожалуй, станетъ со временемъ смѣяться надо мной, слушая въ раззолоченныхъ залахъ конфектныя любезности какого-нибудь бездушнаго щеголя?.... Нѣтъ, эти мысли несбыточны.

Я оскорбляю имя все, что̀ носитъ имя женщины; оскорбляю Ольгу однимъ уже подозрѣніемъ въ поступкѣ, для выраженія гнусности котораго не достало бы словъ въ Русскомъ языкѣ, живописнѣйшемъ изъ всѣхъ языковъ. Нѣтъ! нѣтъ!.... Я готовъ лучше умереть, чѣмъ разочароваться до такой степени. Не потеря любви пугаетъ меня, а потеря убѣжденія въ возможность продолжительности чистаго чувствованія, потеря лучшей моей идеи, четыре года жившей душа въ душу со мною.

Въ гостиной никого не было: ее только-что подмели. Атомы не совсѣмъ осѣвшей пыли еще клубились, въ верхнихъ слояхъ воздуха; рояль грустилъ у стѣны, ожидая появленія прекрасной хозяйки; кресла и стулья печально окружали диванъ; двери, ведущія въ смежныя комнаты, были заперты; опущенныя маркизы скрывали садъ, собраніе пожелтѣлыхъ листьевъ и незрѣлыхъ яблокъ; небо было сѣрое, какъ всегда въ Петербургѣ и его окрестностяхъ; мелкій дождь лилъ какъ нельзя усерднѣе; галки клевали рябину, уже въ августѣ мѣсяцѣ прохваченную морозомъ; сонныя мухи ползали по стекламъ; сверху раздавались голоса играющихъ на билльярдѣ; снизу слышался стукъ повареннаго ножа, приготовляющаго обѣдъ; изъ боковой комнаты поминутно заглядывала горничная; попугай, повѣсивъ носъ, разсуждалъ объ Испанскихъ дѣлахъ. Ничто не предвѣщало хорошаго.

Я сѣлъ въ кресла около большаго дивана и подперъ голову руками.

Прошло четверть часа: никто не приходилъ. На-

конецъ послышался шумъ шаговъ въ столовой, и вошла Ліанова, ведя за руку малютку сына, прелестнаго какъ амуръ Альбановъ.

— Вы здѣсь! сказала она съ поддѣльнымъ удивленіемъ.

— Болѣе часу.

— Какъ мы давно не видались съ вами!

— Очень давно.

Молчаніе.

— Какая ужасная погода!

— Да!.... ужасная.

— Это нестерпимо!

— Неужели вы къ ней еще не привыкли?

— Какъ-будто можно привыкнуть къ дурной погодѣ?

— Еще скорѣе, чѣмъ къ хорошей. И притомъ она здѣсь такъ кстати!....

— Отчего же такъ?

— Оттого, что здѣсь холодъ — природная температура всего. Здѣсь все холодно — небо, земля, вода, воздухъ, огонь, сердца....

— Какія, напримѣръ, сердца?

— Всякія, не исключая и дамскихъ.

Молчаніе.

— Давно ли вы такого мнѣнія о здѣшнихъ дамахъ?

— Съ тѣхъ поръ, какъ узналъ ихъ на опытѣ.

Продолжительное молчаніе.

— Полно-те, болѣзнь разстроила ваши нервы.

— Но въ то же время она исправила мои глаза.

— Четыре года тому вы разсуждали совсѣмъ иначе.

— Четыре года!.... четыре года!.... тогда я былъ моложе четырьмя годами.

— А теперь?

— Теперь четырьмя старѣе и опытнѣе, и тяжелая рука опыта, къ несчастію, сняла розы моего воображенія.

— И неужели ни одна изъ этихъ розъ не уцѣлѣла? спросила Ліанова съ лукавою улыбкой.

Я хотѣлъ-было отвѣчать, но вдругъ скрыпнули двери маленькаго кабинета и Ольга весело вбѣжала въ гостиную. Она, видно, не знала что я тутъ.

Появленіе ея прекратило нашъ разговоръ. Всѣ старанія Ліановой возобновить его были неудачны. Я нетерпѣливо ожидалъ развязки. Сынъ Ліановой игралъ моею фуражкой. Она и Ольга безпрестанно перемигивались.

Ольга всячески старалась отдалить объясненіе, но наконецъ Ліанова, чувствуя сама его неизбѣжность, встала и вышла съ ребенкомъ въ столовую. Ольга убѣжала за нею, однако, черезъ минуту, вѣроятно по сотѣту прекрасной тетушки, возвратилась въ гостиную. Что-то, въ родѣ иронiи, змѣйкой пробѣжало по безпечному лицу ея. Это равнодушiе разорвало мнѣ сердце. Я взглянулъ на нее пристальнѣе, и ужаснулся: вмѣсто того чтобъ краснѣть, она разсѣянно перебирала кончики своего атласнаго кринспена! Обманъ, честолюбiе, эгоизмъ, вѣтренность, проглядывали сквозь зрачки ея, какъ свѣчки сквозь тафтяныя ширмы. И какъ далеко она, не только душою, но и наружностью, не походила на мою прежнюю,

прекрасную, обворожительную Ольгу! Неужели это то самое прелестное существо, то восхитительное дитя, на которое всѣ съ такимъ восторгомъ любовались за четыре года? Боже мой, какъ она перемѣнилась! Тогда она была стройна, эфирна, нѣжно и изящно изваянная, какъ нимфа Кановы: теперь это полная и дебелая женщина, настоящая Русская кормилица, которою можно одною населить цѣлый уѣздъ Оренбургской губерніи. Тогда она была пылкая, мечтательная и сантиментальная дѣвушка: теперь это кусокъ мраморнаго философа, отъ котораго несетъ холодомъ, капитальный столбъ гуляній по Невскому Проспекту, двадцати-двухъ-лѣтняя Петербургская невѣста, бойкая, разборчивая, готовая на все, и столько же способная къ любви и постоянству, сколько осетръ способенъ къ наблюденіямъ надъ магнитною стрѣлкой. Теперь она показалась мнѣ ужасною, даже отвратительною. Если бы пришлось выбирать то или другое, я бы ужъ скорѣе согласился, чтобъ меня женили на Рубенсовомъ Бахусѣ, чѣмъ на этой матушкѣ-барышнѣ. А между тѣмъ.... о, я несчастный!.... о, я дуракъ!.... я чувствовалъ между-тѣмъ, что всё еще люблю ее!

Мы сошлись посереди комнаты и невольнымъ образомъ очутились у рояля, стоявшаго вдоль стѣны, параллельной къ дивану.

— Вы ко мнѣ писали нѣсколько писемъ? спросилъ я дрожащимъ голосомъ.

— Да, отвѣчала она: я къ вамъ писала.

— И теперь желаете, чтобы я возвратилъ ихъ вамъ?

— Я уже поручила дядюшкѣ просить васъ объ этомъ.

— Я уже и вручилъ ему цѣлый пакетъ вашихъ писемъ.

— Но въ немъ не достаетъ одного письма.

— Самаго перваго?

— Да.

— Я не возвратилъ его потому, что оно ни къ чему вамъ не служитъ, и, будучи даже уничтожено, не освобождаетъ васъ отъ отвѣтственности. Дядюшка вашъ притомъ не умѣлъ объяснить мнѣ, чего именно вы требуете, возвращенія ли только лоскутка бумаги, или вмѣстѣ съ нимъ и *честнаго слова*, которое на немъ написано.

— Разумѣется, того и другаго.

— Но такъ просто не требуютъ возвращенія честнаго слова, даннаго добровольно и обдуманно. Оно у меня въ залогѣ, и я въ правѣ по крайней мѣрѣ знать, почему его у меня отнимаютъ.

— Потому что обстоятельства перемѣнились: ваше состояніе, какъ я въ послѣдствіи узнала, не позволяетъ вамъ думать о женитьбѣ, а матушка между тѣмъ имѣетъ въ виду для меня другую партію...

Она чуть не прибавила — *выгоднѣйшую:* это слово такъ и вертѣлось у ней на языкѣ.

— Слѣдственно, вы хотите сказать, что это была ошибка съ вашей стороны?

— Необдуманность.

— Однако жъ самое первое письмо ваше доказываетъ, что моя бѣдность не была для васъ тайною. Вамъ самимъ, можетъ быть, извѣстно, что, по убѣжденію вашему, я старался вознаградить этотъ недо-

статокъ другаго роду богатствомъ, которому возвышенныя души знаютъ всю цѣну. Первое основаніе положено. Согласно вашему приказанію, я приношу вамъ начало имени, котораго слабая, нынѣшняя извѣстность можетъ, при помощи Божіей и при дальнѣйшихъ усиліяхъ, еще нѣсколько увеличиться со временемъ и удовлетворить самолюбію благородной супруги. Лестная обязанность, которую вы на меня возложили, по мѣрѣ силъ исполнена мною, и я, кажется, имѣю полное право ожидать, чтобы и вы съ своей стороны...

— О, повѣрьте, что я съ моей стороны первая радовалась вашимъ успѣхамъ, хотя *ничего по-Русски не читаю.*

Она сказала это такъ натурально, и съ такимъ самодовольствіемъ, что я покраснѣлъ за все поколѣніе Петербургскихъ барышенъ, къ которому она принадлежитъ. Вы, увѣряю васъ, никогда бы не сказали такъ наивно: «Я не читаю по-Китайски.»

— Вы очень хорошо дѣлаете, замѣтилъ я ей съ улыбкою: Руской такъ и должно. Впрочемъ, мои творенія еще такъ ничтожны, что для нихъ и не стоитъ учиться своему языку. Увѣряю васъ, что вы ничего не потеряли, а я и очень много выигрываю черезъ это. Подумайте только, что, въ такомъ случаѣ, я легко могу выдать себя передъ вами за Русскаго Шатобріана или Вальтера Скотта!... Придавъ себѣ нужную важность, я могу даже замѣтить вамъ, что если ваша матушка только имѣетъ въ виду другую партію, то еще можно было бы помочь горю: почему бы, напри-

мѣръ, вамъ не открыться ей чистосердечно? Она, вѣрно, не пошла бы наперекоръ вашимъ чувствамъ.

— Нѣтъ! я ни за что не рѣшилась бы выдти изъ ея воли; я и безъ того уже виновата передъ нею.

— Ну, такъ позвольте мнѣ быть смѣлѣе васъ и поговорить съ нею.

Она испугалась.

— Нѣтъ! нѣтъ! не дѣлайте этого!... она вамъ откажетъ навѣрное.

— Но если я ей скажу, что у меня есть ясныя права на вашу руку?

— О, тогда я погибла! Ради Бога, не намекайте ей ни слова объ нихъ!

— Вамъ не хочется погибнуть. Хорошо, я не погублю васъ; однако потрудитесь отвѣчать мнѣ: та любовь, въ которой вы мнѣ клялись такъ торжественно, существуетъ ли еще въ вашемъ сердцѣ, или нѣтъ?

— Я, право, не знаю что̀ вамъ отвѣчать... Мой легкомысленный поступокъ не служитъ ли явнымъ доказательствомъ искренней къ вамъ привязанности? Чего жъ вамъ болѣе? и къ чему этотъ вопросъ?

— Вопросъ былъ очень кстати, и онъ не долженъ оскорблять вашей стыдливости. Вы можете быть совершенно откровенны. Вѣдь дѣло идетъ не о первомъ признаніи, которое всегда такъ трудно. Первое, уже четыре года, хранится на груди моей, исписанное мелкимъ почеркомъ на цѣломъ листѣ почтовой бумаги. Слѣдственно, чего же вамъ бояться откровенности?

— Какъ, чего?... Вы ставите меня въ странное по-

ложеніе! Могу ли я быть откровенною съ вами, когда сказала, что не выйду изъ воли матушки?

Это адское притворство произвело во мнѣ судороги.

— Послушайте, сказалъ я съ жаромъ: оставимъ шутки; онѣ здѣсь не у мѣста. Оглянитесь на прошедшее и пробѣжите послѣдніе четыре года вашей жизни. Мы встрѣтились въ первый разъ у моей родственницы. Вы сами постарались привлечь къ себѣ мое вниманіе. Я находилъ васъ прелестною, но разница нашихъ состояній, и моя собственная гордость, удаляли меня отъ васъ постоянно. Вамъ однако жъ непремѣнно хотѣлось расшевелить мое сердце, восторжествовать надъ моей гордостью. Это, съ вашей стороны, была дѣтская потѣха, и я такъ понималъ ее. Сначала я смотрѣлъ на васъ, какъ на хорошенькаго и рѣзваго ребенка, потомъ вы дѣйствительно произвели во мнѣ впечатлѣніе, и я уже объ васъ думывалъ, когда молился Богу... Вдругъ меня постигло несчастье. Я долженъ былъ удалиться изъ Петербурга... Я оставилъ родныхъ и друзей съ растерзаннымъ сердцемъ. Въ уединеніи уѣзднаго городка, куда бросило меня Провидѣніе, не разъ еще произносилъ я ваше имя, но замѣтьте, это была не страсть, а простое впечатлѣніе, усиленное одиночествомъ. Это продолжалось три мѣсяца; на четвертый вы ужъ рѣже являлись моему воображенію и конечно перестали бъ тревожить его совсѣмъ, если бъ почта не принесла мнѣ роковаго письма вашего. Оно произвело во мнѣ настоящій переворотъ. Я опоэтизировалъ вашъ поступокъ. Меня тронуло ваше великодушное самопожертвованіе. Вы,

красавица, окруженная поклонниками, добровольно приносили себя въ утѣшеніе несчастному, изгнанному, ссыльному; и я полюбилъ васъ со всѣмъ жаромъ первой любви. Съ этой минуты вы наполнили собою всю жизнь мою. Я жилъ, дышалъ, чувствовалъ, существовалъ только вами и для васъ. Четыре года не было у меня другой мысли, кромѣ той, чтобы сдѣлаться достойнымъ вашего выбору, чтобы оправдать ваши надежды. Тягость моего положенія весьма увеличивалась отъ этого напряженнаго состоянія души и тѣла. Тоска снѣдала меня. Нетерпѣливое желаніе васъ увидѣть превращало часы въ мѣсяцы. Вдругъ, непонятная перемѣна въ вашихъ чувствованіяхъ, ваши продолжительныя молчанія, незаслуженная холодность послѣднихъ писемъ вашихъ, повергли меня въ страшное отчаяніе. Наконецъ мученія мои разразились болѣзнію, которая привела меня къ дверямъ гроба. Вотъ слѣдствіе вашихъ писемъ!... но и болѣзнь не убила во мнѣ восторженной и святой любви моей: я все-таки надѣялся, по прибытіи сюда, найдти подлѣ васъ счастіе, покой, отдохновеніе, отраду... И что́ же нашелъ я?... Вмѣсто награжденія меня вѣрностью за вѣрность, вы требуете отъ меня своихъ писемъ и отказываетесь отъ честнаго слова!... Я не хочу огорчать васъ точнымъ опредѣленіемъ роду подобнаго поступка, но считаю себя по крайней мѣрѣ въ правѣ спросить: что́ все это значило? зачѣмъ вы ко мнѣ писали? зачѣмъ старались возбудить во мнѣ любовь? была ли это шутка, которую, какъ вы полагали, можно кончить другою шуткою?... Вы молчите!... Слѣдствен-

но, вы только шутите?... Ольга! Ольга! Богъ справедливъ: я боюсь, что Онъ примѣрно накажетъ васъ за это, и что, рано ли, поздно ли, вы будете очень несчастны... Посмотрите только, что вы сдѣлали; взгляните на это лицо, изсохшее, блѣдное, оглоданное болѣзнію: таково ли было оно, когда вамъ вздумалось играть мною?... Но будьте спокойны: этотъ мертвецъ не женится на васъ ни силой ни волей; ему надобно думать не о женитьбѣ, но о могилѣ, которую вырыли вы для него собственными руками. Мнѣ досадно только то, что, вмѣстѣ съ любовью, не унесу я туда уваженія къ той, которую любилъ такъ пламенно, такъ безпредѣльно... Я не пойду также съ жалобою къ вашей матушкѣ, не подвергну васъ ея справедливымъ упрекамъ. Да простятъ вамъ Богъ и люди смертоубійство бѣднаго Рахманнаго такъ же легко, какъ я, стоя одной ногою въ гробу, прощаю вамъ все зло, всѣ муки, всѣ страданія, которыя мнѣ причинили въ этой неблагопристойной фарсѣ, разъигранной вами съ такимъ ужаснымъ искусствомъ... Вотъ ваше первое письмо: я возвращаю вамъ вмѣстѣ съ нимъ и ваше честное слово—не принадлежать во всю жизнь никому кромѣ одного меня...

Ноги подо мною дрожали: я не могъ продолжать.

Она хотѣла отвѣчать, но также не могла говорить, не отъ смущенія, о! нѣтъ, а потому, что когда человѣкъ кругомъ виноватъ, такъ и говорить нечего.

Я протянулъ ей письмо; она спрятала его за корсетомъ.

Вся кровь волной хлынула къ сердцу; однако я превозмогъ себя, поклонился ей, и уѣхалъ. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Ольга! будь счастлива... я умираю!... Боже! прости мнѣ мои грѣхи и мои сочиненія.....

3 2044 024 167 306

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

WIDENER
STALL-STUDY
OCT 15 1996
CHARGE
CANCELLED

3918452

DUE APR 73 H

DEC 19 1972

WIDENER
SEP 10 1995
BOOK DUE

WIDENER
SEP 10 1995
BOOK DUE